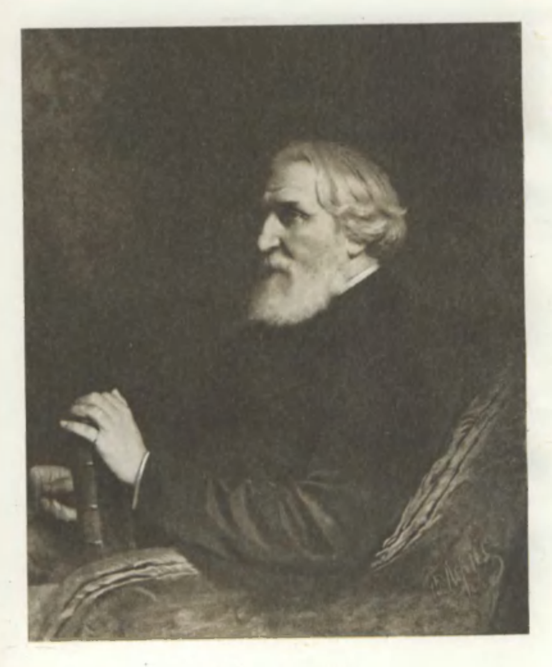
И. С. ТУРГЕНЕВ



СОЧИНЕНИЯ

9





И. С. ТУРГЕНЕВ

Портрет работы В. Г. Перова (масло), 1872 г.

Государственный Русский музей, Ленинград.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

♦

Издание второе,
исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1982

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том девятый

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1874—1877

НОВЬ
1876

♦

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1982

Т $\frac{3702000000-027}{042(02)-82}$ Подписное

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1874—1877

ПУНИН И БАБУРИН

Рассказ Петра Петровича Б.

...Я теперь и стар и болен — и чаще всего размышляю о смерти, с каждым днем более близкой; редко думаю о прошедшем, редко устремляю назад мой духовный взор. Лишь иногда — зимой, сидя неподвижно перед пылающим камином; летом, расхаживая тихим шагом по тенистой аллее,— припоминаю я минувшие годы, события, лица; но не на зрелой поре моей жизни и не на молодости останавливаются тогда мои мысли. Они переносят меня либо в раннее детство, либо в первое отроческое время. Вот и теперь: я вижу себя в деревне у моей строгой и гневной бабушки — мне всего двенадцать лет — и возникают в моем воображении два существа...

Но стану рассказывать по порядку и в связи.

I

1830 г.

Старый лакей Филиппыч вошел, по обыкновенью на цыпочках, с повязанным в виде розетки галстухом, с крепко стиснутыми — «чтобы не отдавало духом» — губами, с седеньким хохолком на самой середине лба; вошел, поклонился и подал на железном подносе моей бабушке большое письмо с гербовой печатью. Бабушка надела очки, прочла письмо...

— Сам он тут? — спросила она.

— Чего изволите? — робко проговорил Филиппыч.

— Бестолковый! Тот, кто привез письмо,— тут?

— Тутот-ка, тутот-ка... В конторе сидит.

Бабушка погремела своими янтарными четками...

— Вели ему явиться... А ты, сударь,— обратилась она ко мне,— сиди смирно.

Я и так не шевелился в своем уголку, на присвоенном мне табурете.

Бабушка держала меня в ежовых рукавицах!

Минут пять спустя вошел в комнату человек лет тридцати пяти, черноволосый, смуглый, с широкоскулым рябым лицом, крючковатым носом и густыми бровями, из-под которых спокойно и печально выглядывали небольшие серые глаза. Цвет этих глаз и выражение их не соответствовали восточному складу остального лица. Одет был вошедший человек в степенный, долгополый сюртук. Он остановился у самой двери и поклонился — одной головою.

— Твоя фамилия Бабурин? — спросила бабушка и тут же прибавила про себя: «Il a l'air d'un armènien» [1].

— Точно так-с,— отвечал тот глухим и ровным голосом. При первом слове бабушки: «твоя» — брови его слегка дрогнули. Уж не ожидал ли он, что она будет его «выкать», говорить ему: вы?

— Ты русский? православный?

— Точно так-с.

Бабушка сняла очки и окинула Бабурина медлительным взором с головы до ног. Он не опустил глаз и только руки за спину заложил. Собственно меня больше всего интересовала его борода: она была очень гладко выбрита, но таких синих щек и подбородка я отроду не видывал!

— Яков Петрович,— начала бабушка,— в письме своем очень тебя рекомендует, как человека «тверёзого» и трудолюбивого; однако отчего же ты от него отошел?

— Им, сударыня, в их хозяйстве другого качества люди нужны.

— Другого... качества? Этого я что-то не понимаю.— Бабушка снова погремела четками.— Яков Петрович мне пишет, что за тобою две странности водятся. Какие странности?

Бабурин легонько пожал плечами.

— Не могу знать, что́ им угодно было назвать странностями. Разве вот, что я... телесного наказания не допускаю.

Бабушка удивилась.

— Неужто ж Яков Петрович тебя наказывать хотел?

Темное лицо Бабурина покраснело до самых волос.

— Не так вы изволили понять меня, сударыня. Я имею правилом не употреблять телесного наказания... над крестьянами.

---

[1] «Он похож на армянина» *(франц.)*.

Бабушка удивилась больше прежнего, даже руки приподняла.

— А! — промолвила она наконец и, нагнувши голову несколько набок, еще раз пристально осмотрела Бабурина.— Это твое правило? Ну, это мне совершенно всё равно; я тебя не в приказчики прочу, а в конторщики, в писцы. Почерк у тебя каков?

— Пишу я хорошо-с, без ошибок орфографических.

— И это мне всё равно. Мне — главное, чтобы четко было, да без этих прописных новых букв с хвостами, которых я не люблю. А какая твоя другая странность?

Бабурин помялся на месте, кашлянул...

— Быть может... господин помещик изволил намекать на то, что я не один.

— Ты женат?

— Никак нет-с... но...

Бабушка нахмурилась.

— Со мной живет одно лицо... мужеского пола... товарищ, убогий человек, с которым я не расстаюсь... вот уже, почитай, десятый год.

— Он твой родственник?

— Нет-с, не родственник — товарищ. Неудобств от него никаких по хозяйству произойти не может,— поспешил прибавить Бабурин, как бы предупреждая возражения.— Живет он на моих харчах, помещается в одной со мной комнате; скорей пользу он должóн принесть, так как грамоте он обучен, без лести сказать, в совершенстве и нравственность имеет примерную.

Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь.

— Он на твоем иждивении живет?

— На моем-с.

— Ты его из милости содержишь?

— По справедливости... так как бедного человека обязанность есть — помогать другому бедному.

— Вот как! Впервое слышу. Я до сих пор полагала, что это скорей обязанность богатых людей.

— Для богатых, осмелюсь доложить, это занятие... а для нашего брата...

— Ну, довольно, довольно, хорошо,— перебила бабушка и, подумав немного, промолвила в нос, что всегда было дурным знаком: — А каких он лет, твой нахлебник?

— Моих лет-с.

— Твоих? Я полагала, он твой воспитанник.

— Никак нет-с; он мой товарищ — и притом...

— Довольно,— вторично перебила бабушка.— Ты, значит, филантроп. Яков Петрович прав: в твоем звании — это странность большая. А теперь поговорим-ка о деле. Я тебе растолкую, какие будут твои занятия. Да вот еще насчет жалованья...— Que faites vous ici? [1] — прибавила вдруг бабушка, обратив ко мне свое сухое и желтое лицо.— Allez étudier votre devoir de mythologie [2].

Я вскочил, подошел к бабушкиной ручке и отправился — не изучать мифологию, а просто в сад.

Сад в бабушкином имении был очень стар и велик и заканчивался с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче почти везде исчезнувшие гольцы. В голове этого пруда засел густой лозняк; дальше вверх, по обоим бокам косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины, жимолости, терна, проросшие снизу вереском и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрея своими розовыми, лиловыми, па̀левыми шапочками, выглядывали приземистые сыроежки и светлыми пятнами загорались золотые шарики «куриной слепоты». Тут по веснам певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки; тут и в летний зной стояла прохлада — и я любил забиваться в эту глушь и чащу, где у меня были фаворитные, потаенные местечки, известные — так по крайней мере я воображал! — только мне одному. Вышедши из бабушкиного кабинета, я прямо отправился в одно из тех местечек, прозванное мною «Швейцарией». Но каково было мое изумление, когда, еще не добравшись до «Швейцарии», я сквозь частый переплет полузасохших прутьев и зеленых ветвей увидал, что кто-то открыл ее кроме меня! Какая-то длинная-длинная фигура, в желтом фризовом балахоне и высоком картузе, стояла на самом облюбленном мною местечке! Я подкрался поближе и разглядел лицо, совершенно мне незнакомое, тоже предлинное, мягкое, с небольшими красноватыми глазками и презабавным носом: вытянутый, как стручок, он точно повис над пухлыми губками; и эти губки, изредка, вздрагивая и округляясь,

---

[1] Что вы здесь делаете? *(франц.)*.

[2] Идите займитесь вашим сочинением по мифологии *(франц.)*.

издавали тонкий свист, между тем как длинные пальцы костлявых рук, поставленные дружка против дружки на вышине груди, проворно двигались круговращательным движением. Время от времени движение рук замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась вперед, как бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, вгляделся еще внимательнее... Незнакомец держал в каждой руке по небольшой плоской чашечке, вроде тех, которыми дразнят и заставляют петь канареек. Сук хрустнул у меня под ногою; незнакомец дрогнул, устремил свои слепые глазенки в чащу и попятился было... да наткнулся на дерево, охнул и остановился.

Я вышел на полянку. Незнакомец улыбнулся.

— Здравствуйте,— промолвил я.

— Здравствуйте, барчук!

Мне не понравилось, что он меня назвал барчуком. Что за фамильярность!

— Что вы здесь делаете? — спросил я строго.

— А вот видите,— отвечал он, не переставая улыбаться.— Птичек на пение вызываю.— Он показал мне свои чашечки.— Зяблики отлично ответствуют! Вас, по младости ваших лет, пение пернатых должно услащать беспременно! Извольте прислушать: я стану щебетать, а они за мною сейчас — как приятно!

Он начал тереть свои чашечки. Точно, зяблик отозвался на ближней рябине. Незнакомец засмеялся беззвучно и подмигнул мне глазом.

Смех этот и это подмигивание — каждое движение незнакомца, его шепелявый, слабый голос, выгнутые колени, худощавые руки, самый его картуз, его длинный балахон — всё в нем дышало добродушием, чем-то невинным и забавным.

— Вы давно сюда приехали? — спросил я.

— А сегодня.

— Да вы не тот ли, о котором...

— Господин Бабурин с барыней говорил? Тот самый, тот самый.

— Вашего товарища Бабуриным зовут, а вас?

— А меня Пуниным. Пунин моя фамилия; Пунин. Он Бабурин, а я Пунин.— Он опять зажужжал чашечками.— Слышите, слышите зяблика... Как заливается!

Мне этот чудак вдруг «ужасно» полюбился. Как почти все мальчики, я с чужими либо робел, либо важничал, а с этим я словно век был знаком.

— Пойдемте со мною,— сказал я ему,— я знаю местечко еще лучше этого; там есть скамейка: мы сесть можем, и плотина оттуда видна.

— Извольте, пойдемте,— отвечал нараспев мой новый приятель. Я пропустил его вперед. На ходу он переваливался, шмыгал ногами и затылок назад закидывал.

Я заметил, что у него сзади на балахоне, под воротником, болталась небольшая кисточка.

— Что это у вас такое висит? — спросил я.

— Где? — переспросил он и пощупал воротник рукою.— А! Эта кисточка? Пущай ее! Значит, для красы пришита. Не мешает.

Я привел его к скамейке, сел; он поместился рядом.

— Здесь хорошо! — промолвил он и вздохнул глубоко, глубоко.— Ох, хорошохонько! Отличнейший у вас сад! Ох, ох-хо!

Я посмотрел на него сбоку.

— Какой у вас картуз! — невольно воскликнул я.— Покажите-ка!

— Извольте, барчук, извольте.— Он снял картуз; я протянул было руку, но поднял глаза и — так и прыснул. Пунин был совершенно лыс; ни одного волосика не виднелось на заостренном его черепе, покрытом гладкой и белой кожей.

Он провел по нем ладонью и засмеялся тоже. Когда он смеялся, он словно захлебывался, раскрывал широко рот, закрывал глаза — а по лбу пробегали морщины снизу вверх, в три ряда, как волны.

— Что? — сказал он наконец.— Не правда ли, настоящее яйцо?

— Настоящее, настоящее яйцо! — подхватил я с восторгом.— И давно вы такие?

— Давно; а какие были волосы! — Золотое руно, подобное тому, за которым аргонавты переплывали морские пучины.

Хотя мне всего было двенадцать лет, однако я, по милости моих мифологических занятий, знал, кто были аргонавты; тем более удивился я, услышав это слово в устах человека, одетого чуть не в рубище.

— Вы, стало быть, учились мифологии? — спросил я, переворачивая в руках картуз, который оказался на вате, с меховым облезлым околышком и картонным надломанным козырьком.

— Изучал и этот предмет, барчученочек мой милень-

кий; в жизни моей всего было достаточно! А теперь возвратите-тка мне покрышку, ею же защищается нагота главы моея.

Он нахлобучил картуз и, перекосив свои беловатые брови, спросил меня: кто я собственно такой и кто мои родители?

— Я внук здешней помещицы,— отвечал я.— Я у ней один. Папа и мама умерли.

Пунин перекрестился.

— Царство им небесное! Значит, сирота; ну и наследник. Дворянская-то кровь сейчас видна; так в глазенках и бегает, так и играет... ж... ж... ж... ж...— Он представил пальцами, как играет кровь.— Ну, а не знаете ли, ваше благородие, поладил ли мой товарищ с бабенькой вашей, получил ли место, которое ему обещали?

— Этого я не знаю.

Пунин крякнул.

— Эх! кабы здесь пристроиться! хотя бы на время! А то странствуешь, странствуешь, приюта не обретается, тревоги житейские не прекращаются, душа сомущается...

— Скажите,— перебил я его,— вы — из духовного звания?

Пунин обернулся ко мне и прищурился.

— А какая сему вопросу причина, отроче мой любезный?

— Да вы так говорите — вот как в церкви читают.

— Что славянские-то речения я употребляю? Но это не должно вас удивлять. Положим, в обыкновенной беседе подобные реченья не всегда уместны; но как только воспаришь духом — так сейчас и слог является возвышенный. Неужто же ваш учитель, преподаватель словесности российской,— ведь вам ее преподают? — неужто же он вам этого не объясняет?

— Нет, не объясняет,— ответил я.— Когда мы в деревне живем — у меня и учителя нет. В Москве у меня много учителей.

— А долго ли вы в деревне проживать изволите?

— Месяца два, не больше; бабушка говорит, что я в деревне балуюсь. Гувернантка со мной есть и тут.

— Французенка?

— Француженка.

Пунин почесал у себя за ухом.

— Сиречь мамзель?

— Да; ее зовут мадмуазель Фрикэ.— Мне вдруг по-

казалось постыдным, что у меня, двенадцатилетнего мальчика, не гувернер, а гувернантка, точно у девочки! — Да я ее не слушаюсь,— прибавил я с пренебрежением.— Мне что!

Пунин покачал головою.

— Ох, дворянчики, дворянчики! полюбились вам иностранчики! От российского вы отклонилися,— на чужое преклонилися, к иноземцам обратилися...

— Что это? Вы стихами говорите? — спросил я.

— А вы как полагаете? Я могу завсегда, сколько угодно; потому сие мне природно...

Но в это самое мгновение раздался в саду за нами сильный и резкий свист. Собеседник мой проворно поднялся с лавки.

— Простите, барчук; это товарищ меня зовет, ищет меня... Что-то он мне скажет? Простите, не взыщите...

Он юркнул в кусты и исчез; а я посидел еще на скамейке. Я чувствовал недоуменье и какое-то другое, довольно приятное чувство... Я никогда еще не встречался и не говорил с таким человеком. Понемногу я размечтался... но вспомнил мифологию — и побрел домой.

Дома я узнал, что бабушка сошлась с Бабуриным: ему отвели небольшую комнату в людской избе, на конном дворе. Он тотчас поселился в ней с своим товарищем.

На другое утро я, напившись чаю и не отпросившись у мадмуазель Фрикэ, отправился в людскую избу. Мне хотелось опять поболтать со вчерашним чудаком. Не постучавшись в дверь — этого обычая у нас и в заводе не было,— я прямо вошел в комнату. Я застал в ней не того, кого я искал, не Пунина, а покровителя его — филантропа Бабурина. Он стоял перед окном, без верхней одежды, широко растопырив ноги, и тщательно вытирал себе голову и шею длинным полотенцем.

— Вам что угодно? — промолвил он, не опуская рук и насупив брови.

— Пунина нет дома? — спросил я самым развязным манером и не снимая шапки.

— Господина Пунина, Никандра Вавилыча, в сию минуту точно нет дома,— отвечал, не торопясь, Бабурин,— но позвольте вам заметить, молодой человек: разве прилично — так, не спросясь, входить в чужую комнату?

Я!.. молодой человек!.. Как он смеет!.. Я вспыхнул от гнева.

— Вы, должно быть, меня не знаете,— произнес я уже не развязно, а надменно,— я здешней барыни внук.

— Это мне всё едино,— возразил Бабурин, снова принимаясь за полотенце.— Вы хоть и барский внук, а не имеете права входить в чужую комнату.

— Какая же она чужая? Что вы?! Я здесь — везде дома.

— Нет, извините, здесь дома — я; потому что комната эта назначена мне по условию — за мои труды.

— Не учите меня, пожалуйста,— перебил я его,— я лучше вас знаю, что...

— Вас надобно учить,— перебил он меня в свою очередь,— потому что вы в таком возрасте обретаетесь... Я знаю свои обязанности, но и права свои знаю тоже очень хорошо, и если вы будете продолжать таким образом со мною беседовать — то мне придется попросить вас отсюда выйти...

Неизвестно, чем бы кончилось наше препирание, если б в эту минуту, шмыгая и раскачиваясь, не вошел Пунин. Он, вероятно, догадался, по выражению наших лиц, что между нами произошло что-то неладное, и тотчас обратился ко мне с самыми любезными изъявлениями радости.

— А, барчук! барчук! — воскликнул он, беспорядочно взмахивая руками и заливаясь своим беззвучным смехом,— миленький! меня навестить пришел! пришел, миленький! («Что это? — подумал я,— неужто же он мне „ты“ говорит?») Ну, пойдем, пойдем со мною в сад. Я там нечто такое нашел... Что в духоте сидеть-то! Пойдем.

Я последовал за Пуниным, однако на пороге двери почел за нужное обернуться и бросить вызывающий взор на Бабурина. Я, мол, тебя не боюсь!

Он ответил мне тем же и даже фукнул в полотенце — вероятно, для того, чтобы хорошенько дать мне почувствовать, до какой степени он меня презирает!

— Какой нахал ваш приятель! — сказал я Пунину, как только дверь затворилась за мною.

Пунин чуть не с испугом поворотил ко мне свое пухлое лицо.

— Это вы о ком так выражаетесь? — спросил он, выпуча глаза.

— Да, конечно, о нем... как вы его называете? об этом... Бабурине.

— О Парамоне Семеновиче?

— Ну да; вот об этом... черномазом.

— Э... э... э!..— промолвил с ласковой укоризной Пунин.— Как это вы можете так говорить, барчук, барчук! Парамон Семеныч человек достойнейший, строжайших правил, из ряду вон! Ну, конечно, себя он в обиду не даст, потому — цену себе знает. Большими познаниями обладает сей человек — и не такое бы ему занимать место! С ним, мой миленький, надо обходиться вежливенько, ведь он...— тут Пунин наклонился к самому моему уху — республиканец!

Я уставился на Пунина. Этого я никак не ожидал. Из учебника Кайданова и других исторических сочинений я вычитал, что существовали когда-то в древности республиканцы, греки и римляне, и даже почему-то воображал их всех в шлемах, с круглыми щитами на руках и голыми большими ногами; но чтобы в действительности, в настоящее время, особенно в России, в ...ой губернии, могли находиться республиканцы — это сбивало все мои понятия, совершенно путало их!

— Да, мой миленький, да; Парамон Семеныч республиканец,— повторил Пунин; — вот вы и знайте вперед, как о таком человеке отзываться! А теперь пойдемте в сад. Представьте, что я там нашел! Кукушкино яйцо в гнезде у горихвостки! Чудеса!

Я отправился в сад вместе с Пуниным; но мысленно всё твердил: республиканец! рес... пу... бликанец!

«То-то,— решил я, наконец,— у него такая синяя борода!»

Мои отношения к этим двум личностям — Пунину и Бабурину — определились окончательно с самого того дня. Бабурин возбуждал во мне чувство враждебное, к которому, однако, в скором времени примешалось нечто похожее на уважение. И боялся же я его! Я не перестал бояться его даже тогда, когда в его обращении со мною исчезла прежняя резкая строгость. Нечего говорить, что я Пунина не боялся; я даже не уважал его, я считал его — говоря без обиняков — за шута; но полюбил я его всею душою! Проводить целые часы в его обществе, быть с ним наедине, слушать его рассказы — стало для меня истинным наслажденьем. Бабушке очень не нравилась эта «intimité»[1] с человеком из «простецов» — «du commun»; но я, как только мне удавалось урваться, тотчас бежал к моему

[1] «душевная близость» *(франц.)*.

забавному, дорогому, странному другу. Свидания наши стали особенно часты после удаления мадмуазель Фрикэ, которую бабушка отправила обратно в Москву в наказание за то, что она вздумала пожаловаться заезжему армейскому штабс-капитану на скуку, господствовавшую в нашем доме. И Пунин, с своей стороны, не тяготился продолжительными беседами с двенадцатилетним мальчиком; он словно сам искал их. Сколько переслушал я его рассказов, сидя с ним в пахучей тени, на сухой и гладкой траве, под навесом серебристых тополей или в камышах над прудом, на крупном и сыроватом песку обвалившегося берега, из которого, странно сплетаясь, как большие черные жилы, как змеи, как выходцы подземного царства, торчали узловатые коренья! Пунин в подробности рассказал мне свою жизнь, все свои счастливые и несчастные случаи, которым я всегда так искренно сочувствовал! Его отец был дьяконом; «чудесный был человек — однако под хмелем строг до беспамятства».

Сам Пунин учился в семинарии; но, не выдержав «поронций» и не ощущая в себе расположения к духовному званию, сделался мирянином, вследствие чего произошел все мытарства и стал, наконец, бродягой. «И не встреться я с благодетелем моим Парамоном Семенычем,— прибавлял обыкновенно Пунин (он иначе не величал Бабурина),— погряз бы я в пучине бедствий, безобразия и пороков!» Пунин любил высокопарные выражения — и если не ко лжи, то к сочинительству и преувеличиванию поползновение имел сильное; всему-то он дивился, от всего приходил в восторг... И я, в подражание ему, тоже пускался преувеличивать и восторгаться. «Да ты какой-то бесноватый стал — перекрестись, что ты это»,— говаривала мне старая няня. Рассказы Пунина занимали меня чрезвычайно; но больше даже его рассказов любил я чтения, которые он производил со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно

раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением немотствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина — в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь! Раздаются наконец первые звуки чтения! Всё вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного! Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы — а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас происходит важное, великое, тайное дело... Пунин преимущественно придерживался стихов — звонких, многошумных стихов; душу свою он готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьянелый, как исступленный, как Пифия! И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча... Это он называл читать начерно́; потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки — не то молитвенно, не то повелительно... Таким образом мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чем старее были стихи, тем больше они приходились Пунину по вкусу), но даже «Россиаду» Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая «Россиада», меня в особенности восхитила. Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки и ноги холодели, как только оно упоминалось! «Да,— говаривал, бывало, Пунин, значительно кивая головою,— Херасков — тот спуску не дает. Иной раз такой выдвинет стишок — просто зашибет... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а уж он — вон где — и трубит, трубит, аки кимвалон! Зато уж и имя ему дано — одно слово: Херрасков!!» Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге, а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели пиита. В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу, на поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и пошлое; бабушка их даже не называла стихами, а «кантами»; всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных

«ПУНИН И БАБУРИН».
СТРАНИЦА ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА, 1874 г.
Национальная библиотека, Париж.

понятиях, я неминуемо должен был либо с гадливостью отвернуться от Пунина — он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки,— либо, увлеченный и побежденный им, последовать его примеру, заразиться его стихобесием... Оно так и случилось. Я тоже начал читать стихи, или, как выражалась бабушка, воспевать канты... даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стишка:

Вот верти́тся толстый вал
И зубцами защелка́л...

Пунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил, как низкий и недостойный лирного бряцанья.

Увы! все эти попытки, и волнения, и восторги, наши уединенные чтения, наша жизнь вдвоем, наша поэзия — всё покончилось разом. Как громовой удар, на нас внезапно обрушилась беда.

Бабушка во всем любила чистоту и порядок, ни дать ни взять тогдашние исполнительные генералы; в чистоте и порядке должен был содержаться и сад наш. А потому от времени до времени в него «нагоняли» бестягольных мужиков-бобылей, заштатных или опальных дворовых — и заставляли их чистить дорожки, полоть гряды, просевать и разрыхлять землю под клумбы и т. п. Вот, однажды, в самый развал именно такого пригона, бабушка отправилась в сад и меня с собой взяла. Всюду, между деревьев, по луговинам, мелькали белые, красные, сизые рубахи; всюду слышался скрежет и лязг скребущих лопат, глухой стук земляных комьев о косо поставленные сита. Проходя мимо рабочих, бабушка своим орлиным оком тотчас заметила, что один из них и усердствовал меньше прочих, и шапку снял как будто нехотя. Это был очень еще молодой парень с испитым лицом и впалыми тусклыми глазами. Нанковый кафтан, весь прорванный и заплатанный, едва держался на узких его плечах.

— Кто это?— спросила бабушка у Филиппыча, на цыпочках выступавшего за нею следом.

— Вы... про кого... изволите...— залепетал было Филиппыч.

— О, дурак! Я про этого говорю, что волком на меня посмотрел. Вон стоит — не работает.

— Этот-с! Да-с... Э... э... это Ермил, Павла Афанасьева покойного сынок.

Этот Павел Афанасьев был лет десять тому назад мажордомом у бабушки и пользовался особенным ее расположением; но, внезапно впав в немилость, так же внезапно превратился в скотника, да и в скотниках не удержался, покатился дальше, кубарем, очутился, наконец, в курной избе заглазной деревни на пуде муки месячины и умер от паралича, оставив семью в крайней бедности.

— Ага! — промолвила бабушка,— яблоко, видно, недалеко от яблони падает. Ну, придется распорядиться и с этим. Мне таких, что исподлобья смотрят,— не надобно.

Бабушка вернулась домой— и распорядилась. Часа через три Ермила, совершенно «снаряженного», привели под окно ее кабинета. Несчастный мальчик отправлялся на поселение; за оградой, в нескольких шагах от него, виднелась крестьянская тележонка, нагруженная его бедным скарбом. Такие были тогда времена! Ермил стоял без шапки, понурив голову, босой, закинув за спину связанные веревочкой сапоги; лицо его, обращенное к барскому дому, не выражало ни отчаяния, ни скорби, ни даже изумления; тупая усмешка застыла па бесцветных губах; глаза, сухие и съеженные, глядели упорно в землю. Бабушке доложили о нем. Она встала с дивана, подошла, чуть шумя шёлковым платьем, к окну кабинета и, приложив к переносице золотой двойной лорнет, посмотрела на нового ссыльного. В кабинете, кроме ее, находились в ту минуту четыре человека: дворецкий, Бабурин, дневальный казачок и я.

Бабушка качнула головою сверху вниз...

— Сударыня,— раздался вдруг хриплый, почти сдавленный голос. Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснело... покраснело до темноты; под насупленными бровями появились маленькие, светлые, острые точки... Не было сомнения: это он, это Бабурин произнес слово: «Сударыня!»

Бабушка тоже оглянулась и перевела свой лорнет с Ермила на Бабурина.

— Кто тут... говорит? — произнесла она медленно... в нос. Бабурин слегка выступил вперед.

— Сударыня,— начал он,— это я... решился. Я полагал... Я осмеливаюсь доложить вам, что вы напрасно изволите поступать так... как вы сейчас поступить изволили.

— То есть? — повторила бабушка тем же голосом и не отводя лорнета.

— Я имею честь...— продолжал Бабурин отчетливо, хотя с видимым трудом выговаривая каждое слово,— я изъясняюсь насчет этого парня, что ссылается на поселение... безо всякой с его стороны вины. Такие распоряжения, смею доложить, ведут лишь к неудовольствиям... и к другим дурным,— чего боже сохрани! — последствиям и суть не что иное, как превышение данной господам помещикам власти.

— Ты... где учился? — спросила бабушка после некоторого молчания и опустила лорнет.

Бабурин изумился.

— Чего изволите-с? — пробормотал он.

— Я спрашиваю тебя: где ты учился? Ты такие мудреные слова употребляешь.

— Я... воспитание мое...— начал было Бабурин.

Бабушка презрительно пожала плечом.

— Стало быть,— перебила она,— тебе мои распоряжения не нравятся. Это мне совершенно всё равно — в своих подданных я властна и никому за них не отвечаю,— только я не привыкла, чтобы в моем присутствии рассуждали и не в свое дело мешались. Мне ученые филантропы из разночинцев не надобны; мне слуги надобны безответные. Так я до тебя жила — и после тебя я так жить буду. Ты мне не годишься: ты уволен.— Николай Антонов,— обратилась бабушка к дворецкому,— рассчитай этого человека; чтобы сегодня же к обеду его здесь не было. Слышишь? Не введи меня в гнев. Да и другого того... дурака-приживальщика с ним отправить.— Чего ж Ермилка ждет? — прибавила она, снова глянув в окно.— Я его осмотрела. Ну, чего еще? — Бабушка махнула платком в направлении окна, как бы прогоняя докучливую муху. Потом она села на кресло и, обернувшись к нам, промолвила угрюмо: — Ступайте все люди вон!

Все мы удалились — все, кроме казачка-дневального, к которому слова бабушки не относились, потому что он не был «человеком».

Приказ бабушки был исполнен в точности. К обеду и Бабурин и друг мой Пунин выехали из усадьбы. Не берусь описать мое горе, мое искреннее, прямо детское отчаяние. Оно было так сильно, что заглушало даже то чувство благоговейного удивления, которое внушила мне

смелая выходка республиканца Бабурина. После разговора с бабушкой он тотчас отправился к себе в комнату и начал укладываться. Меня он не удостоивал ни словом, ни взглядом, хотя я всё время вертелся около него, то есть в сущности — около Пунина. Этот совсем потерялся и тоже ничего не говорил, зато беспрестанно взглядывал на меня, и в глазах его стояли слезы... всё одни и те же слезы: они не проливались и не высыхали. Он не смел осуждать своего «благодетеля». Парамон Семеныч не мог ни в чем ошибиться — но очень ему было томно и грустно. Мы с Пуниным попытались было прочесть на прощание нечто из «Россиады»; мы даже заперлись для этого в чулан — нечего было думать идти в сад,— но на первом же стихе запнулись оба, и я разревелся, как теленок, несмотря на мои двенадцать лет и претензии быть большим. Уже сидя в тарантасе, Бабурин обратился наконец ко мне и, несколько смягчив обычную строгость своего лица, промолвил: «Урок вам, молодой господин; помните нынешнее происшествие и, когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный... Смотрите, берегитесь: этак ведь нельзя!» Сквозь слезы, обильно струившиеся по моему носу, по губам, по подбородку, я пролепетал, что буду... буду помнить, что обещаюсь... сделаю... непременно... непременно...

Но тут на Пунина, с которым мы перед тем раз двадцать обнялись (мои щеки горели от прикосновения его небритой бороды, и весь я был пропитан его запахом),— тут на Пунина нашло внезапное исступление! Он вскочил на сиденье тарантаса, поднял обе руки кверху и начал громовым голосом (откуда он у него взялся!) декламировать известное переложение Давидова псалма Державиным, пиитой на этот раз — а не царедворцем:

Восстань, всесильный бог! Да судит
Земных богов во сонме их!..
Доколь вам, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть сохранять законы...

— Сядь! — сказал ему Бабурин.

Пунин сел, но продолжал:

Ваш долг — спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров,
От сильных защищать бессильных...

Пунин при слове «сильных» указал пальцем па барский дом, а потом ткнул им в спину сидевшего на козлах кучера:

Исторгнуть бедных из оков!
Не внемлют! Видят и не знают...

Прибежавший из барского дома Николай Антонов закричал во все горло кучеру: «Пошел! ворона! пошел, не зевай!» — и тарантас покатился. Только издали еще слышалось:

Воскресни, боже, боже правый!..
Приди, суди, карай лукавых —
И будь один царем земли!

— Экой паяц! — заметил Николай Антонов.

— Недостаточно пороли в юности,— доложил появившийся на крылечке дьякон. Он приходил осведомиться, в котором часу угодно барыне назначить всенощную.

В тот же день, узнав, что Ермил находится еще на деревне и только на другое утро рано препровождается в город для исполнения известных законных формальностей, которые, имея целью ограничить произвол помещиков, служили только источником добавочных доходов для предержащих властей,— в тот же день я отыскал его и, за неимением собственных денег, вручил ему узелок, в который увязал два носовых платка, пару стоптанных башмаков, гребенку, старую ночную рубашку и совсем новенький шёлковый галстух. Ермил, которого мне пришлось разбудить — он лежал на задворке, возле телеги, на охапке соломы,— Ермил довольно равнодушно, не без некоторого даже колебания, принял мой подарок, не поблагодарил меня, тут же уткнул голову в солому и снова заснул. Я ушел от него несколько разочарованный. Я воображал, что он изумится и возрадуется моему посещению, увидит в нем залог моих будущих великодушных намерений,— и вместо того...

«Эти люди — что ни говори — бесчувственны»,— думалось мне на обратном пути.

Бабушка, которая почему-то оставляла меня в покое весь этот памятный для меня день, подозрительно оглянула меня, когда я стал после ужина с ней прощаться.

— У вас глаза красны,— заметила она мне по-французски,— и от вас избою пахнет. Не буду входить в разбирательство ваших чувств и ваших занятий — я не же-

лала бы быть вынужденной наказать вас,— но надеюсь, что вы оставите все ваши глупости и будете снова вести себя, как прилично благородному мальчику. Впрочем, мы теперь скоро вернемся в Москву, и я возьму для вас гувернера — так как я вижу, чтобы справиться с вами, нужна мужская рука. Ступайте.

Мы действительно скоро вернулись в Москву.

II

1837 г.

Прошло семь лет. Мы по-прежнему жили в Москве — но я был уже второкурсным студентом, и власть бабушки, заметно одряхлевшей в последние годы, не тяготела надо мною. Изо всех моих товарищей я особенно близко сошелся с некиим Тарховым, веселым и добродушным малым. Наши привычки, наши вкусы совпадали. Тархов был большой охотник до поэзии и сам пописывал стишки, во мне тоже не пропали семена, посеянные Пуниным. У нас, как это водится между сблизившимися молодыми людьми, не было тайн друг перед другом. Но вот в течение нескольких дней я стал замечать в Тархове какую-то оживленность и тревогу... Он пропадал по часам — и я не знал, где он пропадает, чего прежде никогда не случалось! Я уже собирался потребовать от него, во имя дружбы, полной исповеди... Он сам предупредил меня.

Однажды я сидел у него в комнате...

— Петя,— заговорил он вдруг, весело краснея и глядя мне прямо в лицо,— я должен познакомить тебя с моею Музой.

— С твоей музой! Как ты странно выражаешься! Точно классик! (Романтизм находился тогда, в 1837 году, в полном разгаре.) Разве я с нею давно не знаком — с твоей музой! Новое стихотворение ты написал, что ли?

— Ты меня не понимаешь,— возразил Тархов, всё продолжая смеяться и краснеть.— Я познакомлю тебя с живою Музой.

— А! вот как! Но почему же она — твоя?

— Да потому же... Вот, постой, кажется, это она идет сюда.

Послышался легонький стук проворных каблучков — дверь распахнулась — и на пороге показалась девушка лет восемнадцати, в пестреньком ситцевом платьице, с черной суконной мантильей на плечах, с черной соломенной

шляпой на белокурых, немного взбитых волосах. Увидев меня, она испугалась и застыдилась, и подалась назад... но Тархов тотчас вскочил ей навстречу.

— Пожалуйста, пожалуйста, Муза Павловна, войдите: это мой закадычный приятель, прекраснейший человек и смирный-пресмирный. Его вам нечего бояться. Петя,— обратился он ко мне,— рекомендую тебе мою Музу — Музу Павловну Виноградову, хорошую мою знакомую.

Я поклонился.

— Как же так... Музу? — начал было я...

Тархов засмеялся.

— А ты не знаешь, что в святцах существует такое имя? И я, брат, не знал, пока вот не встретился с этой милой барышней. Муза! этакое имя прелестное! И так к ней идет!

Я вторично поклонился хорошей знакомой моего приятеля. Она отделилась от двери, ступила раза два и остановилась. Очень она была миловидна, но с мнением Тархова я согласиться не мог и даже подумал про себя: «Ну, какая она муза!»

Черты ее кругловатого розового лица были тонки и мелки; свежей, бойкой молодостью веяло от всей ее миниатюрной, стройной фигуры; но музу, олицетворение музы я в то время — да и не я один — все мы, юнцы, представляли себе совсем иначе! Прежде всего муза непременно должна была быть черноволоса и бледна! Презрительно-гордое выражение, едкая усмешка, вдохновенный взгляд и то «нечто», таинственное, демоническое, фатальное — вот без чего мы не могли вообразить музу, музу Байрона, тогдашнего властителя людских дум. Ничего подобного не замечалось на лице вошедшей девушки. Будь я тогда постарше да поопытнее, я бы, вероятно, обратил больше внимания на ее глаза, маленькие, углубленные, с припухлыми веками, но черные, как агат, живые и светлые — что редко в белокурых. Не поэтические наклонности открыл бы я в их торопливом, как бы скользившем взгляде, а признаки страстной, до самозабвения страстной души... Но я был тогда еще очень юн.

Я протянул Музе Павловне руку — она не подала мне своей,— она не заметила моего движения; села на пододвинутый Тарховым стул, но шляпы и мантильи не сняла.

Ей видимо было неловко: мое присутствие ее стесняло. Она дышала неровно и протяжно, словно воздуху в себя набирала.

— Я к вам на минуточку, Владимир Николаич,— начала она,— голос у ней был очень тихий и грудной; в ее алых, почти детских устах он казался немного странным,— но наша мадам никак не хотела отпустить меня больше, чем на полчаса. Третьего дня вам нездоровилось... так вот я подумала...

Она запнулась, наклонила голову. Осененные густыми, низкими бровями, неуловимо бегали — туда-сюда — ее темные глазки. В жаркое лето, между былинками высохших трав, попадаются такие же темные, проворные и блестящие жучки.

— Какая же вы милая, Муза, Музочка! — воскликнул Тархов.— Но посидите, посидите немножко... Мы вот самовар поставим.

— Ах нет, Владимир Николаевич, как возможно! Я сию секунду должна уйти.

— Отдохните хоть крошечку. Вы запыхались... Вы устали.

— Я не устала. Я... не оттого... Только вот... дайте мне другую книжку: эту я прочла.— Она достала из кармана истрепанный серый томик московского издания.

— Извольте, извольте. А что? понравилась она вам? — «Рославлев»,— прибавил Тархов, обратившись ко мне.

— Да. Только «Юрий Милославский», мне кажется, гораздо лучше. Наша мадам очень строга насчет книг. Говорит, они работать мешают. Потому, по ее понятиям...

— Но ведь и «Юрий Милославский» не чета «Цыганам» Пушкина? А? Муза Павловна? — перебил с улыбкой Тархов.

— Еще бы! «Цыганы»...— протянула она с расстановкой.— Ах да, вот еще что, Владимир Николаич: завтра не приходите... куда знаете.

— Почему же?

— Нельзя.

— Да почему?

Девушка пожала плечами и разом, словно что ее толкнуло, встала со стула.

— Куда же вы, Муза, Музочка! — жалобно возопил Тархов.— Посидите еще!

— Нет, нет, нельзя.— Она проворно подошла к двери, взялась за ручку...

— Ну хоть книжку возьмите!

— В другой раз.

Тархов бросился к девушке, но та мгновенно юркнула вон из комнаты. Он чуть не стукнулся носом о дверь.

— Экая! настоящая ящерица! — проговорил он не без досады, а потом задумался.

Я остался у Тархова. Надо ж было узнать, чтó всё это значило. Тархов не стал скрытничать. Он рассказал мне, что эта девушка — мещаночка, швея; что недели три тому назад он в первый раз увидал ее в модной лавке, куда он зашел заказать шляпку по поручению сестры, живущей в провинции; что он с первого взгляда в нее влюбился и что ему на другой же день удалось заговорить с ней на улице; что она сама к нему, кажется, неравнодушна.

— Только ты, пожалуйста, не думай,— прибавил он с жаром,— не воображай чего-нибудь дурного о ней. По крайней мере до сих пор еще ничего не произошло между нами такого...

— Дурного,— подхватил я,— не сомневаюсь; не сомневаюсь также и в том, что ты об этом искренно сожалеешь, дружище! Потерпи — всё уладится.

— Надеюсь! — промолвил Тархов со смехом, хоть и сквозь зубы.— Но, право, брат, эта девушка... Я тебе скажу — это тип, знаешь, из новых. Ты не успел разглядеть ее хорошенько. Она дичок; у! какой дичок! И с норовом! Да еще с каким! Впрочем, самая эта дикость мне в ней нравится. Признак самостоятельности! Я, брат, просто по уши в нее врезался!

Тархов пустился толковать о своем «предмете» и прочел мне даже начало стихотворения, озаглавленного: «Моя Муза». Его сердечные излияния мне не пришлись по вкусу. Я втайне завидовал ему. Я скоро ушел от него.

Несколько дней спустя мне случилось проходить по одному из рядов Гостиного двора. День был субботний; покупщиков набралось пропасть; отовсюду, посреди давки и толкотни, раздавались зазывные крики сидельцев. Купив, что мне было нужно, я думал только о том, как бы поскорее отделаться от их назойливого приставанья — как вдруг остановился... поневоле: в одной фруктовой лавке я увидал знакомую моего приятеля — Музу, Музу Павловну! Она стояла ко мне боком — и, казалось, чего-то дожидалась. Немного поколебавшись, я решился подойти и заговорить с нею. Но не успел я переступить порог лавки и снять картуз — как она с ужасом отшатнулась

и, проворно обернувшись к старичку в фризовой шинели, которому лавочник отвешивал фунт изюму, схватила его за руку, как бы прибегая под его защиту. Тот, в свою очередь, обернулся к ней лицом — и представьте мое изумление! Кого я узнаю в нем? Пунина!

Да, это был он; это были его воспаленные глазки, его пухлые губы, его повислый мягкий нос. Он даже мало изменился в эти семь лет; разве обрюзг немного.

— Никандр Вавилыч! — воскликнул я.— Вы меня не узнаете?

Пунин встрепенулся, раскрыл рот, уставился на меня...

— Не имею чести,— начал было он — и вдруг запищал: — Троицкий барчук! (Имение моей бабушки прозывалось Троицким.) Неужели троицкий барчук? — Фунт изюму вывалился из его рук.

— Точно так,— ответил я и, подняв с полу покупку Пунина, облобызался с ним.

Он задыхался от радости, от волнения; он чуть не прослезился, снял шапку,— причем я мог убедиться, что последние следы волосиков исчезли с его «яйца»,— достал со дна ее платок, высморкался, запихнул шапку за пазуху вместе с изюмом, надел ее снова, снова уронил изюм... Не знаю, как держала себя Муза во все это время: я старался на нее не глядеть. Я не полагаю, чтобы волнение Пунина происходило от излишней привязанности к моей особе: просто его натура не выдерживала никакого неожиданного толчка. Нервозность бедняков!

— Пойдемте к нам, к нам, голубчик,— залепетал он наконец,— ведь вы не побрезгаете посетить наше укромное гнездышко? Вы, я вижу, студент...

— Помилуйте, я, напротив, буду очень рад.

— Вы теперь свободны?

— Совершенно свободен.

— И прекрасно! Как Парамон Семеныч будет доволен! Сегодня и он раньше обыкновенного домой возвращается, и ее вот мадам отпускает по субботам. Да, постойте, извините, я совсем с панталыку сбился. Вы ведь с племянницей нашей незнакомы?

Я поспешил ввернуть, что не имел еще удовольствия...

— Само собой разумеется! Где вы могли с нею встретиться! Музочка... Заметьте, милостивый государь: эту девицу зовут Музой — и это не прозвище, а настоящее ее имя... Каково предопределение? Музочка, представляю тебя господину... господину...

— Б...у,— подсказал я.

— Б...у,— повторил он.— Музочка! Внимай! Преотличнейшего, прелюбезнейшего юношу видишь ты перед собою. Меня с ними судьба свела, когда они еще совсем в младых летах были! Прошу любить да жаловать!

Я отвесил низкий поклон. Муза, красная, как маков цвет, вскинула исподлобья глазами и тотчас потупилась.

«А! — подумал я,— ты из тех, что в трудных случаях не бледнеют, а краснеют: это к соображению принять следует».

— Не взыщите, она у нас не модница,— заметил Пунин и вышел из лавки на улицу; мы с Музой последовали за ним.

Дом, в котором квартировал Пунин, находился в довольно большом расстоянии от Гостиного двора, а именно на Садовой улице. Доро́гой мой бывший наставник по части поэзии успел сообщить мне немало подробностей о своем житье-бытье. Со времени нашей разлуки и он и Бабурин порядком поколесили по святой Руси и только недавно, полтора года тому назад, нашли постоянный приют в Москве. Бабурину удалось поступить главным письмоводителем в контору богатого купца-фабриканта.

— Местечко не доходное,— заметил со вздохом Пунин,— работы много, пользы мало... да что будешь делать? И то — слава богу! Я тоже стараюсь приобресть кое-что перепиской да уроками; только старания мои до сих пор остаются безуспешны. Почерк у меня, вы, может, помните, старозаветный, для нынешнего вкуса неприветный, а что насчет уроков — много мне препятствует недостаток приличной одежды; к тому же я страшусь, что и в деле преподавания — преподавания российской словесности — я также на нынешний вкус непригодный; оттого-то я сижу голодный. (Пунин засмеялся своим сиплым, глухим смехом. Он сохранил прежний, несколько возвышенный склад речи и прежнюю замашку рифмовать.) Все к новизнам, к новизнам обратились! Чай, и вы старых богов уже не почитаете, к новым припадаете?

— А вы, Никандр Вавилыч, неужели все еще уважаете Хераскова?

Пунин остановился и разо́м взмахнул обеими руками.

— В высшей степени, сударь мой! В выс... шей сте... пе... ни!

— И Пушкина не читаете? Пушкин вам не нравится?

Пунин опять вознес руки выше головы.

— Пушкин? Пушкин есть змея, скрытно в зеленых ветвях сидящая, которой дан глас соловьиный!

Пока мы таким образом беседовали с Пуниным, осторожно выступая по неровно сложенным кирпичным тротуарам «белокаменной» Москвы, той самой Москвы, в которой нет ни одного камня и которая вовсе не бела,— Муза тихонько шла с нами рядом, по ту сторону от меня. Говоря о ней, я назвал ее: ваша племянница. Пунин помолчал немного, почесал затылок и сообщил мне вполголоса, что он называет ее этим именем... только так; что она ему нисколько не доводится сродни: что она сирота, найденная и призренная Бабуриным в городе Воронеже; но что он, Пунин, мог бы величать ее дочерью, так как любит ее не хуже дочери настоящей. Я не сомневался в том, что, хотя Пунин нарочно понижал голос, Муза очень хорошо слышала всё, что он говорил: и сердилась-то она, и робела, и стыдилась; тени и краски перебегали у ней по лицу, и всё на нем слегка двигалось: веки и брови, и губы, и узенькие ноздри. Очень всё это было мило, забавно и странно.

Но вот мы достигли наконец «укромного гнездышка». И точно: очень оно было укромно, это гнездышко. Оно состояло из небольшого, чуть в землю не вросшего, одноэтажного домика с покривившейся тесовой крышей и четырьмя тусклыми окошечками на переднем фасе. Убранство комнат было самое бедное, не совсем даже опрятное. Между окнами и по стенам висело около дюжины крошечных деревянных клеток с жаворонками, канарейками, щеглами, чижами. «Мои подданные!» — торжественно проговорил Пунин, указывая на них пальцем. Не успели мы войти и осмотреться, не успел Пунин откомандировать Музу за самоваром, как появился и сам Бабурин. Он показался мне постаревшим гораздо больше Пунина, хотя походка его осталась твердою и общее выражение лица сохранилось; но он похудел, сгорбился, щеки осунулись, и его черную густую щетину — «седой волос развил». Меня он не узнал и никакого особенного удовольствия не выказал, когда Пунин назвал меня; он даже глазами не улыбнулся, едва головой кивнул; спросил — весьма небрежно и сухо — жива ли моя *бабка*, да и только. «Меня, мол, дворянским

посещением не удивишь, и нисколько мне оно не лестно». Республиканец остался республиканцем. Муза вернулась; дряхлая старушонка внесла за нею плохо вычищенный самовар. Пунин засуетился, стал меня потчевать; Бабурин сел за стол, подпер голову обеими руками и провел кругом усталый взгляд. За чаем он, однако, разговорился. Положением своим он был недоволен. «Кулак, не человек,— так отзывался он о своем хозяине,— подначальные люди для него — сор, ничего не значащий; а сам давно ли сермягу таскал? Жестокость одна да алчность. Хуже коронной — служба! Да и вся здешняя торговля на одном надувательстве стоит и им только держится!» Слушая такие невеселые речи, Пунин вздыхал сокрушенно, поддакивал, покачивал головою то сверху вниз, то с боку на бок; Муза упорно молчала... Ее, очевидно, мучила мысль: что́ я такое, скромный ли человек или болтун? И если я скромничаю, то не с умыслом ли? Ее черные, быстрые, беспокойные глаза так и мелькали под полуопущенными веками. Только однажды взглянула она на меня, да так пытливо, пронзительно, почти злобно... Я даже вздрогнул. Бабурин с нею почти не заговаривал; но всякий раз, когда он обращался к ней, в его голосе слышалась угрюмая, не отеческая ласка.

Пунин, напротив, то и дело заигрывал с Музой; однако она ему неохотно отвечала. Он называл ее снегуркой, снежинкой.

— Почему вы Музе Павловне такие имена даете? — спросил я.

Пунин засмеялся.

— А потому, что очень она у нас холодная.

— Благоразумная,— подхватил Бабурин,— как следует быть молодой девице.

— Мы можем ее и хозяюшкой величать,— воскликнул Пунин.— Ась? Парамон Семеныч? — Бабурин нахмурился; Муза отвернулась... Я тогда не понял этого намека.

Так прошло часа два... не очень оживленно, хотя Пунин всячески старался «занять честную компанию». Он, между прочим, прикорнул перед клеткой одной из своих канареек, раскрыл дверцы и скомандовал: «На *кумпол*! Валяй концерт!» Канарейка тотчас выпорхнула, села на *кумпол*, то есть на голое темя Пунина и, поворачиваясь с боку на бок и потрясая крылышками, защебетала изо всех сил. Во всё продолжение концерта Пунин не шевелился и только пальцем слегка дирижировал да глаза

ежил. Я не мог не расхохотаться... но ни Бабурин, ни Муза не смеялись.

Перед самым уходом моим Бабурин удивил меня неожиданным вопросом. Он пожелал узнать от меня, как от человека, который занимается в университете, что за личность был Зенон и какого я о нем понятия?

— Какой Зенон? — спросил я не без изумления.

— Зенон, древний мудрец. Неужели он остался вам неизвестным?

Я смутно помнил имя Зенона как основателя стоической школы; а впрочем, решительно ничего больше о нем не знал.

— Да, он был философ,— проговорил я наконец.

— Зенон,— продолжал с расстановкой Бабурин,— тот самый есть мудрец, который объяснил, что страдание не есть зло, ибо терпение всё превозмогает, а добро есть на сем свете одно: справедливость; да и самая добродетель есть не что иное, как справедливость.

Пунин с благоговением приник ухом.

— Сообщил мне это изречение один здешний обыватель, у коего много обретается старинных книг,— продолжал Бабурин,— очень оно мне понравилось. Но вы, я вижу, такого рода предметами не занимаетесь.

Бабурин сказал правду. Такими предметами я не занимался — точно. Со времени моего поступления в университет я стал республиканцем не хуже самого Бабурина. О Мирабо и Робеспьере я поговорил бы с наслажденьем. Да что Робеспьер!.. У меня над письменным столом висели литографированные портреты Фукиэ-Тенвилля и Шалиэ! Но Зенон!! Откуда принесло Зенона?

Прощаясь со мною, Пунин очень настаивал на том, чтобы я посетил их на следующий день, в воскресенье; Бабурин не приглашал меня вовсе и даже заметил сквозь зубы, что беседа с людьми простыми, разночинцами, не может мне доставить большое удовольствие и что, вероятно, моей *бабке* будет неприятно... На этом слове я, однако, перебил его речь и дал ему понять, что бабушка мне больше не указка.

— А во владение имениями не вступили? — спросил Бабурин.

— Нет, не вступил,— отвечал я.

— Ну, и стало быть...— Бабурин не докончил начатой фразы; но я ее докончил за него: «Стало быть, я мальчик».

— Прощайте,— сказал я громко и удалился.

Я уже выходил со двора на улицу... Муза вдруг выбежала из дому и, сунув мне в руку скомканную бумажку, тотчас скрылась. У первого фонарного столба я развернул эту бумажку. Она оказалась запиской. С трудом разобрал я бледные, карандашом начертанные строки. «Ради бога,— писала мне Муза,— приходите завтра после обедни в Александровский сад возле башни Кутафьи я буду ждать вас не откажите мне не сделайте меня несчастной мне непременно нужно вас видеть». Орфографических ошибок в этой записке не было, но не было также знаков препинания. Я вернулся домой в недоумении.

Когда за четверть часа до назначенного времени стал я на следующий день подходить к башне Кутафье (дело было в начале апреля, почки наливались, травка зеленела, и воробьи шумно чирикали и дрались в обнаженных кустах сирени), я, к немалому моему удивлению, увидел в сторонке, недалеко от ограды, Музу. Она предупредила меня. Я направился было к ней; но она сама пошла мне навстречу.

— Пойдемте к Кремлевской стене,— шепнула она уторопленным голосом, бегая по земле опущенными глазами,— а то здесь люди.

Мы поднялись по дорожке в гору.

— Муза Павловна,— начал было я... Но она тотчас меня перебила.

— Пожалуйста,— заговорила она тем же порывистым и тихим голосом,— не судите меня, не думайте чего нехорошего. Я вам письмо написала, свиданье назначила,— потому... я боялась... Мне вчера показалось,— вы словно всё посмеивались. Послушайте,— прибавила она с внезапным усилием, и остановилась, и повернулась ко мне,— послушайте: если вы скажете, с кем... если вы назовете, у кого мы встретились, я брошусь в воду, я утоплюсь, я руки на себя наложу!

Она тут в первый раз взглянула на меня тем, уже знакомым мне, пытливым и острым взглядом.

«А ведь она, пожалуй, и в самом деле... чего доброго?» — подумалось мне.

— Помилуйте, Муза Павловна,— поспешно промолвил я,— как вы можете иметь обо мне такое дурное мнение? Неужели я способен выдать приятеля и повредить вам? Да и, наконец, в ваших отношениях, сколько я знаю, нет ничего предосудительного... Ради бога, успокойтесь.

Муза выслушала меня, не трогаясь с места и не глядя на меня более.

— Я вам вот еще что должна сказать,— начала она, снова подвигаясь вперед по дорожке,— а то вы можете подумать: да она сумасшедшая! Я вам должна сказать: на мне этот старик жениться хочет!

— Какой старик? Лысый? Пунин?

— Нет — не тот! другой... Парамон Семеныч.

— Бабурин?

— Он самый.

— Неужто? Он вам предложение сделал?

— Сделал.

— Но вы, конечно, не согласились?

— Нет, согласилась... потому что я тогда ничего не понимала. Теперь — другое дело.

Я руками всплеснул.

— Бабурин — и вы! Да ведь ему под пятьдесят лет!

— Он говорит: сорок три. Да это всё равно. Будь ему двадцать пять лет — я за него все-таки не выйду. Что за радость! Целая неделя пройдет — он и не улыбнется ни разу! Парамон Семеныч мой благодетель, очень я ему обязана, он меня призрел, воспитал, я бы пропала без него, я должна почитать его, как отца... Но женой его быть! Лучше смерть! Лучше прямо в гроб!

— Что это вы всё о смерти упоминаете, Муза Павловна?..

Муза опять остановилась.

— Да уж будто жизнь таковó красна? Я и знакомого-то вашего, Владимира-то Николаича, можно сказать, с тоски да с печали полюбила,—а тут Парамон Семеныч с своими предложениями... Пунин, тот хотя стихами надоедает, да не пугает по крайности; не заставляет Карамзина читать по вечерам, когда у меня от усталости голова с плеч валится! И на что мне эти старики? Еще холодной меня величают. С ними — да горячей быть? Станут принуждать — уйду. Сам же Парамон Семеныч всё говорит: свобода! свобода! Ну вот и я захотела свободы. А то — что ж это такое? Всем воля, а меня в тюрьме держать? Я ему сама скажу. А коли вы меня выдадите или хоть намекнете — помните: только меня и видали!

Муза стала поперек дороги.

— Только меня и видали! — повторила она резко. Она и на этот раз глаз не подняла; она словно знала, что непременно выдаст себя, покажет, что у ней на душе, если кто

2*

ей прямо в глаза посмотрит... И именно оттого она не иначе как в сердцах или с досады поднимала взор — и тогда уже прямо уставлялась на человека, с которым говорила... Но ее небольшое, розовое, миловидное лицо дышало бесповоротной решимостью.

«Ну,— мелькнуло у меня в голове,— Тархов прав. Эта девушка — новый тип».

— Меня вам нечего бояться,— произнес я наконец.

— В самом деле? Даже, если... Вот вы что-то такое сказали о наших отношениях... Так даже в случае...— Она умолкла.

— И в этом случае вам бояться нечего, Муза Павловна. Я вам не судья. А тайна ваша погребена — вот тут.— Я указал себе на грудь.— Поверьте, я умею ценить...

— Письмо мое с вами? — внезапно спросила Муза.

— Со мной.

— Где?

— В кармане.

— Отдайте мне... скорей, скорей!

Я достал вчерашнюю бумажку. Муза схватила ее своей жесткой ручкой, постояла немного передо мною, как бы собираясь поблагодарить меня; но вдруг вздрогнула, оглянулась и, даже не поклонившись, проворно спустилась под гору.

Я посмотрел в сторону, куда она направлялась. Невдалеке от башни, завернутая в альмавиву (альмавивы были тогда в великой моде), виднелась фигура, в которой я тотчас признал Тархова.

«А, брат,— подумал я,— тебя, стало быть, известили, если ты ее караулишь...»

И, посвистывая себе под нос, я отправился домой.

На другое утро, я только что успел напиться чаю, явился ко мне Пунин. Вошел он в комнату с довольно смущенным видом, начал поклоны отвешивать, оглядываться, извиняться в своей якобы нескромности. Я поспешил его успокоить. Грешный человек, я вообразил, что Пунин пришел с намерением занять деньжонок. Но он ограничился тем, что попросил стаканчик чайку с ромком, благо, самовар был не убран.

— Не без сердечного трепетания и замирания шел я к вам на свидание,— заговорил он, откусывая кусочек сахара.— Вас-то я не боюсь: но страшусь вашей почтенной

бабушки! Смиряет меня также моя одежда, как уже я вам докладывал.— Пунин провел пальцем по бортищу своего ветхого сюртука.— Дома-то оно ничего и на улице тоже не беда; а как попадешь в золоченые палаты, бедность твоя тебе предстанет — и конфузно тебе станет!

Я занимал две небольшие комнаты в антресоли, и, конечно, никому не пришло бы в голову назвать их палатами, да еще золочеными; но Пунин, вероятно, говорил обо всем бабушкином доме, который, впрочем, тоже не отличался роскошью. Он попенял мне, зачем я не посетил их накануне: Парамон, мол, Семеныч вас ожидал, хоть и уверял, что вы ни за что не придете. И Музочка тоже ждала вас.

— Как? и Муза Павловна? — спросил я.

— И она. А ведь миленькая у нас проявилась девица! Скажите?

— Премиленькая,— подтвердил я.

Пунин с чрезвычайной быстротой потер свою обнаженную голову.

— Красавица, сударь мой, перл или даже бриллиант, истинно вам говорю.— Он наклонился к самому моему уху.— Тоже дворянская кровь,— шепнул он мне, только — вы понимаете — с левой стороны; запретного плода вкушено было. Ну-с, родители померли, родственники отступились и бросили на произвол судьбы! Значит: отчаяние, голодная смерть! Но тут вступает Парамон Семеныч, известный, стародавний избавитель! Взял, одел, согрел — вывел птенчика; и расцвела наша радость! Я вам говорю: редчайших достоинств человек!

Пунин откинулся на спинку кресла, вскинул руками и, снова наклонившись вперед, снова начал шептать, но еще таинственнее:

— Ведь и сам Парамон Семеныч... вы не знаете? — он тоже происхождения высокого — и тоже с левой стороны. Говорят, его отец был владетельный грузинский князь из племени царя Давыда... Как вы это понимаете? В немногих словах — а сколько сказано?! Кровь царя Давыда! Каково? А по другим известиям, родоначальником Парамона Семеныча был некий индийский шах Бабур Белая Кость! Хорошо ведь и это? А?

— Что ж,— спросил я,— и его, Бабурина, тоже бросили на произвол судьбы?

Пунин опять потер свое темя.

— Непременно! И даже с большею жестокостью, чем

нашу кралечку! С раннего детства — одна борьба! Я даже, признаться, по этому случаю, вдохновясь Рубаном, четверостишие к портрету Парамона Семеныча сложил. Постойте... как бишь? Да!

С пеленок не щадя гонений лютых, рок
Ко краю бездны зол Бабурина привлек!
Но огнь во мгле, злат луч на гноище блистает,—
И се! победный лавр чело его венчает!

Пунин произнес эти стихи размеренным певучим голосом и на о́, как и следует читать стихи.

— Так вот отчего он республиканец! — воскликнул я.

— Нет, не оттого,— простодушно отвечал Пунин.— Он отцу давно простил; но несправедливость перенести никоим образом не может; чужая печаль его тревожит!

Я собирался навести речь на то, что я узнал накануне от Музы, а именно на сватовство Бабурина,— да не знал, как приступить. Пунин сам вывел меня из затрудненья.

— Вы ничего не заметили? — спросил он меня вдруг, лукаво прищурив глазки.— Как у нас были? Ничего особенного?

— Да разве было что замечать? — спросил я в свою очередь.

Пунин оглянулся через плечо, как бы желая удостовериться, что нас никто не подслушивает.

— Наша красоточка Музочка скоро станет замужней дамой!

— Как?

— Госпожой Бабуриной,— напряженно произнес Пунин и, несколько раз ударив себя ладонями по коленям, закивал головою, как фарфоровый китаец.

— Не может быть! — воскликнул я с притворным изумленьем.

Голова Пунина немедленно остановилась, и руки его замерли.

— А почему же не может быть, позвольте полюбопытствовать?

— Потому что Парамон Семеныч в отцы бы годился вашей барышне; потому что такое различие в летах исключает всякую вероятность любви — со стороны невесты.

— Исключает! — с азартом подхватил Пунин.— А благодарность? А чистота сердечная? А нежность чувств? Исключает!! Вы бы хоть то сообразить изволили: положим, Муза прекраснейшая девица; но заслужить расположение

Парамона Семеныча, быть его утехой, подпорой — супругой наконец! разве это не есть высочайшее счастие даже для такой девицы? И она это понимает! Вы посмотрите, бросьте внимательный взгляд! Музочка перед Парамоном Семенычем вся благоговение, вся трепет и восторг!

— В том-то и беда, Никандр Вавилыч, что она, как вы говорите, вся трепет. Кого любишь, перед тем не трепещешь.

— И с этим я не согласен! Вот я, например: уж больше моего, кажется, невозможно любить Парамона Семеныча, а я... я трепещу перед ним.

— Да вы — другое дело.

— Почему другое дело? почему? почему? — перебил Пунин. Я просто не узнавал его: он горячился, серьезничал, чуть не сердился — и не рифмовал.— Нет,— твердил он,— я замечаю: у вас око не проницательное! Нет! Вы не сердцеведец! — Я перестал ему противоречить... и, чтобы придать иное направление разговору, предложил заняться, по старой памяти, чтением.

Пунин помолчал.

— Из прежних? Из настоящих? — спросил он наконец.

— Нет; из новых.

— Из новых? — повторил недоверчиво Пунин.

— Из Пушкина,— отвечал я. Мне вдруг пришли в голову «Цыгане», о которых упомянул недавно Тархов. Там же, кстати, песенка поется о старом муже. Пунин поворчал немного, но я усадил его на диван, чтоб ему было удобнее слушать, и принялся читать пушкинскую поэму. Вот дошло дело до «старого мужа, грозного мужа»; Пунин выслушал песенку до конца — и вдруг порывисто поднялся.

— Не могу,— промолвил он с глубоким, меня самого поразившим, волнением,— извините меня; не могу я слушать более сего сочинителя. Он безнравственный пашквилянт; он лжец... он меня смущает. Не могу! Позвольте прекратить мое сегодняшнее посещение.

Я начал уговаривать Пунина остаться; но он настаивал на своем с каким-то тупым и испуганным упорством; повторил несколько раз, что он чувствует смущение и желает освежиться на воздухе,— и при этом его губы слегка дрожали и глаза его избегали моих глаз, точно я обидел его. Так он и ушел.

А спустя немного и я вышел из дому и отправился к Тархову.

Ни у кого не спросясь, по студенческой привычной бесцеремонности, я прямо пробрался к нему на квартиру. В первой комнате никого не было. Я кликнул Тархова по имени и, не получив ответа, хотел было удалиться; но дверь соседней комнаты растворилась — и появился мой приятель. Он как-то странно взглянул на меня и молча пожал мне руку. Я пришел к нему с тем, чтобы пересказать всё, что я узнал от Пунина; и хотя я тотчас почувствовал, что посетил Тархова не в пору, однако, поговорив немного о предметах посторонних, кончил-таки тем, что сообщил ему намерение Бабурина насчет Музы. Это известие, по-видимому, не очень его удивило; он тихонько подсел к столу и, внимательно вперив в меня глаза и безмолвствуя по-прежнему, придал чертам своим выражение... такое выражение, точно он желал сказать: «Ну, что ты еще сообщишь? Ну, излагай свои мысли». Я попристальнее посмотрел ему в лицо... Оно мне показалось оживленным, несколько насмешливым, несколько даже наглым. Но это не помешало мне «изложить свои мысли». Напротив. «Ты форс свой выказываешь,— подумалось мне,— так и я ж тебя щадить не стану!» И тут же немедленно приступил к рассуждению о вреде внезапных увлечений, об обязанности каждого человека уважать свободу и личность другого человека,— словом, приступил к преподаванью полезных и дельных советов. Разглагольствуя таким манером, я, для большей легкости, расхаживал взад и вперед по комнате. Тархов не перебивал меня и не шевелился на своем стуле: только пальцами играл по подбородку.

— Я знаю,— говорил я... (Что собственно побуждало меня говорить, мне самому оставалось неясным, вероятнее всего — зависть; не служение же нравственности в самом деле!) Я знаю,— говорил я,— что это дело не легкое, не шуточное; я уверен, что ты любишь Музу и что Муза тебя любит, что это с твоей стороны не мгновенная прихоть... Но вот, положим!.. (Тут я скрестил руки на груди.) Положим: ты удовлетворил свою страсть, а дальше что? Ведь ты не женишься на ней? И между тем ты разрушаешь счастье хорошего, честного человека, ее благодетеля и — кто знает? (тут мое лицо выразило в одно и то же время и проницательность и грусть) — быть может, и ее собственное счастье...

И т. д., и т. д., и т. д.!!!

Около четверти часа лилась моя речь. Тархов всё

молчал. Меня начинало смущать это молчание. Я изредка взглядывал на него, не столько для того, чтобы удостовериться во впечатлении, которое производили мои слова, сколько для того, чтобы понять, отчего это он не возражает и не соглашается, а сидит, словно глухонемой? Мне наконец, однако, показалось, что в лице его происходит... да, действительно происходит перемена. Оно стало выражать беспокойство, тревогу, тоскливую тревогу... Но, странное дело! то оживленное, светлое, смеющееся нечто, то, что поразило меня с самого первого взгляда на Тархова, все-таки не покидало этого встревоженного, этого тоскливого лица! Я еще не знал, поздравлять ли мне самого себя с успехом своей проповеди, как вдруг Тархов поднялся и, стиснув мне обе руки, промолвил скороговоркой:

— Благодарю, благодарю. Ты, конечно, прав... хотя, с другой стороны, можно было бы заметить... Ведь что такое собственно твой хваленый Бабурин? Честный тупец — и больше ничего! Ты его республиканцем величаешь — а он просто бука! У! Вот он что! Весь его республиканизм состоит в том, что он нигде не уживается.

— А! ты так полагаешь! Бука! не уживается!! — Но знаешь ли ты,— продолжал я с внезапной запальчивостью,— знаешь ли ты, любезный Владимир Николаич, что в наше время не уживаться нигде — это признак хорошей, благородной натуры? Одни пустые люди — дурные люди — везде уживаются и примиряются со всем! Ты говоришь: Бабурин — честный тупец!!! Что ж, по-твоему, лучше быть бесчестным остряком?

— Ты извращаешь мои слова! — воскликнул Тархов.— Я хотел только объяснить тебе, как я понимаю этого господина. Ты думаешь — он такой редкий экземпляр? Ничуть! Подобных ему людей я тоже встречал на своем веку. Сидит человек с этаким важным видом, молчит, упорствует, топорщится... Ого-го! Знать, у него внутри, там — много! А внутри-то ничего у него нет, ни единой мысли нет в его голове — одно только чувство собственного достоинства.

— Уж и это одно — почтенная вещь,— перебил я.— Но позволь спросить, где ты успел так изучить его? Ведь ты его не знаешь? Или ты его расписываешь... со слов Музы?

Тархов пожал плечом.

— Мы с Музой... не о нем разговариваем. Послу-

шай,— прибавил он с нетерпеливым движением всего тела,— послушай: коли Бабурин такая благородная и честная натура, как же это он не видит, что Муза — ему не пара? Одно из двух: либо он понимает, что совершает над ней нечто вроде насилия, во имя благодарности, там, что ли... и тогда куда девается его честность? Либо он этого не понимает... и тогда — как же не назвать его тупцом?

Я хотел было возражать — но Тархов снова схватил мои руки и снова заговорил торопливым голосом:

— Впрочем... конечно... я сознаюсь, ты прав, тысячу раз прав... Ты мне настоящий друг... но теперь оставь меня, пожалуйста.

Я изумился.

— Тебя оставить?

— Да. Вот видишь ли, я должен поразмыслить хорошенько о всем, что ты сейчас сказал... Я не сомневаюсь в том, что ты прав... но теперь оставь меня!

— Ты в таком волнении...— начал я.

— В волнении? я? — Тархов засмеялся, но тотчас спохватился.— Да; конечно. Как же иначе? Ты сам говоришь: это не шутка. Да; об этом надо подумать... наедине.— Он продолжал стискивать мне руки.— Прощай, брат, прощай!

— Прощай,— повторил я.— Прощай, брат! — Уходя, я бросил последний взгляд на Тархова. Он казался доволен. Чем? Тем ли, что я, как верный друг и товарищ, указал ему опасность пути, на который он занес ногу,— или тем, что я уходил? Разнообразнейшие мысли вертелись у меня в голове целый день до самого вечера — до самой той минуты, когда я вступил в дом, занимаемый Пуниным и Бабуриным, ибо я пошел к ним в тот же день. Я должен сознаться, что некоторые выраженья Тархова запали мне в душу... звенели у меня в ушах... И в самом деле, неужто Бабурин... неужто он не видит, что она ему не пара?

Но как же так можно: Бабурин, самоотверженный Бабурин — честный тупец!!

Пунин сказывал мне во время своего посещения, что меня у них ожидали накануне. Быть может; но в тот день решительно никто не ожидал меня... Я застал всех дома, и все удивились моему появлению. Бабурин и Пунин — оба были нездоровы; у Пунина голова болела, и он лежал

калачиком на лежанке, повязав голову пестрым платком и приложив по разрезанному огурцу к каждому виску. Бабурин страдал разлитием желчи: весь желтый, почти бурый, с темными кругами вокруг глаз, с наморщенным лбом и небритой бородой — он мало походил на жениха! Я хотел уйти... Однако меня не отпустили и даже напоили чаем. Невеселый провел я вечерок. У Музы, правда, ничего не болело, она даже дичилась меньше обыкновенного, но явно досадовала, злилась... Наконец она не вытерпела — и, подавая мне чашку чаю, торопливо прошептала:

— Вы что там ни говорите, как вы ни старайтесь, а ничего вы не поделаете... Так-то!

Я с изумлением посмотрел на нее и, улучив удобную минутку, спросил ее, тоже вполголоса:

— Какой смысл ваших слов?

— А такой смысл,— отвечала она, и черные ее глаза, злобно блеснув из-под надвинутых бровей, уперлись мне в лицо и тотчас отклонились в сторону,— такой смысл, что я всё слышала, что вы сегодня там говорили, и спасибо вам сказать не за что, а будет все-таки не по-вашему.

— Вы были там? — невольно вырвалось у меня... Но тут Бабурин насторожился и глянул в нашу сторону. Муза отошла от меня прочь.

Минут десять спустя ей опять удалось приблизиться ко мне. Ей словно было приятно говорить мне смелые и опасные вещи, и говорить их в присутствии своего покровителя, под его наблюдением, ровно настолько скрываясь, насколько оно было нужно для того, чтобы не возбудить его подозрительность. Известное дело: ходить в обрез, по самому краю пропасти — любимое женское занятие.

— Да, я была там,— шептала Муза, не меняясь в лице; только ноздри ее слегка трепетали и губы криво подергивало.— Да, и если Парамон Семеныч меня спросит, о чем я с вами теперь перешептываюсь, я сейчас ему скажу. Что мне!

— Будьте же осторожнее,— убеждал я ее,— право, кажется, они замечают...

— Я же вам говорю, что я готова всё сказать. Да и кто замечает? Один с лежанки шею вытягивает, точно больной утенок, да и не слышит ничего; а другой о философии размышляет. Вы не бойтесь! — Голос Музы слегка возвышался, и щеки ее понемногу краснели какой-то злорадной, тусклой краской; и чудесно шло это к ней, и никогда она не была так хороша собою. Убирая со стола,

расставляя по местам чашки, блюдечки, она быстро двигалась по комнате; было что-то вызывающее в ее развязной, легкой походке. «Судите, мол, меня, как знаете, а я сама по себе и вас не боюсь».

Не могу скрыть, что Муза мне казалась обаятельной именно в тот вечер. Да, думалось мне, эта злюка — это новый тип... Это — прелесть. Эти руки, пожалуй, ударить могут... Что ж! Не беда!

— Парамон Семеныч! — воскликнула она вдруг,— республика — это такое государство, где всякий делает, что ему вздумается?

— Республика не есть государство,— ответил Бабурин, подняв голову и насупив брови,— она есть такое... устройство, в котором всё основано на законе и справедливости.

— Стало быть,— продолжала Муза,— в республике никто не может принуждать другого?

— Никто не может.

— И собою всяк располагать волен?

— Волен.

— А! только это я и хотела знать.

— Это тебе — на что же?

— А так; нужно. Мне нужно было, чтобы *вы* это сказали.

— Любознательная у нас барышня,— заметил с лежанки Пунин.

Когда я вышел в переднюю, Муза проводила меня, конечно, не из вежливости, а всё из того же злорадства. Я спросил ее на прощанье:

— Неужто вы так сильно его любите?

— Люблю, не люблю ли, про то *я* знаю,— отвечала она,— а только чему быть, того не миновать.

— Смотрите, не играйте с огнем... сгорите.

— Лучше сгореть, чем замерзнуть. А вы... с вашими советами! И почем вы знаете, что он не женится на мне? Почем вы знаете, что я непременно хочу выйти замуж? Ну, я пропаду... Вам-то что за дело?

Она захлопнула за мною дверь.

Помнится, на возвратном пути домой мне было довольно приятно думать, что моему другу, Владимиру Тархову, может прийтись — ой, ой, ой, как солоно от «нового типа»... Должен же он хоть чем-нибудь поплатиться за свое счастье!

В том, что он будет счастлив, я, к сожалению, не мог сомневаться.

Прошло дня три. Я сидел у себя в комнате перед письменным столом и не столько работал, сколько собирался завтракать... услышал шорох, поднял голову и остолбенел. Передо мною — неподвижное, страшное, белое как мел, стояло привидение... стоял Пунин. Медленно мигая, глядели на меня его съеженные глазки, бессмысленный, заячий испуг выражали они, и руки висели, как плети.

— Никандр Вавилыч! Что с вами? Как вы сюда попали? Никто не видал вас? Что случилось? Да говорите же!

— Сбежала,— произнес Пунин едва слышным, сиплым шёпотом.

— Что вы говорите?

— Сбежала,— повторил он.

— Кто?

— Муза. Ушла ночью и записку оставила.

— Записку?

— Да. Благодарю, мол, но уже более не вернусь. Не ищите. Мы туда — сюда; спрашиваем кухарку: та ничего не знает. Я не могу громко говорить, извините. Голос сорвался.

— Муза Павловна вас оставила! — воскликнул я.— Скажите! Господин Бабурин должен быть в отчаянии. Что же он намерен теперь сделать?

— Ничего он не намерен сделать. Я хотел бежать к генерал-губернатору: запретил. Я хотел подать в полицию объявление: запретил и даже прогневался. Говорит: ее воля. Говорит: притеснять не желаю. Даже на службу в свою контору отправился. Только, конечно, облика человеческого уже на нем не имеется. Больно много любил он ее... Ох, ох, много мы оба ее любили!

Тут Пунин впервые обнаружил, что он не истукан, а живой человек: поднял оба кулака кверху и опустил их себе на темя, лоснившееся, как слоновая кость.

— Неблагодарная! — простонал он,— кто тебя кормил, поил, спас, обул, воспитал; кто заботился о тебе, кто всю жизнь, всю душу... А ты всё забыла? Меня бросить, конечно, не штука, но Парамона Семеныча, Парамона...

Я попросил его присесть, отдохнуть...

Пунин отрицательно покачал головою.

— Нет, не надо. Я и пришел-то к вам... не знаю, зачем. Я, как ошалелый; остаться дома одному — жутко; куда деться? Стану посреди комнаты, закрою глаза и зову: Муза! Музочка! Этак с ума сойдешь. Да нет, что я вру?

Я знаю, зачем я к вам пришел. Вы вот мне, намеднись, ту треклятую песенку прочли... помните, где говорится о старом муже? Зачем вы это сделали? Али вы уж что́ знали тогда... или догадывались? — Пунин глянул на меня.— Батюшка, Петр Петрович,— воскликнул он вдруг и затрепетал весь, — вам, быть может, известно, где она находится? Батюшка, к кому она ушла?

Я смутился и поневоле опустил глаза...

— Разве она в своем письме сказала вам,— начал я...

— Она сказала, что уходит от нас, потому что полюбила другого! Батюшка, голубчик, вы наверное знаете, где она! Спасите ее, пойдемте к ней; мы ее уговорим. Помилуйте, посудите, кого она убила? — Пунин вдруг покраснел, вся кровь прилила ему в голову, он тяжко грохнулся на колени.— Спасите, отец, пойдемте к ней!

Человек мой появился на пороге и остановился в недоумении.

Немалого труда стоило мне поднять Пунина снова на ноги, растолковать ему, что если я даже что-нибудь и подозреваю, то все-таки нельзя действовать так, сплеча, особенно вдвоем; что этим только всё дело испортишь, что я готов попытаться, но ни за что не отвечаю. Пунин не возражал мне, но и не слушал меня и лишь изредка повторял своим надорванным голоском:

— Спасите, спасите ее и Парамона Семеныча.— Он наконец заплакал.— Скажите по крайней мере одно,— спросил он,— что... *он* хорош собою, молод?

— Молод,— отвечал я.

— Молод,— повторил Пунин, размазывая по щекам слезы.— И она молода... Вот в чем вся беда!

Эта рифма пришлась случайно; бедному Пунину было не до поэзии. Я бы дорого дал, чтобы снова услышать от него витиеватые речи или хотя его почти беззвучный смех... Увы! те речи исчезли навсегда,— я не слыхал более его смеха.

Я обещался навестить его, как только узнаю что-нибудь положительное... Тархова я, однако, не назвал. Пунин вдруг опустился весь.

— Хорошо-с, хорошо-с, спасибо-с,— заметил он с убогой ужимочкой и вставляя слово-ерики, чего он прежде никогда не делал,— только, знаете-с, Парамону Семенычу не говорите-с ничего-с... а то он рассердится! Одно слово: запретил! Прощайте-с, сударь!

Уходя и повернувшись ко мне спиною, Пунин пока-

зался мне таким мизерным, что я даже удивился: и хромал-то он на обе ноги, и приседал на каждом шагу...

«Плохо дело! Finis[1], что называется»,— подумал я.

Хотя я обещал Пунину собрать сведения о Музе, однако, отправляясь в тот же день к Тархову, я нисколько не надеялся что-нибудь узнать, ибо наверное полагал, что либо я не застану его дома, либо он меня не примет. Предположение мое оказалось ошибочным: я застал Тархова дома, он меня принял, и я даже узнал всё, что хотел узнать, но пользы от этого не вышло никакой. Тархов, как только я перешагнул порог его двери, подошел ко мне решительно, быстро, с сияющими, горящими глазами на похорошевшем и просветленном лице, твердо и бойко промолвил:

— Слушай, брат Петя! Я догадываюсь, зачем ты пришел и о чем ты собираешься говорить со мною; но предупреждаю тебя, что если ты хотя единым словом упомянешь о ней, или об ее поступке, или о том, что, по-твоему, мне повелевает благоразумие,— мы больше не друзья, мы даже не знакомые, и я буду просить тебя быть со мною, как чужой.

Я посмотрел на Тархова: он весь внутренно трепетал, как натянутая струна, он весь звенел, он едва сдерживал порывы поднимавшейся молодой крови; сильное, радостное счастье ворвалось ему в душу и завладело им — и он им завладел.

— Это твое неизменное решение? — произнес я печально.

— Да, брат Петя, неизменное.

— В таком случае мне остается сказать тебе: прощай!

Тархов слегка прищурился... Уж очень ему было хорошо.

— Прощай, брат Петя,— проговорил он немножко в нос, с откровенной улыбкой, весело сверкнув всеми своими белыми зубами.

Что мне было делать? Я оставил его с его «счастьем».

Когда я захлопнул за собою дверь, другая дверь в комнате, я это слышал, хлопнула тоже.

Не легко мне было на́ сердце и на следующий день, когда я поплелся к своим злополучным знакомцам. Я втай-

---

[1] Конец *(лат.)*.

не надеялся — такова слабость человеческая! — что не застану их дома, и опять ошибся. Оба были дома. Перемена, происшедшая с ними в последние три дня, поразила бы всякого. Пунин весь побелел и отек. Куда девалась его болтливость? Он говорил вяло, слабо, всё тем же сиплым голосом, и вид имел изумленный и потерянный. Бабурин, напротив, скорчился и почернел; несловоохотливый и в прежнее время, он теперь едва произносил отрывистые звуки; выражение окаменелой строгости так и замерло на его чертах.

Я чувствовал, что молчать было невозможно, но что было сказать? Я ограничился тем, что шепнул Пунину: «Ничего я не узнал, и мой совет вам: бросьте всякую надежду». Пунин взглянул на меня своими опухшими красными глазенками — только и осталось у него красного на всем лице,— пробормотал что-то невнятное и отковылял в сторону. Бабурин, вероятно, догадался, о чем шла речь у нас с Пуниным, и, раскрыв свои стиснутые, словно склеенные губы, произнес неспешным голосом:

— Милостивый государь! со времени вашего последнего посещения у нас случилась неприятность: воспитанница наша, Муза Павловна Виноградова, не находя более удобным жить с нами, решилась нас покинуть, о чем оставила нам письменное заявление. Не почитая себя в праве ей препятствовать, мы предоставили ей поступать по ее благоусмотрению. Желаем, чтобы ей было хорошо,— прибавил он не без усилия,— а вас покорнейше просим об этом предмете не упоминать, так как подобные речи бесполезны и даже огорчительны.

«Вот и этот, как и Тархов, запрещает мне говорить о Музе»,— подумалось мне, и не мог я внутренно не подивиться! Недаром же он так высоко ценил Зенона. Я хотел было сообщить ему нечто об этом мудреце, но язык у меня не повернулся, и хорошо сделал.

Я скоро ушел восвояси. Расставаясь со мною, ни Пунин, ни Бабурин не сказали мне: «До свиданья!» — оба в один голос промолвили: «Прощайте-с!» Пунин даже возвратил мне книжку «Телеграфа», которую я принес ему: теперь, мол, мне этого больше уже не надо.

Неделю спустя со мной произошла странная встреча. Весна наступила ранняя, крутая; в полдень жара доходила до восемнадцати градусов. Всё зеленело и лезло из разрыхленной, сырой земли. Я нанял в манеже верхового коня и отправился за город, на Воробьевы горы. На до-

роге мне попалась тележка, запряженная парой лихих, до самых ушей забрызганных вяток, с заплетенными хвостами, с красными лентами в челках и гривах. Сбруя на лошадях была охотницкая, с медными бляхами и кистями, и правил ими молодой щеголь-ямщик в синей поддевке без рукавов и желтой канаусовой рубахе, в низкой поярковой шляпе с павлиным пером вокруг тульи. Рядом с ним сидела девушка мещанского или купеческого звания, в пестрой парчовой кацавейке, с большим голубым платком на голове — и так и заливалась смехом. Ямщик ухмылялся тоже. Я поворотил своего коня в сторону, а впрочем, не обратил особого внимания на быстро мелькнувшую веселую чету,— как вдруг парень гикнул на лошадей... Да это голос Тархова! Я оглянулся... Точно: он; несомненно он, наряженный ямщиком, а возле него — уж не Муза ли?

Но в это мгновенье вятки подхватили, и только я их и видел. Я было пустил моего коня в галоп вслед за ними, но это был старый манежный драбант, с так называемым генеральским аллюром в раскачку: галопом он шел еще тише, чем рысью.

— Гуляйте, любезные! — проворчал я сквозь зубы.

Должно заметить, что Тархова я не видел в течение всей недели, хотя раза три заходил к нему. Его никогда не было дома. Бабурина и Пунина я тоже не видел... Я их не посещал.

Я простудился на моей прогулке: хотя и было очень жарко, но ветер дул пронзительный. Я опасно заболел — и когда я выздоровел, мы с бабушкой отправились в деревню — «на подножный корм» — по совету доктора. В Москву я уже больше не попал; к осени я перешел в Петербургский университет.

III

1849 г.

Прошло уже не семь, а целых двенадцать лет, и мне стукнул тридцать второй год. Бабушка давно скончалась; я жил в Петербурге чиновником по министерству внутренних дел. Тархова я потерял из виду: поступил он в военную службу и находился почти постоянно в провинции. Мы с ним встретились два раза по-приятельски, радушно; но разговоры наши не касались прошедшего. В эпоху второй нашей встречи он, сколько мне помнится, был уже женат. Однажды, в знойный летний день, я, проклиная

и служебные обязанности, удерживавшие меня в Петербурге, и городскую духоту, вонь и пыль, пробирался по Гороховой улице. Погребальная процессия перебила мне дорогу. Вся она состояла из единственной колесницы, то есть, собственно говоря, из дряхлых дрог, на которых, грубо подбрасываемый толчками ухабистой мостовой, колыхался убогий деревянный гроб, до половины прикрытый потертым черным сукном. Старый человек, с белой головою, выступал один за дрогами.

Я вгляделся в него... Лицо знакомое... Он тоже повел на меня глазами... Боже мой! да это Бабурин!

Я снял шляпу, подошел к нему, назвал себя — и отправился с ним рядом.

— Кого вы хороните? — спросил я.

— Никандра Вавилыча Пунина,— отвечал он.

Я предчувствовал, я заранее знал, что он назовет это имя, и сердце все-таки дрогнуло во мне. Грустно стало мне, и рад я был, что случай доставил мне возможность отдать последний долг моему наставнику...

— Могу я идти с вами, Парамон Семеныч?

— Можете... Я один провожал его; теперь нас будет двое.

Больше часа продолжалось наше шествие. Спутник мой подвигался, не поднимая глаз, не разжимая губ. Он окончательно состарелся с тех пор, как я его видел в последний раз; изрытое морщинами, медного цвета лицо резко отделялось от белых волос. Следы трудовой, терпкой жизни, постоянной борьбы сказывались во всем существе Бабурина: обглодала его нужда да бедность. Когда всё покончилось, когда то, что было Пуниным, навеки скрылось в сырой... уж точно сырой земле Смоленского кладбища, Бабурин, постояв минуты две с потупленной непокрытой головою перед нововыросшим холмиком песчаной глины, обратил ко мне свое изможденное, как бы ожесточенное лицо, свои сухие, впалые глаза, угрюмо поблагодарил меня и хотел было удалиться; но я удержал его.

— Где вы живете, Парамон Семеныч? Позвольте вас навестить. Я не знал вовсе, что вы живете в Петербурге. Мы бы старое вспомнили, побеседовали бы о покойном нашем друге.

Бабурин не тотчас ответил мне.

— Я третий год как в Петербурге обретаюсь,— промолвил он наконец,— квартирую я на самом конце го-

рода. Впрочем, если вы точно желаете меня посетить, приходите.— Он дал мне свой адрес.— Приходите вечером; вечером мы всегда дома... мы оба.

— Вы... оба?

— Я женат. Моя жена сегодня не совсем здорова; оттого она не провожала покойника. А впрочем, достаточно и одному человеку исполнить эту пустую формальность, этот обряд. Кто же во всё это верит?

Я несколько удивился последним словам Бабурина, однако ничего не сказал, взял извозчика и предложил Бабурину довезти его до дому; но он отказался.

В тот же день вечером я отправился к нему. Доро́гой я всё думал о Пунине. Мне вспомнилось, как я в первый раз с ним встретился и какой он был тогда восторженный и забавный; потом в Москве, как он присмирел — особенно в последнее наше свидание; а вот и совсем кончен расчет с жизнию: не шутит, видно, она! Квартировал Бабурин на Выборгской стороне, в домике, напоминавшем мне его московское гнездышко: петербургское чуть ли не было еще беднее. Когда я вошел к нему в комнату, он сидел в углу на стуле, уронив обе руки на колени; нагоревшая сальная свеча тускло освещала его повислую белую голову. Он услышал шум моих шагов, встрепенулся и приветствовал меня радушнее, чем я ожидал. Спустя несколько мгновений появилась его жена; я в ней тотчас узнал Музу — и тут только понял, зачем Бабурин меня пригласил к себе: он хотел показать мне, что он все-таки добился своего.

Переменилась Муза много — в лице, в голосе и в движеньях; но больше всего переменились ее глаза. Бывало, они бегали, как живчики, эти злые, эти красивые глаза; они блистали украдкой, но ярко; взор их колол, как булавка... Теперь они глядели прямо, спокойно, пристально; черные зеницы потускнели. «Я надломана, я смирна, я добра»,— казалось, говорил ее тихий и тупой взор. То же самое говорила ее постоянная покорная улыбка. И платье на ней было смиренное: коричневое, с маленькими горошинами. Она первая подошла ко мне, спросила, узнаю ли я ее. Она, очевидно, не конфузилась, и не потому, чтобы она потеряла стыд или память, а просто потому, что суета от нее отошла. Муза много говорила о покойном Пунине, говорила ровным, тоже похолодевшим голосом. Я узнал, что он в последние годы совсем стал хилый, почти в детство впал, так что даже скучал без

игрушек; правда, его уверяли, что он шьет их из тряпок для продажи... он сам забавлялся ими. Страсть его к стихам, однако, не угасла, и память сохранилась на одни только стихи: за несколько дней до смерти он еще декламировал из «Россиады»; зато Пушкина боялся, как дети боятся буки. Привязанность его к Бабурину также не уменьшилась: он по-прежнему благоговел перед ним и, уже охваченный мраком и холодом кончины, еще лепетал коснеющим языком: «благодетель!» Я узнал также от Музы, что вскоре после московского происшествия Бабурину опять пришлось поколесить по России, перекочевывая с одной частной должности на другую; что и в Петербург он прибыл опять-таки на частную службу, которую, впрочем, принужден был оставить на днях по неприятности с хозяином: Бабурин вздумал заступиться за рабочих... Постоянная улыбка Музы, сопровождавшая ее речи, наводила меня на размышления печальные; она довершала впечатление, возбужденное во мне наружностью ее мужа. Трудно доставался им обоим насущный хлеб — в этом не было сомнения. Сам он мало вмешивался в нашу беседу: он казался еще более озабоченным, чем огорченным... Что-то грызло его.

— Парамон Семеныч, пожалуйте,— проговорила кухарка, внезапно появившись на пороге двери.

— Что такое? Что нужно? — тревожно спросил он.

— Пожалуйте,— значительно и настойчиво повторила кухарка. Бабурин застегнулся и вышел.

Когда мы остались одни с Музой, она посмотрела на меня несколько измененным взором и промолвила голосом тоже измененным и уже без улыбки:

— Не знаю, Петр Петрович, что вы теперь обо мне думаете, но полагаю, что вы помните, какая я была... Самоуверенная была я, веселая... и недобрая; хотела в свое удовольствие пожить. А я вам вот что скажу теперь: когда меня бросили, и я была, как потерянная, и только ждала, что либо бог меня приберет, либо у самой хватит духа с собой покончить,— я опять, как в Воронеже, встретилась с Парамоном Семенычем — и он опять спас меня... Слова обидного я от него не услышала, ни одного упрека не услышала, ничего он от меня не потребовал — не стоила я того; но он меня любил... и я стала его женой. Что же мне было делать? Умереть — не удалось; жить тоже

не пришлось, как хотелось... Куда же было деться! И то — милость. Вот и всё.

Она умолкла, отвернулась на мгновение... прежняя покорная улыбка опять появилась на ее губах. «Легко ли мне жить, не спрашивай»,— почудилось мне теперь в этой улыбке.

Разговор перешел к предметам обыкновенным. Муза рассказала мне, что после Пунина осталась кошка, которую он очень любил, но что она с самой его смерти ушла на чердак и там сидит и всё мяучит, точно зовет кого-то... Соседи очень пугаются и воображают, что это душа Пунина перешла в кошку.

— Парамон Семеныч чем-то встревожен,— проговорил я наконец.

— А вы это заметили? — Муза вздохнула.— Ему нельзя не тревожиться. Вам нечего сказывать, что Парамон Семеныч остался верен своим убеждениям... Нынешний порядок вещей мог только укрепить их. (Муза выражалась совсем иначе, чем, бывало, в Москве: язык ее принял литературный, начитанный оттенок.) Впрочем, я не знаю, могу ли я вам довериться и как вы примете...

— Почему же вы полагаете, что мне довериться нельзя?

— Да ведь вы состоите на службе, вы чиновник.

— Ну так что ж?

— Вы, следовательно, преданы правительству.

Я внутренно подивился... молодости Музы.

— О моих отношениях к правительству, которое и существования моего не подозревает, я распространяться не буду,— промолвил я,— но вы можете быть спокойны. Вашего доверия я во зло не употреблю. Убеждениям вашего супруга я сочувствую... больше, чем вы полагаете.

Муза покачала головою.

— Да; это всё так,— начала она не без запинки,— но ведь вот что. Убеждениям Парамона Семеныча, быть может, скоро придется выказаться на деле. Они не могут дольше оставаться под спудом. Есть товарищи, от которых теперь невозможно отстать...

Муза внезапно умолкла, словно язык себе прикусила. Ее последние слова меня изумили и немножко испугали. Вероятно, лицо мое выразило то, что я почувствовал,— и Муза это заметила.

Я уже сказал, что свидание наше происходило в 1849 году. Многим еще памятно, какое это было смутное и тя-

желое время и какими событиями ознаменовалось оно в С.-Петербурге. Меня самого поразили некоторые странности в обращении Бабурина, во всей его повадке. Раза два он с такой резкой горечью и ненавистью, с таким отвращением отозвался о правительственных распоряжениях, о высокопоставленных лицах, что я почувствовал недоумение...

— А что? — спросил он меня вдруг,— освободили вы своих крестьян?

Я принужден был сознаться, что нет.

— А ведь, чай, бабка-то умерла?

И в этом я должен был сознаться.

— То-то вы, господа дворяне,— проворчал сквозь зубы Бабурин...— Чужими руками... жар загребать... это вы любите.

В его комнате, на самом видном месте, висела известная литография, изображавшая Белинского; на столе лежал томик старинной, бестужевской «Полярной звезды».

Бабурин долго не возвращался после того, как кухарка его вызвала. Муза несколько раз с беспокойством глянула на дверь, в которую он вышел. Наконец она не вытерпела, встала, извинилась и тоже вышла в ту же дверь. Через четверть часа она вернулась назад с своим мужем; лица обоих, так по крайней мере мне показалось, выражали смущение. Но вот внезапно лицо Бабурина приняло другое, ожесточенное, почти исступленное выражение...

— Какой же этому будет конец? — заговорил он вдруг прерывистым, захлебывавшимся, ему вовсе не свойственным голосом и поводя кругом, блуждая одичалыми глазами.— Живешь, живешь, надеешься, авось лучше будет, легче будет дышать,— а напротив того, всё идет хуже да хуже! Совсем уж к стене *прижали*! В молодости я всего натерпелся; меня... быть может... даже били... да,— прибавил он, круто повернувшись на каблуках и словно накинувшись на меня,— я, уже совершеннолетним будучи, получал истязания телесные... да; о других несправедливостях я уже не говорю... Но неужто ж нам к тем, прежним временам... предстоит вернуться? Что теперь делают с молодыми людьми! Да ведь это, наконец, всякое терпение лопнет... Лопнет! Да! Погодите!

Я никогда не видал Бабурина в подобном состоянии. Муза даже побледнела вся... Бабурин вдруг раскашлялся и опустился на скамейку. Не желая стеснять ни его, ни Музу своим присутствием, я решился уйти и уже про-

щался с ними, как вдруг та же дверь в соседнюю комнату отворилась, и показалась голова... Но не голова кухарки, а всклокоченная, перепуганная голова молодого человека.

— Беда, Бабурин, беда! — пролепетал он торопливо, но тотчас же скрылся при виде незнакомой моей фигуры.

Бабурин бросился вон вслед за молодым человеком. Я крепко пожал руку Музе — и удалился с дурными предчувствиями на сердце.

— Приходите завтра,— шепнула она тревожно.

— Приду непременно,— ответил я.

Я на другой день еще лежал в постели, когда мой человек подал мне письмо от Музы.

«Милостивый государь, Петр Петрович! — писала она,— Парамона Семеныча сегодня ночью арестовали жандармы и увезли в крепость или не знаю куда: они не сказали. Все наши бумаги перерыли, многое запечатали, с собою взяли. Также книги и письма. Говорят, в городе пропасть народа арестовано. Вы можете себе представить, что я чувствую. Хорошо, что Никандр Вавилыч до этого не дожил! Вовремя он убрался. Посоветуйте, что мне сделать. За себя я не боюсь — с голоду я не умру, но мысль о Парамоне Семеныче не дает мне покоя. Приходите, пожалуйста, если только вы не боитесь посещать людей в нашем положении.

Готовая к услугам Муза Бабурина».

Через полчаса я был у Музы. Увидав меня, она протянула мне руку и хотя не сказала ни слова, но выражение благодарности мелькнуло на ее лице. На ней было вчерашнее платье: по всему было заметно, что она не ложилась и не спала всю ночь. Глаза у ней были красны — но от бессонницы, не от слез. Она не плакала. Ей было не до того. Она хотела действовать, хотела бороться с поразившим ее несчастьем: прежняя, энергическая, самовольная Муза воскресла в ней. Даже негодовать ей было некогда, хотя негодование ее душило. Как помочь Бабурину, к кому прибегнуть, чтобы облегчить его участь — ни о чем другом она не думала. Она хотела немедленно идти... просить... требовать... Но куда идти? Кого просить? Чего требовать? — вот что она желала услышать от меня, вот о чем желала посоветоваться со мною.

Я начал с того, что посоветовал ей... терпенье. На первых порах ничего другого не оставалось делать, как только выжидать и по мере возможности наводить справ-

ки. Предпринять что-нибудь решительное теперь, когда дело едва началось, едва загорелось,— было просто немыслимо, безрассудно. Надеяться на успех было безрассудно, даже если бы я обладал гораздо большей долей значения и влияния... но что́ мог сделать я, маленький чиновник? У ней самой не было никакой протекции...

Не легко было растолковать ей всё это... однако она, наконец, поняла мои доводы; поняла также, что не эгоистическое чувство руководило мною, когда я доказывал бесполезность всяких попыток.

— Да скажите, Муза Павловна,— начал я, когда она наконец присела на стул (до тех пор она всё стояла на ногах, как бы готовясь тотчас пойти на помощь Бабурину),— каким образом Парамон Семеныч — в его годы — попался в такой истории? Тут, я уверен, одни молодые люди замешаны, вроде того, который вчера вечером приходил предупредить вас...

— Эти молодые люди — наши друзья! — воскликнула Муза, и глаза ее заблистали и забегали по-старинному. Что-то сильное, неудержимое, казалось, так и поднялось со дна ее души... а мне вдруг вспомнилось название «нового типа», данное ей некогда Тарховым.— Годы ничего не значат, когда дело идет о политических убежденьях! — Муза особенно наперла на эти два последние слова. Можно было подумать, что при всем ее горе ей было не неприятно выказать себя передо мною в этом новом, неожиданном свете — в свете женщины образованной и созрелой, достойной супруги республиканца! — Иные старики моложе иных молодых,— продолжала она,— способнее на жертвы... Но не в том вопрос.

— Мне кажется, Муза Павловна,— заметил я,— вы несколько преувеличиваете. Зная характер Парамона Семеныча, я был заранее уверен, что он будет сочувствовать всяким... честным порывам; но, с другой стороны, я всегда считал его за человека благоразумного... Неужели он не понимает всю невозможность, всю нелепость заговоров у нас, в России! В его положении, в его звании...

— Конечно,— с горечью в голосе перебила Муза,— он мещанин; а в России вступать в заговоры позволительно только дворянам, как, например, четырнадцатого декабря... ведь вот что вы хотели сказать.

«В таком случае зачем вы жалуетесь?» — чуть не сорвалось у меня с языка... однако я удержался.

— Полагаете ли вы, что результат четырнадцатого де-

кабря такого свойства, что должен поощрять других? — произнес я громко.

Муза нахмурилась. «С тобою нечего толковать об этом»,— прочел я на ее потупленном лице.

— Парамон Семеныч очень скомпрометирован? — решился спросить я наконец. Муза ничего не отвечала... Голодное, дикое мяуканье раздалось с чердака.

Муза вздрогнула.

— Ах, хорошо, что Никандр Вавилыч всего этого не видел! — почти с отчаянием простонала она.— Не видел он, как ночью насильно схватили его благодетеля, нашего благодетеля, быть может, лучшего и честнейшего человека в целом свете,— не видел он, как обращались с почтенным стариком, как говорили ему: «ты»... как грозили ему — и чем ему грозили!.. потому только, что он мещанин! Этот офицер молодой тоже, должно быть, из числа таких бессовестных бездушников, каких и мне в моей жизни...

Голос Музы порвался. Она вся трепетала, как лист.

Долго сдержанное негодование прорвалось наконец; потрясенные, вызванные наружу общей душевной тревогой, всколыхнулись старые воспоминания... Но собственно *я* убедился в это мгновенье, что «новый тип» остался тем же, той же страстной, увлекающейся натурой... Только увлекалась Муза уже не тем, чем, бывало, в молодые годы. То, что в первое мое посещение я принял за резиньяцию, за усмиренность, и что действительно было тем — этот тихий, тупой взор, этот холодный голос, эта ровность и простота,— всё это имело смысл лишь в отношении к прошедшему, невозвратному...

Теперь настоящее заговорило.

Я постарался успокоить Музу, постарался перевести нашу беседу на более практическую почву. Надо было принять некоторые неотложные меры: узнать, где собственно находился Бабурин; а потом достать и ему и Музе средства к существованию. Всё это представляло затруднения немалые; приходилось отыскивать не прямо деньги, а работу, что, как известно, гораздо более сложная задача...

Я ушел от Музы с целым роем соображений в голове.

Я скоро узнал, что Бабурин сидит в крепости...

Дело началось... затянулось. Я каждую неделю по нескольку раз видался с Музой. Она тоже имела несколько свиданий с мужем. Но в самый момент разрешения всей этой печальной истории меня в Петербурге не было.

Непредвиденные дела заставили меня съездить на юг России. Во время моей отлучки я узнал, что Бабурина по суду оправдали: оказалось, что вся вина его состояла только в том, что у него, как у человека, не способного возбудить подозрения, собирались иногда молодые люди,— и он присутствовал при их беседах; однако административным порядком сослали его на жительство в одну из западных губерний Сибири. Муза уехала с ним.

«...Парамон Семеныч этого не желал,— писала она мне,— потому, по его понятиям, никто не вправе жертвовать собою для другого человека — не для дела; но я ему ответила, что тут никакой жертвы нет. Когда я сказала ему в Москве, что буду его женою, то я подумала про себя: навеки и нерушимо! Так нерушимо должно оно стоять до конца дней...»

IV

1861 г.

Еще двенадцать лет прошло... Все в России знают и вечно помнить будут, что совершилось между 49-м и 61-м годом. И в моей личной жизни произошло много перемен, о которых, впрочем, распространяться нечего. Появились в ней новые интересы, новые заботы... Чета Бабуриных сперва отступила на второй план, потом совсем стушевалась. Я, однако, продолжал переписываться с Музой — очень, правда, изредка; иногда протекало более года без всяких известий о ней и об ее муже. Я узнал, что вскоре после 55-го года ему было дозволено возвратиться в Россию; но что он сам пожелал остаться в том небольшом сибирском городке, куда забросила его судьба и где он, повидимому, свил себе гнездо, нашел приют, круг деятельности...

И вот в конце марта месяца 1861 года получаю я следующее письмо от Музы:

«Я так давно к вам не писала, почтеннейший П. П., что даже не знаю, живы ли вы; а если и живы, то не забыли ли о нашем существовании? Но всё равно; не могу я не писать вам сегодня. У нас доселе всё шло по-старинному; мы с Парамоном Семенычем занимались нашими школами, которые подвигаются помаленьку; сверх того Парамон Семеныч занимался чтением и перепиской да обычными своими прениями с староверцами, духовными лицами и ссыльными поляками; здоровье его было порядочно...

Мое тоже. Но вот вчера к нам пришел манифест 19 февраля! Давно мы его ждали, давно ходили слухи о том, что делается у вас в Петербурге... но всё же не могу я вам описать, что это было! Вы знаете хорошо моего мужа; несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал еще крепче и энергичнее. (Не могу скрыть, что Муза написала: енергичнее.) Сила воли в нем железная, но тут он не выдержал! Руки тряслись у него, когда он читал; потом он обнял меня три раза и три раза со мной облобызался, хотел что-то сказать,— но нет! не мог! и кончил тем, что прослезился, что очень было удивительно видеть, и вдруг закричал: „Ура! ура! Боже, царя храни!" — Да, Петр Петрович, эти самые слова! Потом он прибавил: „Ныне отпущаеши"... и еще: „Это первый шаг, за ним должны последовать другие"; и, как был, без шапки, побежал сообщить великую эту новость нашим приятелям. Мороз стоял сильный, и даже пурга зачиналась, я его удерживала, но он не послушался. А когда пришел домой, весь был запорошен снегом, волосы, лицо и борода — у него теперь борода по самую грудь — и даже слезы на щеках застыли! Но очень он был жив и весел, и велел мне бутылку цимлянского раскупорить, и вместе с нашими приятелями, которых он с собой привел, пил за здоровье царя и России и всех русских свободных людей; и, взяв бокал и опустив взор на землю, сказал: „Никандр, Никандр, слышишь ли? Нет на Руси более рабов! Радуйся и в гробу, старый товарищ!" И многое еще такое говорил, что „сбылись, мол, мои ожидания!" Говорил также и о том, что теперь уже повернуть назад невозможно; что это — своего рода залог или обещание... Всего я не запомню, но давно я его таким счастливым не видала. И вот я решилась вам написать, чтобы и вы узнали, как мы радовались и ликовали в отдаленных сибирских пустынях, чтобы и вы порадовались вместе с нами...»

Это письмо я получил в конце марта; а в начале мая пришло другое, весьма коротенькое письмо от той же Музы. Она извещала меня, что ее муж, Парамон Семеныч Бабурин, получив простуду в самый день прибытия манифеста, скончался 12 апреля от воспаления в легких, шестидесяти семи лет от роду. Она прибавила, что намерена остаться там, где покоится его тело, и продолжать завещанную им работу, потому что такова была последняя воля Парамона Семеныча,— а у ней другого закона нет.

С тех пор я уже более не слыхал о Музе.

ЧАСЫ

Рассказ старика

1850 г.

I

Расскажу вам мою историю с часами...

Курьезная история!

Дело происходило в самом начале нынешнего столетия, в 1801 году. Мне только что пошел шестнадцатый год. Жил я в Рязани, в деревянном домике, недалеко от берега Оки — вместе с отцом, теткой и двоюродным братом. Мать свою я не помню: она скончалась года три после замужества; кроме меня, у отца моего детей не было. Звали его Порфирием Петровичем. Человек он был смирный, собою неказистый, болезненный; занимался хождением по делам тяжебным — и иным. В прежние времена подобных ему людей обзывали подьячими, крючками, крапивным семенем; сам он величал себя стряпчим. Нашим домашним хозяйством заведовала его сестра, а моя тетка — старая пятидесятилетняя дева; моему отцу тоже минул четвертый десяток. Большая она была богомолка, прямо сказать — ханжа, тараторка, всюду нос свой совала; да и сердце у ней было не то, что у отца, недоброе. Жили мы — не бедно, а в обрез. Был у моего отца еще брат, Егор по имени; да того за какие-то якобы «возмутительные поступки и якобинский образ мыслей» (так именно стояло в указе) сослали в Сибирь еще в 1797 году.

Егоров сын, Давыд, мой двоюродный брат, остался у моего отца на руках и проживал с нами. Он был старше меня одним только годом; но я преклонялся перед ним и повиновался ему, как будто он был совсем большой. Малый он был неглупый, с характером, из себя плечистый, плотный, лицо четырехугольное, весь в веснушках, волосы рыжие, глаза серые, небольшие, губы широкие, нос короткий, пальцы тоже короткие — крепыш, что называется — и сила не по летам! Тетка терпеть его не могла; а отец — так даже боялся его... или, может быть, он перед ним себя виноватым чувствовал. Ходила молва, что не проболтайся мой отец, не выдай своего брата — Давы-

дова отца не сослали бы в Сибирь! Учились мы оба в гимназии, в одном классе, и оба порядочно; я даже несколько получше Давыда... Память у меня была острей; но мальчики — дело известное! — *этим* превосходством не дорожат и не гордятся, и Давыд все-таки оставался моим вожаком.

II

Зовут меня — вы знаете — Алексеем. Я родился 7-го, а именинник я 17 марта. Мне, по старозаветному обычаю, дали имя одного из тех святых, праздник которых приходится на десятый день после рождения. Крестным отцом моим был некто Анастасий Анастасьевич Пучков, или собственно: Настасе́й Настасе́ич; иначе никто его не величал. Сутяга был он страшный, кляузник, взяточник — дурной человек совсем; его из губернаторской канцелярии выгнали, и под судом он находился не раз; отцу он бывал нужен... Они вместе «промышляли». Из себя он был пухлый да круглый; а лицо как у лисицы, нос шилом; глаза карие, светлые, тоже как у лисицы. И всё он ими двигал, этими глазами, направо и налево, и носом тоже водил — словно воздух нюхал. Башмаки носил без каблуков и пудрился ежедневно, что в провинции тогда считалось большою редкостью. Он уверял, что без пудры ему быть нельзя, так как ему приходится знаться с генералами и с генеральшами.

И вот наступил мой именинный день! Приходит Настасей Настасеич к нам в дом и говорит:

— Ничем-то я доселева, крестничек, тебя не дарил; зато посмотри, каку штуку я тебе принес сегодня!

И достает он тут из кармана серебряные часы луковицей, с написанным на циферблате розаном и с бронзовой цепочкой! Я так и сомлел от восторга,— а тетка, Пелагея Петровна, как закричит во всё горло:

— Целуй руку, целуй руки, паршивый!

Я стал целовать у крестного отца руку, а тетка знай причитывает:

— Ах, батюшка, Настасей Настасеич, зачем вы его так балуете! Где ему с часами справиться? Уронит он их, наверное, разобьет или сломает!

Вошел отец, посмотрел на часы, поблагодарил Настасеича — небрежно таково, да и позвал его к себе в кабинет. И слышу я, говорит отец, словно про себя:

— Коли ты, брат, *этим* думаешь отделаться...

Но я уже не мог устоять на месте, надел на себя часы и бросился стремглав показывать свой подарок Давыду.

III

Давыд взял часы, раскрыл и внимательно рассмотрел их. У него большие были способности к механике; он любил возиться с железом, медью, со всякими металлами; он обзавелся разными инструментами — и поправить или даже заново сделать винт, ключ и т. п. ему ничего не стоило.

Давыд повертел часы в руках и, пробурчав сквозь зубы (он вообще был неразговорчив):

— Старые... плохие...— прибавил:— Откуда?

Я ему сказал, что подарил мне их мой крестный.

Давыд вскинул на меня свои серые глазки:

— Настасей?

— Да; Настасей Настасеич.

Давыд положил часы на стол и отошел прочь молча.

— Они тебе не нравятся? — спросил я.

— Нет, не то... а я, на твоем месте, от Настасея никакого подарка бы не принял.

— Почему?

— Потому, что человек он дрянь; а дряни-человеку одолжаться не следует. Еще спасибо ему говори. Чай, руку у него поцеловал?

— Да, тетка заставила.

Давыд усмехнулся — как-то особенно, в нос. Такая у него была повадка. Громко он никогда не смеялся: он считал смех признаком малодушия.

Слова Давыда, его безмолвная улыбка меня глубоко огорчили. Стало быть, подумал я, он меня внутренно порицает! Стало быть, я тоже дрянь в его глазах! Сам он никогда до этого бы не унизился, не принял бы подачки от Настасея! Но что мне теперь остается сделать?

Отдать часы назад? Невозможно!

Я попытался было заговорить с Давыдом, спросить его совета. Он мне ответил, что никому советов не дает и чтоб я поступил, как знаю. Как знаю?! Помнится, я всю ночь потом не спал: раздумье меня мучило. Жаль было лишиться часов — я их положил возле постели на ночной столик; они так приятно и забавно постукивали... Но чувствовать, что Давыд меня презирает (да, нечего

Часы.

рассказ Ив. Тургенева.

Начат в Спасском, в среду 19-го Июня / 1-го Июля 1874-го г.

Кончен — в Париже, 50, Rue de Douai, во вторник 28/10 Нояб. 1875 г.

(43 стр.)

«ЧАСЫ».
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА, 1875 г.
Национальная библиотека, Париж.

обманываться! он презирает меня!)... это мне казалось невыносимым! К утру во мне созрело решение... Я, правда, всплакнул — но и заснул зато, и как только проснулся — наскоро оделся и выбежал на улицу. Я решился отдать мои часы первому бедному, которого встречу!

IV

Я не успел отбежать далеко от дому, как уже наткнулся на то, что искал. Мне попался мальчик лет десяти, босоногий оборвыш, который часто шлялся мимо наших окон. Я тотчас подскочил к нему — и, не дав ни ему, ни себе времени опомниться, предложил ему мои часы.

Мальчик вытаращил глаза, одной рукой заслонил рот, как бы боясь обжечься,— и протянул другую.

— Возьми, возьми,— пробормотал я,— они мои, я тебе дарю их — можешь продать их и купить себе... ну там что-нибудь нужное... Прощай!

Я всунул часы ему в руку и во всю прыть пустился домой. Постоявши немного в нашей общей спальне за дверью и переведя дух, я приблизился к Давыду, который только что кончил свой туалет и причесывал себе волосы.

— Знаешь что, Давыд? — начал я как можно более спокойным голосом.— Я Настасеевы часы-то отдал.

Давыд глянул на меня и провел щеткой по вискам.

— Да,— прибавил я всё тем же деловым тоном,— я их отдал. Тут есть такой мальчик, очень бедный, нищий: так вот ему.

Давыд положил щетку на умывальный столик.

— Он может за деньги, которые выручит,— продолжал я,— приобрести какую-нибудь полезную вещь. Все-таки за них он что-нибудь получит.

Я умолк.

— Ну что ж! дело хорошее! — проговорил, наконец, Давыд и пошел в классную. Я последовал за ним.

— А коли тебя спросят — куда ты их дел? — обратился он ко мне.

— Я скажу, что я их обронил,— отвечал я небрежно.

Больше о часах между нами в тот день уже не было речи; а все-таки мне сдавалось, что Давыд не только одобрял меня, но... до некоторой степени... даже удивлялся мне. Право!

V

Прошло еще два дня. Случилось так, что никто у нас в доме часов не хватился. У отца вышла какая-то крупная неприятность с одним из его доверителей: ему было не до меня и не до моих часов. Зато я беспрестанно думал о них! Даже одобрение... предполагаемое одобрение Давыда меня не слишком утешало. Он же ничем особенно его не выказывал: всего только раз сказал — и то вскользь, что не ждал от меня такой удали. Решительно: пожертвование мое приходилось мне в убыток, оно не уравновешивалось тем удовольствием, которое мое самолюбие мне доставляло.

А тут еще, как нарочно, подвернись другой знакомый нам гимназист, сын городского доктора,— и начни хвастаться новыми, и не серебряными, а томпаковыми часами, которые подарила ему его бабушка...

Я не вытерпел наконец — и, тихомолком выскользнув из дому, принялся отыскивать того самого нищего мальчика, которому я отдал свои часы.

Я скоро нашел его: он с другими мальчиками играл у церковной паперти в бабки. Я отозвал его в сторону и, задыхаясь и путаясь в речах, сказал ему, что мои родные гневаются на меня за то, что я отдал часы,— и что если он согласится мне их возвратить, то я ему с охотой заплачу за них деньгами... Я, на всякий случай, взял с собою старинный елизаветинский рубль, весь мой наличный капитал...

— Да у меня их нетути, часов-то ваших,— отвечал мальчик сердитым и плаксивым голосом,— батька мой увидал их у меня, да отнял; еще пороть меня собирался. Ты их, говорит, должно, украл где-нибудь,— какой дурак тебя часами дарить станет?

— А кто твой отец?

— Мой отец? Трофимыч.

— Да кто он такой? Какое его занятие?

— Он — солдат отставной, сражант. А занятия у него никакого нету. Старые башмаки чинит, подметки строчает. Вот и всё его занятие. Тем и живет.

— Где ваша квартира? Сведи меня к нему.

— И то сведу. Вы ему скажите, батьке-то, что вы мне часы подарили. А то он меня всё попрекает. Вор да вор! И мать туда же: в кого, мол, ты вором уродился?

Мы с мальчиком отправились на его квартиру. Она

помещалась в курной избушке на заднем дворе давным-давно сгоревшей и не отстроенной фабрики. И Трофимыча и жену его мы застали дома. Отставной «сражант» был высокого роста старик, жилистый и прямой, с желто-седыми бакенами, небритым подбородком и целой сетью морщин на щеках и на лбу. Жена его казалась старше его; красные ее глазки уныло моргали и ежились посреди болезненно-припухлого лица. На обоих висели какие-то темные лохмотья вместо одежды.

Я объяснил Трофимычу, в чем было дело и зачем я пришел. Он выслушал меня молча, ни разу не смигнув и не спуская с меня своего тупого и напряженного — прямо солдатского взгляда.

— Баловство! — промолвил он наконец хриплым, беззубым басом.— Разве так благородные господа поступают? А коли если Петька точно часы не украл, так за это ему — рраз! Не балуй с барчуками! А украл бы — так я б его не так! Рраз! рраз! рраз! Фуктелями, по-калегвардски! Чего смотреть-то? Что за притча? Ась?! Шпонтонами их! Вот так история! Тьфу!

Это последнее восклицание Трофимыч произнес фальцетом. Он, очевидно, недоумевал.

— Если вы хотите возвратить мне часы,— пояснил я ему... я не смел его «тыкать», даром, что он был простой солдат...— то я вам с удовольствием заплачу вот этот рубль. Больше они, я полагаю, не стоят.

— Нину! — проворчал Трофимыч, не переставая недоумевать и, по старой памяти, поедая меня глазами, словно я был начальник какой.— Эко дело — а? — Нукося, раскуси его!.. Ульяна, молчи! — окрысился он на жену, которая разинула было рот.— Вот часы,— прибавил он, раскрывая ящик стола,— коли они ваши точно — извольте получить; а рубль-то за что? Ась?

— Бери рубль, Трофимыч, беспутный,— завопила жена.— Из ума выжил, старый! Алтына за душой нет, а туда же, важничает! Косу тебе напрасно только отрубили, а то — та же баба! Как так — ничего не знамши... Бери деньги, коли уж часы отдавать вздумал!

— Ульяна, молчи, паскудница! — повторил Трофимыч.— Где это видано — разговаривать? А? Муж — глава; а она — разговаривать? Петька, не шевелись, убью!.. Вот часы!

Трофимыч протянул ко мне часы, но не выпускал их из пальцев.

Он задумался, потупился, потом уставил на меня тот же пристально-тупой взор — да вдруг как гаркнет во всю глотку:

— А где же он? Рубль-то где?

— Вот он, вот,— поспешно промолвил я и выхватил монету из кармана.

Но он ее не брал и всё смотрел на меня. Я положил рубль на стол. Он вдруг смахнул его в ящик, швырнул мне часы и, повернувшись налево кругом и сильно топнув ногою, прошипел на жену и на сына:

— Вон, сволочь!

Ульяна что-то залепетала — но я уже выскочил на двор, на улицу. Засунув часы в самую глубь кармана и крепко стискивая их рукою, я примчался домой.

VI

Я снова вступил во владение часами, но удовольствия оно мне не доставило никакого. Носить я их не решался: нужно было пуще всего скрыть от Давыда то, что я сделал. Что бы он подумал обо мне, о моей бесхарактерности? Даже запереть в ящик эти злополучные часы я не мог: у нас все ящики были общие. Приходилось прятать их то на верху шкапа, то под матрацем, то за печкой... И все-таки мне не удалось обмануть Давыда!

Однажды я, достав из-под половицы нашей комнаты часы, вздумал потереть их серебряную спинку старой замшевой перчаткой. Давыд ушел куда-то в город; я никак не ожидал, что он скоро вернется... Вдруг он — шасть в дверь!

Я до того смутился, что чуть не выронил часов, и весь потерянный, с зардевшимся до боли лицом, принялся ерзать ими по жилету, никак не попадая в карман.

Давыд посмотрел на меня и, по своему обыкновению, улыбнулся молча.

— Чего ты? — промолвил он наконец.— Ты думаешь, я не знал, что часы опять у тебя? Я в первый же день, как ты их принес, увидел их.

— Уверяю тебя,— начал я чуть не со слезами...

Давыд пожал плечом.

— Часы твои; ты волен с ними делать, что хочешь.

Сказав эти жестокие слова, он вышел.

На меня нашло отчаяние. На этот раз уже не было никакого сомнения: Давыд действительно презирал меня!

Этого нельзя было так оставить.

«Докажу ж я ему»,— подумал я, стиснув зубы, и тотчас же, твердым шагом отправившись в переднюю, отыскал нашего казачка Юшку и подарил ему часы!

Юшка стал было отказываться, но я ему объявил, что если он не возьмет у меня этих часов, я сию же минуту раздавлю, растопчу их ногами, расшибу их вдребезги, брошу в помойную яму! Он подумал, хихикнул и взял часы. А я возвратился в нашу комнату и, увидав Давыда, читавшего книгу, рассказал ему свой поступок.

Давыд не отвел глаз от страницы и опять, пожав плечом и улыбнувшись про себя, промолвил, что часы, мол, твои, и ты в них волен.

Но мне показалось, что он уже немножко меньше презирал меня.

Я был вполне убежден, что никогда более не подвергнусь новому упреку в бесхарактерности, ибо эти часы, этот гадкий подарок моего гадкого крестного, мне вдруг до такой степени опротивели, что я даже никак не в состоянии был понять, как мог я сожалеть о них, как мог выканючивать их у какого-то Трофимыча, который к тому же еще вправе думать, что обошелся со мною великодушно.

Прошло несколько дней... Помнится, в один из них достигла и до нашего города великая весть: император Павел скончался, и сын его, Александр, про благодушие и человеколюбие которого носилась такая хорошая молва, вступил на престол. Весть эта страшно взволновала Давыда: возможность свидания, близкого свидания с отцом тотчас представилась ему. Мой батюшка тоже обрадовался.

— Всех ссыльных теперь возвратят из Сибири и брата Егора, чай, не забудут,— повторял он, потирая руки, кашляя и в то же время словно робея.

Мы с Давыдом тотчас бросили работать и ходить в гимназию; мы даже не гуляли, а всё сидели где-нибудь в уголку да рассчитывали и соображали, через сколько месяцев, сколько недель, сколько дней должен был вернуться «брат Егор», и куда было ему писать, и как пойти ему навстречу, и каким образом мы начнем жить потом? «Брат Егор» был архитектором; мы с Давыдом решили, что ему следовало переселиться в Москву и строить там большие училища для бедных людей, а мы бы пошли ему в помощники. О часах мы, разумеется, забыли совер-

шенно, к тому ж у Давыда завелись новые заботы... о них речь впереди; но часам было еще суждено напомнить о себе.

VII

В одно утро,— мы только что успели позавтракать, я сидел один под окном и размышлял о возвращении дяди — апрельская оттепель па́рила и сверкала на дворе,— вдруг в комнату вбежала Пульхерия Петровна. Она во всякое время была очень проворна и егозлива, говорила пискливым голоском и всё размахивала руками, а тут она просто так и накинулась на меня.

— Ступай! ступай сейчас к отцу, судырь! — затрещала она.— Что это за шашни ты тут затеял, бесстыдник этакой! Вот будет ужо вам обоим! Настасей Настасеич все ваши проказы на чистую воду вывел!.. Ступай! Отец тебя зовет... Сею минутою ступай!

Ничего еще не понимая, последовал я за теткой — и, перешагнув порог гостиной, увидал отца, ходившего большими шагами взад и вперед и ерошившего хохол, Юшку в слезах у двери, а в углу, на стуле, моего крестного, Настасея Наста́сеича — с выражением какого-то особенного злорадства в раздутых ноздрях и загоревшихся, перекосившихся глазах.

Отец, как только я вошел, налетел на меня.

— *Ты* подарил часы Юшке? сказывай!

Я взглянул на Юшку...

— Сказывай же! — повторил отец и затопал ногами.

— Да,— отвечал я и немедленно получил размашистую пощечину, доставившую большое удовольствие моей тетке. Я слышал, как она крякнула, словно глоток горячего чаю отхлебнула.

Отец от меня перебежал к Юшке.

— А ты, подлец, не должен был сметь принять часы в подарок,— приговаривал он, таская его за волосы,— а ты их еще продал, бездельник!

Юшка действительно, как я узнал впоследствии, в простоте сердца снес мои часы к соседнему часовщику. Часовщик вывесил их перед окном; Настасей Настасеич, проходя мимо, увидал их, выкупил и принес к нам в дом.

Впрочем, расправа со мной и с Юшкой продолжалась недолго: отец запыхался, закашлялся, да и не в нраве его было сердиться.

— Братец, Порфирий Петрович,— промолвила тетка, как только заметила, не без некоторого, конечно, сожаления, что сердце с отца, как говорится, соскочило,— вы больше не извольте беспокоиться: не стоит ручек ваших марать. А я вот что предлагаю: с согласия почтенного Настасея Настасеича и по причине такой большой неблагодарности вашего сынка — я часы эти возьму к себе; а так как он поступком своим доказал, что недостоин носить их и даже цены им не понимает, то я их от вашего имени подарю одному человеку, который очень будет чувствовать вашу ласку.

— Кому это? — спросил отец.

— А Хрисанфу Лукичу,— промолвила тетка с небольшой запинкой.

— Хрисашке? — переспросил отец и, махнув рукой, прибавил: — Мне всё едино. Хоть в печку их бросайте.

Он застегнул распахнувшийся камзол и вышел, корчась от кашля.

— А вы, родной, согласны? — обратилась тетка к Настасею Настасеичу.

— С истинной моей готовностью,— отвечал тот. В продолжение всей «расправы» он не шевелился на своем стуле, а только, тихонько пофыркивая и тихонько потирая кончики пальцев, поочередно направлял свои лисьи глаза на меня, на отца, на Юшку. Истинное мы ему доставляли удовольствие!

Предложение моей тетки возмутило меня до глубины души. Мне не часов было жаль; но очень уже был мне ненавистен человек, которому она собиралась подарить их.

Этот Хрисанф Лукич, по фамилии Транквиллитатин, здоровенный, дюжий, долговязый семинарист, повадился ходить к нам в дом — чёрт знает зачем! «Заниматься с *детьми*», уверяла тетка; но заниматься с нами он уже потому не мог, что сам ничему не научился и глуп был, как лошадь. Он вообще смахивал на лошадь: стучал ногами, словно копытами, не смеялся, а ржал, причем обнаруживал всю свою пасть, до самой гортани — и лицо имел длинное, нос с горбиной и плоские большие скулы; носил мохнатый фризовый кафтан, и пахло от него сырым мясом. Тетка в нем души не чаяла и величала его видным мужчиной, кавалером и даже гренадером. У него была привычка щелкать детей (он и меня щелкал, когда я был моложе) по лбу — твердыми, как камень, ногтями своих

длинных пальцев — и, щелкая, гоготать и удивляться: «Как это у тебя, мол, голова звенит! Значит: пустая!» И этот-то олух будет владеть моими часами! Ни за что! — решил я в уме своем, выбежав из гостиной и взобравшись с ногами на кроватку, между тем как щека моя разгоралась и рдела от полученной пощечины — а на́ сердце тоже разгоралась горечь обиды и жажда мести... Ни за что! Не допущу, чтобы проклятый семинар надругался надо мною... Наденет часы, цепочку выпустит по животу, станет ржать от удовольствия... Ни за что!

Всё так; но как это сделать? Как помешать?..

Я решился украсть часы у тетки!

VIII

К счастью, Транквиллитатин на ту пору отлучился куда-то из города; он не мог прийти к нам раньше завтрашнего дня: нужно было воспользоваться ночью! Тетка не запиралась у себя в комнате, да и у нас в целом доме ключи не действовали в замках; но куда она положит часы, где спрячет? До вечера она их носила в кармане и даже не раз вынимала и рассматривала их; но ночью — где они ночью будут? «Ну, уж это мое дело отыскать»,— думал я, потрясая кулаками.

Я весь пылал отвагой и ужасом и радостью близкого, желанного преступленья; я постоянно поводил головою сверху вниз, я хмурил брови, я шептал: «Погодите!» Я грозил кому-то, я был зол, я был опасен... и я избегал Давыда! Никто, ни даже он, не должен был иметь малейшее подозрение о том, что я собирался совершить...

Буду действовать один — и один отвечать буду!

Медленно проволокся день... потом вечер... наконец настала ночь. Я ничего не делал, даже старался не шевелиться: как гвоздь, засела мне в голову одна мысль. За обедом отец, у которого сердце было, как я сказал, отходчивое, да и совестно ему немножко стало своей горячности — шестнадцатилетних мальчиков уже не бьют по щекам,— отец попытался приласкать меня; но я отклонил его ласку не из злопамятства, как он вообразил тогда, а просто я боялся расчувствоваться: мне нужно было в целости сохранить весь пыл мести, весь закал безвозвратного решения! Я лег очень рано; но, разумеется, не заснул и даже глаз не закрыл, а, напротив, таращил их, хоть и натянул себе на голову одеяло. Я не обдумывал

заранее, как поступить; у меня не было никакого плана; я ждал только, когда это, наконец, всё затихнет в доме? Я принял одну лишь меру: не снял чулков. Комната моей тетки находилась во втором этаже. Надо было пройти столовую, переднюю, подняться по лестнице, пройти небольшой коридорчик — а там... направо дверь!.. Не для чего было брать с собою огарок или фонарик: в углу теткиной комнаты, перед киотом, теплилась неугасимая лампадка: я это знал. Стало быть, видно будет! Я продолжал лежать с вытаращенными глазами, с раскрытым и засохшим ртом; кровь стучала у меня в висках, в ушах, в горле, в спине, во всем теле! Я ждал... но словно бес какой потешался надо мною: время шло... шло... а тишина не водворялась.

IX

Никогда, казалось мне, Давыд так поздно не засыпал... Давыд, молчаливый Давыд даже заговаривал со мною! Никогда так долго в доме не стучали, не ходили, не беседовали! И о чем это они толкуют? — думалось мне, не наболтались с утра! Наружные звуки тоже долго не прекращались: то собака лаяла тонким упорным лаем; то пьяный мужик где-то всё бурлил и не унимался; то какие-то ворота всё скрыпели; то тележонка на дряблых колесах ехала, ехала и никак проехать не хотела! Впрочем, *эти* звуки не раздражали меня: напротив, я был им почему-то рад! Они как будто отвлекали внимание. Но вот, кажется, наконец всё угомонилось. Один лишь маятник наших старых часов сипло и важно щелкает в столовой, да слышится мерное и протяжное, словно трудное дыхание спящих людей. Я собираюсь приподняться... Но вот опять что-то прошипело... потом вдруг охнуло... что-то мягкое упало — и шёпот разносится, шёпот скользит по стенам...

Или ничего этого нет — и только одно воображение меня дразнит?

Заглохло, наконец, всё: стала самая сердцевина и темь и глушь ночи. Пора! Заранее весь похолоделый, я сбрасываю одеяло, опускаю ноги на пол, встаю... Шаг; другой... Я крадусь. Плюсны ног, словно чужие, тяжелые, переступают слабо и неверно. Стой! Что это за звук? Пилит кто где, или скребет... или вздыхает? Я прислушиваюсь... По щекам перебегают мурашки, на глаза выступают водянистые холодные слезы... Ничего!.. Я крадусь опять.

Темно; но я знаю дорогу. Вдруг я натыкаюсь на стул... Какой стук и как больно! Удар пришелся прямо по голени... Замираю на месте... Ну проснутся? А! была не была! Вдруг является смелость и даже злость. Вперед! вперед! Вот уже и столовая пройдена; вот уже дверь ощупана, раскрыта разом, с размаху... Визгнула-таки петля проклятая... ну ее! Вот уже я по лестнице поднимаюсь... Раз, два! раз, два! Хрустнула под ногой ступенька; я взглядываю на нее злобно — словно я видеть ее могу. Вот уже другую дверь я потянул за ручку... Эта хоть бы чукнула! Так легохонько и распахнулась: милости просим, мол... Вот уже я в коридоре!

В коридоре наверху, под потолком, небольшое окошечко. Слабый ночной свет чуть сеется сквозь темные стекла. И видится мне при том брезжущем свете: на полу, на войлоке, лежит, закинув обе руки за растрепанную голову, наша девочка-побегушка; крепко спит она, дышит проворно, а за самой ее головою роковая дверь. Я шагаю через войлок, через девочку... Кто мне отворил ту дверь... не знаю; но вот уже я в теткиной комнате; вот и лампадка в одном углу и кровать в другом, и тетка в чепце и кофте на кровати лицом ко мне. Спит, не шевелится; даже дыхания не слыхать. Пламя лампадки тихонько колеблется, возмущенное притоком свежего воздуха; и по всей комнате и по неподвижному, как воск желтому лицу тетки — заколебались тени...

А вот и часы! За кроватью, на стене висят они на вышитой подушечке. Экое счастье! — подумаешь... Нечего мешкать! Но чьи это шаги, мягкие и быстрые, за моей спиною? Ах, нет! это сердце стучит!.. Я заношу ногу вперед... Боже! что-то круглое, довольно большое толкает меня ниже колена... раз! и еще раз! Я готов вскрикнуть, я готов упасть от ужаса... Полосатый кот, наш домашний кот стоит передо мною, сгорбив спину, задрав хвост. Вот он вскакивает на кровать — тяжело и мягко — оборачивается и сидит не мурлыча, словно судья какой; сидит и глядит на меня своими золотыми зрачками. Кись! кись! — шепчу я чуть слышно. Я перегибаюсь через тетку, я уже схватил часы... Она вдруг приподнимается, широко раскрывает веки... Создатель! что будет?.. Но веки ее вздрагивают и закрываются, и с слабым лепетом падает голова на подушку.

Минута — и я уже опять в своей комнате, на своей постели, и часы у меня в руках...

Легче пуха примчался я назад! Я молодец, я вор, я герой, я задыхаюсь от радости, мне жарко, мне весело — я хочу тотчас разбудить Давыда, всё рассказать ему — и, невероятное дело! засыпаю как убитый! Я открываю наконец глаза... В комнате светло; солнце уже встало. К счастью, еще никто не проснулся. Я вскакиваю, как ошпаренный, бужу Давыда, сообщаю ему всё. Он выслушивает, ухмыляется. «Знаешь ли что? — говорит он мне наконец.— Зароем мы этн дурацкие часы в землю, чтобы и духу их больше не было!» Я нахожу его мысль бесподобной. В несколько мгновений мы оба одеты, бежим в фруктовый сад, расположенный позади нашего дома,— и под старой яблонью, в глубокой яме, торопливо вырытой в рыхлой весенней земле большим Давыдовым ножом, скрывается навсегда ненавистный подарок крестного отца, так-таки не доставшийся в руки противному Транквиллитатину! Мы утаптываем яму, набрасываем па нее щебню, и гордые, счастливые, никем не замеченные, возвращаемся домой, ложимся в наши постели и спим еще часок-другой — и каким легким и блаженным сном!

X

Можете себе представить, какой гвалт поднялся на следующее утро, как только тетка проснулась и хватилась часов. До сих пор звенит у меня в ушах ее пронзительный крик. «Караул! Ограбили! ограбили!» — пищала она и взбудоражила весь дом. Она бесновалась, а мы с Давыдом только улыбались про себя, и сладка была нам наша улыбка. «Всех, всех пересечь надо! — кричала тетка, из-под головы, из-под подушки вытащили часы!» Мы на всё были готовы, мы ждали беды... но, против ожиданья, беды не стряслось над нами никакой. На первых порах отец точно развоевался страшно — он даже о полиции упомянул; но, знать, ему уже вчерашняя расправа прискучила, и он внезапно, к неописанному изумлению тетки, накинулся не на нас, а на нее!

— Надоели вы мне пуще горькой редьки, Пульхерия Петровна,— закричал он,— с вашими часами! Слышать о них я больше не хочу! Не колдовством же они пропали, говорите вы; а мне что за дело? Хоть бы колдовством! Украли их у вас? Ну туда им и дорога! Настасей Настасеич что скажет? А чёрт с ним совсем, с вашим Настасеичем! Я от него, кроме пакостей да неудовольствий,

ничего не вижу. Не сметь меня больше беспокоить. Слышите!

Отец хлопнул дверью и ушел к себе в кабинет. Мы сперва с Давыдом не поняли намека, заключавшегося в его последних словах; но потом мы узнали, что отец в это самое время сильно негодовал на моего крестного, перебившего у него выгодное дело. Так и осталась тетка с носом. Она чуть не лопнула с досады, но делать было нечего. Она должна была ограничиться тем, что, проходя мимо меня и скривив рот в мою сторону, резким шёпотом твердила: «Вор, вор, каторжник, мошенник!» Укоризны тетки доставляли мне истинное наслаждение. Очень было также приятно, проходя палисадником, скользить притворно-равнодушным глазом к самому тому месту под яблоней, где покоились часы; и если Давыд находился тут же, вблизи,— обменяться с ним значительной ужимкой...

Тетка вздумала было натравить на меня Транквиллитатина; но я прибегнул к помощи Давыда. Тот прямо объявил дюжему семинаристу, что распорет ему ножом брюхо, если он не оставит меня в покое... Транквиллитатин испугался; он хоть и гренадер был и кавалер, по выражению тетки, однако храбростью не отличался. Так прошло недель пять... Но не думаете ли вы, что история с часами так и кончилась? Нет, она не кончилась; только для того, чтобы продолжать мой рассказ, мне нужно ввести новое лицо; а чтобы ввести это новое лицо, я должен вернуться несколько назад.

XI

Мой отец был долгое время очень дружен, даже короток, с одним отставным чиновником, Латкиным, хроменьким, убогеньким человечком с робкими и странными ухватками, одним из тех существ, про которых сложилась поговорка, что они самим богом убиты. Подобно отцу моему и Настасею, он занимался хожденьем по делам и был тоже частным «стряпчим» и поверенным; но, не обладая ни представительной наружностью, ни даром слова и слишком мало на себя надеясь, он не решался действовать самостоятельно и примкнул к моему отцу. Почерк у него был «настоящий бисер», законы он знал твердо и до тонкости постиг все завитушки просьбенного и приказного слога. Вместе с отцом он орудовал различные дела, делил

барыши и убытки, и, казалось, ничто не могло поколебать их дружбу; и со всем тем она рухнула в один день — и навсегда. Отец навсегда рассорился с своим сотрудником. Если бы Латкин отбил у отца выгодное дело, на манер заменившего его впоследствии Настасея,— отец вознегодовал бы на него не более, чем на Настасея,— вероятно, даже меньше; но Латкин, под влияньем необъяснимого, непонятного чувства — зависти, жадности, а быть может, и под мгновенным наитием честности,— «подвел» моего отца, выдал его общему их доверителю, богатому молодому купцу, открыв глаза этому беспечному юноше на некоторый... некоторый кунштюк, долженствовавший принести значительную пользу моему отцу. Не денежная утрата, как она велика ни была — нет! а измена оскорбила и взорвала отца. Он не мог простить коварства!

— Вишь, святой выискался! — твердил он, весь дрожа от гнева и стуча зубами, как в лихорадке. Я находился тут же в комнате и был свидетелем этой безобразной сцены.— Добро! С нынешнего дня — аминь! Кончено между нами. Вот бог, а вот порог! Ни я у тебя, ни ты у меня! Вы для нас уж больно честны — где нам с вами общество водить! Но не быть же тебе ни дна ни покрышки!

Напрасно Латкин умолял отца, кланялся ему земно; напрасно пытался объяснить то, что наполняло его собственную душу болезненным недоумением. «Ведь без всякой пользы для себя, Порфирий Петрович,— лепетал он,— ведь самого себя зарезал!» Отец остался непреклонен... Ноги Латкина уже больше не было в нашем доме. Сама судьба, казалось, вознамерилась оправдать последнее жестокое пожелание моего отца. Вскоре после разрыва (произошел он года за два до начала моего рассказа) жена Латкина, правда, уже давно больная, умерла; вторая его дочка, трехлетний ребенок, от страха онемела и оглохла в один день: пчелиный рой облепил ей голову; сам Латкин подвергся апоплексическому удару — и впал в крайнюю, окончательную бедность. Как он перебивался, чем существовал — трудно было даже представить. Жил он в полуразрушенной хибарочке в недальнем расстоянии от нашего дома. Старшая его дочь, Раиса, тоже жила с ним и хозяйничала по возможности. Эта Раиса была именно то новое лицо, которое я должен ввести в рассказ.

XII

Пока отец ее был дружен с моим, мы беспрестанно ее видали; она иногда по целым дням сиживала у нас и либо шила, либо пряла своими тонкими, проворными и ловкими руками. Это была стройная, немного сухощавая девушка с умными карими глазами на бледном, длинноватом лице. Она говорила мало, но толково, тихим и звонким голосом, почти не раскрывая рта и не выказывая зубов; когда она смеялась — что случалось редко и никогда долго не продолжалось,— они вдруг выставлялись все, большие, белые, как миндалины. Помню я также ее походку, легкую, упругую, с маленьким подпрыгом на каждом шагу; мне всегда казалось, что она сходит по ступеням лестницы, даже когда она шла по ровному месту. Она держалась прямо, с поджатыми на груди руками. И что бы она ни делала, за что бы она ни принималась — ну хоть бы нитку в ушко иголки вдевать или юбку утюгом разглаживать,— всё выходило у нее красиво и как-то... вы не поверите... как-то трогательно. Христианское ее имя было — Раиса, но мы ее звали Черногубкой: у ней на верхней губе было родимое темно-синее пятнышко, точно она поела команики; но это ее не портило: напротив. Она была ровно годом старше Давыда. Я питал к ней чувство вроде уважения, но она зналась со мною мало. Зато между Давыдом и ею завелась дружба — не детская, странная, но хорошая дружба. Они как-то шли друг к другу. Они иногда по целым часам не менялись словом, но каждому чувствовалось, что им обоим хорошо — и потому именно хорошо, что они вместе. Я другой такой девушки не встречал, право. В ней было что-то внимательное и решительное, что-то честное, и печальное, и милое. Я не слыхивал от нее умного слова, зато я и пошлости от нее не слыхал, а умнее глаз я не видывал. Когда произошел разрыв между ее семейством и моим, я стал редко ее видеть; отец мой строжайше запретил мне навещать Латкиных — и она уже не показывалась у нас в доме. Но я встречался с нею на улице, в церкви, и Черногубка внушала мне всё те же чувства: уважение и даже некоторое удивление — скорей, чем жалость. Очень уже она хорошо переносила свое несчастье. «Кремень-девка»,— сказал про нее однажды сам топорный Транквиллитатин. А по-настоящему следовало пожалеть о ней: лицо ее приняло выражение озабоченное, утомленное, глаза осунулись и

углубились: непосильная тягота легла ей на молоденькие плечи. Давыд видел ее гораздо чаще, чем я; он и в дом к ним ходил. Отец махнул на него рукою: он знал, что Давыд все-таки его не послушается. И Раиса от времени до времени появлялась у плетня нашего сада, выходившего на проулок, и видалась там с Давыдом; не беседу она вела с ним, а сообщала ему какое-нибудь новое затруднение или новую беду — спрашивала совета. Паралич, поразивший Латкина, был свойства довольно странного. Руки, ноги его ослабели, но он не лишился их употребления, даже мозг его действовал правильно; зато язык его путался и вместо одних слов произносил другие: надо было догадываться, что именно он хочет сказать.

«...Чу-чу-чу,— лепетал он с усилием — он всякую фразу начинал с чу-чу-чу,— ножницы мне, ножницы...» А ножницы означали хлеб. Отца моего он ненавидел всеми оставшимися у него силами — он его заклятью приписывал все свои бедствия и звал его то мясником, то бриллиантщиком. «Чу, чу, к мяснику не смей ходить, Васильевна!» Он этим именем окрестил свою дочь, а звали его Мартиньяном. С каждым днем становился он более требовательным; нужды его росли... А как удовлетворять эти нужды? Откуда взять денег? Горе скоро старит; но жутко было слышать иные слова в устах семнадцатилетней девушки.

XIII

Помнится, мне пришлось присутствовать при ее беседе у забора с Давыдом в самый день кончины ее матери.

— Сегодня на зорьке матушка скончалась,— говорила она, поводив сперва кругом своими темными, выразительными глазами, а там вперив их в землю,— кухарка взялась гроб подешевле купить; да она у нас ненадежная; пожалуй, еще деньги пропьет. Ты бы пришел, посмотрел, Давыдушко: тебя она побоится.

— Приду,— отвечал Давыд,— посмотрю... А что отец?

— Плачет; говорит: похороните заодно уж и меня. Теперь заснул.— Раиса вдруг глубоко вздохнула.— Ах, Давыдушко, Давыдушко! — Она провела полусжатым кулачком себе по лбу и по бровям, и было это движение и горько так... и так искренне, и так красиво, как все ее движения.

— Ты, однако, себя пожалей,— заметил Давыд.—

Не спала, чай, вовсе... Да и что плакать? Горю не пособить.

— Мне плакать некогда,— отвечала Раиса.

— Это богатые баловаться могут, плакать-то,— заметил Давыд.

Раиса пошла было, да вернулась.

— Желтую шаль у нас торгуют, знаешь, из маменькиного приданого. Двенадцать рублей дают. Я думаю, мало.

— И то, мало.

— Мы б ее не продали,— промолвила Раиса, помолчав немного,— да ведь на похороны нужно.

— И то, нужно. Только зря денег давать не следует. Попы эти — беда! Да вот, постой, я приду. Ты уходишь? Я скоро буду. Прощай, голубка!

— Прощай, братец, голубчик!

— Смотри же не плачь!

— Какое плакать? Либо обед варить, либо плакать. Одно из двух.

— Как: обед варить? — обратился я к Давыду, как только Раиса удалилась,— разве она сама кушанье готовит?

— Да ведь ты слышал: кухарка гроб пошла торговать.

«Готовит обед,— подумал я,— а руки у ней всегда такие чистые — и одежда опрятная... Я бы посмотрел, как она там, в кухне... Необыкновенная девушка!»

Помню я другой разговор «у забора». На этот раз Раиса привела с собою свою глухонемую сестричку. Это был хорошенький ребенок с огромными, удивленными глазами и целой громадой черных тусклых волос на маленькой головке (у Раисы волосы были тоже черные и тоже без блеска). Латкин был уже поражен параличом.

— Уж я не знаю, как быть,— начала Раиса.— Доктор рецепт прописал, надо в аптеку сходить; а тут наш мужичок (у Латкина оставалась одна крепостная душа) дровец из деревни привез да гуся. А дворник отнимает: вы мне, говорит, задолжали.

— Гуся отнимает? — спросил Давыд.

— Нет, не гуся. Он, говорит, старый; уж больше не годится. Оттого, говорит, и мужичок вам его привез. А дрова отнимает.

— Да он права не имеет! — воскликнул Давыд.

— Права не имеет, а отнимает... Я пошла на чердак; там у нас сундук стоит, старый-престарый. Стала я в нем рыться... И что же я нашла: посмотри!

Она достала из-под косынки довольно большую зрительную трубку, в медной оправе, оклеенную пожелтелым сафьяном. Давыд, как любитель и знаток всякого рода инструментов, тотчас ухватился за нее.

— Английская,— промолвил он, приставляя ее то к одному глазу, то к другому.— Морская!

— И стекла целы,— продолжала Раиса.— Я показала батюшке; он говорит: снеси, заложи бриллиантщику! Ведь что ты думаешь? За нее дадут деньги? А нам на что зрительная трубка? Разве на себя в зеркало посмотреть, каковы мы есть красавцы. Да зеркала, жаль, нет.

И, сказавши эти слова, Раиса вдруг громко засмеялась. Сестричка ее, конечно, не могла ее услышать, но, вероятно, почувствовала сотрясение ее тела: она держала Раису за руку — и, поднявши на нее свои большие глаза, испуганно перекосила личико и залилась слезами.

— Вот так-то она всегда,— заметила Раиса,— не любит, когда смеются.

— Ну не буду, Любочка, не буду,— прибавила она, проворно присев на корточки возле ребенка и проводя пальцами по ее волосам.— Видишь?

Смех исчез с лица Раисы, и губы ее, концы которых как-то особенно мило закручивались кверху, стали опять неподвижны. Ребенок умолк. Раиса приподнялась.

— Так ты, Давыдушко, порадей... с трубкой-то. А то дров жаль — да и гуся, какой он ни на есть старый!

— Десять рублей непременно дадут,— промолвил Давыд, переворачивая трубку во все стороны.— *Я* ее у тебя куплю... чего лучше? А вот пока на аптеку — пятиалтынный... Довольно?

— Это я у тебя занимаю,— шепнула Раиса, принимая от него пятиалтынный.

— Еще бы! С процентами — хочешь? Да вот и залог у меня есть. Важнейшая вещь!.. Первый народ — англичане.

— А говорят, мы с ними воевать будем?

— Нет,— отвечал Давыд,— мы теперь французов бьем.

— Ну — тебе лучше знать. Так порадей. Прощайте, господа!

XIV

А то вот еще какой разговор происходил всё у того же забора. Раиса казалась озабоченной больше обыкновенного.

— Пять копеек кочан капусты, да и кочан-то «махенький-премахенький»...— говорила она, подперши рукою подбородок.— Вон как дорого! А за шитье деньги еще не получены.

— Тебе кто должен? — спросил Давыд.

— Да всё та же купчиха, что за валом живет.

— Эта, что в шушуне зеленом ходит, толстая такая?

— Она, она.

— Вишь, толстая! От жира не продышится, в церкви так даже паром от нее шибает, а долги не платит!

— Она заплатит... только когда? А то вот еще, Давыдушко, новые у меня хлопоты. Вздумал отец мне сны свои рассказывать. Ты ведь знаешь, косноязычен он стал: хочет одно слово промолвить, ан выходит другое. Насчет пищи или чего там житейского — мы уже привыкли, понимаем; а сон и у здоровых-то людей непонятен бывает, а у него — беда! Я, говорит, очень радуюсь; сегодня всё по белым птицам прохаживался; а господь бог мне пукéт подарил, а в пукете Андрюша с ножичком.— Он нашу Любочку Андрюшей зовет.— Теперь мы, говорит, будем здоровы оба. Только надо ножичком — чирк! Эво так! — и на горло показывает. Я его не понимаю; говорю: хорошо, родной, хорошо; а он сердится, хочет мне растолковать, в чем дело. Даже в слезы ударился.

— Да ты бы ему что-нибудь такое сказала,— вмешался я,— солгала бы что-нибудь.

— Не умею я лгать-то,— отвечала Раиса и даже руками развела.

И точно: она лгать не умела.

— Лгать не надо,— заметил Давыд,— да и убивать себя тоже не след. Ведь спасибо никто тебе не скажет?

Раиса поглядела на него пристально.

— Что я хотела спросить у тебя, Давыдушко; как надо писать: штоп?

— Что такое: штоп?

— Да, вот, например: я хочу, *штоп* ты жив был.

— Пиши: ша, твердо, он, буки, ер!

— Нет,— вмешался я,— не ша, а червь!

— Ну всё равно; пиши: червь! А главное — сама-то ты живи!

— Мне бы хотелось писать правильно,— заметила Раиса и слегка покраснела.

Она, когда краснела, тотчас удивительно хорошела.

— Пригодиться оно может... Батюшка в свое время

как писал... На удивление! Он и меня выучил. Ну, теперь он даже буквы плохо разбирает.

— Ты только у меня живи,— повторил Давыд, понизив голос и не спуская с нее глаз. Раиса быстро глянула на него и пуще покраснела.— Живи ты... а писать... пиши, как знаешь... О чёрт, ведьма идет! (Ведьмой Давыд звал мою тетку.) И что ее сюда носит?.. Уходи, душа!

Раиса еще раз глянула на Давыда и убежала.

Давыд весьма редко и неохотно говорил со мною о Раисе, об ее семье, особенно с тех пор, как начал поджидать возвращения своего отца. Он только и думал, что о нем — и как мы потом жить будем. Он живо его помнил и с особенным удовольствием описывал мне его.

— Большой, сильный, одной рукой десять пудов поднимает... Как крикнет: «Гей, малый!» — так по всему дому слышно. Славный такой, добрый... и молодец! Ни перед кем, бывало, не струсит. Отличное было наше житье, пока нас не разорили! Говорят, он теперь совсем седой стал, а прежде такой же был рыжий, как я. Си-и-лач!

Давыд никак не хотел допустить, что мы останемся в Рязани.

— Вы-то уедете,— заметил я,— да я-то останусь.

— Пустяки! Мы тебя с собой возьмем.

— А с отцом-то как быть?

— Отца ты своего бросишь. А не бросишь — пропадешь.

— Что так?

Давыд не отвечал мне и только нахмурил свои белые брови.

— Вот как мы уедем с батькой,— начал он снова,— найдет он себе хорошее место, я женюсь...

— Ну, это еще не скоро,— заметил я.

— Нет, отчего же? Я женюсь скоро.

— Ты?

— Да, я; а что?

— Уж нет ли у тебя невесты на примете?

— Конечно, есть.

— Кто же она такая?

Давыд усмехнулся.

— Какой ты, однако, бестолковый! Конечно, Раиса.

— Раиса! — повторил я с изумлением.— Ты шутишь!

— Я, брат, шутить и не умею и не люблю.

— Да ведь она годом тебя старше?

— Что ж такое? А впрочем, бросим этот разговор.

— Позволь мне одно спросить,— промолвил я.— Знает она, что ты собираешься на ней жениться?

— Вероятно.

— Но ты ей ничего не открывал?

— Что тут открывать? Придет время, скажу. Ну, баста!

Давыд встал и вышел из комнаты. Оставшись наедине, я подумал... подумал... и решил наконец, что Давыд поступает, как благоразумный и практический человек; и мне даже лестно стало, что я друг такого практического человека!

А Раиса, в своем вековечном черном шерстяном платьице, мне вдруг показалась прелестной и достойной самой преданной любви!

XV

Давыдов отец всё не ехал и даже писем не присылал. Лето давно стало, июнь месяц шел к концу. Мы истомились в ожидании.

Между тем начали ходить слухи, что Латкину вдруг гораздо похужело и семья его — того и жди — с голоду помрет, а не то дом завалится и крышей всех задавит. Давыд даже в лице изменился и такой стал злой и угрюмый, что хоть не приступайся к нему. Отлучаться он тоже стал чаще. С Раисой я не встречался вовсе. Изредка мелькала она вдали, быстро переходя через улицу своей красивой, легкой походкой, прямая, как стрела, с поджатыми руками, с темным и умным взором под длинными бровями, с озабоченным выражением на бледном и милом лице — вот и всё. Тетка с помощью своего Транквиллитатина жучила меня по-прежнему и по-прежнему укоризненно шептала мне в самое ухо: «Вор, сударь, вор!» Но я не обращал на нее внимания; а отец захлопотался, корпел, разъезжал, писал и знать ничего не хотел.

Однажды, проходя мимо знакомой яблони, я, больше по привычке, бросил косвенный взгляд на известное местечко, и вдруг мне показалось, как будто на поверхности земли, прикрывавшей наш клад, произошла некоторая перемена... Как будто горбинка появилась там, где прежде было углубление, и куски щебня лежали уже не так! «Что это значит? — подумалось мне.— Неужто кто-нибудь проник нашу тайну и вырыл часы?»

Надо было удостовериться в этом собственными гла-

зами. К часам, ржавеющим в утробе земли, я, конечно, чувствовал полнейшее равнодушие; но не позволить же другому воспользоваться ими! А потому на следующий же день я, снова поднявшись до зари и вооружившись ножом, отправился в сад, отыскал намеченное место под яблоней, принялся рыть — и, вырывши чуть не аршинную яму, должен был убедиться, что часы пропали, что кто-то их достал, вытащил, украл!

Но кто же мог их... вытащить — кроме Давыда?

Кто другой знал, где они находились?

Я засыпал яму и вернулся домой. Я чувствовал себя глубоко обиженным.

«Положим,— думал я,— часы понадобились Давыду для того, чтобы спасти от голодной смерти свою будущую жену или ее отца... Что там ни говори, часы эти чего-нибудь да стоят... Да как было не прийти ко мне и не сказать: „Брат! (я на месте Давыда непременно сказал бы: брат) — брат! Я нуждаюсь в деньгах; у тебя их нет, я знаю, но позволь воспользоваться теми часами, которые мы вместе с тобою зарыли под старой яблонью! Они никому не приносят пользы, а я тебе так буду благодарен, брат!“ С какой бы радостью я согласился! Но действовать тайно, изменнически, не довериться другу... Нет! Никакая страсть, никакая нужда этого не извиняет!»

Я, повторяю, я был сильно оскорблен. Я начал было выказывать холодность, дуться...

Но Давыд был не из тех, которые это замечают и тревожатся!

Я начал делать намеки...

Но Давыд, казалось, нисколько не понимал моих намеков!

Я говорил при нем, как низок в моих глазах тот человек, который, имея друга и даже понимая всё значение этого священного чувства, дружбы, не обладает, однако, достаточно великодушием, чтобы не прибегать к хитрости; как будто можно что-нибудь скрыть!

Произнося эти последние слова, я смеялся презрительно.

Но Давыд и ухом не вел!

Я, наконец, прямо спросил его: как он полагает, часы наши шли еще некоторое время, будучи похоронены в землю, или тотчас же остановились?

Он отвечал мне:

— А чёрт их знает! Вот нашел о чем размышлять!

Я не знал, что думать. У Давыда, очевидно, было что-то на сердце... но только не похищение часов. Неожиданный случай доказал мне его невинность.

XVI

Я возвращался однажды домой по одному проулочку, по которому я вообще избегал ходить, так как в нем находился флигель, где квартировал мой враг Транквиллитатин; но на этот раз сама судьба привела меня туда. Проходя под закрытым окном одного трактирного заведения, я вдруг услыхал голос нашего слуги Василья, молодого развязного малого, великого «лентяя и шалопая», как выражался мой отец,— но великого также покорителя женских душ, на которых он действовал острословием, пляской и игрою на торбане.

— И ведь, поди ж ты, что выдумали! — говорил Василий, которого я видеть не мог, но слышал весьма явственно; он, вероятно, сидел тут же возле окна, с товарищем, за парой чая — и, как это часто случается с людьми в запертом покое, говорил громко, не подозревая, что каждый прохожий на улице слышит каждое слово,— что выдумали? Зарыли их в землю!

— Врешь! — проворчал другой голос.

— Я тебе говорю. Такие у нас барчуки необнаковенные! Особенно Давыдка этот... как есть иезоп. На самой на зорьке встал я, да и подхожу этак к окну... Гляжу: что за притча?.. Идут наши два голубчика по саду, несут эти самые часы, под яблонкой яму вырыли — да туда их, словно младенца какого! И землю потом заровняли, ей-богу, такие беспутные!

— Ах, шут их возьми! — промолвил Васильев собеседник.— С жиру, значит. Ну и что ж? Ты часы отрыл?

— Понятное дело, отрыл. Они и теперь у меня. Только показывать их пока не приходится. Больно много из-за них шума было. Давыдка-то их у старухи у нашей в ту самую ночь из-под хребта вытащил.

— О-о!

— Я тебе говорю. Беспардонный совсем. Так и нельзя их показывать. Да вот офицеры понаедут: продам кому, а не то в карты разыграю.

Я не стал больше слушать, стремглав бросился домой и прямо к Давыду.

— Брат! — начал я,— брат! прости меня! Я был виноват перед тобою! Я подозревал тебя! Я обвинял тебя! Ты видишь, как я взволнован! Прости меня!

— Что с тобой? — спросил Давыд.— Объяснись!

— Я подозревал тебя, что ты наши часы из-под яблони вырыл!

— Опять эти часы! Да разве их там нет?

— Нет их там; я думал, что ты их взял, чтобы помочь твоим знакомым. И это всё Василий!

Я передал Давыду всё, что услышал под окном заведения.

Но как описать мое изумление! Я, конечно, полагал, что Давыд вознегодует; но я уж никак не мог ожидать того, что произошло с ним! Едва я кончил мой рассказ, он пришел в ярость несказанную! Давыд, который не иначе, как с презрением относился ко всей этой, по его словам, «пошлой» проделке с часами, тот самый Давыд, который не раз уверял, что они выеденного яйца не стоят,— тут вдруг вскочил с места, весь вспыхнул, стиснул зубы, сжал кулаки. «Этого так оставить нельзя! — промолвил он наконец.— Как он смеет себе чужую вещь присваивать? Я ему покажу, постой! Я ворам потачки не даю!» Признаюсь, я до сих пор не понимаю, что могло так взбесить Давыда: был ли он уже без того раздражен и поступок Василья подлил только масла в огонь; оскорбили ли его мои подозрения — не могу сказать; но я никогда не видывал его в таком волнении. Разинув рот, стоял я перед ним и только дивился, как это он так тяжело и сильно дышал.

— Что же ты намерен сделать? — спросил я наконец.

— А вот увидишь — после обеда, когда отец уляжется. Я этого пересмешника найду! Я с ним потолкую!

— «Ну,— подумал я,— не хотел бы я быть на месте этого „пересмешника“. Что из этого выйдет, господи боже мой!»

XVII

А вышло вот что.

Как только после обеда водворилась та сонная, душная тишина, которая до сих пор, как жаркий пуховик, ложится на русский дом и русский люд в середине дня, после вкушенных яств, Давыд (я с замиравшим сердцем шел за его пятами) — Давыд отправился в людскую и вызвал оттуда Василья. Тот сперва не хотел идти, однако

кончил тем, что повиновался и последовал за нами в садик.

Давыд стал перед самой его грудью. Василий был целой головой выше его.

— Василий Терентьев! — начал твердым голосом мой товарищ,— ты из-под самой этой яблони, недель шесть тому назад, вытащил спрятанные нами часы. Ты не имел права это сделать, они тебе не принадлежали. Отдай их сейчас!

Василий смутился было, но тотчас оправился. «Какие часы? Что вы говорите? Бог с вами! Никаких нет у меня часов!»

— Я знаю, что я говорю, а ты не лги. Часы у тебя. Отдай их!

— Нет у меня ваших часов.

— А как же ты в трактире...— начал было я, но Давыд меня остановил.

— Василий Терентьев! — произнес он глухо и грозно.— Нам доподлинно известно, что часы у тебя. Говорят тебе честью: отдай их. А если ты не отдашь...

Василий нагло ухмыльнулся.

— И что же вы тогда со мною сделаете? Ну-с?

— Что? Мы оба до тех пор с тобой драться будем, пока либо ты нас победишь, либо мы тебя.

Василий засмеялся.

— Драться? Это не барское дело! С холопом-то драться?

Давыд вдруг вцепился Василию в жилет.

— Да мы не на кулаки с тобою драться будем,— произнес он со скрежетом зубов,— пойми ты! А я тебе дам нож и сам возьму... Ну и посмотрим, кто кого? Алексей! — скомандовал он мне,— беги за моим большим ножом, знаешь, черенок у него костяной — он там на столе лежит, а другой у меня в кармане.

Василий вдруг так и обмер. Давыд всё держал его за жилет.

— Помилуйте... помилуйте, Давыд Егорыч,— залепетал он; даже слезы выступили у него на глаза,— что вы это? Что вы? Пустите!

— Не выпущу я тебя. И пощады тебе не будет! Сегодня ты от нас отвертишься, мы завтра опять начнем.— Алешка! где же нож!

— Давыд Егорыч! — заревел Василий,— не делайте убивства... Что же это такое? А часы... Я точно... Я по-

шутил. Я их вам сию минуту представлю. Как же это? То Хрисанфу Лукичу брюхо пороть, то мне! Пустите меня, Давыд Егорыч... Извольте получить часы. Папеньке только не сказывайте.

Давыд выпустил из рук Васильев жилет. Я посмотрел ему в лицо: точно — и не Василью можно было испугаться. Такое унылое... и холодное... и злое.

Василий вскочил в дом и немедленно вернулся оттуда с часами в руке. Молча отдал он их Давыду и, только возвращаясь обратно в дом, громко воскликнул на пороге: «Тьфу ты, окказия!»

На нем всё еще лица не было. Давыд качнул головою и пошел в нашу комнату. Я опять поплелся за ним. «Суворов! как есть Суворов!» — думал я про себя. Тогда, в 1801 году, Суворов был наш первый, народный герой.

XVIII

Давыд запер за собою дверь, положил часы на стол, скрестил руки и — о, чудо! — засмеялся. Глядя на него, я засмеялся тоже.

— Этакая штука удивительная! — начал он.— Никак мы от этих часов отбояриться не можем. Заколдованные они, право. И с чего я вдруг этак озлился?

— Да, с чего? — повторил я.— Оставил бы ты их у Василья...

— Ну, нет,— перебил Давыд.— Это шалишь! Но что мы с ними теперь сделаем?

— Да! Что?

Мы оба уставились на часы — и задумались. Украшенные голубым бисерным шнурком (злополучный Василий впопыхах не успел снять шнурок этот, который ему принадлежал) — они преспокойно делали свое дело: чикали — правда, несколько вперебивку,— и медленно передвигали свою медную минутную стрелку.

— Разве опять их зарыть? Или уж в печку их? — предложил я наконец.— Или вот еще: не поднести ли их Латкину?

— Нет,— ответил Давыд.— Это всё не то. А вот что: при губернаторской канцелярии завели комиссию, пожертвования собирают в пользу касимовских погорельцев. Город Касимов, говорят, дотла сгорел, со всеми церквами. И, говорят, там всё принимают: не один только хлеб или деньги,— но всякие вещи натурой. Отдадим-ка мы туда эти часы! А?

— Отдадим! отдадим! — подхватил я.— Прекрасная мысль! Но я полагал, так как семейство твоих друзей нуждается...

— Нет, нет; в комиссию! Латкины и без них обойдутся. В комиссию!

— Ну, в комиссию — так в комиссию. Только, я полагаю, надо при этом написать что-нибудь губернатору.

Давыд взглянул на меня.

— Ты полагаешь?

— Да; конечно, много нечего писать. А так — несколько слов.

— Например?

— Например... начать так: «Будучи...» или вот еще: «Движимые»...

— «Движимые»... хорошо.

— Потом надо будет сказать: «Сия малая наша лепта...»

— «Лепта»... хорошо тоже; ну, бери перо, садись, пиши, валяй!

— Сперва черновую,— заметил я.

— Ну черновую; только пиши, пиши... А я их пока мелом почищу.

Я взял лист бумаги, очинил перо; но не успел я вывести наверху листа: «Его превосходительству, господину сиятельному князю» (у нас тогда губернатором был князь X.), как я остановился, пораженный необычным шумом, внезапно поднявшимся у нас в доме. Давыд тоже заметил этот шум и тоже остановился, подняв часы в левой, тряпочку с мелом в правой руке. Мы переглянулись. Что за резкий крик? Это тетка взвизгнула.. а это? Это голос отца, хриплый от гнева. «Часы! часы!» — орет кто-то, чуть ли не Транквиллитатин. Ноги стучат, скрыпят половицы, целая орава бежит... несется прямо к нам. Я замираю от страха, да и Давыд бел, как глина, а смотрит орлом. «Василий, подлец, выдал» —шепчет он сквозь зубы... Дверь отворяется настежь... и отец в халате, без галстуха, тетка в пудраманте, Транквиллитатин, Василий, Юшка, другой мальчик, повар Агапит — все врываются в комнату.

— Мерзавцы! — кричит отец, едва переводя дыхание... — Наконец-то мы вас накрыли! — И, увидав часы в руках Давыда: — Подай! — вопит отец,— подай часы!

Но Давыд, не говоря ни слова, подскакивает к раскрытому окну — и прыг из него на двор, да на улицу!

Привыкший подражать во всем моему образцу, я прыгаю тоже, я бегу вслед за Давыдом...

«Лови! держи!» — гремят за нами дикие, смятенные голоса.

Но мы уже мчимся по улице, без шапок на головах, Давыд впереди, я в нескольких шагах от него позади, а за нами топот и гвалт погони!

XIX

Много лет протекло со времени всех этих происшествий; я не раз размышлял о них — и до сих пор так же не могу понять причины той ярости, которая овладела моим отцом, столь недавно еще запретившим самое упоминовение при нем этих надоевших ему часов, как я не мог понять тогда бешенства Давыда при известии о похищении их Васильем! Поневоле приходит в голову, что в них заключалась какая-то таинственная сила. Василий не выдал нас, как это предполагал Давыд,— не до того ему было: он слишком сильно перетрусился,— а просто одна из наших девушек увидала часы в его руках и немедленно донесла об этом тетке. Сыр-бор и загорелся.

Итак, мы мчались по улице, по самой ее середине. Попадавшиеся нам прохожие останавливались или сторонились в недоумении. Помнится, один отставной секунд-майор, известный борзятник, внезапно высунулся из окна своей квартиры — и, весь багровый, с туловищем на перевесе, неистово заулюлюкал! «Стой! держи!» — продолжало греметь за нами. Давыд бежал, крутя часы над головою, изредка вспрыгивая; я вспрыгивал тоже и там же, где он.

— Куда? — кричу я Давыду, видя, что он сворачивает с улицы в переулок, и сворачивая вслед за ним.

— К Оке! — кричит он.— В воду их, в реку, к чёрту!

— Стой, стой,— ревут за нами...

Но мы уже летим по переулку. Вот нам навстречу уже повеяло холодком — и река перед нами, и грязный крутой спуск, и деревянный мост с вытянутым по нем обозом, и гарнизонный солдат с пикой возле шлагбаума; тогда солдаты ходили с пиками... Давыд уже на мосту, мчится мимо солдата, который старается ударить его по ногам пикой — и попадает в проходившего теленка. Давыд мгновенно вскакивает на перила — он издает радостное восклицание... Что-то белое, что-то голубое сверкнуло,

мелькнуло в воздухе — это серебряные часы вместе с бисерным Васильевым шнурком полетели в волны... Но тут совершается нечто невероятное! Вслед за часами ноги Давыда вскидываются вверх — и сам он весь, головою вниз, руки вперед, с разлетевшимися фалдами куртки, описывает в воздухе крутую дугу — в жаркий день так вспугнутые лягушки прыгают с высокого берега в воду пруда — и мгновенно исчезает за перилами моста... а там — бух! и тяжкий всплеск внизу...

Что со мною стало — я совершенно не в силах описать. Я находился в нескольких шагах от Давыда, когда он спрыгнул с перил... но я даже не помню, закричал ли я; не думаю даже, что я испугался; я онемел, я одурел. Руки, ноги отнялись. Вокруг меня толкались, бегали люди; некоторые из них мне показались знакомыми: Трофимыч вдруг промелькнул, солдат с пикой бросился куда-то в сторону, лошади обоза поспешно проходили мимо, задравши кверху привязанные морды... Потом всё позеленело, и кто-то меня сильно толкнул в затылок и вдоль всей спины... Это я в обморок упал.

Помню, что я потом приподнялся и, видя, что никто не обращает на меня внимания, подошел к перилам, но не с той стороны, с которой спрыгнул Давыд: подойти к ней мне показалось страшным,— а к другой, и стал глядеть на реку, бурливую, синюю, вздутую; помню, что недалеко от моста, у берега, я заметил причаленную лодку, а в лодке несколько людей, и один из них, весь мокрый и блестящий на солнце, перегнувшись с края лодки, вытаскивал что-то из воды, что-то не очень большое, какую-то продолговатую, темную вещь, которую я сначала принял за чемодан или корзину; но, всмотревшись попристальнее, я увидал, что эта вещь была — Давыд! Тогда я весь встрепенулся, закричал благим матом и побежал к лодке, проталкиваясь сквозь народ, а подбежав к ней, оробел и стал оглядываться. В числе людей, обступивших ее, я узнал Транквиллитатина, повара Агапита с сапогом в руке, Юшку, Василья... Мокрый, блестящий человек выволок под мышки из лодки тело Давыда, обе руки которого поднимались в уровень лица, точно он закрыться хотел от чужих взоров, и положил его в прибрежную грязь на спину. Давыд не шевелился, словно вытянулся, свел пятки и выставил живот. Лицо его было зеленовато, глаза подкатились, и вода капала с головы. Мокрый человек, который его вытащил, фабричный по одежде, начал

рассказывать, дрожа от холода и беспрестанно отводя волосы ото лба, как он это сделал. Очень он прилично и старательно рассказывал.

— Вижу я, господа, что за причина? Как ахнет этта малец с мосту... Ну!.. Я сейчас бегом по теченью вниз, потому знаю — попал он в самое стремя, пронесет его под мостом, ну, а там... поминай, как звали! Смотрю: шапка така́ мохнатенькая плывет, ан это — его голова. Ну, я сейчас живым манером в воду, сгреб его... Ну, а тут уже не мудрость!

В толпе послышалось два-три одобрительных слова.

— Согреться теперь тебе надо, пойдем шкальчик выкушаем,— заметил кто-то.

Но тут вдруг кто-то судорожно продирается вперед... Это Василий.

— Что же это вы, православные,— кричит он слезливо,— откачивать его надо. Это наш барчук!

— Откачивать его, откачивать,— раздается в толпе, которая беспрестанно прибывает.

— За ноги повесить! Лучшее средство!

— На бочку брюхом — да и катай его взад и вперед, пока что... Бери его, ребята!

— Не смей трогать! — вмешивается солдат с пикой.— На гуптевахту стащить его надо.

— Сволочь! — доносится откуда-то бас Трофимыча.

— Да он жив! — кричу я вдруг во всё горло и почти с ужасом.

Я приблизил было свое лицо к его лицу... «Так *вот*, каковы утопленники»,— думалось мне, и душа замирала... И вдруг я вижу — губы Давыда дрогнули, и его немножко вырвало водою...

Меня тотчас оттолкнули, оттащили; все бросились к нему.

— Качай его, качай! — зашумели голоса.

— Нет, нет, стой! — закричал Василий.— Домой его... домой!

— Домой,— подхватил сам Транквиллитатин.

— Духом его сомчим, там виднее будет,— продолжал Василий... (Я с того дня полюбил Василья.) Братцы! рогожки нет ли? А не то — берись за голову, за ноги...

— Постой! Вот рогожка! Клади! Подхватывай! Трогай! Важно: словно в колымаге поехал.

И несколько мгновений спустя Давыд, несомый на рогоже, торжественно вступил под кров нашего дома.

XX

Его раздели, положили на кровать. Уже на улице он начал подавать знаки жизни, мычал, махал руками... В комнате он совсем пришел в себя. Но как только опасения за жизнь его миновались и возиться с ним было уже не для чего — негодование вступило в свои права: все отступились от него, как от прокаженного.

— Покарай его бог! покарай его бог! — визжала тетка на весь дом.— Сбудьте его куда-нибудь, Порфирий Петрович, а то он еще такую беду наделает, что не расхлебаешь!

— Это, помилуйте, это аспид какой-то, да и бесноватый,— поддакивал Транквиллитатин.

— Злость, злость-то какая,— трещала тетка, подходя к самой двери нашей комнаты для того, чтобы Давыд ее непременно услышал,— перво-наперво украл часы, а потом их в воду... Не доставайся, мол, никому... На-ка!

Все, все негодовали!

— Давыд! — спросил я его, как только мы остались одни,— для чего ты это сделал?

— И ты туда же,— возразил он всё еще слабым голосом: губы у него были синие, и весь он словно припух.— Что я такое сделал?

— Да в воду зачем прыгнул?

— Прыгнул! Не удержался на перилах, вот и вся штука. Умел бы плавать — нарочно бы прыгнул. Выучусь непременно. А зато часы теперь — тю-тю!..

Но тут отец мой торжественным шагом вошел в нашу комнату.

— Тебя, любезный мой,— обратился он ко мне,— я выпорю непременно, не сомневайся, хоть ты поперек лавки уже не ложишься.— Потом он подступил к постели, на которой лежал Давыд.— В Сибири,— начал он внушительным и важным тоном,— в Сибири, сударь ты мой, на каторге, в подземельях живут и умирают люди, которые менее виноваты, менее преступны, чем ты! Самоубивец ты, или просто вор, или уже вовсе дурак? — скажи ты мне одно на милость?!!

— Не самоубивец я и не вор,— отвечал Давыд,— а что правда, то правда: в Сибирь попадают хорошие люди, лучше нас с вами... Кому же это знать, коли не вам?

Отец тихо ахнул, отступил шаг назад, посмотрел пристально на Давыда, плюнул и, медленно перекрестившись, вышел вон.

— Не любишь? — проговорил ему вслед Давыд и язык высунул. Потом он попытался подняться, однако не мог.— Знать, как-нибудь расшибся,— промолвил он, кряхтя и морщась.— Помнится, о бревно меня водой толкнуло.

— Видел ты Раису? — прибавил он вдруг.

— Нет, не видел... Стой! стой! стой! Теперь я вспоминаю: уж не она ли стояла на берегу, возле моста? Да... Темное платьице, желтый платок на голове... Должно, она!

— Ну, а потом... видел ты ее?

— Потом... Я не знаю. Мне не до того было. Ты тут прыгнул...

Давыд всполошился.

— Голубчик, друг, Алеша, сходи к ней сейчас, скажи, что я здоров, что ничего со мною. Завтра же я у них буду. Сходи скорее, брат, одолжи!

Давыд протянул ко мне обе руки... Его высохшие рыжие волосы торчали кверху забавными вихрами... но умиленное выражение его лица казалось оттого еще более искренним. Я взял шапку и вышел из дому, стараясь не попасться на глаза отцу и не напомнить ему его обещания.

XXI

«И в самом деле,— размышлял я, идучи к Латкиным,— как же это я не заметил Раисы? Куда она девалась? Должна же она была видеть...»

И вдруг я вспомнил: в самый момент Давыдова падения у меня в ушах зазвенел страшный, раздирающий крик... Уж не она ли это? Но как же я потом ее не видел?

Перед домиком, в котором квартировал Латкин, расстилался пустырь, заросший крапивой и обнесенный завалившимся плетнем. Едва перебрался я через этот плетень (ни ворот, ни калитки не было нигде), как моим глазам представилось следующее зрелище. На нижней ступеньке крылечка, перед домом, сидела Раиса, облокотившись на колени и подперев подбородок скрещенными пальцами; она глядела прямо в упор перед собою; возле нее стояла ее немая сестричка и преспокойно помахивала кнутиком, а перед крыльцом, спиной ко мне, в изорванном и истасканном камзоле, в подштанниках и с валенками на ногах, болтая локтями и кривляясь, семенил на ме-

сте и подпрыгивал старик Латкин. Услышав мои шаги, он внезапно обернулся, присел на корточки — и, тотчас подскочив ко мне, заговорил чрезвычайно быстро, трепетным голосом, с беспрестанными: чу, чу, чу! Я остолбенел. Я давно его не видал и, конечно, не узнал бы его, если бы встретился с ним в другом месте. Это сморщенное, беззубое, красное лицо, эти круглые тусклые глазки, взъерошенные седины, эти подергивания, эти прыжки, эта бессмысленная косноязычная речь... Что это такое? Что за нечеловеческое отчаяние терзает это несчастное существо? Что за «пляска смерти»?

— Чу, чу,— лепетал он, не переставая корчиться,— вот она, Васильевна, сейчас — чу, чу, вошла... Слышь! кор... рытом по крышке (он хлопнул себя рукою по голове) и сидит этак лопатой; и косая, косая, как Андрюшка; косая Васильевна! (Он, вероятно, хотел сказать: немая.) Чу! косая моя Васильевна! Вот они обе теперь на одну корку... Полюбуйтесь, православные! Только у меня и есть эти две лодочки! А?

Латкин, очевидно, сознавал, что говорил не то, неладно, и делал страшные усилия, чтобы растолковать мне, в чем было дело. Раиса, казалось, не слышала вовсе, что говорил ее отец, а сестричка продолжала похлопывать кнутиком.

— Прощай, бриллиантщик, прощай, прощай! — протянул Латкин несколько раз сряду, с низкими поклонами, как бы обрадовавшись, что поймал наконец, понятное слово.

У меня голова кругом пошла.

— Что это всё значит? — спросил я какую-то старуху, выглядывавшую из окна домика.

— Да что, батюшка,— отвечала та нараспев,— говорят, человек какой-то — и кто он, господь его знает — тонуть стал, а она это видела. Ну, перепугалась, что ли; пришла, однако... ничего; да как села на рундучок — с той самой поры вот и сидит, как истукан какой; хоть ты говори ей, хоть нет... Знать, ей тоже без языка быть. Ахти-хти!

— Прощай, прощай,— повторял Латкин всё с теми же поклонами.

Я подошел к Раисе и остановился прямо перед нею.

— Раисочка,— закричал я,— что с тобою?

Она ничего не отвечала; словно и не заметила меня. Лицо ее не побледнело, не изменилось — но какое-то ка-

менное стало, и выражение на нем такое... как будто вот-вот сейчас она заснет.

— Да косая же она, косая,— лепетал мне в ухо Латкин.

Я схватил Раису за руку.

— Давыд жив,— закричал я громче прежнего,— жив и здоров; жив Давыд, ты понимаешь? Его вытащили из воды, он теперь дома и велел сказать, что завтра придет к тебе... Он жив!

Раиса как бы с трудом перевела глаза на меня; мигнула ими несколько раз, всё более и более их расширяя, потом нагнула голову набок, понемногу побагровела вся, губы ее раскрылись... Она медленно, полной грудью потянула в себя воздух, сморщилась, как бы от боли, и, с страшным усилием проговорив: «Да... Дав... жи... жив»,— порывисто встала с крыльца и устремилась...

— Куда? — воскликнул я.

Но, слегка похохатывая и пошатываясь, она уже бежала через пустырь...

Я, разумеется, пустился за нею, между тем как позади меня поднялся дружный, старческий и детский вопль Латкина и глухонемой... Раиса мчалась прямо к нам.

«Вот выдался денек! — думал я, стараясь не отставать от мелькавшего передо мною черного платьица...— Ну!»

XXII

Минуя Василья, тетку и даже Транквиллитатина, Раиса вбежала в комнату, где лежал Давыд, и прямо бросилась ему на грудь.

— Ох... ох... Да... выдушко,— зазвенел ее голос из-под рассыпанных ее кудрей,— ох!

Сильно взмахнув руками, обнял ее Давыд и приник к ней головою.

— Прости меня, сердце мое,— послышался и его голос.

И оба словно замерли от радости.

— Да отчего же ты ушла домой, Раиса, для чего не осталась? — говорил я ей... Она всё еще не приподнимала головы.— Ты бы увидала, что его спасли...

— Ах, не знаю! Ах, не знаю! Не спрашивай! Не знаю, не помню, как это я домой попала. Помню только: вижу тебя на воздухе... что-то ударило меня... А что после было...

— Ударило,— повторил Давыд. И мы все трое вдруг дружно засмеялись. Очень нам было хорошо.

— Да что же это такое будет, наконец! — раздался за нами грозный голос, голос моего отца. Он стоял на пороге двери.— Прекратятся ли, наконец, эти дурачества, или нет? Где это мы живем? В российском государстве или во французской республике?

Он вошел в комнату.

— Во Францию ступай, кто хочет бунтовать да беспутничать! А *ты* как смела сюда пожаловать? — обратился он к Раисе, которая, тихонько приподнявшись и повернувшись к нему лицом, видимо заробела, но продолжала улыбаться какой-то ласковой и блаженной улыбкой.— Дочь моего заклятого врага! Как ты дерзнула! Еще обниматься вздумала! Вон сейчас! а не то...

— Дядюшка,— промолвил Давыд и сел в постели.— Не оскорбляйте Раисы. Она уйдет... только вы не оскорбляйте ее.

— А ты что мне за уставщик? Я ее не оскорбляю, не ос...кор...бляю! а просто гоню ее. Я тебя еще самого к ответу потяну. Чужую собственность затратил, на жизнь свою посягнул, в убытки ввел.

— В какие убытки? — перебил Давыд.

— В какие? Платье испортил — это ты за ничто считаешь? Да на водку я дал людям, которые тебя принесли! Всю семью перепугал, да еще фордыбачится? А коли сия девица, забыв стыд и самую честь...

Давыд рванулся с постели.

— Не оскорбляйте ее, говорят вам!

— Молчи!

— Не смейте...

— Молчи!

— Не смейте позорить мою невесту,— закричал Давыд во всю голову,— мою будущую жену!

— Невесту! — повторил отец и выпучил глаза.— Невесту! Жену! Хо, хо, хо!.. (Ха, ха, ха,— отозвалась за дверью тетка.) Да тебе сколько лет-то? Без году неделю на свете живет, молоко на губах не обсохло, недоросль! И жениться собирается! Да я... да ты...

— Пустите, пустите меня,— шепнула Раиса и направилась к двери. Она совсем помертвела.

— Я не у вас позволения буду просить,— продолжал кричать Давыд, опираясь кулаками на край постели,— а у моего родного отца, который не сегодня — завтра сюда

приехать должен! *Он* мне указ, а не вы; а что касается до моих лет, то нам с Раисой не к спеху... подождем, что вы там ни толкуйте...

— Эй, Давыдка, опомнись! — перебил отец,— посмотри на себя: ты растерзанный весь... Приличие всякое потерял!

Давыд захватил рукою на груди рубашку.

— Что вы ни толкуйте,— повторил он.

— Да зажми же ему рот, Порфирий Петрович, зажми ему рот,— запищала тетка из-за двери,— а эту потаскушку, эту негодницу... эту...

Но, знать, нечто необыкновенное пресекло в этот миг красноречие моей тетки: голос ее порвался вдруг, и на место его послышался другой, старчески сиплый и хилый...

— Брат,— произнес этот слабый голос.— Христианская душа!

XXIII

Мы все обернулись... Перед нами, в том же костюме, в каком я его недавно видел, как привидение, худой, жалкий, дикий, стоял Латкин.

— А бог! — произнес он как-то по-детски, поднимая кверху дрожащий изогнутый палец и бессильным взглядом осматривая отца.— Бог покарал! а я за Ва... за Ра... да, да, за Раисочкой пришел! Мне... чу! мне что? Скоро в землю — и как это бишь? Одна палочка, другая... перекладинка — вот что мне... нужно... А ты, брат, бриллиантщик... Смотри... ведь и я человек!

Раиса молча перешла через комнату и, взяв Латкина под руку, застегнула ему камзол.

— Пойдем, Васильевна,— заговорил он,— тутотка всё святые; к ним не ходи. И тот, что вон там в футляре лежит,— он указал на Давыда,— тоже святой. А мы, брат, с тобою грешные. Ну, чу... простите, господа, старичка с перчиком! Вместе крали! — закричал он вдруг,— вместе крали! вместе крали! — повторил он с явным наслаждением: язык, наконец, послушался его.

Мы все в комнате молчали.

— А где у вас... икона тут? — спросил он, закидывая голову и подкатывая глаза,— почиститься надо.

Он стал молиться на один из углов, умиленно крестясь, по нескольку раз сряду стуча пальцами то по одному

плечу, то по другому и торопливо повторяя: «Помилуй мя, го... мя го... мя го!..» Отец мой, который всё время не сводил глаз с Латкина и слова не промолвил, вдруг встрепенулся, стал с ним рядом и тоже начал креститься. Потом он обернулся к нему, поклонился низко-низко, так что одной рукой достал до полу и, проговорив: «Прости меня и ты, Мартиньяп Гаврилыч», поцеловал его в плечо. Латкин ему в ответ чмокнул губами в воздухе и заморгал глазами: едва ли он хорошенько понимал, что он такое делает. Потом отец мой обратился ко всем находившимся в комнате — к Давыду, к Раисе, ко мне.

— Делайте, что хотите, поступайте, как знаете,— промолвил он грустным и тихим голосом — и удалился.

Тетка подъехала было к нему; но он окрикнул ее резко и сурово. Он был потрясен.

— Мя го... мя го... помилуй! — повторял Латкин.— Я человек!

— Прощай, Давыдушко,— сказала Раиса и вместе со стариком тоже вышла из комнаты.

— Завтра у вас буду,— крикнул ей вслед Давыд и, повернувшись лицом к стене,— прошептал: — Устал я очень; теперь соснуть бы не худо — и затих.

Я долго не выходил из нашей комнаты. Я прятался. Я не мог забыть, чем отец мне погрозил. Но мои опасения оказались напрасны. Он встретил меня — и хоть бы слово проронил. Ему самому, казалось, было неловко. Впрочем, ночь скоро наступила — и всё успокоилось в доме.

XXIV

На следующее утро Давыд встал как ни в чем не бывало, а неделю спустя, в один и тот же день, совершились два важных события: утром старик Латкин умер, а к вечеру приехал в Рязань дядя Егор, Давыдов отец. Не прислав предварительного письма, никого не предупредив, свалился он как снег на голову. Отец мой переполошился чрезвычайно и не знал, чем угостить, куда посадить дорогого гостя, метался, как угорелый, суетился, как виноватый; но дядю, казалось, не слишком трогало хлопотливое усердие брата; он то и дело повторял: «К чему это?» да: «Не надо мне ничего». С теткой он обошелся еще холодней; впрочем, и она не больно его жаловала. В глазах ее он был безбожником, еретиком, вольтерианцем... (он дейст-

вительно выучился французскому языку, чтоб читать в подлиннике Вольтера). Я нашел дядю Егора таким, каким описывал мне его Давыд. Это был крупный, тяжелый мужчина с широким рябым лицом, важный и серьезный. Он постоянно носил шляпу с плюмажем, манжеты, жабо и табачного цвета камзол с стальною шпагою на бедре. Давыд обрадовался ему несказанно — даже просветлел и похорошел лицом, и глаза стали у него другие — веселые, быстрые и блестящие; но он всячески старался умерить свою радость и не высказывать ее словами: он боялся смалодушничать. В первую же ночь после приезда дяди Егора они оба — отец и сын — заперлись в отведенной ему комнате и долго беседовали вполголоса; на другое утро я заметил, что дядя как-то особенно ласково и доверчиво посматривал на своего сына: очень он им казался доволен. Давыд повел его на панихиду к Латкиным; я тоже пошел туда; отец мне не препятствовал, но сам остался дома. Раиса поразила меня своим спокойствием: побледнела она и похудела очень, но слез она не проливала и говорила и держалась очень просто; и со всем тем, странно сказать, я в ней находил некоторую величавость: невольную величавость горя, которое само себя забывает! Дядя Егор тут же, на паперти, познакомился с нею; по тому, как он с ней обращался, видно было, что Давыд ему уже говорил о ней. Она ему понравилась не хуже собственного сына: я это мог прочесть в Давыдовых глазах, когда он глядел на них обоих. Помню, как они заблистали, когда его отец сказал при нем, говоря о ней: «Умница, хозяйка будет». В доме у Латкиных мне рассказывали, что старик тихо погас, как догоревшая свечка, и пока не лишился сил и сознания, всё гладил свою дочь по волосам и что-то приговаривал невнятное, но не печальное, и всё улыбался. На похороны, в церковь и на кладбище мой отец пошел и очень усердно молился; даже Транквиллитатин пел на клиросе. Перед могилой Раиса вдруг зарыдала и упала лицом на землю; однако скоро оправилась. Сестричка ее, глухонемая, озирала всех и всё большими светлыми и немного дикими глазами; от времени до времени она жалась к Раисе, но испуга в ней не замечалось. На другой же день после похорон дядя Егор, который, по всему было видно, приехал из Сибири не с пустыми руками (деньги на похороны дал *он* и Давыдова спасителя наградил щедро), но который о своем тамошнем житье-бытье ничего не рассказывал и никаких своих планов на будущее не сооб-

щал,— дядя Егор внезапно объявил моему отцу, что не намерен остаться в Рязани, а уезжает в Москву вместе с сыном. Мой отец, приличия ради, выказал сожаление и даже попытался — очень, правда, слабо — изменить дядино решение; но в глубине души своей он, я полагаю, очень ему обрадовался.

Присутствие брата, с которым у него было слишком мало общего, который не удостоил его даже упрека, который даже не пренебрегал, а просто брезгал им,— угнетало его... да и расстаться с Давыдом не составляло для него особенного горя. Меня, разумеется, разлука эта уничтожила; я словно осиротел на первых порах и потерял всякую опору в жизни и всякую охоту к ней.

Так таки дядя уехал и увез с собою не только Давыда, но, к великому изумлению и даже негодованию всей нашей улицы, и Раису, и ее сестричку... Узнав о таковом его поступке, тетка немедленно назвала его туркой и называла его туркой до самого конца своей жизни.

А я остался один, один... Но дело не обо мне...

XXV

Вот и конец моей истории с часами. Что еще сказать вам? Пять лет спустя Давыд женился на своей Черногубке, а в 1812 году, в чине артиллерийского поручика, погиб славной смертью в день Бородинской битвы, защищая Шевардинский редут.

С тех пор много утекло воды, и много часов у меня перебывало; я дошел даже до такого великолепия, что приобрел себе настоящий брегет, с секундной стрелкой, обозначением чисел и репетицией... Но в потаенном ящике моего письменного стола хранятся старинные серебряные часы с розаном на циферблате; я их купил у жида-разносчика, пораженный их сходством с часами, некогда подаренными мне моим крестным отцом. От времени до времени, когда я один и никого к себе не жду, я вынимаю их из ящика и, глядя на них, вспоминаю молодые дни и товарища тех дней, безвозвратно улетевших...

СОН

Рассказ

I

Я жил тогда с моей матушкой в небольшом приморском городе. Мне минуло семнадцать лет, а матушке не было и тридцати пяти; она очень молода вышла замуж. Когда мой отец скончался, мне пошел всего седьмой год, но я хорошо его помнил. Матушка моя была небольшого роста белокурая женщина с прелестным, по вечно печальным лицом, с тихим, усталым голосом, робкими телодвижениями. В молодости она славилась красотою и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывал более глубоких, более нежных и грустных глаз, более тонких и мягких волос; не видывал рук более изящных. Я ее обожал, и она любила меня... Но жизнь наша проходила невесело: казалось, тайное, неизлечимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ее существования. Это горе не объяснялось одной печалью об отце, как велика она ни была, как страстно моя мать его ни любила, как свято ни сохраняла память о нем... Нет! тут еще что-то таилось, чего я не понимал, но что я чувствовал, чувствовал смутно и сильно, как только, бывало, взглядывал на эти тихие и неподвижные глаза, на эти прекрасные, тоже неподвижные, не горько сжатые, но словно навек застывшие губы.

Я сказал, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствие ей было тягостным, невыносимым. Она чувствовала тогда как бы невольное отвращение ко мне — и ужасалась потом, винилась со слезами, прижимала меня к своему сердцу. Я приписывал эти мгновенные вспышки вражды расстройству ее здоровья, ее несчастью... Правда, эти враждебные ощущения могли бы, до некоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злых и преступных чувств, которые изредка поднимались во мне... Но эти порывы не совпадали с теми минутами отвращения.

Матушка ходила постоянно в черном, точно в трауре. Жили мы на довольно большую ногу, хотя почти ни с кем не знались.

II

Матушка сосредоточила на мне все свои помыслы и заботы. Ее жизнь слилась с моей жизнью. Такого рода отношения между родителями и детьми не всегда полезны для детей... они скорее вредны бывают. Притом я у матушки был один... а единственные дети большею частью развиваются неправильно. Воспитывая их, родители столько же заботятся о самих себе, сколько о них... Это не дело. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается с единственными детьми), но нервы мои до времени расстроились; к тому же и здоровьем я был довольно слаб — в матушку, на которую я и лицом очень походил. Я избегал общества своих однолетков; я вообще чуждался людей; я даже с матушкой разговаривал мало. Я пуще всего любил читать, гулять наедине — и мечтать, мечтать! О чем были мои мечты — сказать трудно: мне, право, иногда чудилось, будто я стою перед полузакрытой дверью, за которой скрываются неведомые тайны, стою и жду, и млею, и не переступаю порога — и всё размышляю о том, что там такое находится впереди,— и всё жду и замираю... или засыпаю. Если бы во мне билась поэтическая жилка — я бы, вероятно, принялся писать стихи; если б я чувствовал наклонность к набожности, я бы, может быть, пошел в монахи; но у меня ничего этого не было — и я продолжал мечтать... и ждать.

III

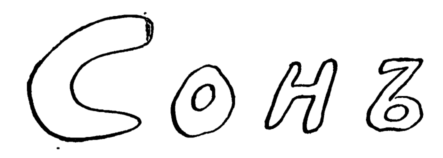
Я сейчас упомянул о том, как я засыпал иногда под наитием неясных дум и мечтаний. Я вообще спал много — и сны играли в моей жизни значительную роль; я видел сны почти каждую ночь. Я не забывал их, я придавал им значение, считал их предсказаниями, старался разгадать их тайный смысл; некоторые из них повторялись от времени до времени, что всегда казалось мне удивительным и странным. Особенно смущал меня один сон. Мне казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улице старинного города, между многоэтажными каменными домами с остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца,

который не умер, но почему-то прячется от нас и живет именно в одном из этих домов. И вот я вступаю в низкие, темные ворота, перехожу длинный двор, заваленный бревнами и досками, и проникаю наконец в маленькую комнату с двумя круглыми окнами. Посредине комнаты стоит мой отец в шлафроке и курит трубку. Он нисколько не похож на моего настоящего отца: он высок ростом, худощав, черноволос, нос у него крючком, глаза угрюмые и пронзительные; на вид ему лет сорок. Он недоволен тем, что я его отыскал; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданию — и стою в недоумении. Он слегка отворачивается, начинает что-то бормотать и расхаживать взад и вперед небольшими шагами... Потом он понемногу удаляется, не переставая бормотать и то и дело оглядываться назад, через плечо; комната расширяется и пропадает в тумане... Мне вдруг становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслед за ним, но я уже его не вижу — и только слышится мне его сердитое, точно медвежье, бормотанье... Сердце во мне замирает — я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять... Весь следующий день я думаю об этом сне и, конечно, ни до чего додуматься не могу.

IV

Наступил июнь месяц. Город, в котором мы жили с матушкой, об эту пору оживлялся необыкновенно. Множество кораблей прибывало в пристань, множество новых лиц появлялось на улицах. Я любил тогда бродить по набережной, мимо кофейных домов и гостиниц, засматриваться на разнородные фигуры матросов и других людей, сидевших под полотняными навесами, перед небольшими белыми столиками, за оловянными кружками, налитыми пивом.

Вот однажды, проходя перед одной кофейной, я увидал человека, который тотчас же приковал к себе всё мое внимание. Одетый в длинный черный балахон, с нахлобученной на глаза соломенной шляпой, он сидел неподвижно, скрестив руки на груди. Жидкие завитки черных волос спускались почти до самого носа; тонкие губы стискивали мундштук короткой трубки. Человек этот до того показался мне знакомым, каждая черта его смуглого, желчного лица, вся его фигура до того несомненно запечатлелась в моей памяти, что я не мог не остановиться



разсказъ Ив. Тургенева.

начатъ въ Парижѣ, rue de Douai, 50. в Буживалѣ, 25 окт 1875 / 4 Янв 1876.
конченъ – в Парижѣ, Rue de Douai 50, в Середу – 17/5 Мая 1876.

(начало со вставками переправками)

20 стр.

«СОН».
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА, 1876 г.
Национальная библиотека, Париж.

перед ним, не мог не задать себе вопроса: кто этот человек? где я его видел? Почувствовав, вероятно, мой пристальный взгляд, он возвел на меня свои черные, колючие глаза... Я невольно ахнул...

Этот человек был тот отец, которого я отыскивал, которого я видел во сне!

Не было возможности ошибиться,— сходство было слишком поразительно. Самый даже долгополый балахон, облекавший его худощавые члены, цветом и складом напоминал тот шлафрок, в котором являлся мне мой отец.

«Уж не сплю ли я?» — подумалось мне... Нет... Теперь день, кругом шумит толпа, солнце ярко светит с голубого неба, и передо мной не призрак, а живой человек.

Я подошел к порожнему столику, спросил себе кружку пива, газету — и сел в недальнем расстоянии от того загадочного существа.

V

Поставив лист газеты в уровень лица, я продолжал пожирать незнакомца глазами. Он почти не шевелился и лишь изредка приподнимал понурую голову. Он явно ждал кого-то. Я глядел, глядел... Иногда мне казалось, что я всё это выдумал, что сходства собственно никакого нет, что я поддался полуневольному обману воображения... Но «тот» вдруг повернется немного на сту́ле или руку слегка поднимет — и я опять чуть не ахну, опять вижу пред собой моего «ночного» отца!

Он, наконец, заметил мое неотвязчивое внимание и, сперва с недоумением, потом с досадой взглянув в мою сторону, собрался было встать — и уронил небо́льшую тросточку, прислоненную им к столу. Я мгновенно вскочил, поднял и подал ему ее. Сердце во мне сильно билось.

Он натянуто улыбнулся, поблагодарил меня и, приблизив свое лицо к моему лицу, поднял брови и раскрыл немного губы, словно что его поразило.

— Вы очень вежливы, молодой человек,— заговорил он вдруг сухим и резким, гнусливым голосом.— В теперешнее время это редкость. Позвольте вас поздравить: вы получили хорошее воспитание.

Не помню, что именно я ответил ему; но разговор скоро завязался между нами. Я узнал, что он мой соотечественник, что он недавно вернулся из Америки, где прожил много лет, и скоро опять туда отправляется. Он назвал

себя бароном... имени я не мог хорошенько расслышать. Он так же, как мой «ночной» отец, оканчивал каждую свою речь каким-то неясным внутренним бормотаньем. Он пожелал узнать мою фамилию... Услыхав ее, он опять как будто изумился; потом он спросил меня, давно ли я живу в этом городе и с кем. Я отвечал ему, что живу с моей матерью.

— А батюшка ваш?

— Мой отец давно умер.

Он осведомился о христианском имени моей матери и тотчас же рассмеялся неловким смехом — а потом извинился, говоря, что у него такая американская манера и что вообще он чудак порядочный. Потом он полюбопытствовал узнать, где находится наша квартира. Я сказал ему.

VI

Волнение, овладевшее мною в начале нашего разговора, постепенно утихло; я находил наше сближение несколько странным — и только. Мне не нравилась улыбочка, с которой г-н барон меня расспрашивал; не нравилось также выражение его глаз, когда он их словно вонзал в меня... В них было что-то хищное и покровительственное... что-то жуткое. Этих глаз я во сне не видел. Странное было лицо у барона! Поблеклое, усталое и в то же время моложавое, неприятно моложавое! У моего «ночного» отца не было также того глубокого шрама, который косвенно пересекал весь лоб моего нового знакомца и которого я не заметил до тех пор, пока не пододвинулся к нему поближе.

Не успел я сообщить барону название улицы и нумер дома, где мы жили, как высокого роста арап, закутанный в плащ по самые брови, подошел к нему сзади и тихонько постучал ему по плечу. Барон обернулся, промолвил: «Ага! наконец-то!» — и, слегка кивнув мне головою, отправился вместе с арапом в кофейную. Я остался под навесом, я хотел дождаться выхода барона, не столько для того, чтобы снова заговорить с ним (я собственно не знал, о чем бы я мог повести с ним речь), сколько для того, чтобы снова проверить свое первое впечатление. Но минуло полчаса; минул час... Барон не появлялся. Я вошел в кофейную, пробежал по всем комнатам — но нигде не увидал ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились через заднюю дверь.

У меня голова немного разболелась — и я, чтобы освежиться, отправился вдоль морского берега до пространного загородного парка, разведенного лет двести тому назад. Погуляв часа два в тени громадных дубов и платанов, я вернулся домой.

VII

Служанка наша бросилась мне навстречу, вся перетревоженная, как только я появился в передней. Я тотчас догадался по выражению ее лица, что во время моего отсутствия что-то недоброе произошло в нашем доме. И точно: я узнал, что час тому назад в спальне моей матери внезапно раздался страшный крик; вбежавшая служанка нашла ее на полу, в обмороке, который продолжался несколько минут. Матушка наконец пришла в чувство — но принуждена была лечь в постель и вид имела испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвечала на расспросы — всё только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за доктором. Доктор пришел и прописал успокоительное средство; но и ему матушка ничего сказать не хотела. Садовник уверял, что несколько мгновений после того, как в матушкиной комнате раздался крик, он увидел незнакомого человека, поспешно бежавшего через клумбы сада к уличным воротам. (Мы жили в одноэтажном доме, выходившем окнами в довольно большой сад.) Садовник не успел рассмотреть лицо этого человека; но из себя он был худощав, носил низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртук... «Одежда барона!» — тотчас мелькнуло у меня в голове. Догнать его садовник не мог; к тому же его немедленно позвали в дом и послали за доктором. Я вошел к матушке; она лежала на постели, бледней подушки, на которой покоилась ее голова. Узнав меня, она слабо улыбнулась и протянула мне руку. Я подсел к ней, стал ее расспрашивать; сперва она всё отнекивалась; наконец, однако, созналась, что увидела нечто такое, что очень ее испугало.

— Кто-нибудь входил сюда? — спросил я.

— Нет,— торопливо ответила она,— никто не приходил, но мне показалось... мне привиделось...

Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотел было сообщить ей то, что узнал от садовника, да кстати рассказать мою встречу с бароном... но почему-то слова замерли у меня на губах. Я решился, однако, заметить ма-

тушке, что привидения обыкновенно не показываются днем...

— Оставь,— прошептала она,— пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь...

Она умолкла опять. Руки у нее были холодные и пульс бился скоро и неровно. Я дал ей выпить лекарство и отошел немного в сторону, чтобы не беспокоить ее. Целый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изредка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Все в доме недоумевали.

VIII

К ночи с матушкой сделалась небольшая лихорадка — и она отослала меня. Я, однако, не ушел к себе, а лег в соседней комнате на диване. Каждые четверть часа я вставал, подходил на цыпочках к двери, слушал... Всё оставалось безмолвным — но матушка едва ли заснула в ту ночь. Когда я рано поутру вошел к ней — лицо ее казалось воспаленным, глаза блестели неестественным блеском. В течение дня ей несколько полегчало, но к вечеру жáр опять усилился. До тех пор она упорно молчала, а тут вдруг начала говорить торопленным, прерывистым голосом. Она не бредила, в ее словах был смысл — но не было никакой связи. Незадолго до полуночи она внезапно, судорожным движением, приподнялась в постели (я сидел возле нее) и тем же поспешным голосом, беспрестанно отпивая воду глотками из стакана, слабо помахивая руками и ни разу не взглянув на меня, принялась рассказывать... Она останавливалась, делала над собой усилие и продолжала снова... Так это всё было странно, точно она всё это делала во сне, точно она сама отсутствовала, а кто-то другой говорил ее устами или заставлял ее говорить.

IX

— Послушай, что я тебе расскажу,— начала она,— ты уже не молодой мальчик; надо тебе всё знать. У меня была хорошая приятельница... Она вышла за человека, которого любила всем сердцем,— и она была очень счастлива с своим мужем. В первый же год брака они поехали оба в столицу, чтобы провести там несколько недель и повеселиться. Они остановились в хорошей гостинице и много выезжали по театрам и собраниям. Моя приятельница

была очень недурна собой — ее все замечали, молодые люди за ней ухаживали,— но был между ними один... офицер. Он следил за нею неотступно, и где бы она ни была, она всюду видела его черные, злые глаза. Он с ней не познакомился и ни разу с ней не говорил, только всё глядел на нее —так дерзко и странно. Все удовольствия столицы были отравлены его присутствием — она начала уговаривать мужа уехать поскорее, и они уже совсем собрались в путь. Однажды муж ее отправился в клуб: его пригласили офицеры — одного полка с тем офицером — играть в карты... Она в первый раз осталась одна. Муж долго не возвращался — она отпустила служанку, легла в постель... И вдруг ей стало очень жутко — так что она даже вся похолодела и затряслась. Ей почудился легкий стук за стеною — так собака царапает,— и она начала глядеть на ту стену. В углу горела лампада; комната была вся обита штофом... Вдруг что-то там шевельнулось, приподнялось, раскрылось... И прямо из стены, весь черный, длинный, вышел тот ужасный человек с злыми глазами! Она хотела закричать и не могла. Она совсем замерла от испуга. Он подошел к ней быстро, как хищный зверь, бросил ей что-то на голову, что-то душное, тяжелое, белое... Что было потом, не помню... не помню! Это походило на смерть, на убийство... Когда, наконец, рассеялся тот страшный туман — когда я... когда приятельница моя пришла в себя, в комнате не было никого. Она опять — и долго — не в силах была закричать, закричала наконец... потом опять всё смешалось...

Потом она увидела возле себя мужа, которого до двух часов ночи задержали в клубе... На нем лица не было. Он стал ее расспрашивать, но она ему ничего не сказала... Потом она занемогла... Однако, помнится, оставшись одна в комнате, она осмотрела то место в стене... Под штофной обивкой оказалась потаенная дверь. А у самой у ней с руки пропало обручальное кольцо. Это кольцо было необыкновенной формы: на нем чередовалось семь золотых звездочек с семью серебряными; это была старинная семейная драгоценность. Муж спрашивал ее, что сталось с кольцом: она ничего не могла ответить. Муж подумал, что она как-нибудь его обронила, искал везде, но нигде не нашел. Тоска на него нашла, он решился как можно скорей домой уехать, и как только доктор позволил — они покинули столицу... Но представь! В самый день отъезда они на улице вдруг наткнулись на носилки... На этих носилках

лежал только что убитый человек с разрубленной головой — и представь! этот человек был тот самый страшный ночной гость с злыми глазами... Его убили за карточной игрой!

Потом моя приятельница уехала в деревню... сделалась матерью в первый раз... и прожила с мужем несколько лет. Он никогда ничего не узнал, да и что могла она сказать? Она сама ничего не знала.

Но прежнее счастье исчезло. Темно стало в их жизни — и никогда уже не прекращалась эта темнота... Других детей у них не было ни прежде, ни после... а этот сын...

Матушка вся затрепетала и закрыла лицо руками...

— Но скажи теперь,— продолжала она с удвоенной силой,— разве моя знакомая в чем-нибудь виновата? В чем она могла упрекнуть себя? Она была наказана, но разве она не вправе перед самим богом объявить, что наказание, которое ее постигло, несправедливо? Так почему же ей, как преступнице, которую терзают угрызения совести, почему может ей представиться прошедшее в таком ужасном виде, после стольких лет? Макбет убил Банко — так не удивительно, что ему может мерещиться... а я...

Но тут речь матушки до того запуталась и смешалась, что я перестал ее понимать... Я уже не сомневался в том, что она бредит.

X

Какое потрясающее впечатление произвел на меня рассказ матушки — легко поймет всякий! Я с первого ее слова догадался, что она говорит о самой себе, а не о какой-то своей знакомой; ее обмолвка только подтвердила мою догадку. Стало быть, это точно был мой отец, которого я отыскивал во сне, которого я видел наяву! Он не был убит, как полагала матушка, а только ранен... И он приходил к ней и бежал, испуганный ее испугом. Всё мне стало вдруг понятно: и чувство невольного отвращения ко мне, которое иногда пробуждалось в моей матери, и ее постоянная грусть, и наша уединенная жизнь... Помнится, голова у меня ходила кругом — и я хватался за нее обеими руками, как бы желая ее удержать на месте. Но одна мысль засела во мне гвоздем: я решился непременно, во что бы то ни стало, снова найти этого человека! Зачем?

с какою целью? — я не давал себе отчета, но отыскать... отыскать его — это сделалось для меня вопросом жизни или смерти! На следующее утро матушка, наконец, успокоилась... лихорадка прошла... она заснула. Препоручив ее попечениям наших хозяев и слуг, я отправился на поиски.

XI

Прежде всего я, разумеется, направился в кофейную, где я встретил барона, но в кофейной никто не знал и даже не заметил его; он был случайным ее посетителем. Арапа хозяева заметили — фигура его слишком бросалась в глаза; но кто он был, где пребывал — также никто не ведал. Оставив на всякий случай мой адрес в кофейной, я принялся ходить по улицам и набережным города, около пристани, по бульварам, заглядывал во все публичные заведения и нигде не нашел ничего похожего ни на барона, ни на его товарища!.. Не расслыхав фамилии барона, я был лишен возможности обратиться к полиции; однако дал знать под рукою двум-трем блюстителям общественного порядка (правда, они с изумлением смотрели на меня и не совсем мне доверяли), что вознагражу щедро их усердие, если им удастся напасть на след тех двух личностей, наружность которых я постарался описать им сколь возможно точнее. Прорыскав таким образом до самого обеда, я вернулся домой изнуренный. Матушка поднялась с постели; но к обычной ее грусти примешивалось что-то новое, какое-то задумчивое недоумение, которое как ножом меня резало по сердцу. Вечер я просидел с нею. Мы почти ничего не говорили: она раскладывала пасьянс, я молча смотрел ей в карты. Она ни единым словом не упомянула ни о своем рассказе, ни о том, что случилось накануне. Мы точно оба тайно уговорились не касаться всех этих жутких и странных происшествий... Ей как будто было досадно на себя и совестно того, что у нее вырвалось невольно; о может быть, она и не помнила хорошенько, что она такое сказала в полугорячечном бреду,— и надеялась, что я ее пощажу... Да и точно, я щадил ее, и она это чувствовала; она по-вчерашнему избегала моего взора. Всю ночь я не мог заснуть. На дворе внезапно поднялась страшная буря. Ветер выл и рвался неистово, стекла окон звенели и дребезжали, в воздухе носились отчаянные визги и стоны, точно что-то

там, наверху, разрывалось и с бешеным плачем пролетало над потрясенными домами. Перед зарей я забылся дремотой. Вдруг мне почудилось, что кто-то вошел ко мне в комнату и позвал меня, произнес мое имя — негромким, но решительным голосом. Я приподнял голову и не увидел никого; но странное дело! я не только не испугался — я обрадовался; во мне внезапно явилась уверенность, что теперь я непременно достигну цели. Я наскоро оделся и вышел из дому.

XII

Буря утихла... но еще чувствовались ее последние трепетания. Время было раннее — на улицах не попадались люди, во многих местах валялись обломки труб, черепицы, доски разметанных заборов, сломанные сучья деревьев... «Что происходило ночью на море!» — невольно думалось при виде следов, оставленных бурей. Я хотел было пойти на пристань, но мои ноги, как бы повинуясь неотразимому влечению, понесли меня в другую сторону. Не прошло десяти минут, как уже я находился в части города, никогда до тех пор мною не посещенной. Я шел не быстро, но не останавливаясь, шаг за шагом, с странным ощущением на сердце; я ожидал чего-то необыкновенного, невозможного, и в то же время я был уверен, что это необыкновенное сбудется.

XIII

И вот оно наступило, это необыкновенное, это ожиданное! Внезапно, шагах в двадцати впереди меня, я увидел того самого арапа, который в кофейной заговорил при мне с бароном! Закутанный в тот самый плащ, который я уже тогда заметил на нем, он словно вынырнул из земли и, повернувшись ко мне спиною, шел проворными шагами по узкому тротуару кривого переулка! Я тотчас бросился ему вдогонку, но и он удвоил шаги, хоть и не оглянулся назад, и вдруг круто вильнул за угол выдвинувшегося дома. Я добежал до этого угла, обогнул его так же скоро, как арап... Что за чудо! Передо мною длинная, узкая и совершенно пустая улица; утренний туман залил ее всю своим тусклым свинцом,— но взор мой проникает до самого ее конца, я могу перечесть все ее строения... и ни одно живое существо нигде не шевелится! Высокий арап в плаще так же внезап-

но исчез, как и появился! Я изумился... но на одно только мгновение. Другое чувство тотчас овладело мною: эта улица, которая растянулась перед моими глазами, вся немая и как бы мертвая,— я ее узнал! Это была улица моего сна. Я вздрагиваю, я пожимаюсь — утро так свежо — и тотчас же, нимало не колеблясь, с каким-то испугом уверенности отправляюсь вперед!

Я начинаю искать глазами... Да вот он: вот направо, выходя углом на тротуар, вот и дом моего сна, вот и старинные ворота с каменными завитушками по обеим сторонам... Правда, окна дома не круглые, а четырехугольные... но это неважно... Я стучусь в ворота, стучусь два, три раза, всё громче и громче... Ворота отворяются медленно, с тяжелым скрыпом, как бы зевая. Передо мной молодая служанка с растрепанной головой, с заспанными глазами. Она, видно, только что проснулась.

— Здесь живет барон? — спрашиваю я, а сам обегаю быстрым взором глубокий тесный двор... Так; всё так... вот и доски и бревна, виденные мною во сне.

— Нет,— отвечает мне служанка,— барон здесь не живет.

— Как нет! не может быть!

— Теперь его нет. Он вчера уехал.

— Куда?

— В Америку.

— В Америку! — повторил я невольно.— Да он вернется?

Служанка подозрительно взглянула на меня.

— Этого мы не знаем. Может быть, совсем не вернется.

— Да долго ли он здесь жил?

— Недолго, с неделю. Теперь его совсем нет.

— А как его звали по фамилии, этого барона?

Служанка уставилась на меня.

— Вы не знаете его фамилии? Мы его просто звали бароном. Эй! Петр! — крикнула она, видя, что я порываюсь вперед.— Иди-ка сюда; какой-то чужой здесь всё расспрашивает.

Из дому появилась нескладная фигура дюжего работника.

— Что такое? Что надо? — спросил он сиплым голосом — и, угрюмо выслушав меня, повторил сказанное служанкой.

— Да кто же здесь живет? — промолвил я.

— Наш хозяин.

— А кто он?
— Столяр. По этой улице все столяры.
— Можно его видеть?
— Нельзя теперь, он спит.
— А в дом нельзя войти?
— Нельзя. Ступайте.
— Ну, а после можно будет вашего хозяина видеть?
— Отчего же? Можно. Его всегда можно... На то он торговец. Только теперь ступайте. Вишь, какая рань.
— Ну, а тот арап? — спросил я вдруг.
Работник с недоумением посмотрел сперва на меня, потом на служанку.
— Какой тут арап? — проговорил он наконец.— Ступайте, господин. После можете прийти. С хозяином потолкуете.
Я вышел на улицу. Ворота разом захлопнулись за мною тяжко и резко, без скрыпу на этот раз.
Я хорошенько заметил улицу, дом и пошел прочь, только не домой. Я ощущал нечто вроде разочарования. Всё, что случилось со мной, было так странно, так необыкновенно,— а между тем как оно глупо кончилось! Я был уверен, я был убежден, что я увижу в этом доме знакомую мне комнату,— и посреди ее моего отца, барона, в шлафроке и с трубкой... А вместо того — хозяином дома столяр, и его можно посещать сколько угодно и, пожалуй, мебель ему заказать...
А отец уехал в Америку! И что мне теперь остается делать?.. Рассказать всё матери — или навек схоронить самое воспоминание об этой встрече? Я решительно не был в состоянии помириться с мыслью, что к такому сверхъестественному, таинственному началу мог примкнуть такой бессмысленный, такой ординарный конец!
Я не хотел вернуться домой и пошел куда глаза глядят, вон из города.

XIV

Я шел, понурив голову, без мыслей, почти без ощущений, но весь погруженный в самого себя. Равномерный, глухой и сердитый шум вывел меня из оцепенения. Я поднял голову: то шумело и гудело море, шагах в пятидесяти от меня. Я увидал, что я иду по песку дюны. Расколебленное ночной бурей, море до самого горизонта белело барашками, и крутые гребни длинных валов чередою катились

и разбивались о плоский берег. Я приблизился к ним и пошел вдоль самой черты, оставляемой их отливом и приливом на желтом рубчатом песке, усеянном обрывками морских тягучих растений, обломками раковин, змеевидными лентами осоки. Острокрылые чайки, с жалким криком налетая по ветру из далекой воздушной бездны, вздымались белые, как снег, па сером облачном небе, падали круто и, словно перескакивая с волны на волну, уходили вновь и пропадали серебряными искрами в полосах клубившейся пены. Некоторые из них, я заметил, упорно вились над крупным камнем, одиноко торчавшим среди однообразной скатерти песчаных берегов. Грубая морская осока росла неровными кучками с одной стороны камня; а там, где ее спутанные стебли выходили из желтого солончака, что-то чернело, что-то длинноватое, округленное, не слишком большое... Я стал присматриваться... Какой-то темный предмет лежал там, лежал неподвижно возле камня... Предмет этот становился всё яснее, всё определеннее, чем ближе я подходил...

Мне оставалось до камня всего шагов тридцать...

Да это очертание человеческого тела! Это труп; это утопленник, выброшенный морем! Я приблизился к самому камню.

Это труп барона, моего отца! Я остановился как вкопанный. Тут только я понял, что меня с самого утра водили какие-то неведомые силы, что я в их власти,— и в течение нескольких мгновений ничего в моей душе не было, кроме немолчного морского плеска — и немого страха перед овладевшей мною судьбой...

XV

Он лежал на спине, склонясь немного на бок, закинув левую руку за голову... правая была подвернута под его перегнутое тело. Вязкая тина всосала концы ног, обутых в высокие матросские сапоги; короткая синяя куртка, вся пропитанная морскою солью, не расстегнулась; красный шарф обхватывал тугим узлом его шею. Смуглое лицо, обращенное к небу, как будто посмеивалось; из-под вздернутой верхней губы виднелись частые мелкие зубы; тусклые зрачки полузакрытых глаз едва отличались от потемневших белков; покрытые пузырьками пены, засоренные волосы рассыпались по земле и обнажили гладкий лоб с лиловатою чертою шрама; узкий нос вздымался рез-

кой беловатой чертой между впалыми щеками. Буря прошедшей ночи сделала свое дело... Он не увидел Америки! Человек, оскорбивший мою мать, обезобразивший ее жизнь,— мой отец — да! мой отец — в этом я не мог сомневаться,— лежал, бессильно распростертый, в грязи у ног моих. Я испытывал чувство удовлетворенной мести, и жалости, и отвращения, и ужаса, пуще всего... двойного ужаса: и перед тем, что я видел, и перед тем, что свершилось. То злое, то преступное, о котором я уже говорил, те непонятные порывы поднимались во мне... душили меня. «Ага! — думалось мне,— вот отчего я такой... вот когда сказывается кровь!» Я стоял возле трупа, и глядел, и ждал: не шевельнутся ли эти мертвые зрачки, не дрогнут ли эти окоченелые губы? — Нет! всё неподвижно; самая осока, куда забросил его прибой, точно замерла; даже чайки отлетели — ни одного обломка нигде, ни доски, ни разбитой снасти. Пустота всюду... только он — да я — да шумевшее вдали море. Я оглянулся назад: та же пустота и там: цепь безжизненных холмов на небосклоне... вот и всё! Жутко мне было оставить этого несчастного в этом одиночестве, в прибрежной тине, на съедение рыбам и птицам; внутренний голос говорил мне, что я должен был отыскать, позвать людей, если не для помощи — где уж тут! — так хоть для того, чтобы прибрать, отнести его под жилой кров... Но несказанный страх вдруг обнял меня. Мне показалось, что этот мертвый человек знает, что я пришел сюда, что он сам устроил эту последнюю встречу,— мне даже почудилось то знакомое, глухое бормотанье... Я отбежал в сторону... оглянулся еще раз... Что-то блестящее бросилось мне в глаза: оно остановило меня. То был золотой ободок на откинутой руке трупа... Я узнал обручальное кольцо моей матери. Помню, как я заставил себя вернуться, подойти, нагнуться... помню клейкое прикосновение холодных пальцев, помню, как я задыхался, и жмурился, и скрипел зубами, срывая упорное кольцо...

Наконец оно сорвано — и я бегу, бегу прочь сломя голову — и что-то несется за мною, и настигает, и ловит меня.

XVI

Всё, что я испытал и перечувствовал, было, вероятно, написано на моем лице, когда я вернулся домой. Матушка, как только я вошел в ее комнату, внезапно выпрями-

лась и так настойчиво-вопросительно поглядела на меня, что я, безуспешно попытавшись объясниться, кончил тем, что молча протянул ей кольцо. Она побледнела страшно, глаза ее раскрылись необычайно и помертвели, как у *того*,— она слабо крикнула, схватила кольцо, пошатнулась, упала ко мне на грудь и так и замерла на ней, закинув голову назад и пожирая меня этими широкими, обезумевшими глазами. Я обнял ее стан обеими руками и, стоя на месте, не шевелясь, не спеша, рассказал ей тихим голосом всё, без малейшей утайки: мой сон и встречу, и всё, всё... Она выслушала меня до конца, не промолвив ни единого слова, только грудь всё сильней и сильней дышала — и глаза внезапно оживились и опустились. Потом она надела кольцо на безымянный палец и, отойдя немного, начала доставать мантилью и шляпу. Я ее спросил, куда она собирается идти. Она подняла на меня удивленный взор и хотела ответить, но голос изменил ей. Она содрогнулась несколько раз, потерла себе руки, как бы стараясь согреться, и наконец проговорила: «Пойдем сейчас туда».

— Куда, матушка?

— Где он лежит... я хочу видеть... я хочу узнать... я узнаю...

Я попытался было уговорить ее не ходить; но с ней чуть не сделалось нервического припадка. Я понял, что противиться ее желанию было невозможно,— и мы отправились.

XVII

И вот я опять иду по песку дюны, но иду уже не один. Я веду под руку матушку. Море отодвинулось, ушло еще дальше; оно утихает — но и ослабевший его шум всё так же грозен и зловещ. Вот, наконец, показался впереди одинокий камень — вот и осока. Я вглядываюсь, я стараюсь различить тот округленный, лежавший на земле предмет — но я ничего не вижу. Мы подходим ближе; я невольно замедляю шаги. Но где же то черное, неподвижное? Одни стебли осоки темнеют над песком, уже засохшим. Мы подходим к самому камню... Трупа нет нигде — и только на том месте, где он лежал, еще осталась впадина, и можно понять, где находились руки, ноги... Кругом осока как будто помята — и заметны следы ступней *одного* человека; они идут через дюну — потом пропадают, достигнув кремнистого кряжа.

Мы с матушкой переглядываемся и сами пугаемся того, что прочли на своих лицах...

Уж не встал ли он сам и удалился?

— Ведь ты его мертвым видел? — спрашивает она шёпотом.

Я мог только головой кивнуть. Трех часов не прошло с тех пор, как я наткнулся на труп барона... Кто-нибудь открыл и унес его. Надо было отыскать: кто это сделал и что с ним сталось?

Но прежде надо было озаботиться о матушке.

XVIII

Пока она шла к роковому месту, ее била лихорадка, но она владела собою. Исчезновение трупа поразило ее, как окончательное несчастье. На нее нашел столбняк. Я боялся за ее рассудок. С большим трудом доставил я ее домой. Я ее опять уложил в постель, опять приставил к ней доктора; но как только матушка несколько опомнилась, она тотчас потребовала, чтобы я немедленно отправился отыскивать «этого человека». Я повиновался. Но, несмотря на всевозможные меры, я ничего не открыл. Я был несколько раз в полиции, посетил все близ лежавшие деревни, напечатал несколько объявлений в газетах, собирал всюду справки — и напрасно! Правда, до меня дошло известие, что в одну из приморских деревушек был доставлен утопленник... Я тотчас поскакал туда, но его уже похоронили, да и по приметам он не походил на барона. Я узнал, на каком корабле он уплыл в Америку; сперва все были уверены, что корабль этот погиб во время бури; но несколько месяцев спустя стали ходить слухи, что его видели на якоре в нью-йоркской гавани. Не зная, что предпринять, я принялся отыскивать виденного мною арапа, предлагал ему через газеты довольно значительную сумму денег, если он отъявится в наш дом. Какой-то высокий арап, в плаще, действительно приходил к нам в мое отсутствие... Но, порасспросив служанку, он внезапно удалился и не возвращался более.

Так и простыл след моего... моего отца; так и канул он безвозвратно в немую тьму. С матушкой мы никогда не говорили о нем; только однажды, помнится, она подивилась, отчего это я прежде никогда не упоминал о моем странном сне; и тут же прибавила: «Значит, он точно...» — и не договорила своей мысли. Матушка долго была боль-

на, да и после выздоровления прежние наши отношения не возобновились. Ей было неловко со мною — до самой ее смерти... Именно неловко. А этому горю нельзя помочь. Всё сглаживается, воспоминания о самых трагических семейных событиях постепенно теряют свою силу и жгучесть; но если чувство неловкости водворилось между двумя близкими людьми — этого ничем истребить нельзя! Я уже никогда не видывал того сна, который, бывало, так меня тревожил; я уже не «отыскиваю» своего отца; но иногда мне чудилось — и чудится до сих пор — во сне, что я слышу какие-то далекие вопли, какие-то несмолкаемые, заунывные жалобы; звучат они где-то за высокой стеною, через которую перелезть невозможно, надрывают они мне сердце — и плачу я с закрытыми глазами, и никак я не в состоянии понять, что это: живой ли человек стонет, или это мне слышится протяжный и дикий вой взволнованного моря? И вот он снова переходит в то звериное бормотание — и я просыпаюсь с тоской и ужасом на душе.

РАССКАЗ ОТЦА АЛЕКСЕЯ

...Лет двадцать тому назад мне пришлось объехать — в качестве частного ревизора — все, довольно многочисленные, имения моей тетки. Приходские священники, с которыми я считал своей обязанностью познакомиться, оказывались личностями довольно однообразными и как бы на одну мерку сшитыми; наконец, чуть ли не в последнем из обозренных мною имений, я наткнулся на священника, не похожего на своих собратьев. Это был человек весьма старый, почти дряхлый; и если бы не усиленные просьбы прихожан, которые его любили и уважали, он бы давно отпросился на покой. Меня поразили в отце Алексее (так зва́ли священника) две особенности. Во-первых, он не только ничего не выпросил для себя, но прямо заявил, что ни в чем не нуждается, а во-вторых, я ни на каком человеческом лице не видывал более грустного, вполне безучастного,— как говорится,— «убитого» выражения. Черты этого лица были обыкновенные, деревенского типа: морщинистый лоб, маленькие серые глазки, крупный нос, бородка клином, кожа смуглая и загорелая... Но выражение!.. выражение!.. В тусклом взгляде едва — и то скорбно — теплилась жизнь; и голос был какой-то тоже неживой, тоже тусклый. Я занемог и пролежал несколько дней; отец Алексей заходил ко мне по вечерам — не беседовать, а играть в дурачки. Игра в карты, казалось, развлекала его еще больше, чем меня. Однажды, оставшись несколько раз сряду в дураках (чему отец Алексей порадовался немало), я завел речь о его прошлой жизни, о тех горестях, которые оставили на нем такой явный след. Отец Алексей сперва долго упирался, но кончил тем, что рассказал мне свою историю. Я ему, должно быть, чем-нибудь да полюбился; а то бы он не был со мною так откровенен.

Я постараюсь передать его рассказ его же словами. Отец Алексей говорил очень просто и толково, без всяких

семинарских или провинциальных замашек и оборотов речи. Я не в первый раз заметил, что сильно поломанные и смирившиеся русские люди всех сословий и званий выражаются именно таким языком.

— ...У меня была жена добрая и степенная,— так начал он,— я ее любил душевно и прижил с нею восемь человек детей; но почти все умерли в младых летах. Один мой сын вышел в архиереи — и скончался не так давно у себя в епархии; о другом сыне — Яковом его звали — я вот теперь расскажу вам. Отдал я его в семинарию, в город Т...; и скоро стал получать самые утешительные о нем известия: первым был учеником по всем предметам! Он и дома, в отрочестве, отличался прилежанием и скромностью; бывало, день пройдет — и не услышишь его... всё с книжкой сидит да читает. Никогда он нам с попадьей не причинил неприятности самомалейшей; смиренник был. Только иногда задумывался не по летам и здоровьем был слабенек. Раз с ним чудно́е нечто произошло. Десять лет ему тогда минуло. Отлучился он из дому — под самый Петров день — на зорьке, да почти целое утро пропадал. Наконец воротился. Мы с женой спрашиваем его: «Где был?»— «В лес, говорит, гулять ходил — да встретил там некоего зеленого старичка, который со мною много разговаривал и такие мне вкусные орешки дал!» — «Какой такой зеленый старичок?» — спрашиваем мы. «Не знаю, говорит, никогда его доселе не видывал. Маленький старичок, с горбиною, ножками всё семенит и посмеивается — и весь, как лист, зеленый».— «Как,— говорим мы,— и лицо зеленое?» — «И лицо, и волосы, и самые даже глаза». Никогда наш сын не лгал; но тут мы с женой усомнились. «Ты, чай, заснул в лесу, на припеке, да и видел старичка того во сне».— «Не спал я, говорит, николи́; да что, говорит, вы не верите? — Вот у меня в кармане и орешек один остался». Вынул Яков из кармана тот орешек, показывает нам... Ядрышко небольшое вроде каштанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орехи не похоже. Я его спрятал, хотел было доктору показать... да запропастилось оно... не нашел потом.

Ну-с, отдали мы его в семинарию — и, как я вам уже докладывал, веселил он нас своими успехами! Так мы с супругой и полагали, что выйдет из него человек! На по-

бывку домой придет — любо на него глядеть: такой благообразный, озорства за ним никакого; всем-то он нравится, все нас поздравляют. Только всё телом худенек — и в лице настоящей краски нет. Вот уже девятнадцатый год ему наступил — скоро ученью конец! И получаем мы тут вдруг от него письмо. Пишет он нам:

«Батюшка и матушка, не прогневайтесь на меня, разрешите мне идти по-светскому; не лежит сердце мое к духовному званию, ужасаюсь я ответственности, боюсь греха — сомнения во мне возродились! Без вашего родительского разрешения и благословения ни на что не отважусь— но скажу вам одно: боюсь я самого себя, ибо много размышлять начал».

Доложу я вам, милостивый государь: опечалился я гораздо от этого письма — словно рогатиной мне против сердца толкнуло — потому, вижу: не будет мне на моем месте преемника! Старший сын — монах; а этот вовсе из своего звания выступить желает. Горько мне еще потому: в нашем приходе близко двухсот годов всё из нашей семьи священники живали! Однако думаю: нечего против рожна переть; знать, уж такое ему предопределение вышло. Что уж за пастырь, коли сомнение в себе допустил! Посоветовался я с женою — и написал ему в таком смысле:

«Сын мой, Яков, одумайся хорошенько — десять раз примерь, один раз отрежь — трудности на светской службе пребывают великие, холод да голод, да к нашему сословию пренебрежение! И знай ты наперед: никто руку помощи тебе не подаст; не пеняй потом, смотри! Желание мое, ты сам знаешь, всегда было такое, чтобы ты меня заменил; но ежели ты точно в своем призвании усомнился и пошатнулся в вере — то и удерживать тебя мне не приходится. Буди воля господня! Мы с матерью твоею в благословении тебе не отказываем».

Отвечал мне Яков благодарственным письмом. «Обрадовал ты меня, мол, батюшка; есть мое намерение посвятить себя ученому званию — и протекция у меня есть; поступлю в университет, буду доктором; потому — к науке большую склонность чувствую».

Прочел я Яшино письмо и пуще опечалился; а поделиться горем скоро стало не с кем: старуха моя о ту пору простудилась сильно и скончалась — от этой ли самой простуды, или господь ее, любя, прибрал — неизвестно. Заплáчу, заплáчу я, бывало, вдовец одинокий,— а что по-

делаешь? Так тому, знать, и быть. И рад бы в землю уйти... да тверда она... не расступается. А сам сына поджидаю; потому — он известил меня: «Прежде, мол, чем в Москву поеду, домой наведаюсь». И точно: приехал он в родительский дом — но только пожил в нем недолго. Словно что его торопило: так бы, кажись, на крылах полетел в Москву, в университет свой любезный! Стал я расспрашивать его о сомнениях — какая, дескать, причина? — но и разговоров больших от него не услышал: одна мысль затесалась в голову — и полно! Ближним, говорит, хочу помогать. Ну-с, поехал он от меня — почитай, что ни гроша с собой не взял, только малость из платья. Уж очень он на себя надеялся! И не попусту. Экзамен выдержал отлично, в студенты поступил, уроки по частным домам приобрел... Тверд он был в древних-то языках! И как вы полагаете? Мне же деньги высылать вздумал. Повеселел я маленько — конечно, не из-за денег — я их ему назад отослал и побранил его даже; а повеселел, потому что вижу: путь в малом будет. Только недолго длилось мое веселье!

Приехал он на первые вакации... И что за чудо! Не узнаю я моего Якова! Скучный такой стал, угрюмый — слова от него не добьешься. И в лице переменился: почитай, на десять лет постарел. Он и прежде застенчив был, что и говорить! Чуть что — сейчас заробеет и закраснеется весь, как девица... Но поднимет он глаза — так ты и видишь, что светлехонько у него на душе! А теперь не то. Не робеет он — а дичится, словно волк, и глядит всё исподлобья. Ни тебе улыбки, ни тебе привета — как есть камень! Примусь я его расспрашивать — либо молчит, либо огрызается. Стал я думать: уж не запил ли он — сохрани бог! либо к картам пристрастья не получил ли? или вот еще насчет женской слабости не приключилось ли что? В юные лета присухи действуют сильно — ну, да в таком большом городе, как Москва, не без худых примеров и оказий! Однако нет: ничего подобного не видать. Питье его — квас да вода; на женский пол не взирает — да и вообще с людьми не знается. И что мне было горше всего: нету в нем прежнего доверья ко мне — равнодушие какое-то проявилось: точно ему всё свое опостылело. Заведу я беседу о науках, об университете — и тут настоящего ответа добиться не могу. В церковь он, однако, ходил, но тоже не без странности: везде-то он суров да хмур — а тут, в церкви-то, всё словно ухмыляется. Пожил он у меня

таким манером недель с шесть — да опять в Москву! Из Москвы написал мне раза два — и показалось мне из его писем, будто он опять приходит в чувство. Но представьте вы себе мое удивление, милостивый государь! Вдруг в самый развал зимы, перед святками — является он ко мне! Каким манером? Как? Что? Знаю я, что об эту пору вакаций нет. «Ты из Москвы?» — спрашиваю я.— «Из Москвы».— «А как же... Университет-то?» — «Университет я бросил». — «Бросил?» — «Точно так». — «Навсегда?» — «Навсегда».— «Да ты, Яков, болен, что ли?» — «Нет, говорит, батюшка, я не болен; а только вы, батюшка, меня не тревожьте и не расспрашивайте; а то я отсюда уйду — только вы меня и видали». Говорит мне Яков: не болен — а у самого лицо такое, что я даже ужаснулся! Страшное, темное, не человеческое словно! Щеки этта подтянуло, скулы выпятились, кости да кожа, голос как из бочки... а глаза... Господи владыко! Что это за глаза? Грозные, дикие, всё по сторонам мечутся — и поймать их нельзя; брови сдвинуты, губы тоже как-то набок скрючены... Что сталось с моим Иосифом прекрасным, с тихоней моим? Ума не приложу. «Уж не рехнулся ли он?» — думаю я так-то. Скитается, как привидение, по ночам не спит, а то вдруг возьмет да уставится в угол и словно весь окоченеет... Жутко таково! Хоть он и грозил мне, что уйдет из дому, если я его в покое не оставлю, но ведь я отец! Последняя моя надежда разрушается — а я молчи? Вот однажды, улуча время, стал я слезно молить Якова, памятью покойницы его матери заклинать его стал: «Скажи, мол, мне, как отцу по плоти и по духу, Яша, что с тобою? Не убивай ты меня — объяснись, облегчи свое сердце! Уж не загубил ли ты какую христианскую душу? Так покайся!» — «Ну, батюшка,— говорит он мне вдруг (а дело-то пришлось к ночи),— разжалобил ты меня; скажу я тебе всю правду! Души я никакой не загубил — а моя собственная душа пропадает».— «Каким это образом?» — «А вот как...— И тут Яков впервое на меня глаза поднял...— Вот уже четвертый месяц»,— начал он... Но вдруг у него речь оборвалась — и тяжело дышать он стал. «Что такое четвертый месяц? Сказывай, не томи!» — «Четвертый месяц, как я его вижу».— «*Его*? Кого его?» — «Да того... что́ к ночи называть неудобно». Я так и похолодел весь и затрясся. «Как?! — говорю,— ты *его* видишь?» — «Да».— «И теперь видишь?» — «Да».— «Где?» А сам я и обернуться не смею —

и говорим мы оба шёпотом. «А вон где...— И глазами мне указывает...— вон, в углу». Я таки осмелился... глянул в угол: ничего там нету! «Да там ничего нет, Яков, помилуй!» — «*Ты* не видишь — а я вижу». Я опять глянул... опять ничего. Вспомнился мне вдруг старичок в лесу, что каштанчик ему подарил. «Какой он из себя? — говорю...— зеленый?» — «Нет, не зеленый, а черный».— «С рогами?»— «Нет, он как человек — только весь черный». Яков сам говорит, а у самого зубы оскалились — и побледнел он, как мертвец, и жмется он ко мне со страху; а глаза словно выскочить хотят — и глядит он всё в угол. «Да это тень тебе мерещится,— говорю я,— это чернота от тени, а ты ее за человека принимаешь».— «Как бы не так! Я и глаза его вижу: вон он ворочает белками, вон руку поднимает, зовет».— «Яков, Яков, ты бы попробовал, помолился: наваждение это бы рассеялось. Да воскреснет бог и расточатся врази его!» — «Пробовал, говорит, да ничего не действует».— «Постой, постой, Яков, не малодушествуй; я ладаном покурю, молитву почитаю, святой водой кругом тебя окроплю». Яков только рукой махнул. «Ни в ладан я твой не верю, ни в воду святую; не помогают они ни на грош. Мне с *ним* теперь уж не расстаться. Как пришел он ко мне нынешним летом в один проклятый день — так с тех пор уж он мой гость неизменный, и выжить его нельзя. Ты это знай, отец, и больше моему поведению не дивись — и меня не мучь».— «В какой же это день пришел он к тебе? — спрашиваю я его, а сам всё его крещу.— Уж не тогда ли, когда ты о сомнении писал?» Яков отвел мою руку. «Оставь ты меня, говорит, батюшка, не вводи ты меня в досаду, чтобы хуже чего не было. Мне ведь на себя и руку наложить недолго». Можете себе представить, милостивый государь, каково мне было это слушать!.. Помнится, я всю ночь проплакал. «Чем, думаю, заслужил я такой гнев господень?»

Тут отец Алексей достал из кармана клетчатый носовой платок и стал сморкаться — да, кстати, утер украдкой глаза.

— Худое пошло тогда наше житье! — продолжал он.— Уж я только об одном и думаю: как бы он не сбег или, сохрани господи, в самом деле над собою какого зла не учинил! Караулю я его на каждом шагу — а в разговор и вступать-то боюсь. И проживала в ту пору вблизи нас соседка, полковница, вдова,— Марфой Савишной ее зва-

ли; большое я к ней уважение питал — потому женщина рассудительная и тихая, даром, что молодая и собой пригожая; хаживал я к ней часто — и она моим званием не гнушалась. С горя да с тоски, не зная, что уж и придумать, я возьми да всё ей и расскажи. Сперва она очень ужаснулась и даже всполошилась вся; а потом раздумье на нее нашло. Долго она изволила сидеть этак молча; а потом пожелала сына моего видеть и побеседовать с ним. И почувствовал я тут, что беспременно мне следует исполнить ее волю; ибо не женское любопытство в этом случае действует, а нечто иное. Вернувшись домой, стал я убеждать Якова: «Поди, мол, со мною к госпоже полковнице». Так он и руками и ногами! «Не пойду, говорит, ни за что! О чем я с ней буду беседовать!» Даже кричать на меня стал. Однако я, наконец, уломал его — и, запрягши саночки, повез его к Марфе Савишне, да, по уговору, оставил его с нею наедине. Самому мне удивительно, как это он скоро согласился? Ну, ничего,— посмотрим. Часа через три или четыре возвращается мой Яков. «Ну,— спрашиваю я,— как тебе соседка наша понравилась?» Ничего он мне не отвечает. Я опять его пытать. «Добродетельная, говорю, дама... Обласкала, чай, тебя?» — «Да, говорит, она не как прочие». Вижу я, он как будто помягче стал. И решился я тут его спросить... «А наваждение, говорю, как?» Глянул Яков на меня, как кнутом стеганул,— и опять ничего не промолвил. Не стал я его больше тревожить, убрался из комнаты вон; а час спустя подошел я к двери, посмотрел сквозь замочную скважину... И что же вы думаете? — спит мой Яков! Лег на постельку и спит. Перекрестился я тут несколько раз кряду. Пошли, мол, господь, всякой благодати Марфе Савишне! Видно, сумела, голубушка, ожесточенное его сердце тронуть!

На следующий день, смотрю, берет Яков шапку... Думаю — спросить его: куда, мол, идешь? — да нет, лучше не спрашивать... наверное к ней!.. И точно — к ней, к Марфе Савишне отправился Яков и еще дольше прежнего у ней просидел; а на следующий день — опять! А там через день — опять! Начал я воскресать духом; потому вижу: происходит в сыне перемена,— и лицо у него другое стало — и в глаза ему глядеть стало возможно: не отворачивается. Унылость всё в нем та же, да отчаянности прежней, ужаса прежнего нет. Но не успел я ободриться маленько, как опять всё разом оборвалось! Опять одичал

Яков, опять приступиться к нему нельзя. Сидит, запершись, в каморке — и полно ходить к полковнице! «Неужто, думаю, он ее чем-нибудь обидел — и она ему от дому отказала? Да нет, думаю... он хоть и несчастный, но на это не отважится; да и она не такая!» Не вытерпел я, наконец,— спрашиваю я у него: «А что, Яков,— соседка наша... Ты, кажется, ее совсем позабыл?» А он как гаркнет на меня: «Соседка? Или ты хочешь, чтобы *он* смеялся надо мною?» — «Как?» — говорю. Так он тут даже кулаки стиснул... освирепел вовсе! «Да! — говорит,— прежде он только так торчал, а теперь смеяться начал, зубы скалит! — Прочь! уйди!» Кому он эти слова обращал — я уж и не знаю; едва ноги меня вынесли — до того я перепугался. Вы только представьте: лицо, как медь красная, пена у рта, голос хриплый, словно кто его давит!.. И поехал я — сирота-сиротою — в тот же день к Марфе Савишне... В большой ее застал печали. Даже в теле она изменилась: похудел лик. Но разговаривать со мной о сыне она не захотела. Только одно сказала: что никакая тут людская помощь действительна быть не может; молитесь, мол, батюшка! А там вынесла мне сто рублей. «Для бедных и больных вашего прихода», говорит. И опять повторила: «Молитесь!» Господи! как будто я и без того не молился — денно и нощно!

Отец Алексей тут снова достал платок и снова утер свои слезы — но уж не украдкой на этот раз — и, отдохнув немного, продолжал свою невеселую повесть.

— Покатились мы тут с Яковом, словно снежный ком под гору, и видать нам обоим, что под горою пропасть — а как удержаться — и что предпринять? И скрыть это не было никакой возможности: по всему приходу пошло смущение великое, что вот-де у священника сын оказывается бесноватым — и что следует-де начальство обо всем этом известить. И известили бы непременно, да прихожане мои — спасибо им! — меня жалели. Тем временем зима миновала — и наступила весна. И такую весну послал бог — красную да светлую, какой даже старые люди не запоминали: солнышко целый день, безветрие, теплынь! И пришла мне тут благая мысль: уговорить Якова сходить со мною на поклонение к Митрофанию, в Воронеж! «Коли, думаю, и это последнее средство не поможет,— ну, тогда одна надежда: могила!»

Вот сижу я однажды, перед вечерком, на крылечке —

а зорька разгорается на небе, жаворонки поют, яблони в цвету, муравка зеленеет... сижу и думаю, как бы сообщить мое намерение Якову? Вдруг, смотрю, выходит он на крыльцо; постоял, поглядел, вздохнул и прикорнул на ступеньке со мною рядышком. Я даже испугался на радости — но только молчок. А он сидит, смотрит на зарю — и тоже ни слова! И показалось мне, словно умиление на него нашло: морщины на лбу разгладились, глаза даже посветлели... еще бы, кажется, немножко — и слеза бы прошибла! Усмотревши таковую в нем перемену, я — виноват! — осмелился. «Яков,— говорю я ему,— выслушай ты меня без гнева...» Да и рассказал ему о моем намерении: как нам вдвоем к Митрофанию пойти — пешечком; а от нас до Воронежа верст полтораста будет; и как оно приятно будет — вдвоем, весенним холодочком, до зорьки поднявшись,— идти да идти по зеленой травке, по большой дороге; и как, если мы хорошенько припадем да помолимся у раки святого угодника, быть может,— кто знает? господь бог над нами и смилуется — и получит он исцеление, чему уже многие бывали примеры! И представьте вы, милостивый государь, мое счастье! «Хорошо,— говорит Яков,— а сам не оборачивается, всё в небо смотрит,— я согласен. Пойдем». Я так и обомлел... «Друг, говорю, голубчик, благодетель!...» А он у меня спрашивает: «Когда же мы отправимся?» — «Да хоть завтра», говорю.

Так на другой день мы и отправились. Надели котомочки, взяли посохи в руки — и пошли. Целых семь дней мы шли, и всё время нам погода благоприятствовала — даже удивительно! Ни зноя, ни дождя; муха не кусает, пыль не зудит. И с каждым днем Яков мой всё в лучший вид приходит. Надо вам сказать, что на вольном воздухе Яков и прежде — *того-то* не видал, но чувствовал его за собою, за самой спиною; а не то тень его сбоку как будто скользила, что очень моего сына мутило. А в этот раз ничего такого не происходило; и на постоялых дворах, где нам ночевать приходилось, тоже ничего не являлось. Мало мы с ним разговаривали... но уж как нам хорошо было — особенно мне! Вижу я: воскресает мой бедняк. Не могу я вам описать, милостивый государь, что я тогда чувствовал. Ну, добрались мы наконец до Воронежа. Пообчистились, пообмылись — и в собор, к угоднику! Целых три дня почти что не выходили из храма. Сколько молебнов отслужили, свечей сколько понаставили! И всё ладно, всё прекрасно; дни — благочестивые, ночи — тихие; спит мой Яша, как

младенец. Сам со мной заговаривать стал. Бывало, спросит: «Батюшка, ты ничего не видишь?» — а сам улыбается. «Не вижу,— говорю я,— ничего».— «Ну и я, говорит, не вижу». Чего еще требовать? Благодарность моя к угоднику — без границ.

Прошли три дня; и говорю я Якову: «Ну, теперь, сынок, всё дело поправилось; на нашей улице праздник. Остается одно: исповедайся ты, причастись; а там с богом восвояси — и, отдохнувши как следует да по хозяйству поработавши, для укрепления сил, можно будет похлопотать, место поискать или что. Марфа Савишна, говорю, наверное в этом нам поможет».— «Нет,— говорит Яков,— зачем мы ее будем беспокоить; а вот я ей колечко с Митрофаниевой ручки принесу». Я тут совсем раскуражился: «Смотри, говорю, бери серебряное, а не золотое — не обручальное!» Покраснел мой Яков и только повторил, что не следует ее беспокоить,— а впрочем, тотчас на всё согласился. Пошли мы на следующий день в собор; исповедался мой Яков, и так перед тем молился усердно! — а там и к причастию приступил. Я стою так-то в сторонке — и земли под собою не чувствую... На небесах ангелам не слаще бывает! Только смотрю я: что́ это значит! Причастился мой Яков — а не идет испить теплоты! Стоит он ко мне спиною... Я к нему. «Яков, говорю, что же ты стоишь?» Как он обернется вдруг! Верите ли, я назад отскочил, до того испугался! Бывало, страшное было у него лицо, а теперь какое-то зверское, ужасное стало! Бледен как смерть, волосы дыбом, глаза перекосились... У меня от испуга даже голос пропал; хочу говорить, не могу — обмер я совсем... А он — как бросится вон из церкви! Я за ним... а он прямо на постоялый двор, где ночевка наша была, котомку на плечи — да и вон. «Куда? — кричу я ему,— Яков, что с тобой! Постой, погоди!» А Яков хоть бы слово мне в ответ, побежал как заяц — и догнать его нет никакой возможности! Так и скрылся. Я сейчас верть назад, телегу нанял, а сам весь трясусь и только и могу говорить, что «господи!» да «господи!» И ничего не понимаю: что это такое над нами стряслось? Пустился я домой — потому думаю: наверное он туда побежал. И точно. На шестой версте от города — вижу: шагает он по большаку. Я его догнал, соскочил с телеги да к нему. «Яша! Яша!» Остановился он, повернулся ко мне лицом, а глаза в землю упер и губы стиснул. И что я ему ни говорю — стоит он, как истукан какой, и только и видно, что

дышит. А наконец — опять пошел вперед по дороге. Что было делать! Поплелся и я за ним...

Ах, какое же это было путешествие, милостивый государь! Сколь нам было радостно идти в Воронеж — столь ужасно было возвращение! Стану я ему говорить — так он даже зубами ляскает, этак через плечо, ни дать ни взять тигр или гиена! Как я тут ума не лишился — доселе не постигаю! И вот, наконец, однажды ночью — в крестьянской курной избе — сидел он на полатях, свесивши ноги да озираясь по сторонам,— пал я тут перед ним на коленки и заплакал, и горьким взмолился моленьем: «Не убивай, дескать, старика отца окончательно, не дай ему в отчаянность впасть — скажи, что приключилось с тобою?» Вóззрелся он в меня — а то он словно и не видел, кто перед ним стоит,— и вдруг заговорил — да таким голосом, что он у меня до сих пор в ушах отдается. «Слушай, говорит, батька. Хочешь ты знать всю правду? Так вот она тебе. Когда, ты помнишь, я причастился — и частицу еще во рту держал,— вдруг *он* (в церкви-то это, белым-то днем!) встал передо мною, словно из земли выскочил, и шепчет он мне (а прежде никогда ничего не говаривал)...— шепчет: выплюнь да разотри! Я так и сделал: выплюнул — и ногой растер. И стало быть, я теперь навсегда пропащий — потому что всякое преступление отпускается, но только не преступление против святого духа...»

И, сказав эти ужасные слова, сын мой повалился на полати,— а я опустился на избяной пол... Ноги у меня подкосились...

Отец Алексей умолк на мгновенье — и закрыл глаза рукою.

— Однако,— продолжал он,— что же я буду дольше томить вас, да и самого себя! Дотащились мы с сыном до дому, а тут скоро и конец его настал — и лишился я моего Якова! Перед смертью он несколько дней не пил, не ел — всё по комнате взад и вперед бегал да твердил, что греху его не может быть отпущения... но *его* уж он больше не видел. Погубил он, дескать, мою душу; теперь зачем же ему больше ходить? А как слег Яков, сейчас в беспамятство впал, и так, без покаяния, как бессмысленный червь, отошел от сей жизни в вечную...

Но не хочу я верить, чтобы господь стал судить его своим строгим судом...

И, между прочим, я этому потому не хочу верить, что уж очень он хорош лежал в гробу: совсем словно помоло-

дел и стал на прежнего похож Якова. Лицо такое тихое, чистое, волосы колечками завились — а на губах улыбка. Марфа Савишна приходила смотреть на него — и то же самое говорила. Она же его обставила всего цветами и на сердце ему цветы положила — и камень надгробный на свой счет поставила.

А я остался одиноким... И вот отчего, милостивый государь, вы изволили усмотреть на лице моем печаль великую... Не пройдет она никогда — да и не может пройти.

Хотел я сказать отцу Алексею слово утешения... но никакого слова не нашел.

Мы скоро потом расстались.

НОВЬ

1876

«Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом».

Из записок хозяина-агронома.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Весною 1868 года, часу в первом дня, в Петербурге, взбирался по черной лестнице пятиэтажного дома в Офицерской улице человек лет двадцати семи, небрежно и бедно одетый. Тяжело шлепая стоптанными калошами, медленно покачивая грузное, неуклюжее тело, человек этот достигнул наконец самого верха лестницы, остановился перед оборванной полураскрытой дверью и, не позвонив в колокольчик, а только шумно вздохнув, ввалился в небольшую темную переднюю.

— Нежданов дома? — крикнул он густым и громким голосом.

— Его нет — я здесь, войдите,— раздался в соседней комнате другой, тоже довольно грубоватый, женский голос.

— Машурина? — переспросил новоприбывший.

— Она самая и есть. А вы — Остродумов?

— Пимен Остродумов,— отвечал тот и, старательно сняв сперва калоши, а потом повесив на гвоздь ветхую шинелишку, вошел в комнату, откуда раздался женский голос.

Низкая, неопрятная, со стенами, выкрашенными мутно-зеленой краской, комната эта едва освещалась двумя запыленными окошками. Только и было в ней мебели, что железная кроватка в углу, да стол посередине, да несколько стульев, да этажерка, заваленная книгами. Возле стола сидела женщина лет тридцати, простоволосая, в черном шерстяном платье, и курила папироску. Увидев вошедшего Остродумова, она молча подала ему свою широкую красную руку. Тот так же молча пожал ее и, опустившись на стул, достал из бокового кармана полусломанную сигару. Машурина дала ему огня — он закурил, и оба, не говоря ни слова и даже не меняясь взглядами, принялись пускать струйки синеватого дыма в тусклый воздух комнаты, уже без того достаточно пропитанный им.

В обоих курильщиках было нечто общее, хотя чертами лица они не походили друг на друга. В этих неряшливых фигурах, с крупными губами, зубами, носами (Остродумов к тому же еще был ряб), сказывалось что-то честное, и стойкое, и трудолюбивое.

— Видели вы Нежданова? — спросил наконец Остродумов.

— Видела; он сейчас придет. Книги в библиотеку понес.

Остродумов сплюнул в сторону.

— Что это он всё бегать стал? Никак его не поймаешь.

Машурина достала другую папиросу.

— Скучает,— промолвила она, тщательно ее разжигая.

— Скучает! — повторил с укоризной Остродумов.— Вот баловство! Подумаешь, занятий у нас с ним нету. Тут дай бог все дела обломать как следует — а он скучает!

— Письмо из Москвы пришло? — спросила Машурина погодя немного.

— Пришло... третьего дня.

— Вы читали?

Остродумов только головой качнул.

— Ну... и что же?

— Что? Скоро ехать надо будет.

Машурина вынула папиросу изо рта.

— Это отчего же? Там, слышно, идет всё хорошо.

— Идет своим порядком. Только человек один подвернулся ненадежный. Так вот... сместить его надо; а не то и вовсе устранить. Да и другие есть дела. Вас тоже зовут.

— В письме?

— Да; в письме.

Машурина встряхнула своими тяжелыми волосами. Небрежно скрученные сзади в небольшую косу, они спереди падали ей на лоб и на брови.

— Ну, что ж! — промолвила она,— коли выйдет распоряжение — рассуждать тут нечего!

— Известно, нечего. Только без денег никак нельзя; а где их взять, самые эти деньги?

Машурина задумалась.

— Нежданов должен достать,— проговорила она вполголоса, словно про себя.

— Я за этим самым и пришел,— заметил Остродумов.

— Письмо с вами? — спросила вдруг Машурина.

— Со мной. Хотите прочесть?

— Дайте... или нет, не нужно. Вместе прочтем... после.

— Верно говорю,— пробурчал Остродумов,— не сомневайтесь.

— Да я и не сомневаюсь.

И оба затихли опять, и только струйки дыма по-прежнему бежали из их безмолвных уст и поднимались, слабо змеясь, над их волосистыми головами.

В передней раздался стук калош.

— Вот он! — шепнула Машурина.

Дверь слегка приотворилась, и в отверстие просунулась голова — но только не голова Нежданова.

То была круглая головка с черными, жесткими волосами, с широким морщинистым лбом, с карими, очень живыми глазками под густыми бровями, с утиным, кверху вздернутым носом и маленьким розовым, забавно сложенным ртом. Головка эта осмотрелась, закивала, засмеялась — причем выказала множество крошечных белых зубков — и вошла в комнату вместе со своим тщедушным туловищем, короткими ручками и немного кривыми, немного хромыми ножками. И Машурина и Остродумов, как только увидали эту головку, оба выразили на лицах своих нечто вроде снисходительного презрения, точно каждый из них внутренно произнес: «А! *этот*!» — и не проронили ни единого слова, даже не пошевельнулись. Впрочем, оказанный ему прием не только не смутил новопоявившегося гостя, но, кажется, доставил ему некоторое удовлетворение.

— Что сие означает? — произнес он пискливым голоском.— Дуэт! Отчего же не трио? И где же главный тенор?

— Вы это о Нежданове любопытствуете, г-н Паклин? — проговорил с серьезным видом Остродумов.

— Точно так, г-н Остродумов: о нем.

— Он, вероятно, скоро прибудет, г-н Паклин.

— Это очень приятно слышать, г-н Остродумов.

Хроменький человек обратился к Машуриной. Она сидела насупившись и продолжала, не спеша, попыхивать из папироски.

— Как вы поживаете, любезнейшая... любезнейшая... Ведь вот как это досадно! Всегда я забываю, как вас по имени и по отчеству!

Машурина пожала плечами.

— И совсем это не нужно знать! Вам моя фамилия известна. Чего же больше! И что за вопрос: как вы поживаете? Разве вы не видите, что я живу?

— Совершенно, совершенно справедливо! — воскликнул Паклин, раздувая ноздри и подергивая бровями,— не были бы вы живы — ваш покорный слуга не имел бы удовольствия вас здесь видеть и беседовать с вами! Припишите мой вопрос застарелой дурной привычке. Вот и насчет имени и отчества... Знаете: как-то неловко говорить прямо: Машурина! Мне, правда, известно, что вы и под письмами вашими иначе не подписываетесь, как Бонапарт! — то бишь: Машурина! Но все-таки в разговоре...

— Да кто вас просит со мной разговаривать?

Паклин засмеялся нервически, как бы захлебываясь.

— Ну, полноте, милая, голубушка, дайте вашу руку, не сердитесь, ведь я знаю: вы предобрая — и я тоже добрый... Ну?..

Паклин протянул руку... Машурина посмотрела на него мрачно — однако подала ему свою.

— Если вам непременно нужно знать мое имя,— промолвила она всё с тем же мрачным видом,— извольте: меня зовут Феклой.

— А меня — Пименом,— прибавил басом Остродумов.

— Ах! это очень... очень поучительно! Но в таком случае скажите мне, о Фекла! и вы, о Пимен! скажите мне, отчего вы оба так недружелюбно, так постоянно недружелюбно относитесь ко мне, между тем как я...

— Машурина находит,— перебил Остродумов,— и не она одна это находит, что так как вы на все предметы смотрите с их смешной стороны, то и положиться на вас нельзя.

Паклин круто повернулся на каблуках.

— Вот она, вот постоянная ошибка людей, которые обо мне судят, почтеннейший Пимен! Во-первых, я не всегда смеюсь, а во-вторых — это ничему не мешает и положиться на меня можно, что и доказывается лестным доверием, которым я не раз пользовался в ваших же рядах! Я честный человек, почтеннейший Пимен!

Остродумов промычал что-то сквозь зубы, а Паклин покачал головою и повторил уже без всякой улыбки:

— Нет! я не всегда смеюсь! Я вовсе не веселый человек! Вы посмотрите-ка на меня!

Остродумов посмотрел на него. Действительно, когда Паклин не смеялся, когда он молчал, лицо его принимало выражение почти унылое, почти запуганное; оно становилось забавным и даже злым, как только он раскрывал рот. Остродумов, однако, ничего не сказал.

Паклин снова обратился к Машуриной:

— Ну, а учение как подвигается? Делаете вы успехи в вашем истинно человеколюбивом искусстве? Чай, штука трудная — помогать неопытному гражданину при его первом вступлении на свет божий?

— Ничего, труда нет, коли он немного больше вас ростом,— ответила Машурина, только что сдавшая экзамен на повивальную бабушку, и самодовольно ухмыльнулась.

Года полтора тому назад она, бросив свою родную, дворянскую, небогатую семью в южной России, прибыла в Петербург с шестью целковыми в кармане; поступила в родовспомогательное заведение и безустанным трудом добилась желанного аттестата. Она была девица... и очень целомудренная девица. Дело не удивительное! — скажет иной скептик, вспомнив то, что было сказано об ее наружности. Дело удивительное и редкое! — позволим себе сказать мы.

Услышав ее отповедь, Паклин снова рассмеялся.

— Вы молодец, моя милая!— воскликнул он.— Славно меня отбрили! Поделом мне! Зачем я таким карликом остался! Однако где же это пропадает наш хозяин?

Паклин не без умысла переменил предмет разговора. Он никак не мог помириться с крохотным своим ростом, со всей своей невзрачной фигуркой. Это было ему тем чувствительнее, что он страстно любил женщин. Чего бы он не дал, чтоб нравиться им! Сознание своей мизерной наружности гораздо больнее грызло его, чем его низменное происхождение, чем незавидное положение его в обществе. Отец Паклина был простой мещанин, дослужившийся всякими неправдами до чина титулярного советника, ходок по тяжебным делам, аферист. Он управлял имениями, домами и зашиб-таки копейку; но сильно пил под конец жизни и ничего не оставил после своей смерти. Молодой Паклин (звали его: Сила... Сила Самсоныч, что он также считал насмешкой над собою) воспитывался в коммерческом училище, где отлично выучился немецкому языку. После различных, довольно тяжелых передряг он попал наконец в частную контору на 1500 рублей серебром годового содержания. Этими деньгами он кормил себя, больную тетку да горбатую сестру. Во время нашего рассказа ему только что пошел двадцать восьмой год. Паклин знался со множеством студентов, молодых людей, которым он нравился своей цинической бойкостью, веселой желчью

самоуверенной речи, односторонней, но несомненной начитанностью, без педантизма. Лишь изредка ему доставалось от них. Раз он как-то опоздал на политическую сходку... Войдя, он тотчас начал торопливо извиняться... «Трусоват был Паклин бедный»,— запел кто-то в углу — и все расхохотались. Паклин наконец засмеялся сам, хоть и скребло у него на сердце. «Правду сказал, мошенник!» — подумал он про себя. С Неждановым он познакомился в греческой кухмистерской, куда ходил обедать и где выражал подчас весьма свободные и резкие мнения. Он уверял, что главной причиной его демократического настроения была скверная греческая кухня, которая раздражала его печень.

— Да... именно... где пропадает наш хозяин? — повторил Паклин.— Я замечаю: он с некоторых пор словно не в духе. Уж не влюблен ли он, боже сохрани!

Машурина нахмурилась.

— Он пошел в библиотеку за книгами, а влюбляться ему некогда и не в кого.

«А в вас?» — чуть было не сорвалось с губ у Паклина.

— Я потому желаю его видеть,— промолвил он громко,— что мне нужно переговорить с ним по одному важному делу.

— По какому это делу? — вмешался Остродумов.— По нашему?

— А может быть, и по вашему... то есть по нашему, общему.

Остродумов хмыкнул. В душе он усомнился, но тут же подумал: «А чёрт его знает! Вишь он какой пролаз!»

— Да вот он идет наконец,— проговорила вдруг Машурина — и в ее маленьких некрасивых глазах, устремленных на дверь передней, промелькнуло что-то теплое и нежное, какое-то светлое, глубокое, внутреннее пятнышко...

Дверь отворилась — и на этот раз, с картузом на голове, со связкой книг под мышкой, вошел молодой человек лет двадцати трех, сам Нежданов.

II

При виде гостей, находившихся в его комнате, он остановился на пороге двери, обвел их всех глазами, сбросил картуз, уронил книги прямо на пол — и, молча добравшись до кровати, прикорнул на ее крае. Его красивое белое лицо, казавшееся еще белее от темно-красного цвета

волнистых рыжих волос, выражало неудовольствие и досаду.

Машурина слегка отвернулась и закусила губу; Остродумов проворчал:

— Наконец-то!

Паклин первый приблизился к Нежданову.

— Что с тобой, Алексей Дмитриевич, российский Гамлет? Огорчил кто тебя? Или так — без причины — взгрустнулось?

— Перестань, пожалуйста, российский Мефистофель,— отвечал раздраженно Нежданов.— Мне не до того, чтобы препираться с тобою плоскими остротами.

Паклин засмеялся.

— Ты неточно выражаешься: коли о́стро, так не плоско, коли плоско, так не о́стро.

— Ну, хорошо, хорошо... Ты, известно, умница.

— А ты в нервозном состоянии,— произнес с расстановкою Паклин.— Али в самом деле что случилось?

— Ничего не случилось особенного; а случилось то, что нельзя носа на улицу высунуть в этом гадком городе, в Петербурге, чтоб не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здесь больше невозможно.

— То-то ты в газетах публиковал, что ищешь кондиции и согласен на отъезд,— проворчал опять Остродумов.

— И, конечно, с величайшим удовольствием уеду отсюда! Лишь бы нашелся дурак — место предложил!

— Сперва надо *здесь* свою обязанность исполнить,— значительно проговорила Машурина, не переставая глядеть в сторону.

— То есть? — спросил Нежданов, круто обернувшись к ней. Машурина стиснула губы.

— Вам Остродумов скажет.

Нежданов обернулся к Остродумову. Но тот только крякнул и откашлялся: погоди, мол.

— Нет, не шутя, в самом деле,— вмешался Паклин,— ты узнал что-нибудь, неприятность какую?

Нежданов подскочил на постели, словно его что подбросило.

— Какая тебе еще неприятность нужна? — закричал он внезапно зазвеневшим голосом.— Пол-России с голода помирает, «Московские ведомости» торжествуют, классицизм хотят ввести, студенческие кассы запрещаются, везде шпионство, притеснения, доносы, ложь и фальшь —

шагу нам ступить некуда... а ему всё мало, он ждет еще новой неприятности, он думает, что я шучу... Басанова арестовали,— прибавил он, несколько понизив тон,— мне в библиотеке сказывали.

Остродумов и Машурина оба разом приподняли головы.

— Любезный друг, Алексей Дмитриевич,— начал Паклин,— ты взволнован — дело понятное... Да разве ты забыл, в какое время и в какой стране мы живем? Ведь у нас утопающий сам должен сочинить ту соломинку, за которую ему приходится ухватиться! Где уж тут миндальничать?! Надо, брат, чёрту в глаза уметь смотреть, а не раздражаться по-ребячьи...

— Ах, пожалуйста, пожалуйста! — перебил тоскливо Нежданов и даже сморщился, словно от боли.— Ты, известное дело, энергический мужчина — ты ничего и никого не боишься...

— Я-то никого не боюсь?! — начал было Паклин.

— Кто только мог выдать Басанова? — продолжал Нежданов,— не понимаю!

— А известное дело — приятель. Они на это молодцы, приятели-то. С ними держи ухо востро! Был у меня, например, приятель — и, казалось, хороший человек: так обо мне заботился, о моей репутации! Бывало, смотришь: идет ко мне... «Представьте, кричит, какую об вас глупую клевету распустили: уверяют, что вы вашего родного дядюшку отравили, что вас ввели в один дом, а вы сейчас к хозяйке сели спиной — и так весь вечер и просидели! И уж плакала она, плакала от обиды! Ведь этакая чепуха! этакая нелепица! Какие дураки могут этому поверить!» — И что же? Год спустя рассорился я с этим самым приятелем... И пишет он мне в своем прощальном письме: «Вы, который уморили своего дядю! Вы, который не устыдились оскорбить почтенную даму, севши к ней спиной!..»— и т. д. и т. д.— Вот каковы приятели!

Остродумов переглянулся с Машуриной.

— Алексей Дмитриевич! — брякнул он своим тяжелым басом,— он явно желал прекратить возникавшее бесполезное словоизвержение,— от Василия Николаевича письмо из Москвы пришло.

Нежданов слегка дрогнул и потупился.

— Что он пишет? — спросил он наконец.

— Да вот... нам вот с ней...— Остродумов указал бровями на Машурину,— ехать надо.

— Как? и ее зовут?
— Зовут и ее.
— За чем же дело стало?
— Да известно за чем... за деньгами.
Нежданов поднялся с кровати и подошел к окну.
— Много нужно?
— Пятьдесят рублей... Меньше нельзя.
Нежданов помолчал.
— У меня теперь их нет,— прошептал он наконец, постукивая пальцами по стеклу,— но... я могу достать. Я достану. Письмо у тебя?
— Письмо-то? Оно... то есть... конечно...
— Да что вы всё от меня хоронитесь? — воскликнул Паклин.— Неужто я не заслужил вашего доверия? Если бы я даже не вполне сочувствовал... тому, что вы предпринимаете,— неужто же вы полагаете, что я в состоянии изменить или разболтать?
— Без умысла... пожалуй! — пробасил Остродумов.
— Ни с умыслом, ни без умысла! Вот г-жа Машурина глядит на меня и улыбается... а я скажу...
— Я нисколько не улыбаюсь,— окрысилась Машурина.
— А я скажу,— продолжал Паклин,— что у вас, господа, чутья нет; что вы не умеете различить, кто ваши настоящие друзья! Человек смеется — вы и думаете: он несерьезный...
— А то небось нет? — вторично окрысилась Машурина.
— Вы вот, например,— подхватил с новой силой Паклин, на этот раз даже не возражая Машуриной,— вы нуждаетесь в деньгах... а у Нежданова их теперь нет... Так я могу дать.
Нежданов быстро отвернулся от окна.
— Нет... нет... это к чему же? Я достану... Я возьму часть пенсии вперед... Помнится, *они* остались мне должны. А вот что, Остродумов: покажи-ка письмо.
Остродумов остался сперва некоторое время неподвижным, потом осмотрелся кругом, потом встал, нагнулся всем телом и, засучив панталоны, вытащил из-за голенища сапога тщательно сложенный клочок синей бумаги; вытащив этот клочок, неизвестно зачем подул на него и подал Нежданову.
Тот взял бумажку, развернул ее, прочел внимательно и передал Машуриной. Та сперва встала со стула, потом тоже прочла и возвратила бумажку Нежданову, хотя

Паклин протягивал за нею руку. Нежданов пожал плечом и передал таинственное письмо Паклину. Паклин в свою очередь пробежал глазами бумажку и, многозначительно сжав губы, торжественно и тихо положил ее на стол. Тогда Остродумов взял ее, зажег большую спичку, распространившую сильный запах серы, и сперва высоко поднял бумажку над головою, как бы показывая ее всем присутствовавшим, сжег ее дотла на спичке, не щадя своих пальцев, и бросил пепел в печку. Никто не произнес слова, никто даже не пошевелился в течение этой операции. Глаза у всех были опущены. Остродумов имел вид сосредоточенный и дельный, лицо Нежданова казалось злым, в Паклине проявилось напряжение; Машурина — священнодействовала.

Так прошло минуты две... Потом всем стало немного неловко. Паклин первый почувствовал необходимость нарушить безмолвие.

— Так что же? — начал он.— Принимается моя жертва на алтарь отечества или нет? Позволяется мне поднести если не все пятьдесят, то хоть двадцать пять или тридцать рублей на общее дело?

Нежданов вдруг вспыхнул весь. Казалось, в нем накипела досада... Торжественное сжигание письма ее не уменьшило — она ждала только предлога, чтобы вырваться наружу.

— Я уже сказал тебе, что это не нужно, не нужно... не нужно! Я этого не допущу и не приму. Я достану деньги, я сейчас же их достану. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи!

— Ну, брат,— промолвил Паклин,— я вижу: ты хоть и революционер, а не демократ!

— Скажи прямо, что я аристократ!

— Да ты и точно аристократ... до некоторой степени.

Нежданов принужденно засмеялся.

— То есть ты хочешь намекнуть на то, что я незаконный сын. Напрасно трудишься, любезный... Я и без тебя этого не забываю.

Паклин всплеснул руками.

— Алеша, помилуй, что с тобою! Как можно так понимать мои слова! Я не узнаю тебя сегодня.— Нежданов сделал нетерпеливое движение головой и плечами.— Арест Басанова тебя расстроил, но ведь он сам так неосторожно вел себя...

— Он не скрывал своих убеждений,— сумрачно вмешалась Машурина,— не нам его осуждать!

— Да; только ему следовало бы тоже подумать о других, которых он теперь скомпрометировать может.

— Почему вы так о нем полагаете?..— загудел в свою очередь Остродумов.— Басанов человек с характером твердым; он никого не выдаст. А что до осторожности... знаете что? Не всякому дано быть осторожным, г-н Паклин!

Паклин обиделся и хотел было возразить, но Нежданов остановил его.

— Господа! — воскликнул он,— сделайте одолжение, бросимте на время политику!

Наступило молчание.

— Я сегодня встретил Скоропихина,— заговорил наконец Паклин,— нашего всероссийского критика, и эстетика, и энтузиаста. Что за несносное создание! Вечно закипает и шипит, ни дать ни взять бутылка дрянных кислых щей... Половой на бегу заткнул ее пальцем вместо пробки, в горлышке застрял пухлый изюм — она всё брызжет и свистит, а как вылетит из нее вся пена — на дне остается всего несколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляет ничьей жажды, но причиняет одну лишь резь... Превредный для молодых людей индивидуй!

Сравнение, употребленное Паклиным, хотя верное и меткое, не вызвало улыбки ни на чьем лице. Один Остродумов заметил, что о молодых людях, которые способны интересоваться эстетикой, жалеть нечего, даже если Скоропихин и собьет их с толку.

— Но помилуйте, постойте,— воскликнул с жаром Паклин,— он тем более горячился, чем менее встречал себе сочувствия,— тут вопрос, положим, не политический, но все-таки важный. Послушать Скоропихина, всякое старое художественное произведение уж по тому самому не годится никуда, что оно старо... Да в таком случае художество, искусство вообще — не что иное, как мода, и говорить серьезно о нем не стоит! Если в нем нет ничего незыблемого, вечного — так чёрт с ним! В науке, в математике, например: не считаете же вы Эйлера, Лапласа, Гаусса за отживших пошляков? Вы готовы признать их авторитет, а Рафаэль или Моцарт — дураки? И ваша гордость возмущается против их авторитета? Законы искусства труднее уловить, чем законы науки... согласен; но они существуют — и кто их не видит, тот слепец; добровольный или недобровольный — всё равно!

Паклин умолк... и никто ничего не промолвил, точно

все в рот воды набрали — точно всем было немножко совестно за него. Один Остродумов проворчал:

— И всё-таки я тех молодых людей, которых сбивает Скоропихин, нисколько не жалею.

«А ну вас с богом! — подумал Паклин.— Уйду!»

Он пришел было к Нежданову с тем, чтобы сообщить ему свои соображения насчет доставки «Полярной звезды» из-за границы («Колокол» уже не существовал), но разговор принял такой оборот, что лучше было и не поднимать этого вопроса. Паклин уже взялся за шапку, как вдруг, без всякого предварительного шума и стука, в передней раздался удивительно приятный, мужественный и сочный баритон, от самого звука которого веяло чем-то необыкновенно благородным, благовоспитанным и даже благоуханным.

— Господин Нежданов дома?

Все переглянулись в изумлении.

— Дома господин Нежданов? — повторил баритон.

— Дома,— отвечал наконец Нежданов.

Дверь отворилась скромно и плавно, и, медленно снимая вылощенную шляпу с благообразной, коротко остриженной головы, в комнату вошел мужчина лет под сорок, высокого росту, стройный и величавый. Одетый в прекраснейшее драповое пальто с превосходнейшим бобровым воротником, хотя апрель месяц уже близился к концу, он поразил всех — Нежданова, Паклина, даже Машурину... даже Остродумова! — изящной самоуверенностью осанки и ласковым спокойствием привета. Все невольно поднялись при его появлении.

III

Изящный мужчина подошел к Нежданову и, благосклонно осклабясь, проговорил:

— Я уже имел удовольствие встретиться и даже беседовать с вами, г-н Нежданов, третьего дня, если изволите припомнить,— в театре. (Посетитель остановился, как бы выжидая; Нежданов слегка кивнул головою и покраснел.) Да!.. а сегодня я явился к вам вследствие объявления, помещенного вами в газетах... Я бы желал переговорить с вами, если только не стесню господ присутствующих (посетитель поклонился Машуриной и повел рукой, облеченной в сероватую шведскую перчатку, в направлении Паклина и Остродумова) и не помешаю им...

— Нет... отчего же...— отвечал не без некоторого труда Нежданов.— Эти господа позволят... Не угодно ли вам присесть?

Посетитель приятно перегнул стан и, любезно взявшись за спинку стула, приблизил его к себе, но не сел,— так как все в комнате стояли,— а только повел кругом своими светлыми, хотя и полузакрытыми глазами.

— Прощайте, Алексей Дмитрич,— проговорила вдруг Машурина,— я зайду после.

— И я,— прибавил Остродумов.— Я тоже... после.

Минуя посетителя и как бы в пику ему, Машурина взяла руку Нежданова, сильно тряхнула ее и пошла вон, никому не поклонившись. Остродумов отправился вслед за нею, без нужды стуча сапогами и даже фыркнув раза два: «Вот, мол, тебе, бобровый воротник!» Посетитель проводил их обоих учтивым, слегка любопытным взором. Он устремил его потом на Паклина, как бы ожидая, что и тот последует примеру двух удалившихся гостей; но Паклин, на лице которого с самого появления незнакомца засветилась особенная сдержанная улыбка, отошел в сторону и приютился в уголку. Тогда посетитель опустился на стул. Нежданов сел тоже.

— Моя фамилия — Сипягин, может быть, слыхали,— с горделивой скромностью начал посетитель.

Но прежде следует рассказать, каким образом Нежданов встретился с ним в театре.

По случаю приезда Садовского из Москвы давали пьесу Островского «Не в свои сани не садись». Роль Русакова была, как известно, одной из любимых ролей знаменитого актера. Перед обедом Нежданов зашел в кассу, где застал довольно много народу. Он собирался взять билет в партер; но в ту минуту как он подходил к отверстию кассы, стоявший за ним офицер закричал кассиру, протягивая через голову Нежданова три рублевых ассигнации: «Им (то есть Нежданову), вероятно, придется получать сдачу, а мне не надо; так вы дайте мне, пожалуйста, поскорей билет в первом ряду... мне к спеху!» — «Извините, г-н офицер,— промолвил резким голосом Нежданов,— я сам желаю взять билет в первом ряду»,— и тут же бросил в окошко три рубля — весь свой наличный капитал. Кассир выдал ему билет — и вечером Нежданов очутился в аристократическом отделении Александринского театра.

Он был плохо одет, без перчаток, в нечищенных сапогах, чувствовал себя смущенным и досадовал на себя за

самое это чувство. Возле него, с правой стороны, сидел усеянный звездами генерал; с левой — тот самый изящный мужчина, тайный советник Сипягин, появление которого два дня спустя так взволновало Машурину и Остродумова. Генерал изредка взглядывал на Нежданова, как на нечто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное; Сипягин, напротив, бросал на него хотя косвенные, но не враждебные взоры. Все лица, окружавшие Нежданова, казались, во-первых, более особами, нежели лицами; во-вторых, они все очень хорошо знали друг друга и менялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаниями и приветами — иные опять-таки через голову Нежданова; а он сидел неподвижно и неловко в своем широком, покойном кресле, точно пария какой. Горько, и стыдно, и скверно было у него на душе; мало наслаждался он комедией Островского и игрою Садовского. И вдруг — о, чудо! — во время одного антракта сосед его с левой стороны — не звездоносный генерал, а другой, без всякого знака отличия на груди,— заговорил с ним учтиво и мягко, с какой-то заискивавшей снисходительностью. Он заговорил о пьесе Островского, желая узнать от Нежданова как от «одного из представителей молодого поколения», какое было его мнение о ней? Изумленный, чуть не испуганный, Нежданов отвечал сперва отрывисто и односложно... даже сердце у него застучало; но потом ему стало досадно на себя: с чего это он волнуется? Не такой же ли он человек, как все? И он пустился излагать свое мнение, не стесняясь, без утайки, под конец даже так громко и с таким увлечением, что явно обеспокоивал соседа-звездоносца. Нежданов был горячим поклонником Островского; но при всем уважении к таланту, выказанному автором в комедии «Не в свои сани не садись», не мог одобрить в ней явное желание унизить цивилизацию в карикатурном лице Вихорева. Учтивый сосед слушал его с большим вниманием, с участием — и в следующий антракт заговорил с ним опять, но уже не о комедии Островского, а вообще о разных житейских, научных и даже политических предметах. Он, очевидно, интересовался своим молодым и красноречивым собеседником. Нежданов попрежнему не только не стеснялся, но даже несколько наддавал, как говорится, па́ру. «Коли, мол, любопытствуешь— так на же вот!» В соседе-генерале он возбуждал уже не простое беспокойство, а негодование и подозрительность. По окончании пьесы Сипягин весьма благосклонно рас-

простился с Неждановым — но не пожелал узнать его фамилию и сам не назвал себя. Дожидаясь кареты на лестнице, он столкнулся с хорошим своим приятелем, флигель-адъютантом князем Г.— Я смотрел на тебя из ложи,— сказал ему князь, посмеиваясь сквозь раздушенные усы,— знаешь ли ты, с кем ты это беседовал? — Нет, не знаю; а ты? — Неглупый небось малый, а? — Очень неглупый; кто он такой? — Тут князь наклонился ему на ухо и шепнул по-французски: — Мой брат. Да; он мой брат. Побочный сын моего отца... зовут его Неждановым. Я тебе когда-нибудь расскажу... Отец никак этого не ожидал — оттого он и Неждановым его прозвал. Однако устроил его судьбу... il lui a fait un sort... Мы выдаем ему пенсию. Малый с головой... получил, опять-таки по милости отца, хорошее воспитание. Только совсем с толку сбился, республиканец какой-то... Мы его не принимаем... Il est impossible![1] Однако прощай; мою карету кричат.— Князь удалился, а на следующий день Сипягин прочел в «Полицейских ведомостях» объявление, помещенное Неждановым, и поехал к нему...

— Моя фамилия — Сипягин,— говорил он Нежданову, сидя перед ним на соломенном стуле и озаряя его своим внушительным взглядом,— я узнал из газет, что вы желаете ехать на кондицию, и я пришел к вам с следующим предложением. Я женат; у меня один сын — девяти лет; мальчик, скажу прямо, очень даровитый. Большую часть лета и осени мы проводим в деревне, в С...ой губернии, в пяти верстах от губернского города. Так вот: не угодно ли вам будет ехать туда с нами на время вакации, учить моего сына российскому языку и истории — тем предметам, о которых вы упоминаете в вашем объявлении? Смею думать, что вы останетесь довольны мною, моим семейством и самым местоположением усадьбы. Прекрасный сад, река, воздух хороший, поместительный дом... Согласны вы? В таком случае остается только узнать ваши условия, хотя я не полагаю,— прибавил Сипягин с легкой ужимкой,— чтобы на этот счет могли возникнуть у нас с вами какие-либо затруднения.

Во всё время, пока Сипягин говорил, Нежданов неотступно глядел на него, на его небольшую, несколько назад закинутую головку, на его узкий и низкий, но умный лоб, тонкий римский нос, приятные глаза, правильные

---

[1] Он невозможен! *(франц.)*.

губы, с которых так и лилась умильная речь, на его длинные, на английский манер висячие бакены — глядел и недоумевал. «Что это такое? — думал он.— Зачем этот человек словно заискивает во мне? Этот аристократ — и я?! Как мы сошлись? И что его привело ко мне?»

Он до того погрузился в свои думы, что не разинул рта даже тогда, когда Сипягин, окончив свою речь, умолк, ожидая ответа. Сипягин скользнул взглядом в угол, где, пожирая его глазами не хуже Нежданова, приютился Паклин. «Уж не присутствие ли этого третьего лица мешало Нежданову высказаться?» Сипягин возвел брови горé, как бы подчиняясь странности той обстановки, в которую попал, по собственной, впрочем, воле,— и, вслед за бровями возвысив голос, повторил свой вопрос.

Нежданов встрепенулся.

— Конечно,— заговорил он несколько уторопленным образом,— я... согласен... с охотой... хотя я должен признаться... что не могу не чувствовать некоторого удивления... так как у меня нет никакой рекомендации... да и самые мнения, которые я высказал третьего дня в театре, должны были скорей отклонить вас...

— В этом вы совершенно ошибаетесь, любезный Алексей... Алексей Дмитрич! так, кажется? — промолвил, осклабясь, Сипягин.— Я, смею сказать, известен как человек убеждений либеральных, прогрессивных; и напротив, ваши мнения, за устранением всего того, что в них свойственно молодости, склонной — не взыщите! — к некоторому преувеличению, эти ваши мнения нисколько не противоречат моим — и даже нравятся мне своим юношеским жаром!

Сипягин говорил без малейшей запинки: как мед по маслу, катилась его круглая, плавная речь.

— Жена моя разделяет мой образ мыслей,— продолжал он,— ее воззрения, быть может, даже ближе подходят к вашим, чем к моим; понятное дело: она моложе! Когда на другой день после нашего свидания я прочел в газетах ваше имя, которое вы, замечу кстати, против общего обыкновения опубликовали вместе с вашим адресом (а узнал я ваше имя уже в театре), то... это... этот факт меня поразил. Я увидал в нем — в этом сопоставлении — некий... извините суеверность выражения... некий, так сказать, перст рока! Вы упомянули о рекомендации; но мне никакой рекомендации не нужно. Ваша наружность, ваша личность возбуждают мою симпатию. Сего мне довольно.

Я привык верить своему глазу. Итак — я могу надеяться? Вы согласны?

— Согласен... конечно...— отвечал Нежданов,—и постараюсь оправдать ваше доверие. Только об одном позвольте мне теперь же вас предуведомить: быть учителем вашего сына я готов, но не гувернером. Я на это не способен — да и не хочу закабалиться, не хочу лишиться моей свободы.

Сипягин легонько повел по воздуху рукою, как бы отгоняя муху.

— Будьте спокойны, мой любезнейший... Вы не из той мукѝ, из которой пекутся гувернеры; да мне гувернера и не нужно. Я ищу учителя — и нашел его. Ну, а как же условия? Денежные условия? презренный металл?

Нежданов затруднялся, что сказать...

— Послушайте,— промолвил Сипягин, нагнувшись вперед всем корпусом и ласково тронув концами пальцев колено Нежданова,— между порядочными людьми подобные вопросы разрешаются двумя словами. Предлагаю вам сто рублей в месяц; путевые издержки туда и назад, конечно, на мой счет. Вы согласны?

Нежданов опять покраснел.

— Это гораздо больше, чем я намерен был запросить... потому что... я...

— Прекрасно, прекрасно...— перебил Сипягин.— Я смотрю на это дело как на решенное... а на вас — как на домочадца.— Он приподнялся со стула и вдруг весь повеселел и распустился, словно подарок получил. Во всех его движениях проявилась некоторая приятная фамильярность и даже шутливость.— Мы уезжаем на днях,— заговорил он развязным тоном,— я люблю встречать весну в деревне, хотя я, по роду своих занятий, прозаический человек и прикован к городу... А потому позвольте считать первый ваш месяц начиная с нынешнего же дня. Жена моя с сыном теперь уже в Москве. Она отправилась вперед. Мы их найдем в деревне... на лоне природы. Мы с вами поедем вместе... холостяками... Хе, хе! — Сипягин кокетливо и коротко посмеялся в нос.— А теперь...

Он достал из кармана пальто серебряный с чернью портфельчик и вынул оттуда карточку.

— Вот мой здешний адрес. Зайдите — хоть завтра. Так... часов в двенадцать. Мы еще потолкуем. Я разовью вам кое-какие свои мысли насчет воспитания... Ну — и день отъезда мы решим.— Сипягин взял руку Нежда-

ва.— И знаете что? — прибавил он, понизив голос и искоса поставив голову.— Если вы нуждаетесь в задатке... Пожалуйста, не церемоньтесь! Хоть месяц вперед!

Нежданов просто не знал, что отвечать,— и с тем же недоуменьем глядел на это светлое, приветное — и в то же время столь чуждое лицо, которое так близко на него надвинулось и так снисходительно улыбалось ему.

— Не нуждаетесь? а? — шепнул Сипягин.

— Я, если позволите, вам это завтра скажу,— произнес наконец Нежданов.

— Отлично! Итак — до свиданья! До завтра! — Сипягин выпустил руку Нежданова и хотел было удалиться...

— Позвольте вас спросить,— промолвил вдруг Нежданов,— вы вот сейчас сказали мне, что уже в театре узнали, как меня зовут. От кого вы это узнали?

— От кого? Да от одного вашего хорошего знакомого и, кажется, родственника, князя... князя Г.

— Флигель-адъютанта?

— Да; от него.

Нежданов покраснел — сильнее прежнего — и раскрыл рот... но ничего не сказал. Сипягин снова пожал ему руку, только молча на этот раз — и, поклонившись сперва ему, а потом Паклину, надел шляпу перед самой дверью и вышел вон, унося на лице своем самодовольную улыбку; в ней выражалось сознание глубокого впечатления, которое не мог не произвести его визит.

IV

Не успел Сипягин перешагнуть порог двери, как Паклин соскочил со стула и, бросившись к Нежданову, принялся его поздравлять.

— Вот какого ты осетра залучил! — твердил он, хихикая и топоча ногами.— Ведь это ты знаешь ли кто? Известный Сипягин, камергер, в некотором роде общественный столп, будущий министр!

— Мне он совершенно неизвестен,— угрюмо промолвил Нежданов.

Паклин отчаянно взмахнул руками.

— В том-то и наша беда, Алексей Дмитрич, что мы никого не знаем! Хотим действовать, хотим целый мир кверху дном перевернуть, а живем в стороне от самого этого мира, водимся только с двумя-тремя приятелями, толчемся на месте, в узеньком кружке...

— Извини,— перебил Нежданов,— это неправда. Мы только с врагами нашими знаться не хотим, а с людьми нашего пошиба, с народом, мы вступаем в постоянные сношения.

— Стой, стой, стой, стой! — в свою очередь перебил Паклин.— Во-первых, что касается врагов, то позволь тебе припомнить стих Гёте:

Wer den Dichter will versteh'n,
Muss in Dichter's Lande geh'n...[1]

а я говорю:

Wer die *Feinde* will versteh'n,
Muss in *Feindes* Lande geh'n...[2]

Чуждаться врагов своих, не знать их обычая и быта — нелепо! Не...ле...по!.. Да! да! Коли я хочу подстрелить волка в лесу — я должен знать все его лазы... Во-вторых, ты вот сейчас сказал: сближаться с народом... Душа моя! В 1862 году поляки уходили «до лясу» — в лес; и мы уходим теперь в тот же лес, сиречь в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса!

— Так что ж, по-твоему, делать?

— Индийцы бросаются под колесницу Джаггернаута,— продолжал Паклин мрачно,— она их давит, и они умирают — в блаженстве. У нас есть тоже свой Джаггернаут... Давить-то он нас давит, но блаженства не доставляет.

— Так что ж, по-твоему, делать? — повторил чуть не с криком Нежданов.— Повести с «направлением» писать, что ли?

Паклин расставил руки и наклонил головку к левому плечу.

— Повести — во всяком случае — писать ты бы мог, так как в тебе есть литературная жилка... Ну, не сердись, не буду! Я знаю, ты не любишь, чтобы на это намекали; но я с тобою согласен: сочинять этакие штучки с «начинкой», да еще с новомодными оборотами: «Ах! я вас люблю! — *подскочила* она...», «Мне всё равно! — *почесался*

[1] Кто хочет понять поэта, должен побывать в его стране... *(нем.)*.

[2] Кто хочет понять врага, должен побывать в его стране... *(нем.)*.

он» — дело куда невеселое! Оттого-то я и повторяю: сближайтесь со всеми сословиями, начиная с высшего! Не всё же полагаться на одних Остродумовых! Честные они, хорошие люди — зато глупы! глупы!! Ты посмотри на нашего приятеля. Самые подошвы от сапогов — и те не такие, какие бывают у умных людей! Ведь отчего он сейчас ушел отсюда? Он не хотел остаться в одной комнате, дышать одним воздухом с аристократом!

— Прошу тебя не отзываться так об Остродумове при мне,— с запальчивостью подхватил Нежданов.— Сапоги он носит толстые, потому что они дешевле.

— Я не в том смысле,— начал было Паклин...

— Если он не хочет остаться в одной комнате с аристократом,— продолжал, возвысив тон, Нежданов,— то я его хвалю за это; а главное: он собой пожертвовать сумеет — и, если нужно, на смерть пойдет, чего мы с тобой никогда не сделаем!

Паклин скорчил жалкую рожицу и указал на хроменькие, тоненькие свои ножки.

— Где же мне сражаться, друг мой, Алексей Дмитрич! Помилуй! Но в сторону всё это... Повторяю: я душевно рад твоему сближению с г-м Сипягиным и даже предвижу большую пользу от этого сближения — для нашего дела. Ты попадешь в высший круг! Увидишь этих львиц, этих женщин с бархатным телом на стальных пружинах, как сказано в «Письмах об Испании»; изучай их, брат, изучай! Если б ты был эпикурейцем, я бы даже боялся за тебя... право! Но ведь ты не с этой целью едешь на кондицию!

— Я еду на кондицию,— подхватил Нежданов,— чтобы зубов не положить на полку... «И чтоб от вас всех на время удалиться»,— прибавил он про себя.

— Ну, конечно! конечно! Потому я и говорю тебе: изучай! Какой, однако, запах за собою этот барин оставил! — Паклин потянул воздух носом.— Вот оно, настоящее-то «амбрэ», о котором мечтала городничиха в «Ревизоре»!

— Он обо мне князя Г. расспрашивал,— глухо заговорил Нежданов, снова уткнувшись в окно,— ему, должно быть, теперь вся моя история известна.

— Не должно быть, а наверное! Что ж такое? Пари держу, что ему именно от этого и пришла в голову мысль взять тебя в учители. Что там ни толкуй, а ведь ты сам аристократ — по крови. Ну и значит свой человек! Однако

я у тебя засиделся; мне пора в мою контору, к эксплуататорам! До свидания, брат!

Паклин подошел было к двери, но остановился и вернулся.

— Послушай, Алеша,— сказал он вкрадчивым тоном,— ты мне вот сейчас отказал — у тебя теперь деньги будут, я знаю, но все-таки позволь мне пожертвовать хотя малость на общее дело! Ничем другим не могу, так хоть карманом! Смотри: я кладу на стол десятирублевую бумажку! Принимается?

Нежданов ничего не отвечал и не пошевельнулся.

— Молчание — знак согласия! Спасибо! — весело воскликнул Паклин и исчез.

Нежданов остался один... Он продолжал глядеть через стекло окна на сумрачный узкий двор, куда не западали лучи даже летнего солнца, и сумрачно было и его лицо.

Нежданов родился, как мы уже знаем, от князя Г., богача, генерал-адъютанта, и от гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей в самый день родов. Первоначальное воспитание Нежданов получил в пансионе одного швейцарца, дельного и строгого педагога,— а потом поступил в университет. Сам он желал сделаться юристом; но генерал, отец его, ненавидевший нигилистов, пустил его «по эстетике», как с горькой усмешкой выражался Нежданов, то есть по историко-филологическому факультету. Отец Нежданова виделся с ним всего три-четыре раза в год, но интересовался его судьбою и, умирая, завещал ему — «в память Настеньки» (его матери) — капитал в 6000 рублей серебром, проценты с которого, под именем «пенсии», выдавались ему его братьями, князьями Г. Паклин недаром обзывал его аристократом; всё в нем изобличало породу: маленькие уши, руки, ноги, несколько мелкие, но тонкие черты лица, нежная кожа, пушистые волосы, самый голос, слегка картавый, но приятный. Он был ужасно нервен, ужасно самолюбив, впечатлителен и даже капризен; фальшивое положение, в которое он был поставлен с самого детства, развило в нем обидчивость и раздражительность; но прирожденное великодушие не давало ему сделаться подозрительным и недоверчивым. Тем же самым фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе. Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, он силился быть циничным и грубым на словах; идеалист по натуре, страстный и целомудренный, смелый и робкий

в одно и то же время, он, как позорного порока, стыдился и этой робости своей и своего целомудрия и считал долгом смеяться над идеалами. Сердце он имел нежное и чуждался людей; легко озлоблялся — и никогда не помнил зла. Он негодовал на своего отца за то, что тот пустил его «по эстетике»; он явно, на виду у всех, занимался одними политическими и социальными вопросами, исповедовал самые крайние мнения (в нем они не были фразой!) — и втайне наслаждался художеством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях... даже сам писал стихи. Он тщательно прятал тетрадку, в которую он заносил их, и из петербургских друзей только Паклин, и то по свойственному ему чутью, подозревал ее существование. Ничто так не обижало, не оскорбляло Нежданова, как малейший намек на его стихотворство, на эту его, как он полагал, непростительную слабость. По милости воспитателя швейцарца, он знал довольно много фактов и не боялся труда; он даже охотно работал — несколько, правда, лихорадочно и непоследовательно. Товарищи его любили... их привлекала его внутренняя правдивость, и доброта, и чистота; но не под счастливой звездою родился Нежданов; нелегко ему жилось. Он сам глубоко это чувствовал — и сознавал себя одиноким, несмотря на привязанность друзей.

Он продолжал стоять перед окном — и думал, грустно и тяжко думал о предстоявшей ему поездке, об этом новом, неожиданном повороте его судьбы... Он не жалел о Петербурге; он не оставлял в нем ничего особенно ему дорогого; притом же он знал, что вернется к осени. А все-таки раздумье его брало: он ощущал невольную унылость.

«Какой я учитель! — приходило ему в голову,— какой педагог?!» Он готов был упрекнуть себя в том, что принял обязанность преподавателя. А между тем подобный упрек был бы несправедлив. Нежданов обладал достаточными сведениями — и, несмотря на его неровный нрав, дети шли к нему без припужденья и он сам легко привязывался к ним. Грусть, овладевшая Неждановым, была то чувство, присущее всякой перемене местопребывания, чувство, которое испытывают все меланхолики, все задумчивые люди; людям характера бойкого, сангвинического, оно незнакомо: они скорей готовы радоваться, когда нарушается повседневный ход жизни, когда меняется ее обычная обстановка. Нежданов до того углубился в свои думы, что понемногу, почти бессознательно, начал их передавать

«НОВЬ».

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЗАМЕТКИ О ЗАМЫСЛЕ РОМАНА, 1870 г.

Национальная библиотека, Париж.

словами; бродившие в нем ощущения уже складывались в мерные созвучия...

— Фу ты, чёрт! — воскликнул он громко,— я, кажется, собираюсь стихи сочинять! — Он встрепенулся, отошел от окна; увидав лежащую на столе десятирублевую бумажку Паклина, сунул ее в карман и принялся расхаживать по комнате.

— Надо будет взять задаток,— размышлял он сам с собою,— благо этот барин предлагает. Сто рублей... да у братьев — у их сиятельств — сто рублей... Пятьдесят на долги, пятьдесят или семьдесят на дорогу... а остальные Остродумову. Да вот, что Паклин дал,— тоже ему... Да еще с Меркулова надо будет что-нибудь получить...

Пока он вел в голове эти расчеты — прежние созвучия опять зашевелились в нем. Он остановился, задумался... и, устремив глаза в сторону, замер на месте... Потом руки его, как бы ощупью, отыскали и открыли ящик стола, достали из самой его глубины исписанную тетрадку...

Он опустился на стул, всё не меняя направления взгляда, взял перо и, мурлыча себе под нос, изредка взмахивая волосами, перечеркивая, марая, принялся выводить строку за строкою...

Дверь в переднюю отворилась наполовину — и показалась голова Машуриной. Нежданов не заметил ее и продолжал свою работу. Машурина долго, пристально посмотрела на него — и, направо и налево покачав головою, подалась назад... Но Нежданов вдруг выпрямился, оглянулся и, промолвив с досадой:

— А! Вы! — швырнул тетрадку в ящик стола.

Тогда Машурина твердой поступью вошла в комнату.

— Остродумов прислал меня к вам,— проговорила она с расстановкой,— за тем, чтобы узнать, когда можно будет получить деньги.— Если вы сегодня достанете, так мы сегодня же вечером уедем.

— Сегодня нельзя,— возразил Нежданов и нахмурил брови,— приходите завтра.

— В котором часу?

— В два часа.

— Хорошо.

Машурина помолчала немного и вдруг протянула руку Нежданову...

— Я, кажется, вам помешала; извините меня. Да притом... я вот уезжаю. Кто знает, увидимся ли мы? Я хотела проститься с вами.

Нежданов пожал ее красные холодные пальцы.

— Вы видели у меня этого господина? — начал он.— Мы с ним условились. Я еду к нему на кондицию. Его имение в С...ой губернии, возле самого С *.

По лицу Машуриной мелькнула радостная улыбка.

— Возле С *! Так мы, может быть, еще увидимся. Может быть, нас туда пошлют.— Машурина вздохнула.— Ах, Алексей Дмитрич...

— Что? — спросил Нежданов.

Машурина приняла сосредоточенный вид.

— Ничего. Прощайте! Ничего.

Она еще раз стиснула Нежданову руку и удалилась.

«А во всем Петербурге никто ко мне так не привязан, как эта... чудачка! — подумалось Нежданову.— Но нужно ж ей было мне помешать... Впрочем, всё к лучшему!»

Утром следующего дня Нежданов отправился на городскую квартиру Сипягина, и там, в великолепном кабинете, наполненном мебелью строгого стиля, вполне сообразной с достоинством либерального государственного мужа и джентльмена, сидя перед громадным бюро, на котором в стройном порядке лежали никому и ни на что не нужные бумаги, рядом с исполинскими ножами из слоновой кости, никогда ничего не разрезывавшими,— он в течение целого часа выслушивал свободомыслящего хозяина, обдавался елеем его мудрых, благосклонных, снисходительных речей, получил наконец сто рублей задатка, а десять дней спустя тот же Нежданов, полулежа на бархатном диване в особом отделении первоклассного вагона, о бок с тем же мудрым, либеральным государственным мужем и джентльменом, мчался в Москву по тряским рельсам Николаевской дороги.

V

В гостиной большого каменного дома с колоннами и греческим фронтоном, построенного в двадцатых годах нынешнего столетия известным агрономом и «дантистом» — отцом Сипягина, жена его, Валентина Михайловна, очень красивая дама, ждала с часу на час прибытия мужа, возвещенного телеграммой. Убранство гостиной носило отпечаток новейшего, деликатного вкуса: всё в ней было мило и приветно, всё, от приятной пестроты кретонных обоев и драпри до разнообразных очертаний фарфоровых, бронзовых, хрустальных безделушек, рассыпанных по этажеркам и столам, всё мягко и стройно выдавалось — и слива-

лось — в веселых лучах майского дня, свободно струившихся сквозь высокие, настежь раскрытые окна. Воздух гостиной, напоенный запахом ландышей (большие букеты этих чудесных весенних цветов белели там и сям), по временам едва колыхался, возмущенный приливом легкого ветра, тихо кружившего над пышно раскинутым садом.

Прелестная картина! И сама хозяйка дома, Валентина Михайловна Сипягина, довершала эту картину, придавала ей смысл и жизнь. Это была высокого росту женщина, лет тридцати, с темно-русыми волосами, смуглым, но свежим, одноцветным лицом, напоминавшим облик Сикстинской Мадонны, с удивительными, глубокими, бархатными глазами. Ее губы были немножко широки и бледны, плечи немного высоки, руки немного велики... Но за всем тем всякий, кто бы увидал, как она свободно и грациозно двигалась по гостиной, то наклоняя к цветам свой тонкий, едва перетянутый стан и с улыбкой нюхая их, то переставляя какую-нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя перед зеркалом свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза,— всякий, говорим мы, наверное, воскликнул бы про себя или даже громко, что он не встречал более пленительного создания!

Хорошенький кудрявый мальчик лет девяти, в шотландском костюме, с голыми ножками, сильно напомаженный и завитой, вбежал стремительно в гостиную и внезапно остановился при виде Валентины Михайловны.

— Что тебе, Коля? — спросила она. Голос у ней был такой же мягкий и бархатный, как и глаза.

— Вот что, мама,— начал с замешательством мальчик,— меня тетушка прислала сюда... велела принести ландышей... для ее комнаты... у нее нету...

Валентина Михайловна взяла своего сынишку за подбородок и приподняла его напомаженную головку.

— Скажи тетушке, чтобы она послала за ландышами к садовнику; а эти ландыши — мои... Я не хочу, чтобы их трогали. Скажи ей, что я не люблю, чтобы нарушались мои порядки. Сумеешь ли ты повторить мои слова?

— Сумею...— прошептал мальчик.

— Ну-ка скажи.

— Я скажу... я скажу... что ты не хочешь.

Валентина Михайловна засмеялась. И смех у нее был мягкий.

— Я вижу, тебе еще нельзя давать никаких поручений. Ну, всё равно, скажи, что вздумается.

Мальчик быстро поцеловал руку матери, всю украшенную кольцами, и стремглав бросился вон.

Валентина Михайловна проводила его глазами, вздохнула, подошла к золоченой проволочной клетке, по стенкам которой, осторожно цепляясь клювом и лапками, пробирался зеленый попугайчик, подразнила его концом пальца; потом опустилась на низкий диванчик и, взявши с круглого резного столика последний № «Revue des Deux Mondes», принялась его перелистывать.

Почтительный кашель заставил ее оглянуться. На пороге двери стоял благообразный слуга в ливрейном фраке и белом галстуке.

— Чего тебе, Агафон? — спросила Валентина Михайловна всё тем же мягким голосом.

— Семен Петрович Калломейцев приехали-с. Прикажете принять?

— Проси; разумеется, проси. Да вели сказать Марианне Викентьевне, чтобы она пожаловала в гостиную.

Валентина Михайловна бросила на столик № «Revue des Deux Mondes» и, прислонившись к спинке дивана, подняла глаза кверху и задумалась, что очень к ней шло.

Уже по тому, как Семен Петрович Калломейцев, молодой мужчина лет тридцати двух, вошел в комнату — развязно, небрежно и томно; как он вдруг приятно просветлел, как поклонился немного вбок и как эластически выпрямился потом; как заговорил не то в нос, не то слащаво; как почтительно взял, как внушительно поцеловал руку Валентины Михайловны — уже по всему этому можно было догадаться, что новоприбывший гость не был житель провинции, не деревенский, случайный, хоть и богатый сосед, а настоящий петербургский «гранжанр» высшего полета. К тому же и одет он был на самый лучший английский манер: цветной кончик белого батистового платка торчал маленьким треугольником из плоского бокового кармана пестренькой жакетки; на довольно широкой черной ленточке болталась одноглазая лорнетка; бледноматовый тон шведских перчаток соответствовал бледносерому колеру клетчатых панталон. Острижен был г-н Калломейцев коротко, выбрит гладко; лицо его, несколько женоподобное, с небольшими, близко друг к другу поставленными глазками, с тонким вогнутым носом, с пухлыми красными губками, выражало приятную вольность высокообразованного дворянина. Оно дышало приветом... и весьма легко становилось злым, даже грубым: стоило

кому-нибудь, чем-нибудь задеть Семена Петровича, задеть его консерваторские, патриотические и религиозные принципы — о! тогда он делался безжалостным! Всё его изящество испарялось мгновенно; нежные глазки зажигались недобрым огоньком; красивый ротик выпускал некрасивые слова — и взывал, с писком взывал к начальству!

Фамилия Семена Петровича происходила от простых огородников. Прадед его назывался по месту происхождения: Коломенцов... Но уже дед его переименовал себя в Коломейцева; отец писал: Калломейцев, наконец Семен Петрович поставил букву *ѣ* на место *е* — и, не шутя, считал себя чистокровным аристократом; даже намекал на то, что их фамилия происходит собственно от баронов фон-Галленмейер, из коих один был австрийским фельдмаршалом в Тридцатилетнюю войну. Семен Петрович служил в министерстве двора, имел звание камер-юнкера; патриотизм помешал ему пойти по дипломатической части, куда, казалось, всё его призывало: и воспитание, и привычка к свету, и успехи у женщин, и самая наружность... mais quitter la Russie? — jamais! [1] У Калломейцева было хорошее состояние, были связи; он слыл за человека надежного и преданного — «un peu trop... féodal dans ses opinions» [2],— как выражался о нем известный князь Б., одно из светил петербургского чиновничьего мира. В С...ю губернию Калломейцев приехал на двухмесячный отпуск, чтобы хозяйством позаняться, то есть «кого пугнуть, кого поприжать». Ведь без этого невозможно!

— Я полагал, что найду уже здесь Бориса Андреича,— начал он, любезно покачиваясь с ноги на ногу и внезапно глядя вбок, в подражание одному очень важному лицу.

Валентина Михайловна слегка прищурилась.

— А то бы вы не приехали?

Калломейцев даже назад запрокинулся, до того вопрос г-жи Сипягиной показался ему несправедливым и ни с чем не сообразным!

— Валентина Михайловна! — воскликнул он,— помилуйте, возможно ли предполагать...

— Ну, хорошо, хорошо, садитесь, Борис Андреич сейчас здесь будет. Я за ним послала коляску на станцию. Подождите немного... Вы увидите его. Который теперь час?

---

[1] но покинуть Россию? — никогда! *(франц.)*.
[2] немного слишком... феодального по своим взглядам *(франц.)*.

— Половина третьего,— промолвил Калломейцев, вынув из кармана жилета большие золотые часы, украшенные эмалью. Он показал их Сипягиной.— Вы видели мои часы? Мне их подарил Михаил, знаете... сербский князь... Обренович. Вот его шифр — посмотрите. Мы с ним большие приятели. Вместе охотились. Прекрасный малый! И рука железная, как следует правителю. О, он шутить не любит! Не-хе-хет!

Калломейцев опустился на кресло, скрестил ноги и начал медленно стаскивать свою левую перчатку.

— Вот нам бы здесь, в нашей губернии, такого Михаила!

— А что? Вы разве чем недовольны?

Калломейцев наморщил нос.

— Да всё это земство! Это земство! К чему оно? Только ослабляет администрацию и возбуждает... лишние мысли (Калломейцев поболтал в воздухе обнаженной левой рукой, освобожденной от давления перчатки)... и несбыточные надежды (Калломейцев подул себе на руку). Я говорил об этом в Петербурге... mais, bah![1] Ветер не туда тянет. Даже супруг ваш... представьте! Впрочем, он известный либерал!

Сипягина выпрямилась на диванчике.

— Как? И вы, мсьё Калломейцев, вы делаете оппозицию правительству?

— Я? Оппозицию? Никогда! Ни за что! Mais j'ai mon franc parler[2]. Я иногда критикую, но покоряюсь всегда!

— А я так напротив: не критикую — и не покоряюсь.

— Ah! mais c'est un mot![3] Я, если позволите, сообщу ваше замечание моему другу — Ladislas, vous savez[4], он собирается написать роман из большого света и уже прочел мне несколько глав. Это будет прелесть! Nous aurons enfin le grand monde russe peint par lui-même[5].

— Где это появится?

— Конечно, в «Русском вестнике». Это наша «Revue des Deux Mondes». Я вот вижу, вы ее читаете.

— Да; но, знаете ли, она очень скучна становится.

— Может быть... может быть... И «Русский вестник»,

---

[1] но куда там! *(франц.)*.

[2] Но я говорю то, что думаю *(франц.)*.

[3] О! да это остроумно сказано! *(франц.)*.

[4] Ладисласу — вы знаете *(франц.)*.

[5] Мы наконец будем иметь русский высший свет, изображенный им самим *(франц.)*.

пожалуй, тоже — с некоторых пор, говоря современным языком,— крошечку подгулял.

Калломейцев засмеялся во весь рот; ему показалось, что это очень забавно сказать «подгулял» да еще «крошечку».

— Mais c'est un journal qui se respecte[1],— продолжал он.— А это главное. Я, доложу вам, я... русской литературой интересуюсь мало; в ней теперь всё какие-то разночинцы фигюрируют. Дошли наконец до того, что героиня романа — кухарка, простая кухарка, parole d'honneur![2] Но роман Ладисласа я прочту непременно. Il y aura le petit mot pour rire...[3] и направление! направление! Нигилисты будут посрамлены — в этом мне порукой образ мыслей Ладисласа, qui est très correct[4].

— Но не его прошедшее,— заметила Сипягина.

— Ah! jetons un voile sur les erreurs de sa jeunesse![5] — воскликнул Калломейцев и стащил правую перчатку.

Г-жа Сипягина опять слегка прищурилась. Она немного кокетничала своими удивительными глазами.

— Семен Петрович,— промолвила она,— позвольте вас спросить, зачем вы это, говоря по-русски, употребляете так много французских слов? Мне кажется, что... извините меня... это устарелая манера.

— Зачем? зачем? Не все же так отлично владеют родным наречьем, как, например, вы. Что касается до меня, то я признаю язык российский, язык указов и постановлений правительственных; я дорожу его чистотою! Перед Карамзиным я склоняюсь!.. Но русский, так сказать, ежедневный язык... разве он существует? Ну, например, как бы вы перевели мое восклицание de tout à l'heure: «C'est un mot?!»[6] — Это слово?! Помилуйте!

— Я бы сказала: это — удачное слово.

Калломейцев засмеялся.

— «Удачное слово»! Валентина Михайловна! Да разве вы не чувствуете, что тут... семинарией сейчас запахло... Всякая соль исчезла...

---

[1] Но это уважающий себя журнал *(франц.)*.
[2] честное слово! *(франц.)*.
[3] Там будет и кое-что смешное *(франц.)*.
[4] который безукоризнен *(франц.)*.
[5] Ах, набросим покрывало на заблуждения его юности! *(франц.)*.
[6] мое давешнее восклицание: «Это словечко!» *(франц.)*.

— Ну, вы меня не переубедите. Да что же это Марианна?! — Она позвонила в колокольчик; вошел казачок.

— Я велела попросить Марианну Викентьевну сойти в гостиную. Разве ей не доложили?

Казачок не успел ответить, как за его спиной на пороге двери появилась молодая девушка, в широкой темной блузе, остриженная в кружок, Марианна Викентьевна Синецкая, племянница Сипягина по матери.

VI

— Извините меня, Валентина Михайловна,— сказала она, приблизившись к Сипягиной,— я была занята и замешкалась.

Потом она поклонилась Калломейцеву и, отойдя немного в сторону, села на маленькое патэ, в соседстве попугайчика, который, как только увидел ее, захлопал крыльями и потянулся к ней.

— Зачем же это ты так далеко села, Марианна,— заметила Сипягина, проводив ее глазами до самого патэ.— Тебе хочется быть поближе к твоему маленькому другу? Представьте, Семен Петрович,— обратилась она к Калломейцеву,— попугайчик этот просто влюблен в нашу Марианну...

— Это меня не удивляет!

— А меня терпеть не может.

— Вот это удивительно! Вы его, должно быть, дразните?

— Никогда; напротив. Я его сахаром кормлю. Только он из рук моих ничего не берет. Нет... это симпатия... и антипатия...

Марианна исподлобья глянула на Сипягину... и Сипягина глянула на нее.

Эти две женщины не любили друг друга.

В сравнении с теткой Марианна могла казаться почти «дурнушкой». Лицо она имела круглое, нос большой, орлиный, серые, тоже большие и очень светлые глаза, тонкие брови, тонкие губы. Она стригла свои русые густые волосы и смотрела букой. Но от всего ее существа веяло чем-то сильным и смелым, чем-то стремительным и страстным. Ноги и руки у ней были крошечные; ее крепко и гибко сложенное маленькое тело напоминало флорентийские статуэтки XVI века; двигалась она стройно и легко.

Положение Синецкой в доме Сипягиных было довольно

тяжелое. Ее отец, очень умный и бойкий человек полупольского происхождения, дослужился генеральского чина, но сорвался вдруг, уличенный в громадной казенной краже; его судили... осудили, лишили чинов, дворянства, сослали в Сибирь. Потом простили... вернули; но он не успел выкарабкаться вновь и умер в крайней бедности. Его жена, родная сестра Сипягина, мать Марианны (кроме ее, у нее не было детей), не перенесла удара, разгромившего всё ее благосостояние, и умерла вскоре после мужа. Дядя Сипягин приютил Марианну у себя в доме. Но жить в зависимости было ей тошно; она рвалась на волю всеми силами неподатливой души — и между ее теткою и ею кипела постоянная, хотя скрытая борьба. Сипягина считала ее нигилисткой и безбожницей; с своей стороны, Марианна ненавидела в Сипягиной свою невольную притеснительницу. Дяди она чуждалась, как и всех других людей. Она именно чуждалась их, а не боялась; нрав у нее был не робкий.

— Антипатия,— повторил Калломейцев,— да, это странная вещь. Всем, например, известно, что я глубоко религиозный человек, православный в полном смысле слова; а поповскую косичку, пучок — видеть не могу равнодушно: так и закипает во мне что-то, так и закипает!

Калломейцев при этом даже представил, поднявши раза два сжатую руку, как у него в груди закипает.

— Вас вообще волосы беспокоят, Семен Петрович,— заметила Марианна,— я уверена, что вы тоже не можете видеть равнодушно, если у кого они острижены, как у меня.

Сипягина медленно приподняла брови и преклонила голову, как бы удивляясь той развязности, с которой нынешние молодые девушки вступают в разговор, а Калломейцев снисходительно осклабился.

— Конечно,— промолвил он,— я не могу не сожалеть о тех прекрасных кудрях, подобных вашим, Марианна Викентьевна, которые падают под безжалостным лезвием ножниц; но антипатии во мне нет; и во всяком случае... ваш пример мог бы меня... меня... конвертировать! [1]

Калломейцев не нашел русского слова, а по-французски не хотел говорить после замечания хозяйки.

— Слава богу, Марианна у меня еще очков не носит,—

---

[1] **обратить в новую веру** (*от франц.* convertir).

вмешалась Сипягина,— и с воротничками и с рукавчиками пока еще не рассталась; зато естественными науками, к искреннему моему сожалению, занимается; и женским вопросом интересуется тоже... Не правда ли, Марианна?

Всё это было сказано с целью смутить Марианну; но она не смутилась.

— Да, тетушка,— отвечала она,— я читаю всё, что об этом написано; я стараюсь понять, в чем состоит этот вопрос.

— Что значит молодость! — обратилась Сипягина к Калломейцеву,— вот мы с вами уже этим не занимаемся, а?

Калломейцев сочувственно улыбнулся: надо ж было поддержать веселую шутку любезной дамы.

— Марианна Викентьевна,— начал он,— исполнена еще тем идеализмом... тем романтизмом юности... который... со временем...

— Впрочем, я клевещу на себя,— перебила его Сипягина,— вопросы эти меня интересуют тоже. Я ведь не совсем еще состарилась.

— И я всем этим интересуюсь,— поспешно воскликнул Калломейцев,— только я запретил бы об этом говорить!

— Запретили бы об этом говорить? — переспросила Марианна.

— Да! Я бы сказал публике: интересоваться не мешаю... но говорить... тссс! — Он поднес палец к губам.— Во всяком случае *печатно* говорить запретил бы! безусловно!

Сипягина засмеялась.

— Что ж? по-вашему, не комиссию ли назначить при министерстве для разрешения этого вопроса?

— А хоть бы и комиссию. Вы думаете, мы бы разрешили этот вопрос хуже, чем все эти голодные щелкоперы, которые дальше своего носа ничего не видят и воображают, что они... первые гении? Мы бы назначили Бориса Андреевича председателем.

Сипягина еще пуще засмеялась.

— Смотрите, берегитесь; Борис Андреич иногда таким бывает якобинцем...

— Жакó, жакó, жакó.— затрещал попугай.

Валентина Михайловна махнула на него платком.

— Не мешай умным людям разговаривать!.. Марианна, уйми его.

Марианна обернулась к клетке и принялась чесать ногтем попугайчика по шее, которую тот ей тотчас подставил.

— Да,— продолжала Сипягина,— Борис Андреич иногда меня самое удивляет. В нем есть жилка... жилка... трибуна.

— C'est parce qu'il est orateur! [1] — сгоряча подхватил по-французски Калломейцев.— Ваш муж обладает даром слова, как никто, ну, и блестеть привык... ses propres paroles le grisent... [2], а к тому же и желание популярности... Впрочем, он теперь несколько рассержен, не правда ли? Il boude? Eh? [3]

Сипягина повела глазами на Марианну.

— Я ничего не заметила,— промолвила она после небольшого молчания.

— Да,— продолжал задумчивым тоном Калломейцев,— его немножко обошли на Святой.

Сипягина опять указала ему глазами на Марианну.

Калломейцев улыбнулся и прищурился: «Я, мол, понял».

— Марианна Викентьевна! — воскликнул он вдруг, без нужды громко,— вы в нынешнем году опять намерены давать уроки в школе?

Марианна отвернулась от клетки.

— И *это* вас интересует, Семен Петрович?

— Конечно; очень даже интересует.

— Вы бы *этого* не запретили?

— Нигилистам запретил бы даже думать о школах; а под руководством духовенства — и с надзором за духовенством — сам бы заводил!

— Вот как! А я не знаю, что буду делать в нынешнем году. В прошлом всё так дурно шло. Да и какая школа летом!

Когда Марианна говорила, она постепенно краснела, как будто ее речь ей стоила усилия, как будто она заставляла себя ее продолжать. Много еще в ней было самолюбия.

— Ты не довольно подготовлена? — спросила Сипягина с ироническим трепетанием в голосе.

— Может быть.

— Как! — снова воскликнул Калломейцев.— Что я

---

[1] Это потому, что он оратор! *(франц.)*.
[2] его собственные слова его опьяняют... *(франц.)*.
[3] Он дуется? А? *(франц.)*.

слышу!! О боги! Для того, чтобы учить крестьянских девочек азбуке,— нужна подготовка?

Но в эту минуту в гостиную с криком: «Мама, мама! папá едет!» — вбежал Коля, а вслед за ним, переваливаясь на толстых ножках, появилась седовласая дама в чепце и желтой шали и тоже объявила, что Боренька сейчас будет!

Эта дама была тетка Сипягина, Анна Захаровна по имени. Все находившиеся в гостиной лица повскакали с своих мест и устремились в переднюю, а оттуда спустились по лестнице на главное крыльцо. Длинная аллея стриженых елок вела от большой дороги прямо к этому крыльцу; по ней уже скакала коляска, запряженная четверней. Валентина Михайловна, стоявшая впереди всех, замахала платком, Коля запищал пронзительно; кучер лихо осадил разгоряченных лошадей, лакей слетел кубарем с козел да чуть не вырвал дверец коляски вместе с петлями и замком — и вот, с снисходительной улыбкой на устах, в глазах, на всем лице, одним ловким движением плеч сбросив с себя шинель, Борис Андреевич спустился на землю. Валентина Михайловна красиво и быстро вскинула ему обе руки вокруг шеи — и трижды с ним поцеловалась. Коля топотал ногами и дергал отца сзади за полы сюртука... но тот сперва облобызался с Анной Захаровной, предварительно сняв с головы пренеудобный и безобразный шотландский дорожный картуз, потом поздоровался с Марианной и Калломейцевым, которые тоже вышли на крыльцо (Калломейцеву он дал сильный английский shakehands[1], «в раскачку» — словно в колокол позвонил) — и только тогда обратился к сыну; взял его под мышки, поднял и приблизил к своему лицу.

Пока всё это происходило, из коляски, тихонько, словно виноватый, вылез Нежданов и остановился близ переднего колеса, не снимая шапки и посматривая исподлобья... Валентина Михайловна, обнимаясь с мужем, зорко глянула через его плечо на эту новую фигуру; Сипягин предупредил ее, что привезет с собою учителя.

Всё общество, продолжая меняться приветами и рукопожатиями с прибывшим хозяином, двинулось вверх по лестнице, уставленной с обеих сторон главными слугами и служанками. К ручке они не подходили — эта «азиатщина» была давно отменена — и только кланялись почти-

[1] рукопожатие *(англ.)*.

тельно, а Сипягин отвечал их поклонам — больше бровями и носом, чем головою.

Нежданов тоже поплелся вверх по широким ступеням. Как только он вошел в переднюю, Сипягин, который уже искал его глазами, представил его жене, Анне Захаровне, Марианне; а Коле сказал: «Это твой учитель. Прошу его слушаться! Подай ему руку!» Коля робко протянул руку Нежданову, потом уставился на него; но, видно, не найдя в нем ничего особенного или приятного, снова ухватился за своего «папу». Нежданов чувствовал себя неловко, так же, как тогда в театре. На нем было старое, довольно невзрачное пальто; дорожная пыль насела ему на всё лицо и на руки. Валентина Михайловна сказала ему что-то любезное, но он хорошенько не расслышал ее слов и не отвечал, а только заметил, что она особенно светло и ласково взирала на своего мужа и жалась к нему. В Коле ему не понравился его завитой, напомаженный хохол; при виде Калломейцева он подумал: «Экая облизанная мордочка!» — а на другие лица он вовсе не обратил внимания. Сипягин раза два с достоинством повертел головою, как бы осматривая свои пенаты, причем удивительно отчеканивались его длинные висячие бакенбарды и несколько крутой, маленький затылок. Потом он сильным, вкусным, от дороги нисколько не охрипшим голосом крикнул одному из лакеев: «Иван! проводи г-на учителя в зеленую комнату да чемодан их туда снеси» — и объявил Нежданову, что он может теперь отдохнуть, и разобраться, и почиститься — а обед у них в доме подают ровно в пять часов. Нежданов поклонился и отправился вслед за Иваном в «зеленую» комнату, находившуюся во втором этаже.

Всё общество перешло в гостиную. Там еще раз повторились приветствия; полуслепая старушка-нянька явилась с поклоном. Этой, из уважения к ее летам, Сипягин дал поцеловать свою руку и, извинившись перед Калломейцевым, удалился в спальню, сопровождаемый своей супругой.

VII

Обширная и опрятная комната, в которую слуга ввел Нежданова, выходила окнами в сад. Они были раскрыты, и легкий ветер слабо надувал белые шторы: они округлялись, как паруса, приподнимались и падали снова. По потолку тихо скользили золотистые отблески; во всей комнате стоял весенний, свежий, немного сырой запах.

Нежданов начал с того, что услал слугу, выложил вещи из чемодана, умылся и переоделся. Путешествие его уморилю; двухдневное постоянное присутствие человека незнакомого, с которым он говорил много, разнообразно — и бесплодно, раздражило его нервы; что-то горькое, не то скука, не то злость, тайно забралось в самую глубь его существа; он негодовал на свое малодушие — а сердце всё ныло!

Он подошел к окну и стал глядеть на сад. То был прадедовский черноземный сад, какого не увидишь по сю сторону Москвы. Расположенный по длинному скату пологого холма, он состоял из четырех ясно обозначенных отделений. Перед домом, шагов на двести, расстилался цветник, с песчаными прямыми дорожками, группами акаций и сиреней и круглыми «клумбами»; налево, минуя конный двор, до самого гумна тянулся фруктовый сад, густо насаженный яблонями, грушами, сливами, смородиной и малиной; прямо напротив дома возвышались большим сплошным четырехугольником липовые скрещенные аллеи. Направо вид преграждался дорогой, заслоненной двойным рядом серебристых тополей; из-за купы плакучих берез виднелась крутая крыша оранжереи. Весь сад нежно зеленел первой красою весеннего расцветания; не было еще слышно летнего, сильного гуденья насекомых; молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да две горлинки ворковали всё на одном и том же дереве, да куковала одна кукушка, перемещаясь всякий раз, да издалека, из-за мельничного пруда, приносился дружный грачиный гам, подобный скрипу множества тележных колес. И надо всей этой молодою, уединенной, тихой жизнью, округляя свои груди, как большие, ленивые птицы, тихо плыли светлые облака. Нежданов глядел, слушал, втягивал воздух сквозь раскрытые, похолодевшие губы...

И ему словно легче становилось; тишина находила и на него.

А между тем внизу, в спальне, речь шла тоже о нем. Сипягин рассказывал жене, как он с ним познакомился, и что ему сказал князь Г., и какие разговоры они вели во время путешествия.

— Умная голова! — повторял он,— и с сведениями; правда, он красный, да ведь у меня, ты знаешь, это ничего не значит; по крайней мере у этих людей есть амбиция. Да и Коля слишком молод; никаких глупостей он от него не переймет.

Валентина Михайловна слушала своего мужа с ласковой и в то же время насмешливой улыбкой, точно он каялся ей в немного странной, но забавной выходке; ей даже как будто приятно было, что ее «seigneur et maître»[1], такой солидный человек и важный чиновник, всё еще в состоянии вдруг взять да выкинуть шалость, не хуже двадцатилетнего. Стоя перед зеркалом в белой как снег рубашке, в голубых шелковых помочах, Сипягин принялся причесывать свою голову на английский фасон, в две щетки; а Валентина Михайловна, взобравшись с ботинками на турецкую низкую кушетку, начала сообщать ему разные сведения о хозяйстве, о бумажной фабрике, которая — увы! — не шла так хорошо, как бы следовало, о поваре, которого надо будет переменить, о церкви, с которой свалилась штукатурка, о Марианне, о Калломейцеве...

Между обоими супругами существовало нелицемерное доверие и согласие; они действительно жили в «любви и совете», как говаривалось в старину; и когда Сипягин, окончив свой туалет, рыцарски попросил у Валентины Михайловны «ручку», когда она подала ему обе и с нежной гордостью глядела, как он попеременно целовал их,— то чувство, которое выразилось на лицах у обоих, было чувство хорошее и правдивое, хотя у ней оно светилось в очах, достойных Рафаэля, а у него в простых генеральских «гляделках».

Ровно в пять часов Нежданов сошел вниз к обеду, возвещенному даже не звуком колокола, а протяжным завываньем китайского «гонга». Всё общество уже собралось в столовой. Сипягин снова его приветствовал с высоты своего галстука и указал ему место за столом между Анной Захаровной и Колей. Анна Захаровна была перезрелая дева, сестра покойного старика Сипягина; от нее попахивало камфорой, как от залежалого платья, и вид она имела беспокойный и унылый. Она исполняла в доме роль Колиного дядьки или гувернера; ее сморщенное лицо выказало неудовольствие, когда Нежданова посадили между ею и ее питомцем. Коля сбоку поглядывал на своего нового соседа; умный мальчик скоро догадался, что учителю неловко, что он конфузится: он же не поднимал глаз и почти ничего не ел. Коле это понравилось: он до тех пор боялся, как бы учитель не оказался строгим и сердитым. Валентина Михайловна тоже поглядывала на Нежданова.

[1] повелитель и наставник *(франц.)*.

«Он смотрит студентом,— думалось ей,— и в свете он не живал, но лицо у него интересное, и оригинальный цвет волос, как у того апостола, которого старые итальянские мастера всегда писали рыжим, и руки чистые». Впрочем, все за столом поглядывали на Нежданова и как бы щадили его, оставляя его в покое на первых порах; он это чувствовал, и был этим доволен, и в то же время почему-то злился. Разговор за столом вели Калломейцев и Сипягин. Речь шла о земстве, о губернаторе, о дорожной повинности, о выкупных сделках, об общих петербургских и московских знакомых, о только что входившем в силу лицее г-на Каткова, о трудности достать рабочих, о штрафах и потравах, а также о Бисмарке, о войне 66-го года и о Наполеоне III, которого Калломейцев величал молодцом. Юный камер-юнкер высказывал мнения весьма ретроградные; он договорился наконец до того, что привел, правда в виде шутки, тост одного знакомого ему барина за некоторым именинным банкетом: «Пью за единственные принципы, которые признаю,— воскликнул этот разгоряченный помещик,— за кнут и за Рёдерер!»

Валентина Михайловна наморщила брови и заметила, что эта цитата — de très mauvais goût [1]. Сипягин выражал, напротив, мнения весьма либеральные; вежливо и несколько небрежно опровергал Калломейцева; даже подтрунивал над ним.

— Ваши страхи насчет эмансипации, любезный Семен Петрович,— сказал он ему между прочим,— напоминают мне записку, которую наш почтеннейший и добрейший Алексей Иваныч Тверитинов подал в 1860 году и которую он всюду читал по петербургским салонам. Особенно хороша была там одна фраза о том, как наш освобожденный мужик непременно пойдет, с факелом в руке, по лицу всего отечества. Надо было видеть, как наш милый Алексей Иванович, надувая щечки и таращa глазенки, произносил своим младенческим ротиком: «Ффакел! ффакел! пойдет с ффакелом!» Ну, вот совершилась эмансипация... Где же мужик с факелом?

— Тверитинов,— возразил сумрачным тоном Калломейцев,— ошибся только в том, что не мужики пойдут с факелами, а другие.

При этих словах Нежданов, который до того мгновения почти не замечал Марианны — она сидела от него

[1] весьма дурного вкуса *(франц.)*.

наискось,— вдруг переглянулся с нею и тотчас почувствовал, что они оба, эта угрюмая девушка и он,— одних убеждений и одного пошиба. Она не произвела никакого впечатления на него, когда Сипягин представил его ей; почему же он теперь переглянулся именно с нею? Он тут же поставил себе вопрос: не стыдно ли, не позорно ли сидеть и слушать подобные мнения, и не протестовать и давать своим молчаньем повод думать, что сам их разделяешь? Нежданов вторично глянул на Марианну, и ему показалось, что он в ее глазах прочел ответ на свой вопрос: «Погоди, мол; теперь еще не время... не стоит... после; всегда успеешь...»

Ему приятно было думать, что она его понимает. Он опять прислушался к разговору. Валентина Михайловна сменила своего мужа и высказывалась еще свободнее, еще радикальнее, нежели он. Она не постигала, «решительно не пос... ти... га... ла», как человек образованный и молодой может придерживаться такой застарелой рутины!

— Впрочем,— прибавила она,— я уверена, что вы это говорите только так, для красного словца! Что же касается до вас, Алексей Дмитрич,— обратилась она с любезной улыбкой к Нежданову (он внутренно изумился тому, что его имя и отчество были ей известны),— я знаю, вы не разделяете опасений Семена Петровича: мне Борис передал ваши беседы с ним во время дороги.

Нежданов покраснел, склонился над тарелкой и пробормотал что-то невнятное: он не то чтобы оробел, а не привык он перекидываться речами с такими блестящими особами. Сипягина продолжала улыбаться ему; муж покровительственно поддакивал ей... Зато Калломейцев воткнул, не спеша, свое круглое стеклышко между бровью и носом и уставился на студентика, который осмеливается не разделять его «опасений». Ну, *этим* смутить Нежданова было трудно; напротив: он тотчас выпрямился и уставился в свою очередь на великосветского чиновника — и так же внезапно, как почувствовал в Марианне товарища, он в Калломейцеве почувствовал врага! И Калломейцев это почувствовал; выронил стеклышко, отвернулся и попытался усмехнуться... но ничего не вышло; одна Анна Захаровна, тайно благоговевшая перед ним, мысленно стала на его сторону и еще более вознегодовала на непрошенного соседа, отделившего ее от Коли.

Вскоре затем обед кончился. Общество перешло на террасу пить кофе; Сипягин и Калломейцев закурили

сигары. Сипягин предложил было одну настоящую регалию Нежданову, но тот отказался.

— Ах, да! — воскликнул Сипягин,— я и забыл: вы курите только свои папиросы!

— Странный вкус,— заметил сквозь зубы Калломейцев.

Нежданов чуть не вспылил. «Разницу между регалией и папиросой я очень хорошо знаю, но я одолжаться не хочу»,— чуть не сорвалось у него с языка... Однако он удержался; но тут же занес эту вторую дерзость своему врагу в «дебет».

— Марианна! — вдруг громким голосом промолвила Сипягина,— ты не церемонься перед новым лицом... кури с богом свою пахитоску. Тем более,— прибавила она, обращаясь к Нежданову,— что, я слышала, в вашем обществе все барышни курят?

— Точно так-с,— отвечал сухо Нежданов. То было первое слово, сказанное им Сипягиной.

— А я вот не курю,— продолжала она, ласково прищурив свои бархатные глаза...— Отстала от века.

Марианна медлительно и обстоятельно, словно назло тетке, достала пахитоску, коробочку со спичками и начала курить. Нежданов тоже закурил папиросу, позаимствовав огня у Марианны.

Вечер стоял чудесный. Коля с Анной Захаровной отправились в сад; остальное общество оставалось еще около часа на террасе, наслаждаясь воздухом. Беседа шла довольно оживленная... Калломейцев нападал на литературу; Сипягин и тут явился либералом, отстаивал ее независимость, доказывал ее пользу, упомянул даже о Шатобриане и о том, что император Александр Павлович пожаловал ему орден св. Андрея Первозванного! Нежданов не вмешивался в это словопрение; Сипягина посматривала на него с таким выражением, как будто, с одной стороны, она одобряла его скромную воздержность, а с другой — немного удивлялась ей.

К чаю все перешли в гостиную.

— У нас, Алексей Дмитрич,— сказал Сипягин Нежданову,— такая скверная привычка: по вечерам мы играем в карты, да еще в запрещенную игру — в стуколку... представьте! Я вас не приглашаю... но, впрочем, Марианна будет так добра, сыграет нам что-нибудь на фортепиано. Вы ведь, надеюсь, любите музыку, а? — И, не дожидаясь ответа, Сипягин взял в руку колоду карт. Ма-

рианна села за фортепиано и сыграла, ни хорошо ни худо, несколько «песен без слов» Мендельсона. «Charmant! Charmant! quel touché!»[1] — закричал издали, словно ошпаренный, Калломейцев; но восклицание это было им пущено более из вежливости, да и Нежданов, несмотря на надежду, выраженную Сипягиным, никакого пристрастия к музыке не имел.

Между тем Сипягин с женой, Калломейцев, Анна Захаровна уселись за карты... Коля пришел проститься и, получив благословение от родителей да большой стакан молока вместо чаю, отправился спать; отец крикнул ему вслед, что завтра же он начнет свои уроки с Алексеем Дмитричем. Немного спустя увидав, что Нежданов торчит без дела посреди комнаты и напряженно переворачивает листы фотографического альбома, Сипягин сказал ему, чтоб он не стеснялся и шел бы к себе отдохнуть, так как он, вероятно, устал после дороги; что у них в доме главный девиз — свобода!

Нежданов воспользовался данным позволением и, раскланявшись со всеми, пошел вон; в дверях он столкнулся с Марианной и, снова заглянув ей в глаза, снова убедился, что будет с ней как товарищ, хотя она не только не улыбнулась ему, но даже нахмурила брови.

Он нашел комнату свою всю наполненную душистой свежестью: окна оставались открытыми целый день. В саду, прямо против его окна, коротко и звучно щелкал соловей; ночное небо тускло и тепло краснело над округленными верхушками лип: то готовилась выплыть луна. Нежданов зажег свечку; ночные серые бабочки так и посыпались из темного сада и пошли на огонь, кружась и толкаясь, а ветер их отдувал и колебал сине-желтое пламя свечи.

«Странное дело! — думал Нежданов, уже лежа в постели.— Хозяева — люди, кажется, хорошие, либеральные, даже гуманные... а томно что-то на душе. Камергер... камер-юнкер... Ну, утро вечера мудренее... Сентиментальничать нечего».

Но в это мгновенье в саду сторож настойчиво и громко застучал в доску и раздался протяжный крик: «Слуша... а... ай!»

— Примеча... а... й! — отозвался другой заунывный голос.

— Фу ты, боже мой! точно в крепости!

---

[1] «Прелестно! Прелестно! какое туше!» *(франц.)*.

VIII

Нежданов проснулся рано и, не дожидаясь появления слуги, оделся и сошел в сад. Очень он был велик и красив, этот сад, и содержался в отличном порядке: нанятые работники скребли лопатами дорожки; в яркой зелени кустов мелькали красные платки на головах крестьянских девушек, вооруженных граблями. Нежданов добрался до пруда; утренний туман с него слетел, но он еще дымился местами — в тенистых излучинах берегов. Невысокое солнце било розовым светом по шелковистому свинцу его широкой глади. Человек пять плотников возилось около плота; тут же колыхалась, слабо переваливаясь с боку на бок и пуская от себя легкую рябь по воде, новая раскрашенная лодка. Людские голоса звучали редко и сдержанно: ото всего веяло утром, тишиной и споростью утренней работы, веяло порядком и правильностью установленной жизни. И вот, на повороте аллеи, Нежданову предстало само олицетворение порядка и правильности — предстал Сипягин.

На нем был сюртук горохового цвета, вроде шлафрока, и пестрый картуз; он опирался на английскую бамбуковую трость, и только что выбритое лицо его дышало довольством; он шел осматривать свое хозяйство. Сипягин приветливо поздоровался с Неждановым.

— Ага! — воскликнул он,— я вижу, вы из молодых, да ранний! (Он, вероятно, хотел этой не совсем уместной поговоркой выразить свое одобрение Нежданову за то, что тот, так же как и он сам, недолго оставался в постели.) Мы в восемь часов пьем общий чай в столовой, а в двенадцать завтракаем; в десять часов вы дадите Коле ваш первый урок в русском языке, а в два — в истории. Завтра, 9-го мая, он именинник и уроков не будет; но сегодня прошу начать!

Нежданов наклонил голову, а Сипягин простился с ним на французский манер, несколько раз сряду быстро поднеся руку к собственным губам и носу, и пошел далее, бойко размахивая тростью и посвистывая — вовсе не как важный чиновник или сановник, а как добрый русский country-gentleman[1].

До восьми часов Нежданов оставался в саду, наслаждаясь тенью старых деревьев, свежестью воздуха, пением

---

[1] помещик *(англ.)*.

птиц; завывания гонга призвали его в дом — и он нашел всё общество в столовой. Валентина Михайловна очень ласково обошлась с ним; в утреннем туалете она показалась ему совершенной красавицей. Лицо Марианны выражало обычную сосредоточенность и суровость. Ровно в десять часов произошел первый урок в присутствии Валентины Михайловны: она сперва осведомилась у Нежданова, не будет ли она мешать, и всё время очень скромно держала себя. Коля оказался мальчиком понятливым; после неизбежных первых колебаний и неловкостей урок сошел благополучно. Валентина Михайловна осталась, по-видимому, весьма довольна Неждановым и несколько раз приветливо заговаривала с ним. Он упирался... но не слишком. Валентина Михайловна присутствовала также на втором уроке — из русской истории. Она с улыбкой объявила, что по этому предмету нуждается в наставнике не хуже самого Коли, и так же чинно и тихо держала себя, как в течение первого урока. От двух до пяти Нежданов сидел у себя в комнате, писал письма в Петербург — и чувствовал себя... так себе: скуки не было, не было и тоски; натянутые нервы понемножку смягчались. Они напряглись снова во время обеда, хотя Калломейцев отсутствовал и ласковая предупредительность хозяйки не изменялась; но самая эта предупредительность несколько сердила Нежданова. К тому же его соседка, старая девица Анна Захаровна, явно враждовала и дулась, а Марианна продолжала серьезничать, и самый Коля уже слишком бесцеремонно толкал его ногами. Сипягин также казался не в духе. Он был очень недоволен управляющим своей писчебумажной фабрики, немцем, которого нанял за большие деньги. Сипягин принялся бранить вообще всех немцев, причем объявил, что он до некоторой степени славянофил, хоть и не фанатик, и упомянул об одном молодом русском, некоем Соломине, который, по слухам, на отличную ногу поставил фабрику соседа-купца; очень ему хотелось познакомиться с этим Соломиным.

К вечеру приехал Калломейцев, имение которого находилось всего в десяти верстах от «Аржаного», так называлась деревня Сипягина. Приехал также мировой посредник, помещик из числа тех, которых столь метко охарактеризовал Лермонтов двумя известными стихами:

Весь спрятап в галстух, фрак до пят...
Усы, дискант — и мутный взгляд.

Приехал другой сосед с унылым, беззубым лицом, но чрезвычайно чисто одетый; приехал уездный доктор, весьма плохой врач, любивший щеголять учеными терминами: он уверял, например, что предпочитает Кукольника Пушкину, потому что в Кукольнике много «протоплазмы». Сели играть в стуколку. Нежданов удалился к себе в комнату — и за полночь читал и писал.

На следующий день, 9-го мая, были Колины именины. Целым домом, в трех открытых колясках с лакеями на запятках, отправились «господа» к обедне в церковь, а до нее и четверти версты не было. Всё произошло очень парадно и пышно. Сипягин возложил на себя ленту; Валентина Михайловна оделась в прелестное парижское платье бледно-сиреневого цвета и в церкви, во время обедни, молилась по крошечной книжечке, переплетенной в малиновый бархат; книжечка эта смущала иных стариков; один из них не воздержался и спросил у своего соседа: «Что это она, прости господи, колдует, что ли?» Благовоние цветов, наполнявших церковь, сливалось с сильным запахом новых насеренных армяков, дегтярных сапогов и котов — и над теми и другими испарениями удушливо-приятно царил ладан. Дьячки и пономари на клиросах пели удивительно старательно. С помощью присоединившихся к ним фабричных они покусились даже на концерт! Была минута, когда всем присутствовавшим стало несколько... жутко. Теноровый голос (он принадлежал фабричному Климу, человеку в злейшей чахотке) выводил один, без всякой поддержки, хроматические минорные и бемольные тоны; они были ужасны, эти тоны, но оборвись они — и весь концерт немедленно бы провалился... Однако дело... ничего... обошлось. Отец Киприан, священник самой почтенной наружности, с набедренником и камилавкой, произнес проповедь весьма поучительную, по тетрадке; к сожалению, старательный батюшка счел за нужное привести имена каких-то премудреных ассирийских царей, чем весьма себя затруднил в прононсе — и хотя выказал некоторую ученость, однако вспотел же сильно! Нежданов, давно не бывавший в церкви, забился в уголок между бабами: они только изредка косились на него, истово крестясь, низко кланяясь и степенно утирая носы своих малюток; зато крестьянские девочки, в новых армячонках, с поднизями на лбах, и мальчики, в подпоясанных рубашонках с расшитыми оплечьями и красными ластовицами, внимательно оглядывали нового богомольца,

повернувшись прямо к нему лицом... И Нежданов смотрел на них и думал — разные думы.

После обедни, длившейся весьма долго,— молебен Николаю чудотворцу, как известно, едва ли не самый продолжительный из всех молебнов православной церкви,— всё духовенство, по приглашению Сипягина, двинулось к господскому дому и, совершив еще несколько приличных случаю обрядов, окропив даже комнаты святой водой, получило обильный завтрак, в течение которого велись обычные, благонадежные, но несколько утомительные разговоры. И хозяин и хозяйка — хотя в этот час дня никогда не завтракали — однако тут и прикусили и пригубили. Сипягин даже рассказал анекдот, вполне пристойный, но смехотворный, что, при его красной ленте и сановитости, произвело впечатление, можно сказать, отрадное, а в отце Киприане возбудило чувство и благодарности и удивления. В «отместку», а также для того, чтоб показать, что и он при случае может сообщить нечто любознательное, отец Киприан рассказал о своем разговоре с архиереем, когда тот, объезжая епархию, вызвал всех священников уезда к себе в город, в монастырь.— «Он у нас строгий-престрогий,— уверял отец Киприан,— сперва расспросит о природе, о порядках, а потом экзамен делает... Обратился он тоже ко мне.— Твой какой храмовой праздник? — Спаса преображения, говорю.— А тропарь на этот день знаешь? — Еще бы не знать! — Пой! — Ну, я сейчас: „Преобразился еси на горе, Христе боже наш...“— Стой! Что есть преображение и как надо его понимать? — Одно слово, говорю: хотел Христос ученикам славу свою показать! — Хорошо, говорит; вот тебе от меня образок на память.— Я ему в ноги.— Благодарю, мол, владыко!..— Так я от него не тощ вышел».

— Я имею честь лично знать преосвященного,— с важностью заметил Сипягин.— Достойнейший пастырь!

— Достойнейший! — подтвердил и отец Киприан.— Благочинным напрасно только слишком доверяется...

Валентина Михайловна упомянула о крестьянской школе и указала при этом на Марианну как на будущую учительницу; диакон (ему был поручен надзор над школой) — человек атлетического сложения и с длинной волнистой косою, смутно напоминавшей расчесанный хвост орловского рысака,— хотел было выразить свое одобрение; но, не сообразив силы своей гортани, так густо

крякнул, что и сам оробел и других испугал. После этого духовенство скоро удалилось.

Коля, в своей новой курточке с золотыми пуговками, был героем дня: ему делали подарки, его поздравляли, целовали ему руки и с переднего крыльца и с заднего — фабричные, дворовые, старухи и девки; мужики, те больше по старой крепостной памяти гудели перед домом вокруг столов, уставленных пирогами и штофами с водкой. Коля и стыдился, и радовался, и гордился, и робел, и ластился к родителям, и выбегал из комнаты; а за обедом Сипягин велел подать шампанского — и, прежде чем выпить за здоровье сына, произнес спич. Он говорил о том, что значит «служить земле», и по какой дороге он желал бы, чтобы пошел его Николай (он именно так его назвал), и чего вправе ожидать от него: во-первых, семья; во-вторых, сословие, общество; в-третьих, народ — да, милостивые государи, народ,— и в-четвертых,— правительство! Постепенно возвышаясь, Сипягин достиг наконец истинного красноречия, причем, наподобие Роберта Пиля, закладывал руку за фалду фрака; пришел в умиление от слова «наука» и кончил свой спич латинским восклицанием: Laboremus! [1], которое тут же перевел на русский язык. Коля с бокалом в руке отправился вдоль стола благодарить отца и целоваться со всеми.

Нежданову опять пришлось поменяться взглядами с Марианной... Оба они, вероятно, ощущали одно и то же... Но друг с другом они не говорили.

Впрочем, Нежданову всё, что он видел, казалось более смешным и даже занимательным, нежели досадным или противным, а любезная хозяйка, Валентина Михайловна, являлась ему умной женщиной, которая знает, что разыгрывает роль, и в то же время тайно радуется, что есть другое лицо, тоже умное и догадливое, которое ее постигает... Нежданов, вероятно, сам не подозревал, до какой степени его самолюбие было польщено ее обхождением с ним.

На следующий день уроки возобновились, и жизнь побежала обычной колеей.

Неделя прошла незаметно... О том, что испытал, что передумал Нежданов, лучше всего может дать понятие отрывок из его письма к некоему Силину, бывшему его товарищу по гимназии и лучшему его другу. Силин этот

---

[1] Будем трудиться! *(лат.)*

жил не в Петербурге, а в отдаленном губернском городе, у зажиточного родственника, от которого зависел вполне. Положение его определилось так, что ему нечего было и думать когда-нибудь вырваться оттуда; человек он был немощный, робкий и недальний, но замечательно чистой души. Политикой он не занимался, почитывал кое-какие книжки, играл от скуки на флейте и боялся барышень. Силин страстно любил Нежданова — сердце у него было вообще привязчивое. Ни перед кем Нежданов так беззаветно не высказывался, как перед Владимиром Силиным; когда он писал к нему, ему всегда казалось, что он беседует с существом близким и знакомым — но жильцом другого мира, или с собственной совестью. Нежданов не мог даже представить себе, как бы он снова зажил с Силиным по-товарищески, в одном городе... Он, вероятно, тотчас охладел бы к нему: очень мало было у них общего; но писал он к нему охотно и много — и вполне откровенно. С другими он — на бумаге по крайней мере — всё как будто фальшивил или рисовался; с Силиным — никогда! Плохо владея пером, Силин отвечал мало, короткими неловкими фразами; но Нежданов и не нуждался в пространных ответах: он знал и без того, что друг его поглощает каждое его слово, как дорожная пыль брызги дождя, хранит его тайны, как святыню, и, затерянный в глухом и безвыходном уединении, только и живет, что его жизнью. Никому в свете Нежданов не говорил о своих сношениях с ним и дорожил ими чрезвычайно.

«Ну, дружище, чистый Владимир! — так писал он ему, он всегда называл его чистым, и недаром! — поздравь меня: попал я на подножный корм и могу теперь отдохнуть и собраться с силами. Я живу на кондиции у богатого сановника Сипягина, учу его сынишку, ем чудесно (я в жизни так не едал!), сплю крепко, гуляю всласть по прекрасным окрестностям — а главное: вышел на время из-под опеки петербургских друзей; и хоть сначала скука грызла лихо, но теперь как будто легче стало. Вскорости придется надеть известную тебе лямку, то есть полезть в кузов, так как я назвался груздем (меня собственно затем и отпустили сюда); но пока я могу жить драгоценной животной жизнью, расти в брюхо — и, пожалуй, стихи сочинять, коли приспичит охота. Так называемые наблюдения отлагаются до другого времени: имение мне кажется благоустроенным, вот только разве фабрика подгуляла; отделенные по выкупу мужики ка-

кие-то недоступные; нанятые дворовые — уж очень все пристойные физиономии. Но мы это разберем впоследствии. Хозяева — учтивые, либеральные; барин всё снисходит, всё снисходит — а то вдруг возьмет и воспарит: преобразованный мужчина! Барыня — писаная красавица и очень, должно быть, себе на уме; так и караулит тебя,— а уж как мягка! Совсем бескостная! Я ее побаиваюсь; ты ведь знаешь, какой я дамский кавалер! Соседи есть — скверные; старуха одна меня притесняет... Но больше всех меня занимает одна девушка, родственница ли, компаньонка ли — господь ее знает! — с которой я почти двух слов не сказал, но в которой я чувствую своего поля ягоду...»

Тут следовало описание наружности Марианны — всей ее повадки; а потом он продолжал:

«Что она несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна — это для меня не подлежит сомнению. Почему она несчастна — этого я до сих пор еще не знаю. Что она натура честная — это мне ясно; добра ли она — это еще вопрос. Да и существуют ли вполне добрые женщины — если они не глупы? И нужно ли это? Впрочем, я женщин вообще мало знаю. Хозяйка ее не любит... И она ей платит тем же... Но кто из них прав — неизвестно. Я полагаю, что скорей хозяйка неправа... так как уж очень она вежлива с нею; а у *той* даже брови нервически подергиваются, когда она говорит с своей патроншей. Да; очень она нервическое существо; это тоже по моей части. И *вывихнута* она так же, как я, хотя, вероятно, не одним и тем же манером.

Когда всё это немножко распутается — напишу тебе...

Она со мной почти никогда не беседует, как я уже сказал тебе; но в немногих ее словах, ко мне обращенных (всегда внезапно и неожиданно), звучит какая-то жесткая откровенность... Мне это приятно.

Кстати, что родственник твой, всё еще держит тебя на сухоядении — и не собирается умирать?

Читал ли ты в „Вестнике Европы“ статью о последних самозванцах в Оренбургской губернии? В 34-м году это происходило, брат! Журнал я этот не люблю, и автор — консерватор; но вещь интересная и может навести на мысли...»

IX

Май уже перевалился за вторую половину; стояли первые жаркие летние дни. Окончив урок истории, Нежданов отправился в сад, а из сада перешел в березовую рощу, которая примыкала к нему с одной стороны. Часть этой рощи свели купцы лет пятнадцать тому назад; по всем вырубленным местам засел сплошной березняк. Нежно-матовыми серебряными столбиками, с сероватыми поперечными кольцами, стояли частые стволы деревьев; мелкие листья ярко и дружно зеленели, словно кто их вымыл и лак на них навел; весенняя травка пробивалась острыми язычками сквозь ровный слой прошлогодней темно-палевой листвы. Всю рощу прорезали узкие дорожки; желтоносые черные дрозды с внезапным криком, словно испуганные, перелетывали через эти дорожки, низко, над самой землей, и бросались в чащу сломя голову. Погулявши с полчаса, Нежданов присел наконец на срубленный пень, окруженный серыми, старыми щепками: они лежали кучкой, так, как упали, отбитые когда-то топором. Много раз их покрывал зимний снег и сходил с них весною, и никто их не трогал. Нежданов сидел спиною к сплошной стене молодых берез, в густой, но короткой тени; он не думал ни о чем, он отдавался весь тому особенному весеннему ощущению, к которому — и в молодом и в старом сердце — всегда примешивается грусть... взволнованная грусть ожидания — в молодом, неподвижная грусть сожаления — в старом...

Нежданову вдруг послышался шум приближавшихся шагов.

То шел не один человек, и не мужик в лаптях или тяжелых сапогах, и не босоногая баба. Казалось, двое шли не спеша, мерно... Женское платье прошуршало слегка...

Вдруг раздался глухой голос, голос мужчины:

— Итак, это ваше последнее слово? Никогда?

— Никогда! — повторил другой, женский голос, показавшийся Нежданову знакомым,— и мгновение спустя из-за угла дорожки, огибавшей в этом месте молодой березняк, выступила Марианна в сопровождении человека смуглого, черноглазого, которого Нежданов до того мгновения не видал.

Оба остановились как вкопанные при виде Нежданова; а он до того удивился, что даже не поднялся с пня, на котором сидел... Марианна покраснела до корней волос, но

тотчас же презрительно усмехнулась... К кому относилась эта усмешка — к ней самой за то, что она покраснела, или к Нежданову?.. А спутник ее нахмурил свои густые брови и сверкнул желтоватыми белками беспокойных глаз. Потом он переглянулся с Марианной — и оба, повернувшись спиною к Нежданову, пошли прочь, молча, не прибавляя шагу, между тем как он провожал их изумленным взором.

Полчаса спустя он вернулся домой в свою комнату — и когда, призванный завываньями гонга, вошел в гостиную, он увидал в ней того самого черномазого незнакомца, который наткнулся на него в роще. Сипягин подвел к нему Нежданова и представил его как своего beau-frère'a[1], брата Валентины Михайловны — Сергея Михайловича Маркелова.

— Прошу вас, господа, любить друг друга и жаловать! — воскликнул Сипягин с столь свойственной ему величественно-приветной и в то же время рассеянной улыбкой.

Маркелов отвесил безмолвный поклон; Нежданов отвечал таковым же... а Сипягин, слегка закидывая назад свою небольшую головку и подергивая плечами, отошел в сторону: «Я, мол, вас свел, а будете ли вы точно любить и жаловать друг друга — это для меня довольно индифферентно!»

Тогда Валентина Михайловна приблизилась к неподвижно стоявшей чете, снова представила их друг другу — и с особенной, ласковой светлостью взгляда, которая словно по команде приливала к ее чудесным глазам, заговорила с братом.

— Что это, cher Serge[2], ты нас совсем забываешь! Даже на именины Коли не приехал. Или занятий у тебя так много накопилось? Он со своими крестьянами какие-то новые порядки заводит,— обратилась она к Нежданову,— преоригинальные: им три четверти всего, а себе одну четверть; и то он еще находит, что много ему достается.

— Сестра любит шутить,— обратился в свою очередь Маркелов к Нежданову,— но я готов с ней согласиться, что *одному* человеку взять четверть того, что принадлежит целой *сотне*, действительно много.

— А вы, Алексей Дмитриевич, заметили, что я люблю шутить? — спросила Сипягина всё с тою же ласковой мягкостью и взора и голоса.

---

[1] шурина *(франц.)*.
[2] милый Сергей *(франц.)*.

Нежданов не нашелся что ответить; а тут доложили о приезде Калломейцева. Хозяйка пошла к нему навстречу, и несколько минут спустя дворецкий появился и певучим голосом провозгласил, что кушанье готово.

За обедом Нежданов невольно всё посматривал на Марианну и на Маркелова. Они сидели рядом, оба с опущенными глазами, со стиснутыми губами, с сумрачным и строгим, почти озлобленным выражением лица. Нежданов особенно дивился тому: каким образом мог Маркелов быть братом Сипягиной? Так мало сходства замечалось между ними. Одно разве: у обоих кожа была смуглая; но у Валентины Михайловны матовый цвет лица, рук и плечей составлял одну из ее прелестей... у ее брата он переходил в ту черноту, которую вежливые люди величают бронзой, но которая русскому глазу напоминает голенище. Волосы Маркелов имел курчавые, нос несколько крючковатый, губы крупные, впалые щеки, втянутый живот и жилистые руки. Весь он был жилистый, сухой — и говорил медным, резким, отрывочным голосом. Сонный взгляд, угрюмый вид — как есть желчевик! Он ел мало, больше катал шарики из хлеба — и лишь изредка вскидывал глазами на Калломейцева, который только что вернулся из города, где видел губернатора — по не совсем приятному для него, Калломейцева, делу, о котором он, впрочем, тщательно умалчивал,— и заливался соловьем.

Сипягин по-прежнему осаживал его, когда он чересчур заносился, но много смеялся его анекдотам и бонмо́[1], хотя и находил, «qu'il est un affreux réactionnaire»[2]. Калломейцев уверял между прочим, что пришел в совершенный восторг от названия, которое мужики — oui, oui! les simples mougiks[3] — дают адвокатам. «Брехунцы! брехунцы! — повторял он с восхищением.— Ce peuple russe est délicieux!»[4] Потом он рассказал, как, посетив однажды народную школу, он поставил ученикам вопрос: «Что есть строфокамил?» И так как никто не умел ответить, ни даже сам учитель — то он, Калломейцев, поставил другой вопрос: «Что есть пифик?» — причем привел стих Хемницера: «И пифик слабоум, списатель зверских лиц!» И на это ему никто не ответил. Вот вам и народные школы!

---

[1] остротам (*от франц.*: bon mot).
[2] «что он ужасный реакционер» *(франц.)*.
[3] да, да! простые мужики *(франц.)*.
[4] Этот русский народ восхитителен! *(франц.)*.

— Но позвольте,— заметила Валентина Михайловна,— я сама не знаю, что это за звери такие?

— Сударыня! — воскликнул Калломейцев,— вам этого и не нужно знать!

— А для чего же это народу нужно?

— А для того, что лучше ему знать пифика или строфокамила, чем какого-нибудь Прудона или даже Адама Смита!

Но тут Сипягин снова осадил Калломейцева, объявив, что Адам Смит — одно из светил человеческой мысли и что было бы полезно всасывать его принципы (он налил себе рюмку шато д'икему)... вместе с молоком (он провел у себя под носом и понюхал вино)... матери! — Он проглотил рюмку. Калломейцев тоже выпил и похвалил вино.

Маркелов не обращал особенного внимания на разглагольствования петербургского камер-юнкера, но раза два вопросительно посмотрел на Нежданова и, подбросив хлебный шарик, чуть было не попал им прямо в нос красноречивому гостю...

Сипягин оставлял своего зятя в покое; Валентина Михайловна также не заговаривала с ним; видно было, что они оба, и муж и жена, привыкли считать Маркелова за чудака, которого лучше не задирать.

После обеда Маркелов отправился в биллиардную курить трубку, а Нежданов пошел в свою комнату. В коридоре он наткнулся на Марианну. Он хотел было пройти мимо... она остановила его резким движением руки.

— Г-н Нежданов,— заговорила она не совсем твердым голосом,— мне, по-настоящему, должно быть всё равно, что вы обо мне ни думаете; но я все-таки полагаю... я полагаю (она не находила слова)... Я полагаю уместным сказать вам, что когда вы встретили сегодня в роще меня с г-м Маркеловым... Скажите, вы, вероятно, подумали, отчего это они оба смутились и зачем это они пришли сюда — словно на свидание?

— Мне действительно показалось немного странным...— начал было Нежданов.

— Г-н Маркелов,— подхватила Марианна,— сделал мне предложение; и я ему отказала. Вот всё, что я имела сказать вам; засим — прощайте. И думайте обо мне что хотите.

Она быстро отвернулась и пошла скорыми шагами по коридору.

Нежданов вернулся к себе в комнату и, присев перед окном, задумался. «Что за странная девушка — и к чему эта дикая выходка, эта непрошенная откровенность? Что это такое — желание пооригинальничать, или просто фразерство, или гордость? Вернее всего, что гордость. Ей невтерпеж малейшее подозрение... Она не выносит мысли, что другой ложно судит о ней. Странная девушка!»

Так размышлял Нежданов; а внизу на террасе шел разговор о нем, и он очень хорошо всё слышал.

— Чует мой нос,— уверял Калломейцев,— чует, что это — красный. Я еще в бытность мою чиновником по особым поручениям у московского генерал-губернатора — avec Ladislas — навострился на этих господ — на красных, да вот еще на раскольников. Чутьем, бывало, беру, верхним.— Тут Калломейцев «кстати» рассказал, как он однажды, в окрестностях Москвы, поймал *за каблук* старика-раскольника, на которого нагрянул с полицией и «который едва было не выскочил из окна избы... И так до той минуты смирно сидел на лавке, бездельник!»

Калломейцев забыл прибавить, что этот самый старик, посаженный в тюрьму, отказался от всякой пищи — и уморил себя голодом.

— А ваш новый учитель,— продолжал ретивый камер-юнкер,— красный, непременно! Обратили ли вы внимание на то, что он никогда первый не кланяется?

— Да зачем же он станет первый кланяться? — заметила Сипягина,— мне это, напротив, в нем нравится.

— Я гость в доме, где он служит,— воскликнул Калломейцев,— да, да, служит, за деньги, comme un salarié...[1] Стало быть, я ему старшой. И он *должен* мне кланяться первый.

— Вы очень взыскательны, мой любезнéйший,— вмешался Сипягин с ударением на *ей*,— всё это пахнет, извините, чем-то весьма отсталым. Я купил его услуги, его работу, но он остался человеком свободным.

— Узды он не чувствует,— продолжал Калломейцев,— узды: le frein! Все эти красные таковы. Говорю вам: у меня на них нос чудный! Вот разве Ladislas со мной — в этом отношении — потягаться может. Попадись он мне, этот учитель, в руки — я бы его подтянул! Я бы его вот как подтянул! Он бы у меня запел другим голосом; и как бы шапку ломать передо мной стал... прелесть!

[1] как наемный рабочий *(франц.)*.

— Дрянь, хвастунишка! — чуть было не закричал сверху Нежданов... Но в это мгновение дверь его комнаты растворилась — и в нее, к немалому изумлению Нежданова, вошел Маркелов.

X

Нежданов приподнялся с своего места ему навстречу, а Маркелов прямо подошел к нему и, без поклона и без улыбки, спросил его: точно ли он Алексей Дмитриев Нежданов, студент С.-Петербургского университета?

— Да... точно,— отвечал Нежданов.

Маркелов достал из бокового кармана распечатанное письмо.

— В таком случае прочтите это. От Василия Николаевича,— прибавил он, значительно понизив голос.

Нежданов развернул и прочел письмо. Это было нечто вроде полуофициального циркуляра, в котором податель, Сергей Маркелов, рекомендовался как один из «наших», вполне заслуживавших доверия; далее следовало наставление о безотлагательной необходимости взаимнодействия, о распространении известных правил. Циркуляр был между прочим адресован и Нежданову, тоже как верному человеку.

Нежданов протянул руку Маркелову, попросил его сесть и сам опустился на стул. Маркелов начал с того, что, ни слова не говоря, закурил папиросу. Нежданов последовал его примеру.

— Вы с здешними крестьянами уже успели сблизиться? — спросил наконец Маркелов.

— Нет, пока еще не успел.

— Да вы давно ли сюда прибыли?

— Скоро две недели будет.

— Занятий много?

— Не слишком.

Маркелов угрюмо кашлянул.

— Гм! Народ здесь довольно пустой,— продолжал он,— темный народ. Поучать надо. Бедность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бедность происходит.

— Бывшие мужики вашего зятя, сколько можно судить, не бедствуют,— заметил Нежданов.

— Зять мой — хитрец; глаза отводить мастер. Крестьяне здешние — точно, ничего; но у него есть фабрика. Вот где нужно старание приложить. Тут только копни: что

в муравьиной кучке, сейчас заворошатся. Книжки у вас с собою есть?

— Есть... да немного.

— Я вам доставлю. Как же это вы так!

Нежданов ничего не отвечал. Маркелов тоже умолк и только дым пускал ноздрями.

— Какой, однако, мерзавец этот Калломейцев,— промолвил он вдруг.— Я за обедом думал: встать, подойти к этому барину — и расшибить в прах всю его нахальную физиономию, чтобы другим повадно не было. Да нет! Теперь есть дела поважнее, чем бить камер-юнкеров. Теперь не время сердиться на дураков за то, что они говорят глупые слова; теперь время мешать им глупые дела делать.

Нежданов качнул головой утвердительно, а Маркелов опять принялся за папироску.

— Тут между всей этой дворовой челядью есть один малый дельный,— начал он снова,— не слуга ваш Иван... это — рыба какая-то; а другой... ему имя Кирилл, он при буфете. (Кирилл этот был известен как горький пьяница.) Вы обратите на него внимание. Забубенная голова... да ведь нам деликатничать не приходится. А что об моей сестре скажете? — прибавил он, внезапно подняв голову и уставив свои желтые глаза на Нежданова.— Эта еще похитрее будет, чем мой зятек. Как вы об ней полагаете?

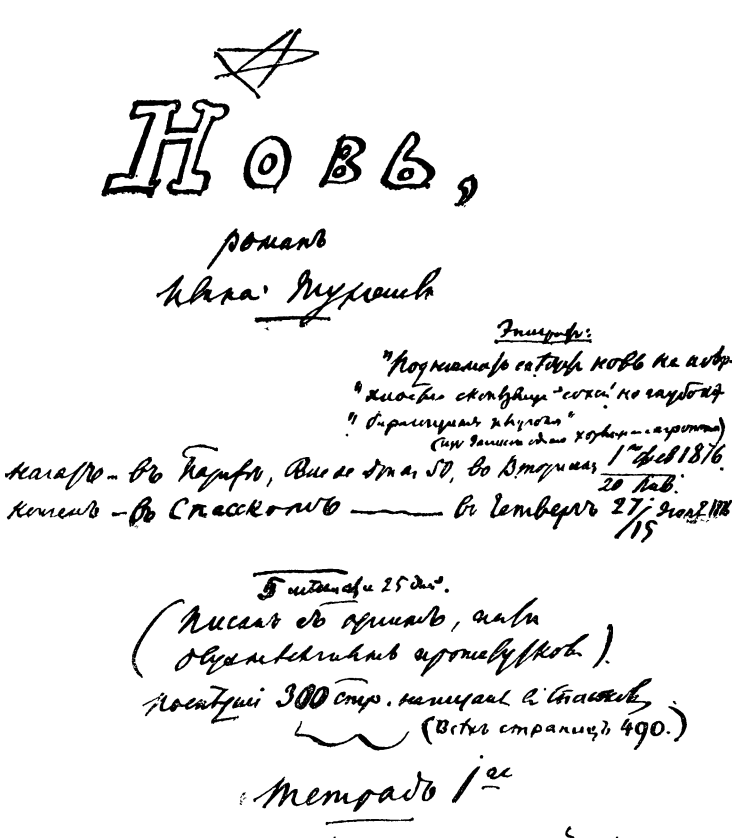
— Я полагаю, что она очень приятная и любезная дама... И к тому же она очень красива.

— Гм! Как это вы, господа, в Петербурге тонко выражаетесь... Удивляюсь! Ну... а насчет...— начал было он, но вдруг насупился, потемнел в лице и не докончил начатой фразы.— Нам, я вижу, надо с вами хорошенько потолковать,— заговорил он опять.— Здесь невозможно. Чёрт их знает! Под дверьми, пожалуй, подслушивают. Знаете ли, что я вам предлагаю? Сегодня суббота; завтра вы, чай, моему племяннику уроков не даете?.. Не правда ли?

— У меня завтра с ним репетиция в три часа.

— Репетиция! Точно в театре. Это, должно быть, моя сестрица такие слова выдумывает. Ну, всё равно. Хотите? Поедемте сейчас ко мне. Моя деревня отсюда в десяти верстах. Лошади у меня хорошие: домчат духом, вы у меня переночуете, проведете утро, а завтра к трем часам я вас обратно доставлю. Согласны?

— Извольте,— промолвил Нежданов. С самого прихода Маркелова он находился в возбужденном и стесненном состоянии. Внезапное сближение с ним его смущало, и в то



«НОВЬ».
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА, 1876 г.
Национальная библиотека, Париж.

же время его влекло к нему. Он чувствовал, он понимал, что перед ним существо, вероятно, тупое, но, несомненно, честное — и сильное. К тому же эта странная встреча в роще, это неожиданное объяснение Марианны...

— Ну и прекрасно! — воскликнул Маркелов.— Вы пока приготовьтесь; а я пойду, велю заложить тарантас. Ведь вам, я надеюсь, нечего спрашиваться у здешних хозяев?

— Я их предуведомлю. Без этого, я полагаю, мне отлучиться нельзя.

— Я им скажу,— подхватил Маркелов.— Вы не беспокойтесь. Они теперь дуются в карты — и не заметят вашего отсутствия. Мой зять всё в государственные люди метит, а только за ним и есть, что в карты отлично играет. Ну, и то сказать: через этот фортель многие выходят!.. Так будьте готовы. Я сейчас распоряжусь.

Маркелов удалился; а час спустя Нежданов сидел рядом с ним на большой кожаной подушке, в широком, развалистом, очень старом и очень покойном тарантасе; приземистый кучерок на облучке непрестанно свистал каким-то удивительно приятным, птичьим свистом; тройка пегих лошадок с заплетенными черными гривами и хвостами быстро неслась по ровной дороге; и уже застланные первою ночною тенью (в минуту отъезда пробило десять часов) плавно проносились — иные взад, другие вперед, смотря по отдалению,— отдельные деревья, кусты, поля, луга и овраги.

Небольшая деревенька Маркелова (в ней было всего двести десятин, и приносила она около 700 рублей дохода — звали ее Борзёнково) находилась в трех верстах от губернского города, от которого имение Сипягина отстояло в семи верстах. Чтобы попасть в Борзёнково, надо было проехать через город. Не успели новые знакомцы обменяться и полусотней слов, как уже замелькали перед ними дрянные подгородные мещанские домишки с продавленными тесовыми крышами, с тусклыми пятнами света в перекривленных окошках; а там загремели под колесами камни губернской мостовой, тарантас запрыгал, заметался из стороны в сторону... и, подпрыгивая при каждом толчке, поплыли мимо глупые каменные двухэтажные купеческие дома с фронтонами, церкви с колоннами, трактирные заведения... Дело было под воскресенье; на улицах уже не было прохожих, но в кабаках еще толпился народ. Хриплые голоса вырывались оттуда, пьяные песни, гнусливые

звуки гармоник; из внезапно раскрытых дверей било грязным теплом, едким запахом спирта, красным отблеском ночников. Почти перед каждым кабаком стояли крестьянские тележонки, запряженные мохнатыми, пузатыми клячами; покорно понурив кудластые головы, они, казалось, спали; растерзанный, распоясанный мужик в пухлой зимней шапке, свесившейся мешком на затылок, выходил из кабака и, прислонившись грудью к оглоблям, пребывал недвижим, что-то слабо ощупывая и разводя и шаря руками; или худощавый фабричный в картузе набекрень, с выпущенной китайчатой рубахой и босой — сапоги-то остались в заведении — делал несколько нерешительных шагов, останавливался, чесал спину — и, внезапно ахнув, возвращался вспять...

— Одолевает вино русского человека! — сумрачно заметил Маркелов.

— С горя, батюшка Сергей Михайлович! — промолвил, не оборачиваясь, кучер, который перед каждым кабаком переставал свистать и словно в себя углублялся.

— Пошел! пошел! — ответил Маркелов, с сердцем потрясая воротником шинели. Тарантас перебрался через обширную базарную площадь, всю провонявшую капустой и рогожей, миновал губернаторский дом с пестрыми будками у ворот, частный дом с башней, бульвар с только что посаженными и уже умиравшими деревцами, гостиный двор, наполненный собачьим лаем и лязгом цепей, и, понемногу выбравшись за заставу, обогнав длинный, длинный обоз, выступивший в путь по холодку, снова очутился в вольном загородном воздухе, на большой, вербами обсаженной дороге — и снова покатил шибче и ровней.

Маркелов — надо же сказать о нем несколько слов — был шестью годами старше своей сестры, Сипягиной. Воспитывался он в артиллерийском училище, откуда вышел офицером; но уже в чине поручика он подал в отставку, по неприятности с командиром — немцем. С тех пор он возненавидел немцев, особенно русских немцев. Отставка рассорила его с отцом, с которым он так и не виделся до самой его смерти, а унаследовав от него деревеньку, поселился в ней. В Петербурге он часто сходился с разными умными, передовыми людьми, перед которыми благоговел; они окончательно определили его образ мыслей. Читал Маркелов немного — и больше всё книги, идущие к делу, Герцена в особенности. Он сохранил военную выправку,

жил спартанцем и монахом. Несколько лет тому назад он страстно влюбился в одну девушку, но та изменила ему самым бесцеремонным манером и вышла за адъютанта — тоже из немцев. Маркелов возненавидел также и адъютантов. Он пробовал писать специальные статьи о недостатках нашей артиллерии, но у него не было никакого таланта изложения: ни одной статьи он не мог даже довести до конца — и все-таки продолжал исписывать большие листы серой бумаги своим крупным, неуклюжим, истинно детским почерком. Маркелов был человек упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умевший ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всех угнетенных,— и на всё готовый. Его ограниченный ум бил в одну и ту же точку: чего он не понимал, то для него не существовало; но презирал он и ненавидел фальшь и ложь. С людьми высшего полета, с «реаками», как он выражался, он был крут и даже груб; с народом — прост; с мужиком обходителен, как с своим братом. Хозяин он был посредственный: у него в голове вертелись разные социалистические планы, которые он так же не мог осуществить, как не умел закончить начатых статей о недостатках артиллерии. Ему вообще не везло — никогда и ни в чем; в корпусе он носил название «неудачника». Человек искренний, прямой, натура страстная и несчастная, он мог в данном случае оказаться безжалостным, кровожадным, заслужить название изверга — и мог также пожертвовать собою, без колебания и без возврата.

Тарантас, на третьей версте от города, внезапно въехал в мягкий мрак осиновой рощи, с шорохом и трепетанием незримых листьев, с свежей горечью лесного запаха, с неясными про́светами вверху, с перепутанными тенями внизу. Луна уже встала на небосклоне, красная и широкая, как медный щит. Вынырнув из-под деревьев, тарантас очутился перед небольшой помещичьей усадьбой. Три освещенных окна яркими четырехугольниками выступали на переднем фасе низенького дома, заслонившего собою диск луны; настежь раскрытые ворота, казалось, не запирались никогда. На дворе, в полумраке, виднелась высокая кибитка с привязанными сзади к балчуку двумя белыми ямскими лошадьми; два щенка, тоже белых, выскочили откуда-то и залились пронзительным, но не злобным лаем. В доме зашевелились люди, тарантас подкатил к крыльцу, и, с трудом вылезая и отыскивая ногою железную подножку, приделанную, как водится, доморощенным

кузнецом на самом неудобном месте, Маркелов сказал Нежданову:

— Вот мы и дома — и вы найдете здесь гостей, которых знаете хорошо, но никак не ожидаете встретить. Пожалуйте!

XI

Этими гостями оказались наши старинные знакомые, Остродумов и Машурина. Оба сидели в небольшой, крайне плохо убранной гостиной маркеловского дома и при свете керосиновой лампы пили пиво и курили табак. Они не удивились прибытию Нежданова; они знали, что Маркелов намеревался привезти его с собой, но Нежданов очень удивился им. Когда он вошел, Остродумов промолвил: «Здравствуй, брат!» — и только; Машурина сперва побагровела вся, потом протянула руку. Маркелов объяснил Нежданову, что Остродумов и Машурина присланы по «общему делу», которое теперь скоро должно осуществиться; что они с неделю тому назад выехали из Петербурга; что Остродумов остается в С...й губернии для пропаганды, а Машурина едет в К. для свидания с одним человеком.

Маркелов внезапно раздражился, хотя никто ему не противоречил; сверкая глазами, кусая усы, он начал говорить взволнованным, глухим, но отчетливым голосом о совершаемых безобразиях, о необходимости безотлагательного действия, о том, что в сущности всё готово — и мешкать могут одни трусы; что некоторая насильственность необходима, как удар ланцета по нарыву, как бы зрел этот нарыв ни был! Он несколько раз повторил это сравнение с ланцетом: оно ему, очевидно, нравилось, он его не придумал, а вычитал где-то. Казалось, что, потеряв всякую надежду на взаимность со стороны Марианны, он уже ничего не жалел, а только думал о том, как бы приняться поскорей «за дело». Он говорил, точно топором рубил, безо всякой хитрости, резко, просто и злобно: слова однообразно и веско выскакивали одно за другим из побледневших его губ, напоминая отрывистый лай строгой и старой дворовой собаки. Он говорил о том, что хорошо знает окрестных мужиков, фабричных — и что есть между ними дельные люди,— как, например, голоплёцкий Еремей,— которые сию минуту пойдут на что угодно. Этот голоплёцкий Еремей, Еремей из деревни Голоплёк, беспрестанно приходил ему на язык. Через каждые десять

слов он ударял правой рукою — не ладонью, а ребром руки — по столу, а левой тыкал в воздух, отделив указательный палец. Эти волосатые, сухие руки, этот палец, этот гудевший голос, эти пылавшие глаза производили впечатление сильное. В течение дороги Маркелов с Неждановым говорил мало; в нем желчь накоплялась... но тут его прорвало. Машурина и Остродумов одобряли его улыбкой, взором, иногда коротким восклицанием; а с Неждановым произошло нечто странное. Сперва он пытался возражать; упомянул о вреде поспешности, преждевременных, необдуманных поступков; главное — он дивился тому, что как это уж так всё решено — и сомнений нет, и не для чего ни справляться с обстоятельствами, ни даже стараться узнать, чего собственно хочет народ?.. Но потом все нервы его натянулись как струны, затрепетали — и он с каким-то отчаянием, чуть не со слезами ярости на глазах, с прорывавшимся криком в голосе принялся говорить в том же духе, как и Маркелов, пошел даже дальше, чем тот. Что побудило его к этому — сказать трудно: раскаяние ли в том, что он как будто ослабел в последнее время, досада ли на себя и на других, потребность ли заглушить какой-то внутренний червь, желание ли, наконец, показать себя перед новоприбывшими эмиссарами... или слова Маркелова точно подействовали на него, зажгли в нем кровь? До самой зари продолжалась беседа; Остродумов и Машурина не вставали с своих стульев, а Маркелов и Нежданов не садились. Маркелов стоял на одном и том же месте, ни дать ни взять часовой; а Нежданов всё расхаживал по комнате — неровными шагами, то медленно, то торопливо. Говорили о предстоявших мерах и средствах, о роли, которую каждый должен был взять на себя, разбирали и связывали в пачки разные книжонки и отдельные листы; упомянули о купце из раскольников, некоем Голушкине, весьма надежном, хотя и необразованном человеке, о молодом пропагандисте Кислякове, который очень, мол, знающ, но уже чересчур юрок и слишком высокого мнения о собственных талантах; произнесли также имя Соломина...

— Это тот, что бумагопрядильной фабрикой заведывает? — спросил Нежданов, вспомнив сказанное о нем за столом у Сипягиных.

— Он самый и есть,— промолвил Маркелов,— надо вам с ним познакомиться; мы его еще не раскусили, но дельный, дельный человек.

Еремей из Голоплёк опять явился на сцену. К нему присоединился сипягинский Кирилло и еще какой-то Менделей, по прозвищу Дутик; только на этого Дутика положиться было трудно: в трезвом виде храбр, а в пьяном труслив; и почти всегда пьян бывает.

— Ну, а собственно из ваших людей,— спросил Нежданов Маркелова,— есть на кого положиться?

Маркелов отвечал, что есть; однако ни одного из них не назвал по имени и пустился толковать о городских мещанах и семинаристах, которые были, впрочем, более полезны тем, что очень крепки телесной силой и уж как примутся действовать кулаками — так уж ну! Нежданов полюбопытствовал насчет дворян. Маркелов отвечал ему, что есть человек пять-шесть из молодых, один из них даже немец — и самый радикальный; только известное дело: на немца рассчитывать нечего... как раз надует или продаст! Да вот надо подождать, какие сведения доставит Кисляков. Нежданов полюбопытствовал также насчет военных. Тут Маркелов запнулся, подергал свои длинные бакенбарды и объявил наконец, что ничего — пока — решительного нет... вот разве что Кисляков откроет.

— Да кто такой этот Кисляков? — нетерпеливо воскликнул Нежданов.

Маркелов значительно усмехнулся и сказал, что это человек... такой человек...

— Я его, впрочем, знаю мало,— прибавил он,— всего два раза с ним виделся; но какие письма этот человек пишет, какие письма!!. Я вам покажу... Вы удивитесь! просто — огонь! И какая деятельность! Раз пять или шесть всю Россию вдоль и поперек проскакал... и с каждой станции письмо в десять — двенадцать страниц!!

Нежданов вопросительно посмотрел на Остродумова; но тот сидел как истукан и даже бровью не шевельнул; а Машурина сложила губы в горькую усмешку и тоже — хоть бы чукнула! Нежданов вздумал было порасспросить Маркелова насчет его преобразований в социальном духе, по хозяйству... но тут Остродумов вмешался.

— К чему об этом толковать теперь? — заметил он,— всё равно надо будет всё потом переделать.

Разговор возвратился опять на политическую почву. Тайный внутренний червь продолжал точить и грызть Нежданова; но чем эта грызь была сильней, тем громче и бесповоротнее говорил он. Он выпил всего один стакан пива; но ему от времени до времени казалось, что он сов-

сем опьянел — и голова его кружилась и сердце стучало с болезненной потяготой. Когда же, наконец, в четвертом часу ночи прения прекратились и собеседники, минуя спавшего в передней казачка, разбрелись по своим углам, Нежданов, прежде чем лег в постель, долго стоял неподвижно, вперив глаза перед собою в пол. Ему чудился постоянный, горестный, душу щемивший звук во всем, что произносил Маркелов: самолюбие этого человека не могло не быть оскорбленным, он *должен* был страдать, его надежды на личное счастие рушились — и, однако, как он себя забывал, как отдавался тому, что признавал за истину! Ограниченный субъект, думалось Нежданову... Но не во сто ли раз лучше быть таким ограниченным субъектом, чем таким... таким, каким *я*, например, чувствую себя?!

Но тут он возмутился против собственного уничижения.

«Почему же так? Разве я тоже не сумею собой пожертвовать? Погодите, господа... И ты, Паклин, убедишься со временем, что я, хоть и эстетик, хоть и пишу стихи...»

Он сердито вскинул волосы рукою, скрипнул зубами и, торопливо сдернув с себя одежду, бросился в холодную и сырую постель.

— Спокойной ночи! — раздался за дверью голос Машуриной,— я — ваша соседка.

— Прощайте,— отвечал Нежданов и тут же вспомнил, что она в течение вечера не спускала с него глаз.

— Чего ей нужно? — шепнул он про себя, и стыдно ему стало. «Ах, хоть бы поскорее заснуть!»

Но с нервами сладить трудно... и солнце стояло уже довольно высоко на небе, когда он наконец заснул тяжелым и безотрадным сном.

На другое утро он встал поздно, с головною болью. Он оделся, подошел к окну мезонина, в котором находилась его комната, и увидал, что у Маркелова собственно и усадьбы не было никакой: флигелек его стоял на юру, недалеко от рощи. Амбарчик, конюшня, погребок, избушка с полуобвалившейся соломенной крышей — с одной стороны; с другой — крохотный пруд, огородец, конопляник и другая избушка с такою же крышей; вдали рига, молотильный сарайчик и пустое гумно — вот и вся «благодать», представлявшаяся взорам. Всё казалось бедным, утлым, и не то чтобы заброшенным или одичалым, а так-таки никогда не расцветшим, как плохо принявшееся деревцо. Нежданов сошел вниз. Машурина сидела в столовой за самоваром и, по-видимому, его дожидалась. Он

узнал от нее, что Остродумов уехал по делу и раньше двух недель не вернется, а хозяин пошел возиться с батраками. Так как май уже близился к концу и спешных работ никаких не было, то Маркелов вздумал собственными средствами свести небольшую березовую рощу — и отправился туда с утра.

Нежданов чувствовал странную усталость на душе. Накануне так много было говорено о невозможности долее медлить, о том, что оставалось только «приступить». Но как приступить, к чему — да еще безотлагательно? У Машуриной нечего было спрашивать: она не ведала колебаний; она не сомневалась в том, что ей нужно было делать, а именно: ехать в К. Дальше она не заглядывала. Нежданов не знал, что сказать ей, и, напившись чаю, надел шапку и пошел по направлению березовой рощи. На дороге ему попались мужики, ехавшие с навозницы, бывшие крестьяне Маркелова. Он заговорил с ними... толку большого он от них не добился. Они тоже казались усталыми — но физической, обыкновенной усталостью, нисколько не похожею на то чувство, которое испытывал он. Прежний их помещик, по их словам, был барин простой, только чудаковатый; они пророчили ему разорение — потому порядков не знает и всё на свой салтык норовит, не так, как отцы. И мудрен тоже бывает — не поймешь его, хоть ты что! — а добрé добр! Нежданов отправился дальше и наткнулся на самого Маркелова.

Он шел, окруженный целой толпою работников; издали можно было видеть, как он им что-то пояснял, толковал, а потом махнул рукой... значит: бросил! Рядом с ним выступал его приказчик, малый молодой и подслеповатый, безо всякой представительности в осанке. Приказчик этот беспрестанно повторял: «Это как будет вам угодно-с» — к великой досаде его начальника, который ожидал от него больше самостоятельности. Нежданов подошел к Маркелову — и увидал на лице его выражéние такой же душевной усталости, какую ощущал он сам. Они поздоровались; Маркелов тотчас заговорил — правда вкратце — о вчерашних «вопросах», о близости переворота; но выражение усталости не покидало его лица. Он был весь в пыли, в поту; древесные стружки, зеленые нити моху прицепились к его платью, голос его охрип... Окружавшие его люди помалчивали: они не то трусили, не то посмеивались... Нежданов глядел на Маркелова — и слова Остродумова снова зазвучали в его голове: «К чему это? Всё равно надо

будет потом всё переделать!» Один провинившийся работник начал упрашивать Маркелова, чтобы тот снял с него штраф... Маркелов сначала рассердился и закричал неистово, а потом простил... «Всё равно надо будет потом всё переделать...» Нежданов попросил у него лошадей и экипажа, чтобы вернуться домой; Маркелов словно удивился его желанию, однако отвечал, что всё тотчас будет готово.

Он вернулся домой вместе с Неждановым... Он на ходу шатался от изнеможения.

— Что с вами? — спросил Нежданов.

— Измучился!! — свирепо проговорил Маркелов.— Как ты с этими людьми ни толкуй, сообразить они ничего не могут — и приказаний не исполняют... Даже по-русски не понимают. Слово: «участок» им хорошо известно... а «участие»... Что такое участие? Не понимают! А ведь тоже русское слово, чёрт возьми! Воображают, что я хочу им участок дать! (Маркелов вздумал разъяснить крестьянам принцип ассоциации и ввести ее у себя, а они упирались. Один из них даже сказал по этому поводу: «Была яма глубока... а теперь и дна не видать...», а все прочие крестьяне испустили глубокий, дружный вздох, что совсем уничтожило Маркелова.)

Вошедши в дом, он отпустил свою свиту и стал распоряжаться насчет экипажа и лошадей и насчет завтрака. Прислуга его состояла из казачка, кухарки, кучера и какого-то очень древнего старика с заросшими ушами, в длиннополом мухояровом кафтане, бывшего камердинера его деда. Этот старик постоянно, с глубокой унылостью глядел на своего барина, а впрочем ничего не делал и вряд ли был в состоянии сделать что-нибудь; но присутствовал неотлучно, прикорнув на рундучке.

Позавтракавши яйцами вкрутую, кильками и окрошкой (горчицу подал казачок в старой помадной банке, уксус в одеколонной склянке), Нежданов сел в тот же самый тарантас, в котором приехал накануне; но вместо трех лошадей ему заложили только двух: третью заковали — и она охромела. В течение завтрака Маркелов говорил мало, ничего не ел и дышал усиленно... Произнес два-три горьких слова о своем хозяйстве — и опять махнул рукой... «Всё равно надо будет потом всё переделать». Машурина попросила Нежданова довезти ее до города: ей понадобилось съездить туда для некоторых покупок; «а вернуться из города я могу пешком — а не то к обратному мужичку на телегу подсяду». Провожая их обоих

до крыльца. Маркелов упомянул о том, что вскорости опять пришлет за Неждановым — и тогда... тогда (он встрепенулся и опять приободрился) надо будет окончательно условиться; что Соломин тоже тогда приедет; что он, Маркелов, ждет только известия от Василья Николаевича — и тогда останется одно: немедленно «приступить», так как народ (тот самый народ, который не понимает слова «участие») дольше ждать не согласен!

— А что же, вы хотели показать мне письма этого... как бишь его? Кислякова? — спросил Нежданов.

— После... после,— поспешно проговорил Маркелов.— Тогда уже всё — разом.

Тарантас тронулся.

— Будьте готовы! — раздался в последний раз голос Маркелова. Он стоял на крыльце, а рядом с ним, с тою же неизменной унылостью во взгляде, вытянув сгорбленный стан, заложив обе руки за спину, распространяя запах ржаного хлеба и мухояра и ничего не слыша, стоял «из слуг слуга», дряхлый дедовский камердинер.

До самого города Машурина молчала, только покуривала папиросу. Приближаясь к заставе, она вдруг громко вздохнула.

— Жаль мне Сергея Михайловича,— промолвила она, и лицо ее омрачилось.

— Захлопотался он совсем,— заметил Нежданов,— мне кажется, хозяйство его идет плохо.

— Мне не оттого его жаль.

— Отчего же?

— Несчастный он человек, неудачливый!.. Уж на что лучше его... ан нет! Не годится!

Нежданов посмотрел на свою спутницу.

— Да вам разве что-нибудь известно?

— Ничего мне не известно... а всякий это чувствует по себе. Прощайте, Алексей Дмитрич.

Машурина вылезла из тарантаса — а час спустя Нежданов уже въезжал во двор сипягинского дома. Не очень хорошо он себя чувствовал... Ночь он провел без сна... и потом все эти словопрения... эти толки...

Красивое лицо выглянуло из окна и дружелюбно ему улыбнулось... Это Сипягина приветствовала его возвращение.

«Какие у ней глаза!» — подумалось ему.

XII

К обеду наехало много народу, а после обеда Нежданов, воспользовавшись общей суетой, ускользнул к себе в комнату. Ему хотелось остаться наедине с самим собою, хотя бы для того только, чтобы привести в порядок впечатления, вынесенные им из его поездки. За столом Валентина Михайловна несколько раз внимательно посмотрела на него, но, по-видимому, не имела возможности заговорить с ним; а Марианна, после той неожиданной выходки, столь его удивившей, как будто совестилась и избегала его. Нежданов взял было перо в руки; ему захотелось побеседовать на бумаге с своим другом Силиным; но он не нашел, что сказать даже другу; или, быть может, так много противоположных мыслей и ощущений столпилось у него в голове, что он не попытался их распутать и отложил всё до другого дня. В числе обедавших был также г. Калломейцев; никогда он не выказывал более высокомерия и джентльменской презрительности; но его развязные речи нисколько не действовали на Нежданова: он не замечал их. Его окружало какое-то облако; полутусклой завесой стояло оно между ним и остальным миром, и — странное дело! — сквозь эту завесу виднелись ему только три лица, и все три женских, и все три упорно устремляли на него свои глаза. Это были: Сипягина, Машурина и Марианна. Что это значило? И почему именно эти три лица? Что между ними общего? И что хотят они от него?

Он лег спать рано, но заснуть не мог. Его посетили не то что печальные, а темные мысли... мысли о неизбежном конце, о смерти. Они были ему знакомы. Долго он переворачивал их и так и сяк, то содрогаясь перед вероятностью ничтожества, то приветствуя ее, почти радуясь ей. Он почувствовал наконец особенное, ему знакомое волнение... Он встал, сел за письменный стол и, немного подумав, почти без поправки, вписал следующее стихотворение в свою заветную тетрадку:

Милый друг, когда я буду
Умирать — вот мой приказ.
Всех моих писаний груду
Истреби ты в тот же час!
Окружи меня цветами,
Солнце в комнату впусти,

За раскрытыми дверями
Музыкантов помести.
Запрети им плач печальный!
Пусть, как будто в час пиров,
Резко взвизгнет вальс нахальный
Под ударами смычков!
Слухом гаснущим внимая
Замираниям струны,
Сам замру я, засыпая...
И предсмертной тишины
Не смутив напрасным стоном,
Перейду я в мир иной,
Убаюкан легким звоном
Легкой радости земной!

Когда он писал слово «друг», он думал о том же Силине. Он продекламировал вполголоса свое стихотворение — и сам удивился тому, что у него вышло из-под пера. Этот скептицизм, это равнодушие, это легкомысленное безверие — как согласовалось всё это с его принципами? с тем, что он говорил у Маркелова? Он бросил тетрадку в ящик стола и вернулся к своей постели. Но заснул он перед самым утром, когда уже первые жаворонки зазвенели в побелевшем небе.

На другой день — он только что кончил урок и сидел в билліардной — Сипягина вошла, оглянулась и, с улыбкой подойдя к нему, позвала его к себе в кабинет. На ней было легкое барежевое платье, очень простенькое и очень миленькое: обшитые рюшами рукава доходили только до локтей, широкая лента охватывала ее стан, волосы падали густыми космами на шею. Всё в ней дышало приветом и лаской, бережной, ободряющей лаской,— всё: и укрощенный блеск полузакрытых глаз, и мягкая леность голоса, движений, самой походки. Сипягина привела Нежданова в свой кабинет, уютный, приятный, весь пропитанный запахом цветов и духов, чистой свежестью женских одежд, постоянного женского пребывания; посадила его на кресло, села сама возле него и начала его расспрашивать об его поездке, о житье-бытье Маркелова — и так осторожно, кротко, хорошо! Она выказала искреннее участие к судьбе брата, о котором до тех пор — при Нежданове — не упоминала ни разу; из иных ее слов можно было понять, что от ее внимания не ускользнуло чувство, внушенное ему Марианной; она слегка погрустила... о

том ли, что со стороны Марианны не проявилось взаимности, о том ли, что выбор брата пал на девушку, в сущности ему чуждую,— это осталось неразъясненным. Но главное: она явно старалась приручить Нежданова, возбудить в нем доверие к ней, заставить его перестать дичиться. Валентина Михайловна даже немножко попеняла на него за то, что он имеет о ней ложное понятие.

Нежданов слушал ее, глядел ей на руки, на плечи, изредка бросал взор на ее розовые губы, на чуть-чуть колебавшиеся пряди волос. Сперва он отвечал очень кратко; он ощущал некоторое стеснение в горле и в груди... но мало-помалу ощущение это сменилось другим, всё еще неспокойным, но не лишенным некоторой сладости; он никак не ожидал, что такая важная и красивая барыня, такая аристократка в состоянии заинтересоваться им, простым студентом; а она не только им интересовалась — она как будто немножко кокетничала с ним. Нежданов спрашивал себя: для чего она это всё делает? — и не находил ответа; да, правду сказать, он и не нуждался в нем. Г-жа Сипягина заговорила о Коле; она даже начала уверять Нежданова, что собственно для того только и пожелала с ним сблизиться, чтобы серьезно побеседовать о своем сыне,— вообще чтобы узнать его мысли насчет воспитания русских детей. Несколько странною могла показаться внезапность, с которою возникло в ней это желание. Но дело было вовсе не в том, чтó именно говорила Валентина Михайловна, а в том, что на нее набежало нечто вроде чувственной струи; явилась потребность покорить, нагнуть к ногам своим эту непокорную голову.

Но здесь приходится вернуться несколько назад.

Валентина Михайловна была дочь очень ограниченного и не бойкого генерала, с одной звездой и пряжкой за пятидесятилетнюю службу, и очень пронырливой и хитрой малороссии, одаренной, как многие ее соотечественницы, крайне простодушной и даже глуповатой наружностью, из которой она умела извлечь всю возможную пользу. Родители Валентины Михайловны были люди небогатые; однако она попала в Смольный монастырь, где хотя и считалась республиканкой, но была на виду и на хорошем счету, потому что прилежно училась и примерно вела себя. По выходе из Смольного она поселилась вместе с матерью (брат уехал в деревню, отец, генерал со звездою и пряжкою, уже умер) в опрятной, но очень холодной квартире: когда в этой квартире говорили, можно было

видеть пар, выходивший из уст; Валентина Михайловна смеялась и уверяла, что это — «как в церкви». Она храбро переносила все неудобства бедного, стесненного житья: у ней был удивительный ровный нрав. С помощью матери ей удалось поддержать и приобрести знакомства и связи: о ней говорили все, даже в высших сферах, как о девушке очень милой, очень образованной — и очень приличной. У Валентины Михайловны было несколько женихов; из всех из них она выбрала Сипягина — и влюбила его в себя очень просто, быстро и ловко... Впрочем, он и сам скоро понял, что ему лучше жены не найти. Она была умна, не зла... скорей добра, в сущности холодна и равнодушна... и не допускала мысли, чтобы кто-нибудь мог остаться равнодушным к ней. Валентина Михайловна была проникнута той особенной грацией, которая свойственна «милым» эгоистам; в этой грации нет ни поэзии, ни истинной чувствительности, но есть мягкость, есть симпатия, есть даже нежность. Только перечить этим прелестным эгоистам не следует: они властолюбивы и не выносят чужой самостоятельности. Женщины, подобные Сипягиной, возбуждают и волнуют людей неопытных и страстных; сами они любят правильность и тишину жизни. Добродетель им легко дается — они невозмутимы; но постоянное желание повелевать, привлекать и нравиться придает им подвижность и блеск: воля у них крепкая — и самое их обаяние частью зависит от этой крепкой воли... Трудно устоять человеку, когда по такому ясному, нетронутому существу забегают огоньки как бы невольной тайной неги; он так и ждет, что вот-вот наступит час — и лед растает; но светлый лед только играет лучами и не растаять и не помутиться ему никогда!

Кокетничать немногого стоило Сипягиной: она очень хорошо знала, что опасности для нее нет и не может быть. А между тем заставить чужие глаза то померкнуть, то заблистать, чужие щеки разгореться желанием и страхом, чужой голос задрожать и оборваться, смутить чужую душу — о, как это было сладко *ее* душе! Как весело было вспоминать поздно вечером, ложась в свое чистое ложе на безмятежный сон,— вспоминать все эти взволнованные слова, и взгляды, и вздохи! С какой довольной улыбкой уходила она тогда вся в себя, в сознательное ощущение своей неприступности, своей недосягаемости — и снисходительно отдавалась законным ласкам благовоспитанного супруга! Это было так приятно, что она даже умилялась

подчас и готова была сделать доброе дело, помочь ближнему... Она однажды основала маленькую богадельню после того, как один до безумия в нее влюбленный секретарь посольства попытался зарезаться! Она искренно молилась за него, хотя религиозное чувство с самых ранних лет в ней было слабо.

Итак, она беседовала с Неждановым и всячески старалась покорить его себе «под нóзи». Она допускала его до себя, она как бы раскрывалась перед ним — и с милым любопытством, с полуматеринской нежностью смотрела, как этот очень недурной и интересный и суровый радикал тихонько и неловко шел ей навстречу. День, час, минуту спустя всё это исчезнет без следа, но пока ей весело, ей немножко смешно, немножко жутко — и немножко даже грустно. Позабыв его происхождение и зная, как подобное внимание ценится одинокими, отчуждéнными людьми, Валентина Михайловна начала было расспрашивáть Нежданова об его молодости, об его семье... Но мгновенно догадавшись по его смущенным и резким отзывам, что попала впросак, Валентина Михайловна постаралась загладить свою ошибку и распустилась еще немножко больше перед ним... Так в томный жар летнего полудня расцветшая роза распускает свои душистые лепестки, которые вскоре снова сожмет и свернет крепительная прохлада ночи.

Вполне загладить свою ошибку ей, однако, не удалось. Затронутый за больное место, Нежданов уже не мог довериться по-прежнему. То горькое, что он всегда носил, всегда ощущал на дне души,— шевельнулось опять; проснулись демократические подозрения и укоризны. «Не для этого приехал я сюда»,— подумалось ему; вспомнились ему насмешливые наставления Паклина... и он воспользовался первой минутой молчания, встал, поклонился коротким поклоном — и вышел «очень глупо», как он невольно шепнул самому себе. Его смущение не ускользнуло от Валентины Михайловны... но, судя по улыбочке, с которой она проводила его взором, она растолковала это смущение выгодным для себя образом.

В биллиардной Нежданову попалась Марианна. Она стояла спиной к окну, недалеко от двери кабинета, тесно скрестив руки. Лицо ее находилось в почти черной тени; но так вопросительно, так настойчиво глядели на Нежданова ее смелые глаза, такое презрение, такую обидную

жалость выражали ее сжатые губы, что он остановился в недоумении...

— Вы хотите мне что-то сказать? — невольно проговорил он.

Марианна не тотчас ответила.

— Нет... или да; хочу. Только не теперь.

— Когда же?

— А вот погодите. Может быть, завтра; может быть — никогда. Я ведь очень мало знаю, кто вы собственно такой.

— Однако,— начал Нежданов,— мне иногда казалось... что между нами...

— А вы меня совсем не знаете,— перебила Марианна.— Да вот погодите. Завтра, может быть. Теперь мне надо идти к моей... госпоже. До завтра.

Нежданов ступил раза два — но вдруг вернулся.

— Ах да! Марианна Викентьевна... я всё хотел вас спросить: не позволите ли вы мне пойти с вами в школу, посмотреть, как вы там занимаетесь, пока ее не закрыли.

— Извольте... Только я не о школе хотела с вами говорить.

— А о чем же?

— До завтра,— повторила Марианна.

Но она не дождалась завтрашнего дня — и разговор между ею и Неждановым произошел в тот же вечер — в одной из липовых аллей, начинавшихся недалеко от террасы.

XIII

Она сама первая приблизилась к нему.

— Г-н Нежданов,— начала она торопливым голосом,— вы, кажется, совершенно очарованы Валентиной Михайловной?

Она повернулась, не дождавшись ответа, и пошла вдоль аллеи; и он пошел с ней рядом.

— Почему вы это думаете? — спросил он погодя немного.

— А разве нет? В таком случае она дурно распорядилась сегодня. Воображаю, как она хлопотала, как расставляла свои маленькие сети!

Нежданов ни слова не промолвил и только сбоку посмотрел на свою странную собеседницу.

— Послушайте,— продолжала она,— я не стану притворяться: я не люблю Валентины Михайловны — и вы

это очень хорошо знаете. Я могу вам показаться несправедливой... но вы сперва подумайте...

Голос пресекся у Марианны. Она краснела, она волновалась... Волнение у ней всегда принимало такой вид, как будто она злится.

— Вы, вероятно, спрашиваете себя,— начала она снова: — зачем эта барышня мне всё это рассказывает? Вы, должно быть, то же самое подумали, когда я вам сообщила известие... насчет г-на Маркелова.

Она вдруг нагнулась, сорвала небольшой грибок, переломила его пополам и отбросила в сторону.

— Вы ошибаетесь, Марианна Викентьевна,— промолвил Нежданов,— я, напротив, подумал, что я внушаю вам доверие, и эта мысль мне была очень приятна.

Нежданов сказал не полную правду: эта мысль только теперь пришла ему в голову.

Марианна мгновенно глянула на него. До тех пор она всё отворачивалась.

— Вы не то чтобы внушали мне доверие,— проговорила она, как бы размышляя,— вы ведь мне совсем чужой. Но ваше положение и мое — очень схожи. Мы оба одинаково несчастливы; вот что нас связывает.

— Вы несчастливы? — спросил Нежданов.

— А вы — нет? — отвечала Марианна.

Он ничего не сказал.

— Вам известна моя история? — заговорила она с живостью,— история моего отца? его ссылка? Нет? Ну, так знайте же, что он был взят под суд, найден виноватым, лишен чинов... и всего — и сослан в Сибирь. Потом он умер... мать моя тоже умерла. Дядя мой, г-н Сипягин, брат моей матери, призрел меня — я у него на хлебах, он мой благодетель, и Валентина Михайловна моя благодетельница,— а я им плачу черной неблагодарностью, потому что у меня, должно быть, сердце черствое — и чужой хлеб горек — и я не умею переносить снисходительных оскорблений — и покровительства не терплю... и не умею скрывать — и когда меня беспрестанно колют булавками, я только оттого не кричу, что я очень горда.

Произнося эти отрывочные речи, Марианна шла всё быстрей и быстрей.

Она вдруг остановилась.

— Знаете ли, что моя тетка, чтобы только сбыть меня с рук, прочит меня... за этого гадкого Калломейцева? Ведь ей известны мои убежденья, ведь я в глазах ее ниги-

листка — а он! Я, конечно, ему не нравлюсь, я ведь некрасива, но продать меня можно. Ведь это тоже благодеяние!

— Зачем же вы...— начал было Нежданов и запнулся.

Марианна опять мгновенно глянула на него.

— Зачем я не приняла предложение г-на Маркелова, хотите вы сказать? Не так ли? Да; но что же делать? Он хороший человек. Но я не виновата, я не люблю его.

Марианна снова пошла вперед, как бы желая избавить своего собеседника от обязанности чем-нибудь отозваться на это нежданное признание.

Они оба достигли конца аллеи. Марианна проворно свернула на узкую дорожку, проложенную сквозь сплошной ельник, и пошла по ней. Нежданов отправился за Марианной. Он ощущал двойное недоумение: чудно́ ему казалось, каким образом эта дикая девушка вдруг так откровенничает с ним, и еще больше дивился он тому, что откровенность эта нисколько его не поражает, что он находит ее естественной.

Марианна вдруг обернулась и стала посреди дорожки, так что ее лицо пришлось на расстоянии аршина от лица Нежданова,— и глаза ее вонзились прямо в его глаза.

— Алексей Дмитрич,— заговорила она,— не думайте, что моя тетка зла... Нет! она вся — ложь, она комедиантка, она позерка — она хочет, чтобы все ее обожали как красавицу и благоговели перед нею, как перед святою! Она придумает задушевное слово, скажет его одному, а потом повторяет это же слово другому и третьему — и всё с таким видом, как будто она сейчас это слово придумала, и тут же кстати играет своими чудесными глазами! Она самое себя очень хорошо знает — она знает, что похожа на мадонну, и никого не любит! Притворяется, что всё возится с Колей, а только всего и делает, что говорит о нем с умными людьми. Сама она никому зла не желает... Она вся — благоволение! Но пускай вам в ее присутствии все кости в теле переломают... ей ничего! Она пальцем не пошевельнет, чтобы вас избавить; а если ей это нужно или выгодно... тогда... о, тогда!

Марианна умолкла. Желчь душила ее, она решилась дать ей волю, она не могла удержаться — но речь ее невольно обрывалась. Марианна принадлежала к особенному разряду несчастных существ (в России они стали попадаться довольно часто)... Справедливость удовлетворяет, но не радует их, а несправедливость, на которую они

страшно чутки, возмущает их до дна души. Пока она говорила, Нежданов глядел на нее внимательно; ее покрасневшее лицо, с слегка разбросанными короткими волосами, с трепетным подергиваньем тонких губ, показалось ему и угрожающим, и значительным — и красивым. Солнечный свет, перехваченный частой сеткой ветвей, лежал у ней на лбу золотым косым пятном — и этот огненный язык шел к возбужденному выражению всего ее лица, к широко раскрытым, недвижным и блестящим глазам, к горячему звуку ее голоса.

— Скажите,— спросил ее наконец Нежданов,— отчего вы меня назвали несчастливым? Разве вам известно мое прошедшее?

Марианна кивнула головою.

— Да.

— То есть... как же так известно? Вам кто-нибудь говорил обо мне?

— Мне известно... ваше происхождение.

— Вам известно... Кто же вам сказал?

— Да всё та же — та же Валентина Михайловна, которою вы так очарованы. Она не преминула заметить при мне, по обыкновенью вскользь, но внятно — не с сожаленьем, а как либералка, которая выше всяких предрассудков,— что вот, мол, какая существует случайность в жизни нашего нового учителя! Не удивляйтесь, пожалуйста: Валентина Михайловна точно так же вскользь и с сожаленьем чуть не всякому посетителю сообщает, что вот, мол, в жизни моей племянницы какая существует... случайность: ее отца за взятки сослали в Сибирь! Какою аристократкой она себя ни воображай — она просто сплетница и позерка, эта ваша рафаэлевская Мадонна!

— Позвольте,— заметил Нежданов,— почему же она «моя»?

Марианна отвернулась и пошла опять по дорожке.

— У вас с нею был такой большой разговор,— произнесла она глухо.

— Я почти ни одного слова не вымолвил,— ответил Нежданов,— она одна всё время говорила.

Марианна шла вперед молча. Но вот дорожка повернула в сторону — ельник словно расступился, и открылась впереди небольшая поляна с дуплистой плакучей березой посредине и круглой скамьей, охватывавшей ствол старого дерева. Марианна села на эту скамью; Нежданов поместился рядом. Над головами обоих тихонько

покачивались длинные пачки висячих веток, покрытых мелкими зелеными листочками. Кругом в жидкой траве белели ландыши, и от всей поляны поднимался свежий запах молодой травы, приятно облегчавший грудь, всё еще стесненную смолистыми испарениями елей.

— Вы хотите пойти со мной посмотреть здешнюю школу,— начала Марианна,— что ж? пойдемте. Только... я не знаю. Удовольствия вам будет мало. Вы слышали: наш главный учитель — диакон. Он человек добрый, но вы не можете себе представить, о чем он беседует с учениками! Меж ними есть мальчик... его зовут Гарасей — он сирота, девяти лет,— и, представьте! он учится лучше всех!

Переменив внезапно предмет разговора, Марианна сама как будто изменилась: она побледнела, утихла — и лицо ее выразило смущение, словно ей совестно стало всего, что она наговорила. Ей, видимо, хотелось навести Нежданова на какой-нибудь «вопрос» — школьный, крестьянский — лишь бы только не продолжать в прежнем тоне. Но ему в эту минуту было не до «вопросов».

— Марианна Викентьевна,— начал он,— скажу вам откровенно; я никак не ожидал всего того... что теперь произошло между нами. (При слове «произошло» она слегка насторожилась.) Мне кажется, мы вдруг — очень... очень сблизились. Да оно так и следовало. Мы давно подходим друг к другу; только голосу не подавали. А потому я буду с вами говорить без утайки. Вам тяжело и тошно в здешнем доме; но дядя ваш — он хотя ограниченный, однако, насколько я могу судить, гуманный человек? — разве он не понимает вашего положения, не становится на вашу сторону?

— Мой дядя? Во-первых — он вовсе не человек; он чиновник — сенатор или министр... я уж не знаю. А во-вторых... я не хочу напрасно жаловаться и клеветать: мне вовсе не тошно и не тяжело здесь, то есть меня здесь не притесняют; маленькие шпильки моей тетки в сущности для меня ничто... Я совершенно свободна.

Нежданов с изумлением глянул на Марианну.

— В таком случае... всё, что вы мне сейчас говорили...

— Вы вольны смеяться надо мною,— подхватила она,— но если я несчастна, то не своим несчастьем. Мне кажется иногда, что я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси... нет, не страдаю — а негодую за них, возмущаюсь... что я за них готова... голову сложить. Я несчастна тем, что я барышня, приживалка, что

я ничего, ничего не могу и не умею! Когда мой отец был в Сибири, а я с матушкой оставалась в Москве — ах, как я рвалась к нему! И не то чтобы я очень его любила или уважала — но мне так хотелось изведать самой, посмотреть собственными глазами, как живут ссыльные, загнанные... И как мне было досадно на себя и на всех этих спокойных, зажиточных, сытых!.. А потом, когда он вернулся, надломанный, разбитый, и начал унижаться, хлопотать и заискивать... ах, как это было тяжело! Как хорошо он сделал, что умер... и матушка тоже! Но вот я осталась в живых... К чему? Чтобы чувствовать, что у меня дурной нрав, что я неблагодарна, что со мной ладу нет — и что я ничего, ничего не могу ни для чего, ни для кого!

Марианна отклонилась в сторону, рука ее скользнула на скамью. Нежданову стало очень жаль ее; он прикоснулся к этой повисшей руке... но Марианна тотчас ее отдернула, не потому, чтобы движение Нежданова показалось ей неуместным, а чтобы он — сохрани бог — не подумал, что она напрашивается на участие.

Сквозь ветки ельника мелькнуло вдали женское платье.

Марианна выпрямилась.

— Посмотрите, ваша мадонна выслала свою шпионку. Эта горничная должна наблюдать за мною и доносить своей барыне, где я бываю и с кем! Тетка, вероятно, сообразила, что я с вами, и находит, что это неприлично, особенно после сентиментальной сцены, которую она перед вами разыграла. Да и в самом деле — пора вернуться. Пойдемте.

Марианна встала; Нежданов тоже поднялся с своего места. Она глянула на него через плечо, и вдруг по ее лицу мелькнуло выражение почти детское, миловидное, немного смущенное.

— Вы ведь не сердитесь на меня? Вы не думаете, что я тоже порисовалась перед вами? Нет, вы этого не подумаете,— продолжала она, прежде чем Нежданов ей что-нибудь ответил.— Вы ведь такой же, как я — несчастный,— и нрав у вас тоже... дурной, как у меня. А завтра мы пойдем вместе в школу, потому что мы ведь теперь хорошие приятели.

Когда Марианна и Нежданов приблизились к дому, Валентина Михайловна посмотрела на них в лорнетку с высоты балкона — и с своей обычной кроткой улыбкой тихонько покачала головою; а возвращаясь через раскры-

тую стеклянную дверь в гостиную, в которой Сипягин уже сидел за преферансом с завернувшим на чаек беззубым соседом, промолвила громко и протяжно, отставляя слог от слога:

— Как сыро на воздухе! Это нездорово!

Марианна переглянулась с Неждановым; а Сипягин, который только что обремизил своего партнера, бросил на жену истинно министерский взор вбок и вверх через щеку — и потом перевел тот же сонливо-холодный, но проницательный взор на входившую из темного сада молодую чету.

XIV

Минуло еще две недели. Всё шло своим порядком. Сипягин распределял ежедневные занятия если не как министр, то уже наверное как директор департамента, и держался по-прежнему — высоко, гуманно и несколько брезгливо; Коля брал уроки, Анна Захаровна терзалась постоянной, угнетенной злобой, гости наезжали, разговаривали, сражались в карты — и, по-видимому, не скучали; Валентина Михайловна продолжала заигрывать с Неждановым, хотя к ее любезности стало примешиваться нечто вроде добродушной иронии. С Марианной Нежданов окончательно сблизился — и, к удивлению своему, нашел, что у ней характер довольно ровный и что с ней можно говорить обо всем, не натыкаясь на слишком резкие противоречия. Вместе с нею он раза два посетил школу, но с первого же посещения убедился, что ему тут делать нечего. Отец диакон завладел ею вдоль и поперек, с разрешения Сипягина и по его воле. Отец диакон учил грамоте недурно, хотя по старинному способу — но на экзаменах предлагал вопросы довольно несообразные; например, он спросил однажды Гарасю: Как, мол, он объясняет выражение: «Темна вода во облацех»? — на что Гарася должен был, по указанию самого отца диакона, ответствовать: «Сие есть необъяснимо». Впрочем, школа скоро и так закрылась, по случаю летнего времени, до осени. Памятуя наставления Паклина и других, Нежданов старался также сближаться с крестьянами, но вскорости заметил, что он просто изучает их, насколько хватало наблюдательности, а вовсе не пропагандирует! Он почти всю свою жизнь провел в городе — и между ним и деревенским людом существовал овраг или ров, через который он никак не мог пере-

скочить. Нежданову пришлось обменяться несколькими словами с пьяницей Кириллой и даже с Менделеем Дутиком, но — странное дело! — он словно робел перед ними, и, кроме очень общей и очень короткой ругани, он от них ничего не услышал. Другой мужик — звали его Фитюевым — просто в тупик его поставил. Лицо у этого мужика было необычайно энергическое, чуть не разбойничье... «Ну, этот, наверное, надежный!» — думалось Нежданову... И что же? Фитюев оказался бобылем; у него мир отобрал землю, потому что он — человек здоровый и даже сильный — *не мог* работать. «Не могу! — всхлипывал Фитюев сам, с глубоким, внутренним стоном, и протяжно вздыхал.— Не могу я работать! Убейте меня! А то я на себя руки наложу!» И кончал тем, что просил милостыньки — грошика на хлебушко... А лицо — как у Ринальдо Ринальдини! Фабричный народ — так тот совсем не дался Нежданову; все эти ребята были либо ужасно бойкие, либо ужасно мрачные... и у Нежданова с ними тоже не вышло ничего. Он по этому поводу написал другу своему Силину большое письмо, в котором горько жаловался на свою неумелость и приписывал ее своему скверному воспитанию и пакостной эстетической натуре! Он вдруг вообразил, что его призвание — в деле пропаганды — действовать не живым, устным словом, а письменным; но задуманные им брошюры не клеились. Всё, что он пытался выводить на бумаге, производило на него самого впечатление чего-то фальшивого, натянутого, неверного в тоне, в языке — и он раза два — о ужас! — невольно сворачивал на стихи или на скептические личные излияния. Он даже решился (важный признак доверия и сближения!) говорить об этой своей неудаче с Марианной... и опять-таки, к удивлению своему, нашел в ней сочувствие — разумеется, не к своей беллетристике, а к той нравственной болезни, которой он страдал и которая не была ей чужда. Марианна не хуже его восставала на эстетику; а собственно потому и не полюбила Маркелова и не пошла за него, что в нем не существовало и следа той самой эстетики! Марианна, конечно, в этом даже себе самой не смела сознаться; но ведь только то и сильно в нас, что остается для нас самих полуподозренной тайной.

Так шли дни — туго, неровно, но не скучно.

Нечто странное происходило с Неждановым. Он был недоволен собою, своей деятельностью, то есть своим бездействием; речи его почти постоянно отзывались желчью

и едкостью самобичевания; а на душе у него — где-то там, очень далеко внутри — было недурно; он испытывал даже некоторое успокоение. Было ли то следствием деревенского затишья, воздуха, лета, вкусной пищи, удобного житья, происходило ли оно оттого, что ему в первый раз от роду случилось изведать сладость соприкосновения с женскою душою,— сказать трудно; но ему в сущности было даже легко, хотя он и жаловался — искренно жаловался — другу своему, Силину.

Впрочем, это настроение Нежданова было внезапно и насильственно прервано — в один день.

Утром того дня он получил записку от Василия Николаевича, в которой предписывалось ему вместе с Маркеловым — в ожидании дальнейших инструкций — немедленно познакомиться и сговориться с уже поименованным Соломиным и некоторым купцом Голушкиным, старообрядцем, проживавшим в С *. Записка эта перетревожила Нежданова; упрек его бездействию послышался ему в ней. Горечь, которая всё это время кипела у него на одних словах, теперь снова поднялась со дна его души.

К обеду приехал Калломейцев, расстроенный и раздраженный.

— Представьте,— закричал он почти слезливым голосом,— какой ужас я сейчас вычитал в газете: моего друга, моего милого Михаила, сербского князя, какие-то злодеи убили в Белграде! До чего, наконец, дойдут эти якобинцы и революционеры, если им не положат твердый предел!

Сипягин «позволил себе заметить», что это гнусное убийство, вероятно, совершено не якобинцами — «коих в Сербии не предполагается»,— а людьми партии Карагеоргиевичей, врагами Обреновичей... Но Калломейцев ничего слышать не хотел и тем же слезливым голосом начал снова рассказывать, как покойный князь его любил и какое ему подарил ружье!.. Понемногу расходившись и придя в азарт, Калломейцев от заграничных якобинцев обратился к доморощенным нигилистам и социалистам — и разразился наконец целой филиппикой. Обхватив, помодному, большой белый хлеб обеими руками и переламывая его пополам над тарелкой супа, как это делают завзятые парижане в «Café Riche», он изъявлял желание раздробить, превратить в прах всех тех, которые сопротивляются — чему бы и кому бы то ни было!!. Он именно так выразился. «Пора! пора!» — твердил он, занося себе

ложку в рот. «Пора! пора!» — повторял он, подставляя рюмку слуге, разливавшему херес. С благоговеньем упомянул он о великих московских публицистах — и Ladislas, notre bon et cher Ladislas [1], не сходил у него с языка. И при этом он то и дело устремлял взор на Нежданова, словно тыкал его им. «Вот, мол, тебе! Получай загвоздку! Это я на твой счет! А вот еще!» Тот не вытерпел, наконец, и начал возражать — немного, правда, трепетным (конечно, не от робости) и хриповатым голосом; начал защищать надежды, принципы, идеалы молодежи. Калломейцев немедленно запищал — негодование в нем всегда выражалось фальцетом — и стал грубить. Сипягин величественно принял сторону Нежданова; Валентина Михайловна тоже соглашалась с мужем; Анна Захаровна старалась отвлечь внимание Коли и бросала куда ни попало яростные взгляды из-под нависшего чепца; Марианна не шевелилась, словно окаменела.

Но вдруг, услышав в двадцатый раз произнесенное имя Ladislas'а, Нежданов вспыхнул весь и, ударив ладонью по столу, воскликнул:

— Вот нашли авторитет! Как будто мы не знаем, чтó такое этот Ladislas! Он — прирожденный клеврет и больше ничего!

— А... а... а... во... вот как... вот ку... куда! — простонал Калломейцев, заикаясь от бешенства...— Вы вот как позволяете себе отзываться о человеке, которого уважают такие особы, как граф Блазенкрампф и князь Коврижкин!

Нежданов пожал плечами.

— Хороша рекомендация: князь Коврижкин, этот лакей-энтузиаст...

— Ladislas — мой друг! — закричал Калломейцев.— Он мой товарищ — и я...

— Тем хуже для вас,— перебил Нежданов,— значит, вы разделяете его образ мыслей и мои слова относятся также к вам.

Калломейцев помертвел от злости.

— Ка... как? Что? Как вы смеете? На... надобно вас... сейчас...

— Чтó вам угодно сделать со мною *сейчас*? — вторично, с иронической вежливостью перебил Нежданов.

---

[1] Ладислас, наш добрый и милый Ладислас *(франц.)*.

Бог ведает, чем бы разрешилась эта схватка между двумя врагами, если бы Сипягин не прекратил ее в самом начале. Возвысив голос и приняв осанку, в которой неизвестно что преобладало: важность ли государственного человека, или же достоинство хозяина дома — он с спокойной твердостью объявил, что не желает слышать более у себя за столом подобные неумеренные выражения; что он давно поставил себе правилом (он поправился: священным правилом) уважать всякого рода убеждения, но только с тем (тут он поднял указательный палец, украшенный гербовым кольцом), чтобы они удерживались в известных границах благопристойности и благоприличия; что если он, с одной стороны, не может не осудить в г-не Нежданове некоторую невоздержность языка, извиняемую, впрочем, молодостью его лет, то, с другой стороны, не может также одобрить в г-не Калломейцеве ожесточение его нападок на людей противного лагеря — ожесточение, объясняемое, впрочем, его рвением к общему благу.

— Под моим кровом,— так кончил он,— под кровом Сипягиных, нет ни якобинцев, ни клевретов, а есть только добросовестные люди, которые, однажды поняв друг друга, непременно кончат тем, что подадут друг другу руки!

Нежданов и Калломейцев умолкли оба — однако руки друг другу не подали; видно, час взаимного понимания не наступил для них. Напротив: они никогда еще не чувствовали такой сильной взаимной ненависти. Обед кончился в неприятном и неловком молчании; Сипягин попытался рассказать какой-то дипломатический анекдот, но так и бросил его на полпути. Марианна упорно глядела в свою тарелку. Ей не хотелось выказать сочувствия, возбужденного в ней речами Нежданова, не из трусости — о, нет! но надо было прежде всего не выдать себя Сипягиной. Она чувствовала на себе ее проницательный, пристальный взор. И действительно. Сипягина не спускала с нее глаз — с нее и с Нежданова. Его неожиданная вспышка сперва поразила умную барыню, а потом ее как будто что озарило — да так, что она невольно шепнула: — А!.. Она вдруг догадалась, что Нежданов отвернулся от нее, тот самый Нежданов, который еще недавно шел к ней в руки. «Тут что-то произошло... Уж не Марианна ли? Да, наверное, Марианна... Он ей нравится... да и он...»

«Надо принять меры»,— так заключила она свои рассуждения, а между тем Калломейцев задыхался от негодования. Даже играя в преферанс, часа два спустя, он

произносил слова: «Пас!» или «Покупаю!» — с наболевшим сердцем, и в голосе его слышалось глухое тре́моло обиды, хотя он и показывал вид, что «презирает»! Один Сипягин был собственно даже очень доволен всей этой сценой. Ему пришлось выказать силу своего красноречия, усмирить начинавшуюся бурю... Он знал латинский язык, и вергилиевское: Quos ego! (Я вас!) — не было ему чуждым. Сознательно он не сравнивал себя с Нептуном, но как-то сочувственно вспомнил о нем.

XV

Как только оказалось возможным, Нежданов отправился к себе в комнату и заперся. Ему не хотелось ни с кем видеться — ни с кем, кроме Марианны. Ее комната находилась на самом конце длинного коридора, пересекавшего весь верхний этаж. Нежданов только раз — и то на несколько минут — заходил туда; но ему казалось, что она не рассердится, если он к ней постучится, что она даже желает переговорить с ним. Было уже довольно поздно, часов около десяти; хозяева, после сцены за обедом, не считали нужным его тревожить и продолжали играть в карты с Калломейцевым. Валентина Михайловна раза два наведалась о Марианне, так как она тоже исчезла скоро после стола.— Где же Марианна Викентьевна? — спросила она сперва по-русски, потом по-французски, не обращаясь ни к кому в особенности, а более к стенам, как это обыкновенно делают очень удивленные люди; впрочем, она вскоре сама занялась игрой.

Нежданов прошелся несколько раз по своей комнате, потом отправился по коридору до Марианниной двери — и тихонько постучался. Ответа не было. Он постучался еще раз — попытался отворить дверь... Она оказалась запертою. Но не успел он вернуться к себе, сесть на стул, как его собственная дверь слабо скрипнула и послышался голос Марианны:

— Алексей Дмитрич, это *вы* приходили ко мне?

Он тотчас вскочил и бросился в коридор; Марианна стояла перед дверью, со свечой в руке, бледная и неподвижная.

— Да... я... — шепнул он.

— Пойдемте,— отвечала она и пошла по коридору; но, не дойдя до конца, остановилась и толкнула рукою низкую дверь. Нежданов увидал небольшую, почти пустую

комнату.— Войдемте лучше сюда, Алексей Дмитрич, здесь нам никто не помешает.— Нежданов повиновался. Марианна поставила свечку на подоконник и обернулась к Нежданову.

— Я понимаю, почему вам именно меня хотелось видеть,— начала она,— вам очень тяжело жить в этом доме, и мне тоже.

— Да; я хотел вас видеть, Марианна Викентьевна,— отвечал Нежданов,— но мне не тяжело здесь с тех пор, как я сблизился с вами.

Марианна улыбнулась задумчиво.

— Спасибо, Алексей Дмитрич,— но скажите, неужели вы намерены остаться здесь после всех этих безобразий?

— Я думаю, меня здесь не оставят — мне откажут! — отвечал Нежданов.

— А сами вы не откажетесь?

— Сам... Нет.

— Почему?

— Вы хотите знать правду? Потому что *вы* здесь.

Марианна наклонила голову и отошла немного в глубь комнаты.

— И к тому же,— продолжал Нежданов,— я *обязан* остаться здесь. Вы ничего не знаете, но я хочу, я чувствую, что должен вам всё сказать.— Он подступил к Марианне и схватил ее за руку. Она ее не приняла — и только посмотрела ему в лицо.— Послушайте! — воскликнул он с внезапным, сильным порывом.— Послушайте меня! — И тотчас же, не садясь ни на одно из двух-трех стульев, находившихся в комнате, продолжая стоять перед Марианной и держать ее руку, Нежданов с увлечением, с жаром, с неожиданным для него самого красноречием сообщил Марианне свои планы, намерения, причину, заставившую его принять предложение Сипягина,— все свои связи, знакомства, свое прошедшее, всё, что он скрывал, что никому не высказывал! Он упомянул о полученных письмах, о Василии Николаевиче, обо всем — даже о Силине! Он говорил торопливо, без запинки, без малейшего колебанья — словно он упрекал себя в том, что до сих пор не посвятил Марианны во все свои тайны, словно извинялся перед нею. Она его слушала внимательно, жадно; на первых порах она изумилась... Но это чувство тотчас исчезло. Благодарность, гордость, преданность, решимость — вот чем переполнялась ее душа. Ее лицо, ее глаза засияли; она положила другую свою руку на руку Нежданова —

ее губы раскрылись восторженно... Она вдруг страшно похорошела!

Он остановился наконец — глянул на нее и как будто впервые увидал *это* лицо, которое в то же время так было и дорого ему и так знакомо.

Он вздохнул сильно, глубоко...

— Ах, как я хорошо сделал, что вам всё сказал! — едва могли шепнуть его губы.

— Да, хорошо... хорошо! — повторила она тоже шёпотом. Она невольно подражала ему, да и голос ее угас.— И значит, вы знаете,— продолжала она,— что я в вашем распоряжении, что я хочу быть тоже полезной вашему делу, что я готова сделать всё, что будет нужно, пойти куда прикажут, что я всегда, всею душою, желала того же, что и вы...

Она тоже умолкла. Еще одно слово — и у пей брызнули бы слезы умиления. Всё ее крепкое существо стало внезапно мягко как воск. Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной — вот чем она томилась.

Чьи-то шаги послышались за дверью — осторожные, быстрые, легкие шаги.

Марианна вдруг выпрямилась, освободила свои руки — и вся тотчас переменилась и повеселела. Что-то презрительное, что-то удалое мелькнуло по ее лицу.

— Я знаю, кто нас подслушивает в эту минуту,— проговорила она так громко, что в коридоре явственным отзвучием раздавалось каждое ее слово,— г-жа Сипягина подслушивает нас... по мне это совершенно всё равно.

Шорох шагов прекратился.

— Так как же? — обратилась Марианна к Нежданову,— что же мне делать? как помочь вам? Говорите... говорите скорей! Что делать?

— Что? — промолвил Нежданов.— Я еще не знаю... Я получил от Маркелова записку...

— Когда? Когда?

— Сегодня вечером. Надо мне ехать завтра с ним к Соломину на завод.

— Да... да... Вот еще славный человек — Маркелов! Вот настоящий друг!

— Такой же, как я?

Марианна глянула прямо в лицо Нежданову.

— Нет — не такой же.

— Как?..

Она вдруг отвернулась.

— Ах! да разве вы не знаете, чем вы для меня стали и что я чувствую в эту минуту...

Сердце Нежданова сильно забилось и взор опустился невольно. Эта девушка, которая полюбила его — его, бездомного горемыку,— которая ему доверяется, которая готова идти за ним, вместе с ним, к одной и той же цели,— эта чудесная девушка — Марианна — в это мгновенье стала для Нежданова воплощением всего хорошего, правдивого на земле, воплощением неиспытанной им семейной, сестриной, женской любви,— воплощением родины, счастья, борьбы, свободы!

Он поднял голову — и увидал ее глаза, снова на него обращенные...

О, как проникал их светлый, славный взгляд в самую глубь его души!

— Итак,— начал он неверным голосом,— я еду завтра... И когда я вернусь оттуда, я скажу... вам... (ему вдруг стало неловко говорить Марианне «вы»), скажу вам, что узнаю, что будет решено. Отныне всё, что я буду делать, всё, что я буду думать,— всё, всё сперва узнаешь... ты.

— О мой друг! — воскликнула Марианна и опять схватила его руку.— Я то же самое обещаю тебе!

Это «тебе» вышло у ней так легко и просто, как будто иначе и нельзя было — как будто это было товарищеское «ты».

— А письмо можно видеть?

— Вот оно, вот.

Марианна пробежала письмо и чуть не с благоговением подняла на него взор.

— На тебя возлагают такие важные поручения?

Он улыбнулся ей в ответ и спрятал письмо в карман.

— Странно,— промолвил он,— ведь мы объяснились друг другу в любви — мы любим друг друга,— а ни слова об этом между нами не было.

— К чему? — шепнула Марианна и вдруг бросилась к нему на шею, притиснула свою голову к его плечу... Но они даже не поцеловались — это было бы пошло и почему-то жутко, так по крайней мере чувствовали они оба.— и тотчас же разошлись, крепко-крепко стиснув друг другу руку.

Марианна вернулась за свечой, которую оставила на подоконнике пустой комнаты,— и только тут нашло на нее нечто вроде недоумения. Она погасила ее и в глубокой

темноте, быстро скользнув по коридору, вернулась в свою комнату, разделась и легла в той же для нее почему-то отрадной темноте.

XVI

На другое утро, когда Нежданов проснулся, он не только не почувствовал никакого смущения при воспоминании о том, что произошло накануне, но напротив: он исполнился какой-то хорошей и трезвой радостью, точно он совершил дело, которое, по-настоящему, давно следовало совершить. Отпросившись на два дня у Сипягина, который согласился на его отлучку немедленно, но строго, Нежданов уехал к Маркелову. Перед отъездом он успел свидеться с Марианной. Она тоже нисколько не стыдилась и не смущалась, глядела спокойно и решительно, и спокойно говорила ему «*ты*». Волновалась она только о том, что он узнает у Маркелова, и просила сообщить ей всё.

— Это само собою разумеется,— отвечал Нежданов.

«И в самом деле,— думалось ему,— чего нам тревожиться? В нашем сближении личное чувство играло роль... второстепенную — а соединились мы безвозвратно. Во имя дела? Да, во имя дела!»

Так думалось Нежданову, и он сам не подозревал, сколько было правды — и неправды — в его думах.

Он застал Маркелова в том же усталом и суровом настроении духа. Пообедавши кое-как и кое-чем, они отправились в известном уже нам тарантасе (вторую пристяжную, очень молодую и не бывавшую еще в упряжке лошадь, взяли напрокат у мужика — маркеловская еще хромала) на большую бумагопрядильную фабрику купца Фалеева, где жил Соломин. Любопытство Нежданова было возбуждено: ему очень хотелось поближе познакомиться с человеком, о котором в последнее время он слышал так много. Соломин был предупрежден; как только оба путешественника остановились у ворот фабрики и назвались — их немедленно провели в невзрачный флигелек, занимаемый «механиком-управляющим». Сам он находился в главном фабричном корпусе; пока один из рабочих бегал за ним, Нежданов и Маркелов успели подойти к окну и осмотреться. Фабрика, очевидно, была в полном расцветании и завалена работой; отовсюду несся бойкий гам и гул непрестанной деятельности: машины пыхтели и стучали, скрыпели станки, колеса жужжали, хлопали ремни, кати-

лись и исчезали тачки, бочки, нагруженные тележки; раздавались повелительные крики, звонки, свистки; торопливо пробегали мастеровые в подпоясанных рубахах, с волосами, прихваченными ремешком, рабочие девки в ситцах; двигались запряженные лошади... Людская тысячеголовая сила гудела вокруг, натянутая как струна. Всё шло правильно, разумно, полным махом; но не только щегольства или аккуратности, даже опрятности не было заметно нигде и ни в чем; напротив — всюду поражала небрежность, грязь, копоть; там стекло в окне разбито, там облупилась штукатурка, доски вывалились, зевает настежь растворенная дверь; большая лужа, черная, с радужным отливом гнили, стоит посреди главного двора; дальше торчат груды разбросанных кирпичей; валяются остатки рогож, циновок, ящиков, обрывки веревок; шершавые собаки ходят с подтянутыми животами и даже не лают; в уголку под забором сидит мальчик лет четырех, с огромным животом и взъерошенной головой, весь выпачканный в саже,— сидит и безнадежно плачет, словно оставленный целым миром; рядом с ним, замаранная той же сажей, свинья, окруженная пестрыми поросятами, пожирает капустные кочерыжки; дырявое белье болтается на протянутой веревке — а какой смрад, какая духота всюду! Русская фабрика — как есть; не немецкая и не французская мануфактура.

Нежданов глянул на Маркелова.

— Мне столько натолковали об отменных способностях Соломина,— начал он,— что, признаюсь, меня весь этот беспорядок удивляет; я этого не ожидал.

— Беспорядка тут нет,— отвечал угрюмо Маркелов,— а неряшливость русская. Все-таки миллионное дело! А ему приспособляться приходится: и к старым обычаям, и к делам, и к самому хозяину. Вы имеете ли понятие о Фалееве?

— Никакого.

— Первый по Москве алтынник. Буржуй — одно слово!

В эту минуту Соломин вошел в комнату. Нежданову пришлось разочароваться в нем так же, как и в фабрике. На первый взгляд Соломин производил впечатление чухонца или, скорее, шведа. Он был высокого роста, белобрыс, сухопар, плечист; лицо имел длинное, желтое, нос короткий и широкий, глаза очень небольшие, зеленоватые, взгляд спокойный, губы крупные и выдвинутые впе-

ред; зубы белые, тоже крупные, и раздвоенный подбородок, чуть-чуть обросший пухом. Одет он был ремесленником, кочегаром: на туловище старый пиджак с отвислыми карманами, на голове клеенчатый помятый картуз, на шее шерстяной шарф, на ногах дегтярные сапоги. Его сопровождал человек лет сорока, в простой чуйке, с чрезвычайно подвижным цыганским лицом и черными как смоль, пронзительными глазами, которыми он, как только вошел, так разом и окинул Нежданова... Маркелова он уже знал. Звали его Павлом; он слыл фактотумом Соломина.

Соломин подошел не спеша к обоим посетителям, даванул молча руку каждого из них своей мозолистой, костлявой рукой, вынул из стола запечатанный пакет и передал его, тоже молча, Павлу, который тотчас и вышел вон из комнаты. Потом он потянулся, крякнул; сбросив картуз с затылка долой одним взмахом руки, присел на деревянный крашеный стульчик и, указав Маркелову и Нежданову на такой же диван, промолвил:

— Прошу!

Маркелов сперва познакомил Соломина с Неждановым; тот ему снова даванул руку. Потом Маркелов начал говорить о «деле», упомянул о письме Василия Николаевича. Нежданов подал это письмо Соломину. Пока он читал внимательно и не торопясь, переводя глаза со строки на строку, Нежданов глядел на него. Соломин сидел близ окна; уже низкое солнце ярко освещало его загорелое, слегка вспотевшее лицо, его белокурые запыленные волосы, зажигая в них множество золотистых точек. Его ноздри подрыгивали и раздувались во время чтения и губы шевелились, как бы произнося каждое слово; он держал письмо крепко и высоко обеими руками. Всё это, бог ведает почему, нравилось Нежданову. Соломин возвратил письмо Нежданову, улыбнулся ему и опять принялся слушать Маркелова. Тот говорил, говорил — и умолк наконец.

— Знаете ли что,— начал Соломин, и голос его, немного сиплый, но молодой и сильный, тоже понравился Нежданову,— у меня здесь не совсем удобно; поедемте-ка к вам — до вас всего семь верст. Ведь вы в тарантасе приехали?

— Да.

— Ну... место мне будет. Через час у меня работы кончаются, и я свободен. Мы и потолкуем. Вы тоже свободны? — обратился он к Нежданову.

— До послезавтра.

— И прекрасно. Мы вот заночуем у них. Можно будет, Сергей Михайлыч?

— Что за вопрос! Конечно, можно.

— Ну — я сейчас. Дайте только пообчиститься немного.

— А как у вас по фабрике? — значительно спросил Маркелов.

Соломин глянул в сторону.

— Мы потолкуем,— промолвил он вторично.— Погодите-ка... я сейчас... Я кое-что забыл.

Он вышел. Если бы не хорошее впечатление, которое он произвел на Нежданова, тот бы, пожалуй, подумал и даже, быть может, спросил бы у Маркелова: «Уж не отлынивает ли он?» Но ему ничего подобного в голову не пришло.

Час спустя, в то время, когда из всех этажей громадного здания по всем лестницам спускалась и во все двери выливалась шумная фабричная толпа, тарантас, в котором сидели Маркелов, Нежданов и Соломин, выезжал из ворот на дорогу.

— Василий Федотыч! Действовать? — закричал Соломину напоследях Павел, проводивший его до ворот.

— Попридержи...— отвечал Соломин.— Это насчет одной ночной операции,— пояснил он своим товарищам.

Приехали они в Борзёнково, поужинали — больше приличия ради,— а там запылали сигары и начались разговоры, те ночные, неутомимые русские разговоры, которые в таких размерах и в таком виде едва ли свойственны другому какому народу. Впрочем, и тут Соломин не оправдал ожиданий Нежданова. Он говорил замечательно мало... так мало, что почти, можно сказать, постоянно молчал; но слушал пристально и если произносил какое-либо суждение или замечание, то оно было и дельно, и веско, и очень коротко. Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них — не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого «ничего ты не поделаешь» и которого долго готовить надо — да и не так и не тому, как *те*. Вот он и держался в стороне — не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который

не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже поучиться, если так придется. Соломин был единственный сын дьячка; у него было пять сестер — все замужем за попами и дьяконами; но он, с согласия отца, степенного и трезвого человека, бросил семинарию, стал заниматься математикой и особенно пристрастился к механике; попал на завод к англичанину, который полюбил его как сына и дал ему средства съездить в Манчестер, где он пробыл два года и выучился английскому языку. На фабрику московского купца он попал недавно и хотя с подчиненных взыскивал,— потому что в Англии на эти порядки насмотрелся,— но пользовался их расположением: свой, дескать, человек! Отец был им очень доволен, называл его «обстоятельным» и только жалел о том, что сын жениться не желает.

В течение ночного разговора у Маркелова Соломин, как мы уже сказали, почти всё молчал; но когда Маркелов принялся толковать о надеждах, возлагаемых им на фабричных, Соломин по своему обыкновению лаконически заметил, что у нас на Руси фабричные не то, что за границей,— самый тихоня народ.

— А мужики? — спросил Маркелов.

— Мужики? Кулаков меж ними уж теперь завелось довольно и с каждым годом больше будет, а кулаки только свою выгоду знают; остальные — овцы, темнота.

— Так где же искать?

Соломин улыбнулся.

— Ищите и обрящете.

Он почти постоянно улыбался, и улыбка его была тоже какая-то бесхитростная — но не безотчетная, как и весь он. С Неждановым он обходился особенным образом: молодой студент возбуждал в нем участие, почти нежность.

В течение того же ночного разговора Нежданов вдруг разгорячился и пришел в азарт; Соломин тихонько встал и, перейдя своей развалистой походкой через всю комнату, запер открывшееся за головой Нежданова окошко...

— Как бы вы не простудились,— добродушно промолвил он в ответ на изумленный взгляд оратора.

Нежданов стал расспрашивать его о том, какие социальные идеи он пытается провести во вверенной ему фабрике и намерен ли он устроить дело так, чтобы работники участвовали в барыше?

— Душа моя! — отвечал Соломин,— мы школу завели

и больницу маленькую — да и то патрон упирался, как медведь!

Раз только Соломин рассердился не на шутку и так ударил своим могучим кулаком по столу, что всё на нем подпрыгнуло, не исключая пудовой гирьки, приютившейся возле чернильницы. Ему рассказали о какой-то несправедливости на суде, о притеснении рабочей артели...

Когда же Нежданов и Маркелов принимались говорить, как «приступить», как привести план в действие, Соломин продолжал слушать с любопытством, даже с уважением — но сам уже не произносил ни слова. До четырех часов длилась эта их беседа. И о чем, о чем они не перетолковали! Маркелов между прочим таинственно намекнул на неутомимого путешественника Кислякова, на его письма, которые становятся всё интереснее да интереснее; он обещал показать Нежданову некоторые из них и даже дать их ему на дом, так как они очень пространны и писаны не совсем разборчивым почерком; да и сверх того, в них много учености и даже стихи попадаются — но не какие-нибудь легкомысленные, а с социалистическим направлением! От Кислякова Маркелов перешел к солдатам, к адъютантам, к немцам — договорился наконец до своих артиллерийских статей; Нежданов упомянул об антагонизме Гейне и Бёрне, о Прудоне, о реализме в искусстве, а Соломин слушал, слушал, вникал, покуривал — и, не переставая улыбаться, не сказав ни одного остроумного слова, казалось, лучше всех понимал, в чем состояла собственно вся суть.

Пробило четыре часа... Нежданов и Маркелов едва держались на ногах от усталости, а Соломин хоть бы в одном глазе! Приятели разошлись; но прежде было сообща положено: на следующий день отправиться в город к староверу купцу Голушкину, для пропаганды: сам Голушкин был очень ретив — да и обещал прозелитов! Соломин высказал было сомнение: стоит ли посещать Голушкина? Однако потом согласился, что стоит.

XVII

Гости Маркелова еще спали, когда к нему явился посланец с письмом от его сестры, г-жи Сипягиной. В этом письме Валентина Михайловна говорила ему о каких-то хозяйственных пустячках, просила его послать ей взятую им книгу — да кстати в постскриптуме сообщала ему «за-

бавную» новость: его бывшая пассия, Марианна, влюбилась в учителя Нежданова, а учитель в нее; и это она, Валентина Михайловна, не сплетни передает, а видела всё собственными глазами и слышала собственными ушами. Лицо Маркелова стало темнее ночи... но он ни слова не промолвил: велел отдать посланцу книгу — и, увидевши сошедшего сверху Нежданова, обычным образом с ним поздоровался, даже передал ему обещанную пачку кисляковских посланий, но не остался с ним, а ушел «по хозяйству». Нежданов вернулся к себе в комнату и пробежал отданные ему письма. Молодой пропагандист в них толковал постоянно о себе, о своей судорожной деятельности; по его словам, он в последний месяц обскакал одиннадцать уездов, был в девяти городах, двадцати девяти селах, пятидесяти трех деревнях, одном хуторе и восьми заводах; шестнадцать ночей провел в сенных сараях, одну в конюшне, одну даже в коровьем хлеве (тут он заметил в скобках с *нота-бене*, что блоха его не берет); лазил по землянкам, по казармам рабочих, везде поучал, наставлял, книжки раздавал и на лету собирал сведения; иные записывал на месте, другие заносил себе в память, по новейшим приемам мнемоники; написал четырнадцать больших писем, двадцать восемь малых и восемнадцать записок (из коих четыре карандашом, одну кровью, одну сажей, разведенной на воде); и всё это он успевал сделать, потому что научился систематически распределять время, принимая в руководство Квинтина Джонсона, Сверлицкого, Каррелиуса и других публицистов и статистиков. Потом он говорил опять-таки о себе, о своей звезде, о том, как и в чем именно он дополнил теорию страстей Фуриэ; уверял, что он первый отыскал наконец «почву», что он «не пройдет над миром безо всякого следа», что он сам удивляется тому, как это он, двадцатидвухлетний юноша, уже решил *все* вопросы жизни и науки — и что он перевернет Россию, даже «встряхнет» ее! Dixi!![1] — приписывал он в строку. Это слово: Dixi — попадалось часто у Кислякова и всегда с двумя восклицательными знаками. В одном из писем находилось и социалистическое стихотворение, обращенное к одной девушке и начинавшееся словами:

Люби не меня — но идею!

---

[1] Я сказал!! *(лат.)*.

Неждапов внутренно подивился не столько самохвальству г-на Кислякова, сколько честному добродушию Маркелова... но тут же подумал: «Побоку эстетику! и г-н Кисляков может быть полезен».

К чаю все три приятеля сошлись в столовой; но вчерашнее словопрение между ними не возобновилось. Никому из них не хотелось говорить — но один Соломин молчал спокойно; и Нежданов и Маркелов казались внутренно взволнованными.

После чаю они отправились в город; старый слуга Маркелова, сидя на рундучке, сопровождал своего бывшего барина обычным унылым взором.

Купец Голушкин, с которым предстояло познакомиться Нежданову, был сын разбогатевшего торговца москательным товаром — из староверов-федосеевцев. Сам он не увеличил отцовского состояния, ибо был, как говорится, жуир, эпикуреец на русский лад — и никакой в торговых делах сообразительности не имел. Это был человек лет сорока, довольно тучный и некрасивый, рябой, с небольшими свиными глазками; говорил он очень поспешно и как бы путаясь в словах; размахивал руками, ногами семенил, похохатывал... вообще производил впечатление парня дурковатого, избалованного и крайне самолюбивого. Сам он почитал себя человеком образованным, потому что одевался по-немецки и жил хотя грязненько, да открыто, знался с людьми богатыми — и в театр ездил и протежировал каскадных актрис, с которыми изъяснялся на каком-то необычайном, якобы французском языке. Жажда популярности была его главною страстью: греми, мол, Голушкин, по всему свету! То Суворов или Потемкин — а то Капитон Голушкин! Эта же самая страсть, победившая в нем прирожденную скупость, бросила его, как он не без самодовольства выражался, в оппозицию (прежде он говорил просто «в позицию», но потом его научили) — свела его с нигилистами: он высказывал самые крайние мнения, трунил над собственным староверством, ел в пост скоромное, играл в карты, а шампанское пил, как воду. И всё сходило ему с рук; потому, говорил он, у меня всякое, где следует, начальство закуплено, всякая прореха зашита, все рты заткнуты, все уши завешены. Он был вдов, бездетен; сыновья его сестры с подобострастным трепетом вились около него... но он обзывал их непросвещенными олухами, варварами и едва пускал их к себе на глаза. Жил он в большом каменном,

довольно неряшливо содержанном доме; в иных комнатах мебель была заграничная, а в иных ничего не было, кроме крашеных стульев да клеенчатого дивана. Картины висели везде — и везде прескверные: рыжие ландшафты, лиловые морские виды, «Поцелуй» Моллера, толстые голые женщины с красными коленками и локтями. Хоть у Голушкина и не было семьи, но много разной челяди и приживальщиков ютилось под его кровлей: не из щедрости принимал он их, а опять-таки из популярничанья — да чтоб было над кем командовать и ломаться. «Мои клиенты»,— говорил он, когда желал пыль пустить в глаза; книг он не читал, а ученые выражения запоминал отлично.

Молодые люди застали Голушкина в его кабинете. Облеченный в долгополое пальто, с сигарой во рту, он притворялся, что читает газету. При виде их он тотчас вскочил, заметался, покраснел, закричал, чтобы скорей подавали закуску, что-то спросил, чему-то засмеялся — и всё это разом. Маркелова и Соломина он знал; Нежданов был для него новое лицо. Услышав, что он студент, Голушкин опять засмеялся, пожал ему вторично руку и промолвил:

— Славно! славно! нашего полку прибыло... Учение свет, неучение тьма — я сам на медные гроши учен, но понимаю, потому достиг!

Нежданову показалось, что г-н Голушкин робеет и конфузится... да оно действительно и было так. «Смотри, брат Капитон! не ударь лицом в грязь!» — было его первой мыслью при виде каждого нового лица. Он, однако, скоро оправился и тем же торопливо-шепелявым, спутанным языком начал говорить о Василии Николаевиче, об его характере, о необходимости про... па... ганды (он это слово хорошо знал, но выговаривал медленно); о том, что у него, Голушкина, открылся новый молодец, пренадежный; что, кажется, время теперь уже близко, назрело для... для ланцета (при этом он глянул на Маркелова, который, однако, даже бровью не повел); потом, обратясь к Нежданову, он принялся расписывать самого себя, не хуже чем сам великий корреспондент Кисляков. Что он, мол, из самодуров вышел давно, что он хорошо знает права пролетариев (и это слово он помнил твердо), что хотя он собственно торговлю бросил и занимается банковыми операциями — для наращения капитала,— но это только для того, чтобы капитал сей в данную минуту мог послу-

жить в пользу… в пользу общему движению, в пользу, так сказать, народу; а что он, Голушкин, в сущности презирает капитал! Тут вошел человек с закуской, и Голушкин значительно крякнул и попросил: не угодно ли пройтись по рюмочке? — и сам первый «хлопнул» внушительную чарочку перцовки.

Гости принялись за закуску. Голушкин запихивал себе в рот громадные куски паюсной икры и пил исправно, приговаривая: «Пожалуйте, господа, пожалуйте, хороший маконьчик!» Снова обратившись к Нежданову, он спросил его, откуда он прибыл, надолго ли и где обретается; а узнав, что он живет у Сипягина, воскликнул:

— Знаю я этого барина! Пустой! — И тут же начал бранить всех землевладельцев С...ой губернии за то, что в них не только нет ничего гражданственного, но даже собственных интересов они не чувствуют... Только — чудное дело! — сам бранится, а глаза бегают и видно в них беспокойство. Нежданов не мог себе хорошенько отдать отчета, что это за человек и зачем он им нужен. Соломин по обыкновению помалчивал; а Маркелов принял такой сумрачный вид, что Нежданов спросил его наконец: что с ним? — На что Маркелов отвечал, что с ним — ничего, но таким тоном, каким обыкновенно отвечают люди, когда хотят дать понять, что есть, мол, что-то, да не про тебя. Голушкин опять принялся сперва бранить кого-то, а потом хвалить молодежь: какие, дескать, теперь умницы пошли! У-умницы! У! Соломин перебил его вопросом: кто, мол, тот молодец надежный, о котором он говорил, и где он его отыскал? Голушкин расхохотался, повторил раза два: а вот увидите, увидите — и начал расспрашивать его об его фабрике и об ее «плуте» владельце, на что Соломин отвечал весьма односложно. Тогда Голушкин налил всем шампанского и, наклонясь к уху Нежданова, шепнул: — За республику! — и выпил бокал залпом. Нежданов пригубил. Соломин заметил, что он вина утром не пьет; Маркелов злобно и решительно выпил свой бокал до дна. Казалось, нетерпенье грызло его: вот, мол, мы всё прохлаждаемся, а к настоящему разговору не приступаем... Он ударил по столу, сурово промолвил: — Господа! — и собрался было говорить...

Но в это мгновенье вошел в комнату прилизанный человечек с кувшинным рыльцем и чахоточный на вид, в купеческом нанковом кафтанчике, обе руки на отлет.

Поклонившись всей компании, человек доложил что-то вполголоса Голушкину.

— Сейчас, сейчас,— отвечал тот торопливо.— Господа,— прибавил он,— я должен просить извинения... Мне Вася вот, мой приказчик, одну таку «вещию» сказал (Голушкин выразился так нарочно, шутки ради), что мне беспременно предстоит на время отлучиться; но надеюсь, господа, что вы согласитесь у меня сегодня откушать — в три часа; и гораздо тогда нам будет свободнее!

Ни Соломин, ни Нежданов не знали, что ответить; но Маркелов тотчас промолвил, с той же суровостью на лице и в голосе:

— Конечно, будем; а то что же это за комедия?

— Благодарим покорно,— подхватил Голушкин и, нагнувшись к Маркелову, присовокупил: — «Тыщу» рублев во всяком случае на дело жертвую... в этом не сомневайся!

И при этом он раза три двинул правой рукой с оттопыренными мизинцем и большим пальцем: «верно, значит!»

Он проводил гостей до двери и, стоя на пороге, крикнул:

— Буду ждать в три часа!

— Жди! — отвечал один Маркелов.

— Господа! — промолвил Соломин, как только все трое очутились на улице.— Я возьму извозчика — и поеду на фабрику. Что мы будем делать до обеда? Бить баклуши? Да и купец наш... мне кажется, от него, как от козла,— ни шерсти, ни молока.

— Ну, шерсть-то будет,— заметил угрюмо Маркелов.— Он вот деньги обещает. Или вы им брезгаете? Нам во всё входить нельзя. Мы — не разборчивые невесты.

— Стану я брезгать! — спокойно проговорил Соломин.— Я только себя спрашиваю, какую пользу мое присутствие может принести. А впрочем,— прибавил он, глянув на Нежданова и улыбнувшись,— извольте, останусь. На людях и смерть красна.

Маркелов поднял голову.

— Пойдем пока в городской сад; погода хорошая. На людей посмотрим.

— Пойдем.

Они пошли — Маркелов и Соломин впереди, Нежданов за ними.

XVIII

Странное было состояние его души. В последние два дня сколько новых ощущений, новых лиц... Он в первый раз в жизни сошелся с девушкой, которую — по всей вероятности — полюбил; он присутствовал при начинаниях дела, которому — по всей вероятности — посвятил все свои силы... И что же? Радовался он? Нет. Колебался он? Трусил? Смущался? О, конечно нет. Так чувствовал ли он по крайней мере то напряжение всего существа, то стремление вперед, в первые ряды бойцов, которое вызывается близостью борьбы? Тоже нет. Да верит ли он, наконец, в это дело? Верит ли он в свою любовь? — О, эстетик проклятый! Скептик! — беззвучно шептали его губы.— Отчего эта усталость, это нежелание даже говорить, как только он не кричит и не беснуется? Какой внутренний голос желает он заглушить в себе этим криком? Но Марианна, этот славный, верный товарищ, эта чистая, страстная душа, эта чудесная девушка, разве она его не любит? Не великое разве это счастье, что он встретился с нею, что он заслужил ее дружбу, ее любовь? И эти два существа, которые теперь идут перед ним, этот Маркелов, этот Соломин, которого он знает еще мало, но к которому чувствует такое влечение,— разве они не отличные образчики русской сути, русской жизни — и знакомство, близость с ними не есть ли также счастье? Так отчего же это неопределенное, смутное, ноющее чувство? К чему, зачем эта грусть? — Коли ты рефлектер и меланхолик,— снова шептали его губы,— какой же ты к чёрту революционер? Ты пиши стишки, да кисни, да возись с собственными мыслишками и ощущеньицами, да копайся в разных психологических соображеньицах и тонкостях, а главное — не принимай твоих болезненных, нервических раздражений и капризов за мужественное негодование, за честную злобу убежденного человека! О Гамлет, Гамлет, датский принц, как выйти из твоей тени? Как перестать подражать тебе во всем, даже в позорном наслаждении самобичевания?

— Алексис! Друг! Российский Гамлет! — раздался вдруг, как бы в отзвучие всем этим размышлениям, знакомый пискливый голос.— Тебя ли я вижу?!

Нежданов поднял глаза — и с изумлением увидел перед собою Паклина! Паклина в образе пастушка, облеченного в летнюю одежду бланжевого цвету, без галстука

на шее, в большой соломенной шляпе, обвязанной голубой лентой и надвинутой на самый затылок, и в лаковых башмачках!

Он тотчас подковылял к Нежданову и ухватился за его руки.

— Во-первых,— начал он.— хотя мы в публичном саду, надо, по старинному обычаю. обняться... и поцеловаться... Раз! два! три! Во-вторых. ты знай. что если бы я тебя не встретил сегодня, ты бы. наверное, завтра улицезрел меня, ибо мне известно твое местопребывание и я даже нарочно прибыл в сей город... каким манером — об этом после. В-третьих, познакомь меня с твоими товарищами. Скажи мне вкратце, кто они, а им — кто я, и будем наслаждаться жизнью!

Нежданов исполнил желание своего друга, назвал его, Маркелова, Соломина и сказал о каждом из них, кто он такой, где живет, что делает и т. п.

— Прекрасно! — воскликнул Паклин,— а теперь позвольте мне отвести вас всех вдаль от толпы, которой, впрочем, нет, на уединенную скамейку, сидя на которой я в часы мечтаний наслаждаюсь природой. Удивительный там вид: губернаторский дом, две полосатых будки, три жандарма и ни одной собаки! Не удивляйтесь, однако, слишком моим речам, которыми я столь тщетно стараюсь рассмешить вас! Я, по мнению моих друзей, представляю русское остроумие... оттого-то, вероятно, я и хромаю.

Паклин повел приятелей к «уединенной скамейке» и усадил их на ней, предварительно согнав с нее двух салопниц. Молодые люди «обменялись мыслями»... занятие большей частью довольно скучное — особенно на первых порах — и необыкновенно бесплодное.

— Стой! — воскликнул вдруг Паклин, обернувшись к Нежданову,— надо тебе объяснить, почему я здесь. Ты знаешь, я свою сестру каждое лето увожу куда-нибудь; когда я узнал, что ты отправляешься в соседство здешнего города, я и вспомнил. что в самом этом городе живут два удивительнейших субъекта: муж и жена, которые нам доводятся сродни... по матери. Мой отец был мещанин (Нежданов это знал, но Паклин сказал это для *тех двух*), а она — дворянка. И давным-давно они нас к себе зазывают! — Стой! — думаю я... Это мне на руку. Люди они добрейшие, сестре у них будет — лафа; чего же больше? Вот мы и прикатили. И уж точно! Так нам здесь хорошо... сказать нельзя! Но что за субъекты! Что

за субъекты! Вам непременно надо с ними познакомиться! — Что вы здесь делаете? Где вы обедаете? И зачем вы собственно сюда приехали?

— Мы обедаем сегодня у одного Голушкина... Здесь есть такой купец,— отвечал Нежданов.

— В котором часу?

— В три часа.

— И вы видитесь с ним насчет... насчет...— Паклин обвел взором Соломина, который улыбался, и Маркелова, который всё темнел да темнел...

— Да ты им, Алеша, скажи... сделай какой-нибудь фармазонский знак, право... скажи, что со мной ведь чиниться нечего... Ведь я ваш... вашего общества...

— Голушкин тоже наш,— заметил Нежданов.

— Ну вот и чудесно! До трех часов еще времени много. Послушайтесь меня — пойдемте к моим родственникам!

— Да ты с ума сошел! Как же можно так...

— Об этом ты не беспокойся! уж это я на себя беру. Представь: оазис! Ни политика, ни литература, ни что современное туда и не заглядывает. Домик какой-то пузатенький, каких теперь и не видать нигде; запах в нем — антик; люди — антик; воздух — антик... за что ни возьмись — антик, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, XVIII век! Хозяева... представь: муж и жена, оба старенькие-престаренькие, однолетки — и без морщин; кругленькие, пухленькие, опрятненькие, настоящие попугайчики-переклитки; а добры до глупости, до святости, бесконечно! Мне скажут, «бесконечная» доброта часто бывает сопряжена с отсутствием нравственного чувства... Но я в эти тонкости не вхожу и знаю только, что мои старички — добрячки! И детей никогда не имели. Блаженные! Их так в городе блаженными и зовут. Одеты оба одинаково, в какие-то полосатые капоты — и материя такая добротная: такой тоже теперь нигде не сыщешь. Похожи друг на друга ужасно, только вот что у одной на голове чепец, а у другого колпак — и с такими же рюшами, как на чепце; только без банта. Не будь этого банта — так и не узнаешь, кто — кто; к тому ж и муж-то безбородый. И зовут их: одного — Фомушка, а другую — Фимушка. Я тебе говорю — деньги следовало бы платить, чтоб только посмотреть на них. Любят друг друга до невозможности; а посетит их кто — милости просим! И такие податливые: сейчас все свои штучки покажут. Только одно: курить у них нельзя; не то чтобы они были расколь-

ники — но уж очень им табак мерзит... Да ведь в их времена кто же и курил? Зато и канареек они не держат, потому что птица эта тоже мало была тогда распространена... И это великое счастие — согласитесь! Ну что ж? идете вы?

— Я, право же, не знаю,— начал Нежданов.

— Стой: я еще не всё сообщил. Голоса у них одинаковые: закрой глаза, так и не знаешь, кто говорит. Только у Фомушки речь как будто почувствительней. Вот вы, господа, собираетесь теперь на великое дело, быть может на страшную борьбу... Что бы вам, прежде чем броситься в эти бурные волны, окунуться...

— В стоячую воду? — перебил Маркелов.

— А хоть бы и так? Стоячая она, точно; только не гнилая. Такие есть степные прудки; они хоть и не проточные, а никогда не зацветают, потому что на дне у них есть ключи. И у моих старичков есть ключи — там, на дне сердца, чистые-пречистые. Уж одно то: хотите вы узнать, как жили сто, полтораста лет тому назад? Так спешите, идите за мною. А то придет вдруг день и час — один и тот же час непременно для обоих,— и свалятся мои переклитки со своих жердочек, и всякий антик тотчас с ними прекратится, и пузатенький дом пропадет — и вырастет на его месте то, что, по словам моей бабушки, всегда вырастает на месте, где была «человечина», а именно: крапива, репейник, осот, полынь и конский щавель; самой улицы не будет — и придут люди, и ничего уже больше такого не найдут во веки веков!..

— А что? — воскликнул Нежданов,— и впрямь пойти?

— Я с великим даже удовольствием готов,— промолвил Соломин,— не по моей это части, а все-таки любопытно; и коли г-н Паклин точно может поручиться, что мы своим приходом никого не обеспокоим, то... почему же...

— Да уж не сомневайтесь! — воскликнул в свою очередь Паклин,— восторг произведете — и больше ничего. Какие тут церемонии! Говорят вам: они блаженные. мы их петь заставим. А вы, г-н Маркелов, согласны?

Маркелов сердито повел плечами.

— Не оставаться же мне тут одному! Извольте вести.— Молодые люди поднялись со скамейки.

— Какой это у тебя барин грозный,— шепнул Паклин Нежданову, указывая на Маркелова,— ни дать ни взять Иоанн Предтеча, наевшийся акрид... одних акрид, без меда! А тот,— прибавил он, кивнув головой на Соло-

мина,— чудесный! Как это он славно улыбается! Я заметил, так улыбаются только такие люди, которые выше других, а сами этого не знают.

— Разве бывают такие люди? — спросил Нежданов.

— Редко; но бывают,— отвечал Паклин.

XIX

Фомушка и Фимушка — Фома Лаврентьевич и Евфимия Павловна Су́бочевы — принадлежали оба к одному и тому же коренному русскому дворянскому роду и считались чуть ли не самыми старинными обитателями города С*. Они вступили в брак очень рано — и очень давно тому назад поселились в дедовском деревянном доме на краю города, никогда оттуда не выезжали и ни в чем никогда не изменили ни своего образа жизни, ни своих привычек. Время, казалось, остановилось для них; никакое «новшество» не проникало за границу их «оазиса». Состояние у них было небольшое; но мужички их по-прежнему привозили им по нескольку раз в год домашнюю живность и провизию; староста в указанный срок являлся с оброчными деньгами и парой рябчиков, будто бы застреленных в господских лесных, в действительности давно исчезнувших, дачах; его поили чаем на пороге гостиной, дарили ему баранью шапку, пару зеленых замшевых рукавиц и отпускали с богом. Дворовые люди по-прежнему наполняли субочевский дом. Старый слуга Каллиопыч, облеченный в камзол из необычайно толстого сукна с стоячим воротником и маленькими стальными пуговицами, по-прежнему докладывал нараспев, что «кушанье на столе», и засыпал, стоя за креслом барыни. Буфет был у него на руках; он заведовал «разной бакалией, кардамонами и лимонами», а на вопрос: не слыхал ли он, что для всех крепостных вышла воля, всякий раз отвечал, что мало ли кто какие мелет враки; это, мол, у турков бывает воля, а его, слава богу, она миновала. Девка Пуфка из карлиц держалась для развлечения, а старая няня Васильевна во время обеда входила с большим темным платком на голове и рассказывала шамкавшим голосом про всякие новости: про Наполеона, двенадцатый год, про антихриста и белых арапов; а не то, подперши рукою подбородок, словно горюя, сообщала, какой она видела сон и что он означал, и что у ней на картах вышло. Самый дом Субочевых отличался от всех других домов в городе: он был весь

построен из дуба и окна имел в виде равносторонних четырехугольников; двойные рамы никогда не вынимались! И были в нем всевозможные сенцы, и горенки, и светлицы, и хороминки, и рундучки с перильцами, и голубцы на точеных столбиках, и всякие задние переходцы и каморки. Спереди находился палисадник, а сзади сад; а в саду — что́ клетушек, пунек, амбарчиков, погребков, ледничков...— как есть гнездо! И не то чтобы во всех этих помещениях сохранялось много добра — иные уже и завалились; да заведено всё это было исстари — ну, и держалось. Лошадей у Субочевых было только две, древние, седлистые, косматые; по одной от старости даже белые пятна выступили; звали ее Недвигой. Закладывались они — много-много раз в месяц — в необычайный, всему городу известный экипаж, представлявший подобие земного глобуса с вырезанной спереди четвертою частью и обитый снутри заграничной желтой материей, сплошь усеянной крупными пупырушками в виде бородавок. Последний аршин этой материи был выткан в Утрехте или Лионе еще во времена императрицы Елизаветы! И кучер у Субочевых был чрезвычайно древний, пропитанный запахом ворвани и дегтя старик; борода начиналась у него близ самых глаз — а брови падали маленьким каскадом на бороду. Он до того был медлителен во всех своих движениях, что употреблял целых пять минут на понюшку табаку, две минуты на то, чтобы заткнуть кнут за пояс, и два часа с лишком на то, чтобы заложить одну Недвигу. А звали его Перфишкой. Если Субочевым случалось выехать и экипажу приходилось хоть чуточку подниматься в гору, то они непременно пугались (спускаясь с горы, они, впрочем, тоже пугались), цеплялись за каретные ремни и твердили оба вслух: «Коням — коням... сила Самуила; а мы — а мы легче пуха, легче духа!!.» Субочевых все в городе С* считали за чудаков, чуть не за сумасшедших; да они сами сознавали, что не подходят к настоящим порядкам... но не больно об этом печалились: в каком быту родились они, выросли и сочетались браком, в том и остались. Одна только особенность того быта к ним не пристала: отроду они никогда никого не наказали, не взыскали ни с кого. Коли слуга у них оказывался отъявленным пьяницей или вором, они сперва долго терпели и переносили — вот как переносят дурную погоду; а наконец старались отделаться от него, спустить его другим господам: пускай же, дескать, и те помаются маленько! Только эта беда случалась с ними

редко,— до того редко, что становилась в их жизни эпохой — и они говаривали, например: «Этому очень давно; это приключилось тогда, когда у нас проживал Алдошка озорник»; или: «когда у нас украли меховую дедушкину шапку с лисьим хвостом...» У Субочевых еще водились такие шапки. Другая, впрочем, отличительная черта старинного быта в них также не замечалась: ни Фимушка, ни Фомушка не были слишком религиозными людьми. Фомушка так даже придерживался вольтерианских правил; а Фимушка смертельно боялась духовных лиц; у них, по ее приметам, глаз был дурной. «Поп у меня посидит,— говаривала она,— глядь! ан сливки-то и скислись». В церковь они выезжали редко и постились по-католически, то есть употребляли яйца, масло и молоко. В городе это знали — и, конечно, это не поправляло их репутации. Но доброта их всё побеждала; и над чудаками Субочевыми хоть и смеялись, хоть и считали их юродивыми и блаженными, а все-таки в сущности уважали их.

Да; их уважали... но ездить к иим никто не ездил. Впрочем, они об этом также пе тужили. Вместе они никогда не скучали, а потому не разлучались никогда и никакого другого общества не желали. Ни Фомушка, ни Фимушка ни разу не болели; а если с одним из них и приключалась какая легкая немощь, то они *оба* пили настой липового цвету, натирались теплым маслом по пояснице или капали горячим салом на подошвы — и вскорости всё проходило. День они проводили всегда одинаково. Вставали поздно, кушали утром шоколад из крошечных чашек в виде ступок; «чай,— уверяли они,— уж после нас в моду-то вошел»; садились друг перед другом — и либо беседовали (и всегда находили о чем!), либо читали из «Приятного препровождения времени», «Зеркала света» или «Аонид», либо просматривали старенький альбом, переплетенный в красный сафьян с золотою каемкой, принадлежавший некогда, как гласила надпись, одной M-me Barbe de Kabyline[1]. Как и когда попал этот альбом к ним в руки — они сами не знали. В нем находилось несколько французских и много русских стихотворений и прозаических статей, вроде, например, следующего «краткого» размышления о «Цецероне»:

«В каковом расположении Цецерон вступил в чин квестора, объявляет он следующее. Засвидетельствовавши бо-

---

[1] г-же Варваре Кобылиной *(франц.)*.

гами чистосердие своих чувственностей во всех чинах, коими дотоле почтен был, мнил себя обязанна самыми священными узами к достойному оных исполнению и в сем намерении не попускался он, Цецерон, не токмо в сладости законопреступные, но и убегал от таковых увеселений, кои кажутся быть всеконечно необходимы». Внизу стояло: «Записано в Сибири, в гладе и хладе». Хорошо было также стихотворение, озаглавленное «Тирсис», где встречались такие строфы:

Покой вселенной управляет,
Роса с приятностью блестит,
Природу нежит, прохлаждает,
Ей нову жизнь собой дарит!

Один Тирсис с душой унылой
Страдает, мучится, грустит...
Когда с ним нет Анеты милой —
Его ничто не веселит! —

и экспромт проезжего капитана в 1790 году, «Маия в шестый день»:

Никогда я не забуду!
Тебя, любезное село!
И вечно помнить буду!
Приятно время как текло!
Которое имел я честь!
У владелицы твоей!
Пять лучших в жизни дней!
В почтеннейшем кругу провесть!
Среди множества дам и девиц,
И прочих *ан*тересных лиц!

На последней странице альбома стояли — вместо стихов — рецепты от желудка, спазмов и — увы! — даже от глистов. Субочевы обедали ровно в двенадцать часов и ели всё старинные кушанья: сырники, пигусы, солянки, рассольники, саламаты, кокурки, кисели, взвары, верченую курятину с шафраном, оладьи с медом; после обеда отдыхали — часик, не больше; просыпались, опять садились друг перед другом и пили брусничную водицу, а иногда и шипучку, прозванную «сорокоумом», которая, однако, почти всякий раз вылетала вся вон из бутылки и причиняла много смеху господам, а Каллиопычу много досады: надо было подтирать «всюду» — и он долго ворчал на

ключницу и на повара, которые будто бы выдумали этот напиток... «И какое в нем удовольствие? Только *небель* портит!» Потом супруги Субочевы опять что-нибудь читали, или пересмеивались с карлицей Пуфкой, или пели вдвоем старинные романсы (голоса у них были совершенно одинакие, высокие, слабые, несколько дрожащие и хриплые — особенно после сна,— но не лишенные приятности), или, наконец, играли в карты, но тоже всё в старинные игры: в кребс, в ламуш или даже в бостон сампра́ндер! Потом появлялся самовар; по вечерам они пили чай... *Эту* уступку духу времени они сделали; однако всякий раз находили, что это баловство и что народ от «оной китайской травки» становится нарочито слабее. Вообще же они удерживались от порицаний нового времени и от восхвалений старого: иначе они отроду не живали, но что другие люди могли жить другим манером — и даже лучше,— это они допускали; лишь бы их не заставляли меняться! Часам к восьми Каллиопыч подавал ужин с неизбежной окрошкой, а в девять часов полосатые высокие пуховики уже принимали в свои рыхлые объятия утучненные тела Фомушки и Фимушки и безмятежный сон не медлил спуститься на их вежды. И всё утихало в стареньком доме: лампадка теплилась, пахло выхухолью, мелиссой, сверчок трюкал — и спала добрая, смешная, невинная чета.

Вот к этим-то юродивым, или, как он выражался, переклиткам, приютившим его сестру, и привел Паклин своих знакомых.

Сестра его была девушка умная и недурная лицом — глаза у ней были удивительные; но несчастный ее горб сокрушал ее, отнимал всякую самонадеянность и веселость, сделал ее недоверчивой и чуть не злою. И имя ей попалось премудреное: Снандулия! Паклин хотел было перекрестить ее в Софию; но она упорно держалась своего странного имени, говоря, что горбатой так и следует называться Снандулией. Она была хорошая музыкантша и порядочно играла на фортепиано — «по милости моих длинных пальцев,— замечала она не без горечи: — у горбатых они всегда такие бывают».

Гости застали Фомушку и Фимушку в самую ту минуту, когда они просыпались от послеобеденного сна и пили водицу.

— Вступаем в XVIII век! — воскликнул Паклин, как только перешагнул порог субочевского дома.

И действительно: XVIII век встретил гостей уже в передней, в виде низеньких синеньких ширмочек, оклеенных вырезанными черными силуэтками напудренных дам и кавалеров. С легкой руки Лафатера силуэтки были в большой моде в России в 80-х годах прошлого столетия. Внезапное появление такого большого числа посетителей— целых четыре! — произвело волнение в редко посещаемом доме. Послышался топот обутых и босых ног, несколько женских лиц мгновенно высунулось и исчезло — кого-то где-то приперли, кто-то охнул, кто-то фыркнул, кто-то судорожно прошептал: — Ну вас!

Наконец появился Каллиопыч в своем шершавом камзоле и, растворив дверь в «зало», громогласно воскликнул:

— Государь, этта будет Сила Самсоныч с другими господами!

Хозяева гораздо меньше перетревожились, чем их прислуга. Вторжение четырех взрослых мужчин в их довольно, впрочем, просторную гостиную несколько, правда, изумило их; но Паклин немедленно их успокоил, представив им поочередно, с разными прибауточками, Нежданова, Соломина и Маркелова как людей смирных и не «коронных».

Фомушка и Фимушка особенно не жаловали коронных, то есть чиновных людей.

Появившаяся на призыв брата Снандулия гораздо больше волновалась и чинилась, чем старички Субочевы. Они попросили — оба вместе и в одних и тех же выражениях — гостей сесть и пожелали узнать, чем их потчевать: чаем, шоколадом, или шипучей водицей с вареньем? Когда же узнали, что гостям ничего не требуется, так как они незадолго перед тем завтракали у купца Голушкина и скоро будут там обедать, то перестали угощать их и, сложив одинаковым образом ручки на брюшке, приступили к беседе.

Сперва она шла немного вяло, но скоро оживилась. Паклин чрезвычайно рассмешил старичков известным гоголевским анекдотом о городничем, проникнувшем в набитую битком церковь, и о пироге, который оказался тем же городничим; хохотали они до слез. Смеялись они тоже одинаковым образом: очень визгливо, кончая кашлем и краснотой да испариной по всему лицу. Паклин вообще заметил, что на людей вроде Субочевых цитаты из Гоголя действуют весьма сильно и как-то порывисто; но так как ему не столько хотелось их потешать самих, сколько по-

казать их своим знакомым, то он переменил батареи и повел дело так, что старички вскоре совсем раскуражились. Фомушка достал и показал гостям свою любимую деревянную резную табакерку, на которой когда-то можно было счесть тридцать шесть человеческих фигур в разных положениях: все они давно стерлись, но Фомушка их видел, видел до сих пор, и перечесть их мог и указывал на них. «Смотрите,— говорил он,— вон один из окошка глядит, смотрите: он голову высунул...» А то место, на которое указывал его пухленький палец с приподнятым ноготком, так же было гладко, как и вся остальная крыша табакерки. Потом он обратил внимание посетителей на висевшую над его головой картину, писанную масляными красками. Она изображала охотника в профиль, скачущего во весь дух на буланой лошади — тоже в профиль — по снежной равнине. На охотнике была высокая белая баранья шапка с голубым языком, черкеска из верблюжьей шерсти с бархатной оторочкой, перетянутая кованым золоченым поясом; расшитая шелком рукавица была заткнута за тот пояс; кинжал в серебряной оправе с чернью висел на нем. В одной руке охотник, на вид очень моложавый и полный, держал огромный рог, украшенный красными кистями, а в другой — поводья и нагайку; все четыре ноги у лошади висели на воздухе, и на каждой из них живописец тщательно изобразил подкову, обозначив даже гвозди. «И заметьте,— промолвил Фомушка, указывая тем же пухленьким пальцем на четыре полукруглых пятна, выведенных на белом фоне позади лошадиных ног,— следы на снегу — и те представил!» Почему этих следов было всего четыре, а дальше позади не было видно ни одного — об этом Фомушка умалчивал.

— А ведь это я! — прибавил он, погодя немного, с стыдливой улыбкой.

— Как? — воскликнул Нежданов.— Вы были охотником?

— Был... да недолго. Раз, на всем скаку, через голову лошади покатился да курпей себе зашиб. Ну, Фимушка испугалась... ну — и запретила мне. Я с тех пор и бросил.

— Что вы зашибли? — спросил Нежданов.

— Курпей,— повторил Фомушка, понизив голос.

Гости молча переглянулись. Никто не знал, что такое курпей,— то есть Маркелов знал, что курпеем зовется мохнатая кисть на казачьей или черкесской шапке; да не мог же *это* зашибить себе Фомушка! А спросить его,

что́ именно он понимал под словом курпей, никто так и не решился.

— Ну, уж коли ты так расхвастался,— заговорила вдруг Фимушка,— так похвастаюсь и я.

Из крохотного «бонёрдюжура»,— так называлось старинное бюро на маленьких кривых ножках с подъемной круглой крышей, которая входила в спинку бюро,— она достала миниатюрную акварель в бронзовой овальной рамке, представлявшую совершенно голенького четырехлетнего младенца с колчаном за плечами и голубой ленточкой через грудку, пробующего концом пальчика острие стрелы. Младенец был очень курчав, немного кос и улыбался. Фимушка показала акварель гостям.

— Это была — я...— промолвила она.

— Вы?

— Да, я. В юности. К моему батюшке покойному ходил живописец-француз, отличный живописец! Так вот он меня написал ко дню батюшкиных именин. И какой хороший был француз! Он и после к нам езжал. Войдет, бывало, шаркнет ножкой, потом дрыгнет ею, дрыгнет и ручку тебе поцелует, а уходя — свои собственные пальчики поцелует, ей-ей! И направо-то он поклонится, и налево, и назад, и вперед! Очень хороший был француз!

Гости похвалили его работу; Паклин даже нашел, что есть еще какое-то сходство.

А тут Фомушка начал говорить о теперешних французах и выразил мнение, что они, должно быть, все презлые стали! — Почему же это так, Фома Лаврентьевич? — Да помилуйте!.. Какие у них пошли имена! — Например? — Да вот, например: Ножан-Цент-Лорран! — прямо разбойник! — Фомушка кстати полюбопытствовал: кто, мол, теперь в Париже царствует? Ему сказали, что Наполеон. Это его, кажется, и удивило и опечалило.— Как же так?.. Старика такого...— начал было он и умолк, оглянувшись с смущением. Фомушка плохо знал по-французски и Вольтера читал в переводе (под его изголовьем, в заветном ящике, сохранялся рукописный «Кандид»), но у него иногда вырывались выражения вроде: «Это, батюшка, фосс-паркэ!» (в смысле: «это подозрительно», «неверно»), над которым много смеялись, пока один ученый француз не объяснил, что это есть старое парламентское выражение, употреблявшееся в его родине до 1789 года.

Так как речь зашла о Франции да о французах, то и Фимушка решилась спросить о некоторой вещи, которая

у ней осталась на душе. Сперва она подумала обратиться к Маркелову, но уж очень он смотрел сердито; Соломина бы она спросила... только нет! — подумала она,— этот простой; должно быть, по-французски не разумеет. Вот она и обратилась к Нежданову.

— Что, батюшка. я от вас узнать желаю,— начала она,— извините вы меня! Да вот мой родственничек, Сила Самсоныч, знать, трунит надо мной, старухой, над моим неведеньем бабьим.

— А что?

— А вот что. Если кто на французском диалекте хочет вопрос такой поставить: «Что, мол, это такое?» — должо́н он сказать: «Кесе-кесе-кесе-ля?»

— Точно так.

— А может он тоже сказать так: кесе-кесе-ля?

— Может.

— И просто: кесе-ля?

— И так может.

— И всё это — едино будет?

— Да.

Фимушка задумалась и руками развела.

— Ну, Силушка,— промолвила она наконец,— виновата я, а ты прав. Только уж французы!.. Бедовые!

Паклин начал просить старичков спеть какой-нибудь романсик... Они оба посмеялись и удивились, какая это ему пришла мысль; однако скоро согласились, но только под тем условием, чтобы Снандулия села за клавесин и аккомпанировала им — она уж знает что. В одном углу гостиной оказалось крошечное фортепиано, которого никто из гостей сначала не заметил. Снандулия села за этот «клавесин», взяла несколько аккордов... Таких беззубеньких, кисленьких, дряхленьких, дрябленьких звуков Нежданов не слыхивал отроду; но старички немедленно запели:

На то ль, чтобы печали,—

начал Фомушка,—

В любви нам находить,
Нам боги сердце дали,
Способное любить?

Одно лишь чувство страсти,—

отвечала Фимушка,—

Без бед, без злой напасти
На свете есть ли где?

Нигде, нигде, нигде! —

подхватил Фомушка,

Нигде, нигде, нигде! —

повторила Фимушка.

С ним горести жестоки
Везде, везде, везде! —

пропели они вдвоем,

Везде, везде, везде! —

протянул один Фомушка.

— Браво! — закричал Паклин.— Это первый куплет; а второй?

— Изволь,— отвечал Фомушка,— только, Снандулия Самсоновна, что же трель? После моего стишка нужна трель.

— Извольте,— отвечала Снандулия,— будет вам трель.

Фомушка опять начал:

Любил ли кто в вселенной
И мук не испытал?
Какой, какой влюбленный
Не плакал, не вздыхал?

А тут Фимушка:

Так сердце странно в горе,
Как лодка гибнет в море...
На что ж оно дано?

На зло, на зло, на зло! —

воскликнул Фомушка — и подождал, чтобы дать время Снандулии пустить трель.

Снандулия пустила ее.

На зло, на зло, на зло! —

повторила Фимушка. А там оба вместе:

Возьмите, боги, сердце
Назад, назад, назад!
Назад, назад, назад!

И всё опять заключилось трелью.

— Браво! браво! — закричали все, за исключением Маркелова, и даже в ладоши забили.

«А что,— подумал Неждановг как только рукоплесканья унялись,— чувствуют ли они, что разыгрывают роль... как бы шутов? Быть может, нет; а быть может, и чувствуют, да думают: „Что за беда? ведь зла мы никому не делаем. Даже потешаем других!“ И как поразмыслишь хорошенько — правы они, сто раз правы!»

Под влиянием этих мыслей он начал вдруг говорить им любезности, в ответ на которые они только слегка приседали, не покидая своих кресел... Но в это мгновенье из соседней комнаты, вероятно спальней или девичьей, где уже давно слышался шёпот и шелест, внезапно появилась карлица Пуфка, в сопровождении нянюшки Васильевны. Пуфка принялась пищать и кривляться, а нянюшка то уговаривала ее, то пуще дразнила.

Маркелов, который уже давно подавал знаки нетерпения (Соломин — тот только улыбался шире обыкновенного),— Маркелов вдруг обратился к Фомушке:

— А я от вас не ожидал,— начал он с своей резкой манерой,— что вы, с вашим просвещенным умом,— ведь вы, я слышал, поклонник Вольтера? — можете забавляться тем, что должно составлять предмет жалости, а именно увечьем... Тут он вспомнил сестру Паклина — и прикусил язык, а Фомушка покраснел: «Да... да ведь не я... она сама...» Зато Пуфка так и накинулась на Маркелова.

— И с чего ты это вздумал,— затрещала она своим картавым голоском,— наших господ обижать? Меня, убогую, призрели, приняли, кормют, пóют — так тебе завидно? Знать, у тебя на чужой хлеб глаз коробит? И откуда взялся, черномазый, паскудный, нудный, усы как у таракана...— Тут Пуфка показала своими толстыми короткими пальцами, какие у него усы. Васильевна засмеялась во весь свой беззубый рот — и в соседней комнате послышался отголосок.

— Я, конечно, вам не судья,— обратился Маркелов к Фомушке,— убогих да увечных призревать — дело хорошее. Но позвольте вам заметить: жить в довольстве, как сыр в масле кататься, да не заедать чужого века, да палец о палец не ударить для блага ближнего... это еще не значит быть добрым; я по крайней мере такой доброте, правду говоря, никакой цены не придаю!

Тут Пуфка завизжала оглушительно; она ничего не поняла изо всего, что сказал Маркелов; но «черномазый»

бранился... ка́к он смел! Васильевна тоже что-то забормотала, а Фомушка сложил ручки перед грудью,— и, повернувшись лицом к своей жене: «Фимушка, голубушка,— сказал он, чуть не всхлипывая,— слышишь, что господин гость говорит? Мы с тобой грешники, злодеи, фарисеи... как сыр в масле катаемся, ой! ой! ой!.. На улицу нас с тобою надо, из дому вон — да по метле в руки дать, чтобы мы жизнь свою зарабатывали,— о, хо-хо!» Услышав такие печальные слова, Пуфка завизжала пуще прежнего. Фимушка съежила глаза, перекосила губы — и уже воздуху в грудь набрала, чтобы хорошенько приударить, заголосить...

Бог знает, чем бы это всё кончилось, если б Паклин не вмешался.

— Что это! помилуйте,— начал он, махая руками и громко смеясь,— как не стыдно? Г-н Маркелов пошутить хотел; но так как вид у него очень серьезный — оно и вышло немного строго... а вы и поверили? Полноте! Евфимия Павловна, милочка, мы вот сейчас уйти должны — так знаете что? на прощанье погадайте-ка нам всем... вы на это мастерица. Сестра! достань карты!

Фимушка глянула на своего мужа, а уж тот сидел совсем успокоенный; и она успокоилась.

— Карты, карты...— заговорила она,— да разучилась я, отец, забыла — давно в руки их не брала...

А сама уже принимала из рук Снандулии колоду каких-то древних, необыкновенных, ломберных карт.

— Кому погадать-то?

— Да всем,— подхватил Паклин, а сам подумал: — «Ну что ж это за подвижная старушка! куда хочешь поверни... Просто прелесть!» — Всем, бабушка, всем,— прибавил он громко.— Скажите нам нашу судьбу, характер наш, будущее... всё скажите!

Фимушка стала было раскладывать карты, да вдруг бросила всю колоду.

— И не нужно мне гадать! — воскликнула она,— я и так характер каждого из вас знаю. А каков у кого характер, такова и судьба. Вот этот (она указала на Соломина) — прохладный человек, постоянный; вот этот (она погрозилась Маркелову) — горячий, погубительный человек (Пуфка высунула ему язык); тебе (она глянула на Паклина) и говорить нечего, сам себя ты знаешь: вертопрах! А этот...

Она указала на Нежданова — и запнулась.

— Что ж? — промолвил он,— говорите, сделайте одолжение: какой я человек?

— Какой ты человек...— протянула Фимушка,— жалкий ты — вот что!

Нежданов встрепенулся.

— Жалкий! Почему так?

— А так! Жалок ты мне — вот что!

— Да почему?

— А потому! Глаз у меня такой. Ты думаешь, я дура? Ан я похитрей тебя — даром что ты рыжий. Жалок ты мне... вот тебе и сказ!

Все помолчали... переглянулись — и опять помолчали.

— Ну, прощайте, други,— брякнул Паклин.— Засиделись мы у вас — и вам, чай, надоели. Этим господам пора идти... да и я отправлюсь. Прощайте, спасибо на ласке.

— Прощайте, прощайте, заходите, не брезгуйте,— заговорили в один голос Фомушка и Фимушка... А Фомушка как затянет вдруг:

— Многая, многая, многая лета, многая...

— Многая, многая,— совершенно неожиданно забасил Каллиопыч, отворяя дверь молодым людям...

И все четверо вдруг очутились на улице, перед пузатеньким домом; а за окнами раздавался пискливый голос Пуфки.

— Дураки...— кричала она,— дураки!..

Паклин громко засмеялся, но никто не отвечал ему. Маркелов даже оглядел поочередно всех, как бы ожидая, что услышит слово негодования...

Один Соломин улыбался по обыкновению.

XX

— Ну что ж! — начал первый Паклин.— Были в XVIII веке — валяй теперь прямо в XX-й. Голушкин такой передовой человек, что его в XIX считать неприлично.

— Да он разве тебе известен? — спросил Нежданов.

— Слухом земля полнится; а сказал я: валяй! — потому что намерен отправиться вместе с вами.

— Как же так? Ведь ты с ним незнаком?

— Вона! А с моими переклитками вы разве были знакомы?

— Да ты нас представил!

— А ты меня представь! Тайн у вас от меня быть не

может — и Голушкин человек широкий. Он, посмотри, еще обрадуется новому лицу. Да и у нас, здесь, в С *... просто!

— Да,— проворчал Маркелов,— люди у вас здесь бесцеремонные.

Паклин покачал головою.

— Это вы, может быть, на мой счет... Что делать! Я этот упрек заслужил. Но знаете ли что, новый мой знакомец, отложите-ка на время мрачные мысли, которые внушает вам ваш желчный темперамент! А главное...

— Господин мой новый знакомец,— перебил его с запальчивостью Маркелов,— скажу вам в свою очередь... в виде предостережения: я никогда ни малейшего расположения к шуткам не имел, а особливо сегодня! И почему вам известен мой темпера́мент? (он ударил на последний слог). Кажется, мы не так давно в первый раз увидали друг друга.

— Ну постойте, постойте, не сердитесь и не божитесь — я и так вам верю,— промолвил Паклин — и, обратившись к Соломину: — О вы,— воскликнул он,— вы, которого сама прозорливая Фимушка назвала прохладным человеком и в котором точно есть нечто успокоительное,— скажите, имел ли я в мыслях сделать кому-нибудь неприятность или пошутить некстати? Я только напросился идти с вами к Голушкину, а впрочем — я существо безобидное. Я не виноват, что у г-на Маркелова желтый цвет лица.

Соломин повел сперва одним плечом, потом другим; у него была такая повадка, когда он не тотчас решался отвечать.

— Без сомнения,— промолвил он наконец,— вы, г-н Паклин, обиды никому причинить не можете — и не желаете; и к г-ну Голушкину почему же вам не пойти? Мы, я полагаю, там с таким же удовольствием проведем время, как и у ваших родственников,— да и с такой же пользой.

Паклин погрозил ему пальцем.

— О! да и вы, я вижу, злой! Однако же ведь вы тоже пойдете к Голушкину?

— Конечно, пойду. Сегодняшний день у меня и без того пропал.

— Ну, так «en avant, marchons!»[1] — к XX веку! к XX веку! Нежданов, передовой человек, веди!

---

[1] «вперед, идем!» *(франц.)*.

— Хорошо, ступай; да не повторяй своих острот. Как бы кто не подумал, что они у тебя на исходе.

— На вашего брата еще за глаза хватит,— весело возразил Паклин и пустился вперед, как он говорил, не вприпрыжку, а «вприхромку».

— Презанятный господин! — заметил, идя за ним под руку с Неждановым, Соломин.— Коли нас, сохрани бог, сошлют всех в Сибирь, будет кому развлекать нас!

Маркелов шел молча позади всех.

А между тем в доме купца Голушкина были приняты все меры, чтобы задать обед с «форсом» — или с «шиком». Сварена была уха, прежирная — и прескверная; заготовлены были разные «патишо» и «фрыкасеи» (Голушкин, как человек стоящий на высоте европейского образования, хотя и старовер, придерживался французской кухни и повара взял из клуба, откуда его выгнали за нечистоплотность), а главное: было припасено и заморожено несколько бутылок шампанского.

Хозяин встретил наших молодых людей с свойственными ему неуклюжими ужимками, торопленным видом да похохатыванием. Очень обрадовался Паклину, как тот и предсказывал; спросил про него: — ведь наш? — и, не дожидаясь ответа, воскликнул: — Ну конечно! еще бы! — Потом рассказал, что он сейчас был у этого «чудака» губернатора, который всё пристает к нему из-за каких-то — чёрт его знает! — благотворительных заведений... И решительно нельзя было понять, чем он, Голушкин, больше доволен: тем ли, что его принимают у губернатора, или же тем, что ему удалось ругнуть его в присутствии молодых передовых людей? Потом он познакомил их с обещанным прозелитом. И кто же оказался этим прозелитом? Тот самый прилизанный, чахоточный человечек, с кувшинным рыльцем, который поутру вошел с докладом и которого Голушкин звал Васей,— его приказчик.— Не красноречив,— уверял Голушкин, указывая на него всей пятернею,— но нашему делу всей душою предан.— А Вася только кланялся, да краснел, да моргал, да скалил зубы с таким видом, что опять-таки нельзя было понять, что он такое: пошлый ли дурачок, или, напротив,— всесовершеннейший выжига и плут?

— Ну, однако, за стол, господа, за стол,— залотошил Голушкин. Сели за стол, закусив сперва вплотную. Тотчас после ухи Голушкин велел подать шампанское. Мерз-

лыми кусками льдистого сала вываливалось оно из горлышка бутылки в подставленные бокалы. «За наше... наше предприятие!» — воскликнул Голушкин, мигая при этом глазом и указывая головою на слугу, как бы давая знать, что в присутствии чужого надо быть осторожным! Прозелит Вася продолжал молчать — и хотя сидел на крáюшке стула и вообще держался с подобострастием, уже вовсе не свойственным тем убеждениям, которым он, по словам его хозяина, был предан всей душою,— но хлопал вино отчаянно!.. Зато другие все говорили; то есть собственно говорил хозяин — да Паклин; Паклин особенно. Нежданов внутренно досадовал; Маркелов злился и негодовал — иначе, но так же сильно, как у Субочевых; Соломин наблюдал.

Паклин потешался! Своею бойкой речью он чрезвычайно понравился Голушкину, который и не подозревал того, что этот самый «хромушка» то и дело шепчет на ухо сидевшему возле него Нежданову самые злостные замечания насчет его, Голушкина! Он даже полагал, что это — малый простой и что его можно «третировать» свысока... оттого-то он ему и понравился между прочим. Сиди Паклин возле него — он бы давно ткнул его пальцем в ребра или ударил по плечу; он и то кивал ему через стол и мотал головою в его направлении... но между Неждановым и им восседал, во-первых, Маркелов — эта «мрачная туча»; а там Соломин. Зато Голушкин закатисто смеялся каждому слову Паклина, смеялся на веру, наперед, хлопая себя по животу, выказывая свои синеватые десны. Паклин скоро понял, чего от него требовалось, и начал всё бранить (оно же для него было делом подходящим) — всё и всех: и консерваторов, и либералов, и чиновников, и адвокатов, и администраторов, и помещиков, и земцев, и думцев, и Москву, и Петербург!

— Да, да, да,— подхватывал Голушкин,— так, так, так, так! Вот, например, у нас голова — совершенный осел! Тупица непроходимая! Я ему говорю и то и то... а он ничего не понимает; не хуже нашего губернатора!

— А ваш губернатор — глуп? — полюбопытствовал Паклин.

— Я же вам говорю: осел!

— Вы не заметили: он хрипит или гнусит?

— Как? — спросил Голушкин не без недоуменья.

— Да разве вы не знаете? У нас на Руси важные штатские хрипят, важные военные гнусят в нос; и только

самые высокие сановники и хрипят и гнусят в одно и то же время.

Голушкин захохотал с ревом, даже прослезился.

— Да, да,— лепетал он,— гнусит... гнусит... Он военный!

«Ах ты, олух!» — думал про себя Паклин.

— У нас всё гнило, где ни тронь! — кричал Голушкин немного спустя.— Всё, всё гнило!

— Почтеннейший Капитон Андреич,— внушительно замечал Паклин,— а сам тихонько говорил Нежданову: «Что это он всё руками разводит, точно сюртук ему под мышками режет?» — Почтеннейший Капитон Андреич, поверьте мне: тут полумеры ничего не помогут!

— Какие полумеры! — вскричал Голушкин, внезапно переставая смеяться и принимая свирепый вид,— тут одно: с корнем вон! Васька, пей, с... с..!

— И то пью-с, Капитон Андреич,— отвечал приказчик, опрокидывая себе в горло стакан.

Голушкин тоже «ухнул».

— И как только он не лопнет! — шептал Паклин Нежданову.

— Привычка! — отвечал тот.

Но не один приказчик пил вино. Понемногу оно разобрало всех. Нежданов, Маркелов, даже Соломин вмешались понемногу в разговор.

Сперва как бы с пренебрежением, как бы с досадой против самого себя, что вот, мол, и он не выдерживает характера и пускается толочь воду, Нежданов начал толковать о том, что пора перестать забавляться одними словами, пора «действовать»; упомянул даже об отысканной почве!! И тут же, не замечая, что он себе противоречит, начал требовать, чтобы ему указали те существующие, реальные элементы, на которые можно опереться, что он их не видит. «В обществе нет сочувствия, в народе нет сознания... вот тут и бейся!» Ему, конечно, не возражали; не потому, что возражать было нечего — но каждый уже начал говорить тоже свое. Маркелов забарабанил глухим и злобным голосом, настойчиво, однообразно («ни дать ни взять, капусту рубит»,— заметил Паклин). О чем собственно он говорил, не совсем было понятно; слово: «артиллерия» послышалось из его уст в момент затишья... он, вероятно, вспомнил те недостатки, которые открыл в ее устройстве. Досталось также немцам и адъютантам. Соломин — и тот заметил, что есть две манеры выжидать: вы-

ждать и ничего не делать — и выжидать да подвигать дело вперед.

— Нам не нужно постепеновцев,— сумрачно проговорил Маркелов.

— Постепеновцы до сих пор шли сверху,— заметил Соломин,— а мы попробуем снизу.

— Не нужно, к чёрту! не нужно,— рьяно подхватывал Голушкин,— надо разом, разом!

— То есть вы хотите в окно прыгнуть?

— И прыгну! — завопил Голушкин — Прыгну! и Васька прыгнет! Прикажу — прыгнет! А? Васька! Ведь прыгнешь?

Приказчик допил стакан шампанского.

— Куда вы, Капитон Андреич, туда и мы. Разве мы рассуждать смеем?

— А! то-то! В бар-раний р-рог согну!

Вскорости наступило то, что на языке пьяниц носит название столпотворения вавилонского. Поднялся гам и шум «велий». Как первые снежинки кружатся, быстро сменяясь и пестрея еще в теплом осеннем воздухе,— так в разгоряченной атмосфере голушкинской столовой завертелись, толкая и тесня друг дружку, всяческие слова: прогресс, правительство, литература; податной вопрос, церковный вопрос, женский вопрос, судебный вопрос; классицизм, реализм, нигилизм, коммунизм; интернационал, клерикал, либерал, капитал; администрация, организация, ассоциация и даже кристаллизация! Голушкин, казалось, приходил в восторг именно от этого гама; в нем-то, казалось, и заключалась для него настоящая суть... Он торжествовал! «Знай, мол, наших! Расступись — убью!.. Капитон Голушкин едет!» Приказчик Вася до того, наконец, нализался, что начал фыркать и говорить в тарелку,— и вдруг, как бешеный, закричал: «Что за дьявол такой — *про*гимназия??!»

Голушкин внезапно поднялся и, закинув назад свое побагровевшее лицо, на котором к выражению грубого самовластия и торжества странным образом примешивалось выражение другого чувства, похожего на тайный ужас и даже на трепетание, гаркнул: «Жертвую еще *тыщу*! Васька, тащи!» — на что Васька вполголоса ответствовал: «Малина!» А Паклин, весь бледный и в поту (он в последние четверть часа пил не хуже приказчика),— Паклин, вскочив с своего места и подняв обе руки над головою, проговорил с расстановкой: «Жертвую! Он про-

изнес: жертвую! О! осквернение святого слова! Жертва! Никто не дерзает возвыситься до тебя, никто не имеет силы исполнить те обязанности, которые ты налагаешь, по крайней мере никто из нас, здесь предстоящих,— а этот самодур, этот дрянной мешок тряхнул своей раздутой утробой, высыпал пригоршню рублей и кричит: жертвую! И требует благодарности; лаврового венка ожидает, подлец!!» Голушкин либо не расслышал, либо не понял того, что сказал Паклин, или, быть может, принял его слова за шутку, потому что еще раз провозгласил: «Да! *тыщу* рублев! Что Капитон Голушкин сказал — то свято!» Он вдруг запустил руку в боковой карман. «Вот они, денежки-то! Нате, рвите; да помните Капитона!» — Он, как только приходил в некоторый азарт, говорил о себе, как маленькие дети, в третьем лице. Нежданов подобрал брошенные на залитую скатерть бумажки. Но после этого уже нечего было оставаться; да и поздно становилось. Все встали, взяли шапки — и убрались.

На вольном воздухе у всех закружились головы — особенно у Паклина.

— Ну? куда ж мы теперь? — не без труда проговорил он.

— Не знаю, куда вы,— отвечал Соломин,— а я к себе домой.

— На фабрику?

— На фабрику.

— Теперь, ночью, пешком?

— Что ж такое? Здесь ни волков, ни разбойников нет, а ходить я здоров. Ночью-то еще свежее.

— Да тут четыре версты!

— А хоть бы и все пять. До свиданья, господа!

Соломин застегнулся, надвинул картуз на лоб, закурил сигару и зашагал большими шагами по улице.

— А ты куда? — обратился Паклин к Нежданову.

— Я вот к нему.— Он указал на Маркелова, который стоял неподвижно, скрестив руки на груди.— У нас здесь и лошади и экипаж.

— Ну, прекрасно... а я, брат, в оазис, к Фомушке да к Фимушке. И знаешь, что я тебе скажу, брат? И там чепуха — и здесь чепуха... Только та чепуха, чепуха XVIII века, ближе к русской сути, чем этот XX век. Прощайте, господа; я пьян... не взыщите. Послушайте, что́ я вам еще скажу! Добрей и лучше моей сестры... Снандулии... на свете женщины нет; а вот она — и горбатая и Снанду-

лия. И всегда так на свете бывает! А впрочем, ей и след так называться. Вы знаете ли, кто была святая Снандулия? — Добродетельная жена, которая ходила по тюрьмам и врачевала раны узникам и больным. Ну, однако, прощайте! Прощай, Нежданов,— жалкий человек! И ты, офицер... у! бука! Прощай!

Он поплелся, прихрамывая и пошатываясь, в «оазис», а Маркелов вместе с Неждановым отыскали постоялый двор, в котором они оставили свой тарантас, велели заложить лошадей — и полчаса спустя уже катили по большой дороге.

XXI

Небо заволокло низкими тучами — и хотя не было совсем темно и накатанные колеи на дороге виднелись, бледно поблескивая, впереди, однако направо, налево всё застилалось и очертания отдельных предметов сливались в смутные большие пятна. Была тусклая, неверная ночь; ветер набегал порывистыми сырыми струйками, принося с собою запах дождя и широких хлебных полей. Когда, проехав дубовый куст, служивший приметой, пришлось свернуть на проселок, дело стало еще неладнее; узкая путина по временам совсем пропадала... Кучер поехал тише.

— Как бы не сбиться нам! — заметил молчавший до тех пор Нежданов.

— Нет! не собьемся! — промолвил Маркелов.— Двух бед в один день не бывает.

— Да какая же была первая беда?

— Какая? А что мы день напрасно потеряли — это вы ни за что считаете?

— Да... конечно... Этот Голушкин!! Не следовало так много вина пить. Голова теперь болит... смертельно.

— Я не о Голушкине говорю, он по крайней мере денег дал; стало быть, хоть какая-нибудь от нашего посещения польза была!

— Так неужели вы сожалеете о том, что Паклин свел нас к своим... как бишь он называл их... переклиткам?

— Жалеть об этом нечего... да и радоваться нечему. Я ведь не из тех, которые интересуются подобными... игрушками... Я не на эту беду намекал.

— Так на какую же?

Маркелов ничего не отвечал и только повозился не-

много в своем уголку, словно кутаясь. Нежданов не мог хорошенько разобрать его лица; одни усы выдавались черной поперечной чертой; но он с самого утра чувствовал в Маркелове присутствие чего-то такого, до чего было лучше не касаться,— какого-то глухого и тайного раздражения.

— Послушайте, Сергей Михайлович,— начал он погодя немного,— неужели вы не шутя восхищаетесь письмами этого г-на Кислякова, которые вы мне дали прочесть сегодня? Ведь это, извините резкость выражения, это — дребедень!

Маркелов выпрямился.

— Во-первых,— заговорил он гневным голосом,— я нисколько не разделяю вашего мнения насчет этих писем и нахожу их весьма замечательными... и добросовестными! А во-вторых, Кисляков трудится, работает — и главное: он *верит*; верит в наше дело, верит в рево-люцию! Я должен вам сказать одно, Алексей Дмитриевич,— я замечаю, что *вы*, вы охладеваете к нашему делу, вы не верите в него!

— Из чего вы это заключаете? — медлительно произнес Нежданов.

— Из чего? Да изо всех ваших слов, из всего вашего поведения!! Сегодня у Голушкина кто говорил, что он не видит, на какие элементы можно опереться? Вы! Кто требовал, чтоб их ему указали? Опять-таки вы! И когда этот ваш приятель, этот пустой балагур и зубоскал, г-н Паклин, стал, поднимая глаза к небу, уверять, что никто из нас не в силах принести жертву, кто ему поддакивал, кто одобрительно покачивал головою? Разве не вы? Говорите о себе как хотите, думайте о себе как знаете... это ваше дело... но мне известны люди, которые сумели оттолкнуть от себя всё, чем жизнь прекрасна — самое блаженство любви,— для того, чтоб служить своим убеждениям, чтоб не изменить им! Ну, *вам* сегодня... конечно, было не до того!

— Сегодня? Почему же именно сегодня?

— Да не притворяйтесь ради бога, счастливый Дон-Жуан, увенчанный миртами любовник! — вскричал Маркелов, совершенно забыв о кучере, который хоть и не оборачивался с козел, но мог отлично всё слышать. Правда, кучера в эту минуту гораздо более озабочивала дорога, чем все пререканья сидевших за его спиною господ, и он осторожно и даже несколько робко отпрукивал ко-

ренника, который мотал головою и садился на зад, спуская тарантас с какой-то кручи, которой и не следовало совсем тут быть.

— Позвольте, я вас что-то не понимаю,— промолвил Нежданов.

Маркелов захохотал принужденно и злобно.

— Вы меня не понимаете! Ха, ха, ха! Я всё знаю, милостивый государь! Знаю, с кем вы объяснялись вчера в любви; знаю, кого вы пленили вашей счастливой наружностью и красноречием; знаю, кто допускает вас к себе в комнату... после десяти часов вечера!

— Барин! — обратился вдруг кучер к Маркелову.— Подержите-ка вожжи... Я слезу, посмотрю... Мы, кажись, с дороги сбились... Водомоина тут, что ль, какая...

Тарантас действительно стоял совсем на боку.

Маркелов ухватил вожжи, переданные ему кучером, и продолжал всё так же громко:

— Я вас нисколько не виню, Алексей Дмитрич! Вы воспользовались... Вы были правы. Я говорю только о том, что не удивляюсь вашему охлаждению к общему делу: у вас, я опять-таки скажу,— не то на уме. И прибавлю кстати от себя: где тот человек, который может заранее предугадать, что именно нравится девическим сердцам, или постигнуть, чего они желают!!.

— Я теперь понимаю вас,— начал было Нежданов,— понимаю ваше огорчение, догадываюсь, кто нас подкараулил и поспешил сообщить вам...

— Тут не заслуги,— продолжал Маркелов, притворяясь, что не слышит Нежданова и с намерением растягивая и как бы распевая каждое слово,— не какие-нибудь необыкновенные душевные или физические качества... Нет! Тут просто... треклятое счастье всех незаконнорожденных детей, всех в...!

Последнюю фразу Маркелов произнес отрывисто и быстро — и вдруг умолк, словно замер.

А Нежданов даже в темноте почувствовал, что весь побледнел, и мурашки забегали по его щекам. Он едва удержался, чтобы не броситься на Маркелова, не схватить его за горло... «Кровью надо смыть эту обиду, кровью...»

— Признал дорогу! — воскликнул кучер, появившись у правого переднего колеса,— маленько ошибся, влево взял... Теперь ничего! духом представим; и версты до нас не будет. Извольте сидеть!

Он взобрался на облучок, взял у Маркелова вожжи, повернул коренника в сторону... Тарантас сильно тряхнуло раза два, потом он покатился ровнее и шибче — мгла как будто расступилась и приподнялась, потянуло дымком — впереди вырос какой-то бугор. Вот мигнул огонек... он исчез... Мигнул другой... Собака залаяла...

— Наши выселки,— промолвил кучер.— Эх вы, котята любезные!

Чаще и чаще неслись навстречу огоньки.

— После такого оскорбления,— заговорил наконец Нежданов,— вы легко поймете, Сергей Михайлович, что мне невозможно ночевать под вашим кровом; а потому мне остается просить вас, как это мне ни неприятно, чтобы вы, приехавши домой, дали мне ваш тарантас, который довезет меня до города; завтра я уже найду способ, как добраться до дому; а там вы получите от меня уведомление, которого, вероятно, ожидаете.

Маркелов не тотчас отвечал.

— Нежданов,— сказал он вдруг негромким, но почти отчаянным голосом,— Нежданов! Ради самого бога, войдите ко мне в дом — хоть бы только для того, чтобы я мог на коленях попросить у вас прощения! Нежданов! Забудьте... забудь, забудь мое безумное слово! Ах, если б кто-нибудь мог почувствовать, до какой степени я несчастлив! — Маркелов ударил себя кулаком в грудь — и в ней словно что застонало.— Нежданов! будь великодушен! Дай мне руку... Не откажись простить меня!

Нежданов протянул ему руку — нерешительно, но протянул. Маркелов стиснул ее так, что тот чуть не вскрикнул...

Тарантас остановился у крыльца маркеловского дома.

— Слушай, Нежданов,— говорил ему Маркелов четверть часа спустя у себя в кабинете...— Слушай! (он уже не говорил ему иначе как «ты», и в этом неожиданном *ты*, обращенном к человеку, в котором он открыл счастливого соперника, которого он только что оскорбил кровно, которого он готов был убить, разорвать на части,— в этом «ты» было и бесповоротное отречение, и моление смиренное, горькое, и какое-то право... Нежданов это право признал тем, что сам начал говорить Маркелову *ты*).

— Слушай! Я тебе сейчас сказал, что я от счастья любви отказался, оттолкнул его, чтобы только служить своим убеждениям... Это вздор, бахвальство! Никогда мне ничего подобного не предлагали, нечего мне было

отталкивать! Я как родился бесталанным, так и остался им... Или, может быть, оно так и следовало. Потому руки у меня не туда поставлены — мне предстоит делать иное! Коли ты можешь соединить и то и другое... любить и быть любимым... и в то же время служить делу... ну, так ты молодец! — я тебе завидую.. но сам я — нет. Я не могу. Ты счастливец! Ты счастливец! А я не могу.

Маркелов говорил всё это тихим голосом, сидя на низком стуле, понурив голову и свесив обе руки как плети. Нежданов стоял перед ним, погруженный в какое-то задумчивое внимание, и хотя Маркелов и величал его счастливцем, он не смотрел и не чувствовал себя таким.

— Меня в молодости обманула одна...— продолжал Маркелов,— была она девушка чудесная — и всё-таки изменила мне... для кого же? Для немца! для адъютанта!! А Марианна...

Он приостановился... Он в первый раз произнес ее имя, и оно как будто обожгло его губы.

— Марианна не обманула меня; она прямо объявила мне, что я не нравлюсь ей... Да и чему тут нравиться? Ну — отдалась она тебе... Ну что ж? Разве она не была свободна?

— Да постой, постой! — воскликнул Нежданов.— Что ты такое говоришь?! Какое — отдалась! Я не знаю, что тебе написала твоя сестра; но уверяю тебя...

— Я не говорю: физически; но нравственно отдалась — сердцем, душою,— подхватил Маркелов, которому почему-то, видимо, понравилось восклицание Нежданова.— И прекрасно сделала. А моя сестра... конечно, она не имела намерения меня огорчить... То есть в сущности это ей всё равно; но она, должно быть, тебя ненавидит — и Марианну тоже. Она не солгала... а впрочем, господь с ней!

«Да,— подумал про себя Нежданов,— она нас ненавидит».

— Всё к лучшему,— продолжал Маркелов, не переменяя положения.— Теперь с меня последние путы сняты; теперь уже ничего мне не мешает! Ты не смотри на то, что Голушкин — самодур: это ничего. И письма Кислякова... они, может быть, смешны... точно; но надо обращать внимание на главное. По его словам... везде всё готово. Ты вот, пожалуй, и этому не веришь?

Нежданов ничего не отвечал.

— Ты, может быть, прав; но ведь если ждать минуты, когда всё, решительно всё будет готово,— никогда не

придется начинать. Ведь если взвешивать наперед *все* последствия — наверное, между ними будут какие-либо дурные. Например: когда наши предшественники устроили освобождение крестьян — что ж? могли они предвидеть, что одним из последствий этого освобождения будет появление целого класса помещиков-ростовщиков, которые продают мужику четверть прелой ржи за шесть рублей, а получают с него (тут Маркелов пригнул один палец): во-первых, работу на все шесть рублей, да сверх того (Маркелов пригнул другой палец) — целую четверть хорошей ржи — да еще (Маркелов пригнул третий) с прибавком! то есть высасывают последнюю кровь из мужика? Ведь это эманципаторы наши предвидеть не могли — согласись! И все-таки, если даже они это предвидели, хорошо они сделали, что освободили крестьян — и не взвешивали всех последствий! А потому я... решился!

Нежданов вопросительно, с недоумением посмотрел на Маркелова; но тот отвел свой взгляд в сторону, в угол. Его брови сдвинулись и закрыли зрачки; он кусал губы и жевал усы.

— Да, я решился! — повторил он, с размаху ударив по колену своим волосатым, смуглым кулаком.— Я ведь упрямый... я недаром наполовину малоросс.— Потом он встал и, шаркая ногами, точно они у него ослабели, пошел в свою спальню и вынес оттуда небольшой портрет Марианны под стеклом.

— Возьми,— промолвил он печальным, но ровным голосом,— это *я* когда-то сделал. Рисую я плохо; но ты посмотри, кажется, похож (портрет, сделанный карандашом, в профиль, был действительно похож). Возьми, брат; это мое завещание. Вместе с этим портретом я тебе передаю — не мои права... у меня их не было... а, знаешь — всё! Я тебе всё передаю — и ее. Она, брат, хорошая...

Маркелов помолчал; грудь его заметно поднималась.

— Возьми. Ведь ты на меня не сердишься? Ну, так возьми. А мне теперь уж ничего... этакого... не нужно.

Нежданов взял портрет; но странное чувство стеснило его грудь. Ему казалось, что он не имел права принять этот подарок; что если бы Маркелов знал, что у него, Нежданова, на сердце, он бы, может быть, ему этого портрета не отдал. Нежданов держал в руке этот маленький круглый кусочек картона, тщательно обведенный по черной рамке узкой полоской золотой бумаги,— и не знал,

что делать с ним.— Ведь это тут целая жизнь человека в моей руке,— думалось ему. Он понимал, какую жертву приносит Маркелов, но зачем, зачем именно ему? А отдать портрет? Нет! Это было бы оскорбление еще злейшее... И, наконец, ведь ему дорого это лицо, ведь он любит ее!

Нежданов не без некоторого внутреннего страха возвел глаза на Маркелова... не глядит ли тот на него — не старается ли уловить его мысли? Но Маркелов опять уставился на угол и жевал усы.

Старик слуга вошел в комнату со свечкой в руке.

Маркелов встрепенулся.

— Спать пора, брат Алексей! — воскликнул он.— Утро вечера мудренее. Дам тебе завтра лошадей, ты покатишь домой — и прощай!

— Прощай и ты, старина! — прибавил он вдруг, обратившись к слуге и ударив его по плечу.— Не поминай лихом!

Старик до того изумился, что чуть не выронил свечки, и взгляд его, устремленный на своего барина, выразил нечто другое — и большее, чем обычную его унылость.

Нежданов ушел к себе в комнату. Ему было нехорошо. Голова его всё еще болела от выпитого вина, в ушах звенело, в глазах мерещилось, хотя он и закрывал их. Голушкин, Васька приказчик, Фомушка, Фимушка вертелись перед ним; вдали образ Марианны, как бы не доверяя, не решался приблизиться. Всё, что он делал и говорил сам, казалось ему такою фальшью и ложью, таким ненужным и приторным вздором... а то, что надо делать, к чему надо стремиться,— неизвестно где, недоступно, за десятью замками, зарыто в преисподнюю...

И беспрестанно ему хотелось встать, сойти к Маркелову, сказать ему: возьми свой подарок — возьми его назад.

— Фу! Какая скверность жизнь! — воскликнул он наконец.

На другое утро он уехал рано. Маркелов уже был на крыльце, окруженный крестьянами. Созвал ли он их, пришли ли они сами собою — Нежданов так и не узнал; Маркелов очень односложно и сухо простился с ним... но казалось, что он собирался сообщить им нечто важное. Старый слуга тут же торчал с своим неизменным взором.

Тарантас скоро проскочил город и, выбравшись в поля, покатил лихо. Лошади были те же самые, но кучер — потому ли, что Нежданов жил в богатом доме, по другим

ли соображениям,— рассчитывал на хорошую «на водку»... а известно: когда кучер выпил водки или с уверенностью ждет ее — лошади бегут отлично. Погода была июньская, хоть и свежая: высокие резвые облака по синему небу, сильный ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним дождем, ракиты шумят, блестят и струятся — всё движется, всё летит; перепелиный крик приносится жидким пóсвистом с отдаленных холмов, через зеленые овраги, точно и у этого крика есть крылья и он сам прилетает на них, грачи лоснятся на солнце, какие-то темные блохи ходят по ровной черте обнаженного небосклона... это мужики двоят поднятый пар.

Но Нежданов пропускал всё это мимо... мимо... он и не заметил, как доехали до сипягинского именья,— до того им овладели думы...

Однако он вздрогнул, когда увидел крышу дома, верхний этаж, окно Марианниной комнаты. «Да,— сказал он себе, и тепло ему стало на сердце,— *он* прав — она хорошая — и я люблю ее».

XXII

Он наскоро переоделся и пошел давать урок Коле. Сипягин, которого он встретил в столовой, поклонился ему холодно и учтиво и, процедив сквозь зубы: «Хорошо ли съездили?» — проследовал в свой кабинет. Государственный человек уже решил в своем министерском уме, что, как только кончатся вакации, он немедленно отправит в Петербург этого — «положительно слишком красного» — учителя, а пока будет наблюдать за ним. «Je n'ai pas eu la main heureuse cette fois-ci,— подумал он про себя,— а впрочем... j'aurais pu tomber pire»[1]. Чувства Валентины Михайловны к Нежданову были гораздо энергичнее и определеннее. Она его уже совсем терпеть не могла... Он, этот мальчишка! — он оскорбил ее. Марианна не ошиблась: это она, Валентина Михайловна, подслушивала ее и Нежданова в коридоре... Знатная барыня этим не побрезгала. В течение тех двух дней, в которые продолжалось его отсутствие, она хотя ничего не сказала

---

[1] «Мне не посчастливилось на этот раз... я мог бы напасть и на худшее» *(франц.)*.

своей «легкомысленной» родственнице, но беспрестанно давала ей понять, что ей всё известно; что она негодовала бы, если б не удивлялась, и удивилась бы еще более, если б частью не презирала, частью не сожалела... Сдержанное, внутреннее презрение наполняло ее щеки, что-то насмешливое и в то же время сожалительное приподнимало ее брови, когда она глядела на Марианну, говорила с нею; ее чудесные глаза с мягким недоуменьем, с грустной гадливостью останавливались на самонадеянной девушке, которая, после всех своих «фантазий и эксцентричностей», кончила тем, что це...лу...ет...ся в темных комнатах с каким-то недоучившимся студентом!

Бедная Марианна! Ее строгие, гордые губы не ведали еще ничьих лобзаний.

Впрочем, мужу своему Валентина Михайловна не намекнула о сделанном ею открытии; она удовольствовалась тем, что сопровождала немногие слова, обращенные ею к Марианне в *его* присутствии, значительной усмешкой, которая нисколько не обусловливалась их содержанием. Валентина Михайловна даже несколько раскаивалась в том, что написала письмо брату... Но в конце концов она предпочла: раскаиваться — и чтоб это было сделано, чем не раскаиваться — и чтоб письмо осталось ненаписанным.

С Марианной Нежданов увиделся мельком, в столовой, за завтраком. Он нашел, что она похудела и пожелтела: она была нехороша собой в тот день; но быстрый взгляд, который она бросила на него, как только он вошел в комнату, проник в самое его сердце. Зато Валентина Михайловна посматривала на него так, как будто постоянно внутренно твердила: «Поздравляю! Прекрасно! Очень ловко!» — и в то же время ей хотелось вычитать на его лице: показал ли ему Маркелов ее письмо, или нет? Она решила наконец, что показал.

Сипягин, узнав, что Нежданов ездил на фабрику, которою заведовал Соломин, начал расспрашивать его об этом «во всех отношениях любопытном промышленном заведении»; но, вскорости убедившись из ответов молодого человека, что он собственно там ничего не видел, умолк величественно, как бы упрекая самого себя в том, что мог ожидать каких-либо дельных сведений от такого еще незрелого субъекта! Выходя из столовой, Марианна успела шепнуть Нежданову: «Жди меня в старой березовой роще, на конце сада; я приду туда, как только будет возможно». Нежданов подумал: «И она говорит мне: „ты“—

так же, как тот». И как это было ему приятно, хоть и несколько жутко!.. и как было бы странно — да и невозможно,— если б она вдруг снова начала говорить ему «вы», если б она отодвинулась от него...

Он почувствовал, что это было бы для него несчастьем. Был ли он влюблен в нее — этого он еще не знал; но что она стала ему дорогою, и близкой, и нужной... главное, нужной — это он чувствовал всем существом своим.

Роща, куда послала его Марианна, состояла из сотни высоких, старых, большей частью плакучих берез. Ветер не переставал; длинные пачки ветвей качались, метались, как распущенные косы; облака по-прежнему неслись быстро и высоко; и когда одно из них налетало на солнце, всё кругом становилось — не темно, но одноцветно. Но вот оно пролетело — и всюду, внезапно, яркие пятна света мятежно колыхались снова: они путались, пестрели, мешались с пятнами тени... Шум и движение были те же; но какая-то праздничная радость прибавлялась к ним. С таким же радостным насилием врывается страсть в потемневшее, взволнованное сердце... И такое именно сердце принес в груди своей Нежданов.

Он прислонился к стволу березы — и начал ждать. Он собственно не знал, что он чувствовал, да и не желал это знать: ему было и страшнее и легче, чем у Маркелова. Он хотел прежде всего ее видеть, говорить с нею; тот узел, который внезапно связывает два живых существа, уже захватил его. Нежданов вспомнил веревку, которая летит на набережную с парохода, когда тот собирается причалить... Вот уж она обвилась около столба — и пароход остановился...

В пристани! Слава богу!

Он вдруг вздрогнул. Женское платье замелькало вдали по дорожке. Это она. Но идет ли она к нему, уходит ли от него — он не знал, пока не увидел, что пятна света и тени скользили по ее фигуре *снизу вверх*... значит, она приближается. Они бы спускались *сверху вниз*, если б она удалялась. Еще несколько мгновений — и она стояла возле него, перед ним, с приветным, оживленным лицом, с ласковым блеском в глазах, с слабо, но весело улыбавшимися губами. Он схватил ее протянутые руки — однако тотчас не мог вымолвить ни слова; и она ничего не сказала. Она очень скоро шла и немного задыхалась, но видно было, что она очень обрадовалась тому, что он обрадовался ей.

Она первая заговорила.

— Ну что,— начала она,— сказывай скорей, чем вы решили?

Нежданов удивился.

— Решили... да разве надо было теперь же решить?

— Ну, ты понимаешь меня. Рассказывай: о чем вы говорили? Кого ты видел? Познакомился ли ты с Соломиным? Рассказывай всё... всё! Постой, пойдем туда, подальше. Я знаю место... там не так видно.

Она повлекла его за собою. Он послушно шел за ней целиком по высокой, редкой, сухой траве.

Она привела его куда хотела. Там лежала, поваленная бурей, большая береза. Они уселись на ее стволе.

— Рассказывай! — повторила она, но тотчас же прибавила: — Ах! как я рада тебя видеть! Мне казалось, что эти два дня никогда не кончатся. Ты знаешь, я теперь убеждена в том, что Валентина Михайловна нас подслушала.

— Она написала об этом Маркелову,— промолвил Нежданов.

— Ему?!

Марианна помолчала и понемногу покраснела вся — не от стыда, а от другого, более сильного чувства:

— Злая, дурная женщина! — медленно прошептала она,— она не вправе была это сделать... Ну, всё равно! Рассказывай, рассказывай!

Нежданов начал говорить... Марианна слушала его с каким-то окаменелым вниманием — и только тогда прерывала его, когда она замечала, что он спешит, не останавливается на подробностях. Впрочем, не все подробности его поездки были одинаково интересны для нее: над Фомушкой и Фимушкой она посмеялась, но они ее не занимали. Их быт был слишком от нее далек.

— Ты мне точно о Навуходоносоре сведения сообщаешь,— заметила она.

А вот что говорил Маркелов, что думает даже Голушкин (хотя она тотчас поняла, что это за птица), а главное: какого мнения Соломин и что он сам за человек — вот что ей нужно было знать, вот о чем она сокрушалась. «Когда же? когда?» — Этот вопрос постоянно вертелся у ней в голове, просился на уста во всё время, пока говорил Нежданов. А он как будто избегал всего, что могло дать положительный ответ на этот вопрос. Он сам стал замечать, что налегает именно на те подробности, которые менее

интересовали Марианну... нет-нет — да и возвратится к ним. Юмористические описания возбуждали в ней нетерпение; тон разочарованный или унылый ее огорчал... Надо было постоянно обращаться к «делу», к «вопросу». Тут никакое многословие ее не утомляло. Вспомнилось Нежданову время, когда он, еще не будучи студентом и живя летом на даче у одних хороших знакомых, вздумал рассказывать их детям сказки: и они также не ценили ни описаний, ни выражений личных, собственных ощущений... они также требовали дела, фактов! Марианна не была ребенком, но прямотою и простотою чувства она походила на ребенка.

Нежданов искренно и горячо похвалил Маркелова и с особенным сочувствием отозвался о Соломине. Говоря о нем чуть не в восторженных выражениях, он спрашивал самого себя: что собственно заставляло его быть такого высокого мнения об этом человеке? Ничего особенно умного он не высказал; иные его слова даже как будто шли вразрез с убеждениями его, Нежданова... «Уравновешенный характер,— думалось ему,— вот что; обстоятельный, свежий, как говорила Фимушка, крупный человек; спокойная, крепкая сила; знает, что ему нужно, и себе доверяет — и возбуждает доверие; тревоги нет... и равновесие! равновесие!.. Вот это главное; именно, чего у меня нет». Нежданов умолк, предавшись размышлению... Вдруг он почувствовал прикосновение руки на своем плече.

Он поднял голову: Марианна глядела на него заботливым и нежным взором.

— Друг! Что с тобою? — спросила она.

Он снял ее руку с плеча и в первый раз поцеловал эту маленькую, но крепкую руку. Марианна слегка засмеялась, как бы удивившись: с чего могла ему прийти в голову такая любезность? Потом она в свою очередь задумалась.

— Маркелов показал тебе письмо Валентины Михайловны? — спросила она наконец.

— Да.

— Ну... и что же он?

— Он? Он благороднейшее, самоотверженное существо! Он...— Нежданов хотел было сказать Марианне о портрете, да удержался и только повторил: — благороднейшее существо!

— О да, да!

Марианна опять задумалась — и вдруг, повернув-

шись к Нежданову на стволе березы, служившей им обоим сиденьем, с живостью промолвила:

— Ну, так чем же вы решили?

Нежданов пожал плечами.

— Да я тебе сказал уже, что пока — ничем; надо будет еще подождать.

— Подождать еще... Чего же?

— Последних инструкций. («А ведь я вру»,— думалось Нежданову.)

— От кого?

— От кого... ты знаешь... от Василия Николаевича. Да вот еще надо подождать, чтобы Остродумов вернулся.

Марианна вопросительно посмотрела на Нежданова.

— Скажи, ты когда-нибудь видел этого Василия Николаевича?

— Видел раза два... мельком.

— Что, он... замечательный человек?

— Как тебе сказать? Теперь он голова — ну, и орудует. А без дисциплины в нашем деле нельзя; повиноваться нужно. («И *это* всё вздор»,— думалось Нежданову.)

— Какой он из себя?

— Какой? Приземистый, грузный, чернявый... Лицо скуластое, калмыцкое... грубое лицо. Только глаза очень живые.

— А говорит он как?

— Он не столько говорит, сколько командует.

— Отчего же он сделался головою?

— А с характером человек. Ни пред чем не отступит. Если нужно — убьет. Ну — его и боятся.

— А Соломин каков из себя? — спросила Марианна погодя немного.

— Соломин тоже не очень красив; только у этого славное лицо, простое, честное. Между семинаристами — хорошими — такие попадаются лица.

Нежданов подробно описал Соломина. Марианна посмотрела на Нежданова долго... долго... потом промолвила, словно про себя:

— У тебя тоже хорошее лицо. С тобою, думаю, можно жить.

Это слово тронуло Нежданова; он снова взял ее руку и поднес было ее к губам...

— Погоди любезничать,— промолвила, смеясь, Марианна — она всегда смеялась, когда у ней целовали руку,— ты не знаешь: я перед тобой виновата.

— Каким это образом?

— А вот как. Я в твоем отсутствии вошла к тебе в комнату — и там, на твоем столе, увидала тетрадку со стихами (Нежданов дрогнул: он вспомнил, что он точно забыл эту тетрадку на столе своей комнаты),— и каюсь перед тобою: не сумела победить свое любопытство и прочла. Ведь это твои стихи?

— Мои; и знаешь ли что, Марианна? Лучшим доказательством, до какой степени я к тебе привязан и как я тебе доверяю — может служить то, что я почти не сержусь на тебя.

— Почти? Стало быть, хоть немного, да сердишься? Кстати, ты меня зовешь Марианной; не могу же я тебя звать Неждановым! Буду звать тебя Алексеем. А стихотворение, которое начинается так: «Милый друг, когда я буду умирать...» тоже твое?

— Мое... мое. Только, пожалуйста, брось это... Не мучь меня.

Марианна покачала головою.

— Оно очень печально. Это стихотворение... Надеюсь, что ты его написал до сближения со мною. Но стихи хороши — насколько я могу судить. Мне сдается, что ты мог бы сделаться литератором, только я *наверное* знаю, что у тебя есть призвание лучше и выше литературы. Этим хорошо было заниматься прежде, когда другое было невозможно.

Нежданов кинул на нее быстрый взгляд.

— Ты думаешь? Да, я с тобой согласен. Лучше гибель там, чем успех здесь.

Марианна стремительно встала.

— Да, мой милый, ты прав! — воскликнула она, и всё лицо ее просияло, вспыхнуло огнем и блеском восторга, умилением великодушных чувств.— Ты прав! Но, может быть, мы и не погибнем тотчас; мы успеем, ты увидишь, мы будем полезны, наша жизнь не пропадет даром, мы пойдем в народ... Ты знаешь какое-нибудь ремесло? Нет? Ну, всё равно — мы будем работать, мы принесем им, нашим братьям, всё, что мы знаем,— я, если нужно, в кухарки пойду, в швеи, в прачки... Ты увидишь, ты увидишь... И никакой тут заслуги не будет — а счастье, счастье...

Марианна умолкла; но взор ее, устремленный в даль, не в ту, которая расстилалась перед нею,— а в другую,

неведомую, еще не бывалую, но видимую ей,— взор ее горел...

Нежданов склонился к ее стану...

— О Марианна! — шепнул он,— я тебя не стою!

Она вдруг вся встрепенулась.

— Пора домой, пора! — промолвила она,— а то сейчас опять нас отыскивать станут. Впрочем, Валентина Михайловна, кажется, махнула на меня рукой. Я в ее глазах — пропащая.

Марианна произнесла это слово с таким светлым, радостным лицом, что и Нежданов, глядя на нее, не мог не улыбнуться и не повторить: пропащая!

— Только она очень оскорблена тем,— продолжала Марианна,— как же это ты не у ее ног? Но это всё ничего — а вот что... Ведь здесь оставаться мне нельзя будет... Надо будет бежать.

— Бежать? — повторил Нежданов.

— Да, бежать... Ведь и ты не останешься? Мы уйдем вместе. Нам надо будет работать вместе... Ведь ты пойдешь со мною?

— На край света! — воскликнул Нежданов, и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности.— На край света! — В эту минуту он точно ушел бы с нею без оглядки, куда бы она ни пожелала!

Марианна поняла его — и коротко и блаженно вздохнула.

— Так возьми же мою руку... только не целуй ее — а пожми ее крепко, как товарищу, как другу... вот так!

Они пошли вместе домой, задумчивые, счастливые; молодая трава ластилась под их ногами, молодая листва шумела кругом; пятна света и тени побежали, проворно скользя, по их одежде — и оба они улыбались и тревожной их игре, и веселым ударам ветра, и свежему блистанью листьев, и собственной молодости, и друг другу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XXIII

Заря уже занималась на небе, когда в ночь после голушкинского обеда Соломин, бодро прошагав около пяти верст, постучался в калитку высокого забора, окружавшего фабрику. Сторож тотчас впустил его и в сопровождении трех цепных овчарок, широко размахивавших мохнатыми хвостами, с почтительной заботливостью довел его до его флигеля. Он, видимо, радовался благополучному возвращению начальника.

— Как же это вы ночью, Василий Федотыч? Мы вас ждали только завтра.

— Ничего, Гаврила; еще лучше ночью-то прогуляться.

Хорошие, хотя и не совсем обыкновенные, отношения существовали между Соломиным и фабричными: они уважали его как старшего и обходились с ним как с ровным, как со своим; только уж очень он был знающ в их глазах! «Что Василий Федотов сказал,— толковали они,— уж это свято! потому он всяку мудрость произошел — и нет такого а́гличана, которого он бы за пояс не заткнул!» Действительно: какой-то важный английский мануфактурист посетил однажды фабрику; и от того ли, что Соломин с ним по-английски говорил, или он точно был поражен его сведениями — только он всё его по плечу хлопал, и смеялся, и звал его с собою в Ливерпуль; а фабричным твердил на своем ломаном языке: «Караша оу вас эта! Оу! караша!» — чему фабричные в свою очередь много смеялись не без гордости: «Вот, мол, наш-то каков! Наш-то!»

И он точно был их — и ихний.

На другое утро рано вошел к Соломину в комнату его любимец, Павел; разбудил его, подал ему умыться, кое-что рассказал, кой о чем расспросил. Потом они вместе наскоро напились чаю, и Соломин, натащив на себя свой замасленный серый рабочий пиджак, отпра-

вился на фабрику — и завертелась опять его жизнь, как большое маховое колесо.

Но ей была суждена новая остановка.

Дней пять спустя после возвращения Соломина восвояси на двор фабрики вкатился красивый фаэтончик, запряженный четверней отличных лошадей, и ливрейный бело-гороховый лакей, введенный Павлом во флигель, торжественно вручил Соломину письмо с гербовою печатью от «Его превосходительства Бориса Андреевича Сипягина». В этом письме, пропитанном не духами — фи! — а какой-то необычайно приличной английской вонью и писанном — хоть и в третьем лице,— но не секретарской, а собственной генеральской рукою, просвещенный владелец села Аржаного, извинившись сперва, что обращается к человеку, лично ему не знакомому, но о котором он, Сипягин, наслышан с самой лестной стороны,— брал на себя «смелость» пригласить к себе в деревню г-на Соломина, советы которого могли быть чрезвычайно полезны для него, Сипягина, в некотором значительном промышленном предприятии; и в надежде на любезное согласие г-на Соломина — он, Сипягин, посылает ему экипаж. В случае же невозможности со стороны г-на Соломина отлучиться в тот день он, Сипягин, покорнейше просит г-на Соломина назначить ему другой, какой будет ему угодно,— и тот же экипаж будет с радостью предоставлен им, Сипягиным, в распоряжение г-на Соломина. Засим следовали обычные заявления, а в конце письма находилось post scriptum, уже в первом лице: «Надеюсь, что вы не откажетесь откушать у меня *запросто*, в сюртуке». (Слово «запросто» было подчеркнуто.) Вместе с этим письмом бело-гороховый лакей с некоторым как бы смущением подал Соломину простую, даже не запечатанную, а заклеенную записку от Нежданова, в которой стояло только несколько слов: «Приезжайте, пожалуйста, вы здесь очень нужны и можете быть очень полезны; только, конечно, не г-ну Сипягину».

Прочтя письмо Сипягина, Соломин подумал: «А как же мне иначе ехать, как не запросто; фрака-то у меня в заводе нету... Да и на кой чёрт мне туда таскаться... только время терять!» — но, пробежав записку Нежданова, он почесал у себя в затылке и подошел в нерешительности к окну.

— Какой же изволите ответ дать? — степенно вопросил бело-гороховый лакей.

Соломин постоял еще немного у окна и наконец, встряхнув волосами и проведя рукой по лбу, промолвил:

— Еду. Дайте мне время одеться.

Лакей благоприлично вышел, а Соломин велел позвать Павла, потолковал с ним, сбегал еще раз на фабрику и, надев черный сюртук с очень длинной талией, сшитый ему губернским портным, и несколько порыжелый цилиндр, немедленно придавший его лицу деревянное выражение, сел в фаэтончик — но вдруг вспомнил, что не взял с собой перчаток; кликнул «вездесущего» Павла — и тот принес ему пару только что вымытых замшевых белых перчаток, каждый палец которых, расширенный к концу, походил на бисквит. Соломин сунул перчатки в карман и сказал, что можно ехать. Тогда лакей с какой-то внезапной, совершенно не нужной отвагой вскочил на ко́зла, благовоспитанный кучер пискнул фальцетом — и лошади побежали.

Пока они постепенно приближали Соломина к имению Сипягина, этот государственный муж, сидя у себя в гостиной с полуразрезанной политической брошюрой на коленях, беседовал о нем с своей женой. Он поверял ей, что выписал его собственно за тем, чтобы попытаться, нельзя ли сманить его с купеческой фабрики на свою собственную, так как она идет из рук вон плохо и нужны коренные преобразования! На мысли, что Соломин откажется приехать или даже назначит другой день, Сипягин и останавливаться не хотел, хоть сам же в своем письме к Соломину предлагал ему выбор дня.

— Да ведь фабрика у нас писчебумажная, не прядильная,— заметила Валентина Михайловна.

— Все равно, душа моя: и там машины и здесь машины... а он — механик!

— Да ведь он, быть может, специалист!

— Душа моя, во-первых — на Руси нет специалистов; а во-вторых — я повторяю тебе: он механик!

Валентина Михайловна улыбнулась.

— Смотри, мой друг: тебе уже раз не посчастливилось с молодыми людьми; как бы тебе во второй раз не ошибиться!

— Это ты насчет Нежданова? Но, мне кажется, цели своей я все-таки достиг: репетитор для Коли он хороший. А потом — ты знаешь: non bis in idem! Извини, пожалуйста, мой педантизм... Это значит, что две вещи сряду не повторяются.

— Ты полагаешь? А *я* так думаю, что всё на свете повторяется... особенно то, что в натуре вещей... и особенно между молодыми людьми.

— Que voulez-vous dire? [1] — спросил Сипягин, округленным жестом бросая брошюру на стол.

— Ouvrez les yeux — et vous verrez! [2] — ответила ему Сипягина; по-французски они, конечно, говорили друг другу «вы».

— Гм! — произнес Сипягин.— Это ты про студентика?

— Про г-на студента.

— Гм! разве у него тут (он повертел рукою около лба)... что-нибудь завелось? А?

— Открой глаза!

— Марианна? А? (Второе: «А?» было произнесено более в нос, чем первое.)

— Открой глаза, говорят тебе!

Сипягин нахмурил брови.

— Ну, это мы всё разберем впоследствии. А теперь я хотел только одно сказать... Этот Соломин, вероятно, будет несколько конфузиться... ну, понятное дело, не привык. Так надо будет этак с ним поласковее... чтобы не запугать. Я это не для тебя говорю; ты у меня — золото и кого захочешь — мигом очаровать можешь. J'en sais quelque chose, madame! [3] Я это говорю для других; вот хоть бы для этого...

Он указал на модную серую шляпу, стоявшую на этажерке: эта шляпа принадлежала г. Калломейцеву, который с утра находился в Аржаном.

— Il est très cassant [4], ты знаешь; очень уж он презирает народ, что́ я весьма... осуждаю! К тому же я с некоторых пор замечаю в нем какую-то раздражительность, придирчивость... Или его дела *там* (Сипягин качнул куда-то неопределенно головою... но жена поняла его) — не подвигаются? А?

— Открой глаза... опять скажу я тебе.

Сипягин приподнялся.

— А? (Это «А?» было уже совсем другого свойства и в другом тоне... гораздо ниже.) Вот как?! Как бы я уж их тогда слишком не открыл!

---

[1] Что вы хотите сказать? *(франц.)*.

[2] Откройте глаза — увидите! *(франц.)*.

[3] Я об этом кое-что знаю, сударыня! *(франц.)*.

[4] Он очень резок *(франц.)*.

— Это твое дело; а насчет твоего нового молодого — если он только приедет сегодня — ты не беспокойся; будут приняты все меры предосторожности.

И что же? Оказалось, что никаких мер предосторожности вовсе не требовалось. Соломин нисколько не сконфузился и не испугался. Когда слуга доложил о нем, Сипягин тотчас встал, промолвил громко, так, чтоб в передней было слышно: «Проси! разумеется, проси!» — направился к двери гостиной и остановился вплоть перед нею. Лишь только Соломин переступил порог, Сипягин, на которого он едва не наткнулся, протянул ему обе руки и, любезно осклабясь и пошатывая головою, радушно приговаривая: «Вот как мило... с вашей стороны... как я вам благодарен»,— подвел его к Валентине Михайловне.

— Вот это женка моя,— проговорил он, мягко нажимая своею ладонью спину Соломина и как бы надвигая его на Валентину Михайловну,— а вот, моя милая, наш первый здешний механик и фабрикант, Василий... Федосеевич Соломин.— Сипягина приподнялась и, красиво взмахнув снизу вверх своими чудесными ресницами, сперва улыбнулась ему — добродушно, как знакомому; потом протянула ему свою ручку ладонью вверх, прижимая локоток к стану и наклонив головку в сторону ручки... словно просительница. Соломин дал и мужу и жене проделать над ним все ихние штучки, пожал руку и ему и ей — и сел по первому приглашению. Сипягин стал беспокоиться — не нужно ли ему чего? Но Соломин отвечал, что ничего ему не нужно, что он нисколько не устал с дороги и находится в полном его распоряжении.

— Так что можно вас попросить пожаловать на фабрику? — воскликнул Сипягин, как бы совестясь и не смея верить такой большой снисходительности со стороны гостя.

— Хоть сейчас,— отвечал Соломин.

— Ах, какой же вы обязательный! Прикажете дрожки заложить? Или, может быть, вы желаете пешком...

— Да ведь она, чай, недалеко отсюда, ваша фабрика?

— С полверсты, не больше!

— Так на что же экипаж закладывать?

— Ну, так прекрасно. Человек, шляпу мне, палку, поскорее! А ты, хозяюшка, хлопочи, обед нам припасай! — Шляпу!

Сипягин волновался гораздо более, чем его гость.

Повторив еще раз: «Да что ж это мне шляпу!», он — сановник! — выскочил вон — совсем как резвый школьник. Пока он разговаривал с Соломиным, Валентина Михайловна посматривала украдкой, но внимательно, на этого «нового молодого». Он спокойно сидел на кресле, положив обе обнаженные руки себе на колени (он так-таки и не надел перчаток), и спокойно, хотя с любопытством, оглядывал мебель, картины. «Это что такое? — думала она.— Плебей... явный плебей... а как просто себя держит!» Соломин действительно держал себя очень просто, не так, как иной, который прост-то прост, но с форсом: «Смотри, мол, на меня и понимай, каков я есть!» — а как человек, у которого и чувства и мысли несложные, хоть и крепкие. Сипягина хотела было заговорить с ним — и, к изумлению своему, не тотчас нашлась.

«Господи! — подумала она,— неужели же этот фабричный мне импонирует?»

— Борис Андреич должен быть вам очень благодарен,— промолвила она наконец,— что вы согласились пожертвовать для него частью вашего драгоценного времени...

— Не так уж оно драгоценно, сударыня,— отвечал Соломин,— да ведь я и ненадолго к вам.

«Voilà où l'ours a montré sa patte» [1],— подумала она по-французски; но в эту минуту ее муж появился на пороге раскрытой двери, с шляпой на голове и «стиком» в руке. Стоя в полуоборот, он развязно воскликнул:

— Василий Федосеич! Угодно пожаловать?

Соломин встал, поклонился Валентине Михайловне и пошел вслед за Сипягиным.

— За мной, сюда, сюда, Василий Федосеич! — твердил Сипягин, точно он пробирался по каким-то дебрям и Соломину нужен был проводник.— Сюда! здесь ступеньки, Василий Федосеич!

— Коли уж вам угодно меня величать по отчеству,— промолвил не спеша Соломин,— я не Федосеич, а Федотыч.

Сипягин оглянулся на него назад, через плечо, почти с испугом.

— Ах, извините, пожалуйста, Василий Федотыч!

— Ничего-с; не стоит.

Они вышли на двор. Им навстречу попался Калломейцев.

---

[1] «Вот где медведь показал свои когти!» *(франц.)*.

— Куда это вы? — спросил он, покосившись на Соломина.— На фабрику? C'est là l'individu en question? [1]

Сипягин вытаращил глаза и легонько потряс головою в знак предостережения.

— Да, на фабрику... показывать мои грехи да прорехи — вот г-ну механику. Позвольте вас познакомить! Г-н Калломейцев, здешний помещик; г-н Соломин...

Калломейцев кивнул раза два головою — едва заметно — совсем не в сторону Соломина и не глядя на него. А тот вóззрелся в Калломейцева — и в его полузакрытых глазах мелькнуло нечто...

— Можно присоединиться к вам? — спросил Калломейцев.— Вы знаете, я люблю поучиться.

— Конечно, можно.

Они вышли со двора на дорогу — и не успели пройти и двадцати шагов, как увидели приходского священника, в подоткнутой рясе, пробиравшегося восвояси, в так называемую «поповскую слободку». Калломейцев немедленно отделился от своих двух товарищей и, твердыми, большими шагами подойдя к священнику, который никак этого не ожидал и несколько оробел,— попросил его благословения, звучно поцеловал его потную красную руку и, обернувшись к Соломину, бросил ему вызывающий взгляд. Он, очевидно, знал про него «кое-что» и хотел показать себя и «нос наклеить» ученому проходимцу.

— C'est une manifestation, mon cher? [2] — процедил сквозь зубы Сипягин.

Калломейцев фыркнул.

— Oui, mon cher, une manifestation nécessaire par le temps qui court! [3]

Они пришли на фабрику. Их встретил малоросс, с громаднейшей бородой и фальшивыми зубами, заменивший прежнего управляющего, немца, которого Сипягин окончательно прогнал. Этот малоросс был временной; он явно ничего не смыслил и только беспрестанно говорил: «ото́...» да «байдуже» — и всё вздыхал.

Начался осмотр заведения. Некоторые фабричные знали Соломина в лицо и кланялись ему. Одному он даже сказал: «А, здравствуй, Григорий! Ты здесь?» Он

---

[1] Это и есть тот самый человек? *(франц.)*.

[2] Это вызов, мой милый? *(франц.)*.

[3] Да, мой милый, в нынешнее время такой вызов необходим! *(франц.)*.

скоро убедился, что дело велось плохо. Денег было потрачено пропасть, да без толку. Машины оказались дурного качества; много было лишнего и ненужного, много нужного недоставало. Сипягин постоянно заглядывал в глаза Соломину, чтобы угадать его мнение, делал робкие запросы, желал узнать, доволен ли он по крайней мере порядком?

— Порядок-то есть,— отвечал Соломин,— но может ли быть доход,— сомневаюсь.

Не только Сипягин, даже Калломейцев чувствовал, что Соломин на фабрике как дома, что ему тут всё известно и знакомо до последней мелочи, что он тут хозяин. Он клал руку на машину, как ездок на шею лошади; тыкал пальцем колесо — и оно останавливалось или начинало вертеться; брал на ладонь из чана немного того месива, из которого выделывается бумага,— и оно тотчас показывало все свои недостатки. Соломин говорил мало, а на бородатого малоросса даже не глядел вовсе; молча вышел он также из фабрики. Сипягин и Калломейцев отправились вслед за ним.

Сипягин не велел никому провожать себя... даже ногою топнул и зубом скрипнул! Очень он был расстроен.

— Я по вашей физиономии вижу,— обратился он к Соломину,— что вы моей фабрикой недовольны, и я сам знаю, что она у меня в неудовлетворительном состоянии и не доходна; однако собственно... вы, пожалуйста, не церемоньтесь... Какие ее важнейшие погрешности? И что бы сделать такое, дабы улучшить ее?

— Писчебумажное производство не по моей части,— отвечал Соломин,— но одно могу сказать вам: промышленные заведения — не дворянское дело.

— Вы считаете эти занятия унизительными для дворянства? — вмешался Калломейцев.

Соломин улыбнулся своей широкой улыбкой.

— О нет! Помилуйте! Что тут унизительного? Да если б и было что подобное — дворянство ведь этим не брезгает.

— Как-с? Что такое-с?

— Я хочу только сказать,— спокойно продолжал Соломин,— что дворяне не привыкли к этого рода деятельности. Тут нужен коммерческий расчет; тут всё надо поставить на другую ногу; выдержка нужна. Дворяне этого не соображают. Мы и видим сплошь да рядом, что они затевают суконные, бумажные и другие фаб-

рики, а в конце концов — кому все эти фабрики попадают в руки? Купцам. Жаль; потому купец — та же пиявка; а только делать нечего.

— Послушать вас,— вскричал Калломейцев,— дворянам нашим недоступны финансовые вопросы!

— О, напротив! дворяне на это мастера. Концессию на железную дорогу получить, банк завести, льготу какую себе выпросить или там что-нибудь в таком роде — никто на это как дворяне! Большие капиталы составляют. Я именно на это намекал — вот когда вы изволили рассердиться. Но я имел в виду правильные промышленные предприятия; говорю — правильные, потому что заводить собственные кабаки да променные мелочные лавочки, да ссужать мужичков хлебом и деньгами за сто и за полтораста процентов, как теперь делают многие из дворян-владельцев,— я подобные операции не могу считать настоящим финансовым делом.

Калломейцев ничего не ответил. Он принадлежал именно к этой новой породе помещиков-ростовщиков, о которой упомянул Маркелов в последнем своем разговоре с Неждановым, и он был тем бесчеловечнее в своих требованиях, что лично с крестьянами дела никогда не имел — не допускать же их в свой раздушенный европейский кабинет! — а ведался с ними через приказчика. Слушая неторопливую, как бы безучастную речь Соломина, он весь внутренно закипал... но промолчал на этот раз, и только одна игра мускулов на щеках, произведенная стиснутием челюстей, изобличала то, что в нем происходило.

— Однако позвольте, позвольте, Василий Федотыч,— заговорил Сипягин,— всё, что вы нам излагаете, было совершенно справедливо в прежние времена, когда дворяне пользовались... совсем другими правами и вообще находились в другом положении. Но теперь, после всех благодетельных реформ, в наш промышленный век, почему же дворяне не могут обратить свое внимание, свои способности наконец, на подобные предприятия? Почему же они не могут понять того, что понимает простой, часто даже безграмотный купец? Не страдают же они недостатком образованности — и даже можно с удостоверительностью утверждать, что они в некотором роде представители просвещения и прогресса!

Очень хорошо говорил Борис Андреевич; его красноречие имело бы большой успех где-нибудь в Петер-

бурге — в департаменте или даже повыше, но на Соломина оно не произвело никакого впечатления.

— Не могут дворяне этими делами орудовать,— повторил он.

— Да почему же? почему? — чуть не закричал Калломейцев.

— А потому, что они те же чиновники.

— Чиновники? — Калломейцев захохотал язвительно.— Вы, вероятно, г-н Соломин, не отдаете себе отчета в том, что вы изволите говорить?

Соломин не переставал улыбаться.

— Отчего вы так полагаете, г-н Коломенцев? (Калломейцев даже дрогнул, услышав подобное «искажение» своей фамилии.) Нет, я себе в своих словах отчет всегда отдаю.

— Так объясните то, что вы хотели сказать вашей фразой!

— Извольте: по-моему, всякий чиновник — чужак и был всегда таким; а дворянин теперь *стал* чужаком.

Калломейцев захохотал еще пуще.

— Ну уж извините, милостивый государь; этого я совсем не понимаю!

— Тем хуже для вас. Понатужьтесь... может быть, и поймете.

— Милостивый государь!

— Господа, господа,— поспешно заговорил Сипягин, как бы ища кого-то сверху глазами.— Пожалуйста, пожалуйста... Kallomeïtzeff, je vous prie de vous calmer [1]. Да и обед, должно быть, скоро будет готов. Прошу, господа, за мною!

— Валентина Михайловна! — вопил Калломейцев, пять минут спустя вбегая в ее кабинет.— Это ни на что не похоже, что ваш муж делает! Один у вас нигилист завелся, теперь он привел другого! И этот еще хуже!

— Почему так?

— Помилуйте, он чёрт знает что проповедует; и притом — заметьте одно: целый час говорил с вашим мужем и ни разу, *ни разу* не сказал ему: ваше превосходительство! — Le vagabond! [2]

---

[1] Калломейцев, прошу вас, успокойтесь *(франц.)*.
[2] Бродяга! *(франц.)*.

XXIV

Перед обедом Сипягин отозвал жену свою в библиотеку. Ему нужно было переговорить с нею наедине. Он казался озабоченным. Он сообщил ей, что фабрика положительно плоха, что этот Соломин кажется ему человеком очень толковым, хоть и немного... резким, и что надо продолжать с ним быть aux petits soins [1]. «Ах, как бы хорошо было его сманить!» — повторил он раза два. Сипягин очень досадовал на присутствие Калломейцева... Чёрт его принес! Всюду видит нигилистов — и только о том и думает, как бы их уничтожить! Ну, уничтожай их у себя дома! Не может никак язык за зубами подержать!

Валентина Михайловна заметила, что она рада быть «aux petits soins» с этим новым гостем; только он, кажется, в этих «petits soins» [2] не нуждается и не обращает на них внимания; не груб, а как-то уж очень равнодушен, что весьма удивительно в человеке du commun [3].

— Всё равно... постарайся! — взмолился Сипягин.

Валентина Михайловна обещала постараться — и постаралась. Она начала с того, что поговорила en tête-à-tête [4] с Калломейцевым. Неизвестно, что она ему сказала, но он пришел к столу с видом человека, который «взял на себя» быть смирным и скромным, что бы он ни услыхал. Эта заблаговременная «резиньяция» придавала всему его существу оттенок легкой грусти; зато сколько достоинства... о! сколько достоинства было в каждом его движении! Валентина Михайловна познакомила Соломина со всеми своими домочадцами (пристальнее, чем на других, посмотрел он на Марианну)... и за столом посадила его возле себя о правую руку. Калломейцев сидел о левую. Развертывая салфетку, он прищурился и улыбнулся так, как бы желал сказать: «Ну-с, будемте играть комедию!» Сипягин сидел напротив и с некоторой тревогой следил за ним взором. По новому распоряжению хозяйки, Нежданов очутился не возле Марианны, а между Анной Захаровной и Сипягиным. Марианна нашла свой билетик (так как обед был парадный) на салфетке между местами Калломейцева и Коли. Обед был сервирован отлично;

---

[1] особенно предупредительной *(франц.)*.
[2] «ухаживаниях» *(франц.)*.
[3] из простых *(франц.)*.
[4] с глазу на глаз *(франц.)*.

было даже «мэню»: разрисованный листик лежал перед каждым прибором. Тотчас после супа Сипягин навел опять речь на свою фабрику — вообще на фабричное производство в России; Соломин отвечал, по своему обыкновению, очень кратко. Как только он заговорил, Марианна устремила на него глаза. Сидевший возле нее Калломейцев начал было обращаться к ней с разными любезностями (так как его попросили «не возбуждать полемики»), но она не слушала его; да и он произносил эти любезности вяло, для очистки совести: он сознавал, что между молодою девушкой и им существовало нечто недоступное.

Что же касается до Нежданова, то нечто еще худшее установилось внезапно между им и хозяином дома... Для Сипягина Нежданов стал просто мебелью или воздушным пространством, которого он совсем — так-таки совсем — не замечал! Эти новые отношения так быстро и так несомненно определились, что когда Нежданов в течение обеда произнес несколько слов в ответ на замечание своей соседки, Анны Захаровны, Сипягин с удивлением оглянулся, как бы спрашивая себя: «Откуда идет сей звук?»

Очевидно, Сипягин обладал некоторыми из качеств, отличающих русских крупносановных людей.

После рыбы Валентина Михайловна, которая, с своей стороны, расточала все свои обаяния и приманки направо, то есть перед Соломиным, заметила по-английски через стол своему супругу, что «наш гость не пьет вина, может быть, он желает пива»... Сипягин громко потребовал «элю», а Соломин, спокойно обратившись к Валентине Михайловне, сказал ей, что вы, мол, вероятно, сударыня, не знаете, что я с лишком два года пробыл в Англии — и понимаю и говорю по-английски; и что я вас об этом предупреждаю в случае, если б вам угодно было что-нибудь сказать по секрету в моем присутствии. Валентина Михайловна засмеялась и начала уверять его, что предостережение это бесполезно, так как он не услышал бы о себе ничего, кроме выгодного; сама же она нашла поступок Соломина несколько странным, но, по-своему, деликатным.

Калломейцев тут наконец не выдержал.

— Вот вы были в Англии,— начал он,— и, вероятно, наблюдали тамошние нравы. Позвольте спросить, признаете ли вы их достойными подражания?

— Иное — да, иное — нет.

— Коротко — и не ясно,— заметил Калломейцев, стараясь не обращать внимания на знаки, которые делал ему Сипягин.— Но вот вы сегодня говорили о дворянах... Вы, конечно, имели случай изучать на месте то, что в Англии называется landed gentry? [1]

— Нет, я этого случая не имел, я вращался совсем в другой сфере, но понятие об этих господах себе составил.

— И что ж? Вы полагаете, что такое landed gentry у нас невозможно? И что во всяком случае не следует этого желать?

— Во-первых, я точно полагаю, что оно невозможно; а во-вторых — и желать-то этого не стоит.

— Почему же-с так-с? — проговорил Калломейцев.— Эти два «слово-ер» должны были служить к тому, чтобы успокоить Сипягина, который очень волновался и даже ерзал на своем стуле.

— А потому, что лет через двадцать — тридцать вашей landed gentry и без того не будет.

— Но позвольте-с; почему же-с так-с?

— Потому что в то время земля будет принадлежать владельцам — без разбора происхождения.

— Купцам-с?

— Вероятно, большею частью купцам.

— Каким это манером?

— А таким, что купят они ее — эту самую землю.

— У дворян?

— У господ дворян.

Калломейцев снисходительно осклабился.

— Вы, помнится, говорили прежде то же самое о фабриках и заводах, а теперь обо всей земле?

— А теперь говорю обо всей земле.

— И вы, вероятно, будете этому очень рады?

— Нисколько, как я уже вам докладывал; народу от этого легче не будет.

Калломейцев чуть-чуть поднял одну руку.

— Какая заботливость о народе, подумаешь!

— Василий Федотыч! — закричал во всю голову Сипягин.— Вам пива принесли! — Voyons, Siméon! [2] — прибавил он вполголоса.

---

[1] поместным дворянством? *(англ.)*.

[2] Полно, Семен! *(франц.)*.

Но Калломейцев не унимался.

— Вы, я вижу,— заговорил он опять, обращаясь к Соломину,— не слишком лестного мнения о купцах; но ведь они принадлежат, по происхождению, народу?

— Так что же-с?

— Я полагал, что всё народное или относящееся к народу вы находите прекрасным.

— О нет-с! Напрасно вы это полагали. Народ наш во многом можно упрекнуть, хоть он и не всегда виноват бывает. Купец у нас до сих пор хищник; он и своим-то собственным добром владеет, как хищник... Что будешь делать! Тебя грабят... и ты грабишь. А народ...

— Народ? — переспросил фистулой Калломейцев.

— Народ — соня.

— И вы желаете его разбудить?

— Это было бы не худо.

— Ага! ага! вот как-с...

— Позвольте, позвольте,— промолвил повелительно Сипягин. Он понял, что наступила минута положить, так сказать, предел... остановить! И он положил предел. Он остановил! Помавая кистью правой руки, локоть которой оставался опертым о стол, он произнес длинную, обстоятельную речь. С одной стороны, он похвалил консерваторов, а с другой — одобрил либералов, отдавая сим последним некоторый преферанс и причисляя себя к их разряду; превознес народ — но указал на некоторые его слабые стороны; выразил полное доверие к правительству — но спросил себя: исполняют ли *все* подчиненные его благие предначертания? Признал пользу и важность литературы, но объявил, что без крайней осторожности она немыслима! Взглянул на запад: сперва порадовался — потом усомнился; взглянул на восток: сперва отдохнул — потом воспрянул! И, наконец, предложил выпить тост за процветание тройственного союза:

Религии, Земледелия и Промышленности!

— Под эгидой власти! — строго прибавил Калломейцев.

— Под эгидой мудрой и снисходительной власти,— поправил его Сипягин.

Тост был выпит в молчании. Воздушное пространство налево от Сипягина, называемое Неждановым, произнесло, правда, некоторый неодобрительный звук — но, не возбудив ничьего внимания, затихло снова, и, не

возмущенный уже никаким новым прением, обед благополучно достигнул конца.

Валентина Михайловна с самой прелестной улыбкой подала чашку кофе Соломину; он ее выпил — и уже искал глазами своей шляпы... но, мягко подхваченный под руку Сипягиным, был немедленно увлечен в его кабинет — и получил: сперва отличнейшую сигару, а потом предложение перейти к нему, Сипягину, на фабрику на выгоднейших условиях! «Полным властелином вы будете, Василий Федотыч, полным властелином!» Сигару Соломин принял; от предложения отказался. Он так и остался при своем отказе, как Сипягин ни настаивал!

— Не говорите прямо «нет!», любезнейший Василий Федотыч! Скажите по крайней мере, что вы подумаете до завтра!

— Да ведь всё равно — я принять ваше предложение не могу.

— До завтра! Василий Федотыч! Что вам стоит?

Соломин согласился, что стоить это ему ничего не будет... однако вышел из кабинета и снова стал искать свою шляпу. Но Нежданов, которому до того мгновения не удалось поменяться с ним единым словом, приблизился к нему и торопливо шепнул:

— Ради бога, не уезжайте, а то нам невозможно будет переговорить!

Соломин оставил свою шляпу в покое, тем более что Сипягин, заметив его нерешительные движения взад и вперед по гостиной, воскликнул:

— Ведь вы, конечно, ночуете у нас?

— Как прикажете,— отозвался Соломин.

Благодарный взгляд, брошенный ему Марианной,— она стояла у окна гостиной,— заставил его призадуматься.

XXV

До приезда Соломина Марианна воображала его себе совсем иным. На первый взгляд он ей показался каким-то неопределенным, безличным... Решительно, она на своем веку видала много таких белокурых, жилистых, сухопарых людей! Но чем больше она в него всматривалась, чем больше вслушивалась в его речи, тем сильнее

становилось в ней чувство доверия к нему — именно доверия. Этот спокойный, не то чтобы неуклюжий, а тяжеловатый человек не только не мог солгать или прихвастнуть: на него можно было положиться, как на каменную стену... Он не выдаст; мало того: он поймет и поддержит. Марианне казалось даже, что не в ней одной, что во всех присутствующих лицах Соломин возбуждал подобное чувство. Тому, что он говорил, она особенного значения не придавала; все эти толки о купцах, о фабриках мало интересовали ее; но как он говорил, как он при этом глядел и улыбался — это нравилось ей чрезвычайно...

Правдивый человек... вот главное! — вот что ее трогало. Известное, хоть не совсем понятное дело: русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете, а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей. К тому ж на Соломине, в глазах Марианны, лежала особая печать; на нем почил ореол человека, которого сам Василий Николаевич рекомендовал своим последователям. В течение обеда Марианна несколько раз переглянулась «на его счет» с Неждановым, а под конец вдруг сама себя поймала на том, что невольно сравнивает их обоих — и не в пользу Нежданова. Черты лица у Нежданова были, правда, гораздо красивее и приятнее, чем у Соломина; но самое лицо выражало смесь различных тревожных ощущений: досады, смущения, нетерпения... даже уныния; он сидел как на иголках, пытался говорить — и умолкал, усмехался нервически... Соломин, напротив, производил такое впечатление, что он, пожалуй, скучает немного, но что, впрочем, он как дома; и что «то, как он» никогда и ни в чем не зависит от «того, как другие». «Решительно, надо попросить совета у этого человека,— думалось Марианне,— он непременно скажет что-нибудь полезное». Нежданова после обеда подослала к нему *она*.

Вечер прошел довольно вяло; к счастью, обед кончился поздно — и до ночи оставалось недолго. Калломейцев учтиво дулся и безмолвствовал.

— Что с вами? — полунасмешливо спросила его Сипягина.— Или вы что потеряли?

— Именно-с,— отвечал Калломейцев.— Об одном из наших начальников гвардии рассказывают, будто он горевал о том, что его солдаты потеряли «носок»... «Отыщите мне носок!» А я говорю: отыщите мне «слово-ерик-с»!

«Слово-ерик-с» пропало — и вместе с ним всякое уважение и чинопочитание!

Сипягина объявила Калломейцеву, что не станет помогать ему в его поисках.

Ободренный успехом своего обеденного «спича», Сипягин произнес парочку других, причем пустил в ход несколько государственных соображений о необходимых мероприятиях; пустил также несколько слов — des mots — не столько острых, сколько веских, приготовленных им собственно для Петербурга. Одно из этих слов он даже повторил, предпослав фразу: «Если позволительно так выразиться». А именно: об одном из тогдашних министров он сказал, что у него непостоянный и праздный ум, направленный к мечтательным целям. С другой стороны, Сипягин, не забывая, что он имеет дело с русским человеком из народа, не преминул щегольнуть некоторыми изречениями, долженствовавшими доказать, что и он сам — не только русский человек, но «русак» и близко знаком с самой сутью народной жизни! Так, например, на замечание Калломейцева, что дождь может помешать уборке сена, он немедленно отвечал, что «пусть будет сено черно — зато греча бела»; употребил также поговорки вроде: «Товар без хозяина сирота»; «Десять раз примерь, один раз отрежь»; «Когда хлеб — тогда и мера»; «Коли к Егорью на березе лист в полушку — на Казанской клади хлеб в кадушку». Правда, иногда с ним случалось, что он вдруг промахнется и скажет, например — «Знай кулик свой шесток!» или «Красна изба углами!» Но общество, в среде которого эти беды с ним случались, большею частью и не подозревало, что тут «notre bon [1] русак» дал промах; да и, благодаря князю Коврижкину, оно уже привыкло к подобным российским «патакэсам». И все эти поговорки и изречения Сипягин произносил каким-то особенным, здоровенным, даже сипло별ватым голосом — d'une voix rustique [2]. Подобные изречения, вовремя и у места пущенные им в Петербурге, заставляли высокопоставленных, влиятельных дам восклицать: «Comme il connait bien les mœurs de notre peuple!» [3] А высокопоставленные, влиятельные сановники прибавляли: «Les mœurs et les besoins!» [4]

---

[1] «наш милейший» *(франц.)*.
[2] мужицким голосом *(франц.)*.
[3] «Как хорошо он знает нравы нашего народа!» *(франц.)*.
[4] «Нравы и нужды!» *(франц.)*.

Валентина Михайловна очень старалась около Соломина, но видимый неуспех ее стараний ее обескураживал, и, проходя мимо Калломейцева, она невольно проговорила вполголоса: «Mon Dieu, que je me sens fatiguée!» [1]

На что тот отвечал с ироническим поклоном:

— Tu l'as voulu, Georges Dandin! [2]

Наконец, после той обычной вспышки любезности и привета, которые являются на всех лицах поскучавшего общества в самый момент расставания; после внезапных рукопожатий, улыбок и дружеских хмыканий в нос — усталые гости, усталые хозяева разошлись.

Соломин, которому отвели едва ли не лучшую комнату во втором этаже, с английскими туалетными принадлежностями и купальным шкафом, отправился к Нежданову.

Тот начал с того, что горячо поблагодарил его за согласие остаться.

— Я знаю... это для вас жертва...

— Э! полноте! — отвечал неторопливо Соломин.— Какая тут жертва! Да притом *вам* я не могу отказать.

— Почему же?

— Да потому, что я полюбил вас.

Нежданов обрадовался и удивился, а Соломин пожал ему руку. Потом он сел верхом на стул, закурил сигару и, опершись обоими локтями о спинку, промолвил:

— Ну, говорите, в чем дело?

Нежданов тоже сел верхом на стул против Соломина — но сигары не закурил.

— В чем дело, спрашиваете вы?.. А в том, что я хочу бежать отсюда.

— То есть вы хотите оставить этот дом? Ну что ж? с богом!

— Не оставить... а бежать.

— Разве вас удерживают? Вы, может быть... забрали денег вперед? Так вам стоит только слово сказать... Я с удовольствием...

— Вы меня не понимаете, любезный Соломин... Я сказал: бежать, а не оставить, потому что я отсюда удаляюсь — не один.

Соломин приподнял голову.

— С кем же это?

---

[1] «Боже, как я устала!» *(франц.)*.
[2] Ты сам этого хотел, Жорж Данден! *(франц.)*.

— А с той девушкой, которую вы видели здесь сегодня...

— С этой! У ней хорошее лицо. Что ж? Вы полюбили друг друга?.. Или только так — решаетесь вместе оставить дом, где вам обоим нехорошо?

— Мы любим друг друга.

— А! — Соломин помолчал.— Она родственница здешним господам?

— Да. Но она вполне разделяет наши убеждения — и готова идти на всё.

Соломин улыбнулся.

— А вы, Нежданов, готовы?

Нежданов нахмурился слегка.

— К чему этот вопрос? Я вам докажу мою готовность на деле.

— Я не сомневаюсь в вас, Нежданов; я только потому спросил вас, что, кроме вас, я полагаю, никто не готов.

— А Маркелов?

— Да! вот разве Маркелов. Да тот, чай, родился готовым.

В это мгновенье кто-то тихо и быстро постучал в дверь и, не дожидаясь отзыва, отворил ее. То была Марианна. Она тотчас подошла к Соломину.

— Я уверена,— начала она,— вы не удивитесь, увидевши меня здесь в эту пору. Он (Марианна указала на Нежданова) вам, конечно, всё сказал. Дайте мне вашу руку — и знайте, что перед вами честная девушка.

— Да, я это знаю,— серьезно промолвил Соломин. Он поднялся со стула, как только Марианна появилась.— Я уже за столом смотрел на вас и думал: вот какие у этой барышни честные глаза. Мне Нежданов, точно, сказывал о вашем намерении. Но собственно зачем вы хотите бежать?

— Как зачем? Дело, которому я сочувствую... не удивляйтесь: Нежданов ничего не скрыл от меня... это дело должно начаться на днях... а я останусь в этом помещичьем доме, где всё ложь и обман? Люди, которых я люблю, будут подвергаться опасности, а я...

Соломин остановил ее движением руки.

— Не волнуйтесь. Сядьте, и я сяду. Сядьте и вы, Нежданов. Послушайте: если у вас нет другой причины, то бежать еще вам отсюда не для чего. Дело это еще не так скоро начнется, как вы думаете. Тут нужно

еще некоторое благоразумие. Нечего соваться вперед зря. Поверьте мне.

Марианна села и запахнулась большим пледом, который она накинула себе на плечи.

— Но я не могу остаться здесь больше! Меня здесь все оскорбляют. Сегодня еще эта глупая Анна Захаровна, при Коле, сказала мне, намекая на моего отца, что яблоко от яблони недалеко падает! Коля даже удивился и спросил, что́ это значит? Я уже не говорю о Валентине Михайловне!

Соломин опять остановил ее — и на этот раз улыбнулся. Марианна поняла, что он немножко посмеивается над нею, но его улыбка никогда никого оскорбить не могла.

— Что ж это вы, милая барышня? Я не знаю, кто такая Анна Захаровна, ни о какой яблоне вы говорите... но помилуйте: вам глупая женщина скажет что-нибудь глупое, а вы это снести не можете? Как же вы жить-то будете? Весь свет на глупых людях стоит. Нет, это не резон. Разве что другое?

— Я убежден,— вмешался глухим голосом Нежданов,— что не нынче — завтра г. Сипягин мне сам откажет от дома. Ему, наверное, донесли; он обращается со мною... самым презрительным образом.

Соломин обернулся к Нежданову.

— Так для чего же вам бежать, коли вам без того откажут?

Нежданов не тотчас нашелся, что ответить.

— Я уже говорил вам,— начал он...

— Он так выразился,— подхватила Марианна,— потому что я ухожу с ним.

Соломин посмотрел на нее и добродушно покачал головою.

— Так, так, милая барышня; но опять-таки скажу вам: если вы точно хотите оставить этот дом, потому что полагаете, что революция сейчас вспыхнет...

— Мы именно для этого и выписали вас,— перебила Марианна,— чтоб узнать достоверно, в каком положении находятся дела.

— В таком случае,— продолжал Соломин,— повторяю: вы можете еще сидеть дома довольно долго. Если же вы хотите бежать, потому что любите друг друга и иначе вам соединиться нельзя,— тогда...

— Ну, что тогда?

— Тогда мне остается только пожелать вам, как говаривалось в старину, любовь да совет; да если нужно и можно — оказать вам посильную помощь. Потому что и вас, милая барышня, и его — я с первого разу полюбил, как родных.

И Марианна и Нежданов, оба подошли к нему, справа и слева, и каждый из них взял одну его руку.

— Скажите нам только, что нам делать? — промолвила Марианна.— Положим, революция еще далека... но подготовительные работы, труды, которые в этом доме, при этой обстановке, невозможны и на которые мы так охотно пойдем — вдвоем... вы нам укажете их; вы только скажите нам, куда нам идти... Пошлите нас! Ведь вы пошлете нас?

— Куда?

— В народ... Куда же идти, как не в народ?

«До лясу»,— подумал Нежданов... Ему вспомнилось слово Паклина.

Соломин поглядел пристально на Марианну.

— Вы хотите узнать народ?

— Да, то есть не узнать народ хотим мы только, но и действовать... трудиться для него.

— Хорошо, я вам обещаю, что вы его узнаете. Я доставлю вам возможность действовать — и трудиться для него. И вы, Нежданов, готовы идти... за нею... и за него?

— Конечно, готов! — произнес он поспешно.— «Джаггернаут,— вспомнилось ему другое слово Паклина.— Вот она катится, громадная колесница... и я слышу треск и грохот ее колес».

— Хорошо,— повторил задумчиво Соломин.— Но когда же вы намерены бежать?

— Хоть завтра,— воскликнула Марианна.

— Хорошо. Но куда?

— Тссс... тише...— шепнул Нежданов.— Кто-то ходит по коридору.

Все помолчали.

— Куда же вы намерены бежать? — спросил опять Соломин, понизив голос.

— Мы не знаем,— отвечала Марианна.

Соломин перевел глаза на Нежданова. Тот только потряс отрицательно головою.

Соломин протянул руку и осторожно снял со свечки.

— Вот что, дети мои,— проговорил он наконец.— Ступайте ко мне на фабрику. Некрасиво там... да не

опасно. Я вас спрячу. У меня там есть комнатка. Никто вас не отыщет. Попадите только туда... а мы вас не выдадим. Вы скажете: на фабрике людно. Это-то и хорошо. Где людно — там-то и можно спрятаться. Идет, что ль?

— Нам остается только благодарить вас,— промолвил Нежданов; а Марианна, которую мысль о фабрике сначала смутила, с живостью прибавила: — Конечно! конечно! Какой вы добрый! Но ведь вы нас недолго там оставите? Вы пошлете нас?

— Это будет от вас зависеть... А в случае, если бы вам вздумалось сочетаться браком, и на этот счет у меня на фабрике удобно. Там у меня, близехонько, есть сосед — двоюродным братом мне приходится — поп, по имени Зосима, преподатливый. Он вас духом обвенчает.

Марианна улыбнулась про себя, а Нежданов еще раз стиснул руку Соломину да погодя немного полюбопытствовал:

— А что, скажите, хозяин, владелец вашей фабрики, не будет претендовать? Никаких неприятностей вам не сделает?

Соломин покосился на Нежданова.

— Обо мне вы не заботьтесь. Это вы совсем напрасно. Лишь бы фабрика шла как следует, а в прочем моему хозяину — всё едино. И вам и вашей милой барышне от него никаких неприятностей не будет. И рабочих вам опасаться нечего. Только предуведомьте меня: около какого времени вас ждать?

Нежданов и Марианна переглянулись.

— Послезавтра, утром рано или день спустя,— проговорил наконец Нежданов.— Мешкать более нельзя. Того и гляди, мне завтра от дома откажут.

— Ну...— промолвил Соломин — и поднялся со стула.— Я буду вас ждать каждое утро. Да и всю неделю я из дома не отлучусь. Все меры будут приняты — как следует.

Марианна приблизилась к нему... (Она подошла было к двери.)

— Прощайте, милый, добрый Василий Федотыч... Ведь вас так зовут?

— Так.

— Прощайте... или нет: до свидания! И спасибо, спасибо вам!

— Прощайте... Доброй ночи, моя голубушка!

— Прощайте и вы, Нежданов! До завтра...— прибавила она.

Марианна быстро вышла.

Оба молодых человека остались некоторое время неподвижны — и оба молчали.

— Нежданов...—начал наконец Соломин — и умолк.— Нежданов...— начал он опять,— расскажите мне об этой девушке... что вы можете рассказать. Какая была ее жизнь до сих пор?.. Кто она?.. Почему она находится здесь?..

Нежданов в коротких словах сообщил Соломину что знал.

— Нежданов...— заговорил он наконец.— Вы должны беречь эту девушку. Потому... что если... что-нибудь... Вам будет очень грешно. Прощайте.

Он удалился; а Нежданов постоял немного посреди комнаты и, прошептав: «Ах! лучше не думать!» — бросился лицом на постель.

А Марианна, вернувшись к себе в комнату, нашла на столике небольшую записку следующего содержания:

«Мне жаль вас. Вы губите себя. Опомнитесь. В какую бездну бросаетесь вы с закрытыми глазами? Для кого и для чего? В.»

В комнате пахло особенно тонким и свежим запахом: очевидно, Валентина Михайловна только что вышла оттуда. Марианна взяла перо и, приписав внизу: «Не жалейте меня. Бог ведает, кто из нас двух более достойна сожаления; знаю только, что не хотела бы быть на вашем месте. М.» — оставила записку на столе. Она не сомневалась в том, что ответ ее попадет в руки Валентины Михайловны.

А на другое утро Соломин, повидавшись с Неждановым и окончательно отказавшись от управления сипягинской фабрикой, уехал к себе домой. Он размышлял во всё время дороги, что с ним случалось редко: качка экипажа обыкновенно погружала его в легкую дремоту. Он размышлял о Марианне, а также и о Нежданове; ему казалось, что будь *он* влюблен, он, Соломин,— он имел бы другой вид, говорил и глядел бы иначе. «Но,— подумал он,— так как этого никогда со мной не случалось, то я и не знаю, какой бы я имел при этом вид». Он вспомнил одну ирландку, которую он видел раз в одном магазине, за прилавком; вспомнил, какие у ней были чудесные, почти черные волосы, и синие глаза, и

густые ресницы, и как она вопросительно и печально посмотрела на него, и как он долго ходил потом по улице перед ее окнами, и как волновался и спрашивал самого себя: познакомиться ли ему с нею, или нет? Он был тогда проездом в Лондоне; патрон прислал его туда за покупками и дал ему денег. Соломин чуть было не остался в Лондоне, чуть было не послал этих денег назад патрону, так сильно было впечатление, произведенное на него прекрасной Полли... (Он узнал ее имя: одна из ее товарок назвала ее.) Однако ж преодолел себя — и вернулся к своему патрону. Полли была красивее Марианны; но у этой был такой же вопросительный и печальный взгляд... и она русская...

— Однако что ж это я? — проговорил Соломин вполголоса,— о чужих невестах забочусь! — и встряхнул воротником шинели, как бы желая отбросить от себя все ненужные мысли. Кстати ж он подъезжал к своей фабрике и на пороге его флигелька мелькнула фигура верного Павла.

XXVI

Отказ Соломина очень оскорбил Сипягина: он даже вдруг нашел, что этот доморощенный Стифенсон уж не такой замечательный механик и что он, пожалуй, не позирует, но ломается, как истый плебей. «Все эти русские, когда вообразят, что знают что-нибудь,— из рук вон! Au fond [1] Калломейцев прав!» Под влиянием подобных неприязненных и раздражительных ощущений государственный муж — en herbe [2] — еще безучастнее и отдаленнее взглянул на Нежданова; сообщил Коле, что он может не заниматься сегодня с своим учителем, что ему надо привыкать к самостоятельности... Однако самому учителю этому не отказал, как тот ожидал. Он продолжал его игнорировать! Зато Валентина Михайловна не игнорировала Марианны. Между ними произошла страшная сцена.

Часа за два до обеда они как-то вдруг очутились одни в гостиной. Каждая из них немедленно почувствовала, что минута неизбежного столкновения настала, и потому, после мгновенного колебания, обе тихонько

[1] В сущности *(франц.)*.
[2] будущий *(франц.)*.

подошли друг к дружке. Валентина Михайловна слегка улыбалась; Марианна стиснула губы; обе были бледны. Переходя через комнату, Валентина Михайловна посматривала направо, налево, сорвала листок гераниума... Глаза Марианны были прямо устремлены на приближавшееся к ней улыбавшееся лицо.

Сипягина первая остановилась; и, похлопывая концами пальцев по спинке стула:

— Марианна Викентьевна,— заговорила она небрежным голосом,— мы, кажется, находимся в корреспонденции друг с другом... Живя под одной крышей, это довольно странно; а вы знаете, я не охотница до странностей.

— Не я начала эту корреспонденцию, Валентина Михайловна.

— Да... Вы правы. В странности на этот раз виновата я. Только я не нашла другого средства, чтобы возбудить в вас чувство... как бы это сказать? — чувство...

— Говорите прямо, Валентина Михайловна; не стесняйтесь, не бойтесь оскорбить меня.

— Чувство... приличия.

Валентина Михайловна умолкла; один легкий стук ее пальцев по спинке стула слышался по комнате.

— В чем же вы находите, что я не соблюла приличия? — спросила Марианна.

Валентина Михайловна пожала плечами.

— Ma chère, vous n'êtes plus un enfant [1] — и вы меня очень хорошо понимаете. Неужели вы полагаете, что ваши поступки могли остаться тайной для меня, для Анны Захаровны, для всего дома наконец? Впрочем, вы и не слишком заботились о том, чтоб они остались тайной. Вы просто бравировали. Один Борис Андреич, может быть, не обратил на них внимания... Он занят другими, более интересными и важными делами. Но, кроме его, всем известно ваше поведение, всем!

Марианна всё более и более бледнела.

— Я бы попросила вас, Валентина Михайловна, выразиться определительнее. Чем вы собственно недовольны?

«L'insolente!» [2] — подумала Сипягина — однако еще удержалась.

---

[1] Моя милая, вы уже не ребенок *(франц.)*.
[2] «Дерзкая!» *(франц.)*.

— Вы желаете знать, чем я недовольна, Марианна? — Извольте! Я недовольна вашими продолжительными свиданиями с молодым человеком, который и по рождению, и по воспитанию, и по общественному положению стоит слишком низко для вас; я недовольна... нет! это слово не довольно сильно — я возмущена вашими поздними... вашими ночными визитами у этого самого человека. И где же? под моим кровом! Или вы находите, что это так и следует и что я должна молчать — и как бы оказывать покровительство вашему легкомыслию? Как честная женщина... Oui, mademoiselle, je l'ai été, je le suis et le serai toujours! [1] — я не могу не чувствовать негодования!

Валентина Михайловна бросилась в кресло, как будто подавленная тяжестью этого самого негодования.

Марианна усмехнулась в первый раз.

— Я не сомневаюсь в вашей честности прошедшей, настоящей и будущей,— начала она,— и говорю это совершенно искренне. Но вы напрасно негодуете. Я не нанесла никакого позора вашему крову. Молодой человек, на которого вы намекаете... да, я действительно... полюбила его...

— Вы полюбили мсьё Нежданова?

— Я люблю его.

Валентина Михайловна выпрямилась на кресле.

— Да помилуйте, Марианна! Ведь он студент, без роду, без племени; ведь он моложе вас! (Не без злорадства были произнесены эти последние слова.) Что же из этого может выйти? И что вы, с вашим умом, нашли в нем? Он просто пустой мальчик.

— Вы не всегда о нем так думали, Валентина Михайловна.

— О, боже мой! моя милая, оставьте меня в стороне... Pas tant d'ésprit que ça, je vous prie [2]. Тут дело идет о вас, о вашей будущности. Подумайте! какая же это партия для вас?

— Признаюсь вам, Валентина Михайловна, я не думала о партии.

— Как? Что? Как мне вас понять? Вы следовали влечению вашего сердца, положим... Но ведь всё это должно же кончиться браком?

— Не знаю... я об этом не думала.

---

[1] Да, сударыня, я была и буду ею всегда! *(франц.)*.
[2] Поменьше умничайте, прошу вас *(франц.)*.

— Вы об этом не думали?! Да вы с ума сошли!

Марианна немного отвернулась.

— Прекратим этот разговор, Валентина Михайловна. Он ни к чему не может повести. Мы все-таки не поймем друг друга.

Валентина Михайловна порывисто встала.

— Я не могу, я не должна прекратить этот разговор! Это слишком важно... Я отвечаю за вас перед...— Валентина Михайловна хотела было сказать: перед богом! но запнулась и сказала: перед целым светом! Я не могу молчать, когда я слышу подобные безумия! И почему это я не могу понять вас? Что за несносная гордость у всех этих молодых людей! Нет... я вас очень хорошо понимаю; я понимаю, что вы пропитались этими новыми идеями, которые вас непременно поведут к погибели! Но тогда уже будет поздно.

— Может быть; но поверьте мне: мы, и погибая, не протянем вам пальца, чтобы вы спасли нас!

Валентина Михайловна всплеснула руками.

— Опять эта гордость, эта ужасная гордость! Ну послушайте, Марианна, послушайте меня,— прибавила она, внезапно переменив тон... Она хотела было притянуть Марианну к себе — но та отшатнулась назад.— Ecoutez-moi, je vous en conjure! [1] Ведь я, наконец, не так же уж стара — и не так глупа, чтобы нельзя было сойтись со мною! Je ne suis pas une encroutée [2]. Меня в молодости даже считали республиканкой... не хуже вас. Послушайте: я не стану притворяться; материнской нежности я к вам никогда не питала,— да и не в вашем характере об этом сожалеть... Но я знала и знаю, что у меня есть обязанности в отношении к вам — и я всегда старалась их исполнить. Быть может, та партия, о которой я мечтала для вас и для которой и Борис Андреич и я — мы бы не отступили ни перед какими жертвами... эта партия не вполне отвечала вашим идеям... но в глубине моего сердца...

Марианна глядела на Валентину Михайловну, на эти чудные глаза, на эти розовые, чуть-чуть разрисованные губы, на эти белые руки, на слегка растопыренные пальцы, украшенные перстнями, которые изящная дама так

---

[1] Выслушайте меня, умоляю вас! *(франц.)*.
[2] Я не такая уж закоснелая *(франц.)*.

выразительно прижимала к корсажу своего шелкового платья... и вдруг перебила ее:

— Партия, говорите вы, Валентина Михайловна? Вы называете «партией» этого вашего бездушного, пошлого друга, г-на Калломейцева?

Валентина Михайловна отняла пальцы от корсажа.

— Да, Марианна Викентьевна! я говорю о г-не Калломейцеве — об этом образованном, отличном молодом человеке, который, наверное, составит счастье своей жены и от которого может отказаться одна только сумасшедшая! Одна сумасшедшая!

— Что делать, ma tante! [1] Видно, я такая!

— Да в чем можешь ты серьезно упрекнуть его?

— О, ни в чем! Я презираю его... вот и всё.

Валентина Михайловна нетерпеливо покачала головою с боку на бок — и снова опустилась на кресло.

— Оставим его. Retournons à nos moutons [2]. Итак, ты любишь господина Нежданова?

— Да.

— И намерена продолжать... свои свиданья с ним?

— Да; намерена.

— Ну... а если я тебе это запрещу?

— Я вас не послушаюсь.

Валентина Михайловна подпрыгнула на кресле.

— А! Вы не послушаетесь! Вот как!.. И это мне говорит облагодетельствованная мною девушка, которую я призрела у себя в доме, это мне говорит... говорит мне...

— Дочь обесчещенного отца,— сумрачно подхватила Марианна,— продолжайте, не церемоньтесь!

— Ce n'est pas moi qui vous le fait dire, mademoiselle! [3] Но во всяком случае *этим* гордиться нечего! Девушка, которая ест мой хлеб...

— Не попрекайте меня вашим хлебом, Валентина Михайловна! Вам бы дороже стоило нанять француженку Коле... Ведь *я* ему даю уроки французского языка!

Валентина Михайловна приподняла руку, в которой она держала раздушенный иланг-илангом батистовый платок с огромным белым вензелем в одном из углов, и хотела что-то вымолвить; но Марианна стремительно продолжала:

---

[1] тетушка! *(франц.)*.

[2] *Буквально*: Вернемся к нашим баранам *(франц.)*. *Здесь*: Вернемся к нашему разговору.

[3] Не я заставила вас это сказать, сударыня! *(франц.)*.

— Вы были бы правы, тысячу раз правы, если вместо всего того, что́ вы теперь насчитали, вместо всех этих мнимых благодеяний и жертв, вы бы в состоянии были сказать: «Та девушка, которую я любила...» Но вы настолько честны, что *так* солгать не можете! — Марианна дрожала, как в лихорадке.— Вы всегда меня ненавидели. Вы даже теперь, в самой глубине вашего сердца, о которой вы сию минуту упомянули, рады — да, рады тому, что вот я оправдываю ваши всегдашние предсказания, покрываю себя скандалом, позором — и вам неприятно только то, что часть этого позора должна пасть на ваш аристократический, *честный* дом.

— Вы меня оскорбляете,— шепнула Валентина Михайловна,— извольте выйти вон!

Но уже Марианна не могла совладать с собою.

— Ваш дом, сказали вы, весь ваш дом, и Анна Захаровна, и все знают о моем поведении! И все приходят в ужас и негодование... Но разве я что-нибудь прошу у вас, у них, у всех этих людей? Разве я могу дорожить их мнением? Разве этот ваш хлеб не горек? Какую бедность не предпочту я этому богатству? Разве между вашим домом и мною не целая бездна, бездна, которую ничто, ничто закрыть не может? Неужели вы — вы тоже умная женщина — вы этого не сознаете? И если *вы* питаете ко мне чувство ненависти, то неужели вы не понимаете того чувства, которое *я* питаю к вам и которого я не называю по имени только потому, что оно слишком явно?

— Sortez, sortez, vous dis-je...[1] — повторила Валентина Михайловна и топнула при этом своей хорошенькой, узенькой ножкой.

Марианна шагнула в направлении двери...

— Я сейчас избавлю вас от моего присутствия; но знаете ли что, Валентина Михайловна? Говорят, даже Рашели в «Баязете» Расина не удавалось это «Sortez!» — а уж вам подавно! Да еще вот что: как бишь это вы сказали... Je suis une honnête femme, je l'ai été et le serai toujours? [2] Представьте: я уверена в том, что я гораздо честнее вас! Прощайте!

Марианна поспешно вышла, а Валентина Михайловна вскочила с кресла, хотела было закричать, хотела

---

[1] Уйдите, уйдите, говорю я вам... *(франц.)*.

[2] Я честная женщина, я была и буду ею всегда? *(франц.)*.

заплакать... Но что закричать — она не знала; и слезы не повиновались ей.

Она ограничилась тем, что помахала на себя платком, но распространяемое им благовоние еще сильнее подействовало на ее нервы... Она почувствовала себя несчастной, обиженной... Она сознавала некоторую долю правды в том, что она сейчас слышала. Но как же можно было так несправедливо судить о ней? «Неужели же я такая злая»,— подумала она — и поглядела на себя в зеркало, находившееся прямо против нее между двумя окнами. Зеркало это отразило прелестное, несколько искаженное, с выступившими красными пятнами, но все-таки очаровательное лицо, чудесные, мягкие, бархатные глаза... «Я? Я злая? — подумала она опять...— С такими глазами?»

Но в это мгновение вошел ее супруг — и она снова закрыла платком лицо.

— Что с тобою? — заботливо спросил он.— Что с тобою, Валя? (Он придумал для нее это уменьшительное имя, которое, однако, позволял себе употреблять лишь в совершенном tête-à-tête, преимущественно в деревне.)

Она сперва отнекивалась, уверяла, что с ней ничего... но кончила тем, что как-то очень красиво и трогательно повернулась на кресле, бросила ему руки на плечи (он стоял, наклонившись к ней), спрятала свое лицо в разрезе его жилета — и рассказала всё; безо всякой хитрости и без задней мысли постаралась — если не извинить, то до некоторой степени оправдать Марианну; сваливала всю вину на ее молодость, страстный темперамент, на недостатки первого воспитания; также до некоторой степени — и также без задней мысли — упрекала самое себя. «С моей дочерью этого бы не случилось! Я бы не так за ней присматривала!» Сипягин выслушал ее до конца снисходительно, сочувственно — и строго; держал свой стан согбенным, пока она не сняла своих рук с его плеч и не отодвинула своей головы; назвал ее ангелом, поцеловал ее в лоб, объявил, что знает теперь, какой образ действия предписывает ему его роль — роль хозяина дома,— и удалился так, как удаляется человек гуманный, но энергический, который собирается исполнить неприятный, но необходимый долг...

Часу в восьмом, после обеда, Нежданов, сидя в своей комнате, писал своему другу, Силину.

«Друг Владимир, я пишу тебе в минуту решительного переворота в моем существовании. Мне отказали от здешнего дома, я ухожу отсюда. Но это бы ничего... Я отхожу отсюда не один. Меня сопровождает та девушка, о которой я тебе писал. Нас всё соединяет: сходство жизненных судеб, одинаковость убеждений, стремлений — взаимность чувства наконец. Мы любим друг друга; по крайней мере я убежден, что не в состоянии испытать чувство любви под другою формой, чем та, под которой она мне представляется теперь. Но я бы солгал перед тобою, если б сказал, что не ощущаю ни тайного страха, ни даже какого-то странного сердечного замирания... Всё темно впереди — и мы вдвоем устремляемся в эту темноту. Мне не нужно тебе объяснять, на что мы идем и какую деятельность избрали. Мы с Марианной не ищем счастия; не наслаждаться мы хотим, а бороться вдвоем, рядом, поддерживая друг друга. Наша цель нам ясна; но какие пути ведут к ней — мы не знаем. Найдем ли мы если не сочувствие, не помощь, то хоть возможность действовать? Марианна — прекрасная, честная девушка; если нам суждено погибнуть, я не буду упрекать себя в том, что я ее увлек, потому что для нее другой жизни уже не было. Но, Владимир, Владимир! мне тяжело... Сомнение меня мучит — не в моем чувстве к ней, конечно, а... я не знаю! Только теперь вернуться уже поздно. Протяни нам обоим издалека руки — и пожелай нам терпенья, силы самопожертвованья и любви... больше любви. А ты, неведомый нам, но любимый нами всем нашим существом, всею кровью нашего сердца, русский народ, прими нас — не слишком безучастно — и научи нас, чего мы должны ждать от тебя?

Прощай, Владимир, прощай!»

Написавши эти немногие строки, Нежданов отправился на деревню. В следующую ночь заря чуть-чуть брезжила — а он уже стоял на опушке березовой рощи, не в дальнем расстоянии от сипягинского сада. Немного позади его, из-за спутанной зелени широкого орехового куста, едва виднелась крестьянская тележка, запряженная парой разнузданных лошадок; в телеге, под веревочным переплетом, спал, лежа на клочке сена и натянув на голову заплатанную свитку, старенький, седой мужичок. Нежданов неотступно глядел на дорогу, на купы ракит вдоль сада: серая, тихая ночь еще лежала кругом, звездочки слабо, вперебивку мигали, затерянные в не-

бесной пустой глубине. По круглым нижним краям протянутых тучек шла с востока бледная алость, и оттуда же тянуло первым холодком утренней рани. Вдруг Нежданов вздрогнул и насторожился: где-то близко сперва взвизгнула, потом стукнула калитка; маленькое женское существо, окутанное платком, с узелком на голой руке, выступило не спеша из неподвижной тени ракит на мягкую пыль дороги — и, перейдя ее вкось, словно на цыпочках, направилось к роще. Нежданов бросился к нему.

— Марианна? — шепнул он.

— Я! — послышался тихий отзыв из-под нависшего платка.

— Сюда, за мной,— отвечал Нежданов, неловко хватая ее за голую руку с узелком.

Она пожималась, как бы чувствуя озноб. Он подвел ее к телеге, разбудил мужичка. Тот проворно вскочил, тотчас перебрался на облучок, вдел свитку в рукава, подхватил веревочные вожжи... Лошади зашевелились; он их осторожно отпрукнул охриплым от крепкого сна голосом. Нежданов посадил Марианну на тележный переплет, подостлав сперва свой плащ; окутал ей ноги одеялом — сено на дне было волжко,— уместился возле нее и, нагнувшись к мужику, тихо сказал: «Пошел куда знаешь». Мужичок задергал вожжами, лошади выбрались из опушки, фыркая и ежась, и, подпрыгивая и постукивая узкими, старыми колесами, покатилась телега по дороге. Нежданов придерживал одной рукой стан Марианны; она приподняла платок своими холодными пальцами — и, обернувшись к нему лицом и улыбаясь, промолвила:

— Как славно свежо, Алеша!

— Да,— отвечал мужичок,— роса будет сильная!

Так была уже сильна роса, что втулки тележных колес, цепляясь за верхушки высоких придорожных былинок, сбивали с них целые гроздья тончайших водяных брызг — и зелень травы казалась сизо-серой.

Марианна опять пожалась от холода.

— Свежо, свежо,— повторила она веселым голосом.— И воля, Алеша, воля!

XXVII

Соломин выскочил к воротам фабрики, как только прибежали ему сказать, что какой-то господин с госпожой приехали в тележке и спрашивают его. Не поздо-

ровавшись с своими гостями, а только кивнув им несколько раз головою, он тотчас приказал мужичку-кучеру въезжать на двор — и, направив его прямо к своему флигельку, ссадил с телеги Марианну. Нежданов спрыгнул вслед за нею. Соломин повел обоих через длинный и темный коридорчик да по узенькой кривой лесенке в заднюю часть флигелька, во второй этаж. Там он отворил низенькую дверь — и все трое вошли в небольшую, довольно опрятную комнатку с двумя окнами.

— Добро пожаловать! — проговорил Соломин с своей завсегдашней улыбкой, которая на этот раз казалась и шире и светлее обыкновенного.— Вот вам квартира. *Эта* комната да вот, рядом, еще другая. Неказисто, да ничего: жить можно. И глазеть здесь на вас будет некому. Тут, под окнами у вас — по уверению хозяина — цветник, а по-моему — огород; упирается он в стену, а направо да налево заборы. Тихое местечко! Ну, здравствуйте вторично, милая барышня, и вы, Нежданов, здравствуйте!

Он пожал им обоим руки. Они стояли неподвижно, не раздеваясь, и с молчаливым, полуизумленным, полурадостным волнением глядели оба прямо перед собою.

— Ну что ж вы? — начал опять Соломин.— Разоблачайтесь! Какие с вами есть вещи?

Марианна показала узелок, который она всё еще держала в руке.

— У меня вот только это.

— А у меня саквояж и мешок в телеге остались. Да вот я сейчас...

— Оставайтесь, оставайтесь.— Соломин отворил дверь.— Павел! — крикнул он в темноту лесенки,— сбегай, брат... Там вещи в телеге... принеси.

— Сейчас! — послышался голос вездесущего.

Соломин обратился к Марианне, которая сбросила с себя платок и начала расстегивать мантилью.

— И всё удалось благополучно? — спросил он.

— Всё... никто нас не увидел. Я оставила письмо г-ну Сипягину. Я, Василий Федотыч, оттого не взяла с собою ни платьев, ни белья, что так как вы нас посылать будете... (Марианна почему-то не решилась прибавить: в народ) — ведь всё равно то бы не годилось. А деньги у меня есть, чтобы купить, что будет нужно.

— Всё это мы устроим впоследствии... а вот,— промолвил Соломин, указывая на входившего с нежданов-

скими вещами Павла,— рекомендую вам моего лучшего здешнего друга: на него вы можете положиться вполне... как на самого меня. Ты Татьяне насчет самовара сказал? — прибавил он вполголоса.

— Сейчас будет,— ответил Павел,— и сливки и всё.

— Татьяна — это его жена,— продолжал Соломин,— и такая же неизменная, как он. Пока вы сами... ну, там, привыкнете, что ли,— она вам, моя барышня, прислуживать будет.

Марианна бросила свою мантилью на стоявший в уголку кожаный диванчик.

— Зовите меня Марианной, Василий Федотыч,— я не хочу быть барышней! И прислужницы мне не надо... Я не для того ушла оттуда, чтобы иметь прислужниц. Не глядите на мое платье; у меня — там — другого не было. Это всё надо будет переменить.

Платье это, из коричневого драдедама, было очень просто; но, сшитое петербургской портнихой, оно красиво прилегало к стану и к плечам Марианны и вообще имело вид модный.

— Ну не прислужница — так помощница, по-американски. А чаю вы все-таки напейтесь. Теперь еще рано — да и вы оба, должно быть, устали. Я теперь отправляюсь по фабричным делам; позднее мы опять увидимся. Что нужно будет — скажите Павлу или Татьяне.

Марианна быстро протянула ему обе руки.

— Чем нам отблагодарить вас, Василий Федотыч? — Она с умилением глядела на него.

Соломин тихонько погладил ей одну руку.

— Я бы сказал вам: не стоит благодарности... да это будет неправда. Лучше же я скажу вам, что ваша благодарность мне доставляет великое удовольствие. Вот мы и квиты. До свиданья! Павел, пойдем.

Марианна и Нежданов остались одни.

Она бросилась к нему — и, глядя на него тем же взглядом, как на Соломина, только еще радостнее, еще умиленней и светлей:

— О мой друг! — проговорила она.— Мы начинаем новую жизнь... Наконец! наконец! Ты не поверишь, как эта бедная квартирка, в которой нам суждено прожить всего несколько дней, мне кажется любезна и мила в сравнении с теми ненавистными палатами! Скажи — ты рад?

Нежданов взял ее руки и прижал их к своей груди.

— Я счастлив, Марианна, тем, что я начинаю эту новую жизнь с тобою вместе! Ты будешь моей путеводной звездой, моей поддержкой, моим мужеством...

— Милый Алеша! Но постой — надо немножко почиститься и туалет свой привести в порядок. Я пойду в свою комнату... а ты — останься здесь. Я сию минуту...

Марианна вышла в другую комнату, заперлась — и минуту спустя, отворив до половины дверь, высунула голову и проговорила:

— А какой Соломин славный!

Потом она опять заперлась — и послышался щелк ключа.

Нежданов подошел к окну, посмотрел на садик... Одна старая-престарая яблоня почему-то привлекла его особое внимание. Он встряхнулся, потянулся, раскрыл свой саквояж — и ничего оттуда не вынул; он задумался...

Через четверть часа вернулась и Марианна с оживленным, свежевымытым лицом, вся веселая и подвижная; а несколько мгновений спустя появилась Павлова жена, Татьяна, с самоваром, чайным прибором, булками, сливками.

В противоположность своему цыганообразному мужу, это была настоящая русская женщина, дородная, русая, простоволосая, с широкой косой, туго завернутой около рогового гребня, с крупными, но приятными чертами лица, с очень добрыми серыми глазами. Одета она была в опрятное, хоть и полинялое, ситцевое платье; руки у ней были чистые и красивые, хоть и большие. Она спокойно поклонилась, произнесла твердым, отчетливым выговором, безо всякой певучести: «Здравы будете» — и принялась устанавливать самовар, чашки и т. д.

Марианна подошла к ней.

— Позвольте, Татьяна, я помогу вам. Дайте мне хоть салфетку.

— Ничего, барышня, мы к этому приобыкли. Мне Василий Федотыч сказывал. Коли что потребуется, извольте приказать, мы со всем нашим удовольствием.

— Татьяна, не зовите меня, пожалуйста, барышней... Одета я по-барски, а впрочем, я... я совсем...

Пристальный взгляд Татьяниных зорких глаз смутил Марианну; она умолкла.

— А кто же вы такая будете? — спросила Татьяна своим ровным голосом.

— Коли вы хотите… я, точно… я из дворянок; только я хочу всё это бросить — и сделаться как все… как все простые женщины.

— А, вот что! Ну, теперь знаю. Вы, стало, из тех, что опрóститься хотят. Их теперь довольно бывает.

— Как вы сказали, Татьяна? Опрóститься?

— Да… такое у нас теперь слово пошло. С простым народом, значит, заодно быть. Опрóститься. Что ж? Это дело хорошее — народ поучить уму-разуму. Только трудное это дело! Ой, тру-удное! Дай бог час!

— Опрóститься! — повторяла Марианна.— Слышишь, Алеша, мы с тобой теперь опростелые!

Нежданов засмеялся и тоже повторил:

— Опрóститься! опростелые!

— А что это у вас, муженек будет — али брат? — спросила Татьяна, осторожно перемывая чашки своими большими ловкими руками и с ласковой усмешкой поглядывая то на Нежданова, то на Марианну.

— Нет,— отвечала Марианна,— он мне не муж — и не брат.

Татьяна приподняла голову.

— Стало, так, по вольной милости живете? Теперь и это — тоже часто бывает. Допрежь больше у раскольников водилось, а ноне и у прочих людей. Лишь бы бог благословил — да жилось бы ладно! А то поп и не нужен. На фабрике у нас тоже такие есть. Не из худших ребят.

— Какие у вас хорошие слова, Татьяна!.. «По вольной милости...» Очень это мне нравится. Вот что, Татьяна, я о чем вас просить буду. Мне нужно себе платье сшить или купить, такое вот, как ваше, или еще попроще. И башмаки, и чулки, и косынка — всё, чтобы было, как у вас. Деньги у меня на это есть.

— Что же, барышня, это всё можно… Ну, не буду, не извольте гневаться. Не буду вас барышней называть. Только как мне вас звать-то?

— Марианной.

— А по отчеству как вас величают?

— Да на что вам мое отчество? Зовите меня просто Марианной. Зову же я вас Татьяной.

— И то — да не то. Вы уж лучше скажите.

— Ну хорошо. Моего отца звали Викентьем. А вашего как?

— А моего — Осипом.

— Ну, так я буду вас звать Татьяной Осиповной.
— А я вас Марианной Викентьевной. Вот оно как славно будет!
— Что бы вам с нами чайку выпить, Татьяна Осиповна?
— На первый случай можно, Марианна Викентьевна. Чашечкой себя побалую. А то Егорыч забрóнит.
— Кто это Егорыч?
— А Павел, муж мой.
— Садитесь, Татьяна Осиповна.
— И то сяду, Марианна Викентьевна.
Татьяна присела на стул и начала пить чай вприкуску, беспрестанно поворачивая в пальцах кусочек сахара и щурясь глазом с той стороны, с какой она прикусывала сахар. Марианна вступила с нею в разговор. Татьяна отвечала не чинясь и сама расспрашивала и рассказывала. На Соломина она чуть не молилась, а мужа своего ставила тотчас после Василия Федотыча. Фабричным житьем она, однако, тяготилась.
— Ни тебе город здесь, ни деревня... Без Василия Федотыча и часу бы я не осталась!
Марианна слушала ее рассказы внимательно. Усевшийся в сторонке Нежданов наблюдал за своей подругой и не удивлялся ее вниманию: для Марианны это всё было внове — а ему казалось, что он подобных Татьян видел целые сотни и говорил с ними сотни раз.
— Вот что, Татьяна Осиповна,— сказала наконец Марианна,— вы думаете, что мы хотим учить народ; нет — мы служить ему хотим.
— Как так служить? Учите его, вот вам и служба. Я хоть с себя пример возьму. Я как за Егорыча вышла — ни читать, ни писать не умела; а теперь вот знаю, спасибо Василию Федотычу. Не сам он учил меня, а заплатил одному старичку. Тот и выучил. Ведь я еще молодая, даром что рослая.
Марианна помолчала.
— Мне, Татьяна Осиповна,— начала она опять,— хотелось бы выучиться какому-нибудь ремеслу... да мы еще поговорим об этом с вами. Шью я плохо; если б я выучилась стряпать — можно бы в кухарки пойти.
Татьяна задумалась.
— Как же так в кухарки? Кухарки у богатых бывают, у купцов; а бедные сами стряпают. А на артель готовить, на рабочих... Ну уж это совсем последнее дело!

— Да мне бы хоть у богатого жить, а с бедными знаться. А то как я с ними сойдусь? Не всё же такой случай выдет, как с вами.

Татьяна опрокинула пустую чашку на блюдечко.

— Это дело мудреное,— промолвила она наконец со вздохом,— около пальца не обвертишь. Что умею — покажу, а многому я сама не учена́. С Егорычем потолковать надо. Ведь он какой? Книжки всякие читает! — и всё может сейчас как руками развести.— Тут она взглянула на Марианну, которая свертывала папироску...— И вот еще что, Марианна Викентьевна: извините меня, но коли вы точно опро́ститься желаете, так это уж вам придется бросить.— Она указала на папироску.— Потому в тех званиях, хоть бы вот в кухарках, этого не полагается: и вас сейчас всякий признает, что вы есть барышня. Да.

Марианна выбросила папироску за окно.

— Я курить не буду... от этого легко отвыкнуть. Простые женщины не курят: стало быть, и мне не след курить.

— Это вы верно сказали, Марианна Викентьевна. Мужской пол этим балует и у нас; а женский — нет. Так-то!.. Э! да вот и сам Василий Федотыч сюда жалует. Его это шаги. Вы его спросите: он вам сейчас всё определит — лучшим манером.

И точно: за дверью раздался голос Соломина.

— Можно войти?

— Войдите, войдите! — закричала Марианна.

— Это у меня английская привычка,— сказал, входя, Соломин.— Ну каково вы себя чувствуете? Не заскучали еще пока? Я вижу, вы здесь чайничаете с Татьяной. Вы слушайте ее: она разумница... А ко мне сегодня мой хозяин приезжает... вот некстати! И обедать остается. Что делать! На то он хозяин.

— Что за человек? — спросил Нежданов, выходя из своего уголка.

— Ничего... Тряпки не сосет. Из новых. Вежлив очень — и рукавчики носит,— а глаз всюду запускает, не хуже старого. Сам шкурку дерет — и сам приговаривает: «Повернитесь-ка на этот бочок, сделайте одолжение; тут есть еще живое местечко... Надо его пообчистить!» Ну, да со мной он шелковый; я ему нужен! Только я пришел вам сказать, что уж сегодня вряд ли удастся нам свидеться. Обед вам принесут. А на двор не показы-

вайтесь. Как вы думаете, Марианна, Сипягины будут вас отыскивать, за вами гнаться?

— Я думаю, что нет,— ответила Марианна.

— А я так уверен, что да,— сказал Нежданов.

— Ну, всё равно,— продолжал Соломин,— надо быть осторожным на первых порах. Потом обойдется.

— Да; только вот что,— заметил Нежданов,— о моем местопребывании должен знать Маркелов; надо его известить.

— Зачем?

— Нельзя иначе; для нашего дела. Он должен всегда знать, где я. Слово дано. Да он не проболтает!

— Ну хорошо. Пошлем Павла.

— А платье мне будет готово? — спросил Нежданов.

— То есть костюм? — как же... как же. Тот же маскарад. Спасибо — недорого. Прощайте, отдохните. Татьяна, пойдем.

Марианна и Нежданов опять остались одни.

XXVIII

Сперва они опять крепко пожали друг другу руки; потом Марианна воскликнула: «Постой, я помогу тебе убрать твою комнату» — и начала выкладывать его вещи из саквояжа и мешка. Нежданов хотел было помочь ей; но она объявила, что всё сделает одна. «Потому что надо привыкать служить». И действительно: сама развесила платье на гвоздики, которые нашла в ящике стола и вбила собственноручно в стену оборотной стороною щетки, за неимением молотка; уложила белье в старенький комодец, находившийся между окон.

— Что это? — спросила она вдруг,— револьвер? Он заряжен? На что он тебе?

— Он не заряжен... а впрочем, дай его сюда. Ты спрашиваешь: на что? Как же без револьвера в нашем-то звании?

Она засмеялась и продолжала свою работу, встряхивая каждую отдельную вещь и хлопая по ней ладонью; поставила даже две пары сапог под диван; а несколько книг, пачку бумаг и маленькую тетрадку со стихами расположила торжественно на трехногом угловом столе, назвав его письменным и рабочим, в противность другому, круглому, который назвала обеденным и чайным. Потом, взяв стихотворную тетрадь в обе руки, приподняв ее

в уровень своего лица и глядя через ее край на Нежданова, она с улыбкой промолвила:

— Ведь мы всё это перечтем вместе, в свободное от занятий время! А?

— Дай мне эту тетрадь! я ее сожгу! — воскликнул Нежданов.— Она другого не стоит!

— Зачем же ты ее взял с собою, коли так? Нет, нет, я тебе ее не дам на сожжение. А впрочем, говорят, сочинители только грозятся — и никогда своих вещей не жгут. Но я всё-таки лучше унесу ее к себе!

Нежданов хотел протестовать, но Марианна выскочила в соседнюю комнату с тетрадью — и вернулась без нее.

Она подсела к Нежданову — и тотчас же встала.

— Ты у меня еще не был... в моей комнате. Хочешь посмотреть? Она не хуже твоей. Пойдем — я тебе покажу.

Нежданов тоже встал и последовал за Марианной. Комнатка *ее*, как она выражалась, была немного меньше *его* комнаты; но мебель в ней была как будто почище и поновей; на окне стояла хрустальная вазочка с цветами, а в углу железная кроватка.

— Видишь, какой он милый, Соломин,— воскликнула Марианна,— только не надо себя слишком нежить: такие квартиры нам не часто попадаться будут. А вот что я думаю; вот было бы хорошо: так устроиться, чтобы нам обоим, не расставаясь, на какое-нибудь место поступить! Трудно это будет,— прибавила она, погодя немного,— ну, там подумаем. Ведь всё равно: в Петербург ты не вернешься?

— Что мне в Петербурге делать? В университет ходить да уроки давать? Это уж никуда не годится.

— Вот что́ Соломин скажет,— промолвила Марианна,— он лучше решит, как и что.

Они вернулись в первую комнату и опять сели друг подле друга. Похвалили Соломина, Татьяну, Павла; упомянули о Сипягине, о том, как прежняя жизнь вдруг так далеко от них ушла, словно туманом покрылась; потом опять пожали друг другу руки — обменялись радостными взглядами; потом поговорили о том, в какие слои должно стараться проникать и как им надо будет держаться, чтобы их не подозревали.

Нежданов уверял, что чем меньше об этом думать, чем проще себя держать,— тем лучше.

— Конечно! — воскликнула Марианна.— Ведь мы хотим опрóститься, как говорит Татьяна.

— Я не в этом смысле,— начал было Нежданов.— Я хотел сказать, что не надо принуждать себя...

Марианна вдруг засмеялась.

— Я вспомнила, Алеша, как это я нас обоих назвала: опростелые!

Нежданов тоже посмеялся, повторил: «опростелые...»— а потом задумался.

И Марианна задумалась.

— Алеша! — промолвила она.

— Что?

— Мне кажется, нам обоим немного неловко. Молодые — des nouveaux mariés,— пояснила она,— в первый день своего брачного путешествия должны чувствовать нечто подобное. Они счастливы... им очень хорошо — и немножко неловко.

Нежданов улыбнулся — принужденной улыбкой.

— Ты очень хорошо знаешь, Марианна, что мы не молодые — в твоем смысле.

Марианна поднялась с своего места и стала прямо перед Неждановым.

— Это от тебя зависит.

— Как?

— Алеша, ты знаешь, что когда ты мне скажешь как честный человек — а я тебе верю, потому что ты точно честный человек,— когда ты мне скажешь, что ты меня любишь той любовью... ну, той любовью, которая дает право на жизнь другого,— когда ты мне это скажешь,— я твоя.

Нежданов покраснел и отвернулся немного.

— Когда я тебе это скажу...

— Да, тогда! Но ведь ты сам видишь, ты мне теперь этого не говоришь... О да, Алеша, ты точно честный человек. Ну, и давай толковать о вещах более серьезных.

— Но ведь я люблю тебя, Марианна!

— Я в этом не сомневаюсь... и буду ждать. Постой, я еще не совсем привела в порядок твой письменный стол. Вот тут что-то завернуто, что-то жесткое...

Нежданов рванулся со стула.

— Оставь это, Марианна... Это... пожалуйста, оставь.

Марианна повернула к нему голову через плечо и с изумлением приподняла брови.

— Это — тайна? Секрет? У тебя есть секрет?

— Да... да,— промолвил Нежданов и, весь смущенный, прибавил — в виде объяснения: — Это... портрет.

Слово это вырвалось у него невольно. В бумажке, которую Марианна держала в руках, был действительно завернут ее портрет, данный Нежданову Маркеловым.

— Портрет? — произнесла она протяжным голосом...— Женский?

Она подала ему пакетец; но он неловко его взял, он чуть не выскользнул у него из рук — и раскрылся.

— Да это... мой портрет! — воскликнула Марианна с живостью...— Ну — свой-то портрет я имею право взять.— Она выхватила его у Нежданова.

— Это — ты нарисовал?

— Нет... не я.

— Кто же? Маркелов?

— Ты угадала... Он.

— Каким же образом он у тебя?

— Он мне подарил его.

— Когда?

Нежданов рассказал, когда и как. Пока он говорил, Марианна взглядывала то на него, то на портрет... и у обоих, у Нежданова и у ней, мелькнула одна и та же мысль в голове: «Если бы *он* был в этой комнате, *он* бы имел право потребовать...» Но ни Марианна, ни Нежданов не высказали громко своей мысли... быть может потому, что каждый из них почувствовал ее в другом.

Марианна тихонько завернула портрет в бумажку и положила ее на стол.

— Добрый человек! — прошептала она.— Где-то он теперь?

— Как где?.. Дома, у себя. Я завтра или послезавтра пойду к нему за книжками, за брошюрами. Он хотел мне дать — да, видно, забыл при отъезде.

— И ты, Алеша, того мнения, что, отдавая тебе этот портрет, он уже ото всего отказывался... решительно ото всего?

— Мне так показалось.

— И ты надеешься его найти дома?

— Конечно.

— А! — Марианна опустила глаза, уронила руки.— А вот нам обед Татьяна несет! — вскрикнула она вдруг.— Какая она славная женщина!

Татьяна явилась с приборами, салфетками, судками.

Пока она накрывала на стол, она рассказывала о том, что происходило на фабрике.

— Хозяин приехал из Москвы по чугунке — и пошел бегать по всем этажам, как оглашенный; да ведь он ничего как есть не смыслит, а только так, для виду действует, для примеру. А Василий Федотыч с ним, как с малым младенцем; а хозяин хотел какую-то противность учинить, так его Василий Федотыч сейчас отчеканил; брошу, говорит, сейчас всё; тот сейчас хвост и поджал. Теперь вместе кушают; а хозяин с собой кумпаньона привез... Так тот только всему удивляется. А денежный, должно быть, человек, этот кумпаньон, потому всё больше молчит да головой потряхивает. А сам толстый-претолстый! Туз московский! Недаром пословица такая слывет, что Москва у всей России под горою: всё в нее катится.

— Как вы всё примечаете! — воскликнула Марианна.

— Я и то заметливая,— возразила Татьяна.— Вот, готов вам обед. Кушайте на здоровье. А я тут малость посижу, на вас погляжу.

Марианна и Нежданов принялись есть; Татьяна прикорнула на подоконник и подперла щеку рукою.

— Погляжу я на вас,— повторила она,— и какие же вы оба молоденькие да кволенькие... Так приятно на вас глядеть, что даже печально! Эх, голубчики мои! Берете вы на себя тяготу не в моготу! Таких-то, как вас, пристава́ царские — охочи в куролеску сажать!

— Ничего, тетушка, не пугайте нас,— заметил Нежданов.— Вы знаете поговорку: «Назвался груздем — полезай в кузов».

— Знаю... знаю; да кузовья-то пошли ноне тесные да невылазные!..

— Есть у вас дети? — спросила Марианна, чтобы переменить разговор.

— Есть; сынок. В школу ходить начал. Была и дочка; да не стало ее, сердешной! Несчастье с ней приключилось: попала под колесо. И хоть бы разом ее убило! А то — мучилась долго. С тех пор я жалостливая стала; а прежде — что жимолость, что я. Как есть дерево!

— Ну, а как же вы Павла Егорыча-то вашего — разве не любили?

— Э! то особ статья; то — дело девичье. Ведь вот и вы — вашего-то любите? Аль нет?

— Люблю.

— Оченно любите?

— Очень.

— Чтой-то...— Татьяна посмотрела на Нежданова, на Марианну — и ничего не прибавила.

Марианне опять пришлось переменить разговор. Она объявила Татьяне, что бросила табак курить; та ее похвалила. Потом Марианна вторично попросила ее насчет платья; напомнила ей, что она обещалась показать, как стряпают...

— Да вот еще что! Нельзя ли мне достать толстых суровых ниток? Я буду чулки вязать... простые.

Татьяна отвечала, что всё будет исполнено как следует, и, убрав со стола, вышла из комнаты своей твердой, спокойной походкой.

— Ну, а мы что будем делать? — обратилась Марианна к Нежданову — и, не давши ему ответить: — Хочешь? так как только завтра начнется настоящее дело, посвятим нынешний вечер литературе. Перечтем твои стихи! Я судья буду строгий.

Нежданов долго не соглашался... однако кончил тем, что уступил,— и стал читать из тетрадки. Марианна села близко возле него и глядела ему в лицо, пока он читал. Она сказала правду: судьей она оказалась строгим. Немногие стихотворения ей понравились: она предпочитала чисто лирические, короткие и, как она выражалась, не нравоучительные. Читал Нежданов не совсем хорошо: не решался декламировать — и не хотел впадать в сухой тон; выходило — ни рыба ни мясо. Марианна вдруг перервала его вопросом: знает ли он удивительное стихотворение Добролюбова, которое начинается так: «Пускай умру — печали мало» *,— и тут же прочла его — тоже не совсем хорошо, как-то немножко по-детски.

Нежданов заметил, что оно горько и горестно донельзя,— и потом прибавил, что он, Нежданов, не мог бы написать это стихотворение уже потому, что ему нечего бояться слез над своей могилой... их не будет.

— Будет, если я тебя переживу,— произнесла медлительно Марианна — и, поднявши глаза к потолку да помолчав немного, вполголоса, как бы говоря с самой собою, спросила:

---

* Пускай умру — печали мало;
Одно страшит мой ум больной:
Чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной.

— Как же это он с меня портрет нарисовал? По памяти?

Нежданов быстро обернулся к ней...

— Да; по памяти.

Марианна удивилась, что он отвечал ей. Ей казалось, что она этот вопрос только подумала.

— Это удивительно...— продолжала она тем же голосом.— Ведь у него и таланта к живописи нет. Что я хотела сказать...— прибавила она громко,— да! насчет стихов Добролюбова. Надо такие стихи писать, как Пушкин,— или вот такие, как эти добролюбовские: это не поэзия... но что-то не хуже ее.

— А такие, как мои,— спросил Нежданов,— вовсе не следует писать? Не правда ли?

— Такие стихи, как твои, нравятся друзьям не потому, что они очень хороши, но потому, что *ты* хороший человек — и они на тебя похожи.

Нежданов усмехнулся.

— Похоронила же ты их — да и меня кстати!

Марианна ударила его по руке и назвала злым... Скоро потом она объявила, что она устала — и пойдет спать.

— Кстати, ты знаешь,— прибавила она, встряхнув своими короткими, но густыми кудрями,— у меня 137 рублей,— а у тебя?

— 98.

— О! да мы богаты... для опростелых. Ну — до завтра!

Она ушла; но через несколько мгновений ее дверь чуть-чуть отворилась — и из-за узкой щели послышалось сперва: «Прощай!» — потом более тихо: «Прощай!» — И ключ щелкнул в замке.

Боюсь, чтоб над холодным трупом
Не пролилось горячих слез,
Чтоб кто-нибудь в усердье глупом
На гроб цветов мне не принес;

Чтоб бескорыстною толпою
За ним не шли мои друзья,
Чтоб над могильною землею
Не стал любви предметом я.

Чтоб всё, чего желал так жадно
И так напрасно я — живой,
Не улыбнулось мне отрадно
Над гробовой моей доской.

Соч. Д-ва, т. IV, стр. 615.

Нежданов опустился на диван и закрыл глаза рукою... Потом он быстро встал, подошел к двери — и постучался.

— Чего тебе? — раздалось оттуда.

— Не *до* завтра, Марианна... а — завтра!

— Завтра,— отозвался тихий голос.

XXIX

На другой день поутру рано Нежданов постучался опять в дверь к Марианне.

— Это я,— отвечал он на ее вопрос: кто там? — Можешь ты ко мне выйти?

— Погоди... сейчас.

Она вышла — и ахнула. В первую минуту она его не узнала. На нем был истасканный желтоватый нанковый кафтан с крошечными пуговками и высокой тальей; волосы он причесал по-русски — с прямым пробором; шею повязал синим платочком; в руке держал картуз с изломанным козырьком; на ногах у него были нечищенные выростковые сапоги.

— Господи! — воскликнула Марианна,— какой ты... некрасивый! — и тут же быстро обняла его и еще быстрей поцеловала.— Да зачем же ты *так* оделся? Ты смотришь каким-то плохим городским мещанином... или разносчиком... или отставным дворовым. Отчего этот кафтан, а не поддевка или просто крестьянский армяк?

— То-то и есть,— начал Нежданов, который в своем костюме действительно смахивал на мелкого пра́сола из мещан — и сам это чувствовал и в душе досадовал и смущался; он до того смущался, что всё потрогивал себя по груди растопыренными пальцами обеих рук, словно обчищался...— В поддевке или в армяке меня бы сейчас узнали, по уверению Павла; а эта одежа — по его словам... словно я другой от роду и не нашивал! Что не очень лестно для моего самолюбия, замечу в скобках.

— Разве ты хочешь сейчас идти... начинать? — с живостью спросила Марианна.

— Да; я попытаюсь; хотя... по-настоящему...

— Счастливец! — перебила Марианна.

— Этот Павел какой-то удивительный,— продолжал Нежданов.— Всё-то он знает, так тебя глазами насквозь и нижет; а то вдруг такое скорчит лицо, словно он ото всего в стороне и ни во что не мешается! Сам услуживает, а сам всё подсмеивается. Книжки мне принес от

Маркелова; он и его знает и Сергеем Михайловичем величает. А за Соломина и в огонь и в воду готов.

— И Татьяна тоже,— промолвила Марианна.— Отчего это ему люди так преданы?

Нежданов не отвечал.

— Какие книжки принес тебе Павел? — спросила Марианна.

— Да... обыкновенные. «Сказка о четырех братьях»... Ну, еще там... обыкновенные, известные. Впрочем, эти лучше.

Марианна тоскливо оглянулась.

— Но что ж это Татьяна? Обещала, что придет ранехонько...

— А вот она и я,— проговорила Татьяна, входя в комнату с узелком в руке. Она стояла за дверью и слышала восклицание Марианны.

— Успеете еще... вот невидаль!

Марианна так и бросилась ей навстречу.

— Принесли?

Татьяна ударила рукой по узелку.

— Всё тут... в полном составе... Стоит только примерить... да и ступай щеголять — народ удивлять!

— Ах, пойдемте, пойдемте, Татьяна Осиповна, милая...

Марианна увлекла ее в свою комнату.

Оставшись один, Нежданов прошелся раза два взад и вперед какой-то особенной, шмыгающей походкой (он почему-то воображал, что мещане именно так ходят), понюхал осторожно свой собственный рукав, внутренность фуражки — и поморщился; посмотрел на себя в маленькое зеркальце, прикрепленное на стене возле окна, и помотал головою: очень уж он был неказист. («А впрочем, тем лучше»,— подумал он.) Потом он достал несколько брошюр, запихнул их себе в задний карман, и произнес вполголоса: «Што ш... робята... иефто... ничаво... потому шта»... «Кажется, похоже,— подумал он опять,— да и что за актерство! за меня мой наряд отвечает». И вспомнил тут Нежданов одного ссыльного немца, которому нужно было бежать через всю Россию, а он и по-русски плохо говорил; но благодаря купеческой шапке с кошачьим околышем, которую он купил себе в одном уездном городе, его всюду принимали за купца — и он благополучно пробрался за границу.

В это мгновенье вошел Соломин.

— Ага! — воскликнул он,— окопировался! Извини, брат: в этом наряде нельзя же тебе «вы» говорить.

— Да сделайте... сделай одолжение... я и то хотел тебя просить.

— Только рано уж больно; а то разве вот что: приобыкнуть желаешь. Ну, тогда — ничего. Все-таки подождать нужно: хозяин еще не уехал. Спит.

— Я попозже выйду,— отвечал Нежданов,— похожу по окрестностям, пока получится какое распоряжение.

— Резон! Только вот что, брат Алексей... ведь так я говорю: Алексей?

— Алексей. Если хочешь: Ликсей,— прибавил, смеясь, Нежданов.

— Нет; зачем пересаливать. Слушай: уговор лучше денег. Книжки, я вижу, у тебя есть; раздавай их кому хочешь,— только в фабрике — ни-ни!

— Отчего же?

— Оттого, во-первых, что оно для тебя же опасно; во-вторых, я хозяину поручился, что этого здесь не будет, ведь фабрика все-таки — его; в-третьих, у нас коечто началось — школы там и прочее... Ну — ты испортить можешь. Действуй на свой страх, как знаешь,— я не препятствую; а фабричных моих не трогай.

— Осторожность никогда не мешает... ась? — с язвительной полуусмешкой заметил Нежданов.

Соломин широко улыбнулся, по-своему.

— Именно, брат Алексей; не мешает никогда. Но кого это я вижу? Где мы?

Эти последние восклицания относились к Марианне, которая в ситцевом, пестреньком, много раз мытом платьице, с желтым платочком на плечах, с красным на голове, появилась на пороге своей комнаты. Татьяна выглядывала из-за ее спины и добродушно любовалась ею. Марианна казалась и свежей и моложе в своем простеньком наряде: он пристал ей гораздо больше, чем долгополый кафтан Нежданову.

— Василий Федотыч, пожалуйста, не смейтесь,— взмолилась Марианна — и покраснела как маков цвет.

— Ай да парочка! — воскликнула меж тем Татьяна и в ладоши ударила.— Только ты, мой голубчик, паренек, не прогневись: хорош ты, хорош, а против моей молодухи — фигурой не вышел.

«И в самом деле она прелесть,— подумал Нежданов,— о! как я ее люблю!»

— И глянь-ка,— продолжала Татьяна,— колечками со мной поменялась. Мне дала свое золотое, а сама взяла мое серебряное.

— Девушки простые золотых колец не носят,— промолвила Марианна.

Татьяна вздохнула.

— Я вам его сохраню, голубушка; не бойтесь.

— Ну, сядьте, сядьте оба,— начал Соломин, который всё время, наклонив несколько голову, глядел на Марианну,— в прежние времена, вы помните, люди всегда саживались, когда в путь-дорогу отправлялись. А вам обоим дорога предстоит длинная и трудная.

Марианна, всё еще красная, села; сел и Нежданов; сел Соломин... села, наконец, и Татьяна на «тычке», то есть на стоявшее стоймя толстое полено. Соломин посмотрел по очереди на всех:

Отойдем да поглядим,
Как мы хорошо сидим...—

промолвил он, слегка прищурясь, и вдруг захохотал, да так славно, что не только никто не обиделся, а, напротив, всем очень стало приятно.

Но Нежданов внезапно поднялся.

— Я пойду,— сказал он,— теперь же; а то это всё очень любезно — только слегка на водевиль с переодеваньем смахивает. Не беспокойся,— обратился он к Соломину,— я твоих фабричных не трону. Поболтаюсь по окрестностям, вернусь — и тебе, Марианна, расскажу мои похождения, если только будет что рассказывать. Дай руку на счастье!

— Чайку бы сперва,— заметила Татьяна.

— Нет, что за чайничанье! Если нужно — я в трактир зайду или просто в кабак.

Татьяна качнула головой.

— У нас теперь по большим-то по дорогам трактиров этих развелось, что блох в овечьей шубе. Сёла всё пространные, вот хоть бы Балмасово...

— Прощайте, до свиданья... счастливо оставаться! — поправил себя Нежданов, входя в свою мещанскую роль. Но не успел он приблизиться к двери, как из коридора перед самым его носом вынырнул Павел и, вручая ему высокий, тонкий посох с вырезанной в виде винта, во всю его длину, полосой коры, промолвил:

— Извольте получить, Алексей Дмитрич,— подпи-

райтесь на ходу, и чем вы эту самую палочку дальше от себя отставлять будете, тем приятнее будет.

Нежданов взял посох молча и удалился; за ним и Павел. Татьяна хотела было уйти также; Марианна приподнялась и остановила ее.

— Погодите, Татьяна Осиповна; мне вы нужны.

— А я сейчас вернусь, да с самоваром. Ваш товарищ ушел без чаю; вишь — уж очень ему приспичило... А вам-то с чего себя казнить? Дальше — виднее будет.

Татьяна вышла, Соломин тоже встал. Марианна стояла к нему спиной; и когда она наконец обернулась к нему,— так как он очень долго не промолвил ни единого слова,— то увидела на его лице, в его глазах, на нее устремленных, выражение, какого она прежде у него не замечала: выражение вопросительное, беспокойное, почти любопытствующее. Она смутилась и опять покраснела. А Соломину словно стало совестно того, что она уловила на его лице, и он заговорил громче обыкновенного.

— Так так-то, Марианна... Вот вы и начали.

— Какое начала, Василий Федотыч! Что это за начало? Мне что-то вдруг очень неловко становится. Алексей правду сказал: мы точно какую-то комедию играем.

Соломин сел опять на стул.

— Да позвольте, Марианна... Как же вы себе это представляете: *начать?* Не баррикады же строить со знаменем наверху — да: ура! за республику! Это же и не женское дело. А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучитесь; а пока — ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите... вот вам и начало.

— Да ведь это сестры милосердия делают, Василий Федотыч! Для чего ж мне тогда... всё это? — Марианна указала на себя и вокруг себя неопределенным движением руки.— Я о другом мечтала.

— Вам хотелось собой пожертвовать?

Глаза у Марианны заблистали.

— Да... да... да!

— А Нежданов?

Марианна пожала плечом.

— Что Нежданов! Мы пойдем вместе... или я пойду одна.

Соломин пристально посмотрел на Марианну.

— Знаете что, Марианна... Вы извините неприличность выражения... но, по-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую не многие способны.

— Да я и от этого не отказываюсь, Василий Федотыч.

— Я знаю, что не отказываетесь! Да, *вы* на это способны. И вы будете — пока — делать это; а потом, пожалуй,— и другое.

— Но для этого надо поучиться у Татьяны!

— И прекрасно... учитесь. Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать кур... А там, кто знает, может быть, спасете отечество!

— Вы смеетесь надо мною, Василий Федотыч.

Соломин медленно потряс головою.

— О моя милая Марианна, поверьте: не смеюсь я над вами, и в моих словах — простая правда. Вы уже теперь, все вы, русские женщины, дельнее и выше нас, мужчин.

Марианна подняла опустившиеся глаза.

— Я бы хотела оправдать ваши ожидания, Соломин... а там — хоть умереть!

Соломин встал.

— Нет, живите... живите! Это главное. Кстати, не хотите ли вы узнать, что происходит теперь в вашем доме по поводу вашего бегства? Не принимают ли мер каких? Стоит только слово шепнуть Павлу — всё разведает мигом.

Марианна изумилась.

— Какой он у вас необыкновенный человек!

— Да... довольно удивительный. Вот когда вас нужно будет браком сочетать с Алексеем — он тоже это устроит с Зосимой... Помните, я вам говорил, есть такой поп... Да ведь пока еще не нужно? Нет?

— Нет.

— А нет — так нет.— Соломин подошел к двери, разделявшей обе комнатки — Нежданова и Марианны,— и нагнулся к замку.

— Что вы там смотрите? — спросила Марианна.

— А запирает ли ключ?

— Запирает,— шепнула Марианна.

Соломин обернулся к ней. Она не поднимала глаз.

— Так не нужно разведывать, какие намерения Сипягиных? — весело промолвил он,— не нужно?

Соломин хотел удалиться.

— Василий Федотыч...

— Что прикажете?

— Скажите, пожалуйста, отчего вы, всегда такой молчаливый, так разговорчивы со мной? Вы не поверите, как это меня радует.

— Отчего? — Соломин взял обе ее маленькие, мягкие руки в свои большие, жесткие.— Отчего? Ну, да, должно быть, оттого, что я вас очень люблю. Прощайте.

Он вышел... Марианна постояла, поглядела ему вслед, подумала — и отправилась к Татьяне, которая еще не успела принести ей самовар и у которой она,— правда, напилась чаю, но также мыла чумичкой горшки, и кур щипала, и даже расчесала какому-то мальчику его вихрястую голову.

К обеденному времени она вернулась на свою квартирку... Ей не пришлось долго дожидаться Нежданова.

Он возвратился усталый, запыленный — и так и упал на диван. Она тотчас подсела к нему.

— Ну что? Ну что? Рассказывай!

— Ты помнишь эти два стиха,— отвечал он ей слабым голосом:

> Всё это было бы смешно,
> Когда бы не было так грустно...

Помнишь?

— Конечно, помню.

— Ну вот эти самые стихи отлично применяются к моему первому выходу. Но нет! Решительно, смешного в нем было больше. Во-первых, я убедился, что ничего нет легче, как разыгрывать роль: никто и не думал подозревать меня. Только вот чего я не сообразил: надо сочинить наперед какую-нибудь историю... а то спрашивают: откуда? почему? — а у тебя ничего не готово. Впрочем, и это почти не нужно. Предложи только шкалик водки в кабаке — и ври что угодно.

— И ты... врал? — спросила Марианна.

— Врал... как умел. Во-вторых, все, решительно все люди, с которыми я разговаривал,— недовольны; и никому не хочется даже знать, как пособить этому недовольству! Но в пропаганде я оказался — швах; две брошюрки просто тайком оставил в горницах, одну за-

сунул в телегу... Что из них выйдет — ты един, господи, веси! Четырем человекам предлагал брошюры. Один спросил: божественная ли это книга? — и не взял; другой сказал, что не знает грамоте,— и взял для детей, потому на обложке есть рисунок; третий сперва всё мне поддакивал — «тэ-ак, тэ-ак...», потом вдруг выругал меня самым неожиданным образом и тоже не взял; четвертый, наконец, взял — и много благодарил меня; но, кажется, ни бельмеса не понял изо всего того, что я ему говорил. Кроме того, одна собака укусила мне ногу; одна баба с порога своей избы погрозилась мне ухватом, прибавив: «У! постылый! Шалопуты вы московские! Погибели на вас нетути!» Да еще один солдат бессрочный всё мне вслед кричал: «Погоди, постой! мы тебя, брат, распатроним!» — А на мои же деньги напился!

— А еще что?

— Еще что? Я натер себе мозоль: один сапог ужасно велик. А теперь я голоден, и голова трещит от водки.

— Да разве ты много пил?

— Нет, немного — для примера; но был в пяти кабаках. Только я совсем этой мерзости — водки — не переношу. И как это наш народ ее пьет — непостижимо! Если нужно пить водку, чтобы опро́ститься — слуга покорный!

— И так-таки никто тебя не заподозрил?

— Никто. Один целовальник, толстый такой, бледный человек с белыми глазами, был единственный человек, взглянувший на меня подозрительно. Я слышал, как он говорил своей жене: «Ты наблюдай этого рыжего... косого. (А я и не знал до тех пор, что я кос.) Это жулик. Вишь ты, как пьет вальяжно!» — Что в подобном случае значит «вальяжно» — я не понял; но едва ли это похвала. Вроде гоголевского «моветона» — помнишь, в «Ревизоре». Разве то, что я старался потихоньку расплескивать водку под стол. Ох, трудно, трудно эстетику соприкасаться с действительной жизнью!

— В другой раз будет удачнее,— утешала Нежданова Марианна,— но я рада, что ты взглянул на первую свою попытку с юмористической точки зрения... Ведь в сущности ты не скучал?

— Нет, не скучал, даже забавлялся. Но я знаю наверное, что буду теперь обо всем этом думать — и мне будет гадко и грустно.

— Нет! нет! я не дам тебе думать — я буду рассказывать тебе, что я делала. Сейчас нам принесут обед; кстати, знай, что я отлично... вымыла горшок, в котором Татьяна нам сварила щи. И я буду тебе рассказывать... всё, всё, за каждым куском.

Так она и сделала. Нежданов слушал ее рассказы — и глядел, глядел на нее... так, что она несколько раз останавливалась, чтобы дать ему сказать, зачем он так на нее глядит... Но он молчал.

После обеда она предложила ему читать вслух из Шпильгагена. Но не успела она кончить первую страницу, как он стремительно встал — и, подойдя к ней, упал к ее ногам. Она приподнялась, он обхватил ее колени обеими руками и начал говорить страстные, бессвязные, отчаянные слова! «Он хотел умереть, он знал, что умрет скоро...» — Она не шевелилась, не сопротивлялась; спокойно покорялась его порывистому объятию, спокойно, даже ласково глядела на него сверху вниз. Она возложила обе руки на его голову, бившуюся в складках ее одежды. Но самое это спокойствие сильнее подействовало на него, чем если бы она его оттолкнула. Он встал, промолвил: «Прости меня, Марианна, за сегодняшнее и вчерашнее; повтори мне, что ты готова ждать, пока я стану достойным твоей любви, — и прости меня».

— Я дала тебе слово... и не умею меняться.

— Ну, спасибо; прощай.

Нежданов вышел; Марианна заперлась в своей комнате.

XXX

Две недели спустя, на той же самой квартире, вот что писал Нежданов другу Силину, нагнувшись над своим трехножным столиком, на котором скупо и тускло горела сальная свеча. (Было уже далеко за полночь. На диване, на полу валялась второпях сброшенная загрязненная одежда; в стекла окон постукивал мелкий непрерывный дождь, и широкий теплый ветер пробегал большими вздохами по крыше.)

«Милый Владимир, пишу тебе, не выставляя адреса, и даже это письмо будет послано с нарочным до отдаленной почтовой станции, потому что мое пребывание здесь — тайна и выдать ее — значит погубить не одного меня. С тебя довольно будет знать, что я живу на большой фабрике, вдвоем с Марианной, вот уже две недели. Мы бежали

от Сипягиных в тот самый день, когда я писал тебе. Нас здесь приютил один приятель; буду звать его Василием. Он здесь главное лицо — отличнейший человек. Пребывание наше в этой фабрике временное. Мы находимся здесь, пока наступит время действовать; хотя, если судить по тому, что произошло до сих пор,— время это едва ли когда наступит! Владимир, мне очень, очень тяжело. Прежде всего я должен тебе сказать, что хотя мы с Марианной бежали вместе, но мы до сих пор — как брат с сестрою. Она меня любит... и сказала мне, что будет моею, если... я почувствую себя вправе потребовать этого от нее.

Владимир, я этого права за собой не чувствую! Она верит мне, моей честности — я ее обманывать не стану. Я знаю, что я никого не любил и не полюблю (это-то уж наверно!) больше, чем ее. Но все-таки! Как могу я присоединить навсегда ее судьбу к моей? Живое существо — к трупу? Ну, не к трупу — к существу полумертвому? Где же будет совесть? Ты скажешь: была бы сильная страсть — совесть замолчала бы. В том-то и дело, что я труп; честный, благонамеренный труп, коли хочешь. Пожалуйста, не кричи, что я всегда преувеличиваю... Всё, что я тебе говорю,— правда! правда! Марианна — натура очень сдержанная — и теперь вся поглощена своей деятельностью, в которую верит... А я!

Ну — бросим любовь, и личное счастье, и всё такое. Вот уже две недели, как я хожу «в народ» — и, ей-же-ей, ничего глупей и представить себе нельзя. Конечно, вина тут моя, а не самого дела. Положим, я не славянофил; я не из тех, которые *лечатся* народом, соприкосновением с ним: я не прикладываю его к своей больной утробе, как фланелевый набрюшник... я хочу сам действовать на него, — но как?? Как это совершить? Оказывается, что когда я с народом, я всё только приникаю да прислушиваюсь, а коли придется самому что сказать — из рук вон! Сам чувствую, что не гожусь. Точно скверный актер в чужой роли. Тут и добросовестность некстати, и скептицизм, и даже какой-то мизерный, на самого себя обращенный юмор... Гроша медного всё это не стоит! Даже гадко вспоминать; гадко глядеть на эту ветошь, которую я таскаю,— на этот маскарад, как выражается Василий! Уверяют, что нужно сперва выучиться языку народа, узнать его обычаи и нравы... Вздор! вздор! вздор! Нужно *верить* в то, что говоришь,— а говори, как хочешь! Мне раз пришлось

слышать нечто вроде проповеди одного раскольничьего пророка. Чёрт знает, что он молол, какая это была смесь церковного языка, книжного, простонародного — да еще не русского, а белорусского какого-то... «Цобе» вместо «тебе»; «исть» вместо «есть»; «ы» вместо «и» — и ведь всё одно и то же долбил, как тетерев какой! «Накатыл дух... накатыл дух...» Зато глаза горят, голос глухой и твердый, кулаки сжаты — и весь он как железный! Слушатели не понимают — а благоговеют! И идут за ним. А я начну говорить, точно виноватый, всё прощения прошу. Хоть в раскольники бы пошел, право; мудрость их невелика... да где веры-то взять, веры!! Вон Марианна верит. С утра работает, возится с Татьяной — тут есть одна такая баба, добрая и неглупая; кстати, она про нас говорит, что мы опрóститься желаем, и зовет нас опростелыми; так вот с этой-то бабой Марианна возится, минуты не посидит — настоящий муравей! Радуется, что руки покраснели да заскорузли, и ждет, что вот-вот и она сейчас, коли нужно, на плаху! Да что на плаху! Она даже башмаки с себя пробовала снять; ходила куда-то босая и вернулась босая. Слышу — потом — ноги себе долго мыла; вижу, наступает на них с осторожностью, потому с непривычки — больно; а лицом вся радостная и светлая, словно клад нашла, словно солнце ее озарило. Да, Марианна молодец! А я как стану с ней говорить о моих чувствах — так, во-первых, мне как-то стыдно станет, точно я на чужое руку заношу; а во-вторых, этот взгляд... о, этот ужасный, преданный, непротивящийся взгляд... «Возьми, мол, меня но *помни*!.. Да и к чему всё это? Разве нет лучшего, высшего на земле?» То есть другими словами: надевай вонючий кафтан, иди в народ... И вот я иду в этот народ...

О, как я проклинаю тогда эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, всё это наследие моего аристократического отца! Какое право имел он втолкнуть меня в жизнь, снабдив меня органами, которые несвойственны среде, в которой я должен вращаться? Создал птицу — да и пихнул ее в воду? Эстетика — да в грязь! демократа, народолюбца, в котором один запах этой поганой водки — «зелена́ вина» — возбуждает тошноту, чуть не рвоту!..

Вот до чего я договорился: стал бранить моего отца! И демократом сделался я сам: тут он ни при чем.

Да, Владимир, худо мне. Стали посещать меня какие-то серые, скверные мысли! Так неужто же, спросишь ты

меня, я даже в течение этих двух недель не наткнулся на какое-нибудь отрадное явление, на какого-нибудь хорошего, живого, хоть и темного человека? — Как тебе сказать! Встречал я нечто подобное... Один даже очень хороший попался — славный, бойкий малый. Да как я ни вертелся — не нужен я ему с моими брошюрами — и всё тут! У здешнего фабричного Павла (он правая рука Василия, преумный и прехитрый, будущая «голова»... я тебе, кажется, о нем писал) — у него есть приятель из мужиков, Елизаром его зовут... тоже светлый ум и душа свободная, безо всяких пут; но как только он со мною — точно стена между нами! так и смотрит «нетом»! А то еще вот на какого я наскочил... впрочем, этот был из сердитых. «Уж ты, говорит, барин, не размазывай, а прямо скажи: отдашь ли ты всю свою землю как есть, аль нет?» — «Что ты,— отвечаю я ему,— какой я барин!» (И еще, помнится, прибавил: Христос с тобою!) — «А коли ты из простых, говорит, так какой в тебе толк? И оставь ты меня, сделай милость!»

И вот еще что. Я заметил: коли кто уж очень охотно тебя слушает и книжки сейчас берет — знай: этот из плохоньких, ветерком подбит. Или на какого краснобая наткнешься — из образованных, который только и знает, что одно облюбленное слово твердит. Один, например, просто замучил меня: всё у него «прызводство!» Что ему ни говори, а он: «Такое, значит, прызводство!» А! чёрт тебя побери! Еще одно замечание... Помнишь, была когда-то — давно тому назад — речь о «лишних» людях, о Гамлетах? Представь: такие «лишние» люди попадаются теперь между крестьянами! Конечно, с особым оттенком... притом они большей частью чахоточного сложения. Интересные субъекты — и идут к нам охотно; но собственно для дела — непригодные; так же, как и прежние Гамлеты. Ну что тут будешь делать? Типографию завести секретную? Да ведь книжек и без того уже довольно. И таких, что говорят: «Перекрестись да возьми топор», и таких, что говорят: «Возьми топор просто». Повести из народного быта с начинкой сочинять? Не напечатают, пожалуй. Или уж точно взять топор?.. А на кого идти, с кем, зачем? Чтобы казенный солдат тебя убубухал из казенного ружья? Да ведь это какое-то сложное самоубийство! Уж лучше же я сам с собой покончу. По крайней мере буду знать, когда и как, и сам выберу, в какое место выпалить.

Право, мне кажется, что если бы где-нибудь теперь

происходила народная война — я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было (освобождать других, когда свои несвободны!!), но чтобы покончить с собою...

Наш приятель Василий, тот, что здесь нас приютил, счастливый человек: он из нашего лагеря, да спокойный какой-то. Ему не к спеху. Другого я бы выбранил... а его не могу. И оказывается, что вся суть не в убеждениях — а в характере. У Василия характер такой, что иголки не подпустишь. Ну, вот он и прав. Он много с нами сидит, с Марианной. И вот что удивительно. Я ее люблю, и она меня любит (я вижу, как ты улыбаешься при этой фразе — но, ей-богу же, это так!); а говорить мне с нею почти не о чем. А с ним она и спорит, и толкует, и слушает его. Не ревную я ее к нему; он же собирается ее куда-то поместить — по крайней мере она его об этом просит; только горько мне, глядя на них. И ведь представь: заикнись я словом о женитьбе — она бы сейчас согласилась, и поп Зосима выступил бы на сцену — «Исайя, ликуй!» —и всё как следует. Только от этого мне бы не было легче — и *ничего бы не изменилось*... Куда ни кинь — всё клин! Окургузила меня жизнь, мой Владимир, как, помнишь, говаривал наш знакомый пьянчужка-портной, жалуясь на свою жену.

Впрочем, я чувствую, что это долго не продлится. Чувствую я, что готовится что-то...

Не сам ли я требовал и доказывал, что надо «приступить»? Ну, вот мы и приступим.

Я не помню: писал ли я тебе о другом моем знакомом, черномазом — родственнике Сипягиных? Тот может, пожалуй, заварить такую кашу, что и не расхлебаешь.

Совсем уже хотел кончить это письмо — да что! Ведь я всё нет-нет — да настрочу стихи. Марианне я их не читаю — она их не очень жалует,— а ты... иногда и похвалишь; а главное, никому не разболтаешь. Поражен я был одним всеобщим явлением на Руси... А впрочем, вот они, эти стихи.

СОН

Давненько не бывал я в стороне родной...
Но не нашел я в ней заметной перемены.
Всё тот же мертвенный, бессмысленный застой,
Строения без крыш, разрушенные стены,
И та же грязь, и вонь, и бедность, и тоска!
И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый...

Народ наш вольным стал; и вольная рука
Висит по-прежнему какой-то плеткой хилой.
Всё, всё по-прежнему... И только лишь в одном
Европу, Азию, весь свет мы перегнали...
Нет! Никогда еще таким ужасным сном
Мои любезные соотчичи не спали!

Всё спит кругом: везде, в деревнях, в городах,
В телегах, на санях, днем, ночью, сидя, стоя...
Купец, чиновник спит; спит сторож на часах,
Под снежным холодом и на припеке зноя!
И подсудимый спит, и дрыхнет судия;
Мертво спят мужики: жнут, пашут — спят; молотят —
Спят тоже; спит отец, спит мать, спит вся семья. . .
Все спят! Спит тот, кто бьет, и тот, кого колотят!
Один царев кабак — тот не смыкает глаз;
И, штоф с очищенной всей пятерней сжимая,
Лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ,
Спит непробудным сном отчизна, Русь святая!

Пожалуйста, извини меня; я не хотел послать тебе такое грустное письмо, не насмешив тебя хоть под конец (ты, наверное, заметишь несколько натянутых рифм: «молотят — колотят...», да мало ли чего!) Когда я напишу тебе следующее письмо? И напишу ли? Что бы со мной ни было, я уверен, ты не забудешь

твоего верного друга *А. Н.*

P. S. Да, наш народ спит... Но, мне сдается, если что его разбудит — это будет не то, что *мы* думаем...»

Дописав последнюю строку, Нежданов бросил перо и, сказав самому себе: «Ну — теперь постарайся заснуть и забыть всю эту чушь, стихотвор!» — лег на постель... но сон долго бежал его глаз.

На другое утро Марианна разбудила его, проходя через его комнату к Татьяне; но он только что успел одеться, как она уже вернулась снова. Ее лицо выражало радость и тревогу: она казалась взволнованной.

— Знаешь что, Алеша: говорят, в Т...м уезде — близко отсюда — уже началось!

— Как? Что началось? Кто это говорит?

— Павел. Говорят, крестьяне поднимаются — не хотят платить податей, собираются толпами.

— Ты сама это слышала?

— Мне Татьяна сказывала. Да вот и сам Павел. Спроси у него.

Павел вошел и подтвердил сказанное Марианной.

— В Т...м уезде беспокойно, это верно! — промолвил он, потряхивая бородкой и прищуривая свои блестящие черные глаза.— Сергея Михайловича, должно полагать, работа. Вот уже пятый день, как их нету дома.

Нежданов взялся за шапку.

— Куда ты? — спросила Марианна.

— Да... туда,— отвечал он, не поднимая глаз и сдвинув брови.— В Т...ий уезд.

— Так и *я* с тобой. Ведь ты меня возьмешь? Дай мне только большой платок надеть.

— Это не женское дело,— сумрачно промолвил Нежданов, по-прежнему глядя вниз, точно озлобленный.

— Нет... нет! Ты хорошо делаешь, что идешь, а то Маркелов счел бы тебя за труса... И я иду с тобой.

— Я не трус,— так же сумрачно промолвил Нежданов.

— Я хотела сказать, что он нас обоих за трусов бы принял. Я иду с тобой.

Марианна отправилась за платком в свою комнату, а Павел произнес исподтишка и как бы втягивая в себя воздух: «Эге-ге!» — и немедленно исчез. Он побежал предупредить Соломина.

Марианна еще не появилась, как уже Соломин вошел в комнату Нежданова. Он стоял лицом к окну, опершись лбом о руку, а рукой о стекло. Соломин тронул его за плечо. Он быстро обернулся. Взъерошенный, немытый, Нежданов имел вид дикий и странный. Впрочем, и Соломин изменился в последнее время. Он пожелтел, лицо его вытянулось, верхние зубы обнажились слегка... Он тоже казался встревоженным, насколько могла тревожиться его «уравновешенная» душа.

— Маркелов таки не выдержал,— начал он.— Это может кончиться худо; для него, во-первых...ну, и для других.

— Я хочу пойти посмотреть, что там такое...— промолвил Нежданов.

— И я,— прибавила Марианна, показавшись на пороге двери.

Соломин медленно обратился к ней.

— Я бы вам не советовал, Марианна. Вы можете выдать себя — и нас; невольно и безо всякой нужды. Пус-

кай Нежданов идет да понюхает немножко воздух, коли он хочет... и то немножко! — а вы-то зачем?

— Я не хочу отстать от него.

— Вы его свяжете.

Марианна глянула на Нежданова. Он стоял неподвижно, с неподвижным, угрюмым лицом.

— Но если будет опасность? — спросила она.

Соломин улыбнулся.

— Не бойтесь... когда будет опасность — я вас пущу.

Марианна молча сняла платок с головы — и села.

Тогда Соломин обратился к Нежданову.

— А ты, брат, в самом деле посмотри-ка немножко. Может быть, это всё преувеличено. Только, пожалуйста, осторожнее. Впрочем, тебя подвезут. И вернись поскорее. Ты обещаешь? Нежданов, обещаешь?

— Да.

— Да — наверное?

— Коли тебе здесь все покоряются, начиная с Марианны!

Нежданов вышел в коридор не простившись. Павел вынырнул из темноты и побежал вперед по лестнице, стуча коваными подковами сапогов. *Он* должен был подвезти Нежданова.

Соломин подсел к Марианне.

— Вы слышали последние слова Нежданова?

— Да; он досадует, что я слушаюсь вас больше, чем его. И ведь это правда. Я люблю *его*, а слушаюсь *вас*. Он мне дороже... а вы мне ближе.

Соломин осторожно поласкал своей рукой ее руку.

— Эта история... очень неприятная,— промолвил он наконец.— Если Маркелов в ней замешан — он погиб.

Марианна вздрогнула.

— Погиб?

— Да. Он ничего не делает вполовину — и не прячется за других.

— Погиб! — шепнула Марианна снова, и слезы побежали по ее лицу.— Ах, Василий Федотыч! мне очень жаль его. Но почему же он не может восторжествовать? Почему он должен непременно погибнуть?

— Потому, Марианна, что в подобных предприятиях первые всегда погибают, даже если они удаются... А в этом деле, что *он* затеял, не только первые и вторые погибнут — но и десятые ... и двадцатые...

— Так мы и не дождемся?

— Того, что вы думаете? — Никогда. Глазами мы этого не увидим; вот этими, живыми глазами. Ну — духовными... это другое дело. Любуйся хоть теперь, сейчас. Тут контроля нет.

— Так зачем же вы, Соломин...

— Что?

— Зачем вы идете по этой дороге?

— Потому что нет другой. То есть собственно цель у нас с Маркеловым одна; дорога другая.

— Бедный Сергей Михайлович! — уныло промолвила Марианна. Соломин опять осторожно поласкал ее.

— Ну, полноте; еще нет ничего верного. Посмотрим, какие известия привезет Павел. В нашем... звании надо быть твердым. Англичане говорят: «Never say die» [1]. Хорошая поговорка. Лучше русской: «Пришла беда, растворяй ворота!» Заранее горевать нечего.

Соломин поднялся со стула.

— А место, которое вы хотели мне достать? — спросила вдруг Марианна.— Слезы блестели еще у ней на щеках, но в глазах уже не было печали.

Соломин сел опять.

— Разве вам так хочется поскорей уехать отсюда?

— О нет! Но я желала бы быть полезной.

— Марианна, вы очень полезны и здесь. Не покидайте нас, подождите. Чего вам? — спросил Соломин вошедшую Татьяну. (Он говорил «ты» одному Павлу — и то потому, что тот был бы слишком несчастлив, если б Соломин вздумал говорить ему «вы».)

— Да тут какой-то женский пол спрашивает Алексея Дмитрича,— отвечала Татьяна, посмеиваясь и разводя руками,—я было сказала, что его нет у нас, совсем нету. Мы, мол, и не знаем, что за человек такой? Но тут он...

— Да кто — он?

— Да самый этот женский пол. Взял да написал свое имя на этой вот бумаге и говорит, чтобы я показала и что его пустят; и что если точно Алексея Дмитрича дома нет, так он и подождать может.

На бумаге стояло крупными буквами: М а ш у р и н а.

— Впустите,— сказал Соломин.— Вас, Марианна, не стеснит, если она сюда войдет? Она тоже — из наших.

— Нисколько, помилуйте.

---

[1] «Никогда не говори: всё кончено» *(англ.)*.

Через несколько мгновений на пороге показалась Машурина — в том же самом платье, в каком мы ее видели в начале первой главы.

XXXI

— Нежданова нет дома? — спросила она; потом, увидев Соломина, подошла к нему и подала ему руку.— Здравствуйте, Соломин! — На Марианну она только кинула косвенный взгляд.

— Он скоро вернется,— отвечал Соломин.— Но позвольте спросить, от кого вы узнали...

— От Маркелова. Впрочем, оно и в городе... двумтрем лицам уже известно.

— В самом деле?

— Да. Кто-нибудь проболтал. Да и Нежданова, говорят, самого узнали.

— Вот-те и переодевания! — проворчал Соломин.— Позвольте вас познакомить,— прибавил он громко.— Г-жа Синецкая, г-жа Машурина! Присядьте.

Машурина слегка кивнула головою и села.

— У меня к Нежданову есть письмо; а к вам, Соломин, словесный запрос.

— Какой? И от кого?

— От известного вам лица... Что, у вас... всё готово?

— Ничего у меня не готово.

Машурина раскрыла, насколько могла, свои крохотные глазки.

— Ничего?

— Ничего.

— Так-таки решительно ничего?

— Решительно ничего.

— Так и сказать?

— Так и скажите.

Машурина подумала и вынула папироску из кармана.

— Огня можно?

— Вот вам спичка.

Машурина закурила свою папироску.

— «Они» другого ждали,— начала она.— Да и кругом — не так, как у вас. Впрочем, это ваше дело. А я к вам ненадолго. Только вот с Неждановым повидаться да письмо передать.

— Куда же вы едете?

— А далеко отсюда. (Она отправлялась собственно

в Женеву, но не хотела сказать это Соломину. Она его находила не совсем надежным, да и «чужая» сидела тут. Машурину, которая едва знала по-немецки, посылали в Женеву для того, чтобы вручить там неизвестному ей лицу половину куска картона с нарисованной виноградной веткой и 279 рублей серебром.)

— А Остродумов где? С вами?

— Нет. Он тут близко... застрял. Да этот отзовется. Пимен — не пропадет. Беспокоиться нечего.

— Вы как сюда приехали?

— На телеге... А то как? Дайте-ка еще спичку...

Соломин подал ей зажженную спичку...

— Василий Федотыч! — прошептал вдруг чей-то голос из-за двери.— Пожалуйте!

— Кто там? Чего нужно?

— Пожалуйте,— повторил голос внушительно и настойчиво.— Тут пришли чужие работники, чтой-то толкуют, а Павла Егорыча нету.

Соломин извинился, встал и вышел.

Машурина принялась глядеть на Марианну и глядела долго, так что той неловко стало.

— Простите меня,— промолвила она вдруг своим грубым, отрывистым голосом,— я простая, не умею... этак. Не сердитесь; коли хотите — не отвечайте. *Вы* та девица, что ушла от Сипягиных?

Марианна несколько изумилась, однако промолвила:

— Я.

— С Неждановым?

— Ну да.

— Позвольте... дайте мне руку. Простите меня, пожалуйста. Вы, стало быть, хорошая, коли он полюбил вас.

Марианна пожала руку Машуриной.

— А вы коротко знаете Нежданова?

— Я его знаю. Я в Петербурге его видала. Оттого-то я и говорю. Сергей Михайлыч тоже мне сказывал...

— Ах, Маркелов! Вы его недавно видели?

— Недавно. Теперь он ушел.

— Куда?

— Куда приказано.

Марианна вздохнула.

— Ах, г-жа Машурина, я боюсь за него.

— Во-первых, что я за госпожа? Эти манеры бросить надо. А во-вторых... вы говорите: «я боюсь». И это тоже не годится. За себя не будешь бояться — и за других

перестанешь. Ни думать о себе, ни бояться за себя — не надо вовсе. Вот что разве... вот что мне приходит в голову: мне, Фекле Машуриной, легко этак говорить. Я дурна собою. А ведь вы... вы красавица. Стало быть, это вам всё труднее. (Марианна потупилась и отвернулась.) Мне Сергей Михайлыч говорил... Он знал, что у меня есть письмо к Нежданову... «Не ходи ты на фабрику,— говорил он мне,— не носи письма; оно там всё взбудоражит. Оставь! Они там оба счастливы... Так пусть их! Не мешай!» Я бы рада не мешать... да как быть с письмом?

— Надо отдать его непременно,— подхватила Марианна.— Но только какой же он добрый, Сергей Михайлович! Неужели он погибнет, Машурина... или в Сибирь пойдет?

— Что ж? Из Сибири-то разве не уходят? А жизнь потерять?! Кому она сладка, кому горька. Его-то жизнь — тоже не рафинад.

Машурина снова взглянула на Марианну пристально и пытливо.

— А точно, красавица вы,— воскликнула она наконец,— настоящая птичка! Я уж думаю: Алексей не идет... Не отдать ли вам письмо? Чего ждать?

— Я ему передам, будьте уверены.

Машурина подперла щеку одной рукой и долго, долго молчала.

— Скажите,— начала она...— извините меня... вы очень его любите?

— Да.

Машурина встряхнула своей тяжелой головой.

— Ну, а о том и спрашивать нечего — любит ли он вас! Я, однако, уеду, а то запоздаю, пожалуй. Вы ему скажите, что я была здесь... кланялась ему. Скажите: была Машурина. Вы моего имени не забудете? Нет? Машурина. А письмо... Постой, куда же это я его сунула?

Машурина встала, отвернулась, делая вид, что шарит у себя в карманах, а между тем быстро поднесла ко рту маленькую свернутую бумажку и проглотила ее.

— Ай, батюшки! Вот глупость-то! Неужто ж я его обронила? Обронила и есть. Ай, беда! Не нашел бы кто... Нету; нигде нету. Вот и вышло так, как желал Сергей Михайлыч!

— Поищите еще,— шепнула Марианна.

Машурина махнула рукой.

— Нет! Что искать! Потеряла!

Марианна пододвинулась к ней.

— Ну, так поцелуйте меня!

Машурина вдруг обняла Марианну и с неженской силой прижала ее к своей груди.

— Ни для кого бы я этого не сделала,— проговорила она глухо,— против совести... в первый раз! Скажите ему, чтобы он был осторожнее... И вы тоже. Смотрите! Здесь скоро всем худо будет, очень худо. Уходите-ка оба, пока... Прощайте! — прибавила она громко и резко.— Да вот еще что... скажите ему... Нет, ничего не надо. Ничего.

Машурина ушла, стукнув дверью, а Марианна осталась в раздумье посреди комнаты.

— Что это такое? — промолвила она наконец,— ведь эта женщина больше его любит, чем я его люблю! И что значат ее намеки! И отчего Соломин вдруг ушел и не возвращается?

Она начала ходить взад и вперед. Странное чувство — смесь испуга, и досады, и изумления — овладело ею. Зачем она не пошла с Неждановым? Соломин ее отговорил... но где же он сам? И что такое происходит кругом? Машурина, конечно, из участия к Нежданову не передала ей того опасного письма... Но как могла она решиться на такое непослушание? Хотела показать свое великодушие? С какого права? И почему *она*, Марианна, была так тронута этим поступком? Да и была ли она тронута? Некрасивая женщина интересуется молодым человеком... В сущности — что же в этом необыкновенного? И почему Машурина предполагает, что привязанность Марианны к Нежданову сильнее чувства долга? Может быть, Марианна вовсе не требовала этой жертвы? И что могло заключаться в том письме? Призыв к немедленной деятельности? Так что ж!!

«А Маркелов? Он в опасности... а мы-то что делаем? Маркелов щадит нас обоих, дает нам возможность быть счастливыми, не разлучает нас... что это? Тоже великодушие... или презрение?

И разве мы для этого бежали из того ненавистного дома, чтобы оставаться вместе и ворковать голубками?»

Так размышляла Марианна... и всё сильнее и сильнее разыгрывалась в ней та взволнованная досада. К тому же ее самолюбие было задето. Почему все ее оставили — *все?* Эта «толстая» женщина назвала ее птичкой, красоткой... почему не прямо куколкой? И отчего это Нежданов

отправился не один, а с Павлом? Точно ему нужен опекун! Да и какие собственно убеждения Соломина? Он вовсе не революционер! И неужели же кто-нибудь может думать, что она относится ко всему этому не серьезно?

Вот какие мысли кружились, перегоняя одна другую и путаясь, в разгоряченной голове Марианны. Стиснув губы и скрестив по-мужски руки, села она наконец возле окна и осталась опять неподвижной, не прислоняясь к спинке стула,— вся настороженная, напряженная, готовая тотчас вскочить. К Татьяне идти, работать — она не хотела; она хотела одного: ждать! И она ждала, упорно, почти злобно. От времени до времени ей самой казалось странным и непонятным ее собственное настроение... Но всё равно! Раз ей даже пришло в голову: уж не от ревности ли это всё в ней? Но, вспомнив фигуру бедной Машуриной, она только пожала плечом и махнула рукою... не в действительности, а соответственным этому жесту внутренним движением.

Марианне долго пришлось ждать; наконец она услышала стук от двух людей, взбиравшихся по лестнице. Она устремила глаза на дверь... шаги приближались. Дверь отворилась — и Нежданов, поддерживаемый под руку Павлом, появился на пороге. Он был смертельно бледен, без картуза; растрепанные волосы падали мокрыми клочьями на лоб; глаза глядели прямо, ничего не видя. Павел перевел его через комнату (ноги Нежданова двигались неверно и слабо) и посадил его на диван.

Марианна вскочила с места.

— Что это значит? Что с ним? Он болен?

Но усаживавший Нежданова Павел отвечал ей с улыбкой, в полуоборот через плечо:

— Не извольте беспокоиться: это сейчас пройдет... Это только с непривычки.

— Да что такое? — настойчиво переспросила Марианна.

— Охмелели маленько. Выпили натощак, ну, оно и того!

Марианна нагнулась к Нежданову. Он полулежал поперек дивана; голова его спустилась на грудь, глаза застилались... От него пахло водкой: он был пьян.

— Алексей! — сорвалось у ней с языка.

Он с усилием приподнял отяжелевшие веки и попытался усмехнуться.

— А! Марианна! — пролепетал он,— ты всё говорила:

о... опрос... опростелые; вот теперь я настоящий опростелый. Потому весь народ наш всегда пьян... значит...

Он умолк; потом пробурчал что-то невнятное, закрыл глаза — и заснул. Павел заботливо уложил его на диван.

— Вы не беспокойтесь, Марианна Викентьевна,— повторил он,— часика два соснет и встанет как встрепанный.

Марианна намеревалась было спросить, как это случилось, но ее расспросы удержали бы Павла, а ей хотелось быть одной... то есть ей не хотелось, чтобы Павел дольше видел его в таком безобразии перед нею. Она отошла к окну, а Павел, который тотчас всё постиг, бережно закрыл ноги Нежданова полами его кафтана, подложил ему под голову подушечку, еще раз промолвил: ничего! — и вышел на цыпочках.

Марианна оглянулась. Голова Нежданова тяжело ушла в подушку; на бледном лице замечалось недвижимое напряжение, как у трудно больного.

«Как же это случилось?» — думала она.

XXXII

А случилось это дело вот как.

Садясь на телегу к Павлу, Нежданов вдруг пришел в весьма возбужденное состояние; а как только они выехали с фабричного двора и покатили по дороге в направлении к Т...у уезду,— он начал окликать, останавливать проходивших мужиков, держать им краткие, но несообразные речи. «Что, мол, вы спите? Поднимайтесь! Пора! Долой налоги! Долой землевладельцев!» Иные мужики глядели на него с изумлением; другие шли дальше, мимо, не обращая внимания на его возгласы: они принимали его за пьяного; один — так даже, придя домой, рассказывал, что ему навстречу француз попался, который кричал «непонятно таково, картаво». У Нежданова было довольно ума, чтобы понять, как несказанно глупо и даже бессмысленно было то, что он делал; но он постепенно до того «взвинтил» себя, что уже перестал понимать, что умно и что глупо. Павел старался успокоить его, говорил, что этак, помилуйте, нельзя; что вот скоро будет большое село, первое на границе Т...го уезда — «Бабьи ключи»; что там можно будет поразведать... но Нежданов не унимался... И в то же время лицо у него было какое-то печальное, почти отчаянное. Лошадка у них была пре-

бойкая, кругленькая, с остриженной гривой на зарезистой шее; она очень хлопотливо перебирала своими крепкими ножками и всё просила поводьев, точно на дело спешила и нужных людей везла. Не доезжая «Бабьих ключей», Нежданов заметил — в стороне от дороги перед раскрытым хлебным амбаром — человек восемь мужиков; он тотчас соскочил с телеги, подбежал к ним и минут с пять говорил поспешно, с внезапными криками, наотмашь двигая руками. Слова: «За свободу! Вперед! Двинемся грудью!» — вырывались хрипло и звонко из множества других, менее понятных слов. Мужики, которые собрались перед амбаром, чтобы потолковать о том, как бы его опять насыпать — хоть для примера (он был мирской, следовательно пустой),— уставились на Нежданова и, казалось, с большим вниманием слушали его речь, но едва ли что-нибудь в толк взяли, потому что когда он, наконец, бросился от них прочь, крикнув последний раз: «Свобода!» — один из них, самый прозорливый, глубокомысленно покачав головою, промолвил: «Какой строгий!» — а другой заметил: «Знать, начальник какой!» — на что прозорливец возразил: «Известное дело — даром глотку драть не станет. Заплачут теперича наши денежки!» Сам Нежданов, взлезая на телегу и садясь возле Павла, подумал про себя: «Господи! какая чепуха! Но ведь никто из нас не знает, как именно следует бунтовать народ — может быть, оно и так? Разбирать тут некогда! Валяй! На душе скребет? Пускай!»

Въехали они на улицу. По самой середине ее, перед кабаком, толпилось довольно много народу. Павел хотел было удержать Нежданова; но уж он кувырком слетел с телеги — да с воплем: «Братцы!» в толпу... Она расступилась немного, и Нежданов пустился опять проповедовать, не глядя ни на кого — и как бы сердясь и плача. Но результат тут вышел другой, чем перед амбаром. Какой-то громадный парень с безбородым, но свирепым лицом, в коротком засаленном полушубке, высоких сапогах и бараньей шапке, подошел к Нежданову — и, с размаху треснув его по плечу: «Ладно! Молодца! — гаркнул он зычным голосом,— только стой! аль не знаешь, сухая ложка рот дерет? Подь сюда! Тут разговаривать много ловчей». Он потащил Нежданова в кабак; остальная толпа повалила за ними гурьбой. «Михеич! — крикнул парень,— ну-тка — десятикопеечную! Мою любимую стопку! Приятеля угощаю! Кто он такой, чьего

роду и племени — бес его ведает, да бояр честит лихо. Пей! — обратился он к Нежданову, подавая ему тяжелый, полный, мокрый снаружи, словно потный, стакан, — пей, коли ты точно о нашем брате печалуешься!» — «Пей!» — зашумели голоса. Нежданов схватил стопку (он был как в чаду), закричал: «За вас, ребята!» — и выпил ее разом. Ух! Он выпил ее с той же отчаянной отвагой, с какой он бросился бы на штурм батареи или на строй штыков... Но что с ним сделалось! Что-то ударило вдоль спины да по ногам, обожгло ему горло, грудь, желудок, выдавило слезы на глаза... Судорога отвращения пробежала по всему его телу, и он едва сладил с нею... Он закричал во всю голову, чтобы только чем-нибудь утишить ее. В темной комнате кабака стало вдруг жарко, и липко, и душно; что народу набралось! Нежданов начал говорить, говорить долго, кричать с ожесточеньем, с яростью, хлопать по каким-то широким деревянным ладоням, целовать какие-то осклизлые бороды... Громадный парень в полушубке тоже целовался с ним — чуть ребра ему не продавил. Но этот оказался каким-то извергом. «Перерву глотку! — рычал он, — перерву глотку всякому, кто нашего брата забижает! А не то — мякну его по макушке... Он у меня запищит! Ведь мне что: я мясником был; дела-то эти знаю хорошо!» И при том он показывал свой громадный, покрытый веснушками кулак... И вот — господи! опять кто-то заревел: «Пей!» — и Нежданов опять выпил этот гадкий яд. Но этот второй раз был ужасен! Его точно рвануло по внутренностям тупыми крючьями. Голова поплыла — пошли зеленые круги. Гам поднялся, звон... О ужас!.. Третья стопка... Неужто он и ее проглотил? Багровые носы полезли к нему, пыльные волосы, загорелые шеи, затылки, иссеченные сетками морщин. Жесткие руки хватали его. «Усердствуй! — орали неистовые голоса. — Беседуй! Позавчера такой же чужак расписывал важно. Валяй, такой-сякой!..» Земля заколыхалась под ногами Нежданова. Собственный голос казался ему чужим, как бы извне приходящим... Смерть это, что ли?

И вдруг... впечатление свежего воздуха на лице — и нет уже ни толкотни, ни красных рож, ни смрада от вина, от овчин, от дегтя, от кожи... И он опять уже сидит на телеге с Павлом, сперва порывается и кричит: «Куда? Стой! Я еще ничего не успел сказать им, надо растолковать... — а потом прибавляет: — Да ты сам, чёрт, лука-

вый человек, какие твои мнения?» А Павел ему отвечает: «Хорошо бы, кабы не было господ и зе́мли все были бы наши — чего бы лучше? — да приказа такого еще не вышло»; а сам тихонько заворачивает лошадь назад, да вдруг бьет ее вожжами по спине, да прочь во всю прыть от того гвалта и гула... да на фабрику...

Дремлет Нежданов — и покачивается он, а ветер ему приятно дует в лицо и не дает возникать дурным мыслям...

Только досадно ему, что как же это ему не дали высказаться... И опять ветер ласкает его воспаленное лицо.

А там мгновенное явление Марианны, мгновенное, жгучее чувство позора — и сон, глубокий, мертвый сон...

Всё это рассказал Павел потом Соломину. Не скрыл он также и того, что сам не помешал Нежданову выпить... а то так-таки не вывел бы его из кружала. Другие бы его не пустили.

— Ну, а как заслабел-то он очень, я и попросил с поклонами: «Господа, мол, честные, отпустите паренька; видите, млад больно...» Ну и отпустили; только полтинник магарыча, говорят, подавай! Я так и дал.

— И хорошо сделал,— похвалил его Соломин.

Нежданов спал; а Марианна сидела под окном и глядела в палисадник. И странное дело! Нехорошие, почти злые чувства и мысли, волновавшие ее до прибытия Нежданова с Павлом, покинули ее разом; сам Нежданов нисколько не был ни противен ей, ни гадок: она жалела его. Она знала очень хорошо, что он не развратник и не пьяница — и уже думала о том, что сказать ему, когда он проснется, что-нибудь дружелюбное, чтобы он не слишком совестился и огорчался. «Надо так сделать; надо, чтобы он сам рассказал, как эта беда стряслась над ним».

Она не волновалась; но ей было грустно... безотрадно грустно. На нее как будто повеяло настоящим запахом того мира, куда она стремилась... и содрогнулась она от этой грубости и темноты. Какому Молоху собиралась она принести себя в жертву?

Однако — нет! Быть не может! Это — так; это случайно и сейчас пройдет. Мгновенное впечатление, которое потому только ее поразило, что было слишком неожиданно. Она встала, подошла к дивану, на котором лежал Нежданов, утерла платком его бледный, даже во сне мучительно стянутый лоб, откинула назад его волосы...

Ей снова стало жалко его; так мать жалеет своего больного ребенка. Но глядеть на него ей было немного

жутко — и она тихонько ушла в свою комнату, оставив дверь незапертою.

Никакой работы не взяла она в руки; и села опять — и опять нашли на нее думы. Она чувствовала, как время таяло, как минута исчезала за минутой, и ей было даже приятно это чувствовать, и сердце у ней билось — и она опять принялась ждать чего-то.

Куда это Соломин делся?

Дверь тихонько скрипнула — и Татьяна вошла в комнату.

— Что вам? — спросила Марианна почти с досадой.

— Марианна Викентьевна,— начала Татьяна вполголоса.— Вот что. Вы не огорчайтесь; потому дело житейское; и еще, слава богу...

— Я нисколько не огорчаюсь, Татьяна Осиповна,— перебила ее Марианна.— Алексей Дмитрич не совсем здоров, важность невелика!..

— Ну и чудесно! А то я думаю: не идет моя Марианна Викентьевна; думаю: что с ней? Но я все-таки не пошла бы к вам, потому в этом разе первое правило: не трожь, не ворошь! Только тут явился к нам на фабрику какой-то — кто его знает? Маленький такой да хроменький: вынь да положь ему Алексея Дмитрича! И что за чудеса: сегодня утром эта женка его спрашивала... а теперь вот этот хромой. А коли, говорит, Алексея Дмитрича нет,— подавай ему Василья Федотыча! Не пойду без того, говорит; потому, говорит, дело оченно важное. Мы его гнать, как ту женку. Василия-то Федотыча точно нет... отлучился; а тот-то, хромой: — Не пойду, говорит, буду ждать хотя до ночи... Так по двору и ходит. Вот подите сюда, в коридорчик; увидеть его из окошка можете... Не узнаете ли, что за кавалер такой.

Марианна последовала за Татьяной — ей пришлось пройти мимо Нежданова, и она опять заметила болезненно нахмуренный лоб и опять провела по нем платком. Сквозь пыльное стекло окошка она увидела посетителя, о котором говорила Татьяна. Он был ей незнаком. Но в ту же минуту из-за угла дома показался Соломин.

Маленький хромой человечек быстро подошел к нему, протянул ему руку. Соломин взял ее. Он, очевидно, знал этого человека. Оба скрылись...

Но вот уже слышатся их шаги по лестнице... Они идут сюда...

Марианна проворно вернулась в свою комнату — и

остановилась посередине, с трудом переводя дыхание. Ей было страшно... чего? Она сама не знала.

Голова Соломина показалась в дверях.

— Марианна Викентьевна, позвольте войти к вам. Я привел человека, которого вам непременно нужно видеть.

Марианна только головой кивнула в ответ, и вслед за Соломиным явился — Паклин.

XXXIII

— Я друг вашего супруга,— промолвил он, низко склоняясь перед Марианной и как бы стараясь скрыть от нее свое перетревоженное, перепуганное лицо; я также друг Василия Федотыча. Алексей Дмитрич спит — он, я слышу, нездоров; а я, к сожаленью, привез дурные вести, которые я уже успел частью сообщить Василию Федотычу и вследствие которых нужно принять некоторые решительные меры.

Голос Паклина беспрестанно обрывался, как у человека, которого сушит и мучит жажда. Вести, которые он привез, были действительно очень дурны. Маркелова схватили крестьяне и препроводили в город. Дурковатый приказчик выдал Голушкина: его арестовали. Он в свою очередь всё и всех выдает, желает перейти в православие, жертвует в гимназию портрет митрополита Филарета и препроводил уже пять тысяч рублей для раздачи «увечным воинам». Нет никакого сомнения, что он выдал Нежданова; полиция может ежеминутно нагрянуть на фабрику. Василию Федотычу тоже грозит опасность.

— Что касается до меня,— прибавил Паклин,— то я удивляюсь, как я еще расхаживаю на свободе; хотя ведь собственно политикой я никогда не занимался и ни в каких планах не участвовал! Я воспользовался забывчивостью или оплошностью полиции, чтобы предуведомить вас и сообразить, какие можно употребить средства... к удалению всяких неприятностей.

Марианна выслушала Паклина до конца. Она не испугалась — она даже осталась спокойною... Но ведь точно: надобно же было что-нибудь предпринять! Первым ее движением было обратить глаза на Соломина.

Он тоже казался спокойным; только вокруг губ чуть-чуть шевелились мускулы — и это была не его обычная улыбка.

Соломин понял значение Марианнина взгляда: она ждала, что он скажет, чтобы так поступить.

— Дело действительно довольно щекотливое,—начал он,— Нежданову, я полагаю, не худо на время скрыться. Кстати, каким манером узнали вы, что он здесь, г-н Паклин?

Паклин махнул рукою.

— Один индивидуй сказал. Видел его, когда он расхаживал по окрестностям и проповедовал. Ну и выследил его, хоть и не с дурной целью. Он из сочувствующих. Извините,— прибавил он, обратившись к Марианне,— но, право же, друг наш Нежданов был очень... очень неосторожен.

— Упрекать его теперь не к чему,— заговорил опять Соломин.— Жаль, что с ним посоветоваться нельзя; но до завтра болезнь его пройдет, а полиция не так быстра, как вы предполагаете. Ведь и вам, Марианна Викентьевна, придется с ним удалиться.

— Непременно,— глухо, но твердо отвечала Марианна.

— Да! — сказал Соломин.— Надо будет подумать; надо будет поискать: где и как?

— Позвольте изложить вам одну мысль,— начал Паклин,— мысль эта пришла мне в голову, когда я сюда ехал. Спешу заметить, что извозчика из города я отпустил за версту отсюда.

— Какая эта мысль? — спросил Соломин.

— Вот что. Дайте мне сейчас лошадей... и я поскачу к Сипягиным.

— К Сипягиным! — повторила Марианна.— Зачем?

— А вот увидите.

— Да разве вы их знаете?

— Ни малейше! Но послушайте. Обсудите мою мысль хорошенько. Она мне кажется просто гениальной. Ведь Маркелов — зять Сипягина, брат его жены. Не так ли? Неужели же этот барин ничего не сделает, чтобы спасти его? И к тому же — сам Нежданов! Положим, что г-н Сипягин сердит на него... Но ведь всё же Нежданов стал его родственником, женившись на вас. И опасность, которая висит над головою нашего друга...

— Я не замужем,— заметила Марианна.

Паклин даже вздрогнул.

— Как?! Не успели в течение всего этого времени! Ну, ничего,— прибавил он,— соврать можно. Всё равно:

вы теперь вступите же в брак. Право, другого ничего не придумаешь! Обратите внимание на то, что до сих пор Сипягин не решился вас преследовать. Следовательно, в нем есть некоторое... великодушие. Я вижу, вам это выражение не нравится — скажем: некоторая чванливость. Отчего же нам ею не воспользоваться и в данном случае? Посудите!

Марианна подняла голову и провела рукой по волосам.

— Вы можете пользоваться чем вам угодно для Маркелова, г-н Паклин... или для вас самих; но мы с Алексеем не желаем ни заступничества, ни покровительства г-на Сипягина. Мы покинули его дом не для того, чтобы стучаться в его дверь просителями. Ни до великодушия, ни до чванливости г-на Сипягина или его жены нам нет никакого дела!

— Это чувства весьма похвальные,— отвечал Паклин (а сам подумал: «Вишь ты! как водой меня окатила!»),— хотя, с другой стороны, если сообразить... Впрочем, я готов повиноваться. Буду хлопотать о Маркелове, об одном нашем добром Маркелове! Замечу только, что он ему родственник не по крови, а по жене — между тем как вы...

— Г-н Паклин, прошу вас!

— Слушаю... слушаю! Только не могу не выразить своего сожаления, потому что Сипягин человек очень сильный.

— А за себя вы не боитесь? — спросил Соломин.

Паклин выставил грудь.

— В подобные минуты о себе не следует думать! — промолвил он гордо.— А между тем он именно думал о себе. Он хотел (бедненький, слабенький!) забежать, как говорится, зайцем. В силу оказанной услуги Сипягин мог, если бы предстала в том нужда, замолвить о нем слово. Ведь и он,— как там ни толкуй! — был замешан,— слышал... и даже сам болтал!

— Я нахожу, что ваша мысль недурна,— промолвил наконец Соломин,— хоть собственно на успех надеюсь мало. Во всяком случае, попытаться можно. Испортить — вы ничего не испортите.

— Конечно, ничего. Ну, положим самое худшее: прогонят меня взáшеи... Что за беда!

— Беды в том точно нет никакой... («Merci»,— подумал Паклин, а Соломин продолжал.) Который-то час?

Пятый. Времени терять нечего. Лошади вам сейчас будут, Павел!

Но на место Павла на пороге комнаты показался Нежданов. Он пошатывался на ногах, придерживаясь одной рукой за притолку и, бессильно раскрыв губы, глядел помутившимся взором. Он ничего не понимал.

Паклин первый подошел к нему.

— Алеша! — воскликнул он,— ведь ты меня признаёшь?

Нежданов посмотрел на него, медленно мигая.

— Паклин? — проговорил он наконец.

— Да, да; это я. Ты нездоров?

— Да... Я нездоров. Но... зачем ты здесь?

— Зачем я...— Но в эту минуту Марианна тихонько тронула Паклина за локоть. Он оглянулся и увидел, что она ему делает знаки...— Ах, да! — пробормотал он.— Да... точно! Вот видишь ли, Алеша,— прибавил он громко,— я приехал сюда по одному важному делу — и сейчас отправляюсь дальше... Тебе Соломин всё расскажет, а также Марианна... Марианна Викентьевна. Они оба вполне одобряют мое намерение. Дело идет обо всех нас, то есть нет, нет,— подхватил он в ответ на взгляд и движение Марианны...— Дело идет о Маркелове; о нашем общем приятеле Маркелове— о нем одном. Но теперь прощай! Минута каждая дорога, прощай, друг... Мы еще увидимся. Василий Федотыч, угодно вам пойти со мною распорядиться насчет лошадей?

— Извольте. Марианна, я хотел было сказать вам: будьте тверды! — да это не нужно. Вы — настоящая!

— О да! О да! — поддакнул Паклин.— Вы римлянка времен Катона! Утического Катона! Однако пойдемте, Василий Федотыч, пойдемте!

— Успеете,— с ленивой усмешкой промолвил Соломин.

Нежданов посторонился немного, чтобы пропустить их обоих... но в глазах его было всё то же непонимание. Потом он шагнул раза два — и тихо сел на стул, лицом к Марианне.

— Алексей,— сказала она ему,— всё открылось; Маркелова схватили крестьяне, которых он пытался поднять; он сидит арестованным в городе, так же как и тот купец, с которым ты обедал; вероятно, и за нами скоро приедет полиция. А Паклин отправился к Сипягину.

— Зачем? — прошептал едва слышно Нежданов. Но

глаза его просветлели — лицо приняло обычное выражение. Хмель мгновенно соскочил с него.

— А затем, чтобы попытаться, не заступится ли он...

Нежданов выпрямился...

— За нас?

— Нет; за Маркелова. Он хотел было просить и за нас... да я не позволила. Хорошо я сделала, Алексей?

— Хорошо ли? — промолвил Нежданов и, не поднимаясь со стула, протянул к ней руки.— Хорошо ли? — повторил он и, приблизив ее к себе и прижавшись лицом к ее стану, внезапно залился слезами.

— Что с тобой? Что с тобой? — воскликнула Марианна.— Как в тот раз, когда он пал перед ней на колени, замирая и задыхаясь от внезапно нахлынувшей страсти, она и теперь положила обе свои руки на его трепетавшую голову. Но что *она* теперь чувствовала — было уже совсем не то, что тогда. Тогда она отдавалась ему — она покорялась — и только ждала, что он ей скажет. Теперь она жалела его — и только думала о том, как бы его успокоить.

— Что с тобой? — повторила она.— Зачем ты плачешь? Неужели оттого, что пришел домой в немного... странном виде? Быть не может! Или тебе жаль Маркелова — и страшно за меня, за себя? Или наших надежд тебе жаль? Не ожидал же ты, что всё пойдет как по маслу!

Нежданов вдруг приподнял голову.

— Нет, Марианна,— проговорил он, как бы оборвав свои рыдания,— не страшно мне ни за тебя, ни за себя... А точно... мне жаль...

— Кого?

— Тебя, Марианна! Мне жаль, что ты соединила свою судьбу с человеком, который этого не стоит.

— Почему так?

— А хоть бы потому, что этот человек в такую минуту может плакать!

— Это не ты плачешь; плачут твои нервы.

— Мои нервы и я — всё едино! Ну послушай, Марианна, посмотри мне в глаза: неужели ты можешь мне теперь сказать, что не раскаиваешься...

— В чем?

— В том, что ты ушла со мною?

— Нет!

— И ты пойдешь со мною дальше? Всюду?

— Да!

— Да? Марианна... да?

— Да. Я дала тебе руку, и пока ты будешь тем, кого я полюбила,— я ее не отниму.

Нежданов продолжал сидеть на стуле; Марианна стояла перед ним. Его руки лежали вокруг ее стана, ее руки опирались об его плечи. «Да; нет,— думал Нежданов,— а между тем, бывало, прежде, когда мне случалось держать ее в своих объятиях — вот так, как теперь,— ее тело оставалось по крайней мере неподвижным; а теперь я чувствую: оно тихо и, быть может, против ее воли бежит от меня прочь!»

Он разжал свои руки... И точно: Марианна чуть заметно отодвинулась назад.

— Вот что! — промолвил он громко.— Ведь если мы должны бежать... прежде чем полиция нас накрыла... я думаю, не худо бы нам сперва обвенчаться. В другом месте, пожалуй, такого податливого попа Зосиму не найдешь!

— Я готова,— промолвила Марианна.

Нежданов внимательно посмотрел на нее.

— Римлянка! — проговорил он с нехорошей полуулыбкой.— Чувство долга!

Марианна пожала плечом.

— Надо будет сказать Соломину.

— Да... Соломину...— протянул Нежданов.— Но ведь и ему, чай, угрожает опасность. Полиция и его возьмет. Мне кажется, он участвовал и знал еще больше моего.

— Это мне неизвестно,— отвечала Марианна.— Он никогда не говорит о самом себе.

«Не то, что я! — подумал Нежданов.— Вот что она хотела сказать».— Соломин... Соломин! — прибавил он после долгого молчания.— Вот, Марианна, я бы не жалел тебя, если б человек, с которым ты связала навсегда свою жизнь, был такой же, как Соломин... или был сам Соломин.

Марианна в свою очередь внимательно посмотрела на Нежданова.

— Ты пе имел права это сказать,— промолвила она наконец.

— Не имел права! В каком смысле мне понять эти слова? В том ли, что ты *меня* любишь, или в том, что я не должен был вообще касаться этого вопроса?

— Ты не имел права,— повторила Марианна.

Нежданов понурил голову.

— Марианна! — произнес он несколько изменившимся голосом.

— Что?

— Если б я теперь... если б я сделал тебе тот вопрос, ты знаешь!.. Нет, я ничего у тебя не спрошу... прощай.

Он встал и вышел; Марианна его не удерживала. Нежданов сел на диван и закрыл лицо руками. Он пугался своих собственных мыслей и старался не размышлять. Он чувствовал одно: какая-то темная, подземная рука ухватилась за самый корень его существования — и уже не выпустит его. Он знал, что то хорошее, дорогое существо, которое осталось в соседней комнате, к нему не выйдет; а войти к нему он не посмеет. Да и к чему? Что сказать?

Быстрые, твердые шаги заставили его раскрыть глаза. Соломин переходил через его комнату и, постучавшись в дверь Марианны, вошел к ней.

— Честь и место! — шепнул горьким шёпотом Нежданов.

XXXIV

Было уже десять часов вечера, и в гостиной села Аржаного Сипягин, его жена и Калломейцев играли в карты, когда вошедший лакей доложил о приезде какого-то незнакомца, г. Паклина, который желал видеть Бориса Андреича по самонужнейшему и важнейшему делу.

— Так поздно! — удивилась Валентина Михайловна.

— Как? — спросил Борис Андреич и наморщил свой красивый нос.— Как ты сказал фамилию этого господина?

— Они сказали: Паклин-с.

— Паклин! — воскликнул Калломейцев.— Прямо деревенское имя.— Паклин... Соломин... De vrais noms ruraux, hein? [1]

— И ты говоришь,— продолжал Борис Андреич, обращаясь к лакею всё с тем же наморщенным носом,— что дело его важное, нужное?

— Они говорят-с.

— Гм... Какой-нибудь нищий или интриган. («Или то и другое вместе»,— ввернул Калломейцев.) Очень может быть. Попроси его в кабинет.— Борис Андреич

[1] Настоящие мужицкие фамилии, а? *(франц.)*.

встал.— Pardon, ma bonne[1]. Сыграйте пока в экарте. Или подождите меня... я скоро вернусь.

— Nous causerons... allez! [2] — промолвил Калломейцев.

Когда Сипягин вошел к себе в кабинет и увидал мизерную, тщедушную фигурку Паклина, смиренно прижавшуюся в простенок между камином и дверью, им овладело то истинно министерское чувство высокомерной жалости и гадливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду. «Господи! Какая несчастная пигалица! — подумал он,— да еще, кажется, хромает!»

— Садитесь,— промолвил он громко, пуская в ход свои благосклоннейшие баритонные ноты, приятно подергивая назад закинутой головкой и садясь прежде гостя.— Вы, я полагаю, устали с дороги; садитесь и объяснитесь: какое такое важное дело привело вас ко мне столь поздно?

— Я, ваше превосходительство,— начал Паклин, осторожно опускаясь на кресло,— позволил себе явиться к вам...

— Погодите, погодите,— перебил его Сипягин.— Я вас вижу не в первый раз. Я никогда не забываю ни одного лица, с которым мне случилось встретиться; я помню всё. А... а... а... Собственно... где я вас встретил?

— Вы, ваше превосходительство, не ошибаетесь. Я имел честь встретиться с вами в Петербурге, у одного человека, который... который с тех пор... к сожалению... возбудил ваше негодование...

Сипягин быстро поднялся с кресла.

— У г-на Нежданова! Я вспоминаю теперь. Уж не от него ли вы приехали?

— Никак нет, ваше превосходительство; напротив... я...

Сипягин снова сел.

— И хорошо сделали. Потому что я в таком случае попросил бы вас немедленно удалиться. Никакого посредника между мною и г-м Неждановым я допустить не могу. Г-н Нежданов нанес мне одно из тех оскорблений, которые не забываются... Я выше мести; но ни о нем я не хочу ничего знать, ни о той девице — впрочем, более развращенной умом, нежели сердцем (эту фразу Сипягин повторял

---

[1] Извини, моя милая *(франц.)*.
[2] Мы побеседуем... идите! *(франц.)*.

чуть не в тридцатый раз после бегства Марианны),— которая решилась покинуть кров дома, ее приютившего, чтобы сделаться любовницей безродного проходимца! Довольно с них того, что я их забываю!

При этом последнем слове Сипягин двинул кистью руки прочь от себя, снизу вверх.

— Я забываю их, милостивый государь!

— Ваше превосходительство, я уже доложил вам, что я явился сюда не от их имени; хотя все-таки могу между прочим сообщить вашему превосходительству, что они уже сочетались узами законного брака... («А! всё равно! — подумал Паклин,— я сказал, что совру... вот и соврал. Куда ни шло!»)

Сипягин поерзал затылком по спинке кресла, вправо и влево.

— Это меня нисколько не интересует, милостивый государь. Одним глупым браком на свете больше — вот и всё. Но какое же то самонужнейшее дело, которому я обязан удовольствием вашего посещения?

«А! проклятый директор департамента! — снова подумал Паклин.— Будет тебе ломаться, английская морда!»

— Брат вашей супруги,— промолвил он громко,— г-н Маркелов схвачен мужиками, которых вздумал возмущать,— и сидит взаперти в губернаторском доме.

Сипягин вскочил во второй раз.

— Что... что вы сказали? — залепетал он уж вовсе не министерским баритоном, а так, какою-то гортанной дрянью.

— Я сказал, что ваш зять схвачен и сидит на цепи. Я, как только узнал об этом, взял лошадей и приехал вас предуведомить. Я полагал, что могу оказать этим некоторую услугу и вам и тому несчастному, которого вы можете спасти!

— Очень вам благодарен,— проговорил всё тем же слабым голосом Сипягин— и, с размаху ударив ладонью по колокольчику в виде гриба, наполнил весь дом металлическим звоном стального тембра.— Очень вам благодарен,— повторил он уже более резко,— но знайте: человек, решившийся попрать все законы божеские и человеческие, будь он сто раз мне родственник, в моих глазах не есть несчастный: он — преступник!

Лакей вскочил в кабинет.

— Изволите приказать?

— Карету! Сию минуту карету четверней! Я еду в го-

род. Филипп и Степан со мною! — Лакей выскочил.— Да, сударь, мой зять есть преступник; и в город еду я не затем, чтобы его спасать! О нет!

— Но, ваше превосходительство...

— Таковы мои правила, милостивый государь; и прошу меня возражениями не утруждать!

Сипягин принялся ходить взад и вперед по кабинету а Паклин даже глаза вытаращил. «Фу ты, чёрт! — думал он,— да ведь про тебя говорили, что ты либерал?! А ты лев рыкающий!»

Дверь распахнулась — и проворными шагами вошли: сперва Валентина Михайловна, а за нею Калломейцев.

— Что это значит, Борис? Ты велел карету заложить? Ты едешь в город? Что случилось?

Сипягин приблизился к жене — и взял ее за правую руку, между локтем и кистью.

— Il faut vous armer de courage, ma chère [1]. Вашего брата арестовали.

— Моего брата? Сережу? за что?

— Он проповедовал мужикам социалистические теории! (Калломейцев слабо взвизгнул.) Да! Он проповедовал им революцию, он пропагандировал! Они его схватили — и выдали. Теперь он сидит... в городе.

— Безумец! Но кто это сказал?..

— Вот господин... господин... как бишь его?.. Господин Конопатин привез эту весть.

Валентина Михайловна взглянула на Паклина. Тот уныло поклонился («А баба какая знатная!» — подумалось ему. Даже в подобные трудные минуты... ах, как был доступен Паклин влиянию женской красоты!)

— И ты хочешь ехать в город — так поздно?

— Я еще застану губернатора на ногах.

— Я всегда предсказывал, что это так должно было кончиться,— вмешался Калломейцев.— Это не могло быть иначе! Но какие славные русские наши мужички! Чудо! Pardon, madame, c'est votre frère! Mais la vérité avant tout! [2]

— Неужели ты в самом деле хочешь ехать, Боря? — спросила Валентина Михайловна.

— Я убежден также,— продолжал Калломейцев,—

---

[1] Вам нужно вооружиться мужеством, моя дорогая *(франц.)*.

[2] Простите, сударыня, это ваш брат! Но истина прежде всего *(франц.)*.

что и тот, тот *учитель*, г-н Нежданов, тут же замешан. J'en mettrais ma main au feu [1]. Это всё одна шайка! Его не схватили? Вы не знаете?

Сипягин опять двинул кистью руки.

— Не знаю — и не желаю знать! Кстати,— прибавил он, обращаясь к жене,— il paraît, qu'ils sont mariés [2].

— Кто это сказал? Тот же господин? — Валентина Михайловна опять посмотрела на Паклина, но прищурилась на этот раз.

— Да; тот же.

— В таком случае,— подхватил Калломейцев,— он непременно знает, где они. Вы знаете, где они? Знаете, где они? А? А? А? Знаете? — Калломейцев начал шмыгать перед Паклиным, как бы желая преградить ему дорогу, хотя тот и не изъявлял никакого поползновения бежать.— Да говорите же! Отвечайте! А? А? Знаете? Знаете?

— Хоть бы знал-с,— промолвил с досадой Паклин,— в нем желчь наконец шевельнулась и глазки его заблистали,— хоть бы знал-с, вам бы не сказал-с.

— О... о... о...— пробормотал Калломейцев.— Слышите... Слышите! Да этот тоже — этот тоже, должно быть, из их банды!

— Карета готова! — гаркнул вошедший лакей.

Сипягин схватил свою шляпу красивым, бойким жестом; но Валентина Михайловна так настойчиво стала его упрашивать остаться до завтрашнего утра; она представила ему такие убедительные доводы: и ночь-то на дворе, и в городе все будут спать, и он только расстроит свои нервы и простудиться может,— что Сипягин, наконец, согласился с нею; воскликнул:

— Повинуюсь! — и таким же красивым, но уже не бойким жестом поставил шляпу на стол.

— Карету отложить! — скомандовал он лакею,— но завтра ровно в шесть часов утра чтобы она была готова! Слышишь? Ступай! Стой! Экипаж господина... господина гостя отослать! Извозчику заплатить! А? Вы, кажется, что-то говорите, г-н Конопатин? Я возьму вас завтра с собою, г-н Конопатин! Что вы говорите? Я не слышу... Вы ведь пьете водку? Подай водки г-ну Конопатину! Нет? Не пьете? В таком случае... Федор! отведи их в зеленую комнату! Спокойной ночи, г-н Коно...

---

[1] Я готов руку положить в огонь *(франц.)*. *Соответствует русскому*: Я дам голову на отсечение.

[2] говорят, они поженились *(франц.)*.

Паклин вышел, наконец, из терпения.

— Паклин! — завопил он.— Моя фамилия: Паклин!

— Да... да; ну, да это всё равно. Похоже, знаете. Какой у вас, однако, громкий голос при вашей сухощавой комплекции! До завтра, г-н... Паклин... *Так* я теперь сказал? Siméon, vous viendrez avec nous? [1]

— Je crois bien! [2]

И Паклина отвели в зеленую комнату. И даже заперли его. Ложась спать, он слышал, как щелкнул ключ в звонком английском замке. Сильно он себя выбранил за свою «гениальную» мысль — и спал очень дурно.

На другое утро рано, в половине шестого, его пришли разбудить. Подали ему кофе; пока он пил — лакей, с пестрым аксельбантом на плече, ждал, держа поднос на руках и переминаясь ногами: «Поспешай, мол,— господа дожидаются». Потом его повели вниз. Карета уже стояла перед домом. Тут же стояла и коляска Калломейцева. Сипягин появился на крыльце, в камлотовой шинели с круглым воротником. Таких шинелей никто уже давно не носил, за исключением одного очень сановного лица, которому Сипягин старался прислуживать и подражать. В важных, официальных случаях он потому и надевал подобную шинель.

Сипягин довольно приветливо раскланялся с Паклиным — и, энергическим движением руки указав ему на карету, попросил его сесть в нее.— Г-н Паклин, вы едете со мною, г-н Паклин! Положите на кóзла саквояж г-на Паклина! Я везу г-на Паклина,— говорил он, напирая на слово: Паклин! — и на букву *а*! «Ты, мол, имеешь такое прозвище, да еще обижаешься, когда тебе его иначат? — Так вот же тебе! Кушай! Подавись!» Г-н Паклин! Паклин!! Звучно раздавалось злосчастное имя в свежем утреннем воздухе. Он был так свеж, что заставил вышедшего за Сипягиным Калломейцева несколько раз произнести по-французски: Brrr! brrr! brrr! — и плотнее завернуться в шинель, садясь в свою щегольскую коляску с откинутым верхом. (Бедный его друг, князь Михаил Сербский Обренович, увидев ее, купил себе точно такую же у Бендера... «Vous savez, Binder, le grand carrossier des Champs Elysées?»[3]) Из-за полураскрытых ставен

---

[1] Семен, вы поедете с нами? *(франц.)*.

[2] Разумеется! *(франц.)*.

[3] «Знаете, Бендер, знаменитый каретный мастер с Елисейских полей?» *(франц.)*.

окна в спальне выглядывала, «в чепце, в ночном платочке», Валентина Михайловна.

Сипягин сел, сделал ей ручкой.

— Вам ловко, г-н Паклин? Трогай!

— Je vous recommande mon frère! épargnez-le! [1] — послышался голос Валентины Михайловны.

— Soyez tranquille! [2] — воскликнул Калломейцев, бойко взглянув на нее из-под околыша какой-то им самим сочиненной дорожной фуражки с кокардой...— C'est surtout l'autre qu'il faut pincer! [3]

— Трогай! — повторил Сипягин.— Г-н Паклин, вам не холодно? Трогай!

Экипажи покатились.

Первые десять минут и Сипягин и Паклин безмолвствовали. Злополучный Силушка, в своем неказистом пальтишке и помятой фуражке, казался еще мизернее на темно-синем фоне богатой шелковой материи, которою была обита внутренность кареты. Он молча оглядывал и тонкие голубые шторы, быстро взвивавшиеся от одного прикосновения пальца к пружине, и полость из нежнейшей белой бараньей шерсти в ногах, и вделанный спереди ящик красного дерева с выдвижной дощечкой для письма и даже полочкой для книг (Борис Андреич не то что любил, а желал, чтобы другие думали, что он любит работать в карете, подобно Тьеру, во время путешествия). Паклин чувствовал робость. Сипягин раза два взглянул на него через выбритую до лоска щеку и,— с медлительной важностью вынув из бокового кармана серебряную сигарочницу с кудрявым вензелем славянской вязью,— предложил... действительно предложил ему сигару, едва держа ее между вторым и третьим пальцем руки, облеченной в желтую английскую перчатку из собачьей кожи.

— Я не курю,— пробормотал Паклин.

— А! — отвечал Сипягин и сам закурил сигару, которая оказалась превосходнейшей регалией.

— Я должен вам сказать... любезный г-н Паклин,— начал он, вежливо попыхивая и испуская тонкие круглые струйки благовонного дыма...— что я... в сущности... очень вам... благодарен... Я мог показаться... вам вчера... несколько резким... что не в моем... характере (Сипягин с

---

[1] Я вам поручаю своего брата! Пощадите его! *(франц.)*.

[2] Будьте покойны! *(франц.)*.

[3] Главное, другого-то надо схватить! *(франц.)*.

намерением неправильно рассекал свою речь). Смею вас в этом уверить. Но, г-н Паклин! войдите же и вы в мое... положение (Сипягин перекатил сигару из одного угла рта в другой). Место, которое я занимаю, ставит меня... так сказать... на виду; и вдруг... брат моей жены... компрометирует и себя... и меня таким невероятным образом! А? Г-н Паклин! Вы, может быть, думаете: это — ничего?

— Я этого не думаю, ваше превосходительство.

— Вы не знаете, за что собственно... и где именно его арестовали?

— Слышал я, что в Т...м уезде.

— От кого вы это слышали?

— От... от одного человека.

— Конечно, не от птицы. Но от какого человека?

— От... от одного помощника правителя дел канцелярии губернатора...

— Как его зовут?

— Правителя?

— Нет, помощника!

— Его... его зовут Ульяшевичем. Он очень хороший чиновник, ваше превосходительство. Узнав об этом происшествии, я тотчас поспешил к вам.

— Ну да, ну да! И я повторяю, что весьма вам благодарен. Но какое безумие! Ведь это безумие? а? Г-н Паклин, а?

— Совершенное безумие! — воскликнул Паклин — а у самого по спине теплой змейкой заструился пот.— Это значит,— продолжал он,— не понимать вовсе русского мужика. У г-на Маркелова, сколько я его знаю, сердце очень доброе и благородное; но русского мужика он никогда не понимал (Паклин глянул на Сипягина, который, слегка повернувшись к нему, обдавал его холодным, но не враждебным взором).— Русского мужика даже в бунт можно вовлечь не иначе, как пользуясь его преданностью высшей власти, царскому роду. Должно выдумать какую-нибудь легенду — вспомните Лжедимитрия,— показать какие-нибудь царские знаки на груди, выжженные раскаленными пятаками.

— Да, да, как Пугачев,— перебил Сипягин таким тоном, как будто хотел сказать: «Мы историю еще не забыли... не расписывай!» — и прибавив: — Это безумие! Это безумие! — погрузился в созерцание быстрой струйки дыма, поднимавшейся с конца сигары.

— Ваше превосходительство! — заметил осмелив-

шийся Паклин,— я сейчас сказал вам, что я не курю... но это неправда — я курю; и сигара ваша так восхитительно пахнет...

— А? Что? что такое? — проговорил Сипягин, как бы просыпаясь; и, не давши Паклину повторить сказанное, чем самым, несомненно, доказал, что очень хорошо слышал его слова, но сделал учащенные вопросы единственно для важности,— подал ему раскрытую сигарочницу.

Паклин осторожно и благодарно закурил.

«Вот, кажется, удобная минута»,— подумал он; но Сипягин его предупредил.

— Вы, помнится, говорили мне также,— произнес он небрежным голосом, перерывая самого себя, рассматривая свою сигару, передвигая шляпу с затылка на лоб,— вы говорили... а? вы говорили о том... о том вашем приятеле, который женился на моей... родственнице. Вы их видаете? Они недалеко поселились отсюда?

(«Эге! — подумал Паклин,— Сила, берегись!»)

— Я их видел всего раз, ваше превосходительство! Они живут действительно... не в слишком далеком расстоянии отсюда.

— Вы, конечно, понимаете,— продолжал тем же манером Сипягин,— что я не могу более серьезно интересоваться, как я уже объяснил вам, ни той легкомысленной девицей, ни вашим приятелем. Боже мой! предрассудков у меня нет, но ведь согласитесь: это уже из рук вон. Глупо, знаете. Впрочем, я полагаю, их соединила более политика... (политика!! — повторил он и пожал плечами) — чем какое-либо иное чувство.

— И я так полагаю, ваше превосходительство!

— Да, г-н Нежданов был совсем красный. Отдаю ему справедливость: он своих мнений не скрывал.

— Нежданов,— рискнул Паклин,— быть может, увлекался; но сердце в нем...

— Доброе,— подхватил Сипягин,— конечно... конечно, как у Маркелова. У всех у них сердца добрые. Вероятно, и он участвовал; и будет тоже завлечен... Придется еще заступаться за него!

Паклин сложил руки перед грудью.

— Ах, да, да, ваше превосходительство! Окажите ему ваше покровительство! Право... он стоит... стоит вашего участия.

Сипягин хмыкнул.

— *Вы* полагаете?

— Наконец, если не для него... то для вашей племянницы; для его супруги! («Боже мой! Боже мой! — думал Паклин,— что это я вру!»)

Сипягин прищурился.

— Вы, я вижу, очень преданный друг. Это хорошо; это похвально, молодой человек. Итак, вы говорите, они живут здесь близко?

— Да, ваше превосходительство; в одном большом заведении...— Тут Паклин прикусил себе язык.

— Те, те, те, те... у Соломина! Вот где! Впрочем, я это знал; мне это сказывали, мне говорили... Да. (Г-н Сипягин нисколько этого не знал и никто об этом ему не говорил; но, вспомнив посещение Соломина, ночные их свидания, он запустил эту удочку... И Паклин разом пошел на нее.)

— Коли вы это знаете...— начал он и вторично прикусил язык. Но уже было поздно... По одному взгляду, брошенному на него Сипягиным, он понял, что тот всё время играл с ним, как кошка с мышью.

— Впрочем, ваше превосходительство,— залепетал было несчастный,— я должен сказать, что собственно ничего не знаю...

— Да я вас не расспрашиваю, помилуйте! Что вы?! За кого вы меня и себя принимаете? — надменно промолвил Сипягин и немедленно ушел в свою министерскую высь.

А Паклин снова почувствовал себя мизерным, маленьким, пойманным... До того мгновения он, куря, клал свою сигару в угол рта, не обращенный к Сипягину, и пускал дым тихонько, в сторону; тут он совсем ее вынул изо рта и совсем перестал курить.

«Боже мой! — внутренно простонал он, а горячий пот обильнее прежнего заструился по его членам.— Что это я сделал! Я выдал всё и всех... Меня одурачили, меня подкупили хорошей сигарой!!. Я доносчик... и как теперь помочь беде! Господи!»

Помочь беде было невозможно. Сипягин начал засыпать достойно, важно, тоже как министр, завернувшись в свою «степенную» шинель... К тому же и четверти часа не прошло, как оба экипажа остановились перед губернаторским домом.

XXXV

Губернатор города С... принадлежал к числу добродушных, беззаботных, светских генералов — генералов, одаренных удивительно вымытым белым телом и почти такой же чистой душой, генералов породистых, хорошо воспитанных и, так сказать, крупичатых, которые, никогда не готовившись быть «пастырями народов», выказывают, однако, весьма изрядные администраторские способности и, мало работая, постоянно вздыхая о Петербурге и волочась за хорошенькими провинциальными дамами, приносят несомненную пользу губернии и оставляют о себе хорошую память. Он только что поднялся с постели и, сидя в шелковом шлафроке и ночной рубашке нараспашку перед туалетным зеркалом, вытирал себе одеколоном с водою лицо и шею, с которой предварительно снял целую коллекцию образков и ладанок,— когда ему доложили о приезде Сипягина и Калломейцева по важному и спешному делу. С Сипягиным он был очень короток, на «ты», знал его с молодых лет, беспрестанно встречался с ним в петербургских гостиных — и в последнее время начал мысленно прибавлять к его имени — всякий раз, когда оно приходило ему в голову,— почтительное: «А!» — как к имени будущего сановника. Калломейцева он знал несколько меньше и уважал гораздо меньше, так как на него стали с некоторых пор поступать «нехорошие» жалобы; однако считал его за человека, qui fera son chemin [1] — так или иначе.

Он велел попросить посетителей пожаловать к нему в кабинет и немедленно вышел к ним в том же шелковом шлафроке, не извиняясь даже, что принимает их в таком неофициальном убранстве, и дружелюбно потрясая им руки. Впрочем, в кабинет губернатора вошли только Сипягин и Калломейцев; Паклин остался в гостиной. Вылезая из кареты, он хотел было ускользнуть, пробормотав, что у него дома дела; но Сипягин с вежливой твердостью удержал его (Калломейцев подскочил и шепнул Сипягину на ухо: Ne le lachez pas! Tonnerre de tonnerres! [2]) и повел его с собою. В кабинет, однако, он его не ввел и попросил — всё с тою же вежливою твердостью — подождать в гостиной, пока его позовут. Паклин и тут надеялся улизнуть... но в дверях появился дюжий жандарм, предупрежденный Калломейцевым... Паклин остался.

---

[1] который пойдет в гору *(франц.)*.
[2] Не отпускайте его! Чёрт возьми! *(франц.)*.

— Ты, наверное, догадываешься, что меня привело к тебе, Voldemar? — начал Сипягин.

— Нет, душа, не догадываюсь,— отвечал милый эпикуреец, между тем как приветливая улыбка округляла его розовые щеки и выставляла его блестящие зубы, полузакрытые шелковистыми усами.

— Как?.. Но ведь Маркелов?

— Что такое Маркелов? — повторил с тем же видом губернатор. Он, во-первых, не совсем ясно помнил, что вчерашнего арестованного звали Маркеловым; а во-вторых, он совершенно позабыл, что у жены Сипягина был брат, носивший эту фамилию.— Да что ты стоишь, Борис, сядь; не хочешь ли чаю?

Но Сипягину было не до чаю.

Когда он растолковал наконец, в чем было дело и по какой причине они явились оба с Калломейцевым, губернатор издал огорченное восклицание, ударил себя по лбу, и лицо его приняло выражение печальное.

— Да... да... да! — повторял он,— какое несчастье! И он у меня тут сидит — сегодня, пока; ты знаешь, мы *таких* никогда больше одной ночи у себя не держим; да жандармского начальника нет в городе: твой зять и застрял... Но завтра его препроводят. Боже мой, как это неприятно! Как твоя жена должна быть огорчена!! Чего же ты хочешь?

— Я бы хотел свидеться с ним у тебя здесь, если это не противно закону.

— Помилуй, душа моя! Для таких людей, как ты, закон не писан. Я *так* тебе сочувствую... C'est affreux, tu sais! [1]

Он позвонил особенным манером. Явился адъютант.

— Любезный барон, пожалуйста, там — распорядитесь.— Он сказал ему, как и что сделать. Барон исчез.— Представь, mon cher ami [2]: ведь его чуть не убили мужики. Руки назад, в телегу — и марш! И он — представь! — нисколько на них не сердится и не негодует, ей-ей! И вообще такой спокойный... Я удивился! да вот ты увидишь сам. C'est un fanatique tranquille [3].

— Ce sont les pires [4],— сентенциозно произнес Калломейцев.

---

[1] Это ужасно, ты знаешь! *(франц.)*.
[2] дорогой друг *(франц.)*.
[3] Это фанатик, но спокойный *(франц.)*.
[4] Эти-то хуже всех *(франц.)*.

Губернатор посмотрел на него исподлобья.

— Кстати, мне нужно переговорить с вами, Семен Петрович.

— А что?

— Да так; нехорошо.

— А именно?

— Да знаете, ваш должник-то, мужик этот, что ко мне жаловаться приходил...

— Ну?

— Ведь он повесился.

— Когда?

— Это всё равно когда; а только нехорошо.

Калломейцев пожал плечами и отошел, щегольски покачиваясь, к окну. В это мгновенье адъютант ввел Маркелова.

Губернатор сказал о нем правду: он был неестественно спокоен. Даже обычная угрюмость сошла с его лица и заменилась выражением какой-то равнодушной усталости. Оно осталось тем же, когда он увидел своего зятя; и только во взгляде, брошенном им на приведшего его немца-адъютанта, мелькнул мгновенный остаток его старинной ненависти к этому сорту людей. Пальто на нем было разорвано в двух местах и наскоро зашито толстыми нитками; на лбу, над бровью и на переносице виднелись небольшие ссадины с засохшей кровью. Он не умылся, но волосы причесал. Глубоко засунув обе кисти рук в рукава, он остановился недалеко от двери. Дышал он ровно.

— Сергей Михайлович! — начал взволнованным голосом Сипягин, подойдя к нему шага на два и протянув настолько правую руку, чтобы она могла тронуть или остановить его, если б он сделал движение вперед,— Сергей Михайлович! я прибыл сюда не для того только, чтобы выразить тебе наше изумление, наше глубокое огорчение; в нем ты не можешь сомневаться! Ты сам *хотел* погубить себя! И погубил!! Но я желал тебя видеть, чтобы сказать тебе... э... э... чтобы дать... чтобы поставить тебя в возможность услышать голос благоразумия, чести и дружбы! Ты можешь еще облегчить свою участь: и, поверь, я, с своей стороны, сделаю всё, что будет от меня зависеть! Вот и почтенный начальник здешней губернии тебе это подтвердит.— Тут Сипягин возвысил голос.— Чистосердечное раскаяние в твоих заблуждениях, полное признание, безо всякой утайки, которое будет заявлено где следует...

— Ваше превосходительство,— заговорил вдруг Маркелов, обращаясь к губернатору, и самый звук его голоса был спокоен, хоть и немного хрипл,— я полагал, что вам угодно было меня видеть — и снова допросить меня, что ли... Но если мы призвали меня только по желанию г-на Сипягина, то велите, пожалуйста, меня отвести: мы друг друга понять не можем. Всё, что он говорит,— для меня та же латынь.

— Позвольте... латынь! — вмешался Калломейцев заносчиво и пискливо,— а это латынь: бунтовать крестьян? Это — латынь? А? Латынь это?

— Что это у вас, ваше превосходительство, чиновник по тайной полиции, что ли? такой усердный? — спросил Маркелов — и слабая улыбка удовольствия тронула его бледные губы.

Калломейцев зашипел, затопотал ногами... Но губернатор остановил его.

— Вы сами виноваты, Семен Петрович. Зачем мешаетесь не в ваше дело?

— Не в мое дело... не в мое дело... Кажется, это дело общее... всех нас, дворян...

Маркелов окинул Калломейцева холодным, медленным, как бы последним взором — и повернулся немного к Сипягину.

— А коли *вы*, зятек, хотите, чтобы я вам объяснил *мои* мысли — так вот вам: я признаю, что крестьяне имели право меня арестовать и выдать, коли им не нравилось то, что я им говорил. На то была их воля. *Я* к ним пришел; не они ко мне. И правительство,— если оно меня сошлет в Сибирь... я роптать не буду — хоть и виноватым себя не почту. Оно свое дело делает, потому — защищается. Довольно с вас этого?

Сипягин воздел руки горé.

— Довольно!! Что за слово! Не в том вопрос — и не нам судить, как поступит правительство; а я желаю знать, чувствуете ли вы — чувствуешь ли *ты*, Сергей (Сипягин решился затронуть сердечные струны), безрассудство, безумие своего предприятия, готов ли ты доказать свое *раскаяние* на деле, и могу ли я поручиться — до некоторой степени поручиться — за тебя, Сергей!

Маркелов сдвинул свои густые брови.

— Я сказал... и повторять сказанное не хочу.

— Но раскаяние? раскаяние где?

Маркелова вдруг передернуло.

— Ах, отстаньте с вашим «раскаянием»! Вы хотите мне в душу залезть? Предоставьте это хоть мне самому.

Сипягин пожал плечами.

— Вот ты всегда так; не хочешь внять голосу рассудка! Тебе предстоит возможность разделаться тихо, благородно...

— Тихо, благородно...— повторил угрюмо Маркелов.— Знаем мы эти слова! Их всегда говорят тому, кому предлагают сделать подлость. Вот что они значат, эти слова!

— Мы о вас сожалеем,— продолжал усовещивать Маркелова Сипягин,— а вы нас ненавидите.

— Хорошо сожаление! В Сибирь нас, в каторгу,— вот как вы сожалеете о нас! Ах, оставьте... оставьте меня, ради бога!

И Маркелов понурил голову.

На душе у него было очень смутно, как ни тих был его наружный вид. Больше всего его грызло и мучило то, что выдал его — кто же? Голоплёцкий Еремей! Тот Еремей, в которого он так слепо верил! Что Менделей Дутик не пошел за ним, это его в сущности не удивляло... Менделей был пьян и потому струсил. Но Еремей!! Для Маркелова Еремей был как бы олицетворением русского народа... И он ему изменил! Стало быть, всё, о чем хлопотал Маркелов, всё было не то, не так? И Кисляков врал, и Василий Николаевич приказывал пустяки, и все эти статьи, книги, сочинения социалистов, мыслителей, каждая буква которых являлась ему чем-то несомненным и несокрушимым, всё это — пуф? Неужели? И это прекрасное сравнение назревшего вереда, ожидавшего удара ланцета,— тоже фраза? «Нет! нет! — шептал он про себя, и на его бронзовые щеки набегала слабая краска кирпичного цвета,— нет; то всё правда, всё... а это *я* виноват, *я* не сумел; не то *я* сказал, не так принялся! Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться — пулю ему в лоб! тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет... Убивают же шпионов, как собак, хуже чем собак!»

И представлялись Маркелову подробности, как его схватили... Сперва молчание, перемигивания, крики в задних рядах... Вот один приближается боком, как бы кланяется. Потом эта внезапная возня! И как его оземь... «Ребята... ребята... что вы?» А они: «Кушак давай! Вяжи!..» Кости трещат... и бессильная ярость... и вонючая пыль

во рту, в ноздрях... «Вали, вали его... на телегу». Кто-то густо хохочет... фай!

— Не так... не так я взялся...

Вот что собственно его грызло и мучило; а что он сам попал под колесо, это была его личная беда: она не касалась общего дела,— ее бы можно было перенести... но Еремей! Еремей!

Между тем как Маркелов стоял с головой, опущенной на грудь, Сипягин отвел губернатора в сторону и начал говорить ему вполголоса, разводя немного руками, выделывая двумя пальцами небольшую трель на своем лбу, как бы желая показать, что тут, дескать, у этого несчастного неладно, и вообще стараясь возбудить если не сочувствие, то снисхождение к безумцу. А губернатор пожимал плечами, то поднимал, то закрывал глаза, сожалел о собственном бессилии — и, однако, что-то обещал... «Tous les égards... certainement, tous les égards... [1] — слышались приятно картавые слова, мягко проходившие сквозь раздушённые усы...— Но ты знаешь: закон!» — «Конечно: закон!» — подхватывал Сипягин с какой-то строгой покорностью.

Пока они так разговаривали в уголку, Калломейцев просто не мог утерпеть на месте: двигался взад и вперед, слегка чмокал, кряхтел, являл все признаки нетерпения. Наконец он подошел к Сипягину и поспешно промолвил:

— Vous oubliez l'autre! [2]

— А, да! — промолвил Сипягин громко.— Merci de me l'avoir rappelé [3]. Я должен довести следующий факт до сведения вашего превосходительства,— обратился он к губернатору... (Он величал так друга своего Voldemar'a собственно для того, чтобы не скомпрометировать престижа власти перед бунтовщиком.) — Я имею основательные причины предполагать, что сумасбродное предприятие моего beau-frère'a [4] имеет некоторые рамификации; и что одна из этих ветвей — то есть одно из заподозренных мною лиц находится в недальнем расстоянии от сего города. Вели ввести,— прибавил он вполголоса,— там у тебя в гостиной есть один... Я его привез.

Губернатор взглянул на Сипягина, подумал с уваже-

---

[1] Всё, что возможно... конечно, всё, что возможно... *(франц.)*.

[2] Вы забываете о другом! *(франц.)*.

[3] Спасибо, что напомнили мне о нем *(франц.)*.

[4] шурина *(франц.)*.

нием: «Каков!» — и отдал приказ. Минуту спустя раб божий, Сила Паклин, предстал пред его очи.

Сила Паклин начал с того, что низко поклонился губернатору, но, увидев Маркелова, не докончил поклона и так и остался, наполовину согнутый, переминая шапку в руках. Маркелов бросил на него рассеянный взгляд, но едва ли узнал его, ибо снова погрузился в думу.

— Это — ветвь? — спросил губернатор, указывая на Паклина большим белым пальцем, украшенным бирюзою.

— О нет! — с полусмехом отвечал Сипягин.— А впрочем! — прибавил он, подумав немного.—Вот, ваше превосходительство,— заговорил он снова громко,— перед вами некто г-н Паклин. Он, сколько мне известно, петербургский житель и близкий приятель некоторого лица, которое состояло у меня в качестве учителя и покинуло мой дом, увлекши за собою,— прибавлю, краснея,— одну молодую девицу, мою родственницу.

— Ah! oui, oui [1],— пробормотал губернатор и покачал сверху вниз головою, —я что-то слышал... Графиня сказывала...

Сипягин возвысил голос.

— Это лицо есть некто г-н Нежданов, сильно мною заподозренный в превратных понятиях и теориях...

— Un rouge à tous crins [2],— вмешался Калломейцев...

— ...В превратных понятиях и теориях,— повторил еще отчетливее Сипягин,— и уж, конечно, не чуждый всей этой пропаганде; он находится... скрывается, как мне сказывал г-н Паклин, на фабрике купца Фалеева...

При словах: «как мне сказывал» — Маркелов вторично бросил взгляд на Паклина и только усмехнулся, медленно и равнодушно.

— Позвольте, позвольте, ваше превосходительство,— закричал Паклин,— и вы, г-н Сипягин, я никогда... никогда...

— Ты говоришь: купца Фалеева? — обратился губернатор к Сипягину, поиграв только пальцами в направлении Паклина: потише, дескать, братец, потише.— Что с ними делается, с нашими почтенными бородачами? Вчера тоже одного схватили по тому же делу. Ты, может, слышал его имя: Голушкин, богач. Ну, этот революции не сделает. Так на коленках и ползает.

---

[1] Ах! да, да *(франц.)*.
[2] Красный до мозга костей *(франц.)*.

— Купец Фалеев тут ни при чем,— отчеканил Сипягин,— я его мнений не знаю; я говорю только о его фабрике, на которой, по словам г-на Паклина, находится в настоящую минуту г-н Нежданов.

— Этого я не говорил! — возопил опять Паклин.— Это *вы* говорили!

— Позвольте, г-н Паклин,— всё с тою же неумолимой отчетливостью произнес Сипягин.— Я уважаю то чувство дружбы, которое внушает вам вашу «денегацию» [1]. («Экий... Гизо!» — подумал тут про себя губернатор.) Но возьму смелость поставить вам себя в пример. Полагаете ли вы, что во мне чувство родственное не столь же сильно, как ваше дружеское? Но есть другое чувство, милостивый государь, которое еще сильнее и которое должно руководить всеми нашими действиями и поступками: чувство долга!

— Le sentiment du devoir [2],— пояснил Калломейцев.

Маркелов окинул взором обоих говоривших.

— Г-н губернатор,— промолвил он,— повторяю мою просьбу: велите, пожалуйста, увести меня прочь от этих болтунов.

Но тут губернатор потерял немножко терпение.

— Г-н Маркелов! — воскликнул он,— я советовал бы вам, в вашем положении, более сдержанности в языке и более уважения к старшим... особенно, когда они выражают патриотические чувства, подобные тем, которые вы сейчас слышали в устах вашего beau-frère'а! Я счастливым себя почту, любезный Борис,— прибавил губернатор, обратясь к Сипягину,— довести твои благородные поступки до сведения министра. Но у кого же собственно находится этот г-н Нежданов на этой фабрике?

Сипягин нахмурился.

— У некоего г-на Соломина, тамошнего главного механика, как мне сказывал тот же г-н Паклин.

Казалось, Сипягину доставляло особенное удовольствие терзать бедного Силушку: он вымещал на нем теперь и данную ему в карете сигару, и фамильярную вежливость своего обращения с ним, и некоторое даже заигрывание.

— И этот Соломин,— подхватил Калломейцев,— есть несомненный радикал и республиканец — и вашему

---

[1] «запирательство» *(от франц.* dénégation).
[2] Чувство долга *(франц.)*.

превосходительству не худо было бы обратить ваше внимание также и на него.

— Вы знаете этих... господ.... Соломина.... и как бишь! и.... Нежданова? — немного по-начальнически, в нос, спросил губернатор Маркелова.

Маркелов злорадно раздул ноздри.

— А вы, ваше превосходительство, знаете Конфуция и Тита Ливия?

Губернатор отвернулся.

— Il n'y a pas moyen de causer avec cet homme [1],— промолвил он, пожимая плечами.— Господин барон, пожалуйте сюда.

Адъютант подскочил к нему; а Паклин, улучив время, приблизился, ковыляя и спотыкаясь, к Сипягину.

— Что же это вы делаете,— прошептал он,— зачем же вы губите вашу племянницу? Ведь она с ним, с Неждановым!..

— Я никого не гублю, милостивый государь,— отвечал Сипягин громко,— я делаю то, что мне повелевает совесть и...

— И ваша супруга, моя сестра, у которой вы под башмаком,— ввернул столь же громко Маркелов.

Сипягин, как говорится, даже не чукнул... Так это было ниже его!

— Послушайте,— продолжал шептать Паклин — всё его тело трепетало от волнения и, быть может, от робости, а глаза сверкали злобой и в горле клокотали слезы — слезы сожаления о *тех* и досады на себя,— послушайте: я сказал вам, что она замужем — это неправда, я вам солгал! Но брак этот должен совершиться, и если вы этому помешаете, если туда явится полиция, на вашей совести будет лежать пятно, которое вы ничем не смоете,— и вы...

— Известие, сообщенное вами,— перебил еще громче Сипягин,— если оно только справедливо, в чем я имею право сомневаться,— это известие может только ускорить те меры, которые я почел бы нужным предпринять; а о чистоте моей совести я уж буду просить вас, милостивый государь, не заботиться.

— Вылощена она, брат,— ввернул опять Маркелов,— петербургский лак на нее наведен; никакая жидкость ее

[1] Нет никакой возможности говорить с этим человеком *(франц.)*.

не берет! А ты, г-н Паклин, шепчи, шепчи сколько хочешь: не отшепчешься, шалишь!

Губернатор почел за нужное прекратить все эти пререкания.

— Я полагаю,— начал он,— что вы, господа, уже достаточно высказались,— а потому, любезный барон, уведите г-на Маркелова. N'est ce pas, Boris [1], ты не нуждаешься более...

Сипягин развел руками.

— Я сказал всё, что мог!..

— И прекрасно!.. Любезный барон!..

Адъютант приблизился к Маркелову, щелкнул шпорами, сделал горизонтальное движение ручкою... «Пожалуйте, мол!» Маркелов повернулся и пошел вон. Паклин, правда мысленно, но с горьким сочувствием и жалостью, пожал ему руку.

— А на фабрику мы пошлем наших молодцов,— продолжал губернатор.— Только вот что, Борис: мне сдается — этот барин (он указал подбородком на Паклина) тебе что-то сообщал, насчет твоей родственницы... Будто она там, на той фабрике... Так как же...

— Ее арестовать во всяком случае нельзя,— заметил глубокомысленно Сипягин,— может быть, она одумается и вернется. Если позволишь, я напишу ей записочку.

— Сделай одолжение. И вообще ты можешь быть уверен... Nous coffrerons le quidam... mais nous sommes galants avec les dames... et avec celle-là donc! [2]

— Но вы не принимаете никаких распоряжений насчет этого Соломина,— жалобно воскликнул Калломейцев, который всё время приникал ухом и старался вслушаться в маленькое à parte [3] губернатора с Сипягиным.— Уверяю вас: это главный зачинщик! У меня на это нюх... такой нюх!

— Pas trop de zèle [4], любезнейший Семен Петрович,— заметил, осклабясь, губернатор.— Вспомните Талейрана! Коли что, тот от нас тоже не уйдет. Вы лучше подумайте о вашем... ккк... к! — И губернатор сделал знак удушения на своей шее... Да кстати,— обратился он снова к Сипя-

---

[1] Не так ли, Борис? *(франц.)*.

[2] Мы посадим одного человека... но с дамами мы любезны... и уж конечно с этой! *(франц.)*.

[3] отдельный разговор *(франц.— итал.)*.

[4] Не слишком усердствуйте *(франц.)*.

гину,— et ce gaillard-là (он опять указал подбородком на Паклина).— Qu'en ferons-nous?[1] На вид он не страшен.

— Отпусти его,— сказал тихо Сипягин и прибавил по-немецки: — Lass' den Lumpen laufen![2]

Он почему-то подумал, что делает цитату из Гёте, из «Геца фон Берлихингена».

— Вы можете идти, милостивый государь! — промолвил громко губернатор.— Мы более в вас не нуждаемся. До зобаченья!

Паклин отдал общий поклон и вышел на улицу, весь уничтоженный и разбитый. Боже! боже! Это презрение его доконало.

«Что же это такое? — думал он с невыразимым отчаянием,— и трус и доносчик? Да нет.... нет; я честный человек, господа,— и я не совсем уже лишен всякого мужества!»

Но что за знакомая фигура торчит на крыльце губернаторского дома и смотрит на него унылым, исполненным упрека взором? Да это — старый слуга Маркелова. Он, видно, пришел за своим барином в город и не отходит прочь от его тюрьмы... Только зачем же он смотрит так на Паклина? Ведь не он же Маркелова выдал!

«И зачем я совался туда, куда мне — ни к коже, ни к роже? — думал он опять свою отчаянную думу.— Не мог сидеть смирно на своей лавочке! А теперь они говорят и, пожалуй, напишут: некто г-н Паклин всё рассказал, выдал их... своих друзей выдал врагам!» Вспомнился ему тут взгляд, брошенный на него Маркеловым, вспомнились эти последние слова: «Не отшепчешься, шалишь!» — а тут эти старческие, унылые, убитые глаза! И, как сказано в писании, он «плакася горько» и побрел себе в оазис, к Фомушке и Фимушке, к Снандулии...

XXXVI

Когда Марианна, в то самое утро, вышла из своей комнаты — она увидела Нежданова одетым и сидящим на диване. Одной рукой он поддерживал голову, другая бессильно и недвижимо лежала на коленях. Она подошла к нему.

---

[1] а этот молодчик... С ним-то что нам сделать? *(франц.)*.
[2] Отпустите прохвоста на все четыре стороны! *(нем.)*.

— Здравствуй, Алексей... Ты не раздевался? не спал? Какой ты бледный!

Отяжелевшие веки его глаз приподнялись медленно.

— Я не раздевался, я не спал.

— Ты нездоров? или это еще след вчерашнего?

Нежданов покачал головою.

— Я не спал с тех пор, как Соломин вошел в твою комнату.

— Когда?

— Вчера вечером.

— Алексей, ты ревнуешь? Вот новость! И нашел время когда ревновать! Он остался у меня всего четверть часа... И мы говорили об его двоюродном брате, священнике, и о том, как устроить наш брак.

— Я знаю, что он остался всего четверть часа: я видел, когда он вышел. И я не ревную, о нет! Но все-таки я не мог заснуть с тех пор.

— Отчего же?

Нежданов помолчал.

— Я всё думал... думал... думал!

— О чем?

— О тебе... о нем.... и о самом себе.

— И до чего же ты додумался?

— Сказать тебе, Марианна?

— Скажи.

— Я думал, что я мешаю — тебе... ему... и самому себе.

— Мне! ему! Я воображаю, что ты этим хочешь сказать, хотя ты и уверяешь, что не ревнуешь. Но: самому себе?

— Марианна, во мне сидят два человека — и один не дает жить другому. Так я уж полагаю, что лучше перестать обоим жить.

— Ну, полно, Алексей, пожалуйста. Что за охота себя мучить и меня? Нам следует теперь сообразить, какие надо принять меры... Ведь нас в покое не оставят.

Нежданов ласково взял ее за руку.

— Сядь возле меня, Марианна, и поболтаем немного, по-дружески. Пока есть время. Дай мне руку. Мне кажется, что нам не худо объясниться — хотя, говорят, всякие объяснения ведут обыкновенно только к большей путанице. Но ты умна и добра; ты всё поймешь, и чего я не доскажу — ты додумаешь. Сядь.

Голос Нежданова был очень тих, и какая-то особенная,

дружеская нежность и просьба высказывались в его глазах, пристально устремленных на Марианну.

Она тотчас охотно села возле него и взяла его руку.

— Ну, спасибо, моя милая,— и слушай. Я тебя долго не задержу. Я уже ночью в голове всё приготовил, что я должен тебе сказать. Ну — слушай. Не думай, чтобы вчерашнее происшествие меня слишком смутило: я был, вероятно, очень смешон и немножко даже гадок; но ты, конечно, не подумала обо мне ничего дурного или низкого... ты меня знаешь. Я сказал, что это происшествие меня не смутило; это — неправда, это вздор.... оно смутило меня, но не потому, что меня привезли домой пьяного; а потому, что оно окончательно доказало мне мою несостоятельность! И не только в том, что я не могу пить, как пьют русские люди,— а вообще! вообще! Марианна, я обязан сказать тебе, что я не верю больше в то дело, которое нас соединило, в силу которого мы вместе ушли из того дома и к которому я, говоря правду, уже охладевал, когда твой огонь согрел и зажег меня; не верю! не верю!

Он положил свою свободную руку себе на глаза и умолк на мгновенье. Марианна тоже ни слова не промолвила и потупилась.... Она почувствовала, что он ей не сказал ничего нового.

— Я думал прежде,— продолжал Нежданов, отняв руку от глаз, но уже не глядя больше на Марианну,— что я в самое-то дело верю, а только сомневаюсь в самом себе, в своей силе, в своем уменье; мои способности, думал я, не соответствуют моим убеждениям.... Но, видно, этих двух вещей отделить нельзя — да и к чему обманываться! Нет — я в *самое дело* не верю. А ты веришь, Марианна?

Марианна выпрямилась и подняла голову.

— Да, Алексей, верю. Верю всеми силами души — и посвящу этому делу всю свою жизнь! До последнего дыхания!

Нежданов повернулся к ней и измерил ее всю умиленным и завидующим взглядом.

— Так, так; я ждал такого ответа. Вот ты и видишь, что нам вместе делать нечего: ты сама одним ударом перерубила нашу связь.

Марианна молчала.

— Вот и Соломин,— начал снова Нежданов,— хоть и он не верит...

— Как?

— Нет! Он не верит... да это ему и не нужно; он подвигается спокойно вперед. Человек, который идет по дороге в город, не спрашивает себя: да существует ли, полно, этот город? Он идет себе да идет. Так и Соломин. И больше ничего не нужно. А я... вперед не могу; назад не хочу; оставаться на месте — томно. Кому же дерзну я предложить быть моим товарищем? Знаешь поговорку: один под один конец, другой под другой — и пошло дело на лад? А коли один не сможет нести — как быть другому?

— Алексей,— промолвила нерешительно Марианна,— ты, мне кажется, преувеличиваешь. Мы ведь любим друг друга.

Нежданов глубоко вздохнул.

— Марианна... Я преклоняюсь перед тобою... а ты жалеешь меня — и каждый из нас уверен в честности другого: вот настоящая правда! А любви между нами нет.

— Но постой, Алексей, что ты говоришь! Ведь сегодня же, сейчас, за нами явится погоня... Ведь нам надобно уходить вместе, а не расставаться.

— Да; и ехать к попу Зосиме, чтобы он нас обвенчал, по предложению Соломина. Я хорошо знаю, что в твоих глазах этот брак не что иное, как паспорт, как средство избегнуть полицейских затруднений... но все-таки он некоторым образом обязывает... к житию вместе, рядом... или если не *обязывает*, то по крайней мере предполагает желание жить вместе.

— Что ж это, Алексей? Ты здесь останешься?

У Нежданова чуть было не сорвалось с языка: «Да» — но он одумался и промолвил:

— Н... н... нет.

— В таком случае ты удалишься отсюда не туда, куда я?

Нежданов крепко пожал ее руку, которая всё еще лежала на его руке.

— Оставить тебя без покровителя, без защитника было бы преступно — и я этого не сделаю, как я ни плох. У тебя будет защитник... Не сомневайся в том!

Марианна нагнулась к Нежданову — и, заботливо приблизив свое лицо к его лицу, старалась заглянуть ему в глаза, в душу — в самую душу.

— Что с тобой, Алексей? Что у тебя на сердце? Скажи!.. Ты меня беспокоишь. Твои слова так загадочны, так странны... И лицо твое! Я никогда не видала у тебя такого лица!

Нежданов тихонько отклонил ее и тихонько поцеловал у ней руку. На этот раз она не противилась — и не засмеялась, и всё продолжала заботливо и тревожно глядеть на него.

— Не беспокойся, пожалуйста! Тут ничего странного нет. Вся беда моя вот в чем. Маркелова, говорят, мужики побили; он отведал их кулаков, они помяли ему бока... Меня мужики не били, они даже пили со мною, пили мое здоровье... но душу они мою помяли, хуже чем бока у Маркелова. Я был рожден вывихнутым... хотел себя вправить, да еще хуже себя вывихнул. Вот именно то, что ты замечаешь на моем лице.

— Алексей,— медленно промолвила Марианна,— тебе было бы грешно не быть откровенным со мною.

Он стиснул свои руки.

— Марианна, всё мое существо перед тобою как на ладони; и что бы я ни сделал, говорю тебе наперед: в сущности ничему, ничему ты не удивишься!

Марианна хотела попросить объяснения этих слов, однако не попросила... притом в это мгновенье в комнату вошел Соломин.

Движенья его были быстрей и резче обыкновенного. Глаза прищурились, широкие губы сжались, всё лицо как будто заострилось и приняло выражение сухое, твердое и несколько грубое.

— Друзья мои,— начал он,— я пришел вам сказать, что мешкать нечего. Собирайтесь... ехать вам пора. Через час надо вам быть готовыми. Надо вам ехать венчаться. От Паклина нет никакого известия; лошадей его сперва задержали в Аржаном, а потом прислали назад... Он остался там. Вероятно, его увезли в город. Он, конечно, не донесет, но бог его знает, разболтает, пожалуй. Да и по лошадям могли узнать. Мой двоюродный предупрежден. Павел с вами поедет. Он и свидетелем будет.

— А вы... а ты? — спросил Нежданов.— Разве ты не поедешь? Я вижу, ты одет по-дорожному,— прибавил он, указав глазами на высокие болотные сапоги, в которых пришел Соломин.

— Это я... так... на дворе грязно.

— Но отвечать ты за нас ведь не будешь?

— Не полагаю... во всяком случае — это уж мое дело. Итак, через час. Марианна, Татьяна желает вас видеть. Она что-то там приготовила.

— А! Да! Я и сама хотела к ней идти...

Марианна направилась к двери...

На лице Нежданова изобразилось нечто странное, нечто вроде испуга, тоски...

— Марианна, ты уходишь? — промолвил он внезапно упавшим голосом.

Она остановилась.

— Я через полчаса вернусь. Мне уложиться недолго.

— Да; но подойди ко мне...

— Изволь; зачем?

— Мне еще раз хочется взглянуть на тебя.— Он посмотрел на нее долгим взором.— Прощай, прощай, Марианна! — Она изумилась.— То бишь... Что это я? Это я так... сболтнул. Ты ведь через полчаса вернешься? Да?

— Конечно.

— Ну, да... да... Извини. У меня в голове путаница от бессонницы. Я тоже сейчас... уложусь.

Марианна вышла из комнаты. Соломин хотел было пойти за ней.

Нежданов остановил его.

— Соломин!

— Что?

— Дай мне руку. Надо ж мне поблагодарить тебя за твое гостеприимство.

Соломин усмехнулся.

— Вот что вздумал! — Однако подал ему руку.

— И вот еще что,— продолжал Нежданов,— если со мной что случится, могу я надеяться на тебя, что ты не оставишь Марианну?

— Твою будущую жену?

— Ну да, Марианну.

— Во-первых, я уверен, что с тобой ничего не случится; а во-вторых, ты можешь быть спокоен: Марианна мне так же дорога, как и тебе.

— О! Я это знаю... знаю... знаю! Ну и прекрасно. И спасибо. Так через час?

— Через час.

— Я буду готов. Прощай!

Соломин вышел и догнал Марианну на лестнице. Он намеревался ей сказать что-то насчет Нежданова, да промолчал. И Марианна, с своей стороны, поняла, что Соломин намеревался ей что-то сказать — и именно насчет Нежданова — и что он промолчал. И она промолчала тоже.

XXXVII

Как только Соломин вышел, Нежданов мгновенно вскочил с дивана, прошелся раза два из одного угла в другой, потом постоял с минуту в каком-то каменном раздумье посреди комнаты; внезапно встрепенулся, торопливо сбросил с себя свой «маскарадный» костюм, отпихнул его ногою в угол, достал и надел свое прежнее платье. Потом он подошел к трехногому столику, вынул из ящика две запечатанные бумажки и еще какой-то небольшой предмет, сунул его в карман, а бумажки оставил на столе. Потом он присел на корточки перед печкой, отворил заслонку... В печке оказалась целая груда пепла. Это было всё, что оставалось от бумаг Нежданова, от заветной тетрадки... Он сжег всё это в течение ночи. Но тут же в печке, сбоку, прислоненный к одной из стенок, находился портрет Марианны, подаренный ему Маркеловым. Видно, у него не хватило духа сжечь и этот портрет! Нежданов бережно вынул его и положил на стол рядом с запечатанными бумажками.

Потом он решительным движением руки сгреб свою фуражку и направился было к двери... но остановился, вернулся назад и вошел в комнату Марианны. Там он постоял с минуту, оглянулся кругом и, приблизившись к ее узенькой кроватке, нагнулся — и с одиночным немым рыданьем приник губами не к изголовью, а к ногам постели... Потом он разом выпрямился — и, надвинув фуражку на лоб, бросился вон.

Ни с кем не встретившись ни в коридоре, ни на лестнице, ни внизу, Нежданов проскользнул в палисадник. День был серый, небо висело низко, сырой ветерок шевелил верхушки трав и качал листья деревьев; фабрика стучала и шумела меньше, чем о ту же пору в другие дни; с двора ее несло запахом угля, дегтя, сала. Зорко и подозрительно оглянулся Нежданов и пошел прямо к той старой яблоне, которая привлекла его внимание в самый день его приезда, когда он в первый раз выглянул из окна своей квартирки. Ствол этой яблони оброс сухим мохом; шероховатые обнаженные сучья, с кое-где висевшими красновато-зелеными листьями, искривленно поднимались кверху, наподобие старческих, умоляющих, в локтях согбенных рук. Нежданов стал твердой ногою на темную землю, окружавшую корень яблони, и вынул из кармана тот небольшой предмет, который находился в ящике стола.

Потом он внимательно посмотрел на окна флигелька... «Если кто-нибудь меня увидит в эту минуту,— подумал он,— тогда, быть может, я отложу...» Но нигде не показалось ни одного человеческого лица... точно всё вымерло, всё отвернулось от него, удалилось навсегда, оставило его на произвол судьбы. Одна фабрика глухо гудела и воняла, да сверху стали сеяться мелкие, иглистые капли холодного дождя.

Тогда Неждацов, взглянув сквозь кривые сучья дерева, под которым он стоял, на низкое, серое, безучастно-слепое и мокрое небо, зевнул, пожался, подумал: «Ведь ничего другого не осталось, не назад же в Петербург, в тюрьму», сбросил фуражку долой и, заранее ощутив во всем теле какую-то слащавую, сильную, томительную потяготу, приложил к груди револьвер, дернул пружину курка...

Что-то разом толкнуло его, даже не слишком сильно... но он уже лежал на спине и старался понять: что с ним и как он сейчас видел Татьяну?.. Он даже хотел позвать ее, сказать: «Ах, не надо!» — но вот уже он весь онемел, и над лицом его, в глазах, на лбу, в мозгу завертелся мутно-зеленый вихрь — и что-то страшно тяжелое и плоское придавило его навсегда к земле.

Татьяна недаром померещилась Нежданову; в ту самую минуту, как он спустил курок револьвера, она подошла к одному из окон флигелька и увидела его под яблонью. Не успела она подумать: «Что это он в такую погоду торчит под яблонью, простоволосый?» — как он повалился навзничь, точно сноп. Выстрела она не слыхала — звук его был очень слаб,— но тотчас почуяла что-то недоброе и опрометью бросилась вниз, в палисадник... Она добежала до Нежданова... «Алексей Дмитрич, что с вами?» Но уже им овладела темнота. Татьяна нагнулась к нему, увидала кровь...

— Павел! — закричала она не своим голосом.— Павел!

Несколько мгновений спустя Марианна, Соломин, Павел и еще двое фабричных уже были в палисаднике. Нежданова тотчас подняли; понесли во флигель и положили на тот самый диван, на котором он провел свою последнюю ночь.

Он лежал на спине с полузакрытыми недвижными глазами, с посинелым лицом, хрипел протяжно и туго, изредка всхлипывая и как бы давясь. Жизнь еще не покинула его. Марианна и Соломин стояли по обеим сторонам дивана,

оба почти такие же бледные, как и сам Нежданов. Поражены, потрясены, уничтожены были оба — особенно Марианна,— но не изумлены. «Как мы этого не предвидели?» — думалось им; и в то же время им казалось, что они... да, они это предвидели. Когда он сказал Марианне: «Что бы я ни сделал, говорю тебе наперед: ничему ты не удивишься»,— и еще когда он говорил о тех двух человеках, которые в нем ужиться не могут,— разве не шевельнулось в ней нечто вроде смутного предчувствия? Почему же она не остановилась тотчас и не вдумалась и в эти слова и в это предчувствие? Отчего она теперь не смеет взглянуть на Соломина, как будто он ее сообщник... как будто и он ощущает угрызение совести? Отчего ей не только бесконечно, до отчаяния жаль Нежданова, но как-то страшно и жутко — и совестно? Может быть, от нее зависело его спасти? Отчего они оба не смеют произнести слова? Почти не смеют дышать — и ждут... Чего? Боже мой!

Соломин послал за доктором, хотя, конечно, надежды не было никакой. На маленькую, уже почерневшую, бескровную рану Нежданова Татьяна положила большую губку с холодною водой, намочила его волосы тоже холодной водою с уксусом. Вдруг Нежданов перестал хрипеть и пошевельнулся.

— Приходит в память,— прошептал Соломин.

Марианна стала на колени возле дивана... Нежданов взглянул на нее... до того времени его глаза были недвижны, как у всех умирающих.

— А я еще... жив,— проговорил он чуть слышно.— И тут не сумел... задерживаю вас.

— Алеша,— простонала Марианна.

— Да вот... сейчас... Помнишь, Марианна, в моем... стихотворении... «Окружи меня цветами»... Где же цветы?.. Но зато ты тут... Там, в моем письме...

Он вдруг затрепетал весь.

— Ох, вот она... Дайте оба... друг другу... руки — при мне... Поскорее... дайте...

Соломин схватил руку Марианны. Голова ее лежала на диване, лицом вниз, возле самой раны.

Сам Соломин стоял прямо и строго, сумрачный как ночь.

— Так... хорошо... так...

Нежданов опять начал всхлипывать, но как-то уж очень необычно... Грудь выставилась, бока втянулись...

Он явно пытался положить свою руку на их соединенные руки, но его руки уже были мертвы.

— Отходит,— шепнула Татьяна, стоявшая у двери, и стала креститься.

Всхлипыванья стали реже, короче... Он еще искал взором Марианну... но какая-то грозная белесоватость уже заволакивала изнутри его глаза...

«Хорошо»...— было его последним словом.

Его не стало... а соединенные руки Соломина и Марианны всё еще лежали на его груди.

Вот что писал он в двух оставленных им коротких записках. Одна была адресована Силину и содержала всего несколько строк:

«Прощай, брат, друг, прощай! Когда ты получишь этот клочок — меня уже не будет. Не спрашивай, как, почему — и не сожалей; знай, что мне теперь лучше. Возьми ты нашего бессмертного Пушкина и прочти в „Евгении Онегине“ описание смерти Ленского. Помнишь: „Окна мелом забелены; хозяйки нет“ и т. д. Вот и всё. Сказать мне тебе нечего... оттого, что слишком много пришлось бы говорить, а времени нет. Но я не хотел уйти, не уведомив тебя; а то ты бы думал обо мне, как о живом, и я согрешил бы перед нашей дружбой. Прощай; живи.

Твой друг *А. Н.*»

Другое письмо было несколько длиннее. Оно было адресовано на имя Соломина и Марианны. Вот что стояло в нем:

«Дети мои!

(Тотчас после этих слов был перерыв; что-то было зачеркнуто или скорее замарано; как будто слезы брызнули тут.)

Вам, быть может, странно, что я вас так величаю, я сам почти ребенок — и ты, Соломин, конечно, старше меня. Но я умираю — и, стоя на конце жизни, гляжу на себя как на старика. Я очень виноват пред вами обоими, особенно пред тобой, Марианна,— в том, что причиняю вам такое горе (я знаю, Марианна, ты будешь горевать) — и доставил вам столько беспокойства. Но что было делать? Я другого выхода не нашел. Я не умел *опроститься:* оставалось вычеркнуть себя совсем. Марианна, я был бы бременем и для себя и для тебя. Ты великодушная — ты

бы обрадовалась этому бремени, как новой жертве... но я не имел права налагать на тебя эту жертву: у тебя есть лучшее и большее дело. Дети мои, позвольте мне соединить вас как бы загробной рукою. Вам будет хорошо вдвоем. Марианна, ты окончательно полюбишь Соломина — а он... он тебя полюбил, как только увидел тебя у Сипягиных. Это не осталось для меня тайной, хотя мы несколько дней спустя бежали с тобою. Ах, то утро! Какое оно было славное, свежее, молодое! Оно представляется мне теперь как знамение, как символ вашей двойной жизни — твоей и его; и я только случайно находился тогда на его месте. Но пора кончить; я не желаю тебя разжалобить... я желаю только оправдаться. Завтра будут несколько очень тяжелых минут... Но что же делать? Другого выхода ведь нет? Прощай, Марианна, моя хорошая, честная девушка! Прощай, Соломин! Поручаю тебе ее. Живите счастливо — живите с пользой для других; а ты, Марианна, вспоминай обо мне только, когда будешь счастлива. Вспоминай обо мне, как о человеке тоже честном и хорошем, по которому было как-то приличнее умереть, нежели жить. Любил ли я тебя любовью — не знаю, милый друг, но знаю, что сильнее чувства я никогда не испытал и что мне было бы еще страшнее умереть, если б я не уносил такого чувства с собой в могилу.

Марианна! Если ты встретишь когда-нибудь девушку, Машурину по имени,— Соломин ее знает, впрочем и ты, кажется, ее видела,— скажи ей, что я с благодарностью вспомнил о ней незадолго перед кончиной... Она уж поймет.

Надо ж, однако, оторваться. Я сейчас выглянул из окна: среди быстро мчавшихся туч стояла одна прекрасная звезда. Как быстро они ни мчались — они не могли ее закрыть. Эта звезда напомнила мне тебя, Марианна! В это мгновенье ты спишь в соседней комнате — и ничего не подозреваешь... Я подошел к твоей двери, приложил ухо и, казалось, уловил твое чистое, спокойное дыханье... Прощай! прощай! прощайте, мои дети, мои друзья!

Ваш *А*.

Ба, ба, ба! как же это я в *предсмертном* письме ничего не сказал о нашем великом деле? Знать, потому, что перед смертью лгать уже не приходится... Марианна, прости мне эту приписку... Ложь была во мне — а не в том, чему ты веришь!

Да! вот еще что: ты, быть может, подумаешь, Марианна: он испугался тюрьмы, в которую его непременно засадили бы, и нашел *это* средство ее избегнуть? Нет: тюрьма еще не важность; но сидеть в тюрьме за дело, в которое не веришь, — это уже никуда не годится. И я кончаю с собою — не из страха тюрьмы.

Прощай, Марианна! Прощай, моя чистая, нетронутая!»

Марианна и Соломин поочередно прочли это письмо. Потом она положила и портрет свой и обе бумажки к себе в карман — и осталась неподвижной.

Тогда Соломин сказал ей:

— Всё готово, Марианна; поедем. Надо исполнить его волю.

Марианна приблизилась к Нежданову, прикоснулась устами к его уже похолодевшему лбу — и, обернувшись к Соломину, сказала:

— Поедем.

Он взял ее за руку — и оба вышли из комнаты.

Когда, несколько часов спустя, полиция нагрянула на фабрику, она, конечно, нашла Нежданова — но уже трупом. Татьяна опрятно убрала его, положила ему под голову белую подушку, скрестила его руки, поставила даже букет цветов возле него на столик. Павел, получивший все нужные инструкции, принял полицейских чиновников с величайшим подобострастием и таковым же глумлением,—так что те не знали, благодарить ли его, или тоже арестовать. Он рассказал обстоятельно, как происходило дело самоубийства, накормил их швейцарским сыром, напоил мадерой; но насчет настоящего местопребывания Василия Федотыча и приезжей барышни отозвался совершенным неведеньем и только ограничился увереньем, что Василий, мол, Федотыч никогда долго в отсутствии не пребывает — потому дела; что он не нынче — завтра вернется и тогда тотчас, минуточки не теряя, даст о том знать в город. Человек он на это аккуратный.

Так господа чиновники и отъехали ни с чем, приставив сторожей к телу и обещавшись прислать судебного следователя.

XXXVIII

Через два дня после всех этих происшествий на двор к «скла́дному» попу Зосиме въехала тележка, в которой сидели мужчина и женщина, уже известные нам, и на другой же день после их приезда они сочетались браком. Вскоре потом они исчезли — и добрый Зосима нисколько не горевал о том, что он сделал. На фабрике, оставленной Соломиным, оказалось письмо, адресованное на имя хозяина и доставленное ему Павлом; в нем отдавался полный и точный отчет о положении дел (оно было блестящее) и выпрашивался трехмесячный отпуск. Письмо это было написано за два дня до смерти Нежданова, из чего можно было заключить, что Соломин уже тогда считал нужным уехать с ним и с Марианной и скрыться на время. Следствие, произведенное по поводу самоубийства, ничего не открыло. Труп похоронили; Сипягин прекратил всякое дальнейшее искание своей племянницы.

А месяцев девять спустя судили Маркелова. Он и на суде держал себя так же, как перед губернатором: спокойно, не без достоинства и несколько уныло. Его обычная резкость смягчилась — но не от малодушия: тут участвовало другое, более благородное чувство. Он ни в чем не оправдывался, ни в чем не раскаивался, никого не обвинял и никого не назвал; его исхудалое лицо с потухшими глазами сохраняло одно выражение: покорности судьбе и твердости; а его короткие, но прямые и правдивые ответы возбуждали в самих его судьях чувство, похожее на сострадание. Даже крестьяне, которые его схватили и свидетельствовали против него, даже они разделяли это чувство и говорили о нем, как о барине «простом» и добром. Но вина его была слишком явна; избегнуть наказания он не мог и, казалось, сам принял это наказание как должное. Из остальных его, впрочем немногочисленных, соучастников — Машурина скрылась; Остродумов был убит одним мещанином, которого он подговаривал к восстанию и который «неловко» толкнул его; Голушкина, за его «чистосердечное раскаяние» (он чуть с ума не сошел от ужаса и тоски), подвергли легкому наказанию; Кислякова продержали с месяц под арестом, а потом выпустили и даже не препятствовали ему снова «скакать» по губерниям; Нежданова избавила смерть; Соломина, за недостатком улик, оставили в некотором подозрении — и в покое. (Он, впрочем, не уклонился от

суда и явился в срок.) О Марианне не было и речи... Паклин окончательно вывернулся; да на него и не обратили особенного внимания.

Прошло года полтора. Настала зима 1870 года. В Петербурге, в том самом Петербурге, где тайный советник и камергер Сипягин готовился играть значительную роль, где его жена покровительствовала всем искусствам, давала музыкальные вечера и устраивала дешевые кухни, а г. Калломейцев считался одним из надежнейших чиновников своего министерства,— по одной из линий Васильевского острова шел, ковыляя и слегка переваливаясь, маленький человек в скромном пальто с кошачьим воротником. То был Паклин. Он порядком изменился в последнее время: в концах висков, выдававшихся из-под краев меховой шапки, виднелось несколько серебряных нитей. Навстречу ему двигалась по тротуару дама довольно полная, высокого роста, плотно закутанная в темный суконный плащ. Паклин бросил на нее рассеянный взгляд, прошел мимо... потом вдруг остановился, задумался, расставил руки и, с живостью обернувшись и нагнав ее, взглянул ей под шляпку в лицо.

— Машурина? — промолвил он вполголоса.

Дама величественно измерила его взором и, не сказав слова, пошла дальше.

— Милая Машурина, я вас узнал,— продолжал Паклин, ковыляя с нею рядом,— только вы, пожалуйста, не бойтесь. Ведь я вас не выдам — я *слишком* рад, что встретил вас! Я Паклин, Сила Паклин, знаете, приятель Нежданова... Зайдите ко мне, я живу в двух шагах отсюда... Пожалуйста.

— Ио соно контесса Рокко ди Санто-Фиуме! [1] — отвечала дама низким голосом, но с удивительно чистым русским акцентом.

— Ну что контесса... какая там контесса... Зайдите, поболтаемте...

— Да где вы живете? — спросила вдруг по-русски итальянская графиня.— Мне некогда.

— Я живу здесь, в этой линии, вот мой дом, тот серый, трехэтажный. Какая вы добрая, что не хотите больше секретничать со мною! Дайте мне руку, пойдемте. Давно

[1] Я — графиня Рокко ди Санто-Фиуме! (Io sono contessa Rocco di Santo-Fiume! — *итал.*).

ли вы здесь? И почему вы графиня? Вышли замуж за какого-нибудь итальянского конте?

Машурина ни за какого конте не выходила; ее снабдили паспортом, выданным на имя некоей графини Рокко ди Санто-Фиуме, недавно перед тем умершей,— и она с ним преспокойно отправилась в Россию, хотя ни слова не понимала по-итальянски и имела лицо самое русское.

Паклин привел ее в свою скромную квартиру. Горбатая сестра, с которой он жил, вышла навстречу гостье из-за перегородки, отделявшей крохотную кухню от такой же передней.

— Вот, Снапочка,— промолвил он,— рекомендую, большая моя приятельница; дай-ка нам поскорее чаю.

Машурина, которая не пошла бы к Паклину, если б он не упомянул имени Нежданова, сняла шляпу с головы — и, поправивши своей мужественной рукой свои по-прежнему коротко остриженные волосы, поклонилась и села молча. Она так вовсе не изменилась; даже платье на ней было то же самое, как и два года тому назад, но в глазах ее установилась какая-то недвижная печаль, которая придавала нечто трогательное обычно суровому выражению ее лица.

Снандулия побежала за самоваром, а Паклин поместился против Машуриной, слегка похлопал ее по колену и понурил голову; а когда хотел заговорить, принужден был откашляться: голос его прервался, и слезинки сверкнули на глазах. Машурина сидела неподвижно и прямо, не прислоняясь к спинке стула, и угрюмо смотрела в сторону.

— Да, да,— начал Паклин,— были дела! Гляжу на вас и вспоминаю... многое и многих. Мертвых и живых. Вот и мои переклитки умерли... да вы их, кажется, не знали; и обе, как я предсказывал, в один день. Нежданов... бедный Нежданов!... Вы ведь, вероятно, знаете...

— Да, знаю,— промолвила Машурина, всё так же глядя в сторону.

— И об Остродумове тоже знаете?

Машурина только кивнула головою. Ей хотелось, чтобы он продолжал говорить о Нежданове, но она не решилась просить его об этом. Он ее понял и так.

— Я слышал, что он в своем предсмертном письме упомянул о вас. Правда это?

Машурина не тотчас отвечала.

— Правда,— произнесла она наконец.

— Чудесный был человек! Только не в свою колею попал! Он такой же был революционер, как и я! Знаете, кто он собственно был? Романтик реализма! Понимаете ли вы меня?

Машурина бросила быстрый взгляд на Паклина. Она его не поняла — да и не хотела дать себе труд его понять. Ей показалось неуместным и странным, что он осмеливается приравнивать себя к Нежданову, но она подумала: «Пускай хвастается теперь». (Хоть он вовсе не хвастался — а скорей, по его понятиям, принижал себя.)

— Меня тут отыскал некто Силин,— продолжал Паклин,— Нежданов тоже писал к нему перед смертью. Так вот он, этот самый Силин, просил: нельзя ли найти какие-нибудь бумаги покойного? Но Алешины вещи были опечатаны... да и бумаг там не было; он всё сжег — и стихи свои сжег. Вы, может быть, не знали, что он стихи писал? Мне их жаль; я уверен — иные должны были быть очень недурны. Всё это исчезло вместе с ним — всё попало в общий круговорот — и замерло навеки! Только что у друзей осталось воспоминание, пока они сами не исчезнут в свою очередь!

Паклин помолчал.

— Зато Сипягины,— подхватил он снова,— помните, эти снисходительные, важные, отвратительные тузы — они теперь наверху могущества и славы! — Машурина вовсе не «помнила» Сипягиных; но Паклин так их ненавидел обоих — особенно его,— что не мог отказать себе в удовольствии их «продернуть».— Говорят, у них в доме такой высокий тон! Всё о добродетели толкуют!! Только я заметил: если где слишком много толкуют о добродетели — это всё равно, как если в комнате у больного слишком накурено благовониями: наверно, пред этим совершилась какая-нибудь тайная пакость! Подозрительно это! Бедного Алексея *они* погубили, эти Сипягины!

— Что Соломин? — спросила Машурина. Ей вдруг перестало хотеться слышать что-нибудь от *этого* о *нем*!

— Соломин! — воскликнул Паклин.— Этот молодцом. Вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросил и лучших людей с собой увел. Там был один... голова, говорят, бедовая! Павлом его звали... так и того увел. Теперь, говорят, свой завод имеет — небольшой — где-то там, в Перми, на каких-то артельных началах. Этот дела своего не оставит! Он продолбит! Клюв у него тонкий — да и крепкий зато. Он — молодец! А главное: он не внезапный

исцелитель общественных ран. Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы всё ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь — и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! только, батюшка, рви зуб!! Это всё — леность, вялость, недомыслие! А Соломин не такой: нет, он зубов не дергает — он молодец!

Машурина сделала знак рукою, как бы желая сказать, что «этого, стало быть, похерить надо».

— Ну, а та девушка,— спросила она,— я забыла ее имя, которая тогда с ним — с Неждановым — ушла?

— Марианна? Да она теперь этого самого Соломина жена. Уж больше года, как она за ним замужем. Сперва только числилась, а теперь, говорят, настоящей женой стала. Да-а.

Машурина опять сделала тот же знак рукою.

Бывало, она ревновала Нежданова к Марианне; а теперь она негодовала на нее за то, что как могла она изменить его памяти?!.

— Чай, ребенок уже есть,— прибавила она с пренебрежением.

— Может быть, не знаю. Но куда же вы, куда? — прибавил Паклин, видя, что она берется за шляпу.— Подождите; Снапочка нам сейчас чаю подаст.

Ему не столько хотелось удержать собственно Машурину, сколько не упустить случая высказать всё, что накопилось и накипело у него на душе. С тех пор, как Паклин вернулся в Петербург, он видел очень мало людей, особенно молодых. История с Неждановым его напугала, он стал очень осторожен и чуждался общества,— и молодые люди, с своей стороны, поглядывали на него подозрительно. Один так даже прямо в глаза обругал его доносчиком. С стариками он сам неохотно сближался; вот ему и приходилось иногда молчать по неделям. Перед сестрой он не высказывался; не потому, чтобы воображал ее не способной его понять,— о нет! Он высоко ценил ее ум... Но с ней надо было говорить серьезно и вполне правдиво; а как только он пускался «козырять» или «запускать брандер» — она тотчас принималась глядеть на него каким-то особенным, внимательным и соболезнующим взглядом и ему становилось совестно. Но скажите, возможно ли обойтись без легкой «козырки»? Хоть с двойки — да козыряй! Оттого-то и жизнь в Петербурге

начала становиться тошна Паклину, и он уже думал, как бы перебраться в Москву, что ли? Разные соображения, измышления, выдумки, смешные или злые слова набирались в нем, как вода на запертой мельнице... Заставок нельзя было поднимать: вода делалась стоячей и портилась. Машурина подвернулась... Вот он и поднял заставки и заговорил, заговорил...

Досталось же Петербургу, петербургской жизни, всей России! Никому и ничему не было ни малейшей пощады! Машурину всё это занимало весьма умеренно; но она не возражала и не перебивала его... а ему больше ничего не требовалось.

— Да-с,— говорил он,— веселое наступило времечко, доложу вам! В обществе застой совершенный; все скучают адски! В литературе пустота — хоть шаром покати! В критике... если молодому передовому рецензенту нужно сказать, что «курице свойственно нести яйца»,— подавай ему целых двадцать страниц для изложения этой великой истины — да и то он едва с нею сладит! Пухлы эти господа, доложу вам, как пуховики, размазисты, как тюря, и с пеной у рта говорят общие места! В науке... ха-ха-ха! *ученый Кант* есть и у нас; только на воротниках инженеров! В искусстве то же самое! Не угодно ли вам сегодня пойти в концерт? Услышите народного певца Агремантского... Большим успехом пользуется... А если бы лещ с кашей — *лещ с кашей*, говорю вам, был одарен голосом, то он именно так бы и пел, как этот господин! И тот же Скоропихин, знаете, наш исконный Аристарх, его хвалит! Это, мол, не то, что западное искусство! Он же и наших паскудных живописцев хвалит! Я, мол, прежде сам приходил в восторг от Европы, от итальянцев; а услышал Россини и подумал: «Э! э!»; увидел Рафаэля — «Э! э!..» И этого *Э! э!* нашим молодым людям совершенно достаточно; и они за Скоропихиным повторяют: «Э! э!» — и довольны, представьте! А в то же время народ бедствует страшно, подати его разорили вконец, и только та и совершилась реформа, что все мужики картузы надели, а бабы бросили кички... А голод! А пьянство! А кулаки!

Но тут Машурина зевнула — и Паклин понял, что надо переменить разговор.

— Вы мне еще не сказали,— обратился он к ней,— где вы эти два года были, и давно ли приехали, и что делали, и каким образом превратились в итальянку и почему...

— Вам всё это не следует знать,— перебила Машурина,— к чему? Ведь уж это теперь не по вашей части.

Паклина как будто что-то кольнуло, и он, чтоб скрыть свое смущение, посмеялся коротеньким, натянутым смехом.

— Ну как угодно,— промолвил он,— я знаю, я в глазах нынешнего поколения человек отсталый; да и точно, я уже не могу считаться... в тех рядах...— Он не закончил своей фразы.— Вот нам Снапочка чай несет. Вы выкушайте чашечку да послушайте меня... Может быть, в моих словах будет что-нибудь интересное для вас.

Машурина взяла чашку, кусочек сахару и принялась пить вприкуску.

Паклин рассмеялся уже начисто.

— Хорошо, что полиции здесь нет, а то итальянская графиня... как, бишь?

— Рокко ди Санто-Фиуме,— с невозмутимой важностью проговорила Машурина, втягивая в себя горячую струю.

— Рокко ди Санто-Фиуме,— повторил Паклин,— и пьет вприкуску чай! Уж очень неправдоподобно! Полиция сейчас возымела бы подозрения.

— Ко мне и то на границе,— заметила Машурина,— приставал какой-то в мундире; всё расспрашивал; я уж и не вытерпела: «Отвяжись ты от меня, говорю, ради бога!»

— Вы это по-итальянски ему сказали?

— Нет, по-русски.

— И что же он?

— Что? Известно, отошел!

— Браво! — воскликнул Паклин... Ай да контесса! Еще чашечку! Ну так вот что я хотел вам сказать. Вы вот о Соломине отозвались сухо. А знаете ли, что я вам доложу? Такие, как он — они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусишь, а они — настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это — не герои; это даже не те «герои труда», о которых какой-то чудак — американец или англичанин — написал книгу для назидания нас, убогих; это — крепкие, серые, одноцветные, народные люди. Теперь только таких и нужно! Вы смотрите на Соломина: умен — как день, и здоров — как рыба... Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием — так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше,— и ненавидит он то же, что мы нена-

видим, да нервы у него молчат и всё тело повинуется как следует... значит: молодец! Помилуйте: человек с идеалом — и без фразы; образованный — и из народа; простой — и себе на уме... Какого вам еще надо?

— И вы не глядите на то,— продолжал Паклин, приходя всё более и более в азарт и не замечая, что Машурина его уже давно не слушала и опять уставилась куда-то в сторону,— не глядите на то, что у нас теперь на Руси всякий водится народ: и славянофилы, и чиновники, и простые, и махровые генералы, и эпикурейцы, и подражатели, и чудаки (знавал же я одну барыню, Хавронью Прыщову по имени, которая вдруг с бухта-барахта сделалась легитимисткой и уверяла всех, что когда она умрет, то стоит только вскрыть ее тело — и на сердце ее найдут начертанным имя Генриха V-го... Это у Хавроньи Прыщовой-то!). Не глядите на всё это, моя почтеннейшая, а знайте, что настоящая, исконная наша дорога — там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины! Вспомните, *когда* я это говорю вам,— зимой 1870 года, когда Германия собирается уничтожить Францию... когда...

— Силушка,— послышался за спиной Паклина тихий голосок Снандулии,— мне кажется, в твоих рассуждениях о будущем ты забываешь нашу религию и ее влияние... И к тому же,— поспешно прибавила она,— г-жа Машурина тебя не слушает... Ты бы лучше предложил ей еще чашку чаю.

Паклин спохватился.

— Ах да, моя почтенная,— не хотите ли вы в самом деле?..

Но Машурина медленно перевела на него свои темные глаза и задумчиво промолвила:

— Я хотела спросить у вас, Паклин, нет ли у вас какой-нибудь записки Нежданова — или его фотографии?

— Есть фотография... есть; и, кажется довольно хорошая. В столе. Я сейчас отыщу вам ее.

Он стал рыться у себя в ящике, а Снандулия подошла к Машуриной и с участием, долго и пристально посмотрев на нее, пожала ей руку — как собрату.

— Вот она! Нашел! — воскликнул Паклин и подал фотографию. Машурина быстро, почти не взглянув на нее и не сказав спасибо, но покрасневши вся, сунула ее в карман, надела шляпу и направилась к двери.

— Вы уходите? — промолвил Паклин.— Где вы живете по крайней мере?

— А где придется.

— Понимаю; вы не хотите, чтоб я об этом знал. Ну, скажите, пожалуйста, хоть одно: вы всё по приказанию Василия Николаевича действуете?

— На что вам знать?

— Или, может, кого другого,— Сидора Сидорыча?

Машурина не отвечала.

— Или вами распоряжается безымянный какой?

Машурина уже перешагнула порог.

— А может быть, и безымянный!

Она захлопнула дверь.

Паклин долго стоял неподвижно перед этой закрытой дверью.

— «Безымянная Русь!» — сказал он наконец.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНАМ
1880

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНАМ

Решившись в предстоящем издании поместить все написанные мною романы («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь») в последовательном порядке, считаю нелишним объяснить, в немногих словах, почему я это сделал. Мне хотелось дать тем из моих читателей, которые возьмут на себя труд прочесть эти шесть романов сподряд, возможность наглядно убедиться, насколько справедливы критики, упрекавшие меня в изменении однажды принятого направления, в отступничестве и т. п. Мне, напротив, кажется, что меня скорее можно упрекнуть в излишнем постоянстве и как бы прямолинейности направления. Автор «Рудина», написанного в 1855-м году, и автор «Нови», написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет: «the body and pressure of time» *, и ту быстро изменявшуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений. Насколько это мне удалось — не мне судить: но смею думать, что читатели не усомнятся теперь в искренности и однородности моих стремлений.

Позволю себе прибавить несколько кратких замечаний о каждом из этих шести романов — замечаний, не лишенных, быть может, некоторого интереса.

«Рудин», написанный мною в деревне, в самый разгар Крымской кампании, имел успех чисто литературный не столько в самой редакции «Современника», где он был помещен, сколько вне ее. Помнится, покойный Некрасов, выслушав мое чтение, сказал мне: «Ты затеял что-то новое; но между нами, по секрету, скучен твой „Рудин“». Правда, несколько недель спустя тот же Некрасов, говоря со

---

* «самый образ и давление времени».

мною о только что написанной им поэме «Саша», заметил, что «ты, мол, увидишь, я в ней до некоторой степени подражаю твоему „Рудину“ — но ведь ты не рассердишься». Помню также, что меня очень изумило письмо Сеньковского (барона Брамбеуса), которого я чуждался, как вся тогдашняя молодая школа, и который отнесся к «Рудину» с великим сочувствием.

«Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю. Со времени появления этого романа я стал считаться в числе писателей, заслуживающих внимание публики.

Гораздо меньший успех имело «Накануне», хотя ни один из моих романов не вызвал столько статей в журналах. (Самою выдающеюся была, конечно, статья Добролюбова.) Покойный Н. Ф. Павлов сильно раскритиковал меня, а другому, ныне также покойному критику, некоему Дарагану дали даже обед по подписке в благодарность за весьма строгую статью о «Накануне», в которой он особенно настаивал на безнравственности главных действующих лиц. Появилось несколько эпиграмм; одна острота особенно часто повторялась: мое произведение потому-де названо «Накануне», что оно вышло накануне хорошего романа.

Прошу позволения у читателей рассказать — именно по поводу этого «Накануне» — небольшой эпизод из моей литературной жизни.

Почти весь 55-й год (так же как предшествовавшие три года) я безвыездно провел в своей деревне, во Мценском уезде Орловской губернии. Из числа моих соседей самым мне близким человеком был некто Василий Каратеев, молодой помещик двадцати пяти лет. Каратеев был романтик, энтузиаст, большой любитель литературы и музыки, одаренный притом своеобразным юмором, влюбчивый, впечатлительный и прямой. Он воспитывался в Московском университете и жил в деревне у своего отца, на которого каждые три года находила хандра вроде сумасшествия. У Каратеева была сестра — очень замечательное существо,— которая тоже кончила сумасшествием. Все эти лица давно уже умерли; оттого я так свободно говорю о них. Каратеев заставлял себя заниматься хозяйством, в котором ровно ничего не смыслил, и особенно любил чтение да разговоры с людьми ему симпатичными. Таких людей оказывалось немного. Соседям он не нравился за вольнодумство и насмешливый язык; к тому ж они

боялись знакомить его с своими дочерьми и женами, так как за ним упрочилась репутация — в сущности вовсе им не заслуженная,— репутация опасного волокиты. Ко мне он ездил часто — и его посещения доставляли мне почти единственное развлечение и удовольствие в тогдашнюю, для меня не слишком веселую, пору.

Когда настала Крымская война и произошел рекрутский набор на дворянство, названный ополчением, не жаловавшие Каратеева дворяне нашего уезда согласились, как говорится, упечь его — и выбрали его в офицеры этого самого ополчения. Узнав о своем назначении, Каратеев приехал ко мне. Меня тотчас поразил его расстроенный и встревоженный вид. Первым его словом было: «Я оттуда не вернусь; я этого не вынесу; я умру там». Здоровьем он похвалиться не мог; грудь у него постоянно болела, и сложения он был слабого. Хотя я сам боялся за него всех трудностей похода, однако я постарался рассеять его мрачные предчувствия и начал уверять его, что не пройдет и года — и мы снова сойдемся в нашем захолустье, будем опять видеться, толковать и спорить по-прежнему. Но он упорно настаивал на своем — и после довольно продолжительной прогулки в моем саду вдруг обратился ко мне с следующими словами: «У меня есть до вас просьба. Вы знаете, что я провел несколько лет в Москве,— но вы не знаете, что со мной произошла там история, которая возбудила во мне желание рассказать ее — и самому себе и другим. Я попытался это сделать; но я должен был убедиться, что у меня нет никакого литературного таланта, и всё дело разрешилось тем, что я написал эту тетрадку, которую я передаю в ваши руки». Сказавши это, он вынул из кармана небольшую тетрадку, страниц в пятнадцать. «Так как я уверен,— продолжал он,— несмотря на все ваши дружеские утешения, что я не вернусь из Крыма, то будьте так добры, возьмите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, что́ бы не пропало бесследно, как пропаду я!» Я стал было отказываться, но, видя, что мой отказ его огорчает, дал ему слово исполнить его волю и в тот же вечер, по отъезде Каратеева, пробежал оставленную им тетрадку. В ней беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание «Накануне». Рассказ, впрочем, не был доведен до конца и обрывался круто. Каратеев, во время своего пребывания в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, познакомившись с болгарином Катра-

новым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине), полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне — хотя неумело. Каратеев действительно не был рожден литератором. Однако только сцена, именно поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — и я в моем романе сохранил ее главные черты. Правда, в то время в моей голове вращались другие образы: я собирался писать «Рудина»; но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться. Прочтя тетрадку Каратеева, я невольно воскликнул: «Вот тот герой, которого я искал!» Между тогдашними русскими такого еще не было. Когда на следующий день я увидел Каратеева, я не только подтвердил ему мое решение исполнить его просьбу, но и поблагодарил его за то, что он вывел меня из затруднения и внес луч света в мои, еще до тех пор темные, соображения и измышления. Каратеев этому обрадовался и, повторив еще раз: «Не дайте этому всему умереть», уехал на службу в Крым, откуда он, к глубокому моему сожаленью, не вернулся. Предчувствия его сбылись. Он умер от тифа на стоянке близ Гнилого моря, где было помещено — в землянках — наше орловское ополчение, не видавшее во всё время войны ни одного неприятеля и тем не менее потерявшее от различных болезней около половины своих людей. Я, однако, отложил исполнение своего обещания: я занялся другой работой; кончивши «Рудина», я принялся за «Дворянское гнездо»; и только зимою, с 58-го на 59-й год, очутившись снова в той же деревне и в той же обстановке, как и во время моего знакомства с Каратеевым, я почувствовал, что уснувшие впечатления зашевелились; я отыскал, я перечел его тетрадку; отступившие на второй план образы выступили снова на первый — и я тотчас же принялся за перо. Некоторым из моих знакомых тогда же стало известным всё то, что я теперь рассказал; но я считаю своей обязанностью ныне, при окончательном издании моих романов, поделиться этим и с публикой и тем заплатить хотя позднюю дань памяти моего бедного молодого друга.

И вот каким образом болгарин сделался героем моего романа. А господа критики дружно упрекали меня в деланности и безжизненности этого лица, удивлялись моей странной затее выбрать именно болгарина, спрашивали: «Почему? С какой стати? Какой смысл?» Ларчик просто открывался — но я не почел тогда нужным входить в дальнейшие объяснения.

Об «Отцах и детях», кажется, нет нужды говорить подробно: этому роману посвящена целая глава моих «Литературных и житейских воспоминаний». Замечу одно: вот уже семнадцать лет прошло со времени появления «Отцов и детей», а, сколько можно судить, взгляд критики на это произведение всё еще не установился — и не далее как в прошлом году я, по поводу Базарова, мог прочесть в одном журнале, что я не что иное, как «башибузук, добивающий не им раненных». Правда, это сказал тот самый г. Антонович, который, вскоре после появления «Отцов и детей», утверждал, что г. Аскоченский предвосхитил содержание моего романа.

«Дым» хотя успех имел довольно значительный, однако большое возбудил против меня негодованье. Особенно сильны были упреки в недостатке патриотизма, в оскорблении родного края и т. п. Опять появились эпиграммы. Сам Ф. И. Тютчев, дружбой которого я всегда гордился и горжусь доныне,— счел нужным написать стихотворение, в котором оплакивал ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя с различных точек зрения, оскорбил и правую и левую сторону нашей читающей публики. Я несколько усомнился в самом себе и умолк на некоторое время.

Что же касается до «Нови» — то, я полагаю, не для чего настаивать на том, каким дружным осуждением было встречено это мое последнее, столь трудно доставшееся мне произведение. За исключением двух-трех отзывов — писаных, не печатных — я ни от кого не слышал ничего, кроме хулы. Сперва уверяли, что я всё это выдумал; что, живя почти постоянно за границей, я потерял всякое понимание русской жизни, русского человека; что одно лишь мелкое самолюбие да склонность к популярничанью водили моим пером; один журналист поспешил объявить, что всякий порядочный человек должен непременно плюнуть на мою книгу и тут же попрать ее ногами *. А потом,

* Один рецензент пошел еще далее. По поводу некоторых ста-

после известного процесса, оправдавшего бóльшую часть того, что называли моими выдумками, судьи мои принялись толковать другое: будто я сам чуть ли не участвовал в тех неблагонамеренных замыслах и, уж конечно, знал о них, ибо в противном случае — как бы мог я предвидеть и предсказать заранее?! и т. д. и т. д. Всё это потом пришло понемногу в равновесие; и во время моего последнего пребывания в России я мог убедиться, что, не отступая от некоторых, несомненно справедливых обвинений, главным образом основанных на моем удалении от родины, большинство моих соотечественников не считает мой последний роман вполне бесполезным, или вредным, или достойным одного презрения.

Так и оправдались иа мне слова покойного Белинского, которые он часто любил повторять: «Всякий человек рано или поздно попадает на свою полочку».

«Was ist der langen Rede kurzer Sinn?» — К чему клонится вся эта речь? — спросит, пожалуй, иной читатель. Во-первых, к оправданию того намерения, которое было выражено мною в первых же строках настоящего предисловия; а во-вторых, к следующему выводу, внушенному мне многолетним опытом:

Критика наша, особенно в последнее время, не может предъявить притязания на непогрешимость — и тот писатель, кто слушается *ее одной*, подвергается опасности испортить свое дарование. Главный ее грех состоит в том, что она несвободна. Не могу кстати не высказать своего мнения о «бессознательном и сознательном творчестве», о «предвзятых идеях и тенденциях», о «пользе объективности, непосредственности и наивности»— обо всех этих «жалких» словах, которые, из каких бы авторитетных уст они ни исходили, всегда казались мне общими местами, ходячей риторической монетой, которая потому только не считается за фальшивую, что ее слишком многие принимают за настоящую. Всякий писатель, *не лишенный таланта* (это, конечно, первое условие),— всякий писатель, говорю, старается прежде всего верно и живо воспроизводить впечатления, вынесенные им из собственной и чужой жизни; всякий читатель имеет право судить, насколько он в этом успел и где ошибся; но кто имеет право ука-

---

тей о переводах «Нови», появившихся за границей, он произнес следующее изречение: «Пускай иностранцы о нем статьи пишут; а мы даже плюнуть на него не хотим». Экая скупость, подумаешь!

зывать ему, какие именно впечатления годятся в литературу и какие — нет? Коли он правдив — значит, он прав; а коли у него нет таланта — никакая «объективность» ему не поможет. У нас теперь развелись сочинители, которые сами почитают себя «бессознательными творцами» и выбирают всё «жизненные» сюжеты; а между тем насквозь проникнуты именно этой злополучной «тенденцией». Всем известно изречение: *поэт мыслит образами*; это изречение совершенно неоспоримо и верно; но на каком основании вы, его критик и судья, дозволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цельную натуру (вот еще *жалкое* слово!), а коснись он чего-нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного — особенно если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр своих тою же самой народной, общественной жизнью,— вы кричите: стой! Это никуда не годится, это рефлексия, предвзятая идея, это политика! публицистика! Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разные... Нет! Они могут быть совершенно одинаковы у обоих; только публицист смотрит на них глазами публициста, а поэт — глазами поэта. В деле искусства вопрос: как? — важнее вопроса: что? Если всё отвергаемое вами — *образом*, заметьте: *образом*— ложится в душу писателя,— то с какой стати вы заподазриваете его намерения, почему выталкиваете его вон из того храма, где на разубранных алтарях восседают жрецы «бессознательного» искусства — на алтарях, перед которыми курится фимиам, часто зажженный собственными руками этих самых жрецов? Поверьте: талант настоящий никогда не служит посторонним целям и в самом себе находит удовлетворение; окружающая его жизнь дает ему содержание — он является ее *сосредоточенным отражением*; но он так же мало способен написать панегирик, как и пасквиль... В конце концов — это ниже его. Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют.

Париж. 1879. Август.



ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВЬ

Подготовительные материалы

I. ⟨Заметка о замысле романа⟩

Баден-Баден.
Пятница, 29/17-го июля 1870, *без четверти 10.*

Мелькнула мысль нового романа [1]. Вот она: есть *романтики реализма* (Онегин — не пушкинский, а приятель Ральстона). Они тоскуют о реальном и стремятся к нему, как прежние романтики к *идеалу*. Они ищут в реальном не поэзии — эта им смешна, но нечто великое и значительное,— а это вздор: настоящая жизнь прозаична и должна быть такою. Они несчастные, исковерканные — и мучатся самой этой исковерканностью, как вещью, совсем к их делу не подходящей. Между тем их явление, возможное в одной России, где всё еще носит характер *пропедевтический*, воспитательный, полезно и необходимо: они своего рода пророки, проповедники; а проповедник круглый, в самом себе заключенный и определившийся, немыслим. Пророчество — болезнь, голод, жажда: здоровый человек не может быть пророком и даже проповедником. Оттого я и в Базарова внес частицу *этого* романтизма, что заметил один Писарев. В противоположность этому Онегину — надо поставить настоящего практика на американский лад, который так же спокойно делает свое дело, как мужик пашет и сеет,— можно подумать, что он хлопочет только о своем желудке, о своем bien être [2], и счесть его за дельного эгоиста; только наблюдательный глаз может видеть в нем струю социальную, гуманную, общечеловеческую: она сказывается *в выборе* его занятия, в сознании долга перед другими, в честно выдержанно сером ⟨?⟩, во всем плебейском закале. Натура грубая, тяжелая на слово, без всякого эстетического начала — но сильная и мужественная, нескучливая, с выдержкой. У него своя религия — торжество *низшего класса*, в котором он хочет участвовать. Русский революционер.

К этим двум лицам присоединить тип русской красивой *позерки* (вроде Зубовой). До этого типа еще никто не касался. Он мне ясен. Потом тип девушки тоже несколько изломанной, «*нигилистки*», но страстной и хорошей (вроде г-жи Энгельгардт). Потом фигура [3]

---

[1] *Сверху листа позднейшее добавление*: NB. Мысль эта осуществилась 6 лет спустя в романе «Новь», конченном в Спасском 15/27 июля. И. Т.

[2] благосостоянии *(франц.)*.

[3] типе *(франц.)*.

вроде Ванички Новосильцева и других пигалиц (В. Шеншин, А. Шереметев). Для мужа позерки взять фигуру вроде Борисова — да нет, не Борисова, а деятеля государственного вроде графа Д. Толстого [4]. (Молодые Писемские как дельные ребята — отношение их к № 2).

Фабула мне еще далеко не видна... но вот что steht fest [5]:

№ 1 должен кончить самоубийством. Нигилистка (не назвать ли ее Марианной?) сперва увлекается им и бежит с ним — потом, разубедившись, живет с № 2.

NB. № 2 *не должен* представляться читателям как буржуа и пошляк, а нигилистка *должна* возбуждать сочувствие. Роль позерки во всем этом и ее мужа.

Нужно внести элемент политически-революционерный.

Женская фигура ⟨*1 нрзб.*⟩ должна пройти in dem Hintergrund [6].

№ 1 — Нежданов [7].

№ 2 —

№ 3 (позерка).

№ 4 (нигил.) Марианна.

Действие происходит в 1868-м.

1. *Нежданов* Алексей Дмитриевич — р. 1843.— 25.
2. Соломин Василий Федотыч [8] — р. 1840.— 28.
   Сын дьячка [9].
3. *Сипягин* Борис Иванович — р. 1820.— 48.
4. *Сипягина* Валентина Михайловна — р. 1839.— 29.
5. Коломенцев / Калломейцев } Семен Петрович [10]— р. 1838.— 30.
6. *Синецкая* Марьянна Викентьевна — р. 1846.— 22.
   (племянница Сипягина).
   Мать ее Варв⟨ара⟩ Ивановна [11].
7. Маркелов [12] Сергей Михайлович, брат Сип⟨ягиной⟩ —р. 1833.— 35.
8. Остродумов [13] Пимен (Ив⟨анович⟩) — р. 1843.— 25.

---

[4] да нет ∽ Д. Толстого *вписано.*

[5] несомненно *(нем.).*

[6] на заднем плане *(нем.).*

[7] *а.* ⟨*2 нрзб.*⟩ Направд⟨ин⟩ *б.* Незванов ⟨*1 нрзб.*⟩ Петр Николаевич.

[8] Герасимыч.

[9] Сын дьячка. *вписано.*

[10] Семеныч.

[11] Мать ее Варв⟨ара⟩ Ивановна. *вписано карандашом.*

[12] Мартьянов. *Далее встречаются оба варианта фамилии, и это различие не оговаривается.*

[13] *а.* То⟨милин⟩ *б.* Вознесенский Вячеслав Иванович.

9. Сипягина [14] Анна Захаровна — р. 1800.— 68.
Сестра Ивана Захаровича С⟨ипягин⟩а [15].
10. Машурина Фекла — ниг⟨илистка⟩ pur sang [16] (1838). 30.
11. *Паклин* Сила [17] Власьич [18]— р. 1841. 27.
Н. Нежд⟨анов⟩ — р⟨омантик⟩ р⟨еализма⟩.
С. Солом⟨ин⟩ — амер⟨иканец⟩.
С-н. Сипягин. Г⟨осударственный⟩ д⟨еятель⟩.
С-а. Сипягина. П⟨озерк⟩а.
С-я. Синецкая — н⟨игилистка⟩.
П. Паклин. Меф⟨истофель⟩.
К. Калломейцев — В⟨аничка⟩ Н⟨овосильцев⟩.
О. Остродумов, П.— туп⟨ец⟩ будущ⟨его⟩ ⟨?⟩.
А. З. Анна Зах⟨аровна⟩ — стар⟨ая дева⟩ }
М. Маркелов С. М. [19] } второ⟨степенные лица⟩ ⟨?⟩ [21]
озлобл⟨енный⟩ [20] }
Ф. Машурина.
Купец Голушкин.
Приказч⟨ик⟩ Федя.
Викент⟨ий⟩ Синец⟨кий⟩ (Вердеревский) [22].

II. Формулярный список лиц новой повести

Париж, февраль 1872 [1].

1

Паклин, Сила Самсоныч (р. 1841-го года).

Его прозывают «Российским Мефистофелем» — и я бы хотел сделать его таким. Во-первых, наружность: небольшого росту, худощавый, тщедушный [2], немного хромает, голова круглая, волосы черные, жесткие, короткие, лоб широкий, морщинистый, маленькие карие глаза, густые подвижные брови, нос острый, утиный, вздернутый, с наглыми ноздрями,— рот как у Языкова (М. А.)

---

[14] Томилина.
[15] Сестра ∽ С⟨ипягин⟩а. *вписано карандашом.*
[16] чистокровная *(франц.)*.
[17] *а.* Савелий *б.* Кондратий
[18] *а.* Силыч *б.* Васи⟨льевич⟩
[19] *Ниже вписано и зачеркнуто*: Киреев.
[20] *Вписано карандашом.*
[21] *Это замечание, вероятно, распространялось и на перечисленных ниже лиц.*
[22] Викент⟨ий⟩ ∽ (Вердеревский). *вписано карандашом.*
[1] *Заголовок*: Формулярный список ∽ 1872.— *на отдельном, титульном листе.*
[2] тщедушный *вписано.*

и зубы мелкие, белые. Выражение лица (цвет его желтый), когда молчит, почти унылое, как бы запуганное, когда говорит — забавное, злое, насмешливое, голос тоненький, смеется с визгом и захлебыванием. Чувствует свое превосходство, говорит самоуверенно,— привык тешить других и тешиться над ними. Ни во что не верит, кроме своего ума, трусоват физически [3] и в случае может подделываться — в нем жилка приживальщика. Циник страшный — относится ко всему цинически, но крупно, не мелко [4]. Любит клубничку. Страшный враг фальши, не столько в сущности, сколько в выражении, в рисовке, во фразе. Гораздо шире и глубже и дельнее Пигасова. Смело берется за все важнейшие вопросы и любит их разрешать меткими суждениями. Отец его мещанин, дослужившийся до титулярного. Был ходок по делам — подьячий — управлял имениями, домами, под конец жизни сильно пил. Сына П⟨аклин⟩ воспитывал в Коммерческом училище, хорошо знает по-немецки — служит в частной конторе с 1500 р. жал⟨ования⟩. Кормит слепую мать и горбатую сестру, которая моложе его. Знаком со множеством студентов, молодых людей. Как будто имеет пошиб политический — но это только по наружности, в сущности для этого слишком умен, да и знает, что на Руси давно — да чуть ли не навсегда — стоят царские власти. Но эти вопросы его привлекают — а главное возможность пооораторствовать и иметь кружок слушателей, почти благоговейных. Когда дело принимает вдруг серьезный оборот — пасует. Взять несколько от наружности Скачкова.

Он должен сказать про Нежданова: «Ты, брат, революционер — но не демократ. Таких много!»

О Москве.

Глаза горят — а на сердце скука и грызь.[5].

2

Нежданов, Алексей Дмитриевич, р. 1843. 25.

Побочный сын некоего генерал-адъютанта кн. Голицына и гувернантки его детей, умершей от родов. Наружность *Отто* — только рыжий. Удивительно белая кожа, руки и ноги самые аристократические. Ужасно нервен, впечатлителен, самолюбив. Воспитывался в пансионе у одного швейцарца, потом поступил в университет — по воле отца, ненавидящего нигилистов [6], по историко филолог⟨ическому⟩ факультету. Вышел кандидатом. Отец ему

---

[3] физически *вписано.*
[4] но крупно, не мелко. *вписано.*
[5] О Москве ∽ грызь. *вписано карандашом.*
[6] ненавидящего нигилистов *вписано.*

оставил 6000 р. сер. Братья его, фл⟨игель⟩-адъютанты, его не признают, но выдают ему 900 р. в год. Горд, склонен к задумчивости и озлоблению, трудолюбив. Темперамент уединенно-*революционный, но не демократический*. Для этого он слишком нежен и изящен. Досадует на себя за это, горько чувствует свое одиночество, не может простить отцу, что он пустил его по «эстетике». Поклонник Добролюбова. (Взять несколько от Писарева.) Скрытен и гадлив, но заставляет себя быть циником — на словах. В спорах раздражается немедленно. С Паклиным познакомился в кухмистерской. Полюбил его за его ум. Целомудрен и страстен (по женской части) — стыдится этого. Натура трагическая — и трагическая судьба. Голос приятный, несколько женский.

3

Маркелов, Сергей Михайлович, р. 1833. 35.

Небогатый. 120 душ. 1500 р. дохода [7].

Русский революционер. Наружность: смуглый, черноглазый, курчавые черные волосы. Лицо угрюмое, взгляд как бы сонный [8], энергическое упрямое выражение в носе, несколько крючковатом, широких правильных губах. Руки жилистые — весь жилистый. Голос — бас отрывистый. Впрочем, почти постоянно молчит. Неустрашим до отчаянности — но не оживлен. Может быть кровожаден, не умеет ни прощать, ни забывать, глубоко оскорблен и за себя и за всех угнетенных. Ограничен [9] и всё в одну точку бьет. Читает очень мало — прочел, что нужно (Герцена в особенн⟨ости⟩)[10], и готов на дело. Манеры резкие, но не назойливые — большей частью презрительно держится в стороне. Презирает легко и бесповоротно, особенно слабость. Служил в артиллерии и вышел поручиком по неприятности, в которой не совсем был прав, но где замешался немец. С отцом рассорился [11]. Ненавидит немцев (особенно русских немцев) [12]. Сохранил военную выправку. Живет спартанцем и монахом [13]. У него именьице в 4 верстах от губернского города, в 15 от имения Сипягиных — к ним надо ехать через город. Маркелов был страстно влюблен в одну девушку, которая ему изменила самым бесцеремонным образом и вышла за адъютанта — тоже из немцев (М⟨аркелов⟩ ненавидит адъютантов). Мартьянов пробовал пи-

---

[7] *Небогатый* ∽ дохода. *вписано.*
[8] взгляд как бы сонный *вписано карандашом.*
[9] Довольно огр⟨аничен⟩
[10] (Герцена в особенн⟨ости⟩) *вписано.*
[11] С отцом рассорился. *вписано.*
[12] (особенно русских немцев) *вписано.*
[13] и монахом *вписано.*

сать статьи о специальных недостатках нашей артиллерии, но у него совсем нет таланта изложения. Всё, однако, продолжает писать с великим упорством, почерк крупный, неуклюж⟨ий⟩ — à la Orloff [14]. Совершенно удобная и готовая почва для Нечаевых и К°. Презирает деньги.

Висячие черные жидкие бакенбарды. Никаких развлечений (карты, охота) не любит и не нуждается в них [15].

Чувство административности в нем развито, а потому, несмотря на свою резкость, он способен подчиняться влиянию; вообще он не голова — а правая, вооруженная рука.

4

Сипягина, Валентина Михайловна, 1839. 29.

Сестра предыдущего. Русская позерка. Наружность вроде Зубовой — смуглая (но не черноволосая, русая), напоминает Сикстинскую Мадонну — глаза удивительные. Несколько неуклюже сложена, плечи высоки, губы немного велики и бледны, но все-таки — прелестна. Воспитана в Институте Смольном. Ее отец — смирный и ограниченный генерал, мать умная и хитрая малороссска с [16] обычной простодушной наружностью. Валентина в Институте считалась республиканкой, а впрочем была на виду. Хорошо училась (отсутствие художественного элемента). Умна, не зла, даже желает добро делать, не без поэтичности и чувствительности, щедра, прогрессивна, но прежде всего: желание нравиться, желание властвовать — поза. В сущности, очень холодна. Во все любит вмешиваться и быть центром и главою. Деспотка, не может переносить самостоятельности в других. Манеры мягкие, почти вкрадчивые. Под старость разочаруется — и станет равнодушнее и лучше. Любит свет. Сипягин познакомился с ней, когда она жила с матерью в небольшой петербургской квартерке, холодной, как у Мещерской: виден пар, когда говорят. Сип⟨ягина⟩ смеется и находит, что это *как в церкви* [17]. Брата она побаивается — но чувствует, что гораздо умнее его; мужа она любит мало — но уважает его, т. е. видит в нем человека, который может далеко пойти. Разговаривает с ним мало. Он в ней ошибается, т. е.: думает, что она очень добра и мягка — только indolente [18]; брат ее знает гораздо лучше. У ней один сын 7-и лет, с которым она как будто много возится, но в сущности больше говорит о нем с умными людьми.

---

[14] Всё, однако ∽ à la Orloff. *вписано.*

[15] *Против характеристики*: Висячие ∽ в них. *приписано*: Кисляков.

[16] *Далее зачеркнуто*: добродушным

[17] холодной ∽ *как в церкви — вписано.*

[18] ленивая *(франц.)*.

Говорунья и повторяет удачно сказанные слова с таким видом, как будто в первый раз их произносит,— наивно, задумчиво — ⟨*1 нрзб.*⟩.

5

Синецкая Марьянна Викентьевна, 1846. 22 г.

Нигилистка, но из хороших, не самодельная от бездействия, самолюбия и пустоты, а натолкнутая на эту роль судьбой. Племянница Сипягина. Наружность вроде *Луизы* — только более женственная. Светлые большие серые глаза, большой нос, маленькие сжатые губы, росту почти небольшого, руки и ноги крошечные, волосы — красивые светло-русые — стрижет. А ходит всё в каких-то широких, перехваченных блузах. Энергия, упорство, трудолюбие, сухость и резкость, бесповоротность — и способность увлекаться страстно. (Маркелов ее полюбил — она хотела было себя заставить его полюбить, но не могла. Не довольно изящен, и не довольно молод, и не довольно умен [19]— она сама не воображает, как ей именно это нужно — оттого она отдалась Нежданову.) Ненавидит свою тетку и до некоторой степени презирает дядю. Положение ее весьма тяжелое. Отец ее, полуполяк (вроде Вердеревского), был уличен в громадной казенной краже, осужден, сослан, потом прощен — но умер без гроша; мать не перенесла этого удара — и вот ее дядя приютил ее («мы оба круглые сироты» — Сипягиной), но ей тяжко и тошно есть чужой хлеб — она непременно хочет на волю вырваться — держится она самостоятельно и несколько угрюмо. Сипягина всячески старается ее mettre à sa place [20]. Между ними постоянная, хотя весьма скрытая и вежливая борьба. С⟨инецк⟩ая занимается естественными науками, à la grande commisération [21] Сипягиной. Сипягин несколько ею тяготится. Она таки довольно тяжела.

Соломину она окончательно отдается в силу головного решения, которому всё — и самая жизнь ее — должно покориться. Да и оно авось дельно.

Надо будет хорошенько прочувствовать и передать, почему она отдалась Нежданову. Тут действовали: а) что в ней было женственного; б) привлекательность всего трагического — а с Неждановым она перенесла страшно трагические дни.

6

Сипягин, Борис Иванович, р. 1820. 48 л.

Средняя пропорциональная между Абазой и Жемчужниковым (и Валуевым [22]). Либеральный бюрократ. Высокого роста; голова

---

[19] и не довольно молод ∽ умен *вписано.*
[20] поставить на свое место *(франц.)*.
[21] к большому сожалению *(франц.)*.
[22] и, пожалуй, Валуевым.

маленькая, лицо внушительное и спокойное, манеры изящные, говорит отлично по-французски и даже по-английски — «haute école»[23]. Голос приятно-самоуверенный и тихий, движения рук благороднейшие — неизбежный министр. В 68-м имеет уже давно чин тайного советника, камергер — председательствовал в разных комиссиях, на отличном счету у государя; однако в 1868-м году несколько будирует, а оттого в деревне. Его *немножко* обошли. Умерен во всем. Во время эмансипации находил, что напрасно крестьянам дают землю, потом, однако, перешел на сторону Милютина. (Взять элемент Хрущова, кн. Оболенского — Д.). Склонен[24] к славянофильству и даже называ⟨ет⟩ себя славянофилом[25]— но без фанатичности. В сущности ограничен и неглубок — и сух и эгоист. В домашней жизни тоже вежлив и размерен. Отец его был известный правдолюбием и честностью сенатор, вроде Жемчужникова — старика. Имение довольно значительное — да и сам он, хотя честным образом, но увеличил его по разным железнодорожным предприятиям, где ему, просто из уважения, давались паи... (до «*калмыцких*» денег, однако, не доходило). От правительства получил аренду. Считает себя патриотом, но тоже умеренно. Тип русского juste milieu[26]. Одна слабость: игра. Проигрывается иногда сильно.

7

Соломин, Василий Федотыч.— 1840. 28 л.

Сын дьячка. Настоящий русский практик, на американский лад. См.— что сказано о нем в концепте[27]. Наружность — лошадиная в хорошем смысле. Крупный, костистый, мускулистый; цвет лица желтоватый, волосы белокурые с искорками, лицо длинное, как у ересиарха[28] Селиванова, глаза небольшие, серые, умные и симпатичные по простоте своего взгляда; взять физиономию Забелла ⟨?⟩; губы крупные, хорошие, зубы белые, движения медленные, но не неуклюжие. Силач; энергия[29] сказывается во всем, в самом смехе. Один у дьячка сын, пять[30] сестер, все замужем за попами да дьяконами; с согласия отца — хорошего старика, вроде Устюжского — бросил семинарию, пошел по естественным наукам и мате-

---

[23] высшая школа *(франц.)*.
[24] Несколько склонен.
[25] и даже ∽ славянофилом *вписано.*
[26] золотая середина *(франц.)*.
[27] См. с. 403.
[28] ересиарха *вписано.*
[29] энергии много
[30] ше⟨сть⟩

мат⟨ике⟩, в университет, потом попал на завод, к англичанину, выучился по-англий⟨ски⟩, ездил в Англию [31], говорит дурно, но толково (анекдот [32] по этому поводу с Сипягиным. Сол⟨омин⟩ говорит: я понимаю) [33]. Находится во время действия романа на большом заводе в качестве главного механика. Завод в 4 верстах от имения Маркелова. Большое влияние С⟨оломина⟩ на рабочих — и вообще оригинальное его положение. Он знает хорошо петербургских революционеров и хотя сочувствует им, однако держится на точке выжидания. Понимает невольное отсутствие народа, без которого ничего не поделаешь. Школы заводит [34]. Знакомится с Маркеловым... позже с Неждановым. Столкновения, вследствие которых те гибнут,— он остается цел.— Жестокие, запутанные сцены. Надо показать, что он остается цел не как хитрец и виляка и трус, а как умный и дельный малый, который даром не хочет губить ни себя, ни других. Даже Маркелов, погибая, выражает ему свое уважение. Сипягин знакомится с ним на заводе; он сам затевает нечто подобное и хотел бы его перетянуть. Надо показать, как Сипягин, сперва грандиозно и свободно входящий в этот бунтовщицкий круг, вдруг пугается, теряет голову и сам всех выдает — с высоты своего величия...

Постараться над отношениями Синецкой и Соломина.

NB. Сцена, где Маркелов не выдает его перед полицией, хотя сам гибнет.

8

Сипягина, Анна Захаровна, р. 1800. 68.

Тетка Бориса Сипягина. Старая дева; приживалка. Взять тип Берты Виардо.

9

Колломейцев [35], Сем⟨ен⟩ Сем⟨еныч⟩, р. 1838. 30.

Рабски и по мере возможности оскорбительно списать Ивана Петровича Новосильцева, прибавив к нему Маркевича [36]. NB. Надо, чтобы промелькнул его двоюродный брат Мишка Лонгинов [37].

---

31 ездил в Англию *вписано.*

32 разговор

33 Сол⟨омин⟩ ∽ я понимаю. *вписано.*

34 Понимает ∽ Школы заводит. *вписано.*

35 *В дальнейшем встречаются также написания*: Калломейцев, Коломейцев.

36 прибавив к нему Маркевича *вписано.*

37 NB. Надо ∽ Мишка Лонгинов. *вписано.*

10

Остродумов, Пимен, р. 1843. 25.

Семинар, тупец — вроде Кетчера, с меньшим самомнением. Фигура вроде покойного Голихмана ⟨?⟩. Рябой, громадный, губы синеватые, зубы как у лошади. Голос сиплый. Усердный и честный — но ограниченнейший.

11

Машурина, Фекла, ⟨р.⟩ 1838. 30.

Нигилистка pur sang [38]. Крупна и безобразна вроде Остродумова — но в 30 лет ц⟨...⟩а. Училась прилежно — хочет попасть в акушерки; подписывается: Машурина. Перчаток никогда не носит. Почерк крупнейший. Способна на всякое самоотвержение. Ест хлеб фунтами — и больше ничего. Нечаев делает из нее своего агента.

Разные NB.

1) Паклин сравнивает поездки наших русских в Америку с бросанием себя под колеса Джаггернаута [39].

III. Краткий рассказ новой повести

Париж. Февраль 1872 [1].

По задней лестнице дома в Офицерской взбирается в 5-й [2] этаж Остродумов — он идет к Нежданову. Он застает у него Машурину— а его нет. Она курит. Разговор между ними. Приходит Нежданов, раздраженный и больной. Разговор о безобразии начинающейся реакции. Является Паклин. Беседа. Намеки на «Тайное дело». Звонят... Входит Сипягин в бобрах. (Нежданов объявлял в газетах о том, что согласен отъехать на кондицию.) Накануне он случайно взял билет из гордости (история с офицером у кассы.— «Им, вероятно, сдачи будет нужно — а я беру в 1 ряду — вот 3 рубля!» [3]), попал во второй ряд во время представления комедии Остр⟨овского⟩ «Не в свои сани» — и, будучи соседом с Сипягиным, имел с ним разговор. Тот потом узнал от кн⟨язя⟩ Г., что это сын его отца, умный малый и т. д., и, прочтя в газетах объявление, является к нему. Машурина и Остродумов, обиженные присутствием аристократа,

---

[38] чистокровная *(франц.)*.

[39] *Запись на отдельном листе.*

[1] *Заголовок и дата — на отдельном, титульном листе. Первая редакция конспекта романа.*

[2] 6-й

[3] взял билет ∽ вот 3 рубля!» *вписано.*

уходят. Паклин остается полунаблюдателем, полузаинтересованный. Кончается тем, что Сипягин заключает условия с Неждановым быть учителем русского яз⟨ыка⟩, ист⟨орип⟩ и геогр⟨афии⟩, но не гувернером.— Желает сохранить свободу [4]. Отъезд через два дня. Сип⟨ягин⟩ уходит грациозно. Паклин объясняет Н⟨еждано⟩ву, кто именно этот Сипягин, потом оставляет его одного. Тут следует вкратце рассказать историю Нежданова.

Мы в деревне у Сипягиных. Весна. Сипягина у себя в гостиной. Ожидает прибытия мужа. Коля приходит и отсылается. Визит Колломейцева. Разговор (упоминовение о *Лонгинове*). Сипягина позирует и либеральничает. С⟨ипягина⟩ посыл⟨ает⟩ за Синецкой. Ее появление; показать враждебность их. Колл⟨омейцев⟩ ухаживает за Сипягиной — а она его направляет на Синецкую. Коля с Анней Захаровной. Едут! едут! Появление Сипягина и Нежданова. Сцены встречи и знакомства друг с другом. Нежданов нервозен и неловок. Покровительственный тон Сипягина, мягко-наблюдательные манеры его жены. Ему отводят его комнату — в 3-м[5] этаже. Вид на сад. Потом сходятся к ужину. Расходятся на ночь. За столом он сидит возле Синецкой. Колломейцев ораторствует в реакционерском вкусе [6], Сип⟨ягин⟩ ему умеренно противоречит. *NB*. Мужик пойдет с факелом [7].

Описание следующего дня. (Синецкая учит Колю французскому и музыке.) Нежданову сперва очень тошно — потом он как будто сходится с Синецкой.

Целая неделя.

История с воскресеньем, обедня, церковь — попы. Определяются характеры. Сипягин-хозяин, его фразы о необходимости русской landed gentry [8], упоминает о желании завести завод — и о Соломине. Борьба Сипягиной с Синецкой. Сипягина пробует покорить под *нози* Нежданова. Утренняя сцена в саду. Нежданов застает разлучное свидание Синецкой с Мартьяновым. Его удивление [9]. Разговор с Синецкой по этому поводу. Она должна в этот раз или прежде или после рассказать историю своего отца, свое положение в доме Сипягиных [10]. Еще большее удивление, когда Мартьянов, прибыв-

---

[4] быть учителем ∽ свободу. *вписано, причем* Желает сохранить свободу. *карандашом.*

[5] во 2-м

[6] в реакционерском вкусе *вписано.*

[7] *NB*. Мужик ∽ факелом. *вписано.*

[8] поместного дворянства *(англ.).*

[9] *Далее начато*: Обо вс⟨ём⟩

[10] Она должна ∽ Сипягиных. *вписано.*

ший к обеду и ничего не говоривший, вдруг является к нему в комнату, знакомится с ним и сообщает ему, что есть к нему письмо от Х. и что он *их* лагеря. Странное сближение (показать тупость Март⟨ьянова⟩ и нервоз⟨ность⟩ Нежд⟨анова⟩). На ночь они оба уезжают в деревню Март⟨ьянова⟩, куда приезжают за полночь,— застают Машурину и Остродумова курящими. Описание этой поездки—через город, где у кабаков еще толпится народ (под воскресенье) и т. д. [11] Они должны ехать дальше пропагандировать. Разговоры до зари (упоминовение Соломина). Нежданов не может спать — возвращается измученный и недоумевающий. Его грызет сомнение и какое-то отчаяние в то же время. Странный день, с разными штучками Сипягиной. На следующее утро объяснение с Синецкой. *Тут* она должна ему рассказать [12] про отца.

А потом и про Мартьянова и про намерения Сипягиной выдать ее за Коллом⟨ейцева⟩.

Еще неделя. Позерка продолжает свои штучки. Она хочет выехать на артистическом чувстве, которое она чует в Нежданове — но так как это в ней фальшь — оно ничего не выходит [13]. Решительная сцена за обедом. Схватка между Колл⟨омейцевым⟩ и Нежд⟨ановым⟩. Чуть не до ножей. Сипягин величественно принимает стор⟨ону⟩ Нежд⟨анова⟩. Позерка либеральничает [14].

Вечером свидание между Синец⟨кой⟩ и Нежданов⟨ым⟩. Она его полюбила — и он... и ему кажется, что он ее полюбил. Что делать? Разные планы. Нежд⟨анов⟩ поверяет ей, какие он имеет тайные поручения. От Мартьянова записка: надо на другой день ехать знакомиться с Солом⟨иным⟩. Синецкая восторженно входит во всё это.

Поездка на завод с Март⟨ьяновым⟩... Нежданову поручено сблизиться с Соломиным и Мартья⟨новым⟩ и другими и глупым купцом, социалистом, который дает деньги [15]. Описание. Соломин. Сближение этих трех лиц. Надо это хорошенько обрисовать и определить. Соломин только до некоторой степени входит в предложение. (Нежд⟨анов⟩ отпросился на два дня.) Ночуют [16] у Мартьянова. Утром идут к купцу, который имеет прозелитов. (Упоминовение об адвокате Урусове.) Комический пшик (дурковатый приказчик). В городском саду встреча с Паклиным! Каким образом? Объяснение. Он ежегодно привозит в этот город свою горбатую сестру на лето к родственникам. Нежданов, Март⟨ьянов⟩ заезжают к нему.

---

[11] Описание ∽ и т. д. *вписано.*
[12] объя⟨вить⟩
[13] Она ∽ не выходит. *вписано.*
[14] Позерка либеральничает. *вписано карандашом.*
[15] Нежданову ∽ деньги. *вписано.*
[16] Веч⟨ером⟩

Описать *оазис*. Потом обед с купцом и Соломиным. Насмешки Паклина, скепсис [17]. Мартьянов едет домой с Нежд⟨ано⟩вым. Страшная сцена между ними. (*Ревность*.— Мартьянов знает, что Синецкая его полюбила.) Чуть не смертельная стычка [18]. Марть⟨янов⟩ между прочим ему говорит, что он, Нежданов, изменяет своим убеждениям, что он уже не верит революции... (в душе Нежданов это сам чувствует). М⟨артьянов⟩ сначала как будто хочет себя уверить, что он из политических чувств *сам* отказался от С⟨инецк⟩ой [19].

Мартья⟨нов⟩ вдруг догадывается, что поступает дурно,— показать всё великодушие в этом характере.

Нежданов возвращается совсем сбитый с толку.

Объяснение с Синецкой. Так нельзя продолжать... Надо бежать. Он доверяется ей вполне... Она вся огонь — но он...— показать, как в нем постепенно всё разрушается.

Приезжает Соломин, выписанный Сипягиным. Описать хорошо весь этот день — обед и как себя он держит. Показать в нем настоящего из молодых. Впечатление, произведенное им даже на позерку. (Английская фраза.) Появление Колломейцева. Столкнуть его с ним.— Он в его gentry (да и ни в какое) не верит: ему надо быть чиновником [20].

Соломин не сходится с Сипягиным.

Вечерняя — скорей ночная — сцена между Солом⟨иным⟩, Неждановым и Синецкой. Они решились бежать. Соломин предлагает им пока остаться у него на заводе. — Там можно будет в случае нужды повенчаться, чтобы не отбили ее у него. Сцена эта должна быть решительною в том смысле, что в ней выказывается весь характер Соломина и возможность его будущего влияния на Синецкую [21].

На след⟨ующий⟩ день Сипягин как будто показывает, что ему всё известно, и он хотя не одобряет, но понимает. Выказать окончательно Сипягину, бесцеременно желающую выдать Синецкую за Колл⟨омейцева⟩ и попрекающую ее тем, что она их хлеб ест [22].

Вместе с Неждановым они убегают к Соломину.

Описание этого побега — потом первых дней. Надо, чтобы чи-

---

[17] скепсис *вписано*.

[18] Нежданов ∽ стычка. *написано карандашом. На полях рядом с этим текстом фраза*: NB. Марть⟨янов⟩ хочет тотчас начать бунтовать народ.

[19] М⟨артьянов⟩ ∽ С⟨инецк⟩ой. *вписано*.

[20] Он ∽ чиновником. *вписано*.

[21] *На полях рядом с фразой*: Сцена ∽ Синецкую.— *помета*: NB.

[22] *На полях рядом с текстом*: На след⟨ующий⟩ день ∽ хлеб ест.— *запись*: NB. Удивление Коли при одной сцене. Анна Захаровна ненавидит Синецкую — одной причиной больше, чтобы жизнь ей казалась нестерпимой.

татель понял, что Нежд⟨анову⟩ не удержаться на земле — и что происходило в Соломине и в самой Синецкой.

Слух доходит, что Маркелов — Соломину об этом донес его же работник [23] — начал проповедовать; Синецкая поощряет Нежданова; появление Машуриной. Она летит за границу и тоже поощряет. Остродумов где-то застрял [24].

Вдруг появляется Паклин: Маркелов, вздумавший проповедовать мужикам, схвачен и препровожден в город — купец Голушкин арестован и всё и всех выдал, желает перейти в православие (вспомнить слова Кожанчикова в моем деле). Нежданову то же предстоит. Смущение, тревога. Остается одно средство — Паклин берет на себя ехать к Сипягину, чтобы тот заступился за beau-frèr'а [25]... так как у него были сочувствия [26]... Он уезжает. Сипягин встречает его весьма вежливо, но узнав, в чем дело, вдруг разоблачается в чиновника-исполнителя; едет в город и — с совета жены — чуть не насильно берет Пак⟨лина⟩ с собою. Разговор в коляске. NB. Паклин о третьей руке Митроф⟨ана⟩ и т. д., о Константине из столба — если возможно [27]. (Калломейцев присутствует при сцене. Он приехал для соображения, что делать после побега Синецкой.) Сцены в городе с губернатором, с Маркеловым, который вдруг утихает и являет твердость и спокойствие необыкновенное. Сипягин, сам как бы не замечая, не то что доносит на Нежданова — а для собственной его безопасности. Он узнал косвенно от Паклина, что он у Соломина,— Паклину показалось, что он его не выдаст.— Не захочет же С⟨ипягин⟩ погубить свою племянницу. Однако принимаются распоряжения.

Между тем у Соломина происходит беда. Нежданов, после сцены с С⟨инецкой⟩, которая предчувствует,— жжет бумаги, идет в сад — и застреливается. Соломин и Синецкая приносят его домой — он умирает на их руках. Страшная ночь. Утром рано они оба уезжают, прибравши труп и сделав все распоряжения. Полиция налетает и т. д. (Доверенное лицо Соломина — *Павел* [28]— за всё отвечает: Соломин вернется.) Между тем С⟨оломин⟩ и С⟨инецк⟩ая обвенчались у знакомого священника (условие — не быть мужем и женою до тех пор, пока точно полюбят друг друга). Суд. Маркелов ссылается в Сибирь, Паклин выкарабкивается и возвращается напуганный в Петербург. Остродумов убит. Машурина исчезает.

Короткий эпилог. Через год. Сипягин снова в Петербурге и го-

---

[23] Соломину об этом ∽ работник *вписано.*
[24] Она летит ∽ где-то застрял. *вписано.*
[25] шурина *(франц.).*
[26] так как ∽ сочувствия... *вписано.*
[27] Разговор в коляске. NB. Паклин ∽ если возможно. *вписано.*
[28] *На полях помета*: Павел. Сделать из него лицо.

товится в министры. Паклин живет тихохонько. Соломин и Синецкая сошлись (узнать это из разговора П⟨аклин⟩а с Машуриной).

NB. Соломин отказался быть привлеченным в Петерб⟨ург⟩ и выведенным в люди чрез посредство Сипягина [29]. (Маркелов — там, где Чернышевский и др.)

NB[30].

Отдельные мысли.

1) Разговор между Неждановым и Паклиным перед его самоубийством.

2) Поместить стихотвор⟨ение⟩:

Милый друг, когда я буду...

IV. Рассказ новой повести[1]

По задней лестнице дома в Сфицерской в Петербурге взбирается в 5-й этаж Остродумов — он идет [2] к Нежданову. Он застает у него Машурину — а его нет. Она курит; и он просит у нее сигару и курит тоже. Разговор между ними. Намеки на общее дело. (Нечаев уже тут на заднем плане.)

Приходит Нежданов, раздраженный и больной. Разговор о безобразии начинающейся реакции. На Петербург и Москву надежда плохая. Надо бы пощупать провинцию. Является Паклин. Беседа. Новые намеки на «тайное дело». Паклин как будто горячее всех — но это потому, что само-то дело еще вдали и можно пока поговорить. Звонят. Входит Сипягин — в бобрах,— хотя дело уже в конце апреля.

Нежданов объявлял в газетах о том, что он согласен отъехать на кондицию,— дал свое имя и адрес. Накануне он был в театре; случайно — из гордости — попал во 2-й ряд. (Вышла история с офицером у кассы. Офицер стоял за ним.— «*Им*,— обращаясь к кассиру и говоря о Нежданове,— вероятно, будет нужно сдачи — а я вот даю 3 рубля; пожалуйте поскорее кресло в 1-м ряду».) Давали комедию Островского: «Не в свои сани не садись». Нежданов, будучи соседом с Сипягиным, разговорился о пиесе, в которой, при всем таланте Островского, не одобрял тенденции унижать цивилизацию. Сипягин стоял за патриархальность. Однако он заинтересовался своим собеседником и узнал от знакомого своего, флигель-адъютанта, князя Г., что это — сын побочный его отца, умный малый,

---

[29] NB Соломин отказался ∽ Сипягина. *вписано.*

[30] *Помещенные ниже записи сделаны на отдельном листе.*

[1] *Вторая редакция конспекта романа. На полях рядом с заголовком запись*: Время действия: *1868 г.*

[2] зашел

но красный и т. д. Прочтя в газетах объявление. Сипягин является к нему. Игривое его замечание, что это как бы перст... рока (т. е его вчерашняя встреча)[3]. Он хочет взять его в учителя своему сыну – и дает почувствовать, что высказанные Неждановым накануне мненья[4] не только не пугают его, С⟨ипягин⟩а — но, напротив, навели его на мысль взять его к себе в дом, так как он сам, С⟨ипяги⟩н,— либерал. Остродумов и Машурина, обиженные присутствием аристократа, уходят. Паклин остается полунаблюдателем, полузаинтересованным участником. Нежданову предлагают ехать в деревню — он соглашается быть учителем русского языка, истории и географии, но не гувернером — не хочет стеснять своей свободы. Сипягин третирует всё en gentleman[5] широко — и жалованье полагает большое и путевые издержки. Нежданов угрюмо соглашается на всё. Отъезд назначен через два дня. Сипягин уходит грациозно. Паклин объясняет Нежданову, кто именно этот человек, и уходит. Нежданов остается один... грустные думы. В кратких чертах рассказывается его биография и намечиваются главные линии его характера.

Мы в деревне у Сипягиной. Весна. Красивые дни. Большой дом; европейская отделка с небольшими восточными прорывами. Сипягина у себя в гостиной. Ожидает прибытия мужа. Коля приходит — и отсылается прочь; не до него. Визит Коломейцева.

Разговор. Он делает ей глазки — но она совершенно равнодушна, хотя любезна. Она в сущности никого не любит и не хочет любить — да и прочит Синецкую за Коломейцева. (Он упоминает о Каткове, о Лонгинове; показать его пошиб. Она в отсутствие других ему не противоречит; — при других она либеральничает.) Сипягина посылает за Синецкой. Та появляется. Показать немедленно враждебность этих двух натур и тягостные отношения. Колломейцев снисходительно ухаживает за Синецкой; Сипягина ему помогает. Коля с Анной Захаровной. Едут! Едут! Появление. Встреча. Позы Сипягиной. Появление ее мужа и Нежданова. Первые впечатления и знакомство. Нежданов нервозен и непокоен. Покровительственный тон Сипягина. Мягко-наблюдательные манеры его жены. Roideur[6] Синецкой. Нежданову отводят его комнату в 3-м этаже. Вид на сад. Размышления. Все сходятся к ужину — и расходятся на ночь. (Сегодня слишком все устали, чтобы играть в карты — в стуколку.) За столом Нежданов сидит возле Синецкой. Колломейцев ораторствует в реакционерном вкусе. Сочувственный

---

[3] Игривое ∾ вчерашняя встреча). *вписано.*
[4] мысли
[5] по-джентльменски *(франц.)*.
[6] Жесткость *(франц.)*.

взгляд, обмененный Синецкою и Неждановым. Сипягин умеренно противоречит Колломейцеву — напоминает о фразе Веневитинова: «Мужик пойдет с факелом»; «Да,— возражает тот,— ошибка была в том, что не мужики пойдут с факелами, а другие». Нежданов уходит к себе с тяжелым чувством: хозяева либералы — а между тем... скверно что-то.

Описание следующего дня. (Первый урок Коле; Сипягина кротко присутствует.) Синецкая учит Колю французскому и музыке. Нежданову сперва очень тошно, однако он сердится на себя и берет себя в руки.

Проходит целая неделя. Описать ее. Неделя в дворянском, не очень барском, либеральном доме. Всю фальшь выставить. История с воскресеньем; обедня; манера креститься так, чтобы крестьяне видели; книжечка Сипягиной... («Да что? Колдует она, что ль?» — вопрос мужика.) Потом попы — завтрак — гадливость. Фразы о необходимости завести русскую «landed gentry». (Опять Коломейцев; ввести, если нужно, мирового посредника, волостного старшину.) Сипягин — хозяин и желал бы завести тоже завод (определить какой — бумагопрядильный [7]) и упоминает о Соломине. Борьба Сипягиной и Синецкой продолжается. Сипягина пробует покорить себе под нози Нежданова; но из этого ничего не выходит — и он вдруг ее понимает, а сперва он должен в ней ошибиться. Сипягина хочет взять Нежданова со стороны эстетической; но он именно тут-то не поддается — потому что сам знает, что это его Ахиллесова пятка. (Не упомянуть ли здесь о стихотворении: «Милый друг»?) — Да сверх того он чует, что и это у ней фальшь и поза [8].

Утренняя сцена в саду — где Нежданов против воли делается свидетелем окончательной размолвки между Маркеловым и Синецкой. Он не может увернуться от объяснений с нею; впрочем, она сама в коротких словах, но решительно — à la nihiliste [9]— сообщает ему, в чем дело. Обед. Маркелов мрачен и безмолвен. Удивление Нежданова, когда вечером М⟨аркелов⟩ приходит к нему — и знакомится с ним и передает ему письмо X. (т. е. Нечаева), объявив притом, что он *их* лагеря. Объяснение; странное сближенье. Показать тупую, честную, ярую решительность Маркелова — и нервозность и взволнованность Нежданова. Маркелов теперь, когда он окончательно убедился, что он не любим, только и думает о том,

---

[7] не винокуренный ли?
[8] Сипягина хочет ∽ фальшь и поза. *вписано.*
[9] по-нигилистски *(франц.)*.

как бы скорее действовать. Он предлагает Нежданову уехать к нему в деревню — на ночь; уроков у него не будет раньше 2 часов следующего дня. Они точно отправляются. Описать эту поездку, через город, где у кабаков еще толпится народ (дело под *воскресенье*). Они приезжают в деревню за полночь — застают Машурину и Остродумова курящими и пьющими пиво [10]. Оба с порученьями — им предстоит ехать дальше пропагандировать. Разговор до зари. (Упоминовение о Соломине.) Нежданов не может спать, возвращается измученный, недоумевающий (NB. Маркелов требует немедленного действия — а как?). Его грызет сомнение и отчаяние в то же время.

Странный день с разными штучками и заигрываниями Сипягиной, на которую набежала *чувственная струя*: он ей предается, зная, что тут опасного нет. Вечерняя сцена (во время стуколки). Она отходит в сторону и нежничает. *Млеет добродетельно* [11].

На другое утро неожиданное объяснение с Синецкой, которую вчерашние нежничанья раздразнили. Она высказывает Нежданову историю своего отца, свое положение в доме — наконец и про Маркелова и про намерение Сипягиной выдать ее замуж. Нежданову нравится откровенность девушки, хотя она сама странная...

Еще неделя.

Нежд⟨анов⟩ получает записку от X.— о сближении с Маркеловым, Соломиным и купцом Голушкиным. Позерка продолжает свои штучки, Сипягин ездит к губернатору, сближение с Синецкой делает успехи. Наконец, в конце недели за обедом схватка с Коломейцевым. Сцена решительная — чуть не до ножей... («Клеврет ренегата!») [12]. Сипягин величественно принимает сторону Нежданова. Сипягина тоже либеральничает — но вдруг догадывается, что Нежд⟨анов⟩ ее ненавидит и презирает (смутно догадывается также, что он нравится Синецкой), и сама начинает ненавидеть и бояться его... [13]

Вечером поздно — свидание и объяснение между Синецкой и Неждановым. Она его полюбила... и он... и ему кажется, что он полюбил ее. Во всяком случае — в обоих так много сходного, близкого и оба ненавидят Сипягину. Что делать? Разные планы. Не-

---

[10] *На полях рядом с фразой*: Они ∽ пиво.— *запись*: NB. Маш⟨урина⟩ и Ост⟨родумов⟩ уже недели с три как из Петербурга.

[11] *На полях рядом с фразой*: Млеет добродетельно.— *запись*: Сипягина очень красива в этот вечер. (Придумать хорошенький туалет.)

[12] *На полях рядом с фразой*: Сцена решительная ∽ ренегата!») — *запись*: Маркевич. Фраза Фета.

[13] *На полях рядом с фразой*: Сипягина ∽ бояться его ...— запись: NB. Привычка у Синецкой вздыхать, как я видел у жены Рагозина.

жд⟨анов⟩ поверяет ей, какие он имеет тайные порученья. От Маркелова записка: надо на другой день ехать к Соломину на завод. Синецкая восторженно входит во всё это. Объяснение это происходит в пустой комнате наверху. Слышны шаги в коридоре — Синецкая говорит громко, как Полина про Берту: «Я знаю, кто нас подслушивает теперь... Сипягина. Мне всё равно!»

Поездка на завод с Маркеловым к Соломину. Описание завода и как живет Соломин. При свидании все три характера ясно обрисовываются. (Нежданов отпросился на оба дня.). Соломин только до некоторой степени входит в предложение X. Он близости, возможности революции в России не верит. Впрочем, едут все к Маркелову — ночевать. Большие толки.

NB. Дехтерёв!! [(Корюшкин)] (Кисляков). Маркелов собирает письма К⟨islyakov⟩а [14]. Маркелов рано получает записку от сестры, которая говорит ему, что Синецкая и Нежданов друг в друга влюблены. Едут все трое в город (утром) к купцу Голушкину, который обещает прозелитов. Голушкин старовер, глупый и чванливый, хочет прослыть прогрессистом, вроде Солдатенкова [15]. Сцена у купца— дурковатый приказчик — будто бы прозелит — упоминовение о князе Урусове, адвокате — шампанское в честь республики.— Ура! Зовет обедать. Нежданов несколько гнушается и Соломин посмеивается — но Маркелов говорит: нельзя — не разборчивые мы невесты. До обеда идут в городской сад... встреча с Паклиным! Какими судьбами? Объяснение. Он ежегодно привозит в этот город свою горбатую сестру на лето к родственникам. «Здесь у меня оазис». Родственники глупые и добрые до святости. Муж и жена — оба старые, бездетные — и никто их не зовет иначе как Фимушка (Серафима [16]) и Фомушка (Фома). И добры и глупы «до святости». Друг на друга даже похожи — и одеваются почти одинаково: толстенькие, кругленькие, в каких-то полосатых капотах — у одной на голове чепец, у другого колпак с теми же рюшами, как на чепце, только без банта. Паклин уверяет, что без банта и не узнаешь, кто — кто; тем более что Фомушка безбородый. «Посетите оазис». Приятели его посещают. Описать. (Политика туда не проникает.) Горбатая поет недурно, а слабым голосом. Клавесин. Слуга *Каллиопыч*. Девочка Пуфка и т. д. На обед с купцом отправляется Паклин. Прозелитом оказывается тот же приказчик, про которого не разберешь, что он: точно с придурью или подделывается под хозяина — всё только смеется и пьет. Паклин глумится. Разные обе-

---

[14] *NB*. Дехтерёв!! ∽ К⟨исляков⟩а. *вписано*.
[15] вроде Солдатенкова *вписано*.
[16] Аграфена.

щания и проч.[17] Соломин отправляется на завод — Паклин в оазис; Маркелов домой с Неждановым.

Страшная сцена между ними на дороге. Ревность Маркелова. Он знает, что Синецкая его любит. Чуть не смертельная стычка. Маркелов между прочим говорит Нежданову, что он, Н⟨ежданов⟩, изменяет своим убеждениям, что он уже не верит революции... (в душе Нежд⟨анов⟩ сам это чувствует). Маркелов сначала как будто хочет себя самого и Нежданова уверить, что он из политических чувств сам отказался от Синецкой, но не выдерживает характера... Подъезжая к усадьбе Маркелова, Нежданов хочет ехать дальше к Сипягиным; но тут показать всё великодушие Маркелова. Он догадывается, что поступает дурно, умоляет Нежд⟨анова⟩ зайти к нему... Сцена (NB. Надо, чтобы это хорошо вышло.) Маркелов кончает тем, что отдает вместе с небольшим портретом Синецкой Нежданову право на нее. (NB. Маркелов рисует, хотя плохо. Портрет сделан им и довольно схож.) Нежданов возвращается домой совсем сбитый с толку [18].

На другой день объяснение с Синецкой. Так нельзя продолжать... Надо бежать. Он доверяется ей вполне (этим выказывается его любовь — или собственно *это* он принимает за любовь, за единственно для него возможную...). Она — вся огонь, готова на всё, входит во всё... но он... показать в нем постепенное разрушение его убеждений, его напускной политической жизни. (Он должен бы быть по натуре художником, но и это не вышло; а для дилетанта он слишком беден — да это и претит ему.) С Сипягиной он окончательно враг.

Через два дня приезжает Соломин, выписанный Сипягиным, который всё мечтает об устроении завода. Описать весь этот день и обед, и как Соломин себя держит, и как Сипягин показывает ему хозяйство и сам собой любуется и либеральничает. Показать в Соломине настоящего из молодых. Впечатление, произведенное им на позерку. Она умна — и чует в нем дельного и крепкого человека. (Говорит про него мужу английскую фразу — Соломин замечает, что он знает по-английски.) Приезд Колломейцева — столкнуть его с Соломиным. Кол⟨ломейце⟩ва бесит, что Соломин вполне его игнорирует. Соломин в landed gentry — да и ни в какое не верит, на его

---

[17] *На полях рядом с фразой*: Разные обещания и проч.— *запись*: NB. Голушкин однако дает тысячу рубл. *на дело*.

[18] *На полях рядом с фразой*: Нежданов ∽ с толку.— *запись*: *NB*. Маркелов странно прощается с Неждановым; у него уже задумано: начать. Хочет собою жертвовать. *NB*. В разговоре было упомянуто слово «*жертва*» — и Паклин посмеялся.

глаза — всё это чиновники. По поводу завода он с Сипягиным не сходится.

Вечерняя или ночная сцена между им, Неждановым и Синецкою, которая очень внимательно слушала Соломина и поражена им. Она с Неждановым решились бежать. Соломин предлагает им — пока — остаться на заводе. (Положение Синецкой между Сипягиной и Колломейцевым и Анной Захаровной, которая тоже ненавидит Синецкую и при Коле делает ей сцены,— невозможно.) На заводе можно будет в случае нужды обвенчаться (*складной* поп Зосима двоюр⟨одный⟩ дядя Соломина [19]), чтобы не отбили ее у него [20]. Принято с благодарностью. Сцена должна быть решительною в том смысле, что в ней выказывается весь характер Соломина — и возможность его будущего влияния на Синецкую. Соломин уезжает в ночь. Его дорожные думы.

На следующий день Сипягин меланхолизирует (ему досадно, что завод упал в воду — он просто хотел переманить Соломина). Он делает вид, что ему всё известно — и что он хотя не одобряет, но понимает. (NB. Выказать окончательно Сипягину: она попрекает Синецкую, что она ее хлеб ест — а учительницу для Коли нанять стоило бы дороже.)

В ту же ночь она вместе с Неждановым, который держался весь этот день как-то тупо пассивно, убегает к Соломину.

Описание этого побега — отношений этих двух существ, приема Соломина, потом — первых дней на заводе. Надо, чтобы читатель понял, что Нежданов не удержится на земле — и что происходит в Соломине и Синецкой.

О венчании пока еще нет речи...

Житие одного дня.

Слухи вдруг начинают ходить, что Маркелов начал проповедовать. (Соломину об этом доложил его работник.) Синецкая начинает тоже поощрять и науськивать Нежданова: он медлит — тяжелые сцены. (Впрочем, Соломин на его стороне [21].—NB. Синецкой странно, что хотя и Сол⟨омин⟩ *не* советует, она не чувствует против него негодования.)

Внезапное появление Машуриной. Она летит с порученьем за границу — везет неизвестному лицу в Женеве половину куска [22]

---

[19] двоюр⟨одный⟩ дядя Соломина *вписано.*

[20] *На полях рядом с текстом*: На заводе ∽ у него.— *запись*: *NB*. Слово попа Алексея пред человечеством, т. е. в присутствии людей. *Требник.*

[21] *На полях рядом с текстом*: Слухи вдруг ∽ на его стороне.— *запись*: *NB*. Хозяин фабрики (или завода) вроде П. М. Третьякова — и вполне доверился Соломину.

[22] кусо⟨к⟩

картона с нарисованной виноградной веткой — и 279 р. сер. [23] Остродумов где-то застрял. Машурина тоже понукает. В самый развал недоуменье, тоска. Появляется Паклин с скверными известиями: мужики схватили Маркелова и препроводили в город. Дурковатый приказчик выдал Голушкина — он арестован, всё и всех выдает, желает перейти в православие — жертвует портрет государя в школу (вспомнить слова Кожанчикова по моему делу). Нежданову то же предстоит. Смятение, тревога. Остается одно средство: Паклин берет на себя скакать к Сипягину, чтобы тот заступился за beau-frèr'а, так как и он выказывал сочувствие — ну и за родственника [24] («Да мы еще не женаты».— «Ах! ну ничего... Соврать можно».) Он уезжает. Сипягин встречает его сначала вежливо, но, узнав, в чем дело, вдруг разоблачается в чиновника-исполнителя и труса; едет в город и, с совета жены, чуть не насильно берет с собою Паклина. Калломейцев, который присутствует при этой сцене (он приехал для соображения, что делать после побега Синецкой), тоже советует — «действовать» — и является уже Маркевичем «наголо». Он тоже скачет в город следом за Сипягиным. Разговор в коляске между Сипягиным и Паклиным; этот тщетно старается иронизировать, abonder dans le sens de M^r du gouvernement [25], говорит, что русского мужика может поднять только «выкраденная третья рука Митрофана» или «Константин Павлович из столба». Сипягин rit du bout des dents [26]— и суше и отдаленнее, чем когда-либо.

Приезд в город, к губернатору. Сцены в городе с ним, с Маркеловым, с мужиками, его поймавшими... он вдруг утихает и являет твердость и спокойствие необыкновенное. Сипягин, как бы сам того не замечая, доносит на Нежданова. Он узнал косвенно от Паклина, от Соломина, что Нежданов на заводе у Соломина. Паклин никак не думал, чтобы он его выдал, захотел губить свою племянницу — но в Сипягине уже свирепствовал будущий министр... Подъезжает Колломейцев. Безобразие. Торжество, трусость, ярость (вспомнить рассказ И. Новосильцева, когда он узнал о покушении 4-го апр⟨еля⟩).

Принимаются распоряжения... Паклина из презрения отпускают... Он вспоминает трехкратный крик петуха в Евангелии... Его последние слова с Маркеловым.

Между тем у Соломина на заводе беда! Нежданов, после тяжелой сцены с Синецкой, которая предчувствует — и предлагает напоследях жениться (поп Зосима предуведомлен), жжет бумаги,

[23] везет ∽ 279 р. сер. *вписано.*
[24] родственницу.
[25] быть одного мнения с государственным мужем *(франц.).*
[26] принужденно смеется *(франц.).*

идет в сад (10-й час вечера — ненастная погода) — и застреливается. Соломин и Синецкая приносят его домой — он умирает на их руках. Страшная ночь. Утром раненько они уезжают, прибрав труп и сделав все распоряжения. Полиция налетает. Остается доверенное лицо *Павел* (сделать из него нечто короткое, но типическое). Он за всё отвечает очень спокойно: «г-н Соломин вскорости вернется, а куда уехали — неизвестно». Нежданова увозят в город.

Между тем Соломин и Синецкая (это трудно, но так как это *верно* — всп⟨омнить⟩ свадьбу Успенского, который в Каре [27]) обвенчиваются у попа Зосимы — с условием не быть мужем и женой до тех пор, пока точно полюбят друг друга.

Суд.

Маркелов ссылается в Сибирь. Превосходно держит себя перед судом. Паклин выкарабкивается и возвращается напуганный в Петербург. Остродумов убит крестьянами. Машурина исчезает за границей.

Короткий эпилог: через 2 года. Сипягин снова в П⟨етербург⟩е и готовится быть министром. Жена его затеивает обществ⟨енные⟩ дешевые кухни и т. д. Соломин, который отказался быть привлеченным в Петербург и выведенным в люди посредством Сипягина, и Синецкая сошлись (узнать это из разговора Паклина с Машуриной, проявившейся под другим именем в П⟨етербург⟩е). Маркелов в Сибири. Колломейцев служит в Министерстве просвещения.

NB. В сцене (на суде) между Маркеловым и поймавшим его мужиком показать понимание М⟨аркеловы⟩м нрава мужика и сожаление мужика о «хорошем» барине.

V. ⟨Разные заметки [1]⟩

NB.

прохладные — блаженные?
о ключе?
Марк⟨елов⟩: Я упрям, я недаром малоросс.
г ⟨. . .⟩ — и добродетель
? лукаво, точно обманул...?
Фатеев — энергическ⟨ий⟩, смуглый: «не могу работать!»
Герои труда (статья).
значительная усмешка?
Якушкина!
когда не Павлы будут готовы, а Дутики *(Паклин)*.
рыжий (Нежд⟨анов⟩).

---

[27] *В тексте*: Таре — *по-видимому, ошибочно.*

[1] Многие заметки отмечены значками, видимо, помогавшими писателю ориентироваться при их использовании в тексте романа.

не козыряй с двойки.
Син⟨ягин⟩ в отпуску в деревне.
Кукольник — пластичен.
Мы вас жалеем.
Плоть Паклина слаба (о женщ⟨инах⟩).
Приап Эвнух.
Знакомство с Марианной побуждает Нежд⟨анова⟩ к политике.
Дворяне кабаки разводят.
Штатские хрипят, военные в основ⟨ном⟩ гнусят, выс⟨окие⟩ сан⟨овники⟩ и то и другое.
кички баб.
о Бакунине?
Вы знаете, я вам ни в чем отказать не могу (Соломин Нежданову).
волжкий?
холодна ли Марианна?
Сипя⟨ги⟩н ⟨*1 нрзб.*⟩.
Нежд⟨анов⟩ каким-то мизерным сидит за столом.
Сол⟨омин⟩ гов⟨орит⟩ Неж⟨данов⟩у: «Здравствуй!».
У тебя лицо меланхол⟨ическ⟩ое, а у него — убитое.
Знаешь ты, какое ремесло.
Сила Самуила — легче пуха, легче духа.
Всё под мышками режет?..
(предлагают подлость)... разделается тихо, *благородно*.
Dixi! (Кисляков).
Фланелевый набрюшник?
Колье!
Так приятно на вас смотреть, что даже печально.
Диди в дожде золот⟨ых⟩ листьев.
Ученый Кант.
2 брата, очень похожих друг на друга и ненав⟨идящих⟩ др⟨уг⟩ др⟨уг⟩а, смотрят д⟨руг⟩ н⟨а⟩ д⟨руга⟩ с яростью — а глаза те же.
Закрывает глаз с той стороны, которую целуют.
Мар⟨ианна⟩ кусает губы.
вспомнить о самоубийце Сахновской.
(m-lle Bixio).
Ложь ⟨?⟩ и сочинительство М. А. Милютиной.
Грусть Сипягиной.
веселенькие *(переклитки)*.
Паклин в городе на вакации.
Нежданов должен сам рассказать, что его видели.
Надеть степенный картуз (Албединский).
съ — потеряно.
почва!

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ[1]

Революционеры-семидесятники — И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. М.; Л.: Academia, 1930.

Фигнер — Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах. Изд. 2-е. М.: Изд. Общества политкаторжан. 1932.

[1] В настоящем списке раскрываются условные сокращения, вводимые впервые.

В настоящий том включены: повести и рассказы, создававшиеся Тургеневым в 1872—1877 годах («Пунин и Бабурин», «Часы», «Сон», «Рассказ отца Алексея»), роман «Новь», над которым писатель работал в 1870—1876 годах, «Предисловие к романам», написанное им в 1879 году для нового издания собрания своих сочинений.

Эти произведения создавались в сложной и напряженной исторической и общественно-политической обстановке. Тургенева, жившего после франко-прусской войны и падения Второй империи в основном в Париже, не могли не затрагивать самым непосредственным образом бурные события западноевропейской, и в частности французской, жизни. Разгоревшаяся во Франции после подавления Парижской Коммуны борьба между сторонниками республиканского строя и монархистами всех толков привела к упрочению буржуазной республики,— этого, по выражению Тургенева, «царства пошляков — Мак-Магонов». «...мне противна,— писал он А. А. Фету 27 сентября (9 октября) 1874 г.,— гнусная, безвозвратная, филистерская тишина и мертвая проза, которая водворяется повсюду — особенно во Франции!»

Характер и направление развития русской жизни также вызывали в эти годы у Тургенева чувство глубокой неудовлетворенности и тревоги. Не будучи в силах расстаться с верой в благодетельность крестьянской реформы 1861 года, он не мог все же не видеть, к каким тягостным последствиям в жизни русской деревни она привела. Не разделяя народнической веры в социалистическую природу крестьянской общины, писатель понимал, насколько далеко зашло ее разложение, с какой быстротой растет обнищание и разорение русского крестьянства, какую силу представляет уже в деревне кулак; он понимал иллюзорность надежд, которые возлагались народническими революционерами на «хождение в народ», хотя и относился с искренней симпатией к целям, которые их воодушевляли, к их готовности принести любые жертвы ради блага народа.

Безрадостные мысли о ходе политического развития России, к которым Тургенев пришел в предшествующие годы и которые нашли наиболее яркое выражение в романе «Дым», в сущности мало изменились. С решительным осуждением встречает Тургенев каж-

дый факт, свидетельствующий о росте реакции в России, о гонениях против свободной мысли, о притеснениях, которым подвергалась русская литература. В цитированном выше письме к Фету он так отзывался о Каткове, ставшем в эти годы вдохновителем реакционной политики самодержавия: «Всё, что у меня осталось ненависти и презрения, я перенес всецело на Михаила Никифоровича, самого гадкого и вредного человека на Руси...»

Отношения Тургенева с демократической частью русского общества, особенно обострившиеся с появлением «Отцов и детей» и затем — «Дыма», продолжали оставаться напряженными. Принимая ненависть, идущую из лагеря реакции, с неизменным спокойствием и, может быть, даже гордясь ею, Тургенев болезненно переживал нападки слева, которые, однако, не вызывали в нем чувства вражды или озлобленности. Наоборот, именно в семидесятые годы он с постоянно растущим интересом и доброжелательным вниманием относился к деятелям русского революционного движения, в частности к эмигрантам, обосновавшимся в Париже. Он не только оказывал нуждающимся эмигрантам материальную помощь, но и регулярно субсидировал журнал «Вперед!», издававшийся П. Л. Лавровым. С самим Лавровым Тургенев в последние десять лет своей жизни поддерживал постоянную связь, о чем свидетельствует сохранившаяся часть их переписки. С сердечной приязнью относился Тургенев и к Г. А. Лопатину, который во время своих приездов в Париж был частым гостем писателя.

Уже после смерти Тургенева, когда вопрос о его политических взглядах стал предметом ожесточенной полемики, когда русские реакционные и либеральные газеты выступали с лживыми заявлениями о покойном писателе, Лопатин счел необходимым противопоставить этому нестройному хору свое мнение непосредственного свидетеля и очевидца. В статье, предназначенной для помещения в одной из английских газет, но оставшейся не напечатанной, он писал: «...как художник, Тургенев не был человеком строго определенной политической программы и мало думал над подобными вопросами. Но он был всегда горячим другом политической свободы и непримиримым ненавистником самодержавия. ⟨. . .⟩ он всегда относился с самым горячим сочувствием ко всякой самоотверженной борьбе с ненавистным ему самодержавием и всегда был готов помочь участникам в этой борьбе всем, что он считал совместимым с собственным самосохранением, не разбирая при этом тех программ и знамен, под которыми сражались эти люди» (*Лит Насл*, т. 76, с. 246—247; публикация А. Н. Дубовикова).

Глубокий интерес Тургенева к вопросам, связанным с развитием революционного движения в России 1870—1880-х годов, наложил печать на всё его творчество этого периода — от романа

«Новь» до неосуществленного замысла повести «Наталия Карповна» (1883), в которой он предполагал вывести «новый в России тип — жизнерадостного революционера» (см. наст. изд., т. 11).

Повести и рассказы семидесятых годов не укладываются целиком в русло этого главного направления творческой работы писателя — в них он разрабатывал по преимуществу темы, почерпнутые из воспоминаний о прошлом. Но и на удаленном более или менее значительно от современности историческом материале Тургенев обращался порой к темам и образам, связанным с историей русского революционного движения. Это относится главным образом к повести «Пунин и Бабурин», центральное место в которой занимает суровая и непреклонная фигура мещанина-республиканца, участника дела петрашевцев, осужденного в 1849 году на ссылку в Сибирь. В рассказе «Часы» Тургенев немногими штрихами намечает образ отца Давыда, вольнодумца, пострадавшего при Павле I «за возмутительные поступки и якобинский образ мыслей».

Писателя привлекает в эти годы и разрешение художественных задач иного рода — не социально-исторических, а чисто психологических. В рассказе «Сон» он сосредоточивает свое внимание на психо-физиологической проблеме и не случайно, по-видимому, в письме к Л. Пичу от 23 января (4 февраля) 1877 г. называет это свое произведение «коротким полуфантастическим, полуфизиологическим рассказом». Можно думать, что этим рассказом Тургенев по-своему откликнулся на те попытки теоретического объяснения явлений наследственности, которые были выдвинуты в шестидесятых—семидесятых годах XIX века рядом европейских ученых, начиная с Дарвина, и вокруг которых велись тогда оживленные споры.

В «Рассказе отца Алексея» Тургенев раскрывает историю больной человеческой души, которая гибнет в результате галлюцинаций, возникших на почве религиозных представлений и верований. Но здесь психологическая задача совместилась с задачей художественно-стилистической. Вероятно, не без влияния флоберовских «легенд», над переводом которых на русский язык он работал в это же время, Тургенев придавал очень большое значение верному воспроизведению трогательного в своей бесхитростной простоте и наивности языка и речевой манеры сельского священника. Недаром, посылая М. М. Стасюлевичу этот рассказ одновременно с переводом «Иродиады» Флобера, он назвал его «легендообразным».

Если рассматривать повести и рассказы семидесятых годов в их совокупности, то следует прийти к выводу, что между ними и одновременно создававшимся романом «Новь» нет той прямой и непосредственной связи, какая существует, например, между повестями и рассказами сороковых—пятидесятых годов, разраба-

тывавшими проблему «лишних людей», и романом «Рудин», в котором эта проблема нашла наиболее полное и законченное выражение. Вместе с тем эти произведения не образуют собою замкнутого, обособленного цикла, они в значительной мере разнородны по своим темам и образам, по идейно-художественным задачам, которые писатель ставил перед собой. Но каждое из них, будучи поставлено в связь с предшествующим или последующим творчеством Тургенева, воспринимается как его неотъемлемая часть.

Роман «Новь» — самый крупный по объему из романов Тургенева и самый злободневный из них в общественно-политическом отношении — занял более шести лет творческой жизни писателя, на протяжении которых замысел романа претерпел ряд существенных изменений. Изменения эти были вызваны новыми впечатлениями от русской общественно-политической жизни, вынесенными Тургеневым из его поездок в Россию в 1872, 1874, 1876 годах, общением, как уже сказано выше, с русской революционно-народнической эмиграцией, изучением современных политических процессов: «нечаевская» тема, намечавшаяся в 1872 году, сменилась другой — темой «хождения в народ» революционной интеллигенции, ставшей основной политической и психологической темой романа. Вместе с тем углубилась, стала значительнее и острее линия разоблачения дворянско-бюрократической реакции — соответственно усилению правительственной и общественной реакции в России с начала 1870-х годов.

«Новь» стала последним романом в творчестве Тургенева. Сам писатель, закончив его, отчетливо сознавал, что он уже не сможет вернуться к большой форме — по крайней мере, в плане русского социально-психологического романа: этому препятствовало и его ухудшавшееся здоровье, и то, что русская общественная жизнь конца 70-х годов и особенно после 1 марта 1881 года не давала материала, доступного художественному изображению, хотя бы в силу цензурных препятствий. Издавая в 1880 году — вскоре после публикации «Нови» — новое собрание своих сочинений, Тургенев впервые объединил в трех его томах (III, IV, V) все шесть романов: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь» — и сопроводил их предисловием, в котором подвел итог этой важнейшей, «романной» группе своего творчества, рассматривая ее как единую и цельную линию и впервые уверенно определяя все вошедшие сюда произведения как романы — до этого он большей частью называл их повестями. Такой заключительный, итоговый характер «Предисловия к романам» вполне оправдывает помещение этой статьи в одном томе с последним романом Тургенева, непосредственно после него.

Тексты произведений, входящих в настоящий том, подготовили и примечания к ним написали: *А.И. Батюто* (раздел VI общего комментария к «Нови». реальный комментарий к роману; «Предисловие к романам» — текст и комментарий); *И.А. Битюгова* («Рассказ отца Алексея»); *Н.Ф. Буданова* (основной текст «Нови», подготовительные материалы и реальный комментарий к ним; комментарий к «Нови» — разделы I—V, VII); *Т. П. Голованова* («Часы»); *Г.Ф. Перминов* и *Н. Н. Мостовская* («Сон»); *М. А. Турьян* («Пунин и Бабурин»).

В подготовке тома к печати принимала участие *Е.М. Лобковская*.

Редакторы тома — *А.С. Бушмин*, *А.Н. Дубовиков*, *Н.В. Измайлов*.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПУНИН И БАБУРИН

(с. 7)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Пунин и Бабурин. Рассказ И. С. Тургенева», черновой автограф, 52 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 81; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 324.

«Пунин и Бабурин. Рассказ И. С. Тургенева», беловой автограф первой половины рассказа (до слов: «я отправился домой» — с. 36), 36 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 223.

ВЕ, 1874, № 4, с. 553—601.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 7, с. 325—387.

Т, *Соч*, *1880*, т. 9, с. 193—258.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 9, с. 209—280.

Впервые опубликовано: *ВЕ*. 1874, № 4. с подписью: Ив. Тургенев — и пометой: Париж, 1874.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 9, *строка 6:* «прочу» вместо «прошу» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 22, *строка 8:* «и к другим дурным» вместо «и к другим» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 29, *строка 1:* «обернувшись» вместо «обернулась» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 30, *строки 42—43:* «В выс...шей сте...пе...ни!» вместо «выс...шей сте...пе...ни!» (по всем другим источникам).

Стр. 31, *строка 12:* «что он называет» вместо «что он называл» (по черновому, беловому автографам и *ВЕ*).

Стр. 31, *строка 37:* «общее выражение лица» вместо «вообще выражение лица» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 41, *строка 41:* «не знаешь?» вместо «знаешь?» (по *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 46, *строка 24:* «голоском» вместо «голосом» (по черновому автографу, *ВЕ* и *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 47, *строка 13:* «горящими глазами» вместо «горячими глазами» (по черновому автографу и *ВЕ*).

Стр. 54. *строка 20:* «вызвала» вместо «вызывала» (по черновому автографу, *ВЕ* и *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 55, *строки 28—29:* «но выражение благодарности» вместо «выражение благодарности» (по черновому автографу, *ВЕ* и *Т*, *Соч*, *1874*).

Повесть «Пунин и Бабурин» была написана Тургеневым в 1872—1874 годах.

Работа над нею, как помечено Тургеневым на рукописи, началась 27 ноября (9 декабря) 1872 г. Однако вначале она велась с большими перерывами.

Летом 1873 г. Тургенев виделся в Карлсбаде и Париже с М. М. Стасюлевичем и писал по поводу этих встреч Я. П. Полонскому: «Он ⟨Стасюлевич⟩ напоминает мне о моей повести... а я только хвост поджимаю» (письмо от 26 сентября (8 октября) 1873 г.). Через три с лишним недели, извещая Стасюлевича о том, что работа «начала подвигаться», Тургенев писал, что «к обещанному сроку она готовой быть не может: дай бог, чтобы я мог привезти ее с собою в Петербург в течение января!» (письмо от 20 октября (1 ноября) 1873 г.). Но видя, что и к этому времени повесть закончена не будет, он 16 (28) декабря 1873 г. писал своему издателю: «Что же касается до меня и до моей поездки в Россию, то она зависит от того, как идет моя работа, *ибо с пустыми руками я явиться к Вам не хочу*. Из этого следует, что я еще не скоро попаду в Петербург, ибо работа подвигается туго. Однако бездействие полное, столь долго господствовавшее, прекратилось». И, наконец, 10(22) февраля 1874 г. Тургенев сообщил Стасюлевичу о завершении работы над «Пуниным и Бабуриным»: «... *я окончил вчера* назначенную для „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩“ повесть — сегодня примусь за переписку — и через две недели пакет отправится к Вам в Петербург». 6 (18) марта 1874 г. Тургенев адресовал Стасюлевичу письмо следующего содержания: «Третьего дня, любезнейший Михаил Матвеевич, отправил я Вам мою повесть. Полагаю, что она еще успеет попасть в апрельский № „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩“,— однако, если бы Вы распорядились иначе, то покорнейше прошу Вас о следующем: *Немедленно велеть, разумеется на мой счет, переписать ее и прислать мне эту копию сюда.* Это первое мое произведение, которое попадает в печать, не подвергнувшись критике моих приятелей, а в особенности П. В. Анненкова, которому я всегда давал читать мои рукописные вещи и советы которого были всегда чрезвычайно дельны и драгоценны для меня. Если „Пунину и Бабурину“ суждено явиться в свет не раньше мая, то я успею еще отослать рукопись к Анненкову в Ниццу — и, получив его замечания, сделать нужные сокращения, прибавления или варианты, которые бы я столь же поспешно препроводил Вам, так чтобы Вы имели их под рукою задолго до напечатания самой повести. ⟨. . .⟩ Надеюсь, что Вы исполните мою просьбу, и во всяком случае известите меня в какой № „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩“ попадет моя работа — в апрельский или майский?».

Познакомить Анненкова с повестью до ее опубликования Тургеневу не удалось, так как она появилась в свет в апреле. Тем не менее писатель продолжал интенсивную работу над текстом вплоть до отправки рукописи в Петербург. Об этом говорят следующие факты.

Извещая Стасюлевича о завершении работы над повестью, Тургенев обещал выслать ему набело переписанную рукопись через две недели. На деле же повесть была отправлена в Петербург 4 (16) марта — т. е. примерно через три недели. Причина этой задержки вполне ясна. Из-за многочисленных поправок, всё еще вносившихся в текст, за указанное время Тургеневу пришлось переписать повесть не один раз, как предполагалось, а дважды (подробнее об этом см. ниже).

Один из сохранившихся автографов «Пунина и Бабурина», описанный как беловой (см.: *Mazon*, p. 81), является в действи-

тельности черновым. Черновой автограф был, видимо, единственным полным рукописным текстом «Пунина и Бабурина», оставшимся у писателя после отправки в Петербург наборной рукописи [1], и на титульном листе его значится: «Начат в Париже, 48, rue de Douai, в воскресенье 9-го дек./ 27-го нояб. 1872. Кончен там же в понедельник 16-го 4-го марта 1874[2] (52 стр.). Писано с громадными перерывами». Ниже дописано, очевидно, уже после выхода повести в свет: «(Напечатано в апрельской книжке „Вестника Европы“ 1874 г.)». Названную дату записывает Тургенев и в конце чернового автографа: «Париж. Rue de Douai, 48. Понедельник, 16/4 марта 1874, 3 часа п. п.», причем эта запись также сделана явно позже — чернилами, отличающимися от тех, которыми написаны последние страницы рукописи. Вероятно, именно о завершении чернового автографа и извещал Тургенев своего издателя в письме от 10 (22) февраля 1874 г. (см. выше, с. 431).

Имеющийся у нас второй, незавершенный автограф «Пунина и Бабурина» вначале предназначался, по всей вероятности, для набора. В соответствии с этим оформлен и его титульный лист, на котором указаны только название произведения, фамилия автора и место и время создания повести: «Пунин и Бабурин, рассказ И. С. Тургенева. Париж, 1874».

Однако работа над текстом не прекращалась, и это вскоре привело к тому, что беловой автограф еще в процессе переписывания приобрел вид черновой рукописи и, следовательно, не мог быть отправлен в Петербург. Именно поэтому он и не был завершен. Последняя страница этой рукописи кончается на середине листа фразой: «И, посвистывая себе под нос, я отправился домой» (5-й раздел II главы), и под текстом поставлена завершающая черта. Писатель, стесненный сроками, оставил беловой автограф незаконченным и приступил, очевидно, еще раз к переписыванию текста. Новая, уже действительно беловая рукопись и явилась наборной. Нам эта рукопись неизвестна, но о ее существовании можно судить по весьма значительным расхождениям, имеющимся между беловым автографом и текстом первой публикации «Пунина и Бабурина».

В регулярной и подробной переписке Тургенева со Стасюлевичем, касающейся «Пунина и Бабурина», нет решительно никаких упоминаний ни об отправке писателю в Париж корректур, ни о получении и прочтении их автором. Напротив, в письме от 10 (22) марта 1874 г. издатель «Вестника Европы» писал Тургеневу: «Вчера 〈. . .〉 я получил давно жданную гостью и мог только взглянуть на заглавие и конец. Это было 2 часа дня: через полчаса должны были начаться работы в типографии, и потому я с одним рассыльным послал рукопись для немедленного набора, а с другим — благодарственную телеграмму Вам. Сегодня утром мне принесли первую форму набора: как видите, мы не дремлем! Вот Вам ответ на только что мною полученное Ваше письмо от среды с вопросом: в апрельской или майской книге будет напечатан рассказ Петра Петровича Б. Конечно, в апрельской! 31 марта пасха, а первого апреля мы разошлем подписчикам — красное яичко...»; «...сегодня,— продолжал Стасюлевич,— несмотря на воскресенье половина типографии на ногах, чтоб набрать Вашу рукопись. Послезавтра

[1] Эта наборная рукопись до нас не дошла.

[2] Дата окончания работы не над черновым автографом, а над наборной рукописью.

вся машина пойдет в ход на всех парах, чтоб наверстать пропущенное время. Но не бойтесь за Вашу статью: мы только сверстаем, но не будем спешить печатанием, а будем печатать листы следующих статей: Ваша же подвергнется одной лишней корректуре. Кроме меня, будет читать ее Пыпин. Начало мне очень понравилось...» (*ИРЛИ*; 5778, XXXб. 68а).

Ни Стасюлевич, ни Пыпин не могли, без сомнения, позволить себе то немалое количество исправлений, которыми отличается печатный текст повести от белового автографа.

Отметим еще одно обстоятельство.

На полях с. 49 чернового автографа рукой Тургенева сделана схема — распределение страниц рукописи по главам,— не совпадающая с аналогичной схемой в беловом автографе. Схема эта, вероятно, соответствует тому, что было сделано в наборной рукописи, и Тургенев оставил ее у себя для памяти.

Работая над текстом «Пунина и Бабурина», Тургенев в основном стремился усилить социально-политическое звучание повести, внося в связи с этим новые детали в обрисовку ее героев.

Прежде всего это относится к образу непокорного республиканца. Так, правя черновик, Тургенев дополняет его рассказом Пунина о происхождении Бабурина (с. 37—38), подробнее мотивирует право Бабурина на любовь Музы (с. 38—39). Настойчиво искал писатель и четкий зрительный образ этого героя. Интересно также, что в первоначальном варианте (в черновом автографе) Бабурин за участие в деле петрашевцев должен был быть сослан, по замыслу Тургенева, не в западную, а в восточную Сибирь, что было наказанием гораздо более тяжелым. Кроме того, на полях чернового автографа имеется помета: «Телесные наказания». Очевидно, писатель предполагал, что его герой, как мещанин, мог быть подвергнут и такой унизительной каре.

В беловом автографе впервые появилась сцена в московском доме Бабурина во время визита туда Петра Петровича Б., углубляющая и подчеркивающая драматизм отношений Музы и Бабурина, было добавлено несколько реплик в разговор Бабурина с помещицей, еще резче подчеркнувших его демократические взгляды (с. 9, от слов: «Впервое слышу»... до слов: «дурным знаком»). Кстати, и в черновом, и в беловом автографах Бабурин был на пять лет моложе, и только, очевидно, поправкой в наборной рукописи Тургенев изменил его возраст.

Не меньше внимания уделил писатель и героине повести Музе Павловне. Тщательно работал он над описанием внешности Музы в разные периоды ее жизни.

Внесены были также отдельные уточняющие детали и в образ Пунина.

Путем сравнения имеющихся автографов и первопечатного текста повести можно проследить работу Тургенева и на последнем, завершающем этапе — над наборной рукописью. Основная ее направленность осталась прежней. Хотя количество внесенных сюда исправлений по сравнению с предыдущими рукописями, естественно, уменьшилось, многие из них всё же представляются весьма значительными. Особенно это относится ко второй половине повести, где центральная идея произведения раскрывается с наибольшей полнотой.

Интересен самый характер поправок в наборной рукописи. Как правило, развернутые вставки в текст здесь отсутствуют. Внимание

Тургенева было сосредоточено на поисках небольших, но очень емких и сильных по своей выразительности деталей и характеристик, причем это относится ко всем персонажам повести без исключения.

В результате сделанных добавлений еще определеннее выявились настроения и взгляды Бабурина: уже будучи в Петербурге, он вынужден был и там оставить очередную службу «по неприятности с хозяином: Бабурин вздумал заступиться за рабочих...» (с. 52). В описании комнаты республиканца появилась следующая фраза: «...на столе лежал томик старинной, бестужевской „Полярной звезды"» (с. 54), что звучало прямым намеком на преемственную связь деятельности петрашевцев, к которым принадлежал Бабурин, с идеями декабризма. Был внесен в текст и диалог, где Бабурин спрашивает Петра Петровича Б., освободил ли он своих крестьян после смерти бабушки, и, получив отрицательный ответ, замечает: «То-то вы, господа дворяне...» (см. с. 54). Подчеркнул Тургенев и благородные человеческие качества своего героя, внеся в текст слова: «ни одного упрека не услышала» (с. 52).

Писатель вновь вернулся к портретам действующих лиц (Музы, Пунина, бабушки), добиваясь предельной четкости речевых характеристик. Так, больше архаизировалась речь Пунина: «...поступать по ее благоусмотрению» вместо: «...поступать по ее усмотрению». Ярче обрисовал Тургенев и трогательную привязанность этой чистой, детски наивной натуры к своему покровителю и Музе, вписав новый текст: «Стану посреди комнаты ∽ с ума сойдешь» (с. 45); расширил рассказ Музы о последних днях Пунина: «зато Пушкина боялся ∽ „благодетель!"» (с. 52).

Несколькими выразительными штрихами был дополнен образ Музы Павловны. В уста Петра Петровича Тургенев вложил очень значительную характеристику героини — уже жены республиканца и его сподвижницы: «Что-то сильное, неудержимое, казалось, так и поднялось со дна ее души... а мне вдруг вспомнилось название „нового типа", данное ей некогда Тарховым» (с. 56). В разговоре Музы с Петром Петровичем (после ареста Бабурина), где речь идет об антиправительственных заговорах, появилось еще одно упоминание о декабристах — в наборной рукописи были внесены слова: «как, например, четырнадцатого декабря...» (с. 56). В связи с этим замечанием Музы была введена также ответная реплика Петра Петровича (см. с. 56—57).

Сразу после опубликования «Пунина и Бабурина» Тургенев указал в письме к Анненкову на ряд опечаток в тексте повести и тут же написал, как их следует исправить (см. письмо от 4 (16) апреля 1874 г.). Хотя Тургенев все эти поправки называет «опечатками», таковыми можно считать, по всей вероятности, только две из них: «извиняюсь» и «ясно», так как именно о них писал он и Стасюлевичу, прочитав оттиск «Пунина и Бабурина» (см. письмо от 1 (13) апреля 1874 г.). Что касается остальных разночтений, то это были, видимо, не опечатки, а желательные исправления, которые позже писатель действительно внес в повесть (в отдельных случаях лишь слегка изменив их) во время подготовки собраний своих сочинений, вышедших в 1874 и 1880 годах. Исключение составляет лишь один случай — предложенная Тургеневым замена: «в упор» вместо «прямо» была, наверное, потом им же самим отвергнута.

Несмотря на столь тщательную работу над «Пуниным и Бабуриным», эта повесть, очевидно, по-прежнему не вполне удовлетворяла писателя. Еще до выхода ее из печати Тургенев писал Полон-

скому: «В апрельском № „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩“ появится моя небольшая повесть, которая, вероятно, также получит фиаско. Кое-что в ней есть — но, говоря по совести, этого „кое-чего“ немного» (письмо от 23 марта (4 апреля) 1874 г.).

В том же 1874 г. Тургенев вновь доработал текст «Пунина и Бабурина» для издававшегося тогда собрания его сочинений, включив в него весьма существенные добавления, относящиеся — за несколькими исключениями — к образу Бабурина.

Так, продолжая углублять и конкретизировать образ республиканца, Тургенев ввел страстный обвинительный монолог Бабурина против современного ему правительства: «Но вот внезапно ∾ в подобном состоянии» (с. 54), и лаконичное, но яркое его замечание о дворянах: «Чужими руками... жар загребать... это вы любите» (с. 54). Объяснена была и причина ареста героя: «... оказалось ∾ при их беседах» (с. 58). Значителен также включенный писателем в повествование спор Тархова и Петра Петровича о Бабурине и его отношении к Музе, где рассказчик, опровергая во многом субъективные и несправедливые выпады Тархова против республиканца, характеризует последнего, как натуру честную и благородную: «Ты, конечно, прав ∾ тысячу раз прав...» и «Я должен сознаться ∾ честный тупец!!» (с. 41—42). Тогда же внес Тургенев в текст диалог между Бабуриным и Музой о республике: «Парамон Семеныч! ∾ с лежанки Пунин» (с. 44).

Некоторые исправления, внесенные в повесть, были, очевидно, ответом писателя и на замечания критиков. Однако существа образа республиканца они не коснулись, несмотря на то, что именно главный герой и вызвал основные возражения, а порой и просто грубые нападки со стороны рецензентов.

В результате доработок были расширены описание сада («Лишь кое-где ∾ „куриной слепоты“» — с. 10) и сцена чтения «Россиады» («Всё вокруг ∾ тайное дело...» — с. 18). Были также внесены дополнения в эпизод отправки на поселение Ермила: «для исполнения ∾ в тот же день» (с. 24). По всей вероятности, в ответ на обвинения Б. Маркевича в полном незнании господствовавших в то время формальных законов, Тургенев включил в текст упоминание о «законных формальностях», отметив тут же, что они на деле никак не ограничивали произвола помещиков.

По поводу исправленного текста Тургенев писал 14 (26) февраля 1875 г. Суворину: «Дайте себе труд перечесть „Пунина и Бабурина“. Я эту вещь переделал и поправил — и хотя всё еще ею недоволен, но мне кажется, в ней что-то есть. Но и это, может быть, самообольщение старика насчет последнего своего детища?»

В дальнейшем, готовя текст повести для собраний своих сочинений, вышедших в 1880 и 1883 годах, писатель ограничивался лишь немногими стилистическими исправлениями.

Всё сказанное убеждает в том, что работа Тургенева над этим произведением была упорной и трудной. Это подтверждается, в частности, и записью на титульном листе чернового автографа: «Писано с громадными перерывами».

«Пунин и Бабурин», пожалуй, самая крупная повесть, примыкающая по своему идейному замыслу к последнему роману писателя «Новь»,— повесть, создававшаяся во время перерывов в работе над этим романом, персонажи которого должны были стать воплощением новых взглядов Тургенева на тип «полезного» общественного деятеля, необходимый в политических условиях России 1870-х годов.

В это же время Тургенев пишет целый ряд рассказов, действие которых отнесено к прошлому, к 1830-м — 1840-м годам. Это «Бригадир» (1868), «Несчастная» (1869), «Странная история» и «Степной король Лир» (1870), «Стук... стук... стук!..» (1871). Более того, Тургенев возвращается к «Запискам охотника» и дополняет их тремя рассказами: «Стучит!», «Живые мощи» и «Конец Чертопханова». Всё это не было отмежеванием от действительности. Кажущийся уход в прошлое таил в себе глубокий смысл: в прошлом писатель стремился найти истоки многих современных ему явлений русской жизни; еще и еще раз наблюдая русский национальный характер, «русскую суть», он пытался ответить на самые злободневные вопросы. Повесть «Пунин и Бабурин» была для писателя новой попыткой в этом направлении.

Со страниц повести встает образ незаурядной личности мещанина-республиканца, энергично протестующего против деспотизма и произвола власть имущих. В конце повествования оказывается, что Бабурин был участником дела петрашевцев, оставившего глубокий след в русской общественной жизни. По справедливому замечанию Б. Саннинского, Тургенев нарисовал в Бабурине «своеобразного предшественника Базарова, деятеля разночинного периода русского освободительного движения». Тем самым он первым в русской литературе указал «на новый социально-психологический тип — разночинца». Именно Бабурина, а не «помещика-рассказчика» делает Тургенев наследником идей дворянских революционеров-декабристов [3]. В свете этого обстоятельства особый интерес приобретает признание писателя о том, что Бабурин «списан с живого лица» (см.: *Т сб (Пиксанов)*, с. 132),— иными словами, принципиально важным становится вопрос о реальном прототипе этого героя. Известно, что среди членов кружка Петрашевского у Тургенева было немало знакомых — Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, А. Н. Плещеев, близкие к этому кругу И. П. Арапетов, Н. В. Ханыков, и писателю было многое известно о деятельности кружка. Тем интереснее, что среди близкого окружения петрашевцев действительно был и представитель разночинных слоев — владелец табачной лавки мещанин П. Г. Шапошников — человек республиканских убеждений, общавшийся с людьми круга Петрашевского, привлеченный к суду по их делу и сосланный в Оренбургские линейные батальоны за попытку участия в политическом заговоре. Есть основание полагать, что именно он мог послужить Тургеневу прототипом при создании образа Бабурина. Вполне возможно, что об оригинальной и необычной даже для петрашевцев фигуре Шапошникова Тургеневу рассказал Н. В. Ханыков, с которым писатель тесно общался в Париже в период создания повести [4]. Более того, не исключена и вероятность личного знакомства Тургенева с Шапошниковым

---

[3] Саннинский Б. Кто такие разночинцы?— Вопросы литературы, 1977, № 4, с.237. См. также: Маевская Т. П. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. Киев, 1978, с. 28—29.

[4] Розенфельд А. З. Тургенев и Н. В. Ханыков.— Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 77—88. Однако высказанное здесь мнение о том, что общение с Н. В. Ханыковым «вызвало к жизни и самую повесть „Пунин и Бабурин“, и главных ее персонажей» представляется спорным, так как ни прямых, ни косвенных доказательств этого не имеется.

по возвращении последнего из ссылки, когда он работал наборщиком в типографии Каткова (подробнее об этом см.: Т у р ь я н М. О прототипе Бабурина.— Русская литература, 1963, № 1, с. 178—180).

В художественном образе тургеневского героя, разумеется, могли найти отражение и некоторые характерные черты других деятелей кружка. Так, А. З. Розенфельд высказала предположение, что версия о происхождении Бабурина от грузинских князей «из племени царя Давыда», возможно, подсказана Тургеневу биографией петрашевца Д. Д. Ахшарумова, а самое появление фамилии героя явилось результатом влияния того же Н. В. Ханыкова — ученого-ориенталиста [5]. По мысли исследовательницы, в образе Бабурина нашли также известное отражение черты личности и биографии и самого Петрашевского. Однако это положение нуждается в дальнейшей аргументации.

В конце повести рассказывается, что Бабурин встретил манифест 19 февраля 1861 г. слезами восторга и возгласом: «Ура! Ура! Боже, царя храни!» В этом, конечно, была доля исторической правды: к 1860-м годам многие из петрашевцев расстались со своими республиканскими убеждениями. Однако в условиях революционного подъема 1870-х годов этот момент в повести приобретал определенный политический смысл. Как бы откликаясь на споры с революционерами-народниками о путях общественно-политических преобразований в России, Тургенев продолжал отстаивать свои позиции сторонника постепенных реформ. Недаром, оценивая повесть, критики-демократы вложили столько страсти в свою отповедь Тургеневу: петрашевец Бабурин, провозглашающий здравицу в честь царя, задел их за живое.

«Пунин и Бабурин» — одно из тех произведений, в которых отразились факты из личной жизни писателя, его воспоминания. По словам самого Тургенева, «в „Пунине и Бабурине“ действительно много автобиографического» (письмо к А. С. Суворину от 1 (13) апреля 1875 г.). О том же сообщал Тургенев и в письме к Сиднею Джерродьду, переведшему «Пунина и Бабурина» на английский язык (см. письмо от 20 ноября (2 декабря) 1882 г.).

Это свидетельство писателя относится, очевидно, прежде всего к первой половине повести, где описывается детство Петра Петровича Б., во многом напоминающее детство самого Тургенева. Здесь и широко известная по воспоминаниям близких писателя фигура Филиппыча, старого лакея Варвары Петровны, и бабушка рассказчика, списанная Тургеневым с матери, и пейзажные зарисовки спасского сада. Имел место в действительности и эпизод ссылки крепостного на поселение, описанный в повести. Свидетелем его был сам маленький Тургенев (см.: *Иванов*, с. 13—14).

Еще больший интерес представляет случай, рассказанный В. Колонтаевой в ее «Воспоминаниях о селе Спасском» и также воспроизведенный в «Пунине и Бабурине». Речь идет о дворецком Варвары Петровны Федоре Ивановиче Лобанове, который посмел однажды вырвать из рук разгневанной помещицы занесенный на него хлыст, за что был сослан в одну из дальних деревень. Эта попытка активного противодействия самодурству госпожи, запомнив-

---

[5] Вопросу о происхождении фамилии Бабурин посвящена статья: Б л а г о в а Г. Ф. К этимологии русской фамилии Бабурин.— Этимологические исследования. Вып. 4. М., 1963, с. 5—7.

шаяся писателю, нашла прямое отражение в сцене заступничества Бабурина за невинно ссылаемого на поселение крепостного (*ИВ*, 1885, № 10, с. 52—53).

Биографичен до некоторой степени и образ Пу́нина — главным образом, знаменитый эпизод его совместного чтения с барчуком «Россиады» Хераскова. Рассказ об этом, в числе других, был записан в 1880 г. Л. Н. Майковым со слов самого писателя. Однако имя крепостного, с которым связано это увлечение, там не названо (см.: *Рус Ст*, 1883, № 10, с. 203). В тургеневской критике мнения относительно действительного участника этих чтений, послужившего Тургеневу прототипом, расходятся. Наиболее распространено предположение, что таким человеком был уже упоминавшийся Федор Иванович Лобанов. Об этом пишут, например, и И. И. Иванов — в своей книге о Тургеневе (см.: *Иванов*, с. 13—14), и А. Н. Дубовиков — в примечаниях к повести (*Т*, *СС*, т. 8, с. 570), и А. И. Понятовский в статье «И. С. Тургенев и семья Лобановых» (*Т сб*, вып. 1, с. 271).

В. Н. Житова в своих воспоминаниях о семье Тургенева предположительно называет в качестве первого, кто увлек будущего писателя «Россиадой» Хераскова, камердинера Варвары Петровны Михайла Филипповича. В примечаниях к последнему изданию этих воспоминаний указывается на ее ошибочное мнение относительно этого и называется имя Л. Серебрякова (*Житова*, с. 165). Эта поправка опирается на свидетельство Тургенева в одном из писем к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову, где он, рассказывая друзьям о своем детском увлечении «Россиадой», называет в связи с этим Леона Серебрякова (см. письмо от 3, 8 (15, 20) сентября 1840 г.). Вывод о том, что компаньоном Тургенева в этом эпизоде действительно был Леон Яковлевич Серебряков, подтверждают и позднейшие разыскания Н. М. Чернова [6].

В образе Пунина нашла косвенное отражение и личность Д. Н. Дубенского, известного в свое время историка и теоретика отечественной литературы, преподававшего русский язык юному Тургеневу. Запомнившаяся писателю его оценка, данная некогда Пушкину — «змея, одаренная соловьиным пеньем»,— вложена в уста Пунина (см. письмо к Анненкову от 3 (15) января 1857 г.). О Дубенском и о его отношении к великому поэту вспоминал Тургенев и в беседе, записанной Л. Н. Майковым (*Рус Ст*, 1883, № 10, с. 204). Заслуживают также внимания устанавливаемая А. З. Розенфельд параллель между Пуниным и петрашевцем С. Ф. Дуровым и предположение исследовательницы о сходстве отношений между Бабуриным и Пуниным, с одной стороны, и А. И. Пальмом и С. Ф. Дуровым — с другой [7].

Более очевидны литературные предшественники главных героев. Это — Чертопханов и Недопюскин, персонажи, с которыми образы Бабурина и Пунина явно перекликаются [8].

---

[6] Чернов Н. Летопись жизни.— Литературная Россия, 1970, № 34 (398), 21 августа, с. 21.

[7] Розенфельд А. З. Тургенев и Н. В. Ханыков.— В сб.: Тургенев и его современники, с. 86.

[8] Это отмечали в своих откликах на повесть многие современники Тургенева. Подробнее об этом см.: Турьян М. «Пунин и Бабурин» в ряду поздних произведений Тургенева.— Русская литература, 1965, № 4, с. 148—155.

Первый читатель «Пунина и Бабурина». Стасюлевич. одобрил эту повесть (см. письмо Тургенева к нему от 27 марта (8 апреля) 1874 г.), а многочисленные отзывы о ней, появившиеся в печати, были весьма противоречивыми.

Единодушными в отрицании идейных и художественных достоинств нового произведения Тургенева оказались представители демократического лагеря.

Как о безусловной неудаче писателя, отозвался о «Пунине и Бабурине» Н. К. Михайловский в статье «Литературные и журнальные заметки» (подпись: Н. М.— *Отеч Зап*, 1874. № 4, с. 403—408). Отдавая должное тургеневскому мастерству в построении повести, критик вместе с тем считал героев этой повести лишь слабыми и надуманными копиями с Чертопханова и Недопюскина. а образ Бабурина — разночинца «на европейский манер», который лишь формально «декларирует права человека и гражданина»,— одним из самых слабых у Тургенева. Бабурин «весь — одна голая неправда»,— таков окончательный приговор. Причину этой неудачи Михайловский усматривал в оторванности писателя от русской действительности.

Известный демократический беллетрист и критик И. А. Кущевский также увидел в этой повести всего лишь пересказ давно уже поведанной истории о Чертопханове и Недопюскине и считал это свидетельством оскудения таланта маститого писателя (Новый критик. «Пунин и Бабурин». Рассказ И. С. Тургенева.— Новости, 1874, № 36, 8 апреля).

С особым сарказмом высказался по поводу «Пунина и Бабурина» М. Е. Салтыков-Щедрин. В декабре 1875 г. он писал Анненкову: «В виде эпизода хочу написать рассказ „Паршивый“. Чернышевский или Петрашевский, всё равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают „Боже царя храни“ вроде того, как Бабурин пел. И все ему говорят: стыдно, сударь! У нас царь такой добрый — а вы что!» (письмо от 20 ноября (2 декабря) 1875 г.— *Салтыков-Щедрин*, т. 18, кн. II, с. 233).

Прямо противоположный прием встретила повесть в либеральных кругах.

Восторженными статьями откликнулись на появление «Пунина и Бабурина» В. П. Буренин, в то время еще сотрудник «С.-Петербургских ведомостей», и М. Г. Вильде, рецензент газеты «Голос».

Буренину наиболее любопытным показался тот факт, что главные герои рассказа — представители «низшего» класса, мещане. По поводу образа Бабурина он писал: «Фигура эта положительно новая, доселе не затронутая в литературе и очень оригинальная ⟨. . .⟩ Невольно как-то кажется, что художественный вымысел участвовал только в подробностях, может быть, в фабуле рассказа, но не в создании типа „республиканца“. Тип же этот — так, по крайней мере, представляется читателям — очевидно, взят с натуры» (Z. «Пунин и Бабурин», рассказ г. Тургенева.— *СПб Вед*, 1874, № 93, 6 (18) апреля).

Однако Тургеневу, который в ту пору с раздражением высказывался «о бессилии и трусости» своих либеральных друзей, похвала Буренина была явно неприятна, и он не преминул сказать об этом в письме к Анненкову (см. ниже, с. 442).

М. Г. Вильде в статье «Новый рассказ г. Тургенева» (подпись: W) прежде всего отметил полную «объективность» повествования. Он писал: «Г-н Тургенев в Бабурине рисует совершенно новый тип в русской литературе: полуобразованного мещанина, натуру сильную и глубокую, которая, отчасти благодаря угнетению жизни, отчасти благодаря самостоятельному процессу мысли, возвышается до понимания неправды... Этот тип, действительно, существует, но русская литература наткнулась на него только теперь благодаря почину г. Тургенева» (Голос, 1874, № 99, 11 (23) апреля).

Положительная рецензия появилась и в газете «Одесский вестник». Ее автор С. Т. Герцо-Виноградский справедливо указал на несомненное тяготение рецензируемой повести к «Запискам охотника». Говоря о главных героях, Герцо-Виноградский отметил их типичность и достоверность. «...сотворить из ничего ни Пунина, ни Бабурина нельзя; для этого нужно наблюдать и изучать»,— писал он (С. Г.-В. Журнальные заметки.— Одесский вестник, 1874, № 91, 25 апреля).

Как всегда, в штыки встретили новое произведение Тургенева реакционные публицисты, не прощавшие писателю ни Базарова, ни сатирических страниц «Дыма», ни его дружеских отношений с народниками.

Критику газеты «Гражданин» П. А. Быкову-Терскому, писавшему под псевдонимом «Павел Павлов», образ республиканца показался не более как «интересною фантастическою фигуркою, созданною воображением Тургенева, но никак не типом, ибо таких фигурок ни в 30-м, ни в 40-м году на Руси почти не водилось...» Значительно больше симпатий у автора статьи вызвал образ Пунина, описанный, по его мнению, красками, напоминающими золотой век творчества Тургенева. (Павлов Павел. Заметки досужего читателя.— Гражданин, 1874, № 18, 6 мая).

Резко отрицательно отнесся к «Пунину и Бабурину» В. Г. Авсеенко, выступивший с неприязненной статьей на страницах «Русского мира». В «Очерках текущей литературы» (подпись: А. О.) он обвинял Тургенева в отходе от злободневных тем и в полном их непонимании, в подлаживании под рецепты «известной литературной кухмистерской, во вкусе которой сочиняют всевозможные сцены г. г. Успенские, Омулевские, Засодимские и проч.». Не разобрался, с его точки зрения, Тургенев и в прошедшем, так как «сочинять в этом прошедшем „новые типы“ вроде Музы или Бабурина значит лишиться чувства художественной правды». Возможность существования в описываемую эпоху людей, подобных Бабурину, представлялась Авсеенко вымыслом, фантазией писателя (*Рус Мир*, 1874, № 104, 19 апреля).

Еще более грубой и откровенно враждебной была статья «Три последние произведения г. Тургенева» (подпись: М.), появившаяся в «Русском вестнике». Автор ее, Б. Маркевич [9], намекая на писателей-народников, заявлял, что Тургенев пишет повести «с направлением» единственно из боязни быть заподозренным «в отсталости». Повторяя мысль Михайловского о несомненном сходстве Пунина и Бабурина с Чертопхановым и Недопюскиным, он ставит, кроме

---

[9] О принадлежности этой рецензии Б. М. Маркевичу говорит И. Т. Трофимов в статье «Роман И. С. Тургенева „Новь“ и общественно-литературная борьба 70-х годов».— В сб.: Творчество И. С. Тургенева. М., 1959, с. 440—441.

того, под сомнение самую возможность существования подобного типа в описываемую эпоху, считая Бабурина «мертворожденным детищем» и «либеральной лубочной картиной», которому просто приклеен ярлык республиканца. Он обвиняет Тургенева и в том, что помещица «изображена по всем правилам известной тенденции», что сцена ссылки крепостного на поселение — «явная фальшь», а Муза, по его мнению, «грубое и бессердечное существо, лишенное всякого руководящего нравственного начала...» (*Рус Вестн*, 1874, № 5, с. 385—403).

Судя по позднейшим отзывам об этой статье в печати, ее развязный тон и клеветнический характер вызвали немалое возмущение в широких литературных кругах (см.: Z. ⟨Б у р е н и н В. П.⟩. Журналистика.— *СПб Вед*, 1874, № 148, 1 (13) июня; Б о б о р ы к и н П. Авторы и рецензенты.— Там же, 1876, № 101, 13(25) апреля, и его же письмо в редакцию.— Там же, 1876, № 103, 15 (27) апреля, а также: L. V. ⟨З а г у л я е в М. А.⟩. Les Revues Russes.— Journal de St.-Pétersbourg, Dimanche, 9 (21) juin 1874. 50-me année, 6-me série, № 151).

Тенденциозный характер выступления «Русского вестника» был настолько очевидным, что получил резкую отповедь даже со стороны тех критиков, которые также считали последнюю повесть Тургенева одним из самых слабых его произведений. Именно с таких позиций выступил в «Биржевых ведомостях» А. П. Чебышев-Дмитриев в «Письмах о текущей литературе» (подпись: Экс). Осудив тон и характер рецензии в катковском журнале, он вместе с тем видел неудачу рассказа в неверном выборе главного героя. Допуская возможность существования мещан-республиканцев в России 1830-х годов, Чебышев-Дмитриев, однако, отрицает типичность подобных фигур для того времени. «Вследствие этого,— заключает критик,— на всем рассказе Тургенева лежит печать какой-то фальши, а сам Бабурин (хотя весьма вероятно, что Тургенев описывает действительно жившего и знакомого ему человека) кажется не живым лицом, а каким-то деланным манекеном» (Биржевые ведомости, 1874, 29 мая (10 июня), № 142).

К числу наиболее подробных относится отзыв М. А. Загуляева, опубликованный в «Journal de St.-Pétersbourg» (статья подписана: L. V.). Рецензент, считая, что «Пунин и Бабурин» — «произведение ниже таланта его автора» и представляет собой не законченную повесть, а лишь наброски, своего рода цепь психологических этюдов, подметил в нем «смешение манеры раннего Тургенева и мыслей, в которых чувствуется присутствие его романов „Накануне“ и „Отцы и дети“».

По мнению рецензента, Бабурин — этот «политический Чертопханов» — вовсе не республиканец в точном смысле слова. Он — либерал, страдающий от сильных мира сего, злоупотребляющих своей властью, один из благородных мечтателей, уподобившихся впоследствии тем «чистейшим демагогам», которые первыми приветствовали крестьянскую реформу, как «великодушную инициативу этой власти. Бабурин — именно подобный тип. Узнав в ссылке о свершившемся раскрепощении крестьян, он умирает спокойно и удовлетворенно, приветствуя зарю новой эры». Недаром Бабурин ни разу не показан по-настоящему «в деле», где бы убедительно раскрылся его гуманный либерализм. Пунина автор сопоставляет с Недопюскиным и Леммом, считая, что это «различные варианты одного и того же характера: человека благородного и великодуш-

ного, но обиженного природой» (Les Revues Russes.— Journal de St.-Pétersbourg. Dimanche, 14 (26) avril 1874, № 98).

Особый интерес представляет характеристика, данная повести Анненковым (в письме к Тургеневу).

По его мнению, несмотря на тонкое мастерство изложения, рассказ не вполне удался, вернее, не удался его центральный образ — республиканец. «Как восхитителен Пунин,— писал Анненков,— так, наоборот, его спаситель и покровитель выглядит абстрактно-тупо ⟨. . .⟩ Он принадлежит, по-моему, к довольно противному (в литературе) типу почтенных людей, над которыми ни посмеяться, ни всплакнуть нельзя, а которых следует единственно уважать. Это оборотная сторона благородных юношей Михайлова, Омулевского и других, и беда состоит в том, что вы сами смотрите на него не как на любопытный экземпляр, а как на серьезный, умиляющий, поучительный...»

Образ Музы также вызвал у Анненкова чувство неудовлетворенности. Он возражал, в основном, против того, к чему приводит Тургенев свою героиню в конце повести. «Думал, что выйдет тип ослепительный, и опять вышел досадно-почтенный тип»,— писал он. Хотелось бы знать,— продолжал Анненков,— с чего Муза сделалась «примерной женой после строптивой молодости. Не из усталости же, не из нужды пристанища, не из желания же поступить в безмятежную обитель супружеского времяпрепровождения. Оказывается, именно по этим причинам, да еще из благодарности. Ну и похвально, а больше ничего».

В заключение Анненков призывал Тургенева вообще устранить «почтенных типов» из его «поэтического скарба. Другое дело — святые, демонические или забрызганные улицей и жизнию типы,— тут вы без соперников и способны волновать не только Россию, но и Европу. Напрасно вводите вы для почтенных и политический элемент — не вырастают от этого люди эти» (письмо от 7 (19) апреля 1874 г.— *ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 10, л. 13—14).

В ответ Тургенев писал ему:

«Милый Павел Васильевич, Вы, по обыкновению, правы, стократ правы — и мне остается только сожалеть о том, что повесть моя попала в печать без Вашего предварительного осмотра. ⟨. . .⟩ я убежден, что либерализм и даже республиканизм у нас часто принимают и должны принять именно эту форму, но я не вполне свободно отнесся к нему — выказал излишнее уважение, словно я побоялся Буренина, который и не преминул похвалить меня в „С.-П⟨етер⟩бургских ведомостях“, что меня покоробило. Постараюсь поправить дело — насколько оно возможно — при отдельном издании. Музу стоило бы развить побольше; но что она пошла за Бабурина — это не из благодарности, а просто оттого, что куда же деться? Пробовала с собой покончить — страшно стало и т. д. Это не поэтично — но правдиво: да только надо тоже это сказать. Но вся повесть все-таки остается с вывихом» (письмо от 12 (24) апреля 1874 г.).

Обещанные Тургеневым исправления в повесть, однако, внесены не были. Подобная переделка означала бы совершенно иное переосмысление образа Бабурина, что, очевидно, не соответствовало творческим задачам писателя.

Вскоре после смерти Тургенева В. Я. Брюсов, анализируя в письмах к сестре тургеневские произведения в связи с выходом собрания сочинений писателя (1891 г.), оценил «Пунина и Бабурина»

как «лучший из рассказов» восьмого тома, куда вошли также «Стук... Стук... Стук!..», «Часы», «Сон», «Рассказ отца Алексея», «Отрывки из воспоминаний своих и чужих», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич». Он отметил «жизненность и характерность» главных его героев [10].

В последующей дореволюционной и современной критической литературе эта повесть рассматривалась обычно в связи с проблематикой последнего романа Тургенева «Новь» и интересом писателя к различным типам деятелей русского освободительного движения.

За исключением указанных выше работ повесть специального внимания исследователей не привлекала.

В конце 1874 г. Тургенев дал свое согласие на перевод «Пунина и Бабурина» на французский язык (см. его письмо к Жюлю Этцелю от 23 ноября (5 декабря) 1874 г.). Повесть, переведенная Э. Дюраном, появилась в газете «Le Temps» в марте 1875 г. (Le Temps, 1875, № 5075—5079 и 5083—5086). Очевидно, в ответ на благоприятный отзыв об этом произведении издателя «Le Temps» Жюля Этцеля Тургенев писал ему: «Я *в восторге*, что вам понравились оба моих добряка: там немало воспоминаний детства—это-то и придает им известную жизненность» (письмо от 3 (15) апреля 1875 г.). Позже повесть «Пунин и Бабурин» — в числе других произведений Тургенева, также ранее публиковавшихся в «Le Temps»,— вошла в его сборник, изданный во Франции в 1876 г. (Les reliques vivantes. La montre. Ça fait du bruit! Pounine et Babourine. Les notres m'ont envoyé. Paris, Hetzel, 1876). На немецком языке повесть появилась в 1874 г. и дважды в 1875 г.[11] В последующие годы она была переведена на датский [12], финский [13], чешский [14] языки. При жизни Тургенева «Пунин и Бабурин» был издан в Нью-Йорке — Punin and Baburin, translated by G. W. Scott (Seaside Library). New York, 1882. В Англии эта повесть впервые была опубликована в 1884 г. Ее переводчик, Сидней Джеррольд, начавший свой труд еще при жизни Тургенева, приступил к переводу «Пунина и Бабурина» с разрешения писателя. Одновременно им была переведена «Первая любовь», и обе повести, снабженные предисловием критико-биографического характера, вышли в свет одной книгой [15] (см. письма Тургенева к Сиднею Джеррольду от 20 июля (1 августа) 1878 г. и 20 ноября (2 декабря) 1882 г.).

---

[10] Письмо к Н. Я. Брюсовой от 4 августа 1896 г.—В сб.: Тургенев и его современники, с. 183.

[11] Zwei neue Novellen. Von Iw. Turgénjew. Deutsch von H. von Lankenau. Inhalt: Punin und Baburin. Die Lebende Mumie. Wien, Pest, Leipzig, 1874; Punin und Baburin. Von I. Turgenieff. Aus dem Russischen von W. Lange. Leipzig: Verlag von Ph. Reclam jun., 1875; Turgeniew. Punin und Baburin.— Sonntags Blatt, 1875, N 22—26.

[12] Punin og Baburin. Paa Dansk ved V. Møller.— В кн.: Turgénjew I. Nye Billeder fra Rusland. Kjøbenhavn, 1874.

[13] Turgenjew J. Trå original. Helsingfors, 1881.

[14] Turgeněv I. S. Punin a Baburin. Z ruského přeložil Jan Ležek. Praha, 1881.

[15] First Love and Punin and Baburin by Ivan Turgenev. Translated from the Russian by permission of the author, with a biographical introduction by Sidney Gerrold. London: W. H. Allen and C°, 1884.

С т р. 16. *Из учебника Кайданова...* — И. К. Кайданов, профессор Царскосельского лицея, был автором ряда учебников по русской и всеобщей истории, широко распространенных в первые десятилетия XIX века. Здесь, по всей вероятности, имеется в виду одна из следующих его книг: «Краткое начертание всемирной истории», СПб., 1821 (16-е издание — 1854), «Руководство к изучению всеобщей политической истории», СПб., 1817 (6-е издание — 1837). Упоминание об одном из учебников Кайданова есть и в другой повести Тургенева — «Первая любовь».

С т р. 18. *...мы прошли с ним* ∽ *даже «Россиаду» Хераскова!* — «Россиада» (1779) — эпическая поэма М. М. Хераскова. Она была оценена современниками как непревзойденный образец этого жанра. Державин приветствовал Хераскова — «Творца бессмертной Россиады» — одой «Ключ (1779). Сведения о литературной репутации этой поэмы в последующие годы — до начала 1820-х годов — собраны в кн. А. Н. Соколова «Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX в.». М., 1955, с. 244—248. Судя по воспоминаниям И. И. Дмитриева, написанным в 1823—1825 гг., «в зрелых летах Хераскова читали только просвещеннейшие из нашего дворянства, а ныне всех состояний: купцы, солдаты, холопы и даже торгующие пряниками и калачами» (Д м и т р и е в И. И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866, с. 34). Автобиографическая основа рассказа Тургенева о чтении «Россиады» подтверждается его письмом к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3, 8 (15, 20) сентября 1840 г.

...великанша-героиня — персианка Рамида, выступившая против русских в союзе с татарами (песнь XI).

...аки кимвалон! — Кимвал (или кимвалы) — старинный музыкальный ударный инструмент.

Канты — один из видов музыкально-поэтического искусства XVII—XVIII веков. Были популярны духовные, панегирические, лирические, народнопесенные канты. Многие из них писались на тексты известных поэтов, в том числе Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского (см.: Л и в а н о в а Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. М., 1952, т. 1, с. 460—466).

С т р. 20. *...«нагоняли» бестягольных мужиков-бобылей...* — Бестягольными называли крестьян, освобожденных от тягла, т. е. от крепостной повинности (больных, стариков, а также парней до их женитьбы).

С т р. 23. *...известное переложение Давидова псалма Державиным...* — Стихотворение «Властителям и судиям» (три редакции 1780—1787 гг.), написанное Державиным на основе 81 псалма, приписываемого царю Давиду. Резко обличительный характер этого произведения вызвал гнев Екатерины II, запретившей в 1795 г. печатание сборника стихотворений Державина, в который оно было включено.

С т р. 27. *«Рославлев»...* — «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) — исторический роман М. Н. Загоскина (1789—1852). По своим художественным достоинствам «Рославлев» много ниже первого романа Загоскина «Юрий Милославский» (1829), который Тургенев очень ценил (см. «Литературные и житейские воспоминания», а также *Т, ПСС и П, Письма*, т. II. с. 111—113). Экземпляр «Рославлева» издания 1831 г. имелся в библиотеке Тургенева в Спасском-Лутовинове.

С т р. 32. *Хуже коронной — служба!* — Коронная служба — государственная служба.

С т р. 33. *...что за личность был Зенон.*— Зенон (ок. 336 — ок. 264 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель стоицизма. Главной задачей философии стоики считали разрешение этических проблем. Общественные интересы они ставили выше личных. Именно этой своей стороной личность Зенона и была, очевидно, созвучна Бабурину.

О Мирабо и Робеспьере я поговорил бы с наслажденьем.— Мирабо Оноре (1749—1791) — один из виднейших деятелей французской буржуазной революции 1789 г. Прославился как крупный оратор, представлявший интересы либеральных кругов дворянства и верхушки буржуазии. Однако впоследствии, напуганный народными выступлениями и разгромом Бастилии 14 июля 1789 г., вступил в тайный союз с представителями королевской власти и сделался платным агентом двора. *Робеспьер* Максимильен (1758—1794) — вождь революционного демократического крыла французской буржуазии в эпоху революции 1789 г., руководитель якобинского революционного правительства.

...висели литографированные портреты Фукиэ-Тенвилля и Шалиэ! — Фукье-Тенвиль Антуан (1746—1795) — деятель французской революции 1789 г. С августа 1792 г. был одним из директоров обвинительного жюри, позже — общественным обвинителем Революционного трибунала. *Шалье* Мари Жозеф (1747—1793) — вождь лионских якобинцев во время французской революции 1789 г. Вел ожесточенную борьбу с роялистской контрреволюцией, а затем с жирондистами.

С т р. 34. *...в Александровский сад возле башни Кутафьи...*— Сад у западной стены Кремля, где находится круглая башня, названная по своей неуклюжей форме Кута́фьей (кутафья в просторечии — неуклюже одетая женщина). Построена в начале XVI века для защиты Троицкого моста, соединившего Кутафью с Троицкой башней Кремля.

С т р. 36. *...завернутая в альмавиву ᔕ виднелась фигура...*— Альмавива — широкий плащ, вошедший в употребление с конца XVIII в. Получил свое название от имени графа Альмавивы, одного из персонажей комедий Бомарше «Севильский цирюльник» (пост. в 1775 г.) и «Женитьба Фигаро» (пост. в 1784 г.).

С т р. 37. *...грузинский князь из племени царя Давыда...*— Очевидно, здесь имеется в виду грузинский царь Давид Строитель (ок. 1073—1125). В первоначальном варианте повести родословная Бабурина возводилась к библейскому царю Давиду (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XI, с. 378, вариант чернового автографа).

С т р. 38. *...вдохновясь Рубаном, четверостишие ᔕ сложил.— Рубан* Василий Григорьевич (1742—1795) — русский писатель и журналист эпохи классицизма. Особой популярностью пользовались в свое время его «надписи» в стихах.

С т р. 48. *...возвратил мне книжку «Телеграфа»...*— «Московский телеграф» — общественно-научный и литературный журнал, издававшийся Н. А. Полевым с 1825 по 1834 г. В условиях острой литературной борьбы тех лет между сторонниками классицизма и представителями романтического направления «Московский телеграф» был журналом, «как бы издававшимся для романтизма», по выражению Белинского. В 1830-е годы он пользовался огромной попу-

лярностью среди передовой части русского общества, отвергавшей традиции классицизма.

Стр. 49. *...тележка, запряженная парой вяток...* — Вятки — малорослые лошади вятской породы.

...старый манежный драбант... — Драбант (от нем. Drabant — телохранитель) — введенное при Петре I название солдат конной кавалергардской роты. Здесь — в иносказательном смысле.

Стр. 54. *...томик старинной, бестужевской «Полярной звезды».* — Литературный альманах, издававшийся А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым в 1823—1825 гг. В «Полярной звезде» сотрудничали Пушкин, Грибоедов, Ф. Глинка, Кюхельбекер, Д. Давыдов и др. Вышло всего 3 книжки альманаха. О том значении, которое имело упоминание «Полярной звезды» для характеристики Бабурина, см. выше, с. 434.

ЧАСЫ

(с. 60)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой план рассказа «Часы» со списком действующих лиц; автограф, 2 с.; хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 86; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 341.

«Часы». Рассказ Ив. Тургенева. Черновой автограф, 43 с. К рукописи приложен лист с поправками к тексту рассказа. Хранятся в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 82; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 250.

Беловой автограф отдельных частей текста, без заглавия, 15 с. Главы I—VI и отрывки из VII, XII и XXV глав. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 77; описание см.: *Mazon*, p. 86; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 341.

«Часы. Рассказ старика (1850)» — Наборная рукопись, автограф, 87 с. К рукописи приложены лист с поправками к тексту рассказа и лист с последним вариантом концовки.— Хранятся в *ИРЛИ*, архив М. М. Стасюлевича, № 293, оп. 3, № 137; ср. описание — *Mazon*, p. 191.

П Ст — Письма Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 25 ноября (7 декабря), от 26 ноября (8 декабря), 29 ноября (11 декабря) и 10 (22) декабря 1875 г. с поправками к тексту рассказа «Часы». См.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. XI, с. 165, 166, 168.

ВЕ, 1876, № 1, с. 1—48.

Т, Соч, 1880, т. 9, с. 261—312.

Т, ПСС, 1883, т. 9, с. 281—338.

Впервые рассказ «Часы» опубликован: *ВЕ*, 1876, № 1, с подписью: Ив. Тургенев — и пометой: Париж, 1875. Перепечатано по тексту *ВЕ*: «Русская библиотека», т. XXXVI, Лейпциг, 1876 (отдельный выпуск).

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883* с учетом поправок, предложенных Тургеневым, но не попавших в печатный текст (*П Ст* от 29 ноября и 10 декабря ст. ст. 1875), а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 62, строка 19: «не нравятся» вместо «нравятся» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 73, строка 20: «вот и лампадка» вместо «вот лампадка» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 78, строка 36: «похороните заодно уж и меня» вместо «побалуйте, дескать, и меня». «Побалуйте» — должно значить «похороните» (по *П Ст*).

Стр. 80, строка 25: «Давыдушко» вместо «Давыдушка» (по аналогии с другими случаями употребления этого обращения в рассказе).

Стр. 88, строка 3: «Извольте» вместо «Позвольте» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 90, строка 3: «смятенные» вместо «смешанные» (по всем рукописным источникам).

Стр. 90, строка 6: «впереди» вместо «вперед» (по автографу и по контексту).

Стр. 91, строка 33: «встрепенулся» вместо «стрепенулся» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 91, строка 43: «с головы» вместо «с волос» (поправка Тургенева — *П Ст*).

Время работы над рассказом «Часы» указано автором на первом листе рукописи чернового автографа:

«Начат в Спасском, в середу 19-го июня/1-го июля 1874 г. Кончен — в Париже, 50, Rue de Douai, во вторник 23-го / 10 ноября [1] 1875. (Писан с огромным перерывом — я иначе уже не пишу теперь. Последние 30 стр. написаны в несколько дней в С.-Жермене, в гостинице «Hôtel pavillon Henri IV», куда я удалился, чтобы окончить эту — быть может, совсем неудачную — работу, обещанную Стасюлевичу)».

На последнем листе рукописи повторена дата окончания работы с уточнением времени: «1 $^1/_4$ [часа] ночи» [2].

Писатель принялся за новый рассказ через несколько дней после окончания работы над очерком «Стучит». Как обычно, Тургенев начал с того, что набросал план рассказа и составил список основных действующих лиц. Возможно, что в то же время были написаны и первые страницы самого рассказа, но работа в скором времени прервалась в связи с отъездом писателя из Спасского в Москву, а затем в Петербург и за границу. Болезнь надолго отвлекла писателя от литературных занятий. Новое упоминание о «Часах» появляется у Тургенева уже только 6 (18) января 1875 г. в его письме из Парижа к М. М. Стасюлевичу: «Тут устроивается небольшая русская читальня — и я хочу им поднести „В⟨естник⟩ Е⟨вропы⟩“ в дар. Мы с Вами сочтемся — ибо Вы, вероятно, в скором времени получите от меня небольшую вещь (для мартовской книжки)».

В середине февраля писатель еще надеется быстро завершить работу над рассказом. Он пишет Стасюлевичу: «Вследствие известной поговорки: „Волки, волки!“ — я ничего не говорю о своей работе, но, может быть, удивлю Вас — если не самой работой — то скоростью, с которой Вы ее получите» (письмо от 31 января (12 фев-

[1] Тургенев ошибся в обозначении даты старого стиля; правильно: 11-го ноября.

[2] См.: *Mazon*, р. 82.

раля) 1875 г.). Однако и к лету этого года рассказ еще не был завершен. Сведения об этом содержатся в письме А. К. Толстого к жене от 14 июня из Карлсбада: «Я ⟨. . .⟩ отказался от вечера у Соллогубов и пошел с Тургеневым к Зегенам. Тургенев рассказывал нам очень вяло и очень пространно сюжет своей новой повести, вполовину написанной, которая называется „Часы“ („La Montre“)» (*BE*, 1897, № 7, с. 125).

Письма Тургенева к Стасюлевичу и другим адресатам до октября 1875 г. содержат только сетования на плохое самочувствие и сообщения о том, что работа не подвигается. В ответ на упреки Стасюлевича Тургенев пишет ему 3 (15) октября 1875 г.: «...я совершенно серьезно и с совершеннейшим желанием сдержать свое слово объявляю Вам, что к 20-му ноября вышлю Вам — что, неизвестно,— но *два* печатных листа». Здесь же автор уточняет, что речь идет о «маленькой вещи», для которой он намерен через две недели покинуть Париж и уединиться в Падерборне. Редактор «Вестника Европы» принял довольно решительные меры для того, чтобы Тургенев сдержал свое обещание: он выслал ему денежный аванс — «род обязательства». Все октябрьские письма Тургенева к Стасюлевичу содержат один и тот же мотив: «работаю для Вас», «не выеду, пока не кончу», «надеюсь выслать его ⟨рассказ⟩ раньше срока», «могу поручиться, что к 26-му ноября она ⟨вещь⟩ будет у Вас» (письма от 9, 14 и 25 октября ст. ст. 1875 г.).

Едва поставив последнюю точку 10 (22) ноября 1875 г. в 1 час ночи, т. е. фактически уже 23 ноября н. ст. (ср. помету на черновом автографе), Тургенев спешит отправить Стасюлевичу письмо с известием о завершении работы и при этом впервые сообщает заглавие своего рассказа: «Ура! Любезнейший М. М.! Сейчас *написал последнюю строчку* моей повестушки — и завтра же принимаюсь за переписывание — так что к 26-му ноября (через 16 дней) Вы непременно будете иметь ее в руках. Для совершения этого громадного дела я на целую неделю уединился в С.-Жермене — и писал не переставая. Что из этого вышло—Аллах ведает. Заглавие рассказа: „Часы“. Вышел он длиннее, чем я думал: 36 или 37 страниц „В⟨естника⟩ Е⟨вропы⟩“. Лишь бы не сказали гг. критики: „Часы“ г-на Т⟨ургенева⟩ отстают: он всё еще воображает себя писателем». Тревога за судьбу нового детища звучит и в письме к Я. П. Полонскому от 12 (24) ноября 1875 г.: «...боюсь, что читатели опять найдут, что я выжил из ума и занимаюсь пустяками».

Переписывая рассказ, Тургенев начал править текст и в беловике, но во многих случаях не довел правку до конца, а только отметил крестами на полях места, нуждавшиеся в отделке. Исправления эти осуществлены во второй беловой рукописи рассказа, которую писатель, завершив работу, немедленно отправил из Парижа в Баден-Баден П. В. Анненкову с инструкцией: сразу же по прочтении отослать рукопись, если она того заслуживает, в редакцию «Вестника Европы» в Петербург. Об этом Тургенев известил Стасюлевича письмом от 21 ноября (3 декабря) 1875 г.; а на следующий день послал ему текст небольшого предисловия от автора. В дальнейшем, в течение декабря, Тургенев отправляет Стасюлевичу еще четыре письма, в которых содержатся поправки к рассказу «Часы», сделанные по совету Анненкова и Полины Виардо, а также исправления, которые Тургенев хотел внести в текст после чтения корректуры (см. источники текста). После выхода в свет январского номера «Вестника Европы», где был опубликован рассказ «Часы»,

Тургенев уже не возвращался к работе над ним,— правка, внесенная автором в текст при подготовке изданий 1880 и 1883 годов, незначительна.

Сравнение черновых и беловых рукописей рассказа «Часы» с его окончательным текстом показывает, что автор по ходу работы изменял некоторые сюжетные ситуации и углублял характеристики основных персонажей. В черновом плане, как и в окончательной редакции рассказа, время действия отнесено к самому началу XIX века (см.: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XI, с. 398), но место действия в рассказе изменено по сравнению с планом: события первоначально должны были развертываться в Твери, на Волге, затем в Орле и наконец в Рязани, на Оке [3]. Но главное отличие плана от рассказа в его последней редакции заключается в том, что по первоначальному замыслу в основе повествования лежал лишь эпизод с часами. Характеры рассказчика (Алексея, первоначально — Сергея) и его двоюродного брата Давыда раскрывались в их отношении к этому эпизоду. Имен старика Латкина и его двух дочерей, а также Егора Галкина в черновом плане нет. История семьи Латкиных, как и история взаимоотношений Давыда с Черногубкой, были введены в рассказ в виде некоего композиционного отступления. В конце главы X так об этом и говорится (см. с. 75). Между тем именно эти вставные главы (XI и следующие) ярче всего определяют социальный колорит рассказа (нравы и быт мелкого служилого люда), исполнены лиризма и насыщены тонкими психологическими наблюдениями.

Определив сюжетную канву и основной круг действующих лиц, писатель постепенно насыщает их характеристику теми деталями, которые и придают в конечном счете острое социально-психологическое звучание всему повествованию. Это становится особенно ясным при сопоставлении окончательного текста с черновым автографом, где еще отсутствуют некоторые мотивы, несущие значительную смысловую нагрузку,— в этом отношении характерна работа писателя над эпизодическими персонажами.

Так, в черновом автографе эпизод в доме отставного солдата Трофимыча возник как необходимое сюжетное звено в истории с часами (возвращение часов владельцу). Вся эта сцена написана в стиле бытовой зарисовки с сочными речевыми характеристиками, экзотикой исторических реалий и т. д. В дальнейшем Тургенев ввел в повествование фразу об уважении, которое невольно испытал движимый прихотью Алексей, столкнувшись с великодушием бедного человека («я не смел ∽ солдат...», с. 66), и этот психологический мотив связал относительно независимый сюжетный эпизод с нравственной проблематикой рассказа.

В том же направлении происходит насыщение текста психологическими мотивировками и в других местах рассказа.

В автографе «брат Егор», ссыльный вольнодумец, отец Давыда, еще мало связан с другими действующими лицами. Дополняя текст, Тургенев характеризует Егора и через отношение к нему брата, сына, племянника (в черновом автографе нет следующих мест текста: «и брата ∽ не забудут», с. 68; «„Брат Егор“ ∽ в помощники», с. 68;

[3] Следы первоначального замысла сохранились и в окончательном тексте, где допущена некоторая географическая неточность: Орел стоит на Оке, а Рязань — на реке Трубеж, впадающей в Оку в нескольких километрах от города.

«Отличное ∽ не разорили!» и «Вы-то уедете ∽ белые брови», с. 82; «и Давыдова ∽ щедро», с. 100).

Аналогичный процесс наблюдается и в работе писателя над главными действующими лицами. Наметив основные контуры образа Черногубки, автор затем дополняет ее характеристику сопоставлением с Давыдом («Они как-то шли друг к другу», с. 77), подчеркиванием тех качеств девушки, которые особенно удивляют Алексея,— ее трудолюбия, такта, живого ума («и либо шила ∽ руками», с. 77; «Я не слыхивал ∽ не видывал», с. 77; «Он и меня выучил ∽ разбирает», с. 82).

Рассказ о тяжкой жизни Латкиных еще не приобрел в черновом автографе того оттенка социальной угнетенности, который появился в дополнениях, характеризующих степень их нужды, бесправия и темноты. В различном отношении именно к этим жизненным обстоятельствам раскрывается сущность главных героев — Алексея и Давыда.

По мере совершенствования рассказа Тургенев всё более и более четко оттеняет контрастные черты в характерах Алексея и Давыда. В одном он подчеркивает слабость и малодушие, в другом — собранность цельной натуры, решительность и силу. Воспитанный в духовно ограниченной семье, Алексей жалок даже в добрых своих побуждениях, и самый «подвиг» его — кража часов во имя справедливости — не предвещает развития сильной личности. В черновом автографе психологическое состояние героя обрисовано еще недостаточно — страх и возбуждение перед опасностью, отношение к Давыду и другие мотивы, характеризующие натуру Алексея, оформились в тексте уже на позднейших стадиях работы. В противоположность Алексею Давыд, достойный сын своего отца, рано научился различать добро и зло, он нетерпим к насилию, деятелен — будущий путь его ясен. Соотношение этих натур примерно то же, что и в других произведениях Тургенева, в частности — в «Отцах и детях» (Кирсанов и Базаров). Шаг за шагом автор прослеживает, как складываются и проявляются в детстве характеры, определяющие эти наиболее любопытные для Тургенева социально-психологические типы. Действие в рассказе отнесено к отдаленному прошлому, но психологическая проблематика была актуальной для писателя и в 1870-е годы. Душевные, нравственные силы героев Тургенев, как известно, всегда поверяет поведением их в любовных, лирических ситуациях. Так появились и в «Часах» поэтические страницы, повествующие о скупой на слова, но верной и мужественной любви Давыда к Черногубке. Первоначально Тургенев собирался представить своих героев-подростков в еще более юном возрасте: в черновом плане указано, что Алексею в 1801 году было 12 лет, в тексте черновика — что ему шел 13-й год, а в беловом автографе — 14-й — и соответственно всюду Давыд годом старше Алексея. Но и после того, как возраст этих персонажей был увеличен, основной для писателя осталась мысль о раннем жизненном опыте молодых душ в обстановке нравственно-уродливого быта. В черновой рукописи разговор Раисы с Давыдом у забора — о похоронах матери, о распродаже вещей, о бедности (гл. XIII) сопровождался вначале таким замечанием автора: «И это говорили [пятнадцатилетние] дети! И я, ребенок тоже, это слушал!» В той же главе, характеризуя «взрослость» Давыда, автор делает на полях помету: «NB. Да у него были другие préoccupations ⟨заботы (*франц.*)⟩. Он ест хлеб дяди, который так долго зло помнит».

В черновой рукописи сохранились следы тщательного и разностороннего совершенствования образной системы рассказа. С особым вниманием писатель дорабатывает портретные черты, речевые характеристики, психологические мотивировки. В ряде случаев устранены лишние подробности (словесная характеристика «решительности» и «отчаянности» Давыда: описание его замкнутой натуры). В других случаях автор дополняет портрет существенными деталями. На полях рукописи против места, где рассказывается впервые о Раисе (в автографе она названа не только Черногубкой, но и Мышкой), набросана характеристика этого персонажа, которая затем частично использована в тексте. Варьируя и совершенствуя текст, писатель с каждым новым штрихом всё рельефнее оттеняет духовную силу и женственность Раисы, ее особую грацию и внутреннее достоинство. Устранением и заменой неясных, расплывчатых определений он добивается четких контуров образа, по первому замыслу имеющего некоторые «роковые» черты. Так, развивая мысль о постоянно трагическом выражении ее глаз, Тургенев в соответствии с конспектом после слов: «В ней было что-то ∞ и печальное и милое» добавляет к тексту: «Еще не видавшая горя, настоящей нужды, она словно заранее готовилась ее встретить — и не то, чтобы сама готовилась, а природа уж так ее устроила». Затем эта вставка была Тургеневым вычеркнута, так как в самом повествовании о горе и нужде, пережитых семьей Латкиных, содержится реальная мотивировка печального облика Раисы. Более того, состояние транса, в которое впадает Раиса после несчастья с Давыдом, в данном случае вполне объяснимое (оно подготовлено большой и длительной эмоциональной перегрузкой), вызвало у автора опасение: не слишком ли много мелодрамы во всем этом эпизоде? И потому на полях рукописи, против описания застывшего лица Раисы, он делает помету, имеющую характер почти медицинского свидетельства.

Уточнение подобного рода сделано и в психологической характеристике глухонемой девочки, которая в названном выше эпизоде по первоначальному варианту реагировала на тревожные события так, как реагируют обычно здоровые дети, т. е. «плакала навзрыд». В окончательном варианте глухонемая девочка, не понимая происходящего, «преспокойно помахивала кнутиком». Писатель этим штрихом уточнил реальную жизненность факта и усилил трагизм ситуации.

Все эти примеры говорят об особом внимании писателя к психологическим реакциям, стоящим на грани болезненных явлений.

Центральными драматическими эпизодами рассказа являются бунт мелкого чиновника против нравственно нечистой жизни и последствия этого непосильного бунта: нищета, болезнь, смерть; испуг и болезнь осиротевшего ребенка; кража часов — эмоции преступления; любовные переживания юных душ, принадлежавших к враждебным семействам; угроза разлуки с любимым и душевное потрясение героини. Эти сцены, написанные Тургеневым с большим мастерством, свидетельствуют о нараставшем интересе писателя к сфере психологии и об умении освещать «душевные пропасти».

Друзья Тургенева, с литературным вкусом которых Тургенев особенно считался, не замедлили отметить тонкость психологического рисунка в рассказе «Часы». Анненков, отвечая на просьбу

Тургенева оценить его новое произведение, писал 5 (17) декабря 1875 г. из Баден-Бадена:

«Я проглотил, добрейший И⟨ван⟩ С⟨ергеевич⟩, Ваш прелестный рассказ и уже отослал его Стасюлевичу. Вот что скажу. Сути самой русской жизни в нем не захвачено, как это удавалось Вам в других случаях, но милейших подробностей бездна. Характер анекдота, который на нем лежит, так ясен, что, кажется, и автору следовало бы согласиться с этим и в конце рассказа сказать, например: „Таков анекдот с первыми подаренными мне часами", а если это безграмотно, то что-нибудь другое в том же роде. Кстати, часы, вставленные в лукошко потому, что сами лукошко, не очень-то красиво завершают рассказ, которому не следовало бы разрешаться в плохой каламбур и в довольно дикую идею.

Достаточно было бы, если бы рассказчик, глядя на свои новые брегеты с репетициями и звонами, всегда переносился мыслию к первым часам лукошкою. Если найдете справедливыми эти замечания — их можно еще осуществить приказом к Стасюлевичу. Тяжелее произвести следующие перемены.

Признаюсь, друг, образ прелестной Вашей Черногубки затуманился в моих глазах от изображения ее бегущей, разинув рот, за Давыдом с часами, к реке. Почему так — и сам не понимаю; может быть, оттого, что эта встреча слишком уж нужна автору, а может быть и потому, что сумасбродство Давыдово требовало картины без посторонней, чужой — драматической примеси. Кажется, лучше было бы, если бы Черногубка встретила его уже на рогожке, полумертвым: последствия могли бы быть точно те же. ⟨. . .⟩ Всё прочее чрезвычайно тонко, миниатюрно, хорошо обрисовано, иногда лучезарно освещает на минуту душевные пропасти (солдат, сам Давыд, измена Латкина), но именно по тонине и миниатюрности кисти — не могу пророчить успеха рассказу *сразу*, а когда он просмакуется читателями с достаточным тщанием, успех к нему придет несомненно. То же было с бесценной Муму» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 10, лл. 59—60).

Тургенев учел эстетическую часть критики Анненкова (об его замечаниях, касающихся отдельных исторических неточностей, см. в реальных комментариях, с. 459—460) и послал Стасюлевичу список поправок, внесенных им сначала в черновой автограф и перенесенных редактором «Вестника Европы» в наборную рукопись (см. письмо к Анненкову от 24 ноября (6 декабря) 1875 г. и письма к Стасюлевичу от 25 ноября (7 декабря) и 26 ноября (8 декабря) 1875 г.). В результате переделок по совету Анненкова изменен был конец рассказа [4], устранена сцена, где Черногубка догоняет мальчиков, бегущих к реке, уточнены сведения о прошлом Егора (см. реальный комментарий, с. 459—460).

Еще одну поправку Тургенев сделал по совету Полины Виардо. Писатель воспроизводил косноязычную речь парализованного Латкина в пересказе Раисы во время их первого разговора с Давыдом у забора. Между тем ранее в повествовании указывалось, что ста-

---

[4] Сначала Тургенев совсем отбросил забракованную Анненковым концовку, и повествование кончалось сведениями о судьбе Давыда и Раисы, но затем он пришел к выводу, что слишком «окургузил» конец («и в музыке необходимо под конец напомнить первоначальный мотив»), и прибавил к тексту «хвостик» (см. на с. 101 абзац «С тех пор ∾ безвозвратно улетевших»).

рик Латкин еще не был парализован в то время, о котором рассказывала Раиса. Эту поправку, как и две другие, сделанные Тургеневым уже в корректуре, Стасюлевич при публикации в журнале не учел. По этому поводу Тургенев писал ему в декабре 1875 г.: «Оставшееся место о „косноязычии" не представляет большой беды, хотя в XI главе сказано, что смерть жены произошла прежде паралича: но этого никто не заметит» (см. письма к Стасюлевичу от 29 ноября (11 декабря) и 10 (22) декабря 1875 г.). В том же письме Тургенев «узаконил» и даже одобрил случайный пропуск фразы «он не оставил детей — и Раиса недолго пережила его» в концовке рассказа.

Пресса с особым вниманием отнеслась к появлению нового произведения Тургенева. В декабрьском номере «Вестника Европы» за 1875 г. было помещено извещение о том, что редакция получила от автора рукопись рассказа «Часы». «С.-Петербургские ведомости» немедленно перепечатали это извещение (1875, № 324, 2 декабря). 23 декабря в Петербурге, в помещении Художественного клуба, при содействии Стасюлевича состоялось чтение нового рассказа Тургенева в пользу Литературного фонда (в исполнении А. А. Потехина). «С.-Петербургские ведомости» поместили подробный отчет об этом чтении под названием «Новая повесть И. С. Тургенева „Часы"», с публикацией большого отрывка из этого произведения (эпизод кражи часов) по корректурам «Вестника Европы» (*СПб Вед*, 1875, № 347, 27 декабря). Многие петербургские и московские газеты также поместили отклики на это чтение.

Еще более обильную прессу вызвала полная публикация рассказа в журнале. С оценкой нового произведения Тургенева выступили в январских номерах газеты «С.-Петербургские ведомости», «Петербургская газета», «Петербургский листок», «Русский мир», «Сын отечества», «Новое время», «Новости», «Молва», «Кругозор», «Гражданин», «Ремесленная газета», «Иллюстрированная неделя», «Одесский вестник», «Новороссийский телеграф», журналы «Пчела», «Детский сад» и другие. Мнение критики при этом было относительно единодушно в общей оценке рассказа: почти все рецензенты, за редким исключением, отмечали художественные достоинства рассказа и сетовали на бедность его общественного содержания. Подзаголовок рассказа «1850 г.», относящий к этому году время, когда рассказчик вел свое повествование о часах, был воспринят большинством рецензентов как время написания самого рассказа — и отсюда выносилось суждение об «устарелости» этого произведения. Отнесение же самого действия к 1801 году — историческому периоду, открывавшему эпоху первых либеральных реформ и позволявшему автору проводить между строк аналогию с некоторыми проблемами современности, было в большинстве случаев и совсем не понято или не принято критикой. В соответствии с таким односторонним пониманием рассказа и складывалось отношение к нему различных читательских кругов: демократическая критика была недовольна отходом автора от общественной проблематики, как это ей представлялось; либеральные критики приветствовали рассказ в основном как проявление чисто художественных исканий писателя.

Высокую оценку художественного мастерства Тургенева в рассказе «Часы» дал критик «Петербургского листка» С. С. Окрейц (псевдоним — «Дед Пафнутий»). В фельетоне, напечатанном в шестом номере этой газеты за 1876 г. (от 8 (20) января), рассказ Тургенева назван «превосходнейшей работой» и «образцом повествова-

тельного искусства». По мнению критика, сущность повествования в этом рассказе — не только бытоописательная картинка далекой эпохи, но и «глубокая психическая драма человеческих сердец и характеров», близкая и понятная современникам автора.

Признаки «еще не утомленного таланта автора „Записок охотника“» увидел в «Часах» критик «Русского мира» Вс. С⟨оловье⟩в. Считая, что рассказ «отвечает всем требованиям художественности», он выделил как особо удавшиеся образы Латкина и Раисы. При этом рецензент противопоставил рассказ Тургенева — по умению очертить тип русской девушки — напечатанному в том же номере «Вестника Европы» роману Михайлова (А. К. Шеллера) «Хлеба и зрелищ». Позиция, с которой автор оценивал рассказ Тургенева, явственнее всего обнаруживается в его ироническом суждении о герое рассказа — Давыде: «Слабее всех вышел Давыд — гимназисты-титаны не удаются даже Тургеневу» (*Рус Мир*, 1876, № 9, 10 января). Преимущественное внимание к образам Латкина и Раисы, к «неподдельному драматизму» всего рассказа в целом проявилось и в рецензии на него газеты «Гражданин» (1876, № 11, 14 марта), близкой по направлению к «Русскому миру».

Как обычно, половинчатую позицию заняли «С.-Петербургские ведомости». Критик этой газеты В. В. Марков писал, что рассказ «Часы» «не может ни увеличить, ни умалить славы нашего первого, по дарованию и значению, беллетриста» (*СПб Вед*, 1876, № 10, 10 января).

Резко отрицательную оценку дала рассказу Тургенева газета «Новости», обвинившая автора в «обветшалости», в литературной несамостоятельности, а самый рассказ квалифицировавшая как пародию на сказку об Иванушке-дурачке и щербатой копейке или на легенду о Поликратовом перстне. В то же время критик с раздражением отмечал современное звучание рассказа: «Остается решительно непонятным, зачем понадобился автору год исторической старины. Давыд — нечто среднее между Базаровым и Бабуриным, нигилист нигилистом, человек отчаянный» (Новости, 1876, № 31, 31 января).

Противоположную точку зрения высказал рецензент газеты «Молва», увидевший в рассказе «пустяшный отроческий мир чувств», не имеющих отношения «к текущей жизни, где происходит брожение, выработка новых нравственных идеалов и типов» (Молва, 1876, № 2, 11 января).

В журнале «Пчела» П. И. Вейнберг назвал рассказ Тургенева «одной из январских литературных поставок» и «делом торговым», к которому незачем применять требования строгой художественной критики. По выражению критика, в этом рассказе Тургенева настолько отсутствует «обоняние общественного воздуха», свойственное другим его произведениям, что только старый знакомый и приятель, каким считал себя П. Вейнберг, «в состоянии поверить, что такой рассказ, как „Часы“, вызван внутреннею потребностью писателя высказаться» (Пчела, 1876, № 4, т. II, 15 марта).

Еще более суровым был отзыв о «Часах» М. Е. Салтыкова-Щедрина. В письме к Анненкову от 15 (27) февраля 1876 г. он сообщал: «Вот об „Часах“ Тургенева, которые только сейчас прочитал, могу тоже сказать кратко и справедливо, что это подражание Гришке Данилевскому ⟨. . .⟩ Тургенев впадает в детство и, даже в форме примечания, совсем некстати делает рекламу в пользу „Вестника Европы“. Никакого большого романа у него нет, да и

не может быть [5]. ⟨. . .⟩ При моей впечатлительности и нервности, я весь трясусь от негодования по поводу „Часов". Какое-то желание есть подвильнуть хвостом перед молодежью изображением Давида, но исполнение таково, что всякий поймет, что тут ничего нет искреннего» (*Салтыков-Щедрин*, т. 18, кн. II, с. 261—262).

Сам Тургенев, хотя и выражал в письмах к Анненкову и Стасюлевичу неуверенность в успехе своего рассказа, но, вероятно, никак не предполагал, что внутренняя тенденция этого произведения — в частности, образ Давыда — не будет понята современниками [6]. Во всяком случае почти в каждом письме к редактору «Вестника Европы» Тургенев просил показать рукопись рассказа С. К. Брюлловой, представительнице демократически настроенной молодежи 1870-х годов [7], и прислать ему ее нелицеприятный, «чертовски строгий» отзыв (см. письма к Стасюлевичу от 14 (26) октября, 22 ноября (4 декабря), 25 ноября (7 декабря) 1875 г.).

Как бы отвечая на незаслуженные обвинения Тургенева в «несовременности» или в поверхностном, спекулятивном изображении современных явлений, «Ремесленная газета» писала, что мир героев, подобных Давыду, воспринимался их читателями, как «проявление чего-то могучего, смелого, доблестного» в обстановке «незатейливого быта, бедного, жалкого, мизерного» (1876, № 3, 17 января).

Одним из тех читателей, которые чутко уловили современное звучание рассказа «Часы», был Я. П. Полонский, приславший Тургеневу дружественный отзыв и о самом рассказе, и о вызванной им полемике. В письме от 19 февраля ст. ст. 1876 г. он писал Тургеневу: «Прочел я „Часы" твои. Как досадно, что наши критиканы и литературщики даже не хотят понять мысли этого милого рассказа, мысли для нашего поколения весьма нравоучительной». Осуждая тех «судей», которые считали воспитание «нравственного чувства» делом несерьезным и неактуальным, Полонский призывал писателя не верить этим судьям и не оправдываться перед ними (*Звенья*, т. 8, с. 192).

С развернутой полемикой против тех, кто «свысока отнесся к последнему рассказу Тургенева», выступил также анонимный рецензент педагогического журнала «Детский сад». Считая рассказ «образцом мастерского психологического анализа души юношества», рецензент писал: «В „Часах" мы видим молодые силы, которые зрели в начале нашего столетия, и понимание их поможет нам понять и те, которые зреют в наше время ⟨. . .⟩ Давыд — тип здорового юноши, из которого выходит энергичный, честный человек.

---

[5] Имеется в виду авторское предисловие к рассказу «Часы» в публикации «Вестника Европы», где сообщалось о незавершенной работе над «Новью» (см.: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XI, варианты прижизненных изданий, с. 418—419).

[6] В главе XIV рассказа говорится о том, как «лестна» была для рассказчика дружба с благоразумным и практическим Давыдом (с. 83). В черновом варианте этого места заострена мысль об увлекающем примере личностей, подобных Давыду: «...я сам почувствовал [как будто я возмужал и начал] себя как бы возмужалым и способным практически и дельно взирать на вещи».

[7] Об С. К. Брюлловой см. в работе Н. Ф. Будановой «Неизвестная статья С. К. Брюлловой о романе Тургенева „Новь"».— *Лит Насл*, т. 76.

До 13 лет он был в руках у отца, сосланного в Сибирь за якобинский образ мыслей ⟨. . .⟩ Давыд вносит идеал чести и правды в мир грязной наживы. Давыд — сила, и все уступают ему. Интересно было бы проследить, на что ушла бы такая крупная нравственная сила, как Давыд, если бы он жил, и что внес бы в общество такой подросток». Далее критик указывает на сходную, но, по его мнению, «менее удачную попытку показать душу подростка в произведении г. Достоевского» (Детский сад, 1876, № 1—2, с. 90—93).

О том, какое общественно-воспитательное значение имел и в дальнейшем рассказ Тургенева «Часы», можно судить по отзыву о нем В. И. Ленина в пересказе его двоюродного брата Н. И. Веретенникова, который, вспоминая о круге и характере чтения юного Володи Ульянова, сообщает:

«Позднее Володя говорил мне, что он особенно ценит литературные типы, обладающие твердостью и непоколебимостью характера.

Он обратил мое внимание на рассказ Тургенева „Часы“, тогда еще мне не известный. Прочитав этот рассказ, я понял, что Володе должен был понравиться герой рассказа Давыд, причем именно за характер его.

Когда, кажется, на следующее лето, я спросил Володю, не потому ли ему нравится этот рассказ, он мне ответил утвердительно, говоря, что такие люди, как Давыд, достигают всего, к чему стремятся» (Веретенников Н. Володя Ульянов. Воспоминания о детских и юношеских годах В. И. Ленина в Кокушкине. М., 1962, с. 25—26).

Почти одновременно с русской публикацией готовился немецкий перевод рассказа Тургенева. Еще в сентябре 1874 г., едва приступив к работе над рассказом, Тургенев пообещал предоставить его для перевода Паулю Линдау, редактору журнала «Die Gegenwart» (см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. X, с. 304). Впоследствии писатель забыл об этом обещании (см. письмо к Ю. Шмидту от 15(27) января 1876 г.) и передал свой рассказ для перевода Ю. Роденбергу, редактору журнала «Deutsche Rundschau», где он и был напечатан в феврале 1876 г. в переводе Кайслера (Deutsche Rundschau, 1876, т. VI, № 2). Вскоре после этого еще один немецкий перевод рассказа появился в газете Э. Шмидта «St.-Petersburger Herold» (№ 26—35, с 28 января (9 февраля) до 6(18) февраля 1876 г.) со следующим предисловием: «Мы воспроизводим в немецком переводе для наших читателей этот лишь недавно появившийся в „Вестнике Европы“ рассказ по разрешению автора, высказанному нам самым дружеским образом. Редакция». Почти одновременная публикация рассказа в трех разных органах печати вызвала беспокойство и неудовольствие редакторов, с которыми Тургенев вступил в письменные объяснения, доказавшие его невиновность (см. письма Тургенева к М. М. Стасюлевичу, Ю. Роденбергу и Л. Пичу в период между октябрем 1875 и мартом 1876 г. и примечания к ним — *Т, ПСС и П, Письма*, т. XI). При жизни Тургенева в Германии неоднократно появлялись переводы рассказа «Часы» (Берлин, 1878 и 1879 гг., переводчик А. Герстман; Лейпциг, 1882 г., в кн.: J. Turgenjew. Vier Erzählungen. Übersetzt v. E. St [8]).

---

[8] Последний из этих переводов вызвал возмущение и насмешку писателя (см. воспоминания М. Василенко.— Неделя, 1883, № 38, с. 1262—1263; то же — Киевлянин, 1883, № 198, 14 сентября).

В 1876 г. и позже появились французские[9], австрийские[10], датские[11], шведские[12], английские[13], чешские[14] переводы рассказа. Обилие переводов свидетельствовало об особом успехе «маленького рассказа» Тургенева за рубежом (см. об этом в письме Ю. Роденбергу от 1 (13) февраля 1876 г.). Интерес к нему не прекращался и в более позднее время[15].

Стр. 60. *Рассказ старика. 1850 г.*— Как и в ряде других произведений, Тургенев приурочивает повествование не к тому времени, когда писался рассказ, а отодвигает его на несколько лет назад, по-видимому, связывая в какой-то мере содержание этого рассказа с кругом литературной проблематики пятидесятых годов, в частности с «Детством» Л. Н. Толстого, «Детскими годами Багрова внука» С. Т. Аксакова и другими произведениями, в которых уделялось внимание социальной психологии детства. Подзаголовок, относивший повествование к 1850 году, послужил источником многих ошибочных суждений критики об устарелости «завалявшегося в портфеле писателя» произведения (см. обзор прижизненной критики, с. 453).

...Дело происходило ∽ *в 1801 году.*— В дальнейшем указан не только год, но и месяц действия (март 1801 г.) и названы происходившие в то время исторические события: смерть Павла I, восшествие на престол Александра I и указ последнего об амнистии политических преступников (см. об этом в комментариях к с. 68). Избранное Тургеневым время действия — конец царствования Павла как преддверие александровских реформ и декабризма — позволило писателю на историческом материале поставить в рассказе многие актуальные для современности вопросы, связанные с пробуждением новых общественных сил на ином этапе исторического развития России. Рассказ «Часы», как и другой рассказ того же периода — «Пунин и Бабурин», примыкает по проблематике к центральному произведению этой поры — роману Тургенева «Новь».

---

[9] Во Франции в 1876 г. вышло три перевода рассказа «Часы»: в газете «Le Temps» — «La Montre, récit d'un vieillard en 1850», переводчик неизвестен, 15—19 mars 1876, № 5446—5450; 22—26 mars, № 5454—5457 (см. о нем в письме к Ж. Этцелю от 20 марта (1 апреля) 1876 г.) и в двух изданиях сборника Этцеля — J. Tourguénef. Les Reliques vivantes. La Montre... etc. Hetzel, ⟨1876⟩. В письме Тургенева к Жорж Санд от 23 марта (4 апреля) 1876 г. содержатся сведения о том, что французской писательнице понравился «маленький рассказ в „Temps"».

[10] Die Uhr. Erzählung eines alten Mannes. Von Iv. Turgennev. Aus dem Russ. (Von N. Karasin), Wien, A. Hartlebens Verlag, 1876.

[11] Uhret. Paa Dansk. V. Møller. Kjøbenhavn, 1876. III Bd.

[12] Klockan Stockholm, 1896, Huldberg.

[13] The match: an old mans story.— Lippincott's magazine, X, may, 1876.

[14] Hodinky. Пер. Л. «Světozor» (1875).

[15] В статье Edw. Bensly «Dickens and Turgenev» (Notes and Queries, 1935, № 16, p. 276) сравниваются эпизоды из рассказа Тургенева «Часы» и романа Диккенса «Наш общий друг» (спасение утопающего), но параллель, проводимая автором между этими эпизодами, имеет чисто внешний характер и не приводит ни к каким серьезным выводам.

...за какие-то, якобы «возмутительные поступки и якобинский образ мыслей» ∽ в 1797 году.— Тургенев передает стиль указов Павла I о предании суду и ссылке в Сибирь лиц, увлеченных идеями французской революции,— «возмутителей, ⟨. . .⟩ поправших внушение веры, долг чести, благодарности и все общественные обязанности», нарушителей «законов естества и законов положительных», людей, «следующих лжеучению возмутителей» (указ от 16 ноября 1797 г. Полное собрание законов Российской империи, т. 24, с. 801).

Стр. 61. *Пелагея Петровна.*— Тургенев называет тетку рассказчика то Пелагеей Петровной, то Пульхерией Петровной (ср. с. 69). Та же ошибка допущена и во всех рукописях. На путаницу имен в рассказе Тургеневу указал рецензент газеты «Новости» (1876, № 31, 31 января).

Стр. 65. *...томпаковыми часами...*— Часы из дешевого сплава меди с цинком. «Томпаковые часы, гитара и янтарный мундштук считались принадлежностью всякой лакейской лотереи» (Даль В. Толковый словарь..., т. IV).

Стр. 66. *Фуктелями, по-калегвардски ∽ Шпонтонами их!* — Народноэтимологические формы слов: фухтель — удар плашмя обнаженной саблей или палашом; по-кавалергардски; эспонтоны — короткие пики, бывшие на вооружении в некоторых частях русской армии в XVIII веке. Все эти выражения, как и слово «сражант» вместо «сержант» (с. 66), в черновом автографе отсутствуют и введены в текст в наборной рукописи как дополнительный элемент речевой характеристики персонажей.

Косу тебе ∽ та же баба! — По воинскому уставу 1797 года фузелеру при полном обмундировании полагались также пудра, пукли и косы: «...последние оплетали черною шерстяною лентою, имевшею на затылке бант с 2 небольшими концами ⟨. . .⟩ Вне службы рядовым дозволялось, вместо кос, носить пучки» (см.: Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. СПб., 1848. Ч. 6, с. 90).

Стр. 68. *...достигла и до нашего города ∽ вступил на престол.*— Манифест о кончине Павла I и восшествии на престол Александра I был провозглашен 12 марта 1801 г. Действие в рассказе начинается 17 марта того же года (см. с. 61).

Всех ссыльных теперь возвратят из Сибири...— Одним из первых указов Александра I был именной указ от 15 марта 1801 г. «О прощении людей, содержащихся по делам, производившимся в тайной экспедиции...» По этому указу освобождались политические преступники, «заключенные в крепости и в разные места сосланные», с дозволением «возвратиться кто куда желает» (Полное собрание законов Российской империи, т. 26, с. 584—585).

Стр. 70. *...фризовый кафтан...*— Кафтан из дешевой толстой ткани типа байки. Мелкие чиновники шили из этой ткани шинели.

Стр. 76. *...некоторый кунштюк...*— Кунштюк — искусная махинация (от немецкого das Kunststück).

Стр. 77. *...поела команики...*— Команика, или куманика — лесная ягода, напоминающая ежевику.

Стр. 80. *Первый народ — англичане ∽ мы теперь французов бьем.*— Имеются в виду победоносные действия русской армии под командованием Суворова и русского флота под командованием адмирала Ушакова в 1799 г. в ходе войны России, Англии и Австрии против республиканской Франции. Тургенев, как всегда, точен в реалиях: основное действие рассказа развертывается в 1801 го-

ду, но разговор, в котором упоминается о войне, происходит «года за два до начала рассказа» (см. с. 76). Разговоры о предстоящей войне с Англией были вызваны тем, что Павел I вступил в союз с Францией после неудачи швейцарского похода и готовил против Англии военную коалицию, которая распалась после его смерти.

Стр. 81. ...*в шушуне зеленом*...— Шушун — короткая женская верхняя одежда типа телогрейки.

Пиши: ша, твердо ∾ червь! — Название букв в церковнославянской и старой русской азбуке (ш, т, ч).

Стр. 85. ...*игрою на тóрбане*.— Тóрбан — народный струнный инструмент, родственный бандуре; был в употреблении до середины XIX века.

...*как есть иезоп*.— Искаженное Эзоп. Здесь это имя употреблено в нарицательном смысле: хитроумный, вызывающий удивление.

Стр. 86. *Я этого пересмешника найду*! — В XVIII веке «пересмешниками» в народе называли мартинистов, членов мистической масонской секты, расширительно — всяких фокусников и жуликов.

Стр. 88. *Тогда, в 1801 году ∾ народный герой*.— См. примечание к с. 60. В личной библиотеке Тургенева, находившейся в Спасском-Лутовинове, имелась книга «История российско-австрийской кампании 1799 г. под предводительством генералиссимуса, князя италийского, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, изданная Е. Фуксом». СПб., 1825.

...*при губернаторской канцелярии ∾ сгорел, со всеми церквами*.— В письме к Тургеневу от 23 ноября (5 декабря) 1875 г. Анненков в качестве «маленькой исторической придирки» сделал автору «Часов» следующее замечание: «Комитета о погорельцах при губернаторе князе Х. тогда не могло быть и в помине, ибо по существовавшей фикции помещики и начальство казенных крестьян должны были обстроивать своих погорельцев, а мог существовать разве Комитет о возведении колокольни при соборе или о построении колокола в миллион пудов с малиновым звоном или что-нибудь такое» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 10, л. 60). Тургенев не принял этого замечания. В ответном письме Анненкову от 25 ноября (7 декабря) 1875 г. он указал на исторический факт создания комитета в пользу белевских погорельцев в XVIII веке и согласился лишь добавить в тексте фразу, объясняющую, что речь идет не о крестьянах, а о горожанах. Мысль о касимовских погорельцах (первоначальный вариант — быховских погорельцах) возникла в связи с тем, что летом 1875 г. Тургенев сам принимал непосредственное участие в собирании средств в пользу моршанских погорельцев (см. об этом в письме к М. М. Стасюлевичу от 28 июня (10 июля) 1875 г.). В первоначальном варианте текста Давыд и Алексей собирались отправить часы императору Александру I.

Стр. 89. ...*в пудраманте*.— Пудрамант или пудромантель — род накидки, полотняного плаща, рубашки, которую надевали пудрясь.

Стр. 90. ...*тогда солдаты ходили с пиками*...— По уставу 1797 г. нижним чинам в пехоте полагалось иметь алебарды — холодное колющее и рубящее оружие с железным пером на длинном древке.

Стр. 99—100. ...*вольтерианцем ∾ читать в подлиннике Вольтера*).— В первоначальном варианте текста Егор был назван масоном, а не вольтерианцем. Анненков напомнил Тургеневу в назван-

ном выше письме, что «мартинисты, новиковцы ‹последователи Н. И. Новикова›, вроде Егора, сосланы были Екатериной и возвращены Павлом, который к ним сумасбродно, как и всё, что он делал, благоволил». Тургенев исправил текст, объяснив Анненкову и Стасюлевичу, что ошибочное толкование хорошо известного ему факта случайно «выскользнуло из-под пера» (см. письма к ним от 24 ноября (6 декабря) и 25 ноября (7 декабря) 1875 г.). Тургенев неоднократно описывал русских провинциальных вольтерьянцев XVIII века, связывая с этим понятием всякое свободомыслие и независимость характера (см.: «Мой сосед Радилов», «Три портрета», «Дворянское гнездо»).

Стр. 101. *...защищая Шевардинский редут.*— Имеется в виду героическая оборона Шевардинского укрепления 24 августа (5 сентября) 1812 г. за два дня до Бородинского сражения.

...настоящий брегет...— Брегет — часы работы французского мастера Бреге (A. L. Breguet, 1747—1823).

СОН

(с. 102)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Сон. Черновой автограф, 20 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave, 86; описание см.: *Mazon*, p. 82—83; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 258.

Сон. Беловой автограф, 60 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave, 95; описание см.: *Mazon*, p. 82—83; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 315.

Новое время, 1877, № 303, 1 января, с. 1—2; № 304, 2 января, с. 1—2.

Т, *Соч*, *1880*, т. 9, с. 313—336.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 9, с. 339—363.

Впервые опубликовано: Новое время, 1877, № 303 и 304, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* с устранением опечаток, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 104, *строки 40—41:* «смуглого, желчного лица» вместо «смуглого, желтого лица» (по автографам).

Стр. 106, *строки 24—25:* «руку слегка поднимет» вместо «руки слегка поднимет» (по автографам).

Стр. 112, *строка 24:* «сколь возможно точнее» вместо «сколько возможно точнее» (по всем другим источникам).

Стр. 113, *строки 26—27:* «ожиданное» вместо «неожиданное» (по автографам и «Новому времени»).

Стр. 118, *строка 40:* «следы ступней *одного* человека» вместо «следы ступней одного человека» (по беловому автографу).

Дату написания рассказа «Сон» Тургенев проставил на титуле черновика: «Начат в Париже, Rue de Douai, 50, во вторник 23-го дек. 1875/4-го янв. 1876. Кончен в Париже, Rue de Douai, 50, в середу 17/5-го мая 1876. (Писан с большими перерывами)».

Упоминания о начале работы над рассказом встречаются в письмах Тургенева к П. Линдау от 28 декабря 1875 г. (9 января 1876 г.) и к Л. Пичу от 16 (28) января 1876 г. Окончание работы также подтверждается данными переписки. В письме к П. В. Жуковскому от 11 (23) мая 1876 г. Тургенев пишет: «Завтра, ровно в 2 часа, я в Grand Hôtel у Арапетова читаю свою фантастическую повестушку».

Черновой текст «Сна» записан в большой тетради в ряду других черновых записей того же периода: с черновиком «Сна» соседствуют автограф «Рассказа отца Алексея», поправки к «Часам», автобиографическая заметка для М. М. Стасюлевича. Рукопись испещрена поправками, много вставок на полях, но в целом последний слой чернового автографа, за небольшими исключениями, совпадает с основным текстом. Преобладают варианты стилистического характера, есть много перестановок слов. Особенно обильны варианты в изображении душевных переживаний героев и в описаниях природы, к которым относятся, например, взаимоотношения между героем рассказа и его матерью (конец I — начало II главок), рассказ матушки (IX главка), описание моря после бури (XIV главка), встреча с мертвым «отцом» (XV главка). Текст чернового автографа разбит на главки, обозначенные черточками.

В конце черновика, после подписи, дата: «Середа, 17/5-го мая 1876. 2 часа с $^1/_4$-ю утра».

Черновик был переписан Тургеневым в новую тетрадь меньшего размера. На обороте титульного листа дано оглавление, в котором перечислены главки и относящиеся к ним страницы белого автографа. Затем следует еще одно заглавие и текст.

Правка беловика имеет двоякий характер: исправления в ходе переписки (многие незачеркнутые варианты чернового автографа исправлены в беловом) и стилистическая работа над перебеленным текстом: варианты для беловика довольно значительны, имеются вставки на полях. Но последний слой белового автографа почти полностью совпадает с окончательным текстом.

В конце беловика после подписи — дата: «Париж, май 1876». По дате окончания чернового автографа и дате первого чтения можно определить время написания белового автографа — от 5(17) до 11(23) мая 1876 г.

Для набора беловой автограф был еще раз переписан, видимо, писцом (эта копия не сохранилась): несколько слов в рукописи разъяснено сверху каллиграфическим почерком. Крайне незначительные расхождения между беловиком и основным текстом свидетельствуют о том, что изменения могли быть сделаны при проверке писарской копии или в корректуре.

Чтение «Сна» в кругу парижских знакомых, о чем Тургенев сообщал в письме к П. В. Жуковскому от 11(23) мая 1876 г., вероятно, прошло благоприятно. Вслед за этим писатель обратился к П. В. Анненкову. «Мне пропасть нужно с Вами переговорить, коечто прочесть и т. д. и т. д.»,— пишет он ему 11(23) мая. А 17(29) мая 1876 г. Тургенев выехал из Парижа в Россию. По дороге он остановился в Баден-Бадене и прочитал Анненкову свой рассказ.

Рассказ обсуждался и в Петербурге. В письме к Стасюлевичу от 23 декабря 1876 г. (4 января 1877 г.) Тургенев упоминает о «Сне», который он читал ему «в прошлом году». Пишет об этом и С. К. Брюллова в конце мая 1876 г. в письме к отцу, К. Д. Кавелину: «...мы были у них ⟨Стасюлевичей⟩ в городе собственно ради Тургенева,

который там обедал и читал новую свою вещицу, написанную так, между прочим. 〈. . .〉 Маленькая его штучка — фантастическая (называется „Сон“) и очень странная» (*ИРЛИ*, ф. 119, 20. 489 5. CXXXIXб: *Лит Насл*, т. 76. с. 284). Очевидно, таким же было мнение Стасюлевича, потому что «Сон» не появился в «Вестнике Европы». Но Тургенев не отказался от мысли напечатать свой рассказ.

Судя по письмам Тургенева в «Наш век» от 8 и 13 мая ст. ст. 1877 г., он предложил «Сон» «Новому времени» через В. И. Лихачева, близкого знакомого М. Е. Салтыкова и соиздателя (вместе с А. С. Сувориным) газеты, передав ему рукопись в сентябре в Париже. Сохранилось письмо Тургенева к Лихачеву от 9(21) декабря 1876 г., в котором он определял условия появления «Сна» в «Новом времени». «Любезнейший Владимир Иванович.— писал он,— Вы, вероятно, уже передали в редакцию „Нового времени“ мой небольшой рассказ. Вы помните, что я поставил Вам одно только условие — а именно чтобы он не был напечатан *раньше* 1-го янв〈аря〉 1877 г., теперь я прошу Вас сделать мне следующее одолжение: не печатать его раньше *8-го* янв〈аря〉, т. е. прибавить еще неделю. Мне это непременно нужно для некоторых сделок по случаю перевода этого рассказа на французский и немецкий язык».

Переговоры о напечатании «Сна» за границей Тургенев вел еще раньше, чем отдал рукопись Лихачеву, и даже раньше, чем был завершен рассказ. Случилось это следующим образом.

Тургенев предложил П. Линдау, издателю еженедельника «Die Gegenwart» свой рассказ «Часы», но, вероятно, по забывчивости отдал его через полтора месяца Ю. Роденбергу для журнала «Deutsche Rundschau» (см. примечания к «Часам», с. 455—456). За эту оплошность Тургенев извинился перед П. Линдау в письме от 28 декабря 1875 г. (9 января 1876 г.), то есть вскоре после начала работы над рассказом «Сон». Об этом же Тургенев писал Ю. Шмидту 15(27) января 1876 г.: «Я оказался вероломным и не сдержал обещания, данного редакции „Gegenwart“! Бог знает, как это случилось! Редакция написала мне укоризненное письмо; я извинился, как мог 〈. . .〉 и предложил им взамен другой рассказ; но они мрачно молчат».

Замена была принята, но Тургенев просил П. Линдау в письме от 29 сентября (11 октября) 1876 г. не печатать рассказ ранее января 1877 г., а в дальнейшем в письме к брату редактора Р. Линдау от 17(29) декабря 1876 г. уточнял дату, предлагая не выпускать в свет немецкий перевод «Сна» раньше 20 января 1877 г. «чтобы раньше, чем выйдет оригинал, не появился обратный перевод на русский».

В то же время в письме от 22 декабря 1876 г. (3 января 1877 г.) Тургенев просил А. В. Топорова, которому он поручал «продержать корректуру» «Сна», ускорить публикацию «этой безделки» в «Новом времени», с тем условием, чтобы рассказ не вышел в свет раньше «Нови».

Но то, чего писатель опасался, все-таки случилось. П. Линдау напечатал рассказ в своем переводе с французской рукописи в «Gegenwart» (1877, № 1, 6 января н. ст., с. 4—7 и № 2, 13 января н. ст., с. 202— «Der Traum von Ivan Turgenev. Übersetzt von P. L.»). Формально Линдау опирался на первое разрешение Тургенева напечатать рассказ в начале января, но Тургенев имел в виду старый стиль, что он и поясняет в письме к П. Линдау от 30 декабря 1876 г. (11 января 1877 г.). Поэтому хотя в «Новом времени» «Сон» был напеча-

тап 1 и 2 января ст. ст., но публикация в «Gegenwart» оказалась первой, что и вызвало дальнейшую неприятную полемику вокруг «Сна» [1].

Как поясняет Тургенев в письме к П. Линдау от 30 декабря 1876 г. (11 января 1877 г.), «Новое время» назначило высокий гонорар за «Сон» потому, что обещало подписчикам на 1877 год новый рассказ Тургенева. Между Россией и большей частью стран Западной Европы не существовало литературной конвенции. Поэтому любой рассказ, в том числе и русского писателя, можно было перевести без согласия автора и без оплаты гонорара.

Отдавая себе в этом отчет, Тургенев написал издателям «Нового времени» о своем согласии на любой гонорар по их усмотрению (см. письмо к В. И. Лихачеву от 29 декабря 1876 г. (10 января 1877 г.). Видимо, дело было улажено, но осадок еще ранее назревавшей неприязни остался, и конфликт вспыхнул позднее, в связи с обратным переводом в «Новом времени» «Рассказа отца Алексея» (см. комментарии к этому рассказу, наст. том, с. 472—478).

Тургенев в письме, напечатанном в газете «Наш век» (№ 48, 19 апреля), упрекнул Суворина за его бесцеремонность. Суворин ответил пространным «Открытым письмом к И. С. Тургеневу» в «Новом времени» (1877, № 413, 24 апреля, с. 1—2), в котором обвинял писателя в заискивании перед заграницей, основываясь на факте опубликования «Сна» сначала в немецком переводе без всякого предупреждения редакторов «Нового времени».

Тургенев решительно отверг несправедливые и необоснованные обвинения Суворина в письме в «Наш век» (№ 67, 8 мая), но нападки всё же продолжались.

В «Московских ведомостях» (1877, № 106, 2 мая, с. 3—4) появилась заметка: «Отовсюду. Хроника общественной жизни. „Сон“, новая повесть И. С. Тургенева» (за подписью А. Ст.-Ф.). Ни словом не упомянув о том, что «Сон» уже давно появился в России, автор характеризует как «литературную новость Западной Европы» «новую повесть И. С. Тургенева, написанную им на французском языке и помещенную в газете „Temps“ под заглавием „Сон“ (le Rêve)». Тенденция заметки весьма прозрачна. «Сон» не мог быть в мае «литературной новостью» во Франции, так как был напечатан в «Temps» в конце января (1877, № 5756—5757, 20—21 января). И ясно было, что автор заметки постарался солидаризироваться с открытым письмом Суворина: от письма заметку отделяет лишь неделя.

Подробно пересказав содержание «Сна», критик «Московских ведомостей» завершает заметку лишенным сколько-нибудь серьезного основания обвинением в адрес Тургенева: «Автор прекрасно сделал, что написал свой рассказ по-французски: фантастические повести его не очень ценятся в русской литературе; эта имела бы тем менее успеха, что сюжет ее подходит к сюжету одной недавней бульварной мелодрамы „Отец“ гг. Декурселя и Ж. Кларти ⟨. . .⟩ (см.: *Моск Вед*, № 47), в фельетоне же парижской газеты повесть на своем месте».

Об отношении русского писателя к иностранной литературе говорится также в статье «О правах писателя в частности и человека

---

[1] Об истории напечатания рассказа «Сон» в журнале «Gegenwart» см. в публикации Г. Ионас писем Тургенева к издателю этого журнала Паулю Линдау и его брату Рудольфу.—В кн.: I. S. Turgenev und Deutschland. Berlin, 1965. Bd. I, S. 117—118, 124—132.

вообще, размышления по поводу писем гг. Тургенева и Суворина», подписанной псевдонимом «Один» (*СПб Вед*, 1877, № 119, 1 мая, с. 1). Критик «С.-Петербургских ведомостей» пространно полемизирует с Сувориным о праве писателя сочинять на любом иностранном языке и печатать свои произведения за границей, особенно о праве русского писателя, потому что Западная Европа мало знает русскую жизнь и литературу.

Несправедливые нападки Суворина и «Московских ведомостей», неумелая защита «Одного» вызвали протесты Тургенева в газетах «Temps» (1877, 20 мая н. ст.) (перепечатано в «Новом времени», 1877, № 432, 13 мая, с. 3) и «Наш век» (1877, № 67, 72, 8 и 13 мая ст. ст.). В них Тургенев заявлял, что «Сон» написан независимо от пьесы А. Декурселя и Ж. Кларти и был в этом вполне прав, так как премьера пьесы «Отец» состоялась в театре «Gymnase Dramatique» 17 февраля н. ст. 1877 г., то есть после того как «Сон» уже был напечатан в Германии, России и Франции. Тургенев возражал также против оскорбительных обвинений критиков, приписывающих ему «способность сочинительствовать на чужом наречии».

Рассказ «Сон» при жизни Тургенева был переведен, кроме немецкого и французского языков, на датский язык (см.: «Drommen». Paa Dansk ved W. Møller.— T. Ungdomeskriffer. Kjøbenhavn, 1880). Попытка Тургенева перевести рассказ на английский язык не встретила поддержки у В. Рольстона. В письме к нему от 10(22) января 1877 г. Тургенев согласился с мнением своего корреспондента, «что „Сон“ не подходит для перевода на английский язык».

Полемика о «Сне» и отношении русского писателя к иностранной литературе явилась наиболее значительным эпизодом в обсуждении рассказа. «Сон» появился одновременно с «Новью»; поэтому критики либо разбирали только роман, игнорируя «художественную безделку», либо сочетали анализ обоих произведений — конечно, не в пользу рассказа. Отзывы, в которых критики специально останавливаются на «Сне», немногочисленны, сдержанны и даны исключительно в газетах.

В основном отзывы сходны. Критики отказываются давать подробный анализ «Сна» и в лучшем случае пространно пересказывают его содержание, сопровождая пересказ краткими, часто голословными характеристиками и высказываниями.

Для демократической критики характерно выступление А. М. Скабичевского в «Биржевых ведомостях» (1877, № 11, 12 января, с. 1). Уделив очень много внимания обличению газетных нравов и заискиванию редакторов перед знаменитостями, Скабичевский в статье «Мысли по поводу текущей литературы. Новые произведения г. Тургенева: „Сон“...», подписанной псевдонимом «Заурядный читатель», отказывается «от всякой критики подобной чудовищной фантасмагории ⟨т. е. „Сна“⟩, ограничиваясь только изъявлением своего крайнего недоумения и изумления». Действительно, в дальнейшем Скабичевский лишь негодует на «самонадеянность автора, который воображает в своих эмпиреях, что каждый вздор, какой только придет ему в голову, каждая клякса его пера должны быть непременно преданы печати на пользу и поучение современникам и увековечение потомству». И Скабичевский не находит другого более критического и обоснованного определения для «Сна», чем «творческий грех».

Умеренно-либеральная газета «Новости» в заметке «Русская печать» (без подписи) характеризует «Сон» в мягких выражениях, но достаточно резко по существу: «Отдавая должную дань уважения неугасающему таланту и симпатичному творчеству Ивана Сергеевича, мы не можем, однако, умолчать о том тяжелом впечатлении, которое оставляет в читателе эта художественная безделушка. Весь сюжет рассказа основан на мучительном кошмаре, который начинается во сне и оканчивается наяву, так что нет возможности определить, где оканчивается сновидение и где начинается действительность». Критик подчеркивает влияние французской литературы на рассказ, в чем с «Новостями» солидаризировались в дальнейшем «Новое время» и «Московские ведомости»: «Рассказ, как мы сказали, вполне художественное произведение, но есть в нем больной недостаток: это легендарная подкладка „Вечного Жида" и „Графа Монтекристо"» (Новости, 1877, № 4, 4 января, с. 2).

«Русский мир», газета консервативного направления, в статье «Литературное обозрение. Новый роман и новый рассказ И. С. Тургенева», подписанной W, характеризует «Сон» как «полуфантастическую безделку» и «литературный десерт». Отметив, что «читатели слишком избалованы серьезным содержанием новых романов, чтобы наслаждаться букетом и сладостью хорошеньких конфеток, которые им часто преподносит г. Тургенев», критик кратко и сдержанно характеризует рассказ: «Достаточно сказать, что „Сон" не вполне правдоподобен, как в целом, так и в подробностях, но рассказан вполне безукоризненно, и в этом отношении мы охотно поставим его гораздо выше, например, „Пунина и Бабурина" или „Часов". В рассказе есть неровность и, так сказать, полуфантастическая прозрачность, что очень идет к его не совсем обыкновенному содержанию» (*Рус Мир*, 1877, № 18, 20 января, с. 1).

Положительно оценил «Сон» только критик «Сына отечества» В. Печкин ⟨Н. В. Успенский?⟩ (Сын отечества, 1877, № 2, 9 января, с. 15—19). В. Печкин считает, что «Сон» «как и всё, что выходило из-под пера знаменитого автора, представляет весьма отрадное явление в нашей безжизненной и в последнее время совершенно опошлившейся литературе». Сделав ряд выпадов против критиков, последователей Д. И. Писарева, которые должны охаять рассказ, как «Дым», и «Довольно», В. Печкин характеризует «поэтическое впечатление» от содержания «Сна»: «мастерство, с которым ведется рассказ, художественные приемы и умение очерчивать в нескольких фразах самые глубокие психологические явления, изящество рисунка, тонкость штрихов и изумительную гармонию красок». Идею рассказа В. Печкин видит в протесте против «зверских инстинктов» и утверждает, что эта идея облечена в художественную форму. Критик останавливается и на психологизме рассказа: «С полной уверенностью можно сказать, что ни одному из наших литературных корифеев не удалось так глубоко заглянуть в человеческую душу и так умно проследить одно из загадочных и анормальных психологических явлений ⟨состояние ясновидения⟩ ⟨. . .⟩ „Сон" производит впечатление глубоко прочувствованной музыкальной пьесы».

В следующей своей заметке (Сын отечества, 1877, № 3, 16 января, с. 30) В. Печкин полемизировал с оценкой «Сна» А. М. Скабичевским, защищая Тургенева.

Сам Тургенев (в письмах к А. В. Топорову, П. В. Жуковскому, В. Рольстону, Стасюлевичу конца 1876 — начала 1877 г.) неоднократно отзывался о рассказе «Сон» с нарочитой небрежностью,

называя его «безделкой», «полуфантастическим рассказцем», «фантастической повестушкой», «довольно пустой штукой». Между тем затронутые в нем проблемы влияния «таинственных» законов наследственности на психику и судьбу человека, вопросы о «законных» и «незаконных» семьях, о неправильных отношениях между родителями и детьми глубоко волновали писателя и были ему близки.

В письме к В. Рольстону от 10 (22) января 1877 г. Тургенев несколько объяснил замысел загадочного «Сна» и свою глубокую заинтересованность в теме: «Я могу сказать только, что работая над этим небольшим рассказом, я не испытывал никакого нетерпеливого, *чисто французского*, желания коснуться довольно скандальной темы; я попытался решить физиологическую загадку — с которой знаком в известной степени по своему опыту». Упоминая о «чисто французском желании» и «скандальной теме», Тургенев намекал, очевидно, на пьесу Э. Ожье «Госпожа Каверле» и свое критическое отношение к ней. Представление этой пьесы писатель видел в Париже, в театре «Водевиль» 4 марта 1876 г. в период усиленной работы над рассказом. В пьесе Э. Ожье «Госпожа Каверле», вызвавшей острую полемику современников, ставились вопросы о «законных» и незаконных семьях, занимавшие и Тургенева (см. об этом: Алексеев М. П. Тургенев в спорах о пьесе Э. Ожье.— *Т сб*, вып. 3, с. 251).

Сформулированная писателем в письме к В. Рольстону «физиологическая загадка», к разрешению которой он обратился, сводилась, очевидно, к проблемам наследственности («голос крови»), к трактовке сна как «особого психофизиологического состояния», ставшего «сюжетно и концептуально организующим моментом в одном из самых „мистических“ произведений Тургенева ...»[2].

Фантастический колорит и загадочность «Сна» позволяют установить точки соприкосновения рассказа Тургенева с творчеством Э. По[3]. Критически относившийся к поздним произведениям Тургенева и явно недооценивавший их. В. Я. Брюсов в письме к Н. Я. Брюсовой от 4 августа 1896 г. назвал «Сон» «рассказом шаблонным», написанным под влиянием Э. По (см.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 184).

М. Шагинян отметила сюжетное сходство «Сна», «самого странного рассказа» Тургенева, с романом английской писательницы М.-Э. Брэддон (1837—1915) «Плод Мертвого моря» (1868; переведен на французский язык и издан в Париже в 1874 г.) и высказала предположение о возможном воздействии этого романа на автора «Призраков» и «Сна»[4].

---

[2] См. об этом: Турьян М. А. «Таинственные повести» В. Ф. Одоевского и И. С. Тургенева и проблемы русской психологической прозы. Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. Л., 1980, с. 20—21. На основании сходства традиционного романтического мотива «вещих» снов, преобразующегося в мотив «провидения», понятого как особое и неразгаданное свойство человеческой психики, здесь устанавливается близость рассказа Тургенева «Сон» рассказу В. Ф. Одоевского «Орлахская крестьянка» и их принципиальное различие.

[3] См.: Турьян М. А. Тургенев и Эдгар По. (К постановке проблемы.— Studia Slavica, 1973, t. XIX, fasc. 1—4, p. 408.

[4] См.: Шагинян М. Опять в Англии.— В кн.: Шагинян М. Собр. соч. М., 1973. Т. 5, с. 352—353.

Интерес к иррациональным сторонам человеческой психики, отраженный в рассказе, вопросы соотношения сновидений с реальной жизнью, тема непознанных законов наследственности и фатализма [5], загадочная судьба героев сближают «Сон» с «таинственными повестями» Тургенева — с «Призраками», «Собакой», «Странной историей», с «Песнью торжествующей любви», «Клара Милич», со многими «Стихотворениями в прозе».

Стр. 111. *Макбет убил Банко ∽ ему может мерещиться...* — В трагедии Шекспира «Макбет» (1623) призрак убитого Макбетом Банко появляется на пиру и занимает место Макбета (акт III, сцена 4).

РАССКАЗ ОТЦА АЛЕКСЕЯ

(с. 121)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Рассказ священника». Беловой автограф, 17 с., с правкой (верхний слой) после опубликования французского перевода рассказа в «La République des Lettres» (январь — февраль 1877 г.). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 83; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 261.

ВЕ, 1877, № 5, с. 99—110.

Т, *Соч*, *1880*, т. 9, с. 337—352.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 9, с. 364—379.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1877, № 5, с подписью: Ив. Тургенев — и пометой: Париж, 1877. Перепечатано по тексту *ВЕ*, под названием «Рассказ отца Алексея И. С. Тургенева»: Русская библиотека, т. 39, Лейпциг, 1877 (отдельный выпуск).

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 123, *строки 27—28:* «никто руку помощи тебе не подаст» вместо «никто руку помощи не подаст» (по беловому автографу и *ВЕ*).

Стр. 125, *строка 26:* «а я молчи?» вместо «а я молчи!» (по всем другим источникам).

Стр. 127, *строка 21:* «Я опять его пытать» вместо «Я опять его пытал» (по беловому автографу и *ВЕ*).

Стр. 129, *строки 31—32:* «на вольном воздухе Яков и прежде — *того-то* не видал» вместо «на вольном воздухе Яков прежде — *того-то* не видал» (по беловому автографу и *ВЕ*).

Стр. 131, *строка 32:* «да и самого себя» вместо «да самого себя» (по беловому автографу и *ВЕ*).

«Рассказ отца Алексея» был написан Тургеневым в январе 1877 г. В письме к Ю. Роденбергу от 20 апреля (2 мая) 1877 г. Тургенев сообщал, что этот рассказ он «написал в самом начале 〈. . .〉

---

[5] См.: Зельдхейи-Деак Ж. «Таинственные повести» Тургенева и русская литература XIX века.— Studia Slavica, 1973, t. XIX, fasc. 1—3, p. 357.

года». О том же говорит и авторская помета на беловой рукописи (после текста и подписи: Ив. Тургенев): «50, Rue de Douai, Париж. 2 часа $^{1}/_{4}$ после полуночи, в ночь с понедельника 22/10 янв. 77 на вторник 23/11 янв.». Однако, завершив первую редакцию, Тургенев продолжал работать над рассказом и в феврале — марте, внося в текст значительные дополнения и исправления.

В период работы Тургенева над рассказом разгорается острая полемика вокруг «Нови», вышедшей в свет в январском и февральском номерах «Вестника Европы». Вскоре после опубликования первой части романа в Париж из России начали доходить отрицательные отклики, которые удручающе действовали на писателя. В письмах к Я. П. Полонскому от 22 января (3 февраля) и от 18 февраля (2 марта) 1877 г., в связи с «неуспехом» «Нови», о котором он «был извещен с различных сторон», Тургенев писал о своем намерении не выступать более с крупными художественными произведениями и о решении заняться переводами. К 17 февраля (1 марта) 1877 г. Тургенев завершил перевод «Легенды о св. Юлиане Милостивом» Флобера и начал переводить другую его легенду — «Иродиада» (см. письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 17 февраля (1 марта) 1877 г.). Параллельно с переводами этих колоритных «готических» легенд Тургенев написал, по его собственному определению в письме к Стасюлевичу от 18(30) марта 1877 г., «небольшой, тоже легендообразный рассказ», содержание которого было почерпнуто им из его старых отечественных воспоминаний.

Отойдя от актуальной проблематики своего последнего романа о народниках, Тургенев создал рассказ, тематически примыкающий к опубликованному в начале 1877 г. «Сну» и другим его так называемым таинственным повестям и рассказам 1860—1870-х годов. В том же письме к Стасюлевичу, обещая выслать рассказ для «Вестника Европы» вместе с «Иродиадой», Тургенев указал его жизненный источник, определил его тему и художественные контуры. «Боюсь я, однако,— писал Тургенев,— как бы цензура не нашла затруднений... эта штука озаглавлена „Рассказ священника“, и в ней совершенно набожным языком передается (действительно сообщенный мне) рассказ одного сельского попа о том, как сын его подвергся наущению дьявола (галлюцинации) — и погиб. Колорит, кажется, сохранен верно — но там есть святотатство...» То, что в основе рассказа лежит действительно услышанное повествование реального лица, находит подтверждение и в биографических записках И. Ф. Рынды. «Одно время в Спасском,— пишет Рында,— был священником о⟨тец⟩ Борис, у которого племянник отличался странностями и совсем не был похож на окружающих людей. Многое рассказывал о нем о⟨тец⟩ Борис Ивану Сергеевичу. Эти рассказы и воспроизведены Ив. С. в такой неподражаемой, художественной форме, под названием „Рассказ отца Алексея“» (*Рында*, с. 30).

В одном из писем Тургенева к Н. А. Щепкину, которое относится, по всей вероятности, к августу 1878 года, упоминался и небогатый священник в приходе тургеневского имения Алексей. «Поп Алексей,— писал Тургенев,— просит 15 осинок». Отец Алексей, сочувственно относившийся к больной Лукерье и принесший ей календарь «для рассеянности», фигурировал и в «Живых мощах» (1874), действие в которых происходит в Алексеевке — одном из «хуторков», принадлежавших в 1840-х годах матери Тургенева (см. наст. изд., т. 3, с. 326—327, 513). В черновом автографе «Нови» (1876) встречается следующая запись: «Nota bene: слова попа Алек-

ся „пред человечеством“, т. е. в присутствии людей» [1]. Всё это свидетельствует о том, что Тургенев обобщил в рассказе свои личные воспоминания.

Возможно, что при разработке одного из эпизодов рассказа сыграли некоторую роль и литературные ассоциации. В заметке «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского «Влас» (о стихотворении Некрасова), опубликованной в № 4 «Гражданина» за 1873 г., приводился эпизод с «оскорблением святыни», которое должно было произойти, но не совершилось под влиянием галлюцинации — видения Христа.

В деревне несколько парней поспорило: «Кто кого дерзостнее сделает?» Один из них, местный «Мефистофель», взял со своего товарища клятву исполнить то, что он укажет, и затем потребовал от него принять причастие, но не проглотить.

«— Отойдешь — вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу. Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! Я положил на жердь.

— Теперь, говорит, принеси ружье.

Я принес.

— Заряди.

Зарядил.

— Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии» (*Достоевский*, т. 21, с. 34).

Устраняясь, ввиду недостаточной осведомленности, от медицинского толкования факта галлюцинации, Достоевский дает ему психологическое объяснение: «И вот, в самый последний момент — вся ложь, вся низость поступка, всё малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения — всё это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему... всё кончилось» (там же, с. 40).

Прямых свидетельств о знакомстве Тургенева с заметкой Достоевского «Влас» нет, но весьма вероятно, что она ему была известна. Находясь за границей, Тургенев внимательно следил за русскими журналами, не пропускал и номеров «Гражданина» с «Дневником писателя» Достоевского, возбудившим широкое общественное внимание [2]. В рассказе Тургенева сын сельского священника Яков, решивший порвать с духовной карьерой и стать доктором, чтобы «ближним ⟨. . .⟩ помогать», но сломившийся в самом начале этого пути, пошел на «святотатство», тоже в результате долго преследовавшей его галлюцинации, по «его» (дьявола) велению (см. наст. том, с. 131). Изображение Достоевским и Тургеневым столь необычной и одновременно сходной сюжетной ситуации было подчинено у обоих писателей различным идейно-художественным задачам: если для Достоевского случай несостоявшегося поругания причастия послужил иллюстрацией к его мыслям о борьбе между верой и неверием в сознании русского народа, о свойственной ему потребности «хватить через край», дойти до крайнего отрицания, а затем не менее

---

[1] Mazon A. L'Elaboration d'un roman de Turguénev «Terres vierges».—Revue des études slaves, fasc. 1—2. Paris, 1925. V.5, p. 104.

[2] См., например, письма Тургенева к А. В. Топорову от 22 марта (3 апреля) и 22 июня (4 июля) 1876 г. с благодарностью за присланные номера «Дневника писателя» и просьбой выслать очередной новый номер.

настоятельной потребности искупить свою вину страданием, то Тургенев, у которого интерес к подобным явлениям в 1870-е годы возрос в связи с распространением философии позитивизма и естественнонаучного эмпиризма [3], сосредоточил свое внимание на фантастическом преломлении в восприятии суеверного простодушного человека истории гибели его сына, юноши из двухсотлетнего рода приходских священников, не выдержавшего сомнений и ставшего жертвой галлюцинаций, кульминационным завершением которых стало аналогичное, содеянное в состоянии одержимости, «преступление» и которые, будучи следствием его болезненного кризиса, предстают в то же время как проявление «таинственных», еще не познанных стихийных сил природы, их воздействия на судьбу человека, его сознание.

Рассказ первоначально, как указано на первом листе рукописи, назывался «Рассказ священника» и предназначался для мартовской книжки «Вестника Европы», в которой должен был появиться уже с новым заглавием — «Рассказ отца Алексея»; но ни в мартовский, ни в апрельский номер «Вестника Европы» он не попал. По просьбе знакомого Тургеневу редактора небольшого парижского журнала, которому он «давно обещал дать что-нибудь» (см. указанное выше письмо к Ю. Роденбергу), французский перевод первой редакции рассказа, законченной в январе, был опубликован в последнем январском и двух февральских номерах «La République des Lettres» под названием «Le fils du pope» [4]. Отправив этот перевод американскому писателю Г. Джеймсу, Тургенев писал ему 16(28) февраля 1877 г.: «Вчера послал вам „Сына попа“. Это то, что называется, „a ghastly story“ ⟨страшный рассказ (*англ.*)⟩ и вообще говоря — безделица. Мне ее рассказали». Однако текст рассказа Тургенев не считал окончательно завершенным, о чем сообщал в письме к Стасюлевичу от 25 марта (6 апреля) 1877 г. и просил дать ему «сроку до 5/17 апреля...». Тургенев выслал рассказ Стасюлевичу несколько ранее, 29 марта (10 апреля) 1877 г., сопроводив его письмом, в котором писал: «„Рассказ отца Алексея“ может Вам показаться мистификацией в ту силу — что цензура его не пропустит; но ежели, однако, это опасение не оправдается — то я Вам скажу, почему я Вам высылаю эту штуку за три дня до „Иродиады“; я бы желал, чтобы эти две вещи не были помещены рядом ⟨. . .⟩ „Отец Алексей“ очень бы проиграл от *непосредственного* соседства. Вы его поместите в начале книжки, а „Иродиаду“ в середине и поставьте под именем г. Флобер (переведено И. Тургеневым). Должен прибавить, что французский перевод „Алексея“ появился с месяц тому назад в небольшом журнальчике, именуемом „La République des Lettres“, но этот журнальчик даже здесь не читают — а в России он, чай, совершенно безвестен; впрочем, я прибавил кое-какие штришки в оригинале».

В соответствии с указанием Тургенева «Рассказ отца Алексея» и «Иродиада» были помещены раздельно в майском номере «Вестника Европы». Но прежде чем вышла в свет майская книжка «Вестника Европы», в «Новом времени» от 6(18) и 7(19) апреля 1877 г. (№ 395 и 396) рассказ появился в обратном переводе с французского

---

[3] См.: Бялый Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 207—221.

[4] La République des Lettres, vol. III, série 2, 28 janvier, 4 février, 11 février 1877.

под заглавием «Сын попа». Возмущенный Тургенев сообщал об этом «неожиданном репримандe» Стасюлевичу в письме от 9 (21) апреля 1877 г.: «В третий раз в течение моей литературной карьеры со мной случается такая штука. Но тогда подвизался Краевский; а ныне я получил подобный сюрприз от г. Суворина. Видно, на деликатность г‹оспо›д редакторов рассчитывать нечего!» И далее, поручая Стасюлевичу напечатать в какой-либо газете по этому поводу заметку, Тургенев писал: «Можете прибавить, что в оригинальной статье, присланной для „Вестника Европы", я прибавил немало штрихов, в чем Вы можете удостовериться сличением текстов. Да и тон священнического рассказа совсем пропал».

Анализ рукописи в сопоставлении с опубликованным в «La République des Lettres» переводом и текстом «Вестника Европы» позволяет не только убедиться в справедливости этих замечаний Тургенева, но и восстановить картину творческой работы его над рассказом. Текстом, с которого делался перевод для «La République des Lettres», является беловая рукопись (без многих имеющихся в ней поправок). Лишь некоторые исправления были сделаны Тургеневым на первом этапе работы до опубликования французского перевода в «La République des Lettres». Первоначально, например, сразу же за повествованием о неудачной попытке Марфы Савишны исцелить Якова следовало описание наступившей весны, но Тургенев, желая выделить своего героя из общей массы русского духовенства, отметить демократизм его облика, поставил в тексте рукописи знак, указывающий, что фразу о наступлении весны нужно перенести на следующий лист, и написал абзац о добром отношении к отцу Алексею прихожан, не известивших начальство о странном заболевании его сына (см. с. 128). Стремясь определить свою авторскую позицию относительно излагаемой в рассказе «таинственной» истории, Тургенев отредактировал ее обрамление: оттенил простодушный характер веры отца Алексея в «сверхъестественное», подчеркнув незатейливость его интересов. Иначе выглядела и концовка рассказа: сообщив о смерти Якова и выразив надежду, что «господь» не станет «судить его своим строгим судом...», отец Алексей говорил о своем одиночестве. Тургенев ввел в его речь описание Якова в гробу (см. с. 132). Из менее значительных поправок, внесенных до перевода, следует отметить несколько вариантов, свидетельствующих о поисках эмоционально выразительных средств для передачи душевного состояния Якова, Марфы Савишны и самого отца Алексея. Основной же слой изменений и дополнений над строками и на полях появился в результате последующей работы Тургенева над текстом рассказа в феврале-марте 1877 г. Они и составляют большую часть «штрихов», прибавленных писателем после перевода, о которых он писал Стасюлевичу.

Работая над образом отца Алексея, Тургенев добивался наиболее эмоционально действенного изображения его горя: вставлял в его рассказ слова и обороты, говорившие о потрясенности его сознания, страхе перед неведомым; вписывал и шлифовал фразы, в которых выражалась внутренняя поэтичность отца Алексея, тонкое чувство родной русской природы. Большое внимание Тургенев уделил речи отца Алексея, которая придавала рассказу особый колорит. Стремясь дать в рассказе, как отмечал Л. В. Пумпянский, «уездную, полуфольклорную, „лесковскую" перспективу» (*Т. Сочинения*, т. 8, с. XV), Тургенев старался выдержать повествование отца Алексея в форме плавного неторопливого сказа.

Рассматривая своего героя как человека, близкого к народной среде, Тургенев добивался простоты, выразительности, меткости его языка, разговорности, естественности интонаций.

Очень важная черта прибавлена в рукописи к образу Якова — вписана фраза о желании Якова помогать ближним, как о причине отказа его от духовной карьеры и поступления в университет (см. с. 124). Это характеризует Якова как одного из представителей разночинной интеллигенции 1840—1850-х годов, вышедших из среды сельского духовенства, которые, пройдя через религиозный бунт, обратились к естественным наукам и испытали влияние новых демократических веяний эпохи. Но Тургенев тут же как бы и выводит его из этого ряда, создавая образ разночинца сломленного, больного, лишенного базаровских черт. В рукописи он нагнетал детали, раскрывающие состояние безумия Якова, психологически конкретизировал картины его галлюцинаций.

Существенным дополнением к рассказу явилось развитие ранее только намеченного образа Марфы Савишны. Тургенев заменил в описании ее внешнего облика обычное литературное определение («красивая») взятым из народной поэзии эпитетом («пригожая»), выдвинул на первый план вместо женского обаяния ее высокие душевные качества, остановился на глубоком впечатлении, которое произвел на нее рассказ отца Алексея о Якове, ввел психологическую мотивировку ее отношения к Якову и показал, как в сознании отца Алексея ее добрая воля начинает противостоять злой, «таинственной» силе, вселившейся в его сына, а сам Яков испытывает ее влияние.

На полях рукописи вписан диалог о колечке, которое Яков собирался принести Марфе Савишне с Митрофаньевой ручки, намекающий на возможность иных, более поэтических отношений между ними (см. с. 130). В заключительной части рассказа отца Алексея о Якове, лежащем в гробу, была вставлена фраза о цветах, которые Марфа Савишна положила ему на сердце (см. с. 132).

Однако сохранившаяся рукопись с включенными в нее поправками и прибавлениями не полностью соответствует окончательному тексту рассказа. Это позволяет сделать предположение о существовании наборной рукописи, которая представляла собой отредактированный и перебеленный для «Вестника Европы» текст рассказа. Переписывая рассказ, Тургенев еще раз подчеркнул наивную непосредственность отца Алексея, придал речи его более образный характер, пополнив ее народными разговорными оборотами и выражениями, особенно в тех частях ее, где он говорит о своем горе или касается дорожных впечатлений, природы и деревенского быта, детализирует портрет Якова в различные моменты его болезни и после смерти (подробнее см.: *Т*, *ПСС* и *П*, *Сочинения*, т. XI, с. 438—442 и 534—536).

Таким образом, опубликованный в «La République des Lettres» перевод «Le fils du pope», авторизованный или выполненный самим Тургеневым, отражал определенный момент в истории создания рассказа, но не содержал полного, окончательного его текста. Кроме того, в нем, что отмечалось впоследствии рецензентами (см. ниже), были пояснены для французского читателя или, наоборот, выпущены некоторые фразы, касающиеся русских церковных обрядов и обычаев: к словам текста — на с. 121 — о том, что отца Алексея прихожане «любили и уважали», было добавлено: «chose rare en Russie» («явление редкое в России»); на с. 126 исключена молитва; на с. 130 к

словам отца Алексея «не идет испить теплоты» присоединено объяснение смысла этого обряда: «Jacques a communié et il ne va pas tremper ses lèvres au ciboire de vin chaud comme fait tout bon chrétien qui vient de recevoir le corps du Christ» («Яков причастился и не идет к чаше с теплым вином, чтобы отпить из нее, как поступает каждый добрый христианин, который только что вкусил от тела Христова»).

Напечатанный в «Новом времени» перевод с этого перевода не только не содержал завершенного текста произведения, но в нем исчезло, как указывал Тургенев, своеобразие речи отца Алексея, несущей в себе его авторскую характеристику и составляющей поэтическое зерно рассказа. Это привело к искажению жизненной перспективы изображенных событий, соотношения между реальностью и фантастическим миром героя, и к разрушению стиля рассказа. Обильно встречающиеся в тексте пословицы, поговорки, идиоматические выражения в результате двойного перевода совершенно утратили свою выразительность и образность [5].

Тургенев выступил с протестом, направив его в газету «Наш век», а копию послал Стасюлевичу в письме от 13(25) апреля 1877 г., где писал: «... на следующей странице Вы найдете мой протест против дрянного С⟨уворина⟩ и его перевода; я послал его в „Наш век“, а Вы из него возьмете, что будет нужно для небольшого вступительного подстрочного замечания, которое, мне кажется, необходимо...» Повторив аргументы, изложенные в письме к нему же от 9(21) апреля 1877 г., Тургенев протестовал против «бесцеремонности со стороны г. Суворина», опубликовавшего в «Новом времени» перевод с французского перевода, «да еще с таким подстрочным замечанием,— прибавлял Тургенев,— что читатели могут, пожалуй, принять этот перевод за принадлежащий мне русский текст». Это первое тургеневское «Письмо в редакцию» было напечатано в «Нашем веке» 19 апреля 1877 г. (№ 48) и перепечатано в «С.-Петербургских ведомостях» 21 апреля 1877 г. (№ 109).

А. С. Суворин ответил Тургеневу «Открытым письмом» в «Новом времени» от 24 апреля (6 мая) 1877 г. (№ 413), целью которого, по его словам, было выяснить «положение» Тургенева, «как французского и русского писателя». Иронически упомянув о штрихах, которыми Тургенев «украсил» свой рассказ, и сославшись вновь на подстрочное примечание, из которого, по его словам, «прямо следует, что рассказ переведен с французского», Суворин доказывал свое право на публикацию этого обратного перевода. Сославшись на немецкий перевод «Сна» в «Gegenwart», предваривший на неделю напечатанный в «Новом времени» русский текст рассказа, и, выставив себя обиженным (см. наст. том, с. 462—464), Суворин писал, имея в виду «Рассказ отца Алексея»: «Конечно, тон произведения в переводе сохранить мудрено, а иногда этот тон, букет языка являются существеннейшими достоинствами Ваших произведений, но если Вы сами считаете возможным знакомить с своими рассказами без

[5] Можно указать, например, на такие характерные случаи языковых несуразиц. Вместо: «Однако думаю: нечего против рожна переть; знать, уж такое ему предопределение вышло» — в переводе оказалось: «Однако ж я сказал себе: „К чему бросаться грудью на кол? Это судьба, видимо, толкает его!“»; вместо: «Стану я ему говорить — так он даже зубами ляскает, этак через плечо...» — «Заговорю ли с ним — он защелкает зубами, положив подбородок на плечо...»

этого тона и букета, которые к тому же весьма немногими ценятся, то беда невелика. Главное — достигнуть цели, т. е. отучить одного из симпатичнейших наших писателей от ⟨. . .⟩ греха ⟨„погони за известностью в чужих краях“⟩, в котором не виновен ни один из замечательных европейских писателей и ни один из русских писателей, разделяющих с Вами честь быть гордостью русской литературы».

Тургенев обратился в редакцию «Нашего века» еще с двумя письмами (№ 67, 8 мая, и № 72, 13 мая). В этих письмах, оставляя без внимания «угрозы» и «наставления» Суворина, он разъяснял фактическую сторону его отношений с «Новым временем» в связи с опубликованием «Сна» в «Gegenwart» и категорически опровергал утверждение о способности его «сочинительствовать на чужом наречии», то есть на каком-либо другом языке, кроме «своего родного», русского.

Столкновение между Тургеневым и Сувориным из-за переводов «Сна» и «Рассказа отца Алексея» и возникшая по этому поводу полемика в русских газетах и журналах были связаны с более широкой кампанией вокруг «Нови». Критические отзывы о «Рассказе отца Алексея» немногочисленны и обусловлены ходом этой полемики. Реакционная печать стремилась дискредитировать Тургенева, обвинив его в отрыве от России, и уделила инциденту с Сувориным неправомерно большое место. Критик «Гражданина» Е. Былинкин, ознакомившись с переводом рассказа в «Новом времени», в статье «Цикл понятий (Заметки из текущей жизни)» сравнивал его с переведенной Тургеневым «Легендой о св. Юлиане Милостивом», от которой, по его словам, веет «холодом темного готического свода», и писал: «„Сын попа“ — тоже нечто вроде легенды, уже из нашей русской и православной жизни, но тоже с печатью какой-то безотрадной мрачности. Странное чувство посетило меня, когда я прочел, одну вслед за другой, эти две легенды!.. Что это? В какой же „цикл“ заключились на чужбине мысль и фантазия нашего увенчанного славой художника?..» (Гражданин, 1877, № 15, 21 апреля).

Месяц спустя, когда вышел майский номер «Вестника Европы» и стала известна история с переводами, Е. Былинкин во второй своей статье «Уроки и назидания (Заметки из текущей жизни)», изложив содержание направленных против Тургенева выпадов Суворина и Буренина, также выступившего в «Новом времени» от 8(20) апреля 1877 г. (№ 397) под псевдонимом Тора с критикой «галлицизмов» в языке переведенной Тургеневым флоберовской легенды, восклицал: «Какое положение! Г-н Незнакомец *отучает*, г. Тор *научает*... кого? Кого они поставили, на старости лет, в положение легкомысленного юноши, твердо приняв на себя роль наставников и назидателей? Осуждать ли за это г. г. Незнакомца и Тора? ⟨. . .⟩ Во всей этой истории мне видится перст, указавший г. г. Незнакомцу и Тору быть орудиями высшей кары, долженствующей внушить сынам отечества, что нельзя разрывать свою душу на две половины...» (Гражданин, 1877, № 19, 15 мая).

Автор «Литературного обозрения» консервативной газеты «Русский мир» W, комментируя полемику между фельетонистами «Нового времени» и «С.-Петербургских ведомостей», назвал этот спор «курьезным», «потому что, какое бы ни было его решение, никто, очевидно, не имеет возможности принудить г. Тургенева подчиниться постановленному приговору, так же как ⟨. . .⟩ помешать г. Суворину продолжать свою систему „отучения“ нашего маститого беллет-

риста от его баден-баденских слабостей». Признав, однако, позицию Суворина более сильной, автор обозрения парировал заявление Тургенева о неучтенных в «Новом времени» «штрихах» и добавлениях к рассказу замечанием о том, что «во французской газете рассказ ⟨. . .⟩ появился с некоторыми штрихами, осторожно опущенными им в русской редакции», и привел в качестве примера фразу, введенную Тургеневым во французский текст о добром отношении к отцу Алексею прихожан как об явлении редком в России. «Таким образом,— писал W,— Европе, по мнению г. Тургенева, следует знать, что в России народ редко любит и уважает своих священников, в России же говорить об этом не следует. А фельетонист „С.-Петербургских ведомостей" уверял, что на иностранных языках г. Тургенев подвизается единственно во славу своего русского отечества...» Относительно же самого «Рассказа отца Алексея» критик замечал: «Рассказ этот принадлежит именно к разряду тех художественных безделок, вся цена которых заключается в их безукоризненной форме. Ни идея, ни сюжет рассказа не заслуживают особенного внимания ⟨. . .⟩ — в народе обращается много таких случаев, мы сами часто слыхали о них еще в детстве,— и всё достоинство этого небольшого произведения ⟨. . .⟩ заключается в том, что оно прекрасно рассказано,— просто, свежо и колоритно. Но, разумеется, воссоздать эти достоинства по французскому переводу ⟨. . .⟩ — задача смелая, но неисполнимая» (*Рус Мир*, 1877, № 122, 8 мая).

Прямая связь между отношением к «Нови» и историей с переводами «Рассказа отца Алексея» подчеркивалась в «Голосе». В «Литературной летописи» этой газеты дана ироническая оценка «так называемым „освободительным" идеям» нового романа Тургенева, в котором, по словам рецензента, писатель рисует русскую общественную жизнь из «прекрасного далека», «по парижскому барометру», на основании «произвольных заключений и самоуверенных прорицаний, не замечая целого мирового события, „нарастающего" рядом с мизерным предметом твоей глубокомысленной заботы...» Считая таким «предметом» инцидент с Сувориным, а в прошлом, по всей вероятности, аналогичный случай с Краевским, корреспондент «Голоса» (возможно, сам редактор его А. А. Краевский) писал: «Автор „Рассказа отца Алексея", или „Сына попа", как перевела его с французского „Le fils du pope" предерзостная русская газета, имел, конечно, право огорчиться. Он, как нарочно, „уже после напечатания французского текста, прибавил *немалое число отдельных штрихов*" к своему повествованию. И такие жемчужины, как эти „штрихи", пропали в этом переводе с перевода! Какой Ардаган, какие взрывы турецких броненосцев в состоянии, в самом деле, примирить отечество с такою скорбью, нанесенною творцу „Нови"?..» Оценка рассказа подменена в «Голосе» его пародийным пересказом, который заканчивается словами: «Боле ничего, Не выжмешь из рассказа ты сего» (Голос, 1877, № 104, 26 мая).

Решительно на сторону Тургенева в конфликте его с Сувориным стали либерально-народническая газета «Неделя» и начавшая выходить с марта 1877 г. прогрессивная газета «Наш век». В «Литературно-житейских заметках», напечатанных «Неделей», высмеивается намерение Суворина «*отучить* г. Тургенева от его слабости», в то время как собственные суворинские «слабости поважнее той, от которой г. Суворин старается „отучить" г. Тургенева». «Какая в самом деле беда,— спрашивает автор заметок,— что какой-нибудь

небольшой рассказец появится в „République des Lettres» месяцем раньше, чем в „Вестнике Европы“? И какое имеет право кто бы то ни было (кроме, разумеется, бахвалов) требовать у писателя отчета, почему он в этом случае поступает так, а не иначе,— тем более у такого писателя, как Тургенев, который живет не в России, а за границей?» (Неделя, 1877, № 20, 15 мая).

Газета «Наш век» (изд. Ф. Сущинский, ред. А. Шавров), на страницах которой Тургенев выразил свой протест Суворину, в майской обзорной статье «Литература и искусство» напомнила об участи, постигшей «Рассказ отца Алексея», и привела несколько примеров изуродования этой «изящной, характерной вещицы» в «Новом времени». Этих примеров, взятых наудачу из сопоставления «Сына попа» и оригинального текста в «Вестнике Европы», «достаточно,— говорится в статье,— чтобы видеть, что характерная речь сельского священника превратилась в переводе в нечто искусственное, деланное, лишенное всякой типичности. К чему же было совершать эту убийственную операцию над рассказом любимого русского писателя и коверкать прекрасный язык?!» Действия Суворина «Наш век» объясняет не «высоконравственными», а «меркантильными» соображениями (Наш век, 1877, № 69, 10 мая).

Занятые этой общественно-литературной полемикой, которая в основном отражала отношение к Тургеневу как к автору «Нови», критики мало писали о самом «Рассказе отца Алексея», его содержании и художественном своеобразии.

Как незначительный охарактеризован «Рассказ отца Алексея» в «Современных известиях» (изд. Н. П. Гиляров-Платонов). В обзоре «Русские журналы (Майская книжка „Вестника Европы“)» о нем говорится: «... рассказ Тургенева не прибавляет ничего к славе писателя. Странная история молодого беснующегося сына священника, умирающего от угрызений совести за совершенное святотатство, внушенное ему демоном, которым он одержим, не принадлежит к числу рассказов, могущих увлечь или тронуть русского читателя» (Современные известия, 1877, № 147, 31 мая).

С более развернутым отзывом о рассказе выступила газета либерального направления «Северный вестник». В заметке «Новости русской беллетристики» (подпись: W) «Собака», «Несчастная», «Сон» и «Рассказ отца Алексея» поставлены в один ряд «повестей с преобладающим фантастическим оттенком», число которых невелико «у такого жизненного, трезвого таланта, старающегося поддерживать непосредственное общение с действительностью», и которые занимают «второстепенное место во всей области тургеневского творчества». Указав на своеобразие формы рассказа, то есть на изложение «будто бы чужого рассказа, ведущегося в первом лице», и остановив внимание на «сверхъестественных» элементах его содержания, рецензент отметил, что в рассказе не приподнимается завеса, «скрывающая истинную причину страданий бедного безумца»: «...жажда знаний увлекла его на путь науки; в письме к отцу он доказывает, что в нем слишком много возникло сомнений, чтоб он мог добросовестно посвятить себя церкви,— а между тем основа его мании такая, какая могла бы только зародиться у крайне набожно настроенного человека и притом такого, которого не коснулись ни развитие, ни сомнения». Анализ рассказа заключен выводом: «Таким образом, у нас в конце получается впечатление какого-то беглого, смутного очерка чего-то, намекающего только на целую внутреннюю драму, которая остается для нас совершенной загадкой.

То перо, которое еще недавно написало столько мастерских, живых страниц в „Нови“, воссоздавая живьем многие черты русской действительности, верно, как-нибудь обронило этот бледный очерк». И далее говорится о превосходстве бытового рассказа над фантастическим в творчестве не только Тургенева, но и Гоголя, и о том, что оба они уступают в этом жанре Уилки Коллинзу и Эдгару По (*Сев Вести*, 1877, № 10, 10 мая).

Вопрос о месте фантастического, о дани так называемой «демонологии» в творчестве русских и западноевропейских писателей затронут, в связи с «Рассказом отца Алексея» и «Призраками» Тургенева, также в «Литературном обозрении» «С.-Петербургских ведомостей» за май (подпись: П.), где высказывается мысль, что в противоположность писателям «реальной школы», в частности Вальтеру Скотту, у Шиллера, Диккенса, Жуковского и Тургенева эта тема разрабатывается так, что создается впечатление, «как будто они верят в существование привидений, призраков и вообще появление, под видом теней или звуков, сверхъестественных сил...» (*СПб Вед*, 1877, № 159, 11 июня).

В «Нашем веке» рассказ получил безоговорочно положительную оценку как реалистическое произведение, лишенное какого бы то ни было мистического начала: «В „Рассказе отца Алексея“, в его теперешнем виде, вовсе нет ничего мистического, усмотренного в нем иными рецензентами. Это не более как психологический или, вернее, психиатрический этюд. Темой его является одностороннее помешательство сына священника Якова, помешавшегося в том, что его постоянно преследует чёрт. Рассказ ведется от лица отца, видящего в болезни сына наваждение злого духа. Написан рассказ с обычным мастерством г. Тургенева; язык в высшей степени типичен» (Наш век, 1877, № 69, 10 мая).

«Рассказ отца Алексея» почти не привлекал внимания дореволюционных и современных исследователей. Можно отметить лишь несколько упоминаний о нем в общих работах, посвященных творчеству Тургенева.

В современной литературе о Тургеневе рассказ обычно рассматривается в ряду его поздних полуфантастических произведений — «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич (После смерти)»,— анализ которых увязан с характеристикой исторической обстановки и общей эволюции мировоззрения писателя-реалиста, творчество которого в целом было чуждо мистики и который в этих повестях и рассказах в особой художественной манере разрабатывал психологические темы [6]. Наряду с этим выдвинуто, но недостаточно аргументировано положение о романтическом характере «таинственных» повестей и рассказов Тургенева и в частности «Рассказа отца Алексея» [7]. Это положение отчасти уточняется в последующих посвященных этим произведениям работах, где обосновывается мысль о соприкосновении Тургенева с романтизмом в некоторых аспектах изображения человеческих судеб и характеров при реалистической структуре его метода в главном, определяющем плане и признается наличие в последние годы у писателя, несмотря на рациональное решение основного философского вопроса бытия, от-

---

[6] См., например, вступительную статью к восьмому тому «Собрания сочинений И. С. Тургенева» (*Т*, *СС*, т. 8, с. 547—555).

[7] Ш а т а л о в С. Е. «Таинственные» повести И. С. Тургенева.— Уч. зап. Арзамасск. гос. пед. ин-та, 1962, т. V, вып. 4, с. 57—61.

дельных мистических настроений (прежнее ощущение зависимости человека от неподвластных ему «недобрых» сил приобретает порой роковую окраску) [8]. Автор специальной статьи о «Рассказе отца Алексея» Е. В. Тюхова, отталкиваясь от параллели между рассказом Тургенева и «Дневником писателя» Достоевского, приведенной в комментариях к предшествующему изданию (*Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XI, с. 533), и развивая ее далее, приходит к выводу, что «гуманистические стремления и религиозные сомнения тургеневского героя, его трагическая судьба характерны для шестидесятников и даже слишком очевидно отправляют нас к мученикам сознания больших романов Достоевского», в частности, сопоставляет Якова и Ивана Карамазова. Отмечая различие между Достоевским и Тургеневым как художниками и мыслителями, исследовательница видит их общие достижения в проникновении в сферу подсознания [9].

Кроме французского перевода «Рассказа отца Алексея», опубликованного в «La République des Lettres», известен также немецкий перевод, выполненный П. Линдау, редактором журнала «Gegenwart». Рассказ был выслан Тургеневым Линдау в ответ на просьбу поддержать своим участием вновь задуманный им ежемесячник «Nord und Süd». Отправляя ему «Рассказ отца Алексея», Тургенев писал 13 (25) апреля 1877 г.: «...Ваше желание с радостью исполню. Посылаю Вам при этом маленький, но очень мрачный рассказ. (Настоящее название: „Рассказ отца Алексея“. Возможно, следует предпочесть „Сын попа“). После опубликования французского перевода я еще кое-что добавил и вписал. То, что Вы сами хотите переводить меня, мне весьма приятно. Я еще помню Ваш поистине классический перевод „Сна“» (перевод с немецкого). Перевод рассказа П. Линдау напечатал не в «Nord und Süd», а в «Gegenwart» («Was Vater Alexis erzählt». Von Iwan Turgenjew. Übersetzt von P. L.— Die Gegenwart, 1877, N 19, 12 Mai, S. 299—304).

«НОВЬ»

(с. 133)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Подготовительные материалы к роману «Новь» (Заметка о замысле романа, «Формулярный список лиц новой повести», две редакции конспекта романа — «Краткий рассказ новой повести» и «Рассказ новой повести», Разные заметки). 41 л. Хранятся в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 79—80; фотокопия — *ИРЛИ*. Р. I, оп. 29, № 339. Опубликовано: Revue des études slaves, 1925, т. V, вып. 1—2, р. 85—112

---

[8] К у р л я н д с к а я Г. Б. «Таинственные повести» И. С. Тургенева (Проблемы метода и мировоззрения).— Третий межвузовский тургеневский сборник (Уч. зап. Курск. гос. пед. ин-та, т. 74). Орел, 1971, с. 5—8.

[9] Т ю х о в а Е. В. «Рассказ отца Алексея» Тургенева и Достоевский.— Пятый межвузовский тургеневский сборник. Тургенев и русские писатели. (Науч. труды Курск. гос. пед. ин-та, т. 50 (143)). Курск, 1975, с. 65—81.

(вторая редакция «Рассказа», не полностью; разные заметки опубликованы впервые: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII, с. 340—342).

«Новь», роман Ивана Тургенева. Черновой автограф в 3-х тетрадях. 492 листа авторской пагинации. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 89, 90, 91: описание см.: *Mazon*, p. 86—88: фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 320—322.

«Новь». Наборная рукопись — беловой автограф. 298 листов авторской пагинации. Хранится в Отделе рукописей *ГПБ*, ф. 795, № 25; описание см.: *Отчет ИПБ* за 1883 г. СПб., 1885, с. 259; Заборова Р. Б. Рукописи И. С. Тургенева. Л., 1953, с. 20—21.

Корректура (гранки) «Вестника Европы» с авторской правкой. 41 л. (между л. 31 и 32 — телеграмма Тургенева к М. М Стасюлевичу от 3 (15) января 1877 г.). Хранится в *ГПБ* вместе с наборной рукописью (см. выше); описание см.: Заборова Р. Б. Рукописи И. С. Тургенева, с. 20—21.

«Орловский вестник», 1876, 24 декабря (5 января 1877), № 100 (конец второй главы романа от слов: «Господин Нежданов дома?» и вся третья глава).

BE, 1877, № 1, с. 5—136; № 2, с. 465—580.

Т, *Новь*, *1878* — Новь. Роман в двух частях И. С. Тургенева. М.: изд. Ф. И. Салаева, 1878.

Т, *Соч*. *1880*, т. 5., с. 193—500.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 5, с. 219—568.

Впервые опубликовано: *BE*, 1877, № 1 и 2, с подписью: Иван Тургенев — и с пометой: с. Спасское-Лутовиново, 1876: перепечатано: Лейпциг, В. Гергард, 1877 (Русская библиотека, т. 37—38).

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* с учетом списков опечаток, приложенных к книжкам 1 и 2 «Вестника Европы» (1877) и к изданию 1880 г., а также опечаток, указанных Тургеневым в письмах к М. М. Стасюлевичу (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. XII, кн. 1,№4094, 4100, 4103, 4110, 4112, 4117, 4119, 4128, 4142, 4173, 4178 и 4188), и с устранением явных опечаток, не замеченных писателем.

В текст *Т*, *ПСС*, *1883* внесены следующие исправления по другим источникам:

Стр. 133, *шмуцтитул*. Эпиграф помещается после заглавия «Новь» (по письму Тургенева к Ф. И. Салаеву от 22 июня (4 июля) 1877 г.). Ранее ошибочно печатался после обозначения: «Часть первая».

Стр. 138, *строка 5*: «застарелой дурной привычке» вместо «застарело-дурной привычке» (по всем другим источникам).

Стр. 145, *строки 21—22*: «индивидуй!» вместо «индивидуум!» (по всем другим источникам и по письму Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 1 (13) декабря 1876 г.).

Стр. 149, *строка 22*: «Озаряя» вместо «озирая» (по всем другим источникам).

Стр. 154, *строка 1*: «Оттого-то я и повторяю» вместо «Оттого-то я повторяю» (по всем другим источникам).

Стр. 164, *строка 9*: «фигюрируют» вместо «фигурируют» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 165, *строки 36—37*: «русые густые волосы» вместо «русые и густые волосы» (по наборн. рукоп., *BE*, *Т*, *Новь*, *1878* и *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 169, строка 22: «топотал» вместо «топал» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*).

Стр. 169, строки 40—41: «азиатщина» вместо «азиятщина» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*, *Т*, *Новь*, *1878*, *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 171, строка 28: «грачиный гам» вместо «гам грачиный» (по всем другим источникам).

Стр. 179, строка 10: «к обедне в церковь» вместо «к обедне» (по черновому автографу).

Стр. 190, строка 40: «переночуете» вместо «ночуете» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*).

Стр. 201, строки 33—34: «а всякий это чувствует по себе» вместо «а всякий чувствует по себе» (по всем другим источникам).

Стр. 203, строка 1: «За раскрытыми дверями» вместо «За закрытыми дверями» (по всем другим источникам).

Стр. 209, строка 5: «опять мгновенно глянула» вместо «мгновенно глянула» (по всем другим источникам).

Стр. 211, строка 1: «пачки» вместо «пучки» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*, *Т*, *Новь*, *1878*).

Стр. 221, строка 43: «подоконнике» вместо «подоконнице» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*).

Стр. 227, строка 17: «дать их ему на дом» вместо «дать ему на дом» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*).

Стр. 230, строка 6: «с красными коленками и локтями» вместо «с красными коленками или локтями» (по корректуре *ВЕ* и *ВЕ*).

Стр. 231, строки 41-42: «прилизанный человечек» вместо «прилизанный человек» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*, *Т*, *Новь*, *1878*);

Стр. 245, строки 12—13: «должóн он сказать» вместо «должен он сказать» (по наборн. рукоп., *ВЕ*, *Т*, *Новь*, *1878*).

Стр. 247, строка 27: «вздумал» вместо «выдумал» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).

Стр. 248, строка 8: «зарабатывали» вместо «заработывали» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).

Стр. 248, строка 30: «это» вместо «эта» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).

Стр. 261, строка 35: «помолчал» вместо «молчал» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*, *Т*, *Новь*, *1878*).

Стр. 264, строки 2—4: «что она негодовала бы, если б не удивлялась, и удивилась бы еще более, если б частью не презирала, частью не сожалела...» вместо «что она негодовала бы, если б частью не презирала, частью не сожалела...» (по всем другим источникам).

Стр. 265, строка 35: «скользили по ее фигуре» вместо «скользили по фигуре» (по всем другим источникам).

Стр. 299, строка 8: «вы сию минуту упомянули» вместо «в сию минуту упомянули» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).

Стр. 308, строка 44: «нам свидеться» вместо «свидеться» (по черн. автогр., наборн. рукоп., *ВЕ*, *Т*, *Новь*, *1878*).

Стр. 324, строка 35: «в стекла окон» вместо «в стекло окон» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).

Стр. 338, строки 41—42: «какое-то печальное» вместо «как-то печальное» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).

Стр. 347, строка 14: «Как в тот раз» вместо «Как тот раз» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).

Стр. 363, строки 7—8: «повторил угрюмо Маркелов» вместо «повторял угрюмо Маркелов» (по наборн. рукоп., *ВЕ, Т, Новь, 1878, Т, Соч. 1880*).

Стр. 364, строки 35—36: «одно из заподозренных мною лиц» вместо «одно из заподозренных лиц» (по наборн. рукоп., *ВЕ, Т, Новь, 1878*).

I

Первую запись о замысле романа «Новь», сделанную Тургеневым в июле 1870 г., отделяют от окончания черновой рукописи (июль 1876 г.) целые шесть лет. «Идея у меня долго вертелась в голове, я несколько раз принимался за исполнение — но наконец написал всю штуку, как говорится, с плеча»,— писал Тургенев Я. П. Полонскому 22 января (3 февраля) 1877 г. Быстрому созданию черновой рукописи (сам писатель на титульном листе чернового автографа определил этот срок как «5 месяцев и 25 дней») предшествовал длительный начальный период работы над романом, который можно разбить на следующие этапы:

1) 1870—1872 гг. Предварительные наброски к роману: Заметка о замысле (1870), «Формулярный список лиц новой повести» (1872), первая редакция конспекта романа (1872).

2) 1873—1874 гг. Собирание дополнительных материалов для романа.

3) 1875 г. Вторая редакция конспекта романа. Недатированные странички с разными заметками.

Подготовительные материалы к роману, хранящиеся в Парижской национальной библиотеке и в основной своей части опубликованные А. Мазоном [1], дают наглядное представление о начальном периоде работы над романом.

Первым документом в творческой истории «Нови» является заметка о замысле романа, помеченная: «Баден-Баден. *Пятница*, 29/17 июля 1870, *без четверти 10*»:

«Мелькнула мысль нового романа. Вот она: есть *романтики реализма* ꩜ Русский революционер» (с. 399).

Здесь же намечены: тип «красивой *позерки*», «тип девушки тоже несколько изломанной, „*нигилистки*“, но страстной и хорошей», и некоторые другие персонажи будущего романа.

Фабула романа в тот момент не была еще ясна Тургеневу: для него очевидно только то, что «№ 1 ⟨Нежданов⟩ должен кончить самоубийством. Нигилистка (не назвать ли ее Марианной?) сперва увлекается им и бежит с ним — потом, разубедившись, живет с № 2 ⟨Соломиным⟩» (с. 400). Писатель с самого начала предполагал внести в роман «элемент политически-революционерный» (там же).

Помещенный на оборотной стороне листа этой заметки перечень действующих лиц романа с точным обозначением фамилии, имени, отчества и указанием года рождения и возраста каждого лица к моменту начала действия романа — 1868 г.— сопровождается в ряде случаев пояснениями автора, касающимися биографии его героев, или краткими характеристиками (например, о Машуриной сказано, что она «ниг⟨илистка⟩ pur sang» [2]).

---

[1] Mazon A. L'élaboration d'un roman de Turguénev: «Terres vierges»;— Revue des études slaves, 1925, t. 5, fasc. 1—2, p. 85—108.

[2] чистокровная *(франц.)*.

Несколько ниже этого перечня расположен список тех же действующих лиц с их зашифрованными характеристиками (см. с. 400—401). А. Мазон расшифровал эти записи на основе тщательного изучения «Формулярного списка лиц новой повести» и других подготовительных материалов, куда Тургенев позднее включил эти характеристики, расширив и углубив их [3]. Составление перечня действующих лиц романа отнесено А. Мазоном к февралю 1872 г., так как именно этим временем сам писатель датирует «Формулярный список лиц новой повести», созданный им, по-видимому, вскоре после «перечня» и на его основе.

«Формулярный список» содержит одиннадцать подробных характеристик основных действующих лиц романа, сопровождаемых биографическими справками. Большой интерес здесь представляют и те авторские определения персонажей, которые не воспроизведены дословно в окончательном тексте романа, но помогают отчетливее уяснить сущность образов. Таковы, например, пояснения, относящиеся к Марианне: «Энергия, упорство, трудолюбие, сухость и резкость, бесповоротность — и способность увлекаться страстно»; Сипягину: «Во время эмансипации находил, что напрасно крестьянам дают землю, потом, однако, перешел на сторону Милютина»; Машуриной: «Способна на всякое самоотверженне ⟨. . .⟩ Нечаев делает из нее своего агента» (см. с. 405, 406 и 408). Ценны здесь и авторские указания на реальные прототипы героев романа.

Февралем 1872 г. сам Тургенев датировал также первую редакцию «Рассказа новой повести», представляющую собой конспект романа. Следует отметить, что внешняя сюжетная линия романа в дальнейшем не претерпела значительных изменений, в то время как наблюдения писателя над русской действительностью 1870-х годов (вплоть до 1876 г.) определили конкретное историческое содержание произведения: роман о революционерах «вообще» стал романом о народниках и о «хождении в народ».

Первые упоминания Тургенева о работе над «Новью» содержатся в его письмах конца 1872 г. 17 (29) октября он сообщал Я. П. Полонскому о задуманном романе, а 21 декабря 1872 г. (2 января 1873 г.) писал С. К. Кавелиной: «...я сам понимаю и чувствую, что мне следует произвести нечто более крупное и современное — и скажу Вам даже, что у меня готов сюжет и план романа, ибо я вовсе не думаю, что в нашу эпоху перевелись типы и описывать нечего — но из двенадцати лиц, составляющих мой персонал, два лица [4] не довольно изучены на месте — не взяты живьем; а *сочинять* в известном смысле я не хочу — да и пользы от этого нет никакой, ибо никого обмануть нельзя. След., нужно набраться материалу. А для этого надо жить в России ⟨. . .⟩ И выходит изо всего этого, что мне надо стараться помочь горю хоть временными пребываниями на Руси, что я и намерен привести в исполнение. Но достаточны ли будут эти наезды?

---

[3] См.: Revue des études slaves, 1925, t. 5, fasc. 1—2, p. 90. Вызывает сомнение лишь расшифровка характеристики Остродумова как «тип будущего», так как в рукописи отчетливо написано «туп». что, очевидно, означает «тупец» (ср. с «Формулярным списком», с. 408). Добавим также, что помета «озлобл⟨енный⟩», вписанная ниже упоминания фамилии Маркелова, несомненно, относится к нему и является одной из характерных черт этого персонажа (там же).

[4] Очевидно, Нежданов и Соломин.

Это скажет мне моя литературная совесть. Коли да — напишу мой роман; коли нет — ну и аминь!»

В дни кратковременного пребывания в России в 1872 г. (немногим больше месяца) Тургеневу удалось сделать некоторые дополнительные наблюдения для задуманного им романа. Н. А. Островская приводит в своих воспоминаниях рассказ Тургенева о том, как летом 1872 г. в деревне писатель встречал «опростившуюся» девушку, которая нанялась в кухарки, «чтобы сблизиться с простым народом и на себе испытать его жизнь» [5].

Упоминания о работе над романом встречаются и в письмах Тургенева 1873 г. (см., например, письма к Ю. Шмидту от 10 (22) января 1873 г., М. М. Стасюлевичу от 26 января (7 февраля) 1873 г., М. В. Авдееву от 26 апреля (8 мая) 1873 г.).

Этим романом писатель намерен был завершить свою «литературную карьеру», распрощаться с читателями, рассеять «недоразумения», возникшие между ним и молодежью со времени «Отцов и детей». «Что же касается до новой повести,— писал Тургенев Стасюлевичу 26 января (7 февраля) 1873 г.,— то имею Вам сказать, что она разрастается до исполинских размеров — величиною она превзойдет всё, что я до сих пор написал ⟨. . .⟩ Так как я на этой повести имею намерение раскланяться с читателями, то я хочу положить в нее всё, что у меня на душе, благо сюжет попался — как мне кажется — подходящий».

Роман должен был стать, по замыслу писателя, одним из самых значительных его произведений; некоторым героям романа Тургенев надеялся придать «нечто от базаровской широты» (письмо к Ю. Шмидту от 24 апреля (6 мая) 1873 г.). Позднее, в письме к М. Е. Салтыкову Тургенев также сближал будущую «Новь» с «Отцами и детьми». «Оттого мне и не хотелось бы исчезнуть с лица земли, не кончив моего большого романа, который, сколько мне кажется, разъяснил бы многие недоумения и самого меня поставил бы так и там — как и где мне следует стоять»,— писал он 3(15) января 1876 г.

Роман (Тургенев часто называет его «повестью») был обещан Стасюлевичу для «Вестника Европы». В письмах к Стасюлевичу за 1873 г. Тургенев постоянно отодвигал срок окончания романа (первоначальный — июль 1873 г., когда писатель собирался приехать в Россию «с готовой повестью под мышкой»,— см. письмо к М. М. Стасюлевичу от 26 января (7 февраля) 1873 г.).

Работа подвигалась туго главным образом из-за недостатка свежих русских впечатлений. Так, например, Тургенев писал А. Ф. Писемскому 17(29) марта 1873 г., что «нельзя, решительно нельзя писать русские вещи, рисовать русскую жизнь, пребывая за границей», а в письме к Ю. Шмидту от 24 апреля (6 мая) 1873 г. выражал желание «подышать русским воздухом».

По первоначальному замыслу в заглавии романа, очевидно, должно было отразиться намерение писателя «распрощаться с читателями». В письме к Авдееву от 26 апреля (8 мая) 1873 г. Тургенев благодарил его «за приятельский совет насчет заглавия ⟨. . .⟩ будущей повести» и сообщал: «...если ей суждено явиться — в чем я начинаю сильно сомневаться,— то не под прежде придуманным мною заглавием, которое, в сущности, есть не что иное, как претензия.

---

[5] *Т сб (Пиксанов)*, с. 104; ср. с фразой Марианны о том, что она могла бы «в кухарки пойти» (глава XXVII).

Вот уже точно можно сказать, пародируя Лермонтова: „Какое дело нам“... в последний раз или не в последний ты пишешь?»

Медленно шла работа над романом и в начале 1874 г. «Начатая мною большая вещь не подвигается вовсе: за границей положительно нельзя писать русских вещей»,—жаловался писатель Авдееву 19(31) января 1874 г. Подобные жалобы звучат в это время и в других письмах: «...большой затеянный мною роман ⟨. . .⟩ решительно стал *ни тпру, ни ну* — как лошадь с норовом» (Стасюлевичу от 10(22) февраля 1874 г.): «Большой роман положен под сукно» (А. Ф. Онегину от 8(20) марта 1874 г.) и т. д.

Пребывание Тургенева в России с 7(19) мая по 20 июля (1 августа) 1874 г. подняло его творческое настроение. «Я очень доволен нынешним своим визитом в Россию — но в то же время я убедился, что, если я хочу сделать что-нибудь дельное, современное, большое, словом, если я хочу окончить задуманный — и начатый — мною роман, я непременно должен ⟨. . .⟩ вернуться на зиму в Петербург»,— писал Тургенев П. В. Анненкову 12(24) июня 1874 г. О впечатлениях писателя от поездки на родину дает яркое представление его письмо к Ж. Этцелю от 27 августа (8 сентября) 1874 г.: «Я отправился в Россию, чтобы сделать некоторые наброски, необходимые для окончания чертовски большого романа, который я начал 3 года назад и который никак не поддается завершению. Сначала всё шло очень хорошо (я имею в виду поездку, а не роман) — я наполнялся водой, как цистерна — правда, водой мутноватой и даже грязной, но всё это отстоялось бы впоследствии,— я усиленно работал над моими набросками — и вдруг, трах! явилась эта дурацкая болезнь ⟨. . .⟩ Из-за этого я ничего и не сделал, и меня это несколько тяготит».

В 1870—1872 гг. Тургенев сделал основные подготовительные наброски к роману, а в 1873—1874 гг. собирал дополнительный материал к нему, характеризующий время революционного хождения в народ русской интеллигенции.

Наряду с поездками Тургенева в Россию существовали и другие источники, в которых писатель мог черпать сведения по интересующей его теме.

В 1870-х годах в России слушался ряд политических процессов (нечаевский — 1871 г., долгушинцев — 1874 г., В. М. Дьякова, А. И. Сирякова и др.— 1875 г.), велись массовые аресты участников «хождения в народ» в 1874—1875 годах и связанные с ними позднейшие процессы «50-ти» и «193-х» [6]. Тургенев читал опубликованные в русской и заграничной прессе материалы этих процессов, а также брошюры и прокламации народников [7], в письмах к друзьям он интересовался слухами о предстоящих арестах. Личное знакомство писателя с адвокатами, выступавшими на политических процессах — А. И. Урусовым, К. К. Арсеньевым, В. Д. Спасовичем и некоторыми другими,— открывало Тургеневу возможность ознакомления с подробностями судебных дел, не попавшими в печать.

Важным источником информации о народничестве были также дружеские связи писателя с революционерами-эмигрантами, особенно с одним из идеологов народничества — П. Л. Лавровым, из-

---

[6] См.: Б а т ю т о А. И. Роман «Новь» и «процесс пятидесяти»; Б у д а н о в а Н. Ф. Роман «Новь» и процесс долгушинцев (*Т сб*, вып. 2, с. 182—185, 195—209).

[7] См. письма к П. Л. Лаврову от 28 августа (9 сентября) 1875 г. и 1(13) февраля 1876 г.

дававшим в 1873—1876 гг. за границей журнал «Вперед!», в котором большое внимание уделялось революционному движению в России. Тургенев был подписчиком этого журнала, с интересом его читал и положительно отозвался о его программе в письме к Лаврову от 1(13) июля 1873 г. Писатель, не разделяя революционной и социалистической программы Лаврова, с сочувствием относился к его деятельности. Тургенев, вспоминал позднее Лавров, «...не высказывал надежды на то, чтобы наша попытка расшевелить русское общество удалась; напротив, тогда, как и после, он считал невозможным для нас сблизиться с народом, внести в него пропаганду социалистических идей. Но во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и сочувствие всякой попытке бороться против него ⟨. . .⟩ Он никогда не верил, чтобы революционеры могли поднять народ против правительства, как не верил,чтобы народ мог осуществить свои „сны" о „батюшке Степане Тимофеевиче", но история его научила, что никакие „реформы свыше" не даются без *давления*, и энергического давления, снизу на власть; он искал силы, которая была бы способна произвести это давление, и в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества» (*Революционеры-семидесятники*, с. 25—26).

Тургенев с интересом расспрашивал Лаврова о жизни русской революционной молодежи в Цюрихе, «о группе молодых девушек, живших отшельницами и самоотверженно отдававших свое время, свой труд, свои небольшие средства» изданию журнала «Вперед!» (там же, с. 24). Некоторые из них — С. И. Бардина, Л. Н. Фигнер, Е. Д., М. Д. и Н. Д. Субботины, В. С. и О. С. Любатович и др.— позднее стали участницами известного «процесса 50-ти». Тургенев даже намеревался посетить в июне 1873 г. «цюрихскую колонию», чтобы изучить жизнь революционной молодежи, но эта поездка расстроилась [8].

В 1874 г. произошла известная полемика между вождями революционного народничества — П. Н. Ткачевым и П. Л. Лавровым, обменявшимися брошюрами, в которых была изложена политическая программа обоих направлений [9]. Эта полемика имеет отношение к творческой истории романа «Новь».

В противоположность Лаврову, отстаивавшему идею «всенародной социальной революции», требующей длительной подготовки путем пропаганды революционных идей в народе, Ткачев, будучи сторонником бланкистской, заговорщической тактики, считал, что народ в любой исторический момент готов к революции и может ее совершить; задача революционеров, по мнению Ткачева, состояла прежде всего в призыве народа к немедленному восстанию. В 1875 г.

---

[8] См. письма к Лаврову от 20 мая (1 июня) и 28 мая (9 июня) 1873 г.; см. также письмо Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер от 4(16) февраля 1873 г. (*Гол Мин*, 1916, № 9, с. 135). Члены «цюрихской колонии» знали о предполагаемом приезде Тургенева и желании его «познакомиться с заграничными студентками, с целью запастись материалом для замышляемого романа», но встретили это намерение писателя отрицательно, не желая «смотрин» (*Фигнер*, т. 5, с. 61).

[9] См.: Т к а ч е в П. Н. Задачи революционной пропаганды в России. ⟨Лондон⟩, 1874; ⟨Л а в р о в П. Л.⟩. Русской социально-революционной молодежи. По поводу брошюры: Задачи революционной пропаганды в России. Лондон, 1874.

Ф. Энгельс откликнулся на эту полемику статьями «Эмигрантская литература»[10], в которых он высмеял ребяческие представления Ткачева о революции, охарактеризовав его самого как «зеленого, на редкость незрелого гимназиста» [11].

Тургенев был знаком с обеими брошюрами и принял в этой полемике сторону Лаврова. «В Вашей полемике против Ткачева Вы совершенно правы,— писал он Лаврову 23 ноября (5 декабря) 1874 г.; — но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать, чтоб можно было медленно и терпеливо приготовлять нечто сильное и внезапное...» Полемика 1874 г. обогатила представление Тургенева о различных направлениях в среде русской революционной молодежи и повлияла на изображение народников в «Нови», которые по характеру своей деятельности (прямая пропаганда крестьянского бунта) близки к бакунинско-ткачевскому направлению в народничестве.

Наконец, ценный материал для знакомства с русской революционной молодежью сообщила Тургеневу летом 1874 г. известная общественная деятельница А. П. Философова, приславшая писателю портфель с бумагами (письма, дневники, стихотворения и пр.) В. Г. Дехтерева, И. И. Дитятина и других «новых людей». Существенны для понимания романа письма Тургенева к Философовой, в которых писатель изложил свою программу общественного служения народу, особенно необходимого, по его мнению, в пореформенный период. Тургенев, характеризуя «новых людей», подобных Дехтереву, упрекал их в «скудости мысли, в отсутствии познаний — и, главное: в бедности, в нищенской бедности дарования» (письмо к Философовой от 18(30) августа 1874 г.). Дехтерев послужил прототипом сатирического образа Кислякова в «Нови», в уста которого писатель вложил строчку «социалистического» стихотворения Дехтерева «Люби не меня, но идею»[12]. Писатель понимал, что по тем представителям «новых людей», с документами которых его познакомила Философова, нельзя судить о революционной молодежи в целом. «Нет,— писал ей Тургенев 6(18) августа 1874 г.,— 〈. ..〉 это еще не *новые* люди; я знаю таких между молодыми, которым гораздо более приличествует подобное наименованье». И далее в письме от 18(30) августа 1874 г.: «Я бы мог назвать Вам молодых людей с мнениями гораздо более резкими, с формами гораздо более угловатыми — перед которыми я, старик, шапку снимаю, потому что чувствую в них действительное присутствие силы, и таланта, и ума» [13].

---

[10] Энгельс Ф. Эмигрантская литература. Статьи III и IV — Volksstaat, 1874, № 117 и 118, 6 и 8 октября; 1875, № 36 и 37, 28 марта и 2 апреля; см. также: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 18, с. 518—536.

[11] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 18, с. 522.

[12] Почти дословно совпадает с подлинной фразой из стихотворения Дехтерева, приведенной Тургеневым в письме к Философовой от 6(18) августа 1874 г. О Дехтереве как прототипе Кислякова упоминает Лавров (*Революционеры-семидесятники*, с. 28).

[13] Возможно, что одним из таких, по мнению Тургенева, «настоящих» новых людей был Г. А. Лопатин, с которым писатель часто встречался в 1870-е годы в Париже и которого, по свидетельству Лаврова, он «очень полюбил» (см.: Лавров П. Л. Г. А. Лопатин. Пг.: Колос, 1919, с. 42; см. также отзыв о Лопатине в письме Тургенева к Лаврову от 23 ноября (5 декабря) 1874 г.).

Программа скромной и незаметной, но необходимой просветительской деятельности среди народа, изложенная Тургеневым в письмах к Философовой от 11(23) сентября 1874 г. и 22 февраля (6 марта) 1875 г., помогает уяснению идейного смысла романа «Новь» и образа Соломина [14]. По мнению Тургенева, в России пора Базаровых прошла, и для «предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума — ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою безо всякого блеску и треску — нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы». Далее Тургенев пояснил, что «низменная работа» — это «учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д.» «Мы вступаем в эпоху *только полезных* людей... и это будут лучшие люди ⟨. . .⟩ Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего, хорового развития, разложения и сложения; ей нужны помощники — не вожаки, и лишь только тогда, когда этот период кончится, снова появятся крупные, оригинальные личности». К этой же мысли Тургенев возвратился в письме к Философовой от 22 февраля (6 марта) 1875 г., где он писал, что в России давно пора «бросить мысль „о сдвигании гор с места“, о крупных, громких и красивых результатах» и что следует удовлетвориться «скромной полезной деятельностью».

К началу 1875 г. относится вторая, развернутая и дополненная, редакция «Рассказа новой повести», в которой нашли отражение многие наблюдения писателя за три предшествовавших года. Эту недатированную редакцию обычно относят к 1874 году [15]. Представляется, однако, более вероятным датировать ее началом 1875 г., в связи со скандальной историей о взятке, полученной Б. М. Маркевичем как чиновником Министерства народного просвещения при сдаче в аренду «С.-Петербургских ведомостей» [16]. Эта «история» произошла в конце 1874 г. и получила шумную огласку в начале 1875 г. [17]

Очевидно, появившаяся во второй редакции конспекта романа запись: «Клеврет ренегата!» с добавлением на полях: «Маркевич. Фраза Фета» [18],— вспомнилась Тургеневу именно в связи с этой

---

[14] Связь этих высказываний с образом Соломина впервые отметил П. Л. Лавров (*Революционеры-семидесятники*, с. 30).

[15] См.: *Т*, *Сочинения*, т. IX, с. 446; *Т*, *СС*, т. IV, с. 503.

[16] Подробнее об этом см. в кн.: Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. М.; Л.: Academia, 1930. Т. 2, с. 544—549.

[17] Тургенев узнал о взяточничестве Маркевича в начале 1875 г.— ср. его письма к Я. П. Полонскому от 25 декабря 1874 г. (6 января 1875 г.), М. В. Авдееву от 30 декабря 1874 г. (11 января 1875 г.) и А. С. Суворину от 14(26) февраля 1875 г.

[18] Определение «ренегат» несомненно относится к М. Н. Каткову, изменившему либеральным воззрениям своей молодости. Тургенев называет Каткова «ренегатом» в ряде писем 1869—1871 гг. Возможно, что фразу Фета о Маркевиче Тургенев слышал во время своего летнего пребывания в Спасском в 1874 г. и что именно ею навеяна следующая характеристика Каткова и Маркевича, данная Тургеневым в письме к П. В. Шумахеру от 5(17) июня 1874 г.: «Катков имеет особую способность — присущую, впрочем, всем ренегатам — воспитать себе клевретов, которые за него с азартом лезут в грязь».

«историей» и тогда же у него появилось желание ускорить работу над романом.

«История с Маркевичем,— писал Тургенев А. С. Суворину 14(26) февраля 1875 г.,— меня не удивила: в этой гадине соединились все условия происхождения, воспитания и пр. и пр., чтобы выработать из него тип „клеврета в новейшем вкусе“ [19] ⟨. . .⟩ Мне иногда потому только досадно на свою лень, не дающую мне окончить начатый мною роман, что две, три фигуры, ожидающие клейма позора, гуляют, хотя с медными — но не выжженными еще лбами. Да авось я еще встряхнусь». Указание на то, что Калломейцев служит в Министерстве народного просвещения (а именно там служил Маркевич и оттуда был уволен в 24 часа за взятку), появилось впервые также во второй редакции «Рассказа». Следует, наконец, отметить, что в первой редакции «Рассказа» и других черновых материалах нет никаких упоминаний о Ladislas'е. Характерные черты Маркевича должны были, по намерению писателя, воплотиться в образе Калломейцева (см. с. 407). Замысел ввести в роман Ladislas'а возник у писателя, вероятно, в начале 1875 г. в связи с «историей» Маркевича.

Вторая редакция «Рассказа новой повести» представляет собой более развернутый по сравнению с первой редакцией «Рассказа» конспект романа, с указанием реальных прототипов и событий, лежащих в его основе. Здесь, в частности, «Василий Николаевич» везде раскрыт как Нечаев [20], рядом с Кисляковым упомянут Дехтерев и т. д.

Авторские характеристики персонажей и пояснения к некоторым сценам приобрели во второй редакции «Рассказа» большую остроту и выразительность. Так, например, описывая поездку Сипягина, Калломейцева и Паклина в город в связи с арестом Маркелова, Тургенев замечает о Калломейцеве: «тоже советует — „действовать“ — и является уже Маркевичем „наголо“», а поведение Сипягина и Калломейцева у губернатора сопровождает резкой авторской оценкой: «Безобразие. Торжество, трусость, ярость (вспомнить рассказ И. Новосильцева, когда он узнал о покушении 4-го апр⟨еля⟩)» (с. 420).

---

[19] Ср. с «клевретом ренегата». Эта фраза, по совету Анненкова, была изъята писателем и заменена в беловом автографе романа (глава XIV) выражением «прирожденный клеврет», сохранившимся и во всех последующих изданиях романа.

[20] Намеки на нечаевское дело Тургенев сохранил и в самом романе, что позднее дало повод Г. А. Лопатину поставить в вину писателю, что он «смешал две ступени развития, резко различающиеся между собою по своим основным воззрениям на способ достижения новых порядков»,— народническое и нечаевское движение (Из-за решетки. Женева, 1877, с. XV). Однако нет оснований преувеличивать роль нечаевского дела в творческой истории романа. Подобное преувеличение содержится, например, в содержательной статье Э. М. Румянцевой «Из творческой истории романа И. С. Тургенева „Новь“», автор которой считает, что Тургенев «показал в „Нови“ представителей различных социальных группировок молодежи, которые действительно участвовали в нечаевском движении» (Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1957, т. 150, вып. 2, с. 167), и, таким образом, относит революционную молодежь, изображенную в «Нови», не к народническому, а к нечаевскому движению.

Вторая редакция «Рассказа» дает основание считать, что замысел романа претерпел в дальнейшем некоторые изменения. Так, Тургенев предполагал подробно описать сцену суда над Маркеловым, о которой во второй редакции сказано следующее: «NB. В сцене (на суде) между Маркеловым и поймавшим его мужиком показать понимание М⟨аркелов⟩ым нрава мужика и сожаление мужика о „хорошем" барине» (с. 421). Несколько по-иному была задумана писателем и сцена у губернатора, предусматривавшая описание свидания Сипягина с Маркеловым наедине. «Что касается до сцены наедине между Сипягиным и Маркеловым, которую губернатор непременно должен был устроить,— писал Тургенев А. В. Головнину 8(20) февраля 1877 г.,— то в этом случае чувство Ваше было очень верно [21]; у меня в конспекте даже была назначена эта сцена [22], но я в исполнении *должен* был ею пожертвовать, потому что Маркелов неизбежно *должен* был разразиться такою антиправительственною, революционною бранью, какую бы ни одна цензура не пропустила ⟨. . .⟩ Мне осталось одно средство: предположить, что Маркелов „презирает" — и не хочет сам никаких объяснений».

Подготовительные материалы к роману завершаются двумя недатированными страничками с разными заметками, не публиковавшимися А. Мазоном и представляющими известный интерес для изучения творческой истории «Нови». Это отдельные фразы и даже слова, записанные Тургеневым «для памяти» и позднее использованные им в романе.

Основная часть этих заметок была в том или ином виде введена в роман лишь в беловом автографе (иногда отдельная фраза или слово влекло за собой включение в роман целого куска нового текста, чрезвычайно важного для понимания романа в целом — см. приведенные ниже примеры). О том, что заметки предшествовали по времени созданию не только белового, но и чернового автографа, свидетельствуют, например, такие записи, как: «Сип⟨ягин⟩ в отпуску в деревне», «вспомнить о самоубийце Сахновской» [23], «Паклин в городе на вакации», которые намечают соответствующие эпизоды черновой рукописи и потому были бы излишни, если бы последняя уже была написана.

Заметки, очевидно, были набросаны Тургеневым в 1875 г., когда содержание романа было уже детально продумано и составлялся подробный конспект (вторая редакция «Рассказа новой повести»). Одна из записей: «Dixi! (Кисляков)» и несколько записей, относящихся к Фомушке и Фимушке («прохладные — блаженные», «Сила Самуила — легче пуха, легче духа» и др.), подтверждают наше предположение, что заметки относятся ко времени второй редакции «Рассказа новой повести» (1875 г.): в первой редакции «Рассказа» нет

---

[21] 2(14) февраля 1877 г. Головнин писал Тургеневу: «Невероятно также, чтобы губернатор, призвав Маркелова, не удалил из комнаты, кроме Сипягина, других лиц. Он доставил бы им свидание наедине и даже сам вышел бы, особенно после того, что сказал Калломейцеву» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 75).

[22] См. во второй редакции «Рассказа» запись: «Приезд в город, к губернатору. Сцены в городе с ним, с Маркеловым, с мужиками, его поймавшими...» (с. 420).

[23] Очевидно, в связи с описанием самоубийства Нежданова.

упоминаний о Кислякове [24], Фомушке и Фимушке. Очевидно, писатель вспомнил об этих записях в то время, когда, после чтения беловой рукописи романа Анненковым, он снова вернулся к роману, внеся в него дополнительную правку.

Приведем некоторые примеры использования Тургеневым «Заметок» в окончательном тексте романа.

Заметки	«Новь» (окончательный текст)
«о ключе?»	«Такие есть степные прудки; они хоть и не проточные, а никогда не зацветают, потому что на дне у них есть ключи. И у моих старичков есть ключи — там, на дне сердца, чистые-пречистые» (с. 236).
«г⟨—⟩ — и добродетель»	«Зато Сипягины ⟨. . .⟩ помните, эти снисходительные, важные, отвратительные тузы — они теперь наверху могущества и славы! ⟨. . .⟩ Всё о добродетели толкуют!! Только я заметил: если где слишком много толкуют о добродетели — это всё равно, как если в комнате у больного слишком накурено благовониями: наверно, пред этим совершилась какая-нибудь тайная пакость!» (с. 384).
«Мы вас жалеем»	«Мы о вас сожалеем,— продолжал усовещивать Маркелова Сипягин,— а вы нас ненавидите. — Хорошо сожаление! В Сибирь нас, в каторгу,— вот как вы сожалеете о нас!» (с. 363).
«волжкий?»	«сено на дне было волжко» (с. 302).
«(предлагают подлость)... разделается тихо, *благородно*»	«Вот ты всегда так; не хочешь внять голосу рассудка! Тебе предстоит возможность разделаться тихо, благородно... — Тихо, благородно...— повторил угрюмо Маркелов.— Знаем мы эти слова! Их всегда говорят тому, кому предлагают сделать подлость. Вот что они значат, эти слова!» (с. 363).
«съ —потеряно»	«Об одном из наших начальников гвардии рассказывают, будто он горевал о том, что его солдаты потеряли „носок“... „Отыщите мне носок!“ А я говорю: отыщите мне „слово ерик-с“! „Слово ерик-с“ пропало — и вместе с ним всякое уважение и чинопочитание!» (с. 286—287).
«почва!»	⟨Кисляков⟩ «уверял, что он первый отыскал наконец „почву“» (с. 228). ⟨Нежданов⟩ «упомянул даже об отысканной почве!!» (с. 253).

Некоторые записи позволяют отчетливее представить сложный творческий процесс создания романа, глубже проникнуть в идейный смысл «Нови», проследить, в каком направлении шли размы-

[24] К 1875 г. относится и личное знакомство Тургенева с реальным прототипом Кислякова — В. Г. Дехтеревым, о котором писатель раньше знал лишь по материалам А. П. Философовой (см. письмо к П. Л. Лаврову от 29 сентября (11 октября) 1875 г.).

шления писателя о возможности революционного преобразования в России. Многозначительно в этом отношении слово «почва», которое произносят герои «Нови». О той реальной почве, на которую можно было бы опереться, поднимая народ па бунт, спорят Маркелов и Нежданов (главы XVI, XX), ее не видит «трезвый» Соломин; и только Кисляков, в двадцать два года решивший «*все* вопросы жизни и науки», «отыскал наконец „почву“» (с. 228).

II

Тургенев приступил к работе над черновой рукописью «Нови» в конце января ст. ст. 1876 г. 24 января (5 февраля) он сообщил Стасюлевичу, что работает «над исполнением данного публике обещания». В этот же день он обратился к А. В. Топорову с просьбой прислать ему материалы нечаевского дела. Февральские письма Тургенева полны упоминаний о романе.

Мысль о завершении романа Тургенев связывал с новой поездкой в Россию. «В России думаю пробыть два месяца и кончить мой столь давно затеянный роман»,— писал он Е. Я. Колбасину 2(14) мая 1876 г. Двухмесячное пребывание писателя в России ознаменовалось большим творческим подъемом. «...клянусь Вам, я, с тех пор как здесь, работаю, как вол, сижу каждую ночь до 2-х часов — но над романом, исключительно над романом, который вследствие этого сильно подвигается,— и ничего другого решительно *не могу*, не могу сделать!» — писал Тургенев Стасюлевичу 15(27) июня 1876 г.

Об усиленной работе над романом в Спасском Тургенев писал также Г. Флоберу 22 июня (4 июля) 1876 г.: «Ну, так я Вас удивлю — никогда в жизни я еще не работал так, как с тех пор, что нахожусь здесь. 〈. . .〉 У меня вновь появилась иллюзия, заставляющая меня верить, что можно сказать не то чтобы совсем иное, нежели то, что было уже когда-либо сказано 〈. . .〉 — но иначе! 〈. . .〉 мой проклятый роман совершенно меня поглотил» (см. также письма к Ю. П.Вревской от 15(27) июня 1876 г., Э. Золя от 21 июня (3 июля) 1876 г., Стасюлевичу от 21 июня (3 июля) 1876 г.).

15(27) июля 1876 г. Тургенев известил Стасюлевича об окончании черновой рукописи романа: «Приятным долгом поставляю себе 〈...〉 сообщить Вам, что сегодня в 4 часа окончил наконец мой роман, в котором вышло 490 страниц мелкого письма — т. е. около 275 стр. „Вестника Европы“. Имя ему (но это пока секрет) будет „Новь“...» Не задерживаясь более в Спасском, Тургенев торопится выехать в Париж и затем в Буживаль, чтобы скорее приступить к переписыванию рукописи.

Черновая рукопись романа, автограф которой хранится в Парижской национальной библиотеке, состоит из трех тетрадей: в первой из них расположены I—XXIII главы романа (с. 1—188), во второй — XXIV—XXXVII (с. 189—476), в третьей — последняя, XXXVIII глава (с. 477—490).

В рукописи находим столь характерные для Тургенева-писателя точные обозначения времени начала и окончания работы над романом в целом и над отдельными его частями, а также составленные самим писателем оглавления.

На общем титульном листе к роману написано:

«„НОВЬ“
роман
Ивана Тургенева.

Эпиграф:

„Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом“

(из записок одного хозяина-агронома) [25].

Начат — в Париже, Rue de Douai, 50,
во вторник 1-го фев./20-го янв. 1876.
Кончен — в Спасском — в четверг 27/15-го июля 1876.
5 месяцев и 25 дней.
(Писан с одним, почти двухмесячным, промежутком).
Последние 302 стр. написаны в Спасском.
(Всех страниц 490)» [26].

На том же титульном листе, ниже, обозначено:

«Тетрадь 1-ая [27].

NB. Эта книга (№ 1-й) кончена в Спасском в ночь с понедельника 21-го июня/3-го июля 1876 на вторник 22-го июня/4-го июля в 1 час ночи».

К первой тетради приложено оглавление, содержащее перечень 23 глав с указанием количества страниц в каждой главе. Отдельный титульный лист и оглавление приложены и ко второй тетради. Как свидетельствует авторская помета, «эта книга (№ 2) начата в Спасском во вторник 22-го июня/4-го июля и кончена там же во вторник 25/13-го июля». Согласно общему оглавлению, роман первоначально состоял из 36 глав. В дальнейшем количество глав увеличилось до 38 за счет выделения из 31 главы сцены хождения Нежданова в народ, которая была сделана самостоятельной главой (32-й). Из бывшей 36-й главы было выделено в качестве новой (37-й) главы описание самоубийства Нежданова. В автографе нет деления романа на две части. На стр. 490 рукописи снова обозначена дата окончания романа:

«С. Спасское.
Четверг, 15-го/27-го июля 1876,
в 4 часа пополудни.»

Авторские пометы на полях рукописи позволяют судить о том, в каком направлении и насколько интенсивно шла работа Тургенева над текстом романа, каким упорным трудом добивался писатель художественной выразительности образов. Пометы: «NB», знак вопроса, крестик и др., сопровождаемые нередко авторскими пояснениями, свидетельствуют о неоднократном обращении Тургенева к тексту романа и о дополнительной правке целых кусков текста, фраз

---

[25] Разыскать этот сельскохозяйственный справочник не удалось. Подобная попытка была предпринята В. А. Громовым, обследовавшим сельскохозяйственные справочники родовой библиотеки Тургенева в Спасском-Лутовинове — см. его статью «О заглавии, эпиграфе и некоторых реальных источниках романа „Новь“». — *Т сб*, вып. 5, с. 313—318.

[26] Всего в рукописи 492 страницы; из них две последние содержат различные дополнения с отсылками к соответствующим страницам рукописи.

[27] Далее помещена запись: «Напечатана в январской и февральской к⟨нижках⟩ „Вестника Европы“», которую следует отнести ко всему роману.

и даже отдельных слов. Так, например, в главе XXVIII Марианна читает Нежданову стихотворение Добролюбова «Пускай умру — печали мало». В черновом автографе это стихотворение не названо, но на полях стоит крестик с припиской: «NB. Здесь поместить то стихотворение, где Добролюбов говорит, что горько думать, что придут плакать над его могилой».

Работа Тургенева над текстом сопровождалась иногда пометами: «мало», «позднее», означающими необходимость углубления и расширения той или иной сцены или перестановку отдельных кусков текста (писатель часто использовал также систему отсылок). В главе XV, в сцене неожиданного объяснения Марианны и Нежданова первоначально отсутствовал глубоко лирический текст «Эта девушка ∽ в самую глубь его души!» (с. 221). Тургенев почувствовал, вероятно, сухость изображенной им любовной сцены, отметив это на полях краткой репликой: «мало». Так появилось позднее в романе это лирическое дополнение.

Черновой автограф — ценный источник для текстологического изучения «Нови»; он дает точные сведения о времени работы Тургенева над произведением в целом и отдельными его частями, позволяет решить некоторые неясные вопросы, связанные с творческой историей романа. Сравнительное изучение чернового автографа, наборной рукописи, корректурных гранок «Вестника Европы» с правкой писателя, писем Тургенева к М. М. Стасюлевичу и переписки его с П. В. Анненковым дает возможность проследить все этапы творческого процесса, развитие проблематики и художественных образов романа, изучить характер правки текста, выяснить, какому изменению подвергся роман в результате советов Анненкова (об этом раньше можно было судить лишь по переписке его с Тургеневым). Черновой автограф позволяет уточнить некоторые моменты, связанные с цензурной историей романа. Наконец, черновой автограф предоставляет в распоряжение исследователей богатый материал, свидетельствующий о взыскательной работе художника над словом, о поисках им наиболее выразительных художественных средств.

Работа над образами Калломейцева и Сипягина в черновом автографе шла, согласно первоначальному замыслу, в сторону заострения сатирического разоблачения этих представителей реакционной и умеренно либеральной дворянской среды. Тургенев усилил сатирический элемент даже в описании внешности Калломейцева, о чем свидетельствуют, в частности, варианты к с. 161 [28]. Значительной правке подверглись сцены, важные для понимания реакционной сущности Калломейцева. Так, например, Тургенев добавил в главу XIV (в описание ссоры между Калломейцевым и Неждановым) текст: «Вы вот как позволяете ∽ Как вы смеете?» (с. 216), в котором Нежданов дает уничтожающую характеристику Ladislas'у, «князю Коврижкину» и самому Калломейцеву. В главе XXIII сделано на полях добавление («Послушать вас ∽ что в нем происходило» — с. 279) к спору Соломина с Калломейцевым и Сипягиным о роли поместного дворянства в русском обществе в период развивающихся буржуазных отношений. Здесь Тургенев относит Калломейцева к «новой породе помещиков-ростовщиков», бесчеловечных в своих отношениях с крестьянами.

---

[28] См. варианты чернового автографа «Нови» в изд.: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII, с. 342—424.

В лице Сипягина Тургенев развенчивает показной, поверхностный либерализм, обнаруживающий в критический момент свою реакционную сущность. Дополнения, внесенные писателем в текст в связи с образом Сипягина, усиливают сатирическое звучание этого образа. В главу XXV Тургенев вписал большой кусок нового текста «С другой стороны ∽ Les mœurs et les besoins!», в котором высмеял манеру Сипягина щегольнуть при случае русскими пословицами и поговорками, «долженствовавшими доказать, что и он сам — не только русский человек, но „русак“ и близко знаком с самой сутью народной жизни!» (с. 287). Вставки, внесенные Тургеневым в главу XXXV (у губернатора), подчеркивают предательское, лицемерное поведение Сипягина. Характерны в этом отношении дополнения «Довольно!! Что за слово! ∽ не хочу» и «Послушайте ∽ не отшепчешься, шалишь!» (с. 362 и 367—368). Заключительную главу Тургенев дополнил текстом «В Петербурге ∽ своего министерства», где представлена сатирическая картина преуспевания в Петербурге Сипягина, готовящегося «играть значительную роль», и Калломейцева, считающегося «одним из надежнейших чиновников своего министерства» (с. 382).

В письме к Стасюлевичу от 22 декабря 1876 г. (3 января 1877 г.) Тургенев писал, что в «Нови» он решил изобразить «молодых людей, большей частью хороших и честных, и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско». Эта симпатия «если не к их ⟨молодых людей⟩ целям, то к их личностям» (там же) определила характер изображения революционной молодежи в «Нови».

Изучение чернового автографа показывает, что в процессе создания романа наибольшей правке подверглись образы Нежданова, Маркелова и Марианны, претерпевшие значительные изменения по сравнению с первоначальным замыслом, о котором мы можем судить по подготовительным материалам к роману.

Большинство дополнений, внесенных в черновую рукопись в связи с образами Нежданова и Маркелова, преследует цель подчеркнуть «нежизненность» их дела, оторванность народников-пропагандистов от народа, чуждость и непонятность для крестьян народнической пропаганды. Стремясь показать социально-историческую обреченность Нежданова, писатель усилил в его духовном облике черты «гамлетизма», неверие в свое дело, сознание трагической оторванности пропагандистов от народа. Так, в сцене ночного спора у Маркелова (глава XI) Тургенев вписал добавление: «главное, он дивился ∽ чего собственно хочет народ?..» (с. 196), характеризующее сомнение Нежданова в том, что «всё готово» и «пора приступить». Много дополнений внесено в сцены, описывающие хождение Нежданова в народ (главы XXIX, XXX, XXXII),— дополнений, свидетельствующих о настороженном, а часто и враждебном отношении крестьян к пропагандистам и о нравственных страданиях Нежданова, происходивших от сознания бесплодности его попыток сблизиться с народом и первого соприкосновения с грубой действительностью (см., например, вставки: «одна баба с порога ∽ А на мои же деньги напился!», «Только я совсем ∽ слуга покорный!» — с. 323). Поистине трагического звучания эти мотивы достигают в главе XXXII, а именно в сцене пропаганды Нежданова в кабаке, подвергшейся особенно упорной и тщательной обработке не только в черновом автографе, но и на последующих этапах совершенствования текста.

В процессе создания романа Тургенев отступил от той несколько однолинейной характеристики Маркелова, которую он набросал в «Формулярном списке лиц новой повести» («не голова — а правая, вооруженная рука» — с. 404). Сохранив в образе Маркелова некоторую умственную ограниченность [29], Тургенев в то же время сделал ведущими его чертами беззаветную преданность народу, полное отсутствие эгоизма, мужество и благородство [30]. Характерны в этом отношении дополнения, внесенные в главы XXXV (сцена свидания Сипягина с Маркеловым у губернатора) и XXXVIII (описание суда над Маркеловым), подчеркивающие мужественное и благородное поведение Маркелова, не пожелавшего «раскаяться» (см. раздел «Варианты» в изд.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII).

Другие дополнения в тексте характеризуют непоколебимую уверенность Маркелова в готовности народа к бунту и, с другой стороны, недоступность пропаганды крестьянам.

В «Формулярном списке» Марианна охарактеризована как «нигилистка». «Народнический элемент» полностью в ней отсутствовал, и только эпоха «хождения в народ» помогает понять ту Марианну, которую мы знаем по окончательному тексту романа, со свойственной ей жаждой «деятельного добра», стремлением быть полезной народу. Дополнения, внесенные в черновую рукопись в связи с образом Марианны, подчеркивают цельность ее натуры, чуждой сомнениям и колебаниям, беззаветную преданность делу, мужество и стойкость. Важной для понимания сущности образа Марианны является глава XV романа, где, после неожиданного признания Нежданова, перед Марианной открывается возможность служения народу, к чему она давно тайно стремилась. Тургенев много работал над этой сценой, пытаясь показать, как вдруг преобразилась эта угрюмая, молчаливая девушка. В главу XXII он вписал восторженные слова Марианны, обращенные к Нежданову: «...мы будем полезны ∽ И никакой тут заслуги не будет — а счастье, счастье...» (с. 269). Другие добавления, внесенные в текст, характеризуют свойственную Марианне «жажду деятельности», жертвы «немедленной», ее готовность выполнять любую даже самую грубую работу. Так, например, в главе XXV появился текст: «Положим, революция еще далека... ∽ вы только скажите нам...» (с. 291). В главе XXIX упоминается о том, что Марианна «мыла чумичкой горшки, и кур щипала, и даже расчесала какому-то мальчику его вихрястую голо-

[29] Такими были в представлении писателя люди, фанатически преданные идее. Позднее в ответ на упреки в том, что почти все герои-народники в романе изображены людьми глупыми и недалекими, Тургенев дал следующее объяснение: «...я не имел в виду изобразить их такими, я брал обыкновенных средних людей, а если и был тут некоторый умысел, так вот какой: мне хотелось показать некоторую умственную узость людей в сущности вовсе не глупых. Так ведь это и есть на самом деле: люди до того уходят в борьбу, в технику разных своих предприятий, что совершенно утрачивают широту кругозора, бросают даже читать, заниматься, умственные интересы уходят постепенно на задний план, и получается в конце концов нечто такое, что лишено духовной стороны и переходит в службу, в механизм, во что хотите, только не в живое дело» (К р и в е н к о С. Н. Из литературных воспоминаний.— *Революционеры-семидесятники*, с. 242).

[30] Подобной же эволюции подвергся образ Машуриной.

ву». В черновом автографе после слов: «и кур щипала» — читаем: «и мела, и выносила воду, и чулки вязала». В главе XXXIII, описывая мужественное поведение Марианны в момент, когда полиция в связи с арестом Маркелова вот-вот должна явиться на фабрику, Тургенев сделал вставку: «О да! О да! — поддакнул Паклин ∽ промолвил Соломин», где Паклин назвал Марианну «римлянкой времен Катона».

Любовная линия в романе (Нежданов — Марианна, Соломин — Марианна) претерпела некоторое изменение; Тургенев стремился психологически мотивировать неожиданность сближения Марианны и Нежданова, а затем постепенный отход Марианны от Нежданова и ее сближение с Соломиным. Важны в этом отношении варианты, не попавшие в окончательный текст. В главе XVI Нежданов следующим образом характеризует свое отношение к Марианне: «В нашем сближении личное чувство играло роль... второстепенную — а соединились мы безвозвратно. Во имя дела? Да, во имя дела!» «Так думалось Нежданову,— замечает далее автор,— и он сам не подозревал, сколько было правды — и неправды — в его думах» (с. 222). В черновом автографе фразам: «Во имя дела? — Да, во имя дела!» соответствует вариант: «Нет, не во имя одного дела... Я ее люблю, люблю как женщину». Тургенев внес в текст некоторые дополнения, показывающие зарождение любви Соломина к Марианне. Так, например, в главу XXIX он вписал текст «Марианна стояла к нему спиной ∽ громче обыкновенного» (с. 320).

Образ Соломина подвергся меньшим по сравнению с первоначальным замыслом изменениям, чем образы Нежданова, Маркелова и Марианны, и это не случайно: задуманный писателем как просветитель-«постепеновец», Соломин остался таковым и в эпоху революционного «хождения в народ». Работая над образом Соломина, Тургенев стремился, с одной стороны, подчеркнуть демократичность своего героя, его близость к народу, выражающуюся даже в простонародности его облика, большое влияние его на окружающих и, с другой — противопоставить просветительскую программу Соломина революционной программе народников. Много работал писатель над портретом Соломина, отмечая то впечатление, которое он производит на других. Так, в черновом автографе Тургенев следующим образом передает размышления о Соломине Нежданова: «Да, думал он, в этом человеке есть что-то очень искреннее, и мужественное, и прямое» (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII, с. 435). Были сделаны также дополнительные вставки на полях, рисующие впечатление, произведенное Соломиным на Марианну при их первой встрече (с. 286).

Существенны варианты, касающиеся общественно-политических позиций Соломина. В главе XVI Тургенев отметил, что «Соломин не верил в близость революции в России». В черновом автографе этой фразе соответствовал вариант: «Соломин не верил в близость, в возможность революции в России». Смысл поправки в том, что Соломин не отрицал возможности революции, но не верил в ее близкое наступление. Поэтому, относясь с симпатией к народникам, он в то же время «держался в стороне» (вариант чернового автографа: «держался в стороне и выжидал»). Очень выразительна в той же главе романа реакция Соломина на рассказ «о какой-то несправедливости на суде, о притеснении рабочей артели...»: «Шкуру дерут с нашего брата,— промолвил он сквозь зубы». Далее Тургенев сделал на полях чернового автографа вставку — размышление Соломина о возможных последствиях своих сношений с народниками: «А если

правительству известно станет, что он знал, да не донес, и оно за это его накажет — ну что ж? оно будет право — и он роптать не посмеет ⟨?⟩. Попался — так терпи». Затем эта вставка была густо перечеркнута и от нее сделана отсылка к другой странице черновой рукописи, где имеется сходное рассуждение арестованного Маркелова (ср. с. 362 основного текста). В главу XXX писателем внесено очень существенное дополнение: «Но почему же он ∽ дорога другая», разъясняющее своеобразие соломинской общественно-политической позиции по сравнению с позицией народников. «То есть собственно цель у нас с Маркеловым одна; дорога другая»,— говорит Соломин Марианне (с. 331, 332).

Важными для понимания образа Соломина являются также дополнения, внесенные Тургеневым в главы XXVII (Соломин объясняет причины своего независимого положения на фабрике у купца Фалеева и дает краткую, но выразительную характеристику своему хозяину — с. 308) и XXIII (об отношении Соломина к буржуазным начинаниям русского поместного дворянства — с. 279). В заключительной главе романа в речи Паклина дана оценка общественного значения Соломиных, их роли в будущем преобразовании России, отсутствующая в окончательном тексте (подробнее об этом см. на с. 502—505).

Главу XXXVIII «Нови» Тургенев дополнил также речью Паклина, в которой характеризуется «застой совершенный» в русском обществе пореформенного периода (см. с. 386). Тексту: «и только та и совершилась реформа ∽ А голод! А пьянство! А кулаки!» в черновой рукописи соответствуют следующие варианты: «[мужик и голоден и пьян] голод и пьянство, и только та и произошла ⟨. . .⟩ перемена, что все мужики надели картузы... а дворяне кабаки заводят». Устройство дворянами кабаков и ростовщичество — характерные приметы пореформенной России. Эту тему Тургенев затронул в главе XXIII «Нови».

Иллюстрацией упорного писательского труда над текстом могут служить главы XIX (о Фомушке и Фимушке), XXXII (особенно сцена в кабаке), XXXV (сцена у губернатора) и заключительная (XXXVIII), для которых характерно большое число поправок, вставок и дополнений. В процессе работы над главой о Фомушке и Фимушке были вставлены большие куски текста с ироническим описанием провинциального альбома, картины, изображающей Фомушку в виде охотника, и др. (см. с. 239—240 и 243—244). Есть в этой главе строки, не вошедшие в окончательный текст, но интересные для характеристики этих своеобразных «старосветских помещиков» (см.: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII, с. 379—380, вариант к с. 132).

III

26 июля (7 августа) 1876 г. Тургенев известил Стасюлевича о своем прибытии в Буживаль и о намерении заняться переписыванием романа, которое, по предположению писателя, «не продолжится менее 6-и недель». В этом же письме Тургенев просил Стасюлевича дать в «Вестнике Европы» объявление о предстоящей публикации романа в журнале: «Я только потому еще секретничаю насчет заглавия, что, боюсь, кто-нибудь другой наскочит на то же слово; но если Вы бы захотели объявить об этом в „В⟨естнике⟩ Е⟨вропы⟩“ — назвав роман по имени,— то приоритет остался бы за мною». Здесь же, во избежание будущих цензурных осложнений, Тургенев пояс-

нил Стасюлевичу, что «плуг» в эпиграфе к роману «не значит революция — а просвещение: и самая мысль романа самая благонамеренная, хотя *глупой* цензуре может показаться, что я потакаю молодежи...» (там же).

«Переписывание» романа было для Тургенева сложным творческим процессом. «...Вы сами знаете, что значит переписывать,— писал Тургенев Г. Флоберу 27 июля (8 августа) 1876 г.,— бывают страницы, от которых не остается ни строчки». Позднее, размышляя, каким способом доставить Анненкову для прочтения рукопись, Тургенев заметил: «...положим, рукописи на почте не пропадают — но, однако, если б эта беда случилась с *этой*, оно было бы настоящею бедой, потому что я так много переделал и перепначил, переписывая, что вспомнить всё это было бы невозможно» (письмо к Анненкову от 26 сентября (8 октября) 1876 г.).

В сентябре н. ст. 1876 г. Тургенева навестил в Буживале Стасюлевич, которому писатель прочел некоторые главы романа. «Сегодня происходило чтение романа Тургенева в Буживале,— писал Стасюлевич жене 31 августа (12 сентября) 1876 г.— Судя по отдельным сценам, которые он прочел мне, роман превзошел все мои ожидания. По моему мнению, Тургенев еще ничего не написал подобного. Продолжение чтения назначено 2 сентября утром у меня» (*Стасюлевич*, т. III, с. 85).

25 сентября (7 октября) 1876 г. Тургенев известил Стасюлевича, что он «третьего дня *кончил* переписку „Нови“ (вышло 298 листов — по 37 строк в каждом листе)». Предполагалось, что с романом ознакомится Анненков, и после этого Тургенев обещал выслать рукопись Стасюлевичу в Петербург.

Работа писателя над текстом романа в беловом автографе прошла два основных этапа:

1. Внесение изменений в текст романа во время его переписывания.

2. Правка текста романа после его чтения Анненковым (и частично под его влиянием).

Общий характер этой правки на обоих этапах можно в основных чертах свести к следующему:

1. Усиление сатирического начала в изображении консервативной и либеральной дворянской среды (Калломейцев, Сипягин, губернатор), а также в характеристике «революционеров» типа Кислякова и Голушкина.

2. Углубление идеи трагической изолированности народников от народа, обреченности их дела, нашедшей свое последующее развитие в образах Нежданова и Маркелова.

3. Стремление подчеркнуть общественный характер деятельности Соломина, полезность и необходимость Соломиных для России.

4. Углубление образа Марианны. Психологическая мотивировка неизбежности ее разрыва с Неждановым и сближения с Соломиным.

5. Стилистическая правка.

Характеризуя работу писателя над беловой рукописью романа на первом этапе, ограничимся лишь некоторыми примерами [31].

---

[31] См. варианты наборной рукописи и корректуры «Вестника Европы» в изд.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII, с. 424—458.

Сатирическая обрисовка Сипягина получила в беловом автографе свое дальнейшее развитие. Тургенев едко высмеял пристрастие Сипягина к фразе, к пустой либеральной болтовне, приблизившись к художественной манере Щедрина [32]. Некоторые добавления при переписывании романа Тургенев внес в связи с этим в главы VIII, IX, XIV, XXIV, XXV. Сатирический эффект усиливается здесь путем введения в текст авторских замечаний, характеризующих манеру и жесты оратора. Так, например, в главе VIII Тургенев отметил, что Сипягин, произнося спич, «наподобие Роберта Пиля, закладывал руку за фалду фрака» (с. 181). В главе XIV, рисуя ораторствующего Сипягина, Тургенев вставил следующие авторские ремарки: «(он поправился: священным правилом)», «(тут он поднял указательный палец, украшенный гербовым кольцом)». В речь Сипягина в главе XXIV внесены некоторые новые сатирические штрихи. Так, после произнесенного Сипягиным за обедом тоста «за процветание тройственного союза: Религии, Земледелия и Промышленности!» в беловом автографе были добавлены фраза: «Под эгидой власти! — строго прибавил Калломейцев» и характерная для либеральной демагогии Сипягина ответная реплика: «Под эгидой мудрой и снисходительной власти...» (с. 284). Тургенев добавил также фразу, иллюстрирующую отношение Сипягина к литературе: «Признал пользу и важность литературы, но объявил, что без крайней осторожности она немыслима!» (там же).

Некоторые важные для осмысления образа Сипягина дополнения Тургенев внес в главу XXXV, где он показал подлинную цену либеральной болтовне этого персонажа, объединившегося в минуту опасности с Калломейцевым в борьбе против «нигилистов» и «красных» (см., например, с. 366).

Тургенев усилил также характеристику неудачных попыток Маркелова и Нежданова сблизиться с народом. Так, в главе XI рассказ Маркелова о его безуспешной попытке разъяснить мужикам принцип ассоциации был дополнен репликой о реакции на это разъяснение одного из мужиков: «Была яма глубока... а теперь и дна не видать...»— и словами: «а все прочие крестьяне испустили глубокий, дружный вздох, что совсем уничтожило Маркелова» (с. 200). Подобные дополнения были внесены писателем также в XIV и XXX главы в связи с образом Нежданова.

В беловом автографе обрисовка социальных взглядов Соломина существенно пополнена его суждениями о том, что «кулаки только свою выгоду знают», и о хищничестве купцов («Тебя грабят... и ты грабишь»), и определением своей общественно-политической линии («Постепеновцы до сих пор шли сверху 〈. . .〉 а мы попробуем снизу»).

25 октября (6 ноября) 1876 г. Тургенев отправил беловую рукопись «Нови» «на прочтение и суд П. В. Анненкову в Баден-Баден» через посредство двоюродного брата П. Виардо Хоакина Рюиса Гарсиа (см. письма к Анненкову от 25 октября (6 ноября), 26 октября (7 ноября) 1876 г. и к Полонскому от 26 октября (7 ноября) 1876 г.). О характере полномочий, предоставленных Тургеневым Анненко-

---

[32] О близости сатирического метода Тургенева в «Нови» к методу Щедрина см.: Г а б е л ь М. О. Щедрин и Тургенев.— Наукові записки Харківського держ. пед. ін-ту, 1947, т. 10, с. 83—85; Б я л ы й Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Сов. писатель, 1962, с. 232—233. Г. А. Бялый усматривает в «Нови» также следы влияния Гоголя, Островского, Лескова и Достоевского.

ву, дает представление его письмо критику от 23 октября (4 ноября) 1876 г.. «Посылая Вам свой роман на прочтение, мне кажется, нечего просить Вас не стесняться никакими соображениями и сказать мне всю правду. Можете также делать какие Вам вздумается замечания на полях карандашом или ставить крест на лицевой стороне листа, а на оборотной вписывать Вашу критику. В случае нужды я могу задержать отправку рукописи и сделать те изменения, которые мне покажутся необходимыми».

29 октября (10 ноября) 1876 г. рукопись уже была возвращена Тургеневу «с письмом и указанием некоторых незначительных поправок и исключений, которые будут исполнены в течение 2-х, 3-х дней. Романом вообще А⟨нненков⟩остался доволен» (письмо к Стасюлевичу от 30 октября (11 ноября) 1876 г.).

Критические замечания Анненкова о «Нови» во многом определили характер правки текста романа на втором этапе работы Тургенева над беловой рукописью. Сопоставление писем Анненкова к Тургеневу, в которых дана развернутая оценка «Нови», с черновым и беловым автографами романа и с корректурными гранками «Вестника Европы» дает возможность установить, какие изменения внес Тургенев в беловую рукопись романа по совету Анненкова и в каком направлении шла правка романа в дальнейшем.

Подробному анализу романа посвящены письма Анненкова к Тургеневу от 9 и 28 ноября п. ст. 1876 г. (*Лит Мысль*, вып. 1, с. 196—197, 199—200). В целом Анненков высоко оценил роман, отметив, что «Новь» продумана Тургеневым так, как с «Отцов и детей» «не была продумана ⟨. . .⟩ ни одна вещь» (там же, с. 196). Образы Нежданова и Марианны, по мнению критика, «бесспорно принадлежат к шедеврам» тургеневской кисти, «Соломин очерчен чрезвычайно тонко, почти ⟨. . .⟩ химическими чернилами, которые выступают ясно только на огне размышления и углубления в эту персону». Менее понравился Анненкову Маркелов, которого он посоветовал Тургеневу сделать «универсальным неудачником» (там же, с. 196). «Новь», по словам Анненкова,— «важнейшее явление русской эпохи после войны или жажды войны» [33] (там же, с. 197).

Неодобрение Анненкова вызвала «памфлетная сторона» романа, анализу которой посвящено его второе письмо к Тургеневу от 28 октября (9 ноября) 1876 г. По мнению Анненкова, заметившего, что роман написан «иначе», чем другие произведения Тургенева, «*истина памфлетная* не есть художественная или беллетристическая истина» (там же). К истолкованию слова «памфлет» и указанию памфлетных выпадов в романе Анненков, по просьбе Тургенева, вернулся в письме от 16(28) ноября 1876 г. К числу подобных памфлетных выпадов Анненков отнес слова «клеврет ренегата», заметив, что «за этим восклицанием есть целая *нерассказанная* история, а без такой истории оно становится эхом партии, камнем, поднятым на улице и брошенным в середину искуснейшей сети рассказа». Не понравилось критику также «определение» Калломейцева в Министерство народного просвещения. По словам Анненкова, «нет никакой надобности *специализировать* место успокоения Калломейцева», так как «с известным содержанием» все министерства «должны быть равны в России», «все стоят друг друга». По поводу фразы Соломина: «Шкуру дерут с нашего брата!» — Анненков заметил: «Пусть все

---

[33] Речь идет о назревавшей войне России с Турцией 1877—1878 гг.

другие революционеры делают какие угодно гиперболы, но Соломину, кажется, не следовало бы. Человек он точный, вполне зрячий и хорошо знает, что дело не в дранье шкур, а в том, что *стыдно* жить в настоящих наших порядках» (там же). Среди других «памфлетических мелочей» Анненков назвал также сравнение Маркелова с Иоанном Предтечей, наевшимся акрид, фразу дьякона о поздних родах Анны, сравнение критика Скоропихина с бутылкой кислых щей, пение Агремантского с пением леща с кашей.

Тургенев учел большую часть замечаний Анненкова, внеся исправления в беловой автограф и корректуру «Вестника Европы». Так, следуя совету Анненкова сделать из Маркелова «универсального неудачника», он вписал на полях белового автографа следующую фразу: «Ему ⟨Маркелову⟩ вообще не везло — никогда и ни в чем; в корпусе он носил название „неудачника"» (с. 194). Тургенев убрал из текста романа фразы дьякона об Анне и Соломина «Шкуру дерут с нашего брата» и устранил некоторые «памфлетические мелочи»: выражение «клеврет ренегата» заменил словами «прирожденный клеврет», «Министерство просвещения» — «одним из министерств», однако сохранил сравнение Скоропихина с бутылкой кислых щей, пение Агремантского с пением леща с кашей.

Наиболее значительное изменение текста романа, сделанное Тургеневым по совету Анненкова,— изъятие из речи Паклина в заключительной главе романа суждений о том, куда ведут Россию Соломины. Об изменении, внесенном Тургеневым в конец романа, можно было судить прежде лишь по письму Анненкова к Тургеневу от 9 ноября н. ст. 1876 г. Черновой автограф, сохранивший в первоначальном виде главу XXXVIII, позволяет выяснить, насколько был прав Анненков в своем истолковании речи Паклина и каковы были мотивы, побудившие Тургенева согласиться на исключение этого куска из романа.

По словам Анненкова, речь Паклина в заключительной главе романа «не верна и обидна по своей неверности», а ее основная мысль близка к высказыванию реакционного французского писателя и государственного деятеля Жозефа де Местра (1754—1821) [34], «который на запрос министра Разумовского, что он думает о плане основать Лицей, отвечал, что Россия никогда не будет иметь ни ученых, ни художников, ни влияния на образованность и должна ограничиться тем, чем ограничивался Рим, столь же мало способный к интеллектуальной жизни, как и она, то есть добиваться чести быть крепким и могущественным государством, основанным на религии и императорской власти ⟨. . .⟩ Это ли последнее слово романа?» (*Лит Мысль*, вып. 1, с. 198).

Противник абсолютизма, сторонник буржуазно-демократических реформ в России в европейском духе, Анненков выразил опасение, что речь Паклина будет превратно истолкована как отрицание необходимости для русского общества «когда-либо видеть императора не русского пошиба, а человеческого, конституционного, смягченного, просвещенного» (там же). Анненков упорно настаивал на изменении этой речи: «...найдите заключение, которое было бы достойно основной идеи романа — вот и всё. А основная идея его

---

[34] О нем см. подробнее: Жозеф де Местр в России. Статья М. Степанова. Публикация и комментарии М. Степанова и F. Vermale.— *Лит Насл*, т. 29—30, с. 577—726.

ясна — всё это дикое, неумелое, почти позорное брожение есть результат невозможности существовать с абсолютизмом. Народ еще не чувствует этой невозможности, а образованный класс, начиная с гимназиста и семинариста, уже страдает акутным[35] абсолютизмом, вошедшим внутрь. От этого противоречия и весь кавардак» (там же). Приведем полностью кусок текста, о котором пишет Анненков. Никогда ранее не публиковавшийся, он представляет интерес для осмысления идейной проблематики «Нови» и образа Соломина.

В главе XXXVIII после слов Паклина, обращенных к Машуриной: «Вы вот о Соломине отозвались сухо. А знаете ли, что я вам доложу? Такие, как он — они-то вот и суть настоящие» (вариант чернового автографа: «эти-то вот настоящие русские и есть»), в черновом автографе содержится следующее рассуждение Паклина: «Вы про римлян слыхали? Ну, да как вам не знать — [ведь] латыни вы, по вашему званию, обучались! Народ был, доложу вам, [грубый] сильный, практический, безо всякого идеала — и ничего после себя не оставил, кроме большого имени да большого страха, потому: завоеватели! крепкая, плотная масса! [Кулаки!] Вот и мы, русские, такие же будем, только с прибавкой демократического элемента — и к тому же результату нас [и] ведут люди вроде Соломина. К Риму — пополам с Америкой! [к царству кулаков] Впрочем, и американцы похожи на римлян [Сам-то Соломин — не кулак — напротив — он, коли хотите, и широкий человек, народный, простой — да за ним потянутся кулаки]» (вариант чернового автографа к с. 387). В беловом автографе этот текст вырезан и после слов: «они — настоящие, поверьте» сделано добавление: «и будущее им принадлежит ∽ Какого вам еще надо?», представляющее апофеоз Соломина (см. с. 387—388). Далее словам Паклина: «настоящая, исконная наша дорога — там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины!», в черновом автографе соответствует другой вариант: «настоящая, исконная наша дорога — к Риму, к великим, историческим и [бедным] [нищим...] прозаическим [кулакам] дубинам». Эта фраза в несколько измененном виде вошла в беловой автограф, но затем была густо зачеркнута Тургеневым.

Ссылаясь на высказывание де Местра, Анненков, очевидно, имел в виду известные письма последнего к министру народного просвещения А. К. Разумовскому[36], содержащие размышления де Местра «о народном образовании в России» в связи с предполагаемым учреждением Царскосельского лицея. «Кто знает, например, созданы ли русские для науки? — писал Ж. де Местр в июне 1810 г.— Мы еще не имеем никаких на это доказательств, и если бы вопрос решился отрицательно, то от этого народу вовсе не следует менее уважать себя. Римляне ничего не смыслили в искусствах; никогда не было у них ни живописца, ни ваятеля, еще менее математика ⟨. . .⟩ Всякий знает наизусть знаменитый стих Вергилия, гласящий: „*Пусть другие заставляют говорить мрамор и медь; пусть они будут красноречивы и читают в звездах,— твое призвание, римлянин, управлять народами*“ и пр. Однако мне кажется, что римляне имели

---

[35] острым, резким (от лат. acutus).

[36] См.: Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre. Paris, 1851. T. II, p. 299—362. Приводимые здесь цитаты даны по русскому изданию этих писем: В а с и л ь ч и к о в А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2, с. 248—287.

довольно важное значение в мире, и нет такого народа, который подобным значением не мог бы удовольствоваться»[37].

Аналогия, проведенная Анненковым между речью Паклина в заключительной главе «Нови» и размышлениями Ж. де Местра «о народном образовании в России», прежде всего требует ответа на вопрос: является ли Паклин выразителем идей самого Тургенева?

Нет оснований отождествлять высказывания этого персонажа со взглядами Тургенева; однако следует признать, что в ряде случаев Паклин выражает авторское отношение к тем или иным героям и событиям романа. Так, например, образ Джаггернаутовой колесницы, олицетворяющей в устах Паклина трагическую, но бесполезную жертву, впервые появился в письме Тургенева к А. Ф. Онегину от 9(21) октября 1872 г.; определение «романтик реализма», данное Паклиным Нежданову, содержится в качестве авторской характеристики этого героя в заметке о замысле романа (с. 399). Характеристика пореформенной русской жизни и оценка общественного значения деятельности «постепеновцев снизу» Соломиных в речи Паклина в заключительной главе «Нови» также несомненно выражают авторское мнение[38]. Очевидно, что и в попытке Паклина определить, куда ведут Россию Соломины, частично отразились также некоторые раздумья самого Тургенева о будущем России и Европы.

Аналогия между речью Паклина и высказываниями де Местра несомненна, хотя и носит скорее внешний характер[39], и прежде всего потому, что в противоположность де Местру, отрицавшему необходимость для России просвещения, Тургенев всю жизнь был его горячим поборником. Идея необходимости широкого просвещения среди народа лежит в основе «Нови». Поэтому высказывания де Местра не только не способствуют правильному пониманию романа, но резко противоречат его идейному смыслу, что было сразу замечено Анненковым[40].

Попытка определить, куда ведут Россию Соломины, восходит, по-видимому, к политической и историко-философской полемике Тургенева и Герцена в начале 1860-х годов об исторических перспективах развития России и Европы, нашедшей отражение в переписке писателей, цикле статей Герцена «Концы и начала» (Колокол, 1862—1863) и романе Тургенева «Дым»[41].

Народническая молодежь в представлении Тургенева была,

---

[37] Там же, с. 249.

[38] Ср. с описанием пореформенной русской деревни в письме Тургенева к брату от 16(28) июля 1868 г.; паклинскую оценку Соломиных ср. с высказываниями Тургенева в письмах к Полонскому от 9(21) декабря 1876 г. и 30 декабря 1876 г. (11 января 1877 г.).

[39] Тургенев отрицал свое знакомство с высказываниями де Местра — см. его письмо к П. В. Анненкову от 30 октября (11 ноября) 1876 г.

[40] «Труднее будет изменить конец романа, т. е., собственно, не конец, а речь о России, вложенную Вами в уста паршивого Паклина, но собственно принадлежащую Вам самим. ⟨. . .⟩ Это ли последнее слово романа?» — писал Анненков Тургеневу 28 октября (9 ноября) 1876 г. (*Лит Мысль*, вып. 1, с. 198).

[41] Подробно о полемике см.: Винникова И. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. (Очерки и наблюдения)./Под ред. Е. И. Покусаева. Саратов, 1965, с. 31—52; см. также наст. изд., т. 7.

очевидно, сродни той молодежи, о которой он писал Герцену 27 октября (8 ноября) 1862 г., говоря о влиянии на нее герценовских идей: «...налив молодые головы Вашей еще не перебродившей социально-славянофильской брагой, пускаете их хмельными и отуманенными в мир, где им предстоит споткнуться на первом шаге».

В концепции Герцена, пережившего после подавления революции 1848 года в Западной Европе глубокий духовный кризис, для Тургенева была неприемлема прежде всего мысль о том, что прогрессивная роль европейской цивилизации, развившейся в современных буржуазных условиях до определенных пределов, уже окончена. Отрицательно относился Тургенев также к вере Герцена в возможность для России прийти к социализму на основе крестьянской поземельной общины, минуя капиталистическое развитие. Тургенев неоднократно отмечал развитие в пореформенной России капиталистического уклада, расслоение крестьянства в деревне и выделение кулачества; он не верил также в революционность русского народа.

В статьях Герцена 1850—1860-х годов нередки обращения к античной истории. Например, в истории гибели Римской цивилизации, павшей под ударами варварских племен, Герцен находил подтверждение своих идей о духовном крахе Западной Европы и неизбежном приходе на смену ей молодой, полуварварской, но полной непочатых сил России (см. «Письмо шестое» «Концов и начал» — *Герцен*, т. 16, с. 174—175) [42]. К теме «мира „вечного города“», побежденного варварами и гибнущего, Герцен вновь обратился в статье «Prolegomena», опубликованной в 1867 г. в возобновленном на французском языке «Колоколе» (см.: *Герцен*, т. 20, кн. 1, с. 58—59). «Что касается до самой твоей статьи,— писал Тургенев Герцену 30 ноября (12 декабря) 1867 г. в ответ на присылку французского „Колокола“,— то ведь это между нами старый спор: по моему понятию, ни Европа не так стара, ни Россия не так молода, как ты их представляешь: мы сидим в одном мешке и никакого за нами „специально нового слова“ не предвидится».

«Римская тема», неожиданно появляющаяся в главе XXXVIII чернового автографа «Нови», также служит Тургеневу для постановки актуальной проблемы об историческом будущем России. По мысли Паклина, Соломины, являющиеся в современных русских условиях носителями прогресса, ведут Россию «к Риму», «к царству кулаков», «к историческим, прозаическим дубинам» [43], т. е. к созданию буржуазно-демократического государства, прозаического, лишенного высоких нравственных идеалов (такой была в представлении

---

[42] Чернышевский в условиях подцензурной печати также использовал «римскую тему» для постановки актуальных проблем современной русской и европейской жизни. Его статья «О причинах падения Рима (Подражание Монтескье)» (*Совр*, 1861; *Чернышевский*, т. 7, с. 643—668) полемически направлена против некоторых статей Герцена 1850-х годов. Свое обращение к истории «падения Рима» Чернышевский считал полезным для решения вопросов, «важных для нынешней практической жизни народов, в особенности народов полуварварских» (там же, с. 644). О сущности полемики между Чернышевским и Герценом см. там же, с. 1035—1036.

[43] Ср. с «римской темой» в XIII главе «Призраков» (наст. изд., т. 7, с. 203—204).

Тургенева буржуазия вообще) [44], но крепкого и сильного, подобно некогда могущественной Римской империи, хотя и «с примесью демократического элемента».

Тургенев охотно согласился убрать из романа не понравившийся Анненкову текст, очевидно, опасаясь, что его могут понять превратно, тем более, что сформулированная Анненковым основная идея «Нови» (революционное брожение как результат «невозможности существовать с абсолютизмом») вполне соответствовала замыслу писателя.

Замечания Анненкова послужили толчком к дальнейшей правке романа. Внесенные Тургеневым изменения и дополнения преследовали цель углубления основной идеи романа и в основном были связаны с образами Нежданова и Соломина.

Очевидно, в это же время, т. е. между 30 октября (11 ноября), когда Анненков возвратил рукопись Тургеневу, и 9(21) ноября 1876 г. (дата посылки рукописи Стасюлевичу в Петербург) Тургенев использовал набросанные им ранее «Заметки» (о них см. на с. 490), сделав ряд значительных в смысловом отношении вставок на полях белового автографа (подробнее см.: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII, с. 508). Ограничимся одним примером. В «Заметках» есть запись: «Фланелевый набрюшник». Тургенев использовал этот образ как иллюстрацию к проблеме взаимоотношений Нежданова с народом. Очевидно, дорожа этим образом и считая его художественно выразительным, писатель в беловом автографе трижды возвращался к нему, вписав на полях рукописи два варианта фразы с «фланелевым набрюшником», которые затем вычеркнул. Первоначально эта фраза, произносимая Паклиным, была обращена к Нежданову. В окончательном тексте ту же мысль развивает Нежданов в письме к другу Силину в главе XXX «Нови».

Дальнейшую правку текста романа Тургенев продолжил в корректуре, внеся в нее много существенных дополнений; некоторые исправления были сообщены им в письмах и телеграммах к Стасюлевичу, отправленных одновременно с корректурой или следом за ней. В корректурных листах романа, хранящихся в *ГПБ*, есть пометы Тургенева и Стасюлевича с точными указаниями времени отправления корректур первой и второй частей «Нови» из Петербурга в Париж и обратно [45]. Отметим лишь самые значительные дополнения, внесенные Тургеневым в корректуру.

---

[44] Ср. с описанием буржуазного Парижа в XIX главе «Призраков» (там же, с. 210—212) и с характеристикой русской буржуазии в письме к Герцену от 26 сентября (8 октября) 1862 г.

[45] См.: *ГПБ*, ф. 795, № 25; вклеены в беловой автограф. На первом листе корректуры имеются следующие пометы:

«Отправлено из СПб.: 17/29 ноября, среда, в 11 ч. утра. М. Стасюлевич».

«Прибыло в Париж: 2-го декабря/20-го нояб⟨ря⟩ в субботу 1 ч. попол⟨удни⟩» ⟨Тургенев⟩.

«Отправлено из Парижа: в тот же день, в 3 1/2 ч.» ⟨Тургенев⟩.

«Прибыло в С.-Петербург: 25 ноябр./7 дек. в четв⟨ерг⟩, в 11 ч. утра. М. Стасюлевич».

В начале 2-й части «Нови»:

«Выехала из СПб.— 18/30 дек. 76 г., в 11 ч. утра». ⟨М. Ст.⟩.

«Отправлена из Парижа 3-го янв. 77/22-го дек. 76 в 10 ч. утра» ⟨Тургенев⟩.

В главу XV Тургенев добавил текст: «Эта девушка ∽ в самую глубь его души!» (с. 221), характеризующий приподнято-взволнованное состояние Нежданова, для которого Марианна вдруг стала «воплощением всего хорошего, правдивого на земле, воплощением неиспытанной им семейной, сестриной, женской любви,— воплощением родины, счастья, борьбы, свободы!» Главу XXVI, где описывается бегство Марианны и Нежданова из сипягинского дома, писатель дополнил лирической концовкой: «Так была уже сильна роса ∽ И воля, Алеша, воля!» (с. 302). Важные для понимания образа Нежданова и общего смысла романа вставки были вписаны Тургеневым в главу XXX, в письмо Нежданова к Силину. Здесь появилась характеристика крестьянина Елизара, у которого «светлый ум и душа свободная, безо всяких пут», но который так же, как и другие крестьяне, не понимает неждановской пропаганды — «так и смотрит „нетом"!» (с. 327) [46]. В конце письма Нежданова к Силину Тургенев добавил в корректуре *ВЕ* многозначительный постскриптум: «Да, наш народ спит... Но мне сдается, если что его разбудит — это будет не то, что *мы* думаем...» Существенные вставки Тургенев вписал также в предсмертное письмо Нежданова (глава XXXVII). К их числу принадлежит новая концовка («Да! вот еще ∽ моя чистая, нетронутая!»), важная для понимания причины самоубийства Нежданова (с. 380). В главе XXXVIII была добавлена характеристика Нежданова как «романтика реализма», отсутствовавшая в беловой рукописи. В эту же главу были внесены писателем дополнения, цель которых — подчеркнуть общественное значение Соломина. Так, Тургенев уточнил, что завод в Перми Соломин организовал «на каких-то артельных началах». Здесь же добавлен восторженный панегирик Соломину Паклина: «Он — молодец! ∽ А Соломин не такой: нет, он зубов не дергает — он молодец!», в котором превозносится постепенство Соломина (с. 384—385).

Многие из вписанных на полях корректуры текстовых вставок были ранее зафиксированы Тургеневым в «Прибавлениях» на с. 492 чернового автографа. Эти «Прибавления», по всей вероятности, были набросаны писателем в период вторичной правки беловой рукописи после ее возвращения от Анненкова.

---

[46] Возможно, что это дополнение Тургенев внес в текст под впечатлением отзывов о «Нови» К. Д. Кавелина и его дочери, познакомившихся с романом еще до его опубликования и упрекавших писателя в одностороннем изображении крестьянской среды в «Нови». «Что же касается до изображения крестьян,— писал Тургенев К. Д. Кавелину 17(29) декабря 1876 г.,— то тут, с моей стороны, была некоторая преднамеренность. Так как мой роман не мог захватить и их (по двум причинам: во-первых, вышло бы слишком широко, и я бы выпустил нити из рук; во-вторых, я не довольно тесно и близко знаю их *теперь*, чтобы быть в состоянии уловить то еще неясное и неопределенное, которое двигается в их внутренностях), то мне осталось только представить ту их жесткую и терпкую сторону, которою они соприкасаются с Неждановыми, Маркеловыми и т. д.». Это объяснение Тургенев имел в виду, когда писал С. К. Брюлловой 4(16) января 1877 г.: «В письме к Константину Дмитриевичу я изъяснил причину, заставившую меня именно *так* обрисовать народный элемент в „Нови", впрочем, я, под влиянием Ваших слов, прибавил два-три дополнительных штриха».

Указания на некоторые менее существенные уточнения и исправления Тургенев сделал также в письмах и телеграммах к Стасюлевичу. Важнейшее из них связано с необходимостью из-за цензурных соображений видоизменить строку «Один царев кабак — тот не смыкает глаз» в стихотворении Нежданова «Сон» (глава XXX). В телеграмме к Стасюлевичу от 3(15) января 1877 г. Тургенев предложил два варианта для замены «царева кабака»: «Один душа кабак...» и «Один кабак не спит и не смыкает глаз». В письме к Стасюлевичу от 3(15) января 1877 г. Тургенев привел и третий вариант: «Один питейный дом — тот не смыкает глаз».

В последующих изданиях романа текст печатался с незначительными изменениями.

IV

Работая над романом, Тургенев предвидел цензурные затруднения[47], связанные с его опубликованием в России, но в то же время писатель сознавал, что, будучи напечатан за границей, роман «потеряет 9/10-х своего значения» (письмо к П. Л. Лаврову от 1 (13) февраля 1876 г.). Цензурными соображениями в значительной степени было вызвано желание писателя, чтобы роман был опубликован целиком в одной книжке «Вестника Европы», о чем он неоднократно писал Стасюлевичу[48].

Предстоящей публикации «Нови» не благоприятствовала и политическая атмосфера в столице: 6 декабря 1876 г. в Петербурге, перед Казанским собором, состоялась политическая демонстрация рабочих и студентов-народников. Опасаясь, что демонстрация отрицательно повлияет на судьбу «Нови», Тургенев послал Стасюлевичу 22 декабря 1876 г. (3 января 1877 г.) «объяснительное письмо», где изложил «те соображения», которыми он руководствовался при написании «Нови», подчеркнув при этом, что основная мысль романа «в сущности *цензурна* и благонамеренна». Это письмо Стасюлевич должен был использовать в случае возникновения цензурных затруднений.

Первая часть романа благополучно прошла через цензуру, но вокруг второй части «Нови» в Цензурном комитете разгорелась борьба, предопределенная тем отзывом, который дал заключительной части романа цензор В. М. Ведров. По словам цензора, «разрушительные начала движения в народ не изглаживаются самоуби-

---

[47] О цензурной истории «Нови» см.: Оксман Ю. Г. История опубликования «Нови».— В кн.: И. С. Тургенев. Исследования и материалы, вып. 1. Одесса, 1921, с. 59—72; см. также: *Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 450—455.

[48] Тургенев опасался также, что публикация романа в двух книжках журнала помешает цельности его восприятия читателями. Стасюлевич не смог удовлетворить пожелание писателя из-за большого объема романа; вынужденный уступить, Тургенев настоял, однако, на том, чтобы публикация части романа в первой книжке «Вестника Европы» заканчивалась на XXII-й главе (см. письма к Стасюлевичу от 12 (24) ноября и 21 ноября (3 декабря) 1876 г.). Следует отметить, что в наборной рукописи, как и в черновом автографе, нет деления «Нови» на две части. Впервые Ф. И. Салаев в своем отдельном издании «Нови» (М., 1878) ввел наименования: «Часть первая» и «Часть вторая».

ством Нежданова (скорее смывающим с него неосторожный факт опьянения) и карою, поразившею Маркелова,— эти начала коренятся в упорстве Соломина, устроившего на артельных началах завод в Перми, в неограниченной преданности этому делу Марианны, в чрезвычайной скрытности соучастницы Машуриной, избегающей проговориться перед болтуном Паклиным, в злой насмешке над Сипягиным — чиновником-охранителем законов и власти» [49]. Публикация окончания романа, по мнению цензора, вряд ли возможна, так как в романе «указывается только на раннее, несвоевременное движение в народ, а не на отсутствие горючих материалов» [50].

При голосовании в Цензурном комитете судьба второй части «Нови» была решена положительно преимуществом в один голос. О цензурной борьбе вокруг романа Тургенев писал В. Рольстону 6(18) февраля 1877 г.: «В Комитете цензуры произошла великая scission; но министр внутренних дел Тимашев добился разрешения печатать, за что я должен его благодарить, хотя он и заявил, что знай он заранее *всю книгу*, он никогда не допустил бы ее издания; но было уже слишком поздно — а если бы вторая часть была запрещена или искажена пропусками, это явилось бы своего рода оскорблением общества и скандалом. Итак, дело сделано. „Проскочило", как говорят русские» (ср. с письмом к Ю. Шмидту от 13 (25) апреля 1877 г.).

Изучение автографов «Нови» даст возможность еще раз критически подойти к свидетельству М. П. Драгоманова о двух якобы изъятых цензурой сценах из «Нови». В одной из них, по словам Драгоманова, был «изложен разговор Маркелова с губернатором после ареста», а в другой (это была целая глава) — «описано „хождение в народ" Марианны», которая «оказалась более способной подойти к будничной жизни крестьян, чем переодетые студенты, и возбудила к себе более симпатии и доверия мужиков» [51]. Изучение цензурных материалов, связанных с «Новью», опровергает эту версию и позволяет высказать предположение, что Тургенев, возможно, мистифицировал Драгоманова, выдав сокращения и поправки одной из черновых рукописей романа за цензурные изъятия.

В черновом автографе романа упомянутых сцен нет. Можно, однако, предположить что Тургенев действительно намеревался их написать. О том, что сцена у губернатора была задумана по-иному, свидетельствуют письмо Тургенева к А. В. Головнину от 8(20) февраля 1877 г. и запись о ней во второй редакции рассказа (см. выше, с. 420). Намек на приготовления Марианны к будущему «хождению в народ» содержится в главе XXX «Нови», в письме Нежданова к Силину: «Она ⟨Марианна⟩ даже башмаки с себя пробовала снять; ходила куда-то босая и вернулась босая. Слышу — потом — ноги себе долго мыла; вижу, наступает на них с осторожностью, потому с непривычки — больно; а лицом вся радостная и светлая, словно клад нашла, словно солнце ее озарило» (с. 326). Это добавление, вписанное Тургеневым в корректуру, в первопечатный текст, однако, не вошло и было восстановлено Тургеневым в отдельном издании романа 1878 г. Очевидно, Стасюлевич опустил его из-за цензурных опасений, усилившихся в связи с тем, что в обществе

---

[49] *Т, Сочинения*, т. 9, с. 454.

[50] Там же.

[51] Драгоманов М. П. Знакомство с И. С. Тургеневым.— *Революционеры-семидесятники*, с. 174.

ходили всевозможные слухи о приближавшемся «Процессе 50-ти», в котором значительную роль играли женщины. Возможно, что сцена с Марианной — это всё, что было осуществлено из предполагавшейся писателем главы о хождении Марианны в народ.

V

В основе творческого метода Тургенева всегда лежали наблюдения над реальными лицами и событиями. «Всякая написанная мною строчка,— рассказывал Тургенев Х. Бойесену,— вдохновлена чем-либо или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Я не копирую действительные эпизоды или живые личности, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы» [52]. Сохранившиеся подготовительные материалы к роману «Новь» и особенно «Формулярный список» могут служить убедительным подтверждением этой мысли.

В письме к Я. П. Полонскому от 22 января (3 февраля) 1877 г. в ответ на вопрос: в каком городе развертывается действие «Нови» — Тургенев ответил: «Я взял букву С. для означения города, как взял бы А., Б. или даже Х., и нисколько не думал ни о Симбирске, ни о Самаре». В данном случае, уклончиво отвечая Полонскому, Тургенев, по-видимому, опасался слишком прямолинейных аналогий с реальными политическими событиями, происходившими в 1870-е годы. Однако не подлежит сомнению, что в романе нашли отражение наблюдения Тургенева, почерпнутые им в наиболее ему знакомой средней полосе России, и прежде всего в Орловской и Тульской губерниях. Не случайно поэтому в черновой рукописи вместо С...ой губернии в ряде случаев обозначена Т...ая губерния, а город К., куда послали Машурину, раскрыт как Калуга. Когда друзья указывали Тургеневу на неправдоподобность некоторых эпизодов или сцен в романе, Тургенев, защищаясь, черпал аргументы, взятые из близкой ему русской жизни Орловской губернии. Так, отвечая на критические замечания А. М. Жемчужникова, Тургенев писал ему 5(17) марта 1877 г.: «Нежданову ничего не стоило побывать в 5 кабаках; в соседстве моего имения, где больших сел нету, в радиусе 7 верст — 11 кабаков,— и их очень легко обойти в один день». Даже названия деревень в «Нови» — Борзёнково (имение Маркелова) и Голоплёки (отсюда — «голоплецкий Еремей») не придуманы писателем: деревни с такими названиями действительно принадлежали Тургеневым [53]. Известно, что при описании старинного дворянского сада Сипягиных (глава VIII) Тургенев воспользовался набросками из уничтоженного им первого романа «Два поколения», в основе которого лежали наблюдения писателя над поместным бытом Орловской и Тульской губерний [54]. В «Новь» перешли также из

[52] Бойесен Х. Воспоминания.— Минувшие годы, 1908, № 8, с. 69.

[53] В письмах к Н. А. Кишинскому 1874—1875 гг. Тургенев неоднократно упоминает о «борзёнковской земле». В перечне деревень, принадлежащих Тургеневым, названа и деревня Голоплёки (см.: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 87, л. 5.).

[54] См.: Pavlovsky I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 171; см. также комментарий Л. Н. Назаровой к публикации плана романа «Два поколения» — наст. изд., т. 5, с. 527—528.

этого романа две колоритные фигуры старого помещичьего быта — карлица Пуфка и няня Васильевна (см. главу XIX).

В «Формулярном списке» и других подготовительных материалах к роману Тургенев указал следующие прототипы действующих лиц «Нови»[55]: Нежданова — А. Ф. Онегин (Отто), а также «взять несколько от Писарева»; Марианны — А. Н. Энгельгард, Луиза Виардо-Эритт; Калломейцева — Н. П. Новосильцев, В. А. Шеншин, А. В. Шереметев, Б. М. Маркевич, М. Н. Лонгинов; Сипягина — И. П. Борисов (по первоначальному, отвергнутому писателем замыслу), Д. А. Толстой, А. А. Абаза, Н. М. Жемчужников, П. А. Валуев, Д. П. Хрущев, Д. А. Оболенский; Сипягиной — М. Н. Зубова; Кислякова — В. Г. Дехтерев; Паклина — А. Скачков, М. А. Языков (это касается только внешности: «рот как у Языкова (М. А.)», «Взять несколько от наружности Скачкова»); Анны Захаровны Сипягиной — Берта Виардо.

В письмах к П. В. Анненкову от 11 (23) и 18 (30) ноября 1876 г. Тургенев назвал В. В. Стасова[56], певца и дирижера Д. А. Агренева-Славянского и П. А. Вяземского[57] прототипами образов Скоропихина, певца Агремантского и «князя Коврижкина» в «Нови». О том, что в романе «продернут — и весьма бесцеремонно» В. В. Стасов, Тургенев писал также А. В. Топорову 2(14) декабря 1876 г. (ср. с письмом к Ю. П. Вревской от 16 (28) декабря 1876 г.: «...он ⟨Стасов⟩ там выведен в комическом свете»). В письме к Полонскому от 22 января (3 февраля) 1877 г. Тургенев отметил, что существовали реальные прототипы образов Фомушки и Фимушки: «Я вспомнил такую старенькую чету, которую знал когда-то».

---

[55] Тургенев в большинстве случаев указал лишь фамилии. Реальные прототипы полностью раскрыты А. Мазоном (Revue des études slaves, 1925, t. 5, fasc. 1—2, p. 90). Сведения о них см. в примечаниях к подготовительным материалам — с. 565—574.

[56] Этот факт был известен В. В. Стасову. «Тургенев прописал меня в новом своем романе „Новь“ ⟨. . .⟩ под именем критика Скоропихина, порицающего ⟨!⟩ молодых художников и огулом ругающего всё старое в искусстве»,— писал он В. Д. Поленову 3(15) января 1877 г. (см.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. Изд. 2-е. М.; Л., 1950, с. 136). Впоследствии в своих воспоминаниях о Тургеневе Стасов снова вернулся к этой теме: «Я спрашивал, смеясь, Тургенева: „Меня уверяют многие, что Скоропихин это у вас я. Правда, Иван Сергеевич?“ Он в ответ тоже смеялся и сказал: „Да, конечно, отчасти и вы, но тоже и многие другие“ ...» (*Сев Вестн*, 1888, № 10, с. 160). Об эстетических расхождениях между Тургеневым и Стасовым см.: Зильберштейн И. С. Репин и Тургенев. М.; Л., 1945, с. 40—79.

[57] О взаимоотношениях Тургенева с П. А. Вяземским см.: Бельчиков Н. Ф. Тургенев и Вяземский.— В кн.: И. С. Тургенев. М.; Пг., 1923, с. 10—30. В письме к Ю. П. Вревской от 28 августа (9 сентября) 1875 г. Тургенев назвал Вяземского «престарелым лакеем»; ср. с репликой «лакей-энтузиаст», сказанной Неждановым о «князе Коврижкине» (с. 216). Л. В. Пумпянский объясняет фамилию «Коврижкин» в применении к Вяземскому стихом самого Вяземского: «„пряник, мой однофамилец“,— стихом, кстати, типичным для его механической, деревянной манеры острить» (*Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 160).

Даже те персонажи, которые лишь вскользь упоминаются в романе, не придуманы писателем, а созданы им на основе реальных наблюдений. Так, например, для установления генеалогии Хавроньи Прыщовой, сатирическую характеристику которой дает Паклин в главе XXXVIII романа, важно письмо Тургенева к Анненкову от 13 (25) августа 1872 г. с высказыванием писателя об Е. В. Салиас [58]. Прототипом Гараси, лучшего ученика крестьянской школы, послужил крестьянский мальчик Никита Гарасичев, ученик Спасской школы, в судьбе которого Тургенев принимал живое участие. «Кстати, что сделалось с умным мальчиком *Никитой*, которого я видел третьего года в школе и который такие делал успехи? Жив ли он — и продолжает ли хорошо учиться? И как идет вообще школа?» — спрашивал Тургенев Н. А. Кишинского 26 февраля (9 марта) 1876 г. И далее, получив от управляющего благоприятный ответ, снова вспомнил о мальчике в письме от 22 марта (3 апреля) 1876 г. «Мне приятно слышать, что Никита Гарасичев продолжает хорошо учиться и вести себя; прошу наблюдать за ним и оказывать ему всякое вспомоществование» [59].

Образы Калломейцева и Сипягина носят в романе собирательный характер, что было замечено многими современниками. 13(25) февраля 1877 г. А. В. Головнин писал Н. В. Ханыкову: «Весь круг Сипягиных, Калломейцевых, болеславов при Закревских[60] не простит ему выведенных на сцену образчиков их общества» (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. XII, кн. 1, с. 542). С. К. Брюллова, посвятившая роману «Новь» большую статью, свидетельствующую о демократических взглядах ее автора, справедливо утверждала: «Мастерски, злостно и вместе юмористически очерченный образ Сипяг⟨ина⟩ и Калломе⟨йцева⟩ — это вызов всей партии покойной „Вести“, Каткова, Валуева с tutti quanti. Они уже прислали ему расписки в получении оплеухи, как некогда хотели послать после „Дыма“» [61].

---

[58] См. также: Буданова Н. Ф. О прототипе Хавроньи Прыщовой в романе «Новь».— *Т сб*, вып. 3, с. 153—159.

[59] Никита Гарасичев числился в списке лиц, которым Тургенев в 1875 —1876 гг. выдавал «вспомоществование» (см.: *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1267).

[60] Намек на Б. М. Маркевича, который в 1848—1853 годах состоял чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе А. А. Закревском.

[61] См.: Статья С. К. Брюлловой о романе «Новь». Вступит. статья и публикация Н. Ф. Будановой.— *Лит Насл*. т. 76, с. 305—306. Маркевич, узнавший себя в Ladislas'е, собирался вызвать Тургенева на дуэль. В связи с этим Тургенев писал Стасюлевичу 22 января (3 февраля) 1877 г.: «Мистерия „Ладисласа“ разрешилась, я получил от него большой пакет, содержащий копию с письма, написанного ему мною в 1863 г., когда меня вытребовали в Россию, якобы заговорщика, вместе с Ничипоренко и т. д. Всё это, разумеется, разлетелось дымом; но Маркевич в то время (вместе с А. Толстым) хлопотал обо мне — и я ему послал письмо, в котором благодарил его за сочувствие. Посылая мне копию, он как бы желает упрекнуть меня в перемене моих отношений к нему. Не я виноват, что он впоследствии оказался таким „клевретом“. Всё это довольно невинно; хорошо то, что он сам подписывается: Ladislas». О реакции «настоящих генералов» на «Дым» см. в воспоминаниях Н. А. Островской о Тургеневе — *Т сб (Пиксанов)*, с. 91.

Сопоставление суждений Калломейцева в романе с некоторыми статьями «Московских ведомостей» позволяет сделать вывод о близости идей, проповедуемых Калломейцевым, к воззрениям М. Н. Каткова и его единомышленников. Так, например, в главах VI и IX Калломейцев говорит о том, что он «нигилистам запретил бы даже думать о школах», заводил бы школы только «под руководством духовенства — и с надзором за духовенством» (с. 168) и что народу «лучше ⟨. . .⟩ знать пифика или строфокамила, чем какого-нибудь Прудона или даже Адама Смита!» (с. 187).

Разоблачение в романе реакционных воззрений Калломейцева в области образования не случайно. В 1871 г. в России была проведена школьная реформа, которая отдавала предпочтение классическому образованию в ущерб реальному, фактически закрывала доступ в университеты воспитанникам реальных училищ и преследовала скрытую цель отвлечения учащейся молодежи от революционной борьбы с самодержавием. Катков явился одним из вдохновителей этой реформы (см. его выступления в «Московских ведомостях» за 1869—1871 гг.).

Тургенев отрицательно относился к реформе средней школы; он считал, что «классическое, как и реальное, образование должно быть одинаково доступно, свободно — и пользоваться *одинаковыми* правами». В письме к Стасюлевичу от 6(18) ноября 1871 г., откликаясь на его статью, направленную против Каткова в защиту реального образования, Тургенев воскликнул: «Читал я в „С.-П⟨етер⟩б⟨ург⟩ских в⟨едомостях⟩“ Вашу отповедь гнусному Каткову: до чего дошел этот человек! ⟨. . .⟩ ничего нет бесстыднее ренегата, который махнул рукой на всё!» О связи высказываний Калломейцева об образовании с подготавливаемой реформой свидетельствует один из вариантов чернового автографа романа: иронической реплике Калломейцева в адрес Марианны: «Для того, чтобы учить крестьянских девочек азбуке,— нужна подготовка?» — в черновом автографе соответствует фраза: «Для крестьянских девочек тоже требуются классические языки?»

Калломейцев живо напоминает Каткова также своим стремлением везде выискивать нигилистов и «красных». Характерна в этом отношении глава XIV романа, в которой Калломейцев рассказывает об убийстве в Белграде сербского князя Обреновича: «До чего, наконец, дойдут эти якобинцы и революционеры, если им не положат твердый предел!» Фраза: «...Калломейцев от заграничных якобинцев обратился к доморощенным нигилистам и социалистам» в черновом автографе первоначально заканчивалась словами: «...обратился к доморощенным нигилистам и интерн⟨ационалистам⟩». Частые нападки на Интернационал (по терминологии Каткова «Интернационалка») в 1871 г. были особенно характерны для Каткова и «Московских ведомостей» [62].

Катков мечтал о создании в России сильного поместного дворянства, приспособившегося к капиталистическим условиям, типа английского landed gentry [63], с которым связывал идею будущего прогресса страны. Биограф М. Н. Каткова С. Неведенский (С. Г. Щегловитов) писал по этому поводу следующее: «...Катков

---

[62] См., например, *Моск Вед*, 1871, № 205, 220, 235 и др.; ср. с письмом Тургенева к А. А. Фету от 26 сентября (8 октября) 1871 г.

[63] В письме к А. А. Фету от 30 октября (11 ноября) 1871 г. Тургенев назвал Каткова «сочинителем нашей «gentry»».

уже в середине 1858 года высказывает в одном из политических обозрений горячий панегирик строю английской государственной жизни. ⟨. . .⟩ Его заветной мечтой было положить в основание обновлявшегося строя русской жизни твердый и способный к самоуправлению класс землевладельцев, наподобие английского» [64]. Далее, комментируя высказывание Каткова о том, что главенствующую роль в земстве должно занимать крупное поместное дворянство, С. Неведенский замечает: «Ему, в сущности, хотелось вызвать к жизни крепко сплоченный союз землевладельцев наподобие английского джентри...» [65]. В романе носителем этой идеи выступает Калломейцев. В главах XXIII и XXIV описаны споры Соломина с Калломейцевым и Сипягиным о буржуазных начинаниях русского дворянства и его роли в русском обществе пореформенного периода, об английском landed gentry и возможности его создания в России. Соломин отрицает прогрессивную роль дворянства в новых социально-экономических условиях, он называет дворян «чиновниками» и «чужаками» и замечает, что «промышленные заведения — не дворянское дело», а дворяне мастера «заводить собственные кабаки да променные мелочные лавочки, да ссужать мужичков хлебом и деньгами за сто и за полтораста процентов» (с. 278—279). По поводу создания в России landed gentry Соломин замечает Калломейцеву, что «и желать-то этого не стоит», так как через двадцать — тридцать лет поместного дворянства вообще не будет, а «земля [66] будет принадлежать владельцам — без разбора происхождения» (с. 283).

Наблюдая над пореформенной Россией и размышляя о ее будущем, Тургенев пришел к выводу, что дворянство как класс уже сыграло свою роль: оно не только не способствует быстрому развитию новых, исторических прогрессивных общественно-экономических отношений, но, напротив, тормозит их. Идею будущего прогресса России Тургенев связал в «Нови» не с дворянством, а с разночинцами — «серыми, простыми, хитрыми Соломиными».

В образе либеральничающего сановника Сипягина уже некоторые современники Тургенева увидели характерные черты П. А. Валуева (см., например, приведенный выше отзыв о «Нови» С. К. Брюлловой — с. 511). М. К. Лемке, комментатор писем Тургенева к Стасюлевичу, также отметил, что в образе Сипягина «выставлены типичные черты гр. П. А. Валуева» (*Стасюлевич*, т. III, с. 93). Действительно, свойственные Валуеву стремления затушевывать принципиальные разногласия противников, умение искусно лавировать между консерваторами и либералами, пристрастие к витиеватой фразе, изящество и внушительность манер и т. д.— всё это получило яркое художественное воплощение в образе Сипягина. Достаточно в связи с этим вспомнить многочисленные речи Сипягина за столом

[64] Неведенский С. Катков и его время. СПб., 1888, с. 113, 116.

[65] Там же, с. 158. С ростом революционного движения Катков стал относиться к земским учреждениям подозрительно и даже враждебно, отрицая необходимость для них самостоятельности и требуя их подчинения правительственным органам. Ср. с высказыванием Калломейцева о земстве в главе V «Нови»: «Да всё это земство! Это земство! К чему оно? Только ослабляет администрацию и возбуждает... лишние мысли ⟨. . .⟩ и несбыточные надежды...» (с. 163).

[66] В черновом автографе — «вся земля».

и его попытки выступить в роли миротворца между Неждановым и Калломейцевым.

Исследователи Тургенева уже отмечали портретное сходство между Сипягиным и Валуевым и некоторые общие факты их служебной карьеры [67]. Отметим также, что, набрасывая в «Формулярном списке» характеристику Сипягина, Тургенев использовал некоторые существенные моменты политической биографии Валуева: неопределенную позицию, занятую им во время подготовки и проведения крестьянской реформы (ср. с. 406), а также начавшиеся в бытность Валуева министром государственных имуществ расхищения башкирских земель в Оренбургской и Уфимской губерниях [68] (ср. фразу в «Формулярном списке»: «до „*калмыцких*" денег, однако, не доходило» — там же).

В процессе создания романа задуманные писателем образы изменялись и углублялись. Поэтому прототипы, намеченные Тургеневым в 1870—1872 гг., т. е. в начальный период работы над романом, нельзя считать единственно возможными реальными прототипами действующих лиц «Нови». Так, например, на изображение Марианны и Машуриной, как уже отмечалось выше, не могли не повлиять рассказы П. Л. Лаврова о замечательных русских девушках «цюрихской колонии». «Читая в свое время этот роман,— вспоминала В. Фигнер,— я поражалась верностью типов, выведенных в нем ⟨. . .⟩ Машурина — вылитый портрет Веры Любатович, которую мы прозвали „Волчонком" за ее резкость, а Марианна очень напоминала мою сестру Лидию» (*Фигнер*, т. V, с. 62). «$^9/_{10}$ наших заговорщиц — Марианны»,— писала другая замечательная современница Тургенева, С. К. Брюллова [69].

А. Ф. Онегин (Отто) послужил основным прототипом образа Нежданова [70]. Однако Нежданов напоминает А. Ф. Онегина более нравственно-психологическим обликом и фактами биографии [71], нежели политическими воззрениями. Скептицизм и уныние, разочарование в своем деле — эти черты Нежданова во многом были обусловлены конкретной исторической действительностью, когда после

---

[67] См.: Бонецкий К. И. Роман Тургенева «Новь» в идейной борьбе 70-х годов.— В кн.: Тургенев И. С. Новь. М., 1959, с. 301.

[68] См.: Дневник П. А. Валуева. М.: АН СССР, 1961, Т. 2, с. 353—354 и 520. примеч. 439.

[69] *Лит Насл*, т. 76, с. 306.

[70] См.: Чистова И. О прототипе главного героя романа И. С. Тургенева «Новь». (Из творческой истории романа).— Русская литература, 1964, № 4, с. 174—177.

[71] В. А. Громов, сославшись на воспоминания Н. А. Островской о Тургеневе, высказал предположение, что в образе Нежданова писатель отразил некоторые факты биографии и черты своего приятеля А. В. Топорова, который был незаконным сыном великого князя (см.: Громов В. А. «Воспоминания о Тургеневе» Н. А. Островской.— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 208—209). Среди литературных прообразов Нежданова следует назвать прежде всего Гамлета, героя одноименной трагедии В. Шекспира. Подробнее об этом см.: Буданова Н. Ф. Роман «Новь» в свете тургеневской концепции Гамлета и Дон-Кихота.— Русская литература, 1969, № 2, с. 180—190.

неудач «хождения в народ» в 1873—1874 годах частью русской интеллигенции овладели настроения разочарования и апатии [72]. Известны случаи самоубийств народников в этот период. Так, например, Иван Речицкий застрелился в Самаре во время ареста в 1874 г. [73] Не случайно поэтому, что многие современники (в том числе и народники) признавали образ Нежданова жизненным и правдивым. Так, например, одна из «семидесятниц», Е. Н. Щепкина, писала о большой художественной правде образа Нежданова: «...между тем, принадлежа к первому поколению читателей романа, молодой курсисткой, я дивилась, как мог Тургенев за границей так хорошо подслушать мои беседы и споры с моим другом детства и юности, Валерианом Балмашевым (отец Степана, убийцы министра Сипягина), до такой степени сомнения, неуверенность в себе Нежданова, шаткость на том пути, на который он вступил, были словно списаны с моего друга народника; то же отчаяние, душевная приниженность до отвращения к себе, вызываемая опьянениями от неизбежных посещений кабаков ради сближения с народной аудиторией. Но Балмашев своевременно подвергся аресту, просидел месяцев 10 в остроге и вышел из этой тяжкой школы на волю убежденным революционером, как многие его сверстники и современники. То же самое должен был испытать и Нежданов, но мог ли Тургенев в условиях цензуры описать деяния полиции и переживания политиков в тюрьмах?» [74]

А. В. Луначарский, позднее высоко оценивший «Новь», заметил: «Такие типы, как Нежданов, встречались на каждом шагу...» [75]

Образ Соломина в романе до сих пор вызывает споры и порождает самые разнообразные толкования [76]. Это в значительной мере вызвано тем, что в подготовительных материалах к «Нови» Тургенев не назвал ни одного реального прототипа Соломина [77].

---

[72] Об этом писала, в частности, В. Фигнер (*Фигнер*, т. I, с. 96); см. также статью: Чернавина А. И. С. Тургенев и журнал «Вперед!» К вопросу об истории создания романа «Новь».— Сборник студенческих научных работ ЛГУ. Серия гуманитарных наук. Л., 1963, с. 49—52.

[73] См.: Дебогорий-Мокриевич Вл. Воспоминания. 3-е изд. СПб., б. г., с. 159.

[74] Щепкина Е. Героиня романа «Накануне» в кругу своих современниц.— *Т сб*, вып. 2, с. 148.

[75] Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957, с. 210.

[76] Соломина относят и к представителям зарождавшейся в России буржуазии, и к рабочей интеллигенции, и к буржуазным просветителям, и к народникам лавровского направления — см.: Буш В. Народничество и «Новь» Тургенева.— В кн.: И. С. Тургенев. Л., 1934, с. 261—263; Макогоненко Г. П. Политический смысл романа Тургенева «Новь».— Уч. зап. Ленингр. ун-та, 1939, № 47, вып. 4, с. 264; Румянцева Э. М. Из творческой истории романа И. С. Тургенева «Новь».— Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1957, т. 150, вып. 2, с. 158—159; Батюто А. И. Роман «Новь» и «процесс пятидесяти».— *Т сб*, вып. 2, с. 203—204.

[77] Некоторые современники Тургенева делали попытки отыскать возможных реальных прототипов Соломина. Так, например, «Случайный летописец» (подлинную его фамилию раскрыть не удалось) в статье «Как работал И. С. Тургенев» вспоминал «одного рус-

Закономерен вопрос: имел ли образ Соломина какую-либо реальную почву в русской действительности конца 1860—1870-х годов? Откуда Тургенев мог черпать наблюдения, создавая своего «постепеновца снизу»?

Проблемы революционного и эволюционного путей преобразования России были в центре внимания русской интеллигенции 1860—1870-х годов, оппозиционно настроенной к политике русского самодержавия и не удовлетворенной крестьянской реформой. Среди людей, искренне веривших в возможность «легального переворота»[78] во имя народа и при помощи народа, было немало честных, демократически настроенных и преданных народу русских интеллигентов.

П. Л. Лавров вел на страницах журнала «Вперед!» борьбу за этих людей, стремясь привлечь их на сторону революции и считая их «заблуждающимися». Обоснованию невозможности в России «легального переворота» и необходимости революционного пути для коренного преобразования России посвящены опубликованные в этом издании статьи «Потерянные силы революции (Письмо к несогласному)» [79] и «Неизбежная вражда (Переписка двух приятелей)» [80]. В обеих статьях представлен спор революционера и «легалиста». «Легалист» считает, что народная революция — «дело не нашего поколения», что нужно «подготовлять в народе самосознание, вырастить в нем самодеятельность, воспользоваться существующими порядками, существующими легальными формами, чтобы вырастить то поколение, которое, сознав свои силы, привыкнув к деятельности в узкой сфере, развернет эти силы и в сфере более широкой...» [81] Основными орудиями, необходимыми для перевоспитания народа, по мнению «легалиста», являются артель и школа [82].

Связь идей «легалиста» с программой «общественного служения», изложенной Тургеневым в письмах к А. П. Философовой (см. выше,

---

ского уроженца, бывшего когда-то в Америке с Фреем», принадлежавшего «к числу предвестников „толстовства“, к сторонникам земледельческого труда и личного самоусовершенствования. Тургенев очень ценил и уважал „американца“». По словам «Случайного летописца», у Соломина «в общих очертаниях ⟨. . .⟩ есть сходство с „русским американцем“» (Новое время, 1903, № 9866, 23 августа). Речь здесь идет, очевидно, о Н. В. Чайковском (1850—1926), основателе народнического пропагандистского кружка, носившего его имя, впоследствии отошедшем от революционного движения. Однако это сопоставление едва ли имеет реальные основания, так как знакомство Тургенева с Н. В. Чайковским произошло не ранее 1879 г. (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 87).

[78] Терминология журнала «Вперед!»

[79] Вперед! Цюрих, 1874. Т. 2, с. 224—249.

[80] Вперед! Лондон, 1874. Т. 3, с. 1—44.

[81] Вперед! Цюрих, 1874. Т. 2, с. 224—225.

[82] Ср. с характеристикой, данной Соломину народником-лавристом М. И. Янциным, отметившим, что Тургенев выдвинул в качестве своего идеала «тип интеллигентного человека из народа, который смотрит на дело так, что переворот в социально-экономических отношениях должен быть результатом предварительного воспитания народа путем школ, артелей и т. д. Тургенев почти нигде не заставляет Соломина ⟨. . .⟩ высказываться прямо в этом смысле, но это проглядывает из отношения Соломина к деятельности революционеров-агитаторов» (*Лит Насл*, т. 76, с. 322).

с. 487), и с деятельностью Соломина, организовавшего на фабрике у Фалеева больницу, школу, а позднее в Перми завод на общественных началах,— несомненна.

Соломин, в понимании Тургенева,— не обычный буржуазный «постепеновец», рассчитывающий на реформы «сверху», а «постепеновец снизу», народный деятель и просветитель. Подобными же «постепеновцами снизу» были и те «легалисты», искренне преданные народу, которые верили в возможность «легального переворота» во имя народа и при помощи народа[83].

Поддержанию иллюзии плодотворных результатов, якобы достигаемых легальным путем, способствовали опыты немецкого буржуазного деятеля Б. Шульце-Делича в деле создания кооперативных товариществ и ссудо-сберегательных касс [84], а в России — деятельность Н. В. Верещагина (1839—1907), организатора артельных сыроварен и школы молочного хозяйства (1868 г.) в Тверской губернии, имевших положительные результаты.

Народник Вл. Дебогорий-Мокриевич вспоминает, что идеей верещагинской сыроварни был увлечен его брат Иван, который решил у себя в деревне устроить «маслобойню на ассоциационных началах». Задавшись целью «работать в деревне среди крестьян, для поднятия их благосостояния, Иван находил нужным для успеха дела прежде всего завести у себя в Луке образцовое хозяйство, которое практически знакомило бы крестьян с рациональным возделыванием земли...»[85] Попытки Ивана организовать маслобойню и образцовое хозяйство успеха не имели и были встречены крестьянами равнодушно [86]. Вл. Дебогорий-Мокриевич, описывая жизнь киевской молодежи 1871—1873 годов, отметил, что эти годы характеризовались «борьбой революционного мировоззрения с другими мирными взглядами» [87].

---

[83] Об идейной близости Соломина к «легалистам» см.: Буданова Н. Ф. Тургенев и Лавров в 70-е годы (Непериодическое обозрение «Вперед!» как источник «Нови»).— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 88—109. Возможно, что Лавров также воспринял Соломина как своеобразного «легалиста». С учетом материалов «Вперед!» проясняется смысл определения «уравновешенный революционер», данного Соломину Лавровым, а также замечание последнего, что «не Маркеловым, Неждановым и Машуриным дано поднять русское крестьянство на восстание» и что люди, подобные Соломину, «могут подготовить почву, но и им не под силу разбудить крестьян». Успех будущей революции Лавров связывал с типом революционера, «более оснащенного и деятельного», «более способного придать стремительности движению» (*Лит Насл*, т. 76, с. 202, 203).

[84] О нем см.: Муратов А. Б. «Гейдельбергские арабески» в «Дыме».— *Лит Насл*, т. 76, с. 90, 104; см. также: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. VII, с. 13—14.

[85] Дебогорий-Мокриевич Вл. Воспоминания. 3-е изд. СПб., б. г., с. 44.

[86] Там же, с. 66.

[87] Там же, с. 71. В 1860-е годы одним из первых застрельщиков в деле организации ассоциаций были ишутинцы, использовавшие их в целях пропаганды социалистических идей (подробнее об этом см.: Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М.: Наука, 1965, с. 256—301).

Увлечение части интеллигенции легальными формами борьбы, в частности организацией школ, больниц, ассоциаций, артелей, получило отклик в художественной литературе [88]. Позднее многие «легалисты» разочаровались в этой форме борьбы, придя к выводу о ничтожности достигнутых результатов.

В Соломине, этом «постепеновце снизу», нашли отражение идеи буржуазно-демократического просветительства и либерального народничества. Вероятно, Тургенев не встречал тип Соломина «в чистом виде», однако в основе этого образа лежали жизненные наблюдения. Об этом свидетельствует прежде всего запись «Якушкина!» в черновых заметках к роману (с. 422). Елизавета Мардарьевна Якушкина [89], соседка Тургенева (ее имение Старухино находилось в семи верстах от Спасского), занималась просветительской деятельностью среди крестьян и пользовалась большим уважением писателя [90].

С записью «Якушкина!» очевидно связана и другая запись в «Заметках», поясняющая и углубляющая первую: «когда не Павлы будут готовы, а Дутики» (с. 421). По мысли Тургенева, русский народ в своей массе (не сознательные Павлы, а темные, невежественные Дутики) не созрел для революционной пропаганды, и потребуется длительное время для его воспитания и просвещения.

О характере общественной деятельности Е. М. Якушкиной (1836—1893), незаурядная личность которой приобретает особенный интерес в связи с творческой историей романа «Новь», дает отчетливое представление посвященная ей статья Е. Ардова-Апрелевой «Одна из немногих» [91]. Якушкина безвыездно жила в своем имении Старухино, «отдавая свое время, свои средства, все свои помыслы старухинским крестьянам, которые были некогда в крепостной зависимости у ее богатого властного отца»[92]. Якушкина открыла в Старухине народную школу, организовала для крестьян ссудо-сберегательное товарищество, устраивала для народа еженедельные образовательные чтения, сдавала крестьянам в аренду землю по самой низкой цене. Все эти новшества встречали сопротивление местных властей и соседей-помещиков, среди которых она пользовалась репутацией «заразы уезда» и «дамы вредной» [93].

---

[88] См., например, произведения Д. Л. Мордовцева «Знамения времени» (1869), И. В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом» (1870), К. Долгово «На новом пути» (Дело, 1871), С. И. Смирновой «Соль земли» (*Отеч Зап*, 1872), К. М. Станюковича «Без исхода» (1873). См. также: Егоров Б. Ф. Роман 1860-х — начала 1870-х годов о «новых людях». Тарту, 1963.

[89] О ее муже, В. И. Якушкине, враче, связанном с революционными и демократическими кругами, см.: Чернов Н. Об одном знакомстве И. С. Тургенева.— Вопросы литературы, 1961, № 8, с. 188—193.

[90] В 1877 г. Тургенев рекомендовал Е. И. Бларамберг, гостившей в Спасском, непременно познакомиться с Якушкиной (см. письмо к Е. И. Бларамберг от 15 (27) августа 1877 г.).

[91] *Рус Вед*, 1908, № 38 и 45, 15 и 23 февраля. О ней см. также некролог Л. Л. Толстого (*Рус Вед*, 1893, № 69, 12 марта, с. 3) и в воспоминаниях Е. М. Гаршина (*ИВ*, 1883, № 11, с. 394—396).

[92] *Рус Вед*, 1908, № 45, 23 февраля, с. 3.

[93] Там же, № 38, 15 февраля, с. 2.

Пример деятельности Якушкиной убедительно показывает, что даже легальная просветительная работа в народе преследовалась местными властями, в глазах которых просветители, подобные Якушкиной, стремившиеся вывести народ из невежества и темноты, были опасными и вредными людьми. Этот факт бросает свет и на образ Соломина: становится понятным, почему казалось бы мирный путь, избранный Соломиным, также чреват опасностями (см., например, диалог Марианны и Соломина в главе XXX романа).

Идеи просветительства не были чужды в 1870-х годах и народнической среде, которая не была однородна по своему составу. Наряду с «бунтарями» (бакунинско-ткачевское направление) и пропагандистами-лавристами здесь встречались люди, ограничивавшиеся легальной, просветительской работой среди народа. Об этом свидетельствуют материалы «Процесса 50-ти». Так, например, во время следствия у народника Цвиленева было найдено письмо, неизвестный автор которого, очевидно близкий народническим кругам, предлагал народникам ограничиться «внимательным изучением массы и отдельных единиц ее, прививать отдельным единицам сознание и критику, но ни в каком случае не тенденциозную и поджигательную, и вносить в массу элементы человеческой культуры и затем всё предоставить переработке самого народа и истории» [94]. Программа, намеченная в этом письме, близка к программе «легалиста» в упоминавшихся выше статьях журнала «Вперед!» Интересно, что это письмо было переслано Тургеневу неизвестным лицом «с пометой, что оно должно принадлежать Соломину» [95].

VI

Полемика вокруг последнего романа Тургенева началась еще до его появления в печати. Летом 1876 г. у Тургенева в Спасском побывал А. В. Половцов. Результатом этого визита, во время которого состоялась беседа о «Нови», явился фельетон «У Ивана Сергеевича Тургенева», напечатанный в газете «С.-Петербургские ведомости» (1876, 29 июля (10 августа), № 207). Находясь под свежим впечатлением общения с писателем, Половцов отмечал, что Тургенев в «Нови» «относится к различным явлениям русской общественной жизни с тем же ясным и оригинальным критическим взглядом, который его всегда отличал» [96]. Благожелательное отношение Половцова к Тургеневу и его роману тотчас вызвало возражение со стороны демократической критики. Полемическим ответом на его фельетон была статья Н. К. Михайловского «Вперемежку», подписанная псевдонимом Г. Темкин, в которой говорилось, что Тургенев «*не тот* „большой человек“ ⟨. . .⟩ который должен рассказать нашу историю, воспеть наши горести и радости...» (*Отеч Зап*, 1876, № 8, отд. II, с. 220). При этом Михайловский прозрачно намекнул на то, что одно из основных определений творчества Тургенева,

---

[94] Батюто А. И. Роман «Новь» и «процесс пятидесяти».— *Т сб*, вып. 2, с. 205.

[95] Тургенев, в свою очередь, переслал это письмо В. Рольстону 7(19) апреля 1877 г., очевидно, как доказательство, что Соломины существовали в жизни и не выдуманы им.

[96] См.: Мостовская Н. Из журнальной полемики вокруг «Нови» до публикации романа. (Забытые воспоминания А. В. Половцова).— *Т сб*, вып. 2, с. 188.

данное в известной статье Добролюбова, явно устарело и уже не может быть использовано при оценке «Нови». «Когда-то было сказано,— продолжал Михайловский,— что г. Тургенев — человек „чуткий“, что всякое нарождающееся явление он немедленно схватывает и облекает в художественные образы. Было это сказано очень верно в свое время» (там же, с. 220). Отказывая Тургеневу в праве называться передовым писателем, Михайловский по существу дела осудил «Новь» еще до ознакомления с нею.

В защиту Тургенева от нападок Михайловского выступил С. А. Венгеров в статье «Письма о текущей литературе. Корифеи». Возражая против главного обвинения Михайловского, Венгеров писал: «...относительно Тургенева можно сказать, что его ни в коем случае не следует считать в окончательной отставке» (Новое время, 1876, № 254, 11 (23) ноября. Подписано псевдонимом «Фауст Щигровского уезда»). В следующем же номере газеты «Новое время», в принадлежавших перу В. П. Буренина «Литературных очерках», отмечалось также, что публика с нетерпением ждет от Тургенева нового романа и новых художественных типов.

К концу 1876 г. с «Новью» познакомились П. В. Анненков, вся редакция «Вестника Европы» и видные деятели либерального направления — К. Д. Кавелин и А. В. Головнин. У них отношение к роману было подчеркнуто положительным. Так, например, Анненков писал М. М. Стасюлевичу 17 (29) ноября 1876 г.: «...я давно не испытывал такого чувства, как при чтении этой „Нови“. Не говоря уже о жгучем ее интересе, о широкой картине нравов, которую она развертывает, о бесконечном мастерстве, с каким автор подходит к каждому лицу романа, но при чтении „Нови“ почти на всякой странице как будто загораются слова: быть большому трусу, потопу и колебанию в русской земле. Да, публика наша почти позабыла те времена, когда иной роман составлял для нее событие,— заставлял всех говорить только о себе, ругаться и божиться собой: „Нови“ суждено возвратить эти времена» (*Стасюлевич*, т 3, с. 334—335). Меньше чем через месяц, считаясь с возможностью неблагоприятной реакции на «Новь» «в кабинетах и подвалах литературных», Анненков писал Стасюлевичу: «Пожалуй, там сможет показаться роман и диффамацией целого поколения, между тем как он, по-моему, есть поэтическая и драматическая защита его ⟨. . .⟩ с мужественной откровенностью, не утаивающей никаких темных или сомнительных сторон дела. Это и есть художнический способ заявлять свое уважение к поколению, но надо понять это, что еще вопрос...» (там же, с. 336). 5(17) января 1877 г., «перечитав первую часть романа», Анненков признавался Стасюлевичу, что «мало хвалил его перед автором». «Мне открылась в нем,— продолжал Анненков с энтузиазмом,— вполне лучезарная фигура Марианны ⟨. . .⟩ Не совсем осиротела та земля, из которой поэт может извлекать такие типы. А вот подите — пожалуй, даже и после создания Марианны и Соломина станут упрекать еще Тургенева в неблагорасположении к молодому поколению и в непонимании его» (там же, с. 337).

Как видно из переписки Тургенева, редакционным кружком «Вестника Европы», а также Кавелиным и Головниным с особенным удовлетворением был воспринят образ Соломина и, в частности, его критическое отношение к «безумным» устремлениям революционно-народнической молодежи. «Очень Вы меня порадовали тем, что сказали о „Соломине“,— писал Тургенев Стасюлевичу 24 ноября (6 декабря) 1876 г.— Значит, я попал в точку. Я Вам когда-нибудь по-

кажу формулярный список этого Соломина ⟨. . .⟩ главным эпитетом, характеризующим Соломина, выставлено наверху большими буквами слово: *трезвый*. Вот как Вы угадали!» А 17 (29) декабря 1876 г. Тургенев писал Кавелину: «Что Соломин мне удался — вот что меня радует больше всего. Это было самое трудное». Как видно из того же письма Тургенева, Кавелину, как и большинству критиков «Нови», показались лишними вставные эпизоды с Фимушкой и Фомушкой. Отвечая на это замечание Кавелина, Тургенев признавался: «Я просто не устоял перед желанием нарисовать старорусскую картинку в виде d'un repoussoir ⟨контраста⟩ или оазиса, как хотите» (там же).

С выходом в свет январской книжки «Вестника Европы» за 1877 г. обсуждение романа вступило в новую фазу и приобрело исключительно бурный характер. «Новь» была встречена целым потоком критических статей и заметок прежде всего в газетах. Достаточно сказать, что только 6(18) января 1877 г. критические разборы «Нови» появились одновременно в «Голосе», «Новом времени» и «С.-Петербургских ведомостях». В дальнейшем нередки были случаи, когда одна и та же газета возвращалась к обсуждению романа по нескольку раз.

Среди значительной части русского общества 1870-х годов Тургенев имел репутацию писателя, давно утратившего былые прочные связи с русской жизнью, не способного уловить новые веяния в ней и потому вынужденного повторять самого себя. Некоторые особенности романа «Новь» и, в частности, характер Нежданова, напоминавший излюбленный Тургеневым тип рефлектирующего «лишнего человека» эпохи 1840-х годов, как будто подтверждали эту точку зрения на его творчество. С другой стороны, подавляющее большинство критиков Тургенева, располагавшее к моменту выхода в свет романа еще весьма смутными представлениями о народничестве, оказалось не в состоянии дать ему подлинно объективную оценку. К этому следует добавить, что у многих представителей как демократического, так и либерального лагеря были давние расхождения с писателем в связи с романами «Отцы и дети» и «Дым». Критическое отношение Тургенева к крайним «правым» и «левым» течениям общественно-политической мысли, выразившееся в этих романах, характерно и для «Нови». Все эти обстоятельства предопределили преимущественно негативный характер первых откликов на роман Тургенева в периодической печати.

Наиболее резкими были отзывы о «Нови» в газете А. А. Краевского «Голос». Первый из них принадлежал музыкальному критику Г. А. Ларошу [97]. Развязно утверждая, что «Новь» это лишь «почтенные зады передового когда-то учителя, повторяемые с примесью какой-то старческой, порою несколько утомляющей болтливости», Ларош недвусмысленно отдавал предпочтение произведениям о революционном движении, созданным Крестовским, Достоевским, Лесковым и другими представителями антинигилистического направления в литературе. «Подпольные герои „Нови“,— писал Ларош,— не возбуждают к себе никакого художественного сочувствия ⟨. . .⟩ ни на йоту не прибавляют к запасу понятий об особенностях этого

---

[97] Авторство Г. А. Лароша установлено в статье Г. В. Степановой «Первые отклики печати на роман „Новь“».— *Т сб*, вып. 2, с. 192—194.

мира, полученных нами из предшествовавших его роману произведений других беллетристов» (Голос, 1877, № 6, 6(18) января). Особенное негодование Лароша вызвали сатирические портреты Калломейцева и Сипягина, которые были охарактеризованы им как «сомнительного вкуса шарж», увлекший Тургенева «за пределы всякой художественной и даже обыкновенной правды».

Вслед за Ларошем под псевдонимом «Волна» выступил на страницах «Голоса» беллетрист «Русского вестника» Б. М. Маркевич, издевательски назвавший «Новь» «огромным романом», наполненным «всякими современными повивальными бабками и тупицами из кадетов». В новом романе Тургенева он усматривал стремление автора к дешевой популярности и не без злорадства утверждал, что «Тургенев сослужил России *всю* службу, какую он мог сослужить ей. Почтим его за это душевною благодарностью, а из русских *пророков* он еще с „Дыма" вышел» (там же, № 9, 9(21) января). После появления в печати второй половины романа Маркевич в том же «Голосе» обвинял Тургенева в «беспощадности к матушке Руси православной», что, по его мнению, сказалось в рассуждениях Паклина, а еще раньше — в речах Потугина. Процитировав из заключительной главы романа высказывания Паклина о неурядицах русской действительности, Маркевич напоминал демагогически: «Помните, что говорит про родину свою Потугин в „Дыме"?

„— Я ее страстно люблю — и страстно ненавижу!.." У Паклина — Потугина „Нови" ⟨. . .⟩ осталась уже, как кажется, только вторая часть этой profession de foi...» (там же, № 36, 5(17) февраля).

Аналогичным образом была встречена «Новь» в реакционном издании кн. В. П. Мещерского — журнале-газете «Гражданин». Предвосхищая злопыхательские суждения о «Нови» в катковском «Русском вестнике», В. Оль, автор первой статьи о романе в журнале «Гражданин», писал, что изображаемые Тургеневым нигилисты «уже порядочно надоели»; что «в свое время они сыграли свою посильную роль, но теперь окончательно вышли из моды» («Новые главы „Анны Карениной" и первая часть „Нови"».— Гражданин, 1877, 30 января (11 февраля), № 4). Подвергая критике тургеневские приемы изображения народнической молодежи и ее антагонистов, Сипягина и Калломейцева, автор этой статьи писал: «Краски, которыми автор очерчивает людей двух направлений, далеко не равны по своей силе. На деятелей смотрится со стороны положительной, хотя и признаются некоторые их слабости, а на консерваторов исключительно со стороны отрицательной. Мы невольно удивляемся, как ⟨. . .⟩ Тургенев мог остановиться на подобном приеме, уже давно практикуемом нашими *тенденциозными* романистами».

В «Дневнике» князя В. П. Мещерского вторая часть романа была охарактеризована еще резче — как «гадость» и «мерзость», а сам Тургенев представлен человеком, лишенным чувства патриотизма. Так, например, имея в виду неждановское стихотворение «Сон», Мещерский отмечал: «...Написал оное сам Тургенев. Это его мысль по возвращении из России домой в Баден ⟨. . .⟩ И оттого-то так омерзительно это стихотворение ⟨. . .⟩ Для Тургенева русского это отвратительно. Для Тургенева Бадена и Парижа — это понятно» (Гражданин, 1877, № 5, 7(19) февраля, с. 142, 143).

В изданиях либеральной окраски суждения о «Нови» отличались большей сдержанностью лишь по форме. В. П. Буренин, выступивший в газете «Новое время» со статьей «Новый роман И. С. Тургенева» (подписана псевдонимом Тор), находил, что роман

«в первой его части далеко не представляет свежести, силы и художественной определенности прежних крупнейших произведений знаменитого беллетриста ⟨. . .⟩ в новом произведении г. Тургенев с большим старанием и искусством подражает самому себе» (Новое время, 1877, № 308, 6(18) января). Не отрицая отдельных удач романиста, к которым относил изображение Сипягина и Марианны, Буренин вместе с тем отмечал, что главная фигура, Соломин, «не вытанцевалась у г. Тургенева и в ней очень мало жизненных черт». Следующая статья Буренина — Тора, посвященная второй части романа, была снабжена многозначительным эпиграфом из Лермонтова: «Я кончил — и в душе невольное сомненье». Здесь Буренин писал: «...роман знаменитого писателя представляет собою частью настоящую художественную правду, а частью ловкую подделку» (Новое время, 1877, № 337, 4(16) февраля. «Литературные очерки. „Новь" И. С. Тургенева», с. 1).

Газета «Русское обозрение» восприняла «Новь» как не имеющий никакого общественного значения и к тому же запоздалый отклик на нечаевское дело. Явления вроде нечаевщины,— отмечал М. Л. Песковский в статье «Ложные идеи, ходульные герои и типы русской жизни»,— «до того мелки, ничтожны, просто глупы, что невозможно даже придавать им политический характер, невозможно считать их общественными явлениями в обширном смысле». Поведение тургеневских героев определялось в этой статье как «детская игра в революцию» (*Рус Обозр*, 1877, № 2, 8(20) января, с. 14, 16).

Отрицательные оценки романа, высказанные в момент появления его первой части, как правило, приобретали еще более суровый оттенок после ознакомления с романом в целом. Так, В. В. Марков, критик газеты «С.-Петербургские ведомости», в статье «Новый роман И. С. Тургенева» сначала весьма осторожно упрекал Тургенева лишь в связи с образом Нежданова, квалифицируя этот последний как «новое воспроизведение русско-гамлетовского типа», едва ли уместное в изменившихся общественно-политических условиях (*СПб Вед*, 1877, № 6, 6(18) января). Спустя месяц тот же Марков писал: «В художественном отношении роман — решительно слаб и бледен; почти всё отзывается в нем деланностью, искусственностью ⟨. . .⟩ недостатки формы не искупаются в нем интересом или новизною идеи, положенной в его основание» (там же, № 34, 3(15) февраля). «Общий вывод о последнем романе Тургенева», предложенный читателям в третьей статье Маркова, был уже безоговорочно отрицательным. «Тургенев сказал свое слово, но в нем нет озарения, какого многие ожидали,— отмечал критик.— ⟨. . .⟩ Тургенев обманул общие ожидания, как художник, так как в романе его нет ни богатства поэтических красок, ни рельефности и правды характеров, ни даже увлекательного, живого рассказа...» Возвращаясь к характеристике Нежданова, Марков уже без всяких оговорок расценивал изображение этого героя как «новую вариацию устарелого типа сороковых годов», как «самоподражание», которое «вышло неудачным, да и слишком несвоевременным». Столь же категоричными и суровыми были суждения критика о других главных героях романа. Анализируя образ Соломина, критик утверждал, что это «лицо еще более придуманное и деланное, нежели ⟨. . .⟩ личность Марианны ⟨. . .⟩ Этот мнимый представитель новой России,— продолжал Марков,— лишен плоти и крови и неуловим для нас как призрак, как тень». В заключение своего отзыва Марков писал о Тургеневе: «Художественные его силы, по-видимому, упали; на-

блюдения его над русским обществом оказываются или поверхностными, или запоздалыми» (там же, № 43, 12(24) февраля).

Не менее отрицательным было отношение к роману в журнале «Пчела», где творческая неудача, якобы постигшая Тургенева, объяснялась его долгим пребыванием за границей, лишившим писателя возможности непосредственного и глубокого изучения русской действительности. В заключительной части «Журнальных заметок» о «Нови» (автор — В. Чуйко) об этом говорилось прямо: «Вся „Новь“, выступающая в романе, очевидно, не была наблюдаема, или круг наблюдений был до крайности сужен: до такой степени фигуры этих молодых людей бледны, не типичны, фальшивы не только в концепции, но и в выполнении; язык, которым они говорят, не их язык; обстановка, в которой они живут, не их обстановка; характеры не поняты, искажены» (Пчела, 1877, № 5, 30 января (11 февраля), с. 74).

В газете «Русский мир», поместившей статью о романе лишь после выхода в свет второй его части, «Новь» пренебрежительно называлась «длинным фельетоном», свидетельствующим о полном отказе Тургенева от художественного творчества. Осуждая буквально всех героев романа, анонимный автор «Русского мира» с особой неприязнью отнесся к попытке Тургенева нарисовать в лице Соломина образ положительного общественного деятеля. Видя в Соломине тип преуспевающего самодовольного буржуа, «попросту говоря, кулака и маклака», неизвестно по какой причине «сочувствующего хождению в народ», критик вопрошал: «Ликовать ли нам, что нашим детям предстоит попасть в загребистые лапы Соломиных? ⟨. . .⟩ если бы действительно русская жизнь подготовляла в будущем господство Соломиных, тогда... тогда лучше в Камчатку уйти!» (*Рус Мир*, 1877, № 35, 6(18) февраля. Подписано буквой W).

В потоке отрицательных суждений о «Нови» лишь изредка мелькали отдельные положительные отзывы. Так, в художественно-юмористическом журнале «Стрекоза» анонимный автор фельетона «Всякие злобы дня» [98], отвергая критику «Голоса», расценивал «Новь» как «еще один роскошный подарок» Тургенева русской литературе. В том же номере «Стрекозы», явно с полемической целью, был напечатан отрывок о Фимушке и Фомушке, сопровождавшийся следующим редакционным примечанием: «Мы позволяем себе заимствовать эту бесподобную главу из читаемой в настоящее время всею Россией „Нови“. В ней — чудесная тургеневская теплота идет рука об руку с чисто гоголевским комизмом» (Стрекоза, 1877, № 3, 16(28) января, с. 2—3).

Более интересным и глубоким был положительный отзыв о «Нови» в органе народнической окраски, газете «Неделя», отметившей в статье «Письма провинциального читателя», что роман проникнут «теплой, отеческой любовью к молодому поколению». Критик «Недели» указывал на «поистине трагическое положение» Нежданова и восхищался образом Марианны. «В идеальном сонме тургеневских женских типов,— писал он,— она займет ⟨. . .⟩, может быть, самое видное место ⟨. . .⟩ Марианна — это та же Елена ⟨. . .⟩ которая нашла своего Инсарова в России». Вместе с тем, касаясь пока еще неясного вопроса об отношении к роману со стороны широких кругов демократически настроенной молодежи, критик писал:

---

[98] По всей вероятности, И. Ф. Василевский.— См. об этом: *Т сб*, вып. 2, с. 194—195.

«Но если на кого произведет сильное впечатление новый роман г. Тургенева, так это именно на ту самую „Новь“, которую он воспроизводит,— и впечатление это будет благотворное, отрезвляющее, но не убивающее ничего хорошего, и вместе с тем впечатление тяжелое, грустное и томительное ⟨. . .⟩ Потому что новый роман Тургенева, по-видимому, обманет общее ожидание видеть в нем прямой ответ на вопрос „Что же делать?“ в образе „положительного героя“. Ни Соломин, сам выжидающий и высматривающий, ни тем более Нежданов — не годятся в такие герои» (Неделя, 1877, № 3, 16(28) января, с. 108—110).

Оба отзыва являлись первой попыткой изменить общественное мнение в пользу Тургенева, но они не достигли своей цели, и брань, по выражению одного из современников, вновь «посыпалась crescendo».

Тургенев с самого начала не возлагал надежд на критику в «толстых» журналах. Действительность вскоре оправдала его мрачные предчувствия. Критические статьи о романе, появившиеся почти одновременно в катковском «Русском вестнике» и в журналах демократического направления — «Отечественных записках» и «Деле», оказались в равной мере, хотя и в разных отношениях, неблагоприятными для писателя. Реакционный критик «Русского вестника» В. Г. Авсеенко писал в статье «„Новь“ И. С. Тургенева»: «Это опять роман о нигилизме. Ни современнее, ни важнее нигилизма г. Тургенев, очевидно, ничего не знает в русской жизни ⟨. . .⟩ Из бурного потока, готовившегося затопить Русь, нигилизм давно уже превратился в мутный ручей, пробирающийся где-то в стороне от главного течения жизни; а г. Тургеневу, очевидно, до сих пор он представляется большим руслом, центром, в который замкнулась русская жизнь и от которого зависит ее дальнейшее направление» (*Рус Вестн*, 1877, № 2, с. 909, 908). Напоминая о неудачной демонстрации студентов на Казанской площади в Петербурге, почти совпавшей с появлением в свет тургеневского романа, Авсеенко отмечал не без злорадства, что в данном случае судьбе «угодно было ядовито подшутить над маститым романистом ⟨. . .⟩ лягушка, хвалившаяся раздуться с вола, давно уже лопнула, а г. Тургенев из своего прекрасного далека всё еще ждет, когда она сделается волом и запряжется в ⟨. . .⟩ „глубоко забирающий плуг“» (там же, с. 910).

Написанная с позиций, непримиримо враждебных освободительному движению, статья Авсеенко изобиловала выпадами против Тургенева в связи с серьезной постановкой в его романе проблемы народничества и разоблачением представителей охранительного лагеря. Подобно критикам из «Голоса», «Гражданина» и «Русского мира», Авсеенко обвинял Тургенева за «фельетонно-памфлетный характер» «Нови», который, по его словам, делал этот роман, как и «Дым», произведением, «чуждым условиям и задачам художественного создания» (там же, с. 941).

Демократические журналы обвиняли Тургенева в поверхностном отношении к избранной теме. По мнению Н. К. Михайловского, автора статьи о «Нови» в «Отечественных записках», это отношение граничило с легкомыслием и даже недобросовестностью. Отмечая всеобщий интерес к народническому движению, Михайловский писал: «Политические процессы следуют один за другим ⟨. . .⟩ Все хотят знать, в чем же дело? Где причины этих революционных попыток? ⟨. . .⟩ ищут корня дела, его общественных причин ⟨. . .⟩ Естественно было бы ждать чего-нибудь подобного и от романа г. Турге-

нева. К сожалению, это не вошло в его задачу ⟨. . .⟩ вследствие этого его роман в значительной степени утрачивает свой raison d'être» («Записки профана».— *Отеч Зап*, 1877, № 2, с. 316—317). Маркелова, уверял критик, «толкнули на дорогу революции» только «личные неудачи», а «единственным источником революционного пыла Нежданова оказывается его двусмысленное общественное положение». «Всё дело, по-видимому, в том,— указывал Михайловский,— что Нежданов — незаконный сын вельможи и очень этим тяготится». «Таким образом,— резюмировал критик,— общественное явление сведено у г. Тургенева к разнообразным мелким, личным причинам» и в этом,—добавлял он,—«основная фальшь романа» (там же, с. 317—320). Односторонность такого рода оценок отражала настроения убежденных народников, демократическое чувство которых было оскорблено скептическим отношением писателя к народническим идеалам и еще более — к формам их освободительной борьбы. «Мы видим, что люди гибнут,— писал по этому поводу Михайловский.— Мы хотим знать, откуда у них берется вера, где источник силы этой веры? Является г. Тургенев и ⟨. . .⟩ всё наше внимание сосредоточивает на душевных муках человека неверующего, случайно попавшего в водоворот! ⟨. . .⟩ Вместо того чтобы просто и скромно пополнить свою коллекцию гамлетиков — гамлетиком-революционером, он посадил его в передний угол целого политического романа с многозначительным эпиграфом» (там же, с. 323).

Не встретил сочувствия у Михайловского и образ Соломина. «Соломин берется всем советовать,— отмечал критик.— ⟨. . .⟩ Но ведь, чтобы советовать, надо знать дело, а г. Тургенев его не знает, следовательно, и подсказать Соломину может только очень немногое. Оттого и туманна фигура Соломина и даже совершенно неправдоподобна» (там же, с. 324). В заключение Михайловский упрекал Тургенева за «легкомысленное желание подать свой голос в чужом для него деле» (там же, с. 325).

Журнал «Дело» посвятил «Нови» большую, растянувшуюся на три книжки, статью П. Н. Ткачева «Уравновешенные души» (подписана псевдонимом П. Никитин). Задетый прежде всего образами Остродумова и Машуриной, возникшими в творческом сознании Тургенева под воздействием нечаевского процесса, Ткачев настаивал на том, что в изображении этих героев «нет ни крупицы художественной правды» (Дело, 1877, № 2, с. 290). Впрочем, не менее суровую оценку получили у Ткачева и центральные образы романа — Нежданов, Марианна и Соломин. Ткачев не соглашался с презрительной характеристикой Нежданова, высказанной в статье Михайловского, однако в конечном итоге его отношение к Нежданову в принципе мало чем отличалось от точки зрения критика «Отечественных записок». Подобно Михайловскому, Ткачев отмечал духовную близость Нежданова с лишними людьми, считая эту близость главной причиной неспособности тургеневского героя найти свое место в народническом движении, и обвинял Тургенева в создании нетипичного образа. «„Благотворное зерно“ новых идей,— утверждал Ткачев,— упало ⟨. . .⟩ на почву, много раз уже вспаханную и засеянную ⟨. . .⟩ и как ни глубоко внедрилось это зерно в „старую почву“, оно не нашло и не могло найти в ней всех элементов, необходимых для своего полного развития» (там же, № 3, с. 98).

Ткачеву принадлежала беспримерная по резкости характеристика Марианны. «Героиня, которая становится „человеком идеи“

после первого разговора с возлюбленным и которая в то же время не знает, что ей нужно делать ⟨. . .⟩ разве это не самая заурядная и ограниченная барышня? — спрашивал критик.— Из каких это забытых институтских архивов извлек г. Тургенев этот курьезный экземпляр милого недоросля в кисейном платье, вдруг ни с того ни с сего воспылавшего и верой и любовью к „святому делу?“» (там же, с. 106—107). «Неждановы и Марианны — это уже тип отживший, сходящий со сцены»,— утверждал далее Ткачев (там же, с. 109). Но самым жестоким нападкам Ткачева подвергся Соломин, в настроениях которого критик не обнаружил ни одной черты, близкой революционному народничеству семидесятых годов. Ставя Соломина в один ряд с поборниками теории «малых дел»— Волгиным из романа Летнева (псевдоним А. А. Лачиновой) «Бешеная лощина» и Суровцевым из романа Е. Л. Маркова «Черноземные поля», Ткачев писал: «Их общий девиз: „шаг за шагом, потихоньку — помаленьку“» (там же, с. 111). Вслед за критиком газеты «Русский мир» (см. выше) он усматривал в людях соломинского типа склонность к буржуазному предпринимательству на западноевропейский лад. «Это герои западноевропейской буржуазии, но не русского разночинства,— утверждал Ткачев,— это самые заурядные эгоисты, свободные от всяких идеалов, вечно пекущиеся прежде всего о собственной своей рубахе» (там же, № 4, с. 57, 60).

Отрицательное отношение к «Нови» в ряде газет и журналов заставило активизироваться литераторов из ближайшего окружения Тургенева. В мартовской книжке «Вестника Европы» за 1877 г. в его защиту появились сразу две заметки, отражавшие мнение редакции этого журнала: «Новый роман И. С. Тургенева как страница из истории нашего века» и «Историческая справка. По поводу тургеневской „Нови“». В первой из них отмечалось: «...никогда еще г. Тургенев не писал произведения, в котором идеи автора выступили бы столь ясно ⟨. . .⟩ Здесь уже нет ни малейшего повода к недоразумениям, как в „Отцах и детях“ и „Дыме“. Прочтя „Новь“, вы совершенно определенно видите, на какие симптомы хотел указать писатель и какое он придает им значение. В этой определительности ⟨. . .⟩ высказанности почти до конца — характерное отличие нынешнего произведения г. Тургенева от всех предшествующих — и в его пользу» (*ВЕ*, 1877, № 3, отдел «Внутреннее обозрение», с. 410). Указывая далее на «недостаточную чувствительность ⟨. . .⟩ нашей критики к громадной общественной заслуге нового произведения», автор заметки,— по всей вероятности, Л. Н. Полонский,— приходил к такому общему выводу: «Для нас ⟨. . .⟩ роман г. Тургенева интересен прежде всего как любопытнейшая страница современной истории, весьма поучительная для желающих учиться, весьма искренняя для тех, кто дорожит правдой и любит слушать ее» (там же, с. 414—415).

Во второй полемической заметке, написанной самим М. М. Стасюлевичем, первоначальный неуспех «Нови» сравнивался с судьбой «Ревизора». «Времена изменились,— отмечал Стасюлевич,— но нравы те же, и те же толки после „Ревизора“, какие мы встретили теперь после „Нови“». Процитировав заключительную часть гоголевского «Театрального разъезда...», Стасюлевич продолжал: «Все это как будто писано вчера и очень напоминает, местами дословно, критические толки о новом романе Тургенева. Гоголь сам сознавался ⟨. . .⟩ что „Ревизор“ испытал „фиаско“; в этом же уверил

нас на днях и „Голос“, после выхода второй части „Нови“. Бывают, видно, различные фиаско» (там же, с. 465—467).

«Историческая справка» Стасюлевича имела свое уязвимое место, удар по которому последовал незамедлительно. В очередной статье о романе Тургенева В. П. Буренин напоминал, что «Ревизор» вызвал негодование критики булгаринского направления, между тем как «Новью» остались «недовольны не одни только консерваторы известного пошиба, огорченные сатирическим отношением автора к гг. Сипягиным и Калломейцевым, но и люди других фракций, которым совершенно чуждо подобное огорчение» (Новое время, 1877, № 385, 13(25) марта). Вместе с тем Буренин утверждал, что Тургенев «не нуждается» в специальной защите редакции «Вестника Европы», так как «его роман, при всех недостатках ⟨. . .⟩ полон таких отдельных художественных мотивов, таких тонких и метких „заметок“ о русской современной действительности, что несомненно представляет явление очень крупное и веское в нашей беллетристике» (там же). Это неожиданное заявление Буренина, перед тем судившего о «Нови» пренебрежительно, явилось одним из характерных свидетельств перелома, наметившегося в отношении критики (прежде всего либеральной) к роману Тургенева. Так, почти одновременно с Бурениным радикально изменил свою первоначальную точку зрения на роман Тургенева М. Л. Песковский, критик еженедельника «Русское обозрение». «Большинство критиков,— констатировал теперь Песковский,— произнесли уже слишком жесткий приговор о „Нови“ ⟨. . .⟩ Это положительно неверно» (*Рус Обозр*, 1877, № 3 и 4, 12 (24) марта, с. 28). Либерально настроенному Песковскому явно импонировали постепеновские идеалы Соломина, прояснившиеся для него вполне только после ознакомления со второй частью романа. «Такой мотив романа, — с удовлетворением отмечал критик,— совершенно новь в русской беллетристике и публицистике. Если он и затрагивался прежде, то далеко не так решительно, резко и характерно, как сделал это И. С. Тургенев» (там же). Всячески превознося постепеновство Соломина как единственно плодотворный способ легального «хождения в народ», с проповедью труда и образования, но без мысли о революции «с помощью физической силы», Песковский в конечном итоге отзывался о «Нови» как о произведении «верном и глубоком по основной своей мысли», полном «истинно публицистического значения» (там же, с. 30, 28). Несколькими днями раньше в еженедельной газете «Наш век» появился анонимный фельетон «Новь и старь», восхвалявший смелость, с которой «автор осужденного Петербургом романа ⟨. . .⟩ показал новый фазис русской действительности» и вынес «приговор суровый и беспощадный ⟨. . .⟩ всему безыдейному и злобно ретроградному» (Наш век, 1877, № 6, 6 (18) марта). В это же время газета «Биржевые ведомости» напечатала фельетон «Наброски и недомолвки», часть которого, под заглавием «Большая выставка бессмыслиц в „Русском вестнике“», была посвящена саркастической интерпретации оценок «Нови» в статье Авсеенко. «Конечно, трудно было думать и ожидать, чтобы „валеты“ катковской школы отнеслись к роману иначе, чем с пронзительным гиком и посвистом доезжачих,— писал критик этой газеты (И. Ф. Василевский, подписавший свой фельетон псевдонимом „Буква“).— Ведь „сам Болеслав“, излюбленный брат их „по духу“, фигурирует у Тургенева в бесподобной, эпизодической, несколько раз упоминаемой Калломейцевым личности Ladislas’а, а Сипягины всегда служили верховными кумирами для

сотрудников „Русского вестника“...» (Биржевые ведомости, 1877, № 70, 13(25) марта).

Ободренный такого рода суждениями о «Нови», Тургенев наконец согласился с редактором «Вестника Европы», пунктуально сообщавшим ему в Париж сведения о ходе журнальной полемики вокруг романа: «Реакция в пользу „Нови“ действительно началась» (см. письмо Тургенева к Стасюлевичу от 4(16) апреля 1877 г.).

Усилению «реакции в пользу „Нови“» в значительной степени способствовало оглашение материалов судебного следствия над народниками-пропагандистами на так называемом «процессе пятидесяти», длившемся с 21 февраля по 14 марта ст. ст. 1877 г. Подробный отчет о нем, опубликованный в «Правительственном вестнике» и перепечатанный затем крупнейшими газетами, воспринимался в обществе как веское подтверждение правдивого изображения народничества в тургеневском романе. Многие современники Тургенева, в том числе и его литературные противники, поражались сходством сцен романа, рисующих «хождение в народ», с показаниями революционеров о своей жизни и деятельности в крестьянской среде. За несколько дней до начала процесса, находясь под впечатлением слухов о нем, В. М. Гаршин писал Е. С. Гаршиной: «Прочли ли вы „Новь“? Вот Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩ на старости лет тряхнул стариною. Что за прелесть! Я не понимаю только, как можно было, живя постоянно не в России, так гениально *угадать* всё это» [99]. В сущности о том же писал М. М. Стасюлевичу из Баден-Бадена П. В. Анненков: «Читаем мы здесь процесс наших пропагандистов и не можем не изумляться тому, что Тургенев угадал заранее их ходы и приемы. Вот уж подлинно *vates*, так, кажется, звали пророков по-латыни» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 340). Примечательна также характеристика «Нови» в письме артиста М. И. Писарева к писателю Ф. Д. Нефедову (1 октября ст. ст. 1877 г.). М. И. Писарев сетовал на «публику и прессу», осудившую Тургенева «несмотря на то, что почти одновременно с романом „Новь“ во всех газетах печатался стенографический отчет „Дела 50 пропагандистов“, разбираемого в Петербурге ⟨. . .⟩ где герои тургеневского романа в живых образах, воочию, без всяких художественных прикрас и измышлений, предстали перед глазами той же почтеннейшей публики. Странно,— продолжал Писарев,— но сходство романа с делом 50-ти так бьет в глаза, что, явись роман позже, его непременно сочли бы заимствованным из судебного процесса. Но этот плагиат (только случайный) — конечно, всего громче говорит в пользу автора „Нови“...» [100]. М. И. Писарев, по-видимому, не знал о том, что мысль о заимствовании Тургеневым материалов «процесса пятидесяти» для создания своего романа высказывалась, и притом в недвусмысленно серьезной форме, еще в марте 1877 г. Она принадлежала критику В. В. Маркову, который писал о «Нови» в газете «С.-Петербургские ведомости»: «Многие черты и подробности, которые казались произвольными и придуманными, как, например, водевильные переодевания готовящихся идти в „народ“, их образ жизни в качестве „опростелых“ ⟨. . .⟩ их революционная агитация среди народа и т. д. взяты це-

---

[99] Гаршин В. М. Полн. собр. соч. М.; Л.: Academia, 1934. Т. 3, с. 109.

[100] Орлов А. И. Из литературной жизни 70—80 годов XIX века (По материалам архива Ф. Д. Нефедова).— Уч. зап. Шуйского гос. пед. ин-та, 1958, вып. VII, с. 159.

ликом из действительности и прямо воспроизводят факты процесса ⟨. . .⟩ Политическое дело, обнаруженное правительственными властями еще два года тому назад, было случайным, непредвиденным обстоятельством, которым автор ловко воспользовался для своего романа, получившего через это существенный интерес» (*СПб Вед*, 1877, № 71, 12 (24) марта). Именно под влиянием «процесса пятидесяти» Марков смягчил свои прежние, чрезмерно суровые суждения о «Нови». В том же номере газеты «С.-Петербургские ведомости» он вынужден был признать: «...оказывается, что, с точки зрения животрепещущей современности, Тургенев не промахнулся, рисуя нам революционных пропагандистов ⟨. . .⟩ общественное значение за романом остается бесспорно». Схожесть фактических и психологических данных процесса с тургеневским романом порождала в иных случаях почти анекдотические курьезы в их интерпретации. Газета «Неделя» писала по этому поводу в анонимной статье «Запоздалый отчет»: «Начался политический процесс, и действующие лица романа до такой степени слились с действующими лицами процесса, что петербургский корреспондент одной немецкой газеты серьезно их перепутал и, давая отчет о романе, наполнил его именами подсудимых: в романе, говорит, главные лица Любатович, Фигнер и т. д.». (Неделя, 1877, № 12, 20 марта ст. ст., с. 429).

«Процесс пятидесяти» в значительной степени нейтрализовал одно из важнейших обвинений, предъявленных Тургеневу современной критикой и, в частности, Н. К. Михайловским. Он показал, что гамлетизм Нежданова, расценивавшийся этими критиками как запоздалый рецидив сороковых годов, как показатель творческого оскудения Тургенева, вынужденного якобы бессильно повторять самого себя, являлся чертой, характеризующей настроения отнюдь не единичных представителей раннего народничества [101].

Среди положительных оценок романа Тургенева, появившихся после «процесса пятидесяти», особое место занимает статья С. К. Брюлловой. Направленная против реакционной политики тогдашнего русского правительства, статья не могла быть напечатана в России и предназначалась для заграничного издания. Но этому помешала неожиданная смерть Брюлловой [102].

Противопоставляя «Новь» «Бесам» Достоевского и «Обрыву» Гончарова — романам, в которых нигилисты изображались «в самом непривлекательном виде», Брюллова подчеркивала «политическую честность *Тургенева, доведенную до щепетильности* ⟨. . .⟩ Россия вспомнит это когда-нибудь с благодарностью, вспомнит, что ⟨. . .⟩ он первый отделил личный, нравственный характер народников от их политических задач и приемов и, представив их честными, благородными людьми, героями, плюнул в лицо нашим охранителям» (*Лит Насл*, т. 76, с. 302, 315). В значительной своей части статья Брюлловой являлась апологией соломинского постепеновства «снизу» и напоминала отдельными формулировками собственные тургеневские программные суждения об этом герое, высказанные в известном письме к А. П. Философовой от 11(23) сентября 1874 г.

---

[101] См. также приведенное ниже (с. 532—533) весьма авторитетное свидетельство П. А. Кропоткина.

[102] Статья надолго затерялась в архивах и только в наше время была обнаружена и опубликована (см.: Статья С. К. Брюлловой о романе «Новь». Вступительная статья и публикация Н. Ф. Будановой.— *Лит Насл*, т. 76, с. 277—320).

Однако в оценках возможной роли людей соломинского типа в будущем социально-политическом развитии России Брюллова шла гораздо дальше автора «Нови».

Так, например, она писала: «Когда на десять русских придется шесть Соломиных, существующий порядок вещей станет невозможным, и если правительство опоздает реформою, Соломин XX века и его ученик, плутоватый, сметливый и энергичный Павел сознательно, трезво возьмутся за топор. Он не выпадет из их рук, им не нужно будет переодеваться: народ их и без того будет знать, потому они сами — народ. Соломины будут *не вожаки*, а рядовые революции, которая и возможна-то будет только тогда, когда у ней окажутся такие рядовые» (там же, с. 314—315).

В своей статье Брюллова успешно полемизировала с Михайловским. Явно намекая на его «Записки профана», она писала: «Тургенева упрекают и в том, что он не показал нам raison d'être ходителей в народ, не показал, из чего и как они возникли ⟨. . .⟩ Но ⟨. . .⟩ мог ли он это сделать? Во-первых, для этого он должен был бы захватить очень далеко и сказать много такого, за что бы его роман не увидел света; во-вторых, изобразив Сипягина и Калломейцева, он вместе изобразил направление нашего правительства, в котором эти люди играют первую скрипку и создают порядки, вызывающие революционное брожение. В первой сцене слегка намечены некоторые черты этого порядка» (там же, с. 305).

Полемизируя с Михайловским, Брюллова возражала той части народнической молодежи, которая находила, что Тургенев был несправедлив к ней, «оставив без внимания лучшие экземпляры, соединяющие большой ум, большое образование с твердостью воли» (см. там же, с. 304). Имея в виду такого рода упреки Тургеневу, Брюллова добавляла: «Это говорится под сурдинку и, может, выскажется разве в заграничных изданиях» (там же). Это предположение вскоре подтвердилось. Так, самый яркий представитель молодой революционно-народнической эмиграции, Г. А. Лопатин, писал о Тургеневе и его романе в предисловии к сборнику «Из-за решетки»: «Даже такие художники-джентльмены, как Ив. С. Тургенев ⟨. . .⟩ посодействовали своими трудами искажению нашего „мученика правды ради“ в глазах нашего общества. Частью недостаток знакомства с последним движением и его представителями, частью условия нашей подневольной прессы принудили даже его избрать своими героями наименьше характерные и многочисленные типы и заставить их действовать самым несообразным, чтобы не сказать смешным, образом...» Далее Лопатин недвусмысленно упрекал Тургенева за «сосредоточение внимания» в «Нови» «на личностях слабых, неумелых, наивных, непрактичных», что привело к «полному исключению личностей умных, понимающих, последовательных, энергичных, деятельных и практичных» («Из-за решетки». Сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873—77 гг., осужденных и ожидающих «суда». Женева, 1877, с. XV—XIX)[103]. Приблизительно такого же взгляда на роман

[103] Г. А. Лопатин обвинял Тургенева также в том, что в своем романе он якобы «смешал две ступени развития» революционного движения, не увидев при этом существенного различия между деятелями нечаевской ориентации и подлинными народниками (см. там же, с. XV). С таким толкованием «Нови» согласился и П. Л. Лавров (см.: *Революционеры-семидесятники*, с. 36). В действительности

Тургенева придерживались молодые публицисты народнического направления С. Н. Кривенко и Н. С. Русанов, выражавшие мнения о «Нови» литераторов-народников, издававших журнал «Русское богатство». Первый в беседе с Тургеневым (1879 г.) заявил, что все действующие лица романа, кроме Соломина, представляются ему «ниже обыкновенного умственного уровня» (Из литературных воспоминаний.— *ИВ*, 1890, № 2, с. 278); второй, имея в виду революционеров-семидесятников, отмечал впоследствии в своей статье «Из литературных воспоминаний»: «Именно потому, что в их среде большинство составляли не Неждановы, а люди сильного ума и удивительной энергии, политическое движение в России приняло к концу семидесятых годов небывалые размеры» (Былое, 1906, № 12, с. 40).

Однако не вся народническая молодежь судила о «Нови» таким образом. М. П. Драгоманов, переславший Тургеневу сборник «Из-за решетки», в котором было напечатано цитированное выше предисловие Лопатина, отмечал в то же время в одном из писем к писателю, что «в молодой женевской русской эмиграции» он знает «людей, которые остались вовсе не недовольны „Новью“» *(Революционеры-семидесятники*, с. 162). Это наблюдение Драгоманова, относящееся к 1877 г., подтверждается брошюрой Ф. Алисова «Несколько слов о романе „Новь“», вышедшей в том же году в Женеве. Алисов писал, что «все лица молодого поколения», изображенные в романе Тургенева, «заслуживают не только глубочайшего участья, но и глубочайшего уважения». В характерах Маркелова и Машуриной Алисов отмечал способность к самопожертвованию, Нежданову отдавал должное за умение «честно выйти из заколдованного для него круга», а Соломина и Марианну прямо называл «носителями судеб будущего». Характерна также следующая многозначительная реплика Алисова, свидетельствующая о том, что некоторые народники все-таки чувствовали в настроениях постепеновца Соломина нечто родственное своим социально-политическим идеалам: «Не будь цензуры,— отмечал Алисов,— мы потребовали бы, чтобы Соломин заговорил вполне» (см. названную брошюру, с. 5—6, 8).

Что касается революционеров старшего поколения, то они, указывая на отдельные недостатки тургеневского романа, обусловленные по преимуществу объективными причинами, в целом оценивали его высоко. П. А. Кропоткин отмечал, что «Новь» дает не вполне «правильное понятие» о революционном движении, так как Тургенев в 1876 г. еще не мог знать многих фактов о героической деятельности народников. И все же несмотря на это Тургенев со своим «обычным удивительным чутьем подметил», по определению Кропоткина, «наиболее выдающиеся черты движения ⟨. . .⟩ он понял две характерные черты самой ранней фазы этого движения, а именно: непонимание агитаторами крестьянства, вернее — характерную неспособность большинства ранних деятелей движения понять русского мужика, вследствие особенностей их фальшивого литературного, исторического и социального воспитания,— и, с другой стороны,— их гамлетизм, отсутствие решительности, или, вернее, „волю, блекнущую и болеющую, покрываясь бледностью мысли“,

---

же заговорщические методы Нечаева были недвусмысленно осуждены в романе (см. гл. XXII). Тургенева можно было обвинять только в смещении хронологии событий: «хождение в народ», о котором идет речь в романе, было явлением, типичным не для 1868 года, а для 1873—1875 годов.

которая действительно характеризовала начало движения семидесятых годов. Если бы Тургенев писал эту повесть несколькими годами позже, он, наверное, отметил бы появление нового типа *людей действия*, т. е. новое видоизменение базаровского и инсаровского типа, возраставшего по мере того как движение росло в ширину и в глубину. Он уже успел угадать этот тип даже сквозь сухие официальные отчеты о процессе ста девяноста трех, и в 1878 году он просил меня рассказать ему всё, что я знал о Мышкине, который был одной из наиболее могучих личностей этого процесса» (Кропоткин П. А. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 115—116).

П. Л. Лавров, находившийся в это время в эмиграции, посвятил «Нови» специальную статью, заказанную лондонским журналом «Атенеум» («Nov′ by Ivan Tourguénief».— The Athenaeum, 1877, № 2573, 17 февраля, с. 217—218). Наиболее существенные выдержки из этой статьи были включены впоследствии в статью Лаврова «И. С. Тургенев и развитие русского общества», напечатанную в «Вестнике Народной воли», 1884, № 2. Подобно Лопатину и Кропоткину, Лавров отмечал, что «Новь» представляет собою «неполную картину» народнического движения, так как «в революционной партии были не одни Машурины, Остродумовы и Неждановы ⟨. . .⟩ что если бы революционная партия состояла в это время только из тех личностей, которых нарисовал Тургенев, то история России последних десяти лет была бы невозможна». Тем не менее «господствующее впечатление», произведенное «Новью», заключалось, по определению Лаврова, в том, что «наблюдатель-художник был живо поражен важностью революционного движения среди русской молодежи. Группа, составляющая центр всего рассказа и привлекающая симпатии читателя, несмотря на свои недостатки, это — группа молодых людей, глубокие убеждения которых сделали их врагами порядка вещей, существующего в России. Они живут своим трудом; они горды своей бедностью ⟨. . .⟩ они хотят „служить“ народу, подавленному господствующими классами; они хотят для него действительной свободы; они хотят поднять его против существующего строя... Личности этой центральной группы представляют весьма различные типы и различаются еще более между собою способностями, умом, но всех их характеризует одна общая черта ⟨. . .⟩ вызывающая к ним любовь и уважение ⟨. . .⟩ Эта черта заключается в том, что они суть представители иной, высшей нравственности ⟨. . .⟩ которая убивает всякий эгоизм, всякое личное вожделение, придает людям характер искренности и делает их способными на все жертвы для класса несчастных и обездоленных» (*Революционеры-семидесятники*, с. 33—34, 36). Полный перевод на русский язык статьи П. Л. Лаврова см. в издании: *Лит Насл*, т. 76, с. 197—207.

К 1883 году настороженное, а временами и враждебное отношение к Тургеневу и его роману, высказывавшееся неоднократно в широких слоях народнической молодежи, почти изгладилось. Об этом свидетельствует написанная П. Ф. Якубовичем прокламация, выпущенная народовольцами в день похорон писателя. В ней отмечалось: «Глубокое чувство сердечной боли, проникающее „Новь“ и замаскированное местами тонкой иронией, не уменьшает нашей любви к Тургеневу. Мы ведь знаем, что эта ирония не ирония нововременского или катковского лагеря, а сердца любившего и болевшего за молодежь. Да к тому же, не с подобной ли же иронией

относимся теперь сами мы к движению семидесятых годов, в котором, несмотря на его несомненную искренность, страстность и героическую самоотверженность, действительно было много наивного?» (*Революционеры-семидесятники*, с. 7). Далее в прокламации говорилось о том, что Тургенев, несмотря на свою принадлежность к лагерю либералов, «служил русской революции сердечным смыслом своих произведений, что он любил революционную молодежь, признавал ее „святой“ и самоотверженной» (там же, с. 8).

Двумя годами позднее реализм Тургенева в «Нови» был подчеркнут выдающимся деятелем немецкого и международного рабочего движения Августом Бебелем. В статье «Идеалистический роман», посвященной Н. Г. Чернышевскому, А. Бебель отмечал: «Тот, кто запечатлевает типические черты внешней и внутренней жизни современного человека, всегда поучителен, а поэтому интересен и полезен». Сравнивая затем художественный метод Тургенева с натуралистически ограниченной манерой Золя, А. Бебель продолжал: «Золя во многих своих произведениях дает материал для обобщенного представления об окружающей его среде; другие писатели, умеющие лучше отделять существенное от несущественного, дают и самое обобщение. Таков, например, Тургенев в „Нови“, где он показывает всё современное ему русское общество» (*Лит Насл*, т. 67, с. 186—187).

Впоследствии «Новь» получила высокую оценку и в марксистской критике. Впрочем, и здесь трактовка романа не отличалась единством мнений. По словам В. В. Воровского, последний роман Тургенева с его центральной фигурой — типом Соломина — свидетельствовал о стремлении Тургенева «переступить» в своем творческом развитии «за черту дворянских, хотя бы и прогрессивно-дворянских интересов». «Соломин недооценен русской критикой,— отмечал Воровский.— Критика народнического лагеря считала этот тип надуманным, неестественным, ибо он не подходил к ее схеме ⟨. . .⟩ А между тем Соломин — подлинный представитель новой и молодой России, но России буржуазной, торгово-промышленной. Это — зарождавшийся в то время тип просвещенного коммерсанта, и Тургенев тонким чутьем уловил в нем прогрессивную силу, идущую на смену оскудевающему барству» (Воровский В. В. Сочинения. Л., 1931. Т. 2, с. 143—144). А. В. Луначарский писал о романе Тургенева: «„Новь“ бьет очень сильно старый мир, но в то же время беспощадно, хотя задумчиво и грустно, осуждает и народничество» (Луначарский А. В. Русская литература. М., 1947, с. 98). В интерпретации образа Соломина у Луначарского есть отличия от суждений Воровского. «Ясно, что это какой-то прообраз будущей буржуазии, умеренный и аккуратный гражданин»,— писал Луначарский о Соломине. Но в то же время он утверждал, что «в таком типе, как Соломин ⟨. . .⟩ есть разные водоразделы», что в зависимости от социально-исторических условий Соломин мог «выйти и совсем на другой путь», не обязательно буржуазный. «Если мы начнем припоминать серию русских марксистов первого поколения,— писал Луначарский,— у которых марксизм был иногда убежищем, куда они удалялись, разочарованные в народническом утопизме, то увидим среди них много людей, которые напоминают Соломина ⟨. . .⟩ Он хочет схватить только то, что может схватить, но *ждет* большего. Перед ним расстилаются широкие горизонты» (там же, с. 97—98). Указывая на разнообразные потенциальные возможности соломинского типа, Луначарский в конце концов до-

пускал, что в период революционных выступлений рабочего класса «из него мог бы выйти настоящий революционер» (там же, с. 98).

Сохранились высказывания о «Нови» многих писателей и литераторов, современников Тургенева. Среди них наиболее примечательны отзывы Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Н. П. Огарева и Н. С. Лескова.

Весьма сдержанный отзыв Достоевского о «Нови» был в конечном итоге обусловлен концепцией революционного движения, характерной для его романа «Бесы». «Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения,— отмечал Достоевский.— Замечу лишь одно: на 92 странице романа ⟨. . .⟩ сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, помоему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко несогласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина»[104].

В февральском и особенно в мартовском выпусках «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский отозвался также весьма сурово о стихотворении «Сон», помещенном во второй части (см. гл. XXX) тургеневской «Нови». Однако этот отзыв не следует воспринимать буквально. Дело в том, что некоторые изображения темных сторон русской народной жизни (пьянство и апатия, им порождаемая), характерные для этого стихотворения, были как бы предвосхищены Достоевским-публицистом еще в 1873 г. Подробнее об этом см. в статье: Б а т ю т о А. И. Достоевский и Тургенев в 1860—1870-е годы (только ли «история вражды»?).— Русская литература, 1979, № 1, с. 61—63. Некоторые суждения Достоевского-публициста о реализме и идеализме в искусстве, его недовольство В. В. Стасовым и молодым И. Е. Репиным, которые презрительно отзывались о Рафаэле и его живописи, также определенным образом перекликаются с соответствующими мотивами «Нови», см. ниже реальный комментарий, с. 545, 550—551.

Отзывы о «Нови» Салтыкова-Щедрина и Некрасова отличались резкостью выражений и отражали мнение редакции «Отечественных записок». 20 января (1 февраля) 1877 г. Салтыков-Щедрин писал А. Н. Энгельгардту: «. . .И. С. Тургенев написал роман „Новь“, который не производит даже сенсации, а просто изумление: до такой степени он глуп» (*Салтыков-Щедрин*, т. 19, с. 85). В письме к П. В. Анненкову от 17 февраля (1 марта) 1877 г. Щедрин назвал «Новь» романом «в высшей степени противным и неопрятным» (там же, с. 87), а в одном из мартовских писем к тому же адресату, отвечая на замечание Анненкова о том, что «в „Нови“ сквозит *двоеверие*», желчно резюмировал: «никто в этом не виноват, особенно ежели это двоеверие представить себе на степени *двоемаловерия*» (там же, с. 89). Даже в относительно более сдержанном письме к Анненкову от 15(27) марта 1877 г., упоминая о «процессе пятидесяти», Щедрин писал всё с той же горькой укоризной по адресу Тургенева и его «Нови»: «Я на процессе не был, а говорят — были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и

---

[104] Д о с т о е в с к и й Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. СПб., 1878, с. 20. Достоевский имел в виду пагинацию январской книжки «Вестника Европы» за 1877 г., в которой была напечатана первая часть «Нови». В настоящем издании см. соответственно с. 225, строки 30—44 и с. 226, строки 1—3.

акушерки Бардиной. По-видимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеваньем, как полагает Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩» (там же, с. 91). Некрасову, по словам А. Н. Пыпина, «понравилась» только первая часть романа; «выводимые лица нарисованы хорошо,— отмечал Некрасов,—но 2-ая часть плоха. Тургенев не достиг своей цели. Если он хотел показать нам, что направление юнош неудовлетворительно,— он не доказал; если хотел примирить с ними других — не успел; если хотел нарисовать объективную картину — она не удалась. Все-таки люди были крупнее ⟨. . .⟩ да и хождение в народ — недосказано, оно бывало не так глупо. Вообще скажу,— не говорите только приятелям Тургенева, я их не хочу огорчать,— скверный роман, хоть я до сих пор люблю Тургенева» (*Лит Насл*, т. 49—50, с. 192).

Первое впечатление Л. Н. Толстого от «Нови» было также неблагоприятным для Тургенева. В марте 1877 г. Толстой писал Фету: «„Новь“ я прочел первую часть и вторую перелистывал. Не мог прочесть от скуки ⟨. . .⟩ Одно, в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета,— это природа. Две-три черты, и пахнет. Этих описаний наберется 1 $^1/_2$ страницы, и только это и есть. Описания же людей — это всё описания с описаний» (*Толстой*, т. 62, с. 314—315). Однако через несколько лет (в 1885 г.) Толстой изменил свою точку зрения на этот роман. Беседуя с И. М. Ивакиным о творчестве Тургенева и, в частности, о его романах, Толстой особенное предпочтение отдавал именно «Нови»; он говорил: «Лучше всего „Новь“: тут выведено что-то реальное, соответствующее жизни. А в Рудине, Лаврецком, Базарове — ничего нет: что говорит Базаров, то только разве и хорошо. Да и быть ничего не могло: ведь те движения, представителями которых являются Рудин, Лаврецкий, совершились только в умственной сфере, в поступки не переходили, оттого-то и не могли дать содержание художественному произведению, тогда как „Новь“ могла» (*Лит Насл*, т. 69, кн. 2, с. 50).

Среди писательских суждений о «Нови» безоговорочно положительными были только отзывы Огарева и Лескова. Огарев, получивший экземпляр «Нови» от кого-то из общих с Тургеневым парижских знакомых, 4 марта н. ст. 1877 г. сообщал П. Л. Лаврову: «Прочел „Новь“ Тургенева ⟨. . .⟩ произведение замечательное, и прочесть его необходимо. Читали ли Вы его и можно ли его достать в Лондоне?» (*Лит Насл*, т. 39—40, т. 597). Развернутый положительный отзыв Н. С. Лескова о «Нови» был напечатан в малодоступном церковном издании. См. о нем: А ф о н и н Л. Н. Забытая статья Н. С. Лескова о Тургеневе (*Т сб*, вып. 3).

VII

Роман «Новь», встреченный с большим интересом за границей, был переведен на многие европейские языки уже в 1877 году. «Так как ты интересуешься переводами моей столь единодушно обруганной „Нови“,— писал Тургенев брату 26 октября (7 ноября) 1877 г., — то могу тебе сказать, что до сих пэр она уже появилась на следующих языках: французском, немецком (четыре разных перевода!), английском, италиянском, шведском, польском, чешском, сербском и венгерском».

Успех «Нови» за границей был обусловлен в значительной степени все усиливавшимся интересом иностранцев к революционному

народническому движению в России, яркое и правдивое отражение которого они увидели в романе Тургенева.

Во французском авторизованном переводе Э. Дюрана-Гревиля „Новь" появилась впервые под названием «Terres vierges» в 43 фельетонах газеты «Temps» [105]. Перевод в «Temps» публиковался в одно время с материалами «Процесса 50-ти», происходившего в Петербурге в марте 1877 г., вследствие чего у французских читателей неизбежно возникали аналогии между романом Тургенева и реальными политическими событиями в России. Многие даже подозревали, что писатель имел возможность предварительно ознакомиться с материалами следствия. Интересно в этом отношении примечание, написанное Луи Виардо к главе XXXVIII романа и предназначенное для «Temps». Это примечание Тургенев переслал Э. Дюрану-Гревилю 10(22) марта 1877 г. с просьбой поместить в «Temps». «Мой друг г. Виардо, которому я даю читать корректуры „Нови",— писал Тургенев,— предложил прибавить в том месте, где говорится о свадьбе Марианны с Соломиным, следующее примечание:

Если бы роман г. И. Т. не был написан и даже напечатан раньше политического процесса, который происходит сейчас в петербургском Сенате, можно было бы подумать, что он скопировал этот процесс, тогда как он предсказал его. В этом процессе мы, действительно, видим те же самые благородные иллюзии и то же полное разочарование; мы вновь находим там всё, вплоть до неожиданных браков и даже браков фиктивных. Роман „Новь" внезапно сделался историческим. (Примечание переводчика).

Г-н Виардо считает, что это примечание следует прибавить, чтобы предотвратить возможность некоторого изумления у читателя»[106].

В 1877 г. перевод Дюран-Гревиля, названный Тургеневым «превосходным» [107], был издан в Париже отдельной книгой и выдержал в последующие годы несколько изданий.

«Новь» вызвала отклики во французской печати[108]. К. Куррьер в большой статье «Русский социализм и новый роман Тургенева» связал «Новь» с народническим движением в России и «Процессом 50-ти». По мнению критика, «Тургенев ⟨. . .⟩ следит со вниманием за тем, что происходит на его родине. Он еще не утратил способности чуткого восприятия русской жизни, вопреки утверждению не-

---

[105] № 5760—5764, 5768—5771, 5774—5778, 5781—5785, 5788—5792, 5795—5799, 5802—5806, 5809—5813, 5816—5820 от 24—28 января, 1—4, 7—11, 14—18, 21—25, 28 февраля, 1—4, 7—10, 14—19, 21—25 марта 1877 г.

[106] Примечание было опубликовано в № 5819 газеты «Le Temps» от 24 марта.

[107] См. письма к Л. Пичу от 28 февраля (12 марта) 1877 г. и к Ю. Шмидту от 18(30) марта 1877 г. Тургенев рекомендовал немецким друзьям французский перевод «Нови» взамен неудачного немецкого перевода в «St.-Petersburger Zeitung» (см. ниже).

[108] См.:Le dernier roman russe «Terres vierges» par J. Tourguénief.—La Russie contemporaine, 1877 (numéro spécimen), p. 1—2 (не подписана); C o u r r i è r e C. Le socialisme russe et le nouveau roman de Tourguénief.— Revue britannique, Paris, 1877, N 5, mai, p. 5—20 и др.

которых критиков, его соотечественников. Напротив, находясь в стороне и вне борьбы, он, быть может, лучше дает себе отчет в той внутренней работе, которая совершается ⟨. . .⟩ в русской жизни»[109]. С большим сочувствием отнесся К. Куррьер к образу Соломина и к идее широкой просветительской деятельности среди народа, лежащей в основе романа. По его мнению, Соломины нужны России, они «одни могут обеспечить будущее демократической партии»[110]. Процитировав восторженный отзыв Паклина о Соломине в заключительной главе романа, К. Куррьер воклицает: «Таким образом, по мнению автора, подлинные демократы — это те, кто, не разглагольствуя, работают рука об руку с народом, просвещая и развивая его; это им принадлежит день обновления России ⟨. . .⟩ Это они умеют говорить с народом и заставить его себя понять. Они не верят в ближайшую победу своего демократического идеала. Они не рассчитывают даже на то, чтобы быть этому свидетелями, но они видят это духовными очами —„with mind's eyes"»[111].

В 1878 г., когда процесс Веры Засулич всколыхнул всю Европу, французские критики снова заговорили о «Нови», поставив роман Тургенева в тесную связь с процессом.

Ж. Вальбер (псевдоним Виктора Шербюлье?), автор статьи «Процесс Веры Засулич», опубликованной в журнале «Revue des Deux Mondes»[112], подчеркнул духовную близость между Верой Засулич и Марианной в «Нови». «Иван Тургенев,— писал он,— предсказал Веру Засулич, когда он нарисовал героиню своей „Нови"; его Марианна Викентьевна поклялась принести себя в жертву русскому Молоху. Как и Марианна, Вера была несчастна не своим собственным несчастьем, она страдала за всех притесненных, за всех обездоленных, или, скорее, она не страдала, она негодовала, она возмущалась; ее раздражало одновременно собственное бессилие и довольство „спокойных, зажиточных, сытых"» [113].

Вероятно, не без влияния «Нови» в конце 1870-х годов во Франции появилось немало произведений (чаще всего посредственных) о русских революционерах. «Не было той газеты,— вспоминал позднее М. О. Ашкинази,— которая бы не считала нужным посвятить „нигилистам" ряд статей или напечатать фельетонный роман из жизни русских революционеров ⟨. . .⟩ во французской беллетристике появлялись самые несуразные романы вроде „Ivan le Nihiliste" или „Les Vierges Russes", где весь интерес заключался в замысловатой интриге, но сущность и причины движения, характеры лиц оставались непонятыми и изображались часто с самой превратной стороны» (*Революционеры-семидесятники*, с. 194).

Большой успех роман Тургенева имел в Германии.

В рецензии, посвященной «Нови» (Vossische Zeitung, 1877, № 161, 14 июля), указывалось, что в первой половине 1877 г. уже насчитывалось пять немецких переводов романа Тургенева. И действительно, вслед за первым переводом «Нови», появившимся на

---

[109] Revue britannique, Paris, 1877, N 5, p. 16.

[110] Там же, p. 19.

[111] Там же, p. 19—20.

[112] Le procès de Véra Zassoulich, par G. Valbert.—Revue des Deux Mondes, 1878, t. 27, livraison du 1-er mai, p. 215—227.

[113] Там же, p. 220.

страницах «St.-Petersburger Zeitung»[114], последовали переводы В. Ланге, Г. Ланкенау и др.[115]

О публикации «Нови» в «St. Petersburger Zeitung» Тургенев договорился с редактором этой газеты Беренсом уже в конце 1876 г., еще до появления романа в «Вестнике Европы», и с этой целью просил Стасюлевича давать Беренсу корректурные листы «Вестника Европы» с публикацией романа (см. письмо к Стасюлевичу от 19 ноября (1 декабря) 1876 г.).

Тургенев дал резко отрицательную оценку этому переводу в письмах к Л. Пичу от 28 февраля (12 марта) 1877 г. и Ю. Шмидту от 18(30) марта 1877 г. «Немецкий перевод (в „St. Petersburger Zeitung“), хотя и авторизован, кишит ошибками,— писал Тургенев Ю. Шмидту.— Многое там и вовсе вывернуто наизнанку. Всюду общие места; описания природы все пошли к чёрту и не дают никакой картины».

В письме к Л. Пичу Тургенев заметил, что переводчик «пожалуй, и знает мертвый русский язык, который можно найти в лексиконах, но о живом языке у него очень слабое представление, и он перепрыгивает через то, чего не понимает».

«Новь» вызвала многочисленные отклики в немецкой печати, единодушно защищавшей роман Тургенева от несправедливых, с ее точки зрения, нападок русской критики и подчеркивавшей мировое значение творчества русского писателя. В связи с этим «Новое время» писало: «Немецкая печать вообще приняла к сердцу то несправедливое, по ее мнению, отношение, какое русская пресса высказала к Тургеневу по поводу последнего его романа, и уж не в первый раз приходится читать в немецких журналах хвалебные статьи нашему романисту, написанные как будто с целью разъяснить нам значение его в нашей и всемирной литературе и тем ярче выставить нашу неблагодарность. Такая защита, конечно, не нужна Тургеневу; как ни строго отнеслось к нему русское общество за его последний роман, оно все-таки продолжает считать его одним из своих лучших и любимых писателей и понимает значение его в литературе»[116].

На появление тургеневского романа откликнулись писатели Бертольд Ауэрбах[117], Юлиан Шмидт[118] и Пауль Линдау[119].

---

[114] Neuland.— St. Petersburger Zeitung, 1877, с 1(13) января по 13(25) марта, № 1, 3—7, 9—11, 13—14, 16—21, 23, 25—28, 30, 32—34, 36—39, 41, 43—47, 49—54, 56—61, 63—68.

[115] Die neue Generation. Roman in 2 Bänden. Deutsch von W. Lange. Berlin, 1877; Neuland. Roman von Iwan Turgénjew. Aus dem Russischen übersetzt von H. von Lankenau. 2 Bände. Wien—Pest—Leipzig, 1877; Neuland. Roman. Aus dem Russischen. Berlin, s. a. [1877]; Iwan Turgénjew's Ausgewählte Werke. Autorisierte Ausgabe, 10. Bd. Neu-Land. Mitau, E. Behre's Verlag, 1877.

[116] Новое время, 1878, № 768, 20 апреля, с. 3.

[117] Auerbach B. Turgénjews «Neuland».— Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1877, № 96, 6 апреля, S. 1449—1451; в дальнейшем цитаты даются по русскому переводу статьи: Астраханский справочный листок, 1877, № 42, 7 апреля, с. 3.

[118] Schmidt J. Neuland. Roman von I. Turgénjew.—Im neuen Reich, 1877, I. Bd, S. 652—659.

[119] Lindau P. Neu-Land. Ein Roman von Iwan Turgénjew.— Die Gegenwart, 1877, 12. Bd., № 40, 6 октября, S. 214—217; см.

Немецкие критики указывали на сходство романа Тургенева с романом Ауэрбаха «Новая жизнь» («Neues Leben», 1851); этого вопроса Ауэрбах коснулся в своей статье. «Если герой и в моем романе и в „Нови" княжеский сын, идущий в народ, и если он тоже учитель, тем не менее произведение Тургенева совершенно ново и свободно ⟨. . .⟩ я могу даже сказать, что роман Тургенева оканчивается именно там, где мой начинается»[120]. По словам Ауэрбаха, «прекрасная книга Тургенева производит потрясающе горькое впечатление». «Из „Нови" мы с удивлением узнаем,— писал он далее,— то общество, которое замышляет ниспровергнуть государственный строй, так как создать нового оно не может ⟨. . .⟩ Юношеская мечтательность залетает вперед на целое столетие, она жаждет совершить подвиг и забывает, что век состоит из дней, часов и недель, медленно прокладывающих путь к целям. Смесь жалости и досады охватывает душу читателя, введенного в кружок русских агитаторов. Эта кипучая молодая сила — маленькая кучка юношей, идущая ощупью к цели, не умеющая даже ясно определить себе плана, что следует предпринять вслед за совершением революции,— и которая вместе с тем хочет поднять и повести за собой народ. И эту задачу, над разрешением которой трудятся все науки соединенными силами, вопрос, который составляет для всех мыслителей искомую величину,— эти дети предлагают осуществить немедленно самому народу»[121]. По мнению Ауэрбаха, Тургенев чувствовал необходимость противопоставить этому «неясному брожению» «образ чистого разума» в лице Соломина, который, однако, не удался писателю.

Ю. Шмидт, подобно другим европейским читателям «Нови», отметил сходство описанных в романе Тургенева событий с теми реальными событиями, о которых рассказали опубликованные в печати материалы «Процесса 50-ти». Хотя, по словам Шмидта, роман Тургенева не является изображением этого процесса, так как он был написан раньше, но «мотивирован он подобными происшествиями, которые почти везде повторяются в той же самой форме»[122].

Шмидт отметил, что развязка романа недостаточно мотивирована. По мнению критика, «вся история по-настоящему должна была начаться с обыска, и только теперь, в жизни, должны были бы развернуться характеры, которые до сих пор блуждали вслепую. И только теперь тот класс, против которого был направлен заговор,— аристократия должна была бы показаться во всей своей враждебности, чтобы оправдать этим если не самое дело, то по крайней мере настроение, из которого оно возникло»[123]. В частности, Шмидт предполагал, что Соломин, Марианна и Паклин будут сосланы в Сибирь и что именно тогда «проявится то отвратительное в характере семьи Сипягиных, на что до сих пор только намекалось»[124].

также отклики на «Новь» в Vossische Zeitung, 1877, № 161, 14 июля; Magazin für die Literatur des Auslandes, 1877, № 23, 9 июня и № 24, 16 июня; Tageblatt, 1877, 4 мая и др.

120 Астраханский справочный листок, 1877, № 42, 7 апреля, с. 3.

121 Там же.

122 Im neuen Reich, 1877, I. Bd., S. 653.

123 Там же, с. 656.

124 Там же, с. 657.

Шмидт подверг подробному анализу образы Нежданова и Соломина. По поводу последнего он заметил: «Это единственный персонаж у Тургенева, который я не могу себе по-настоящему представить в реальном воплощении и в котором я нахожу нечто надуманное. Кажется, что он, вопреки обычной манере писателя, сформировался больше из идеи, чем из наблюдения ⟨. . .⟩ Он видит безрассудность заговора и всё же чувствует известную симпатию к его конечной цели. Какой? Об этом я очень хотел бы узнать. Похоже на то, что именно он мог бы дать мне такое разъяснение. В какой мере это лихорадочное беспокойство молодых людей, хотя и бесполезное в настоящий момент, приготовит всё же почву для будущего? Соломин остается безмолвным...»[125].

В целом Шмидт отметил высокие художественные достоинства романа, который, по его мнению, написан Тургеневым в «совершенно новой художественной форме».

По поводу критического отзыва о «Нови» Ю. Шмидта Тургенев заметил, что он «*справедлив* настолько же, насколько и любезен» (письмо к Ю. Шмидту от 13(25) апреля 1877 г.).

Статью П. Линдау в «Gegenwart», посвященную «Нови», Тургенев охарактеризовал как «любезную и доброжелательную» и откликнулся на нее письмом к Линдау от 28 ноября (10 декабря) 1877 г.

В Германии, как и во Франции, процесс Веры Засулич усилил интерес к «Нови». Тургенев даже получил предложение от редактора «Gegenwart» (Пауля Линдау) написать для немецкого журнала статью о процессе. По этому поводу Тургенев писал Стасюлевичу 18(30) апреля 1878 г.: «История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу ⟨. . .⟩ Из Германии я получил настоятельное предложение написать статью об этом процессе, так как во всех журналах видят интимнейшую связь между Марианной в „Нови“ — и Засулич, и я даже получил название: der Prophet ⟨пророк⟩. На означенное предложение я, разумеется, отвечал отказом». «Несомненно, что после процесса Засулич „Новь“ всполошила немцев»,— писал Тургенев 24 апреля (6 мая) 1878 г. П. В. Анненкову, которому также сообщил о предложении Линдау [126].

В 1877 г. «Новь» была издана в Нью-Йорке на английском языке (в переводе с французского Т. Перри)[127]. Этот перевод выдержал ряд изданий. В 1878 г. роман Тургенева вышел в Англии отдельной книгой в переводе Э. Дилька[128], также позднее переиздававшемся. В 1883 г. «Daily News» следующим образом прокоммен-

---

[125] Там же. Цитируется в переводе Ю. Н. Жуйкина.

[126] Подробно об эпизоде с П. Линдау см.: Jonas G. Turgenevs Briefe an Paul und Rudolf Lindau (1874—1882).— I. S. Turgenev und Deutschland. Berlin, 1965. Bd. I, S. 108—145. Роман «Новь» способствовал появлению в социал-демократической немецкой печати ряда статей о революционном движении в России. См.: Jonas Gisela. Zwei Publikationen zu Ivan Turgenevs Roman «Neuland» im sozialdemokratischen Zentralorgan «Vorwärts» von 1877.— Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule «Erich Weinert», Magdeburg, 1980, N 5, S. 461—464.

[127] Virgin Soil. Translated with the author's sanction by T. S. Perry. New York, Holt, 1877.

[128] Virgin Soil. Translated by Ashton W. Dilke. London, 1878.

тировала факт обращения Э. Дилька к переводу «Нови»: «Сочинения его ⟨Тургенева⟩ имеют серьезный политический интерес, так как, в противном случае, покойный Эштон Дильк не взял бы на себя труд перевести его „Новь". ⟨. . .⟩ „Новь" является, в сущности, не столько романом, сколько серьезным и глубокообдуманным политическим трудом, а между тем никто не упрекнет роман этот в тяжеловесности. В нем автор задается целью поставить диагноз нигилизму и подвергает многие его фазы самому тщательному исследованию»[129].

Роман Тургенева вызвал отклики в английской и американской печати[130]. В «Атенеуме» появилось анонимное обозрение[131], посвященное разбору романа, которое Тургенев нашел написанным «весьма благосклонно, но с ультрарадикальной точки зрения» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 6(18) февраля 1877 г.). Тургенев предполагал, что эта статья была написана Дильком, но она принадлежала перу П. Л. Лаврова[132]. Среди английских и американских авторов, откликнувшихся на «Новь», были В. Рольстон[133] и Г. Джеймс[134]. По поводу рецензии Г. Джеймса Тургенев писал последнему 4(16) мая 1877 г.: «Хотя Вам эта книга понравилась меньше других—Вы к ней отнеслись очень благосклонно. Этому последнему произведению недостает чего-то, и такой тонкий ум, как Ваш, должен был сразу это заметить: а именно — полной свободы. ⟨. . .⟩ *Нужно было*, чтобы мой роман появился в России,— и это удалось не без труда и не без неприятных последствий для самого произведения».

«Новь» оказала несомненное влияние на роман американского писателя Г. Джеймса «Принцесса Казамассима» (1886). Об этом неоднократно писали английские и американские исследователи[135].

В течение 1877—1878 годов «Новь» появилась также на поль-

---

[129] Новости и Биржевая газета, 1-е изд., 1883, № 149, 30 августа, с. 3.

[130] Перечень статей и рецензий, появившихся в английской и американской печати и посвященных «Нови», см. в книге: Turgenev in English. Compiled by R. Yachnin and D. H. Stam. New York, 1962, p. 33—34.

[131] Athenaeum, 1877, vol. LXIX, № 2573, 17 февраля, p. 217—218.

[132] О статье П. Л. Лаврова см. с. 533.

[133] Ralston W. R. S. Russian revolutionary literature.— Nineteenth century, 1877, vol. I, p. 397—416.

[134] James Henry. Ivan Turgenef's new novel.— Nation, 1877, vol. XXIV, N 617, p. 252—253.

[135] См.: Lerner Daniel. The influence of Turgenev on Henry James.— The Slavonic and East European Review, vol. XX. 1941, 28—54; Cargill Oscar. «The Princess Casamassima»: a critical reappraisal.— Publications of the Modern Language Association of America, vol. LXXI, N 1, 1956, p. 97—117; Hamilton E. C. Henry James's «The princess Casamassima» and Ivan Turgenev's «Virgin soil».— The South Atlantic Quarterly, 1962, vol. LXI, N 3. p. 354—364. Подробнее об этом — в статье Ю. Д. Левина «Новейшая англо-американская литература о Тургеневе».— *Лит Насл*, т. 76, с. 505—540.

ском[136], чешском[137], сербском[138], венгерском[139], датском[140], шведском[141] и некоторых других языках.

В Румынии романы Тургенева стали переводить лишь в 1880-е годы, когда в широких слоях румынского общества усилился интерес к общественно-политическим и социальным вопросам. Характерно, что румынский перевод «Нови» под названием «Новое поколение» был опубликован в 1885 г. в социалистической газете «Drepturile omului»[142]. Публикации романа предшествовала «Библиографическая заметка», автор которой, Доброджану-Геря, писал: «Несмотря на то, что „Новое поколение" („Новь") далеко не полно изображает нигилистическое движение, мы находим в этом романе мастерское описание части этого движения и, что самое главное,— описание это сделано великим писателем»[143]. По поводу образа Марианны критик заметил, что «еще ни один великий писатель не создавал образ женщины с большей нежностью и уважением»[144].

«Новь» оставила заметный след в хорватской литературе. Исследователь русско-сербо-хорватских литературных связей А. Флакер[145] отметил воздействие этого романа на творчество Ксавера Шандора Джальского (1854—1935) и Юре Турича (р. 1861 г.).

«Джальский ⟨. . .⟩ следуя Тургеневу, обращался к вопросам, волновавшим хорватскую интеллигенцию, и в ряде своих романов создал образы хорватских интеллигентов своего времени и показал их мысли и стремления. Построение этих романов и обрисовка героев в основном тургеневские. А идеи, провозглашаемые Джальским, очень часто сродни идеям „постепеновца снизу" Соломина. Роман „В ночи" (1886), названный хорватской критикой „Нашей новью", очень похож на тургеневскую „Новь". Здесь мы находим критику хорватской радикально-демократической молодежи 80-х годов, главный герой романа Качич напоминает Нежданова, и, наконец, основную идею Джальский вкладывает в уста врача Луцича — постепеновца и противника „больших слов"»[146].

---

136 Dziennik Poznański, 1877—1878; Nowiny. Poznań, 1878.

137 Novina. Перев. V. Řežábek. Světozor, 1877.

138 Новина. Превео П. Тодоровић. Изд. «Мала библиотека», св. 3—4. Нови Сад, 1878. Перевод был снабжен послесловием П. Тодоровича, отражавшим социалистические симпатии его автора. См. рецензию А. Н. Пыпина на этот перевод (см.: *ВЕ*, 1877, № 12, с. 874—877; 1878, № 8, с. 826—832. Подписано: Д.).

139 Nov. (Uj föld). Regény. Forditotta: T. K. Budapest, 1877.

140 Det unge Rusland. Paa Dansk ved Vilh. Möller. Kjøbenhavn, 1878.

141 Obruten mark. Med författarens tillåtelse öfversatt från franskan. Stockholm, 1878. О влиянии романа „Новь" на скандинавских писателей см. в кн.: Ш а р ы п к и н Д. М. Русская литература в скандинавских странах. Л., 1975.

142 № 79—197; об этом см. в кн.: Румынско-русские литературные связи. М.: Наука, 1964, с. 125.

143 Там же, с. 136.

144 Там же.

145 См.: Ф л а к е р А. Тургенев и хорватская литература.— В кн.: *Орл сб, 1960*, с. 483—498.

146 *Орл сб, 1960*, с. 493. О влиянии Тургенева на Джальского см. также: S c h w a r z Camillo. Die Bedeutung Turgenev's für das

Еще более близок к «Нови» по своей композиции и основной идее рассказ Ю. Турича «Куда это ведет?» (1886). В основе многих других произведений Турича также лежит идея отношения интеллигенции к крестьянству (рассказы «Во мраке» — 1884, «Женихи» — 1908). Сцены, в которых молодые радикалы агитируют крестьян и призывают их к восстанию, живо напоминают Тургенева[147].

С т р . 135. *Офицерская улица* — ныне улица Декабристов.

С т р . 136. *...человек один подвернулся ненадежный ∽ и вовсе устранить.*— Намек на С. Г. Нечаева и его методы руководства революционной работой, которыми предусматривалась беспощадная расправа с недостаточно послушными единомышленниками, вплоть до убийства.

С т р . 139. *Титулярный советник* — по табели о рангах, введенной Петром I, чиновник 9 класса.

С т р . 140. *«Трусоват был Паклин бедный...»*— Шутливо видоизмененная первая строка стихотворения Пушкина «Вурдалак» (цикл «Песни западных славян», 1833—1834).

...в греческой кухмистерской...— Кухмистерская — небольшой ресторанчик, столовая.

С т р . 141. *...ищешь кондиции...*— Кондиция — временное место домашнего учителя, репетитора в отъезд. Об употреблении этого слова в произведениях Тургенева см. заметку Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 3, с. 175.

Пол-России с голода помирает...— Речь идет о голоде 1868 г., охватившем многие губернии России. Подробное описание этого голода см. в письме Тургенева к Н. С. Тургеневу от 16(28) июля 1868 г.

...«Московские ведомости» торжествуют...— Газета «Московские ведомости» издавалась при Московском университете с 1756 по 1917 год. В 1863—1887 годы ее редактором и издателем был М. Н. Катков — до 1873 года совместно с П. М. Леонтьевым. К этой газете и ее редактору М. Н. Каткову Тургенев с конца 1860-х годов относился с брезгливым негодованием.

С т р. 142. *И пишет он мне в своем прощальном письме ∽ оскорбить почтенную даму, севши к ней спиной!..*— Этот эпизод романа воспроизводит некоторые факты из истории отношений Тургенева с А. А. Фетом незадолго до их разрыва в 1875 г. А. А. Фет пишет в своих воспоминаниях: «Однажды в Петербурге я передал Тургеневу, что премилая жена племянника Егора Петровича Ко-

---

Schaffen von L. K. Lazarevič, Josip Kozarac und Ks. Š. Đalski. Diss. Wien, 1948.

[147] См.: *Орл сб*, *1960*, с. 494; см. также: К р а в ц о в Н. И. Тургеневский тип романа и славянские литературы XIX в.— В кн.: Проблемы сравнительного изучения славянских литератур. М., 1973, с. 306—322. О влиянии романа «Новь» на последующее развитие русской литературы см.: Я ш и н а В. Г. Проблема положительного героя в романах И. Тургенева «Новь» и Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов».— Научные труды Краснодарского пед. ин-та, 1968, вып. 60, с. 132—144; Ш п а к о в с к а я Е. А. Типологические особенности романов И. С. Тургенева и народнический роман.— В кн.: Русская литература 1870—1890-х гг., сб. 5. Свердловск, 1973, с. 79—94; Н а з а р о в а Л. Н. Тургенев и русская литература конца XIX — начала XX в. Л., 1979, с. 172—194.

валевского просит меня привести его к ней на вечерний чай. Раскланявшись с хозяйкой, Тургенев, поставив шляпу под стул, сел спиною к хозяйке дома и, проговоривши с кем-то всё время помимо хозяйки ⟨. . .⟩ раскланялся и уехал» (*Фет*, ч. 2, с. 305; см. также: Иванов Ив. И. С. Тургенев. СПб., 1896, с. 347). Фет напоминал об этом Тургеневу также в прощальном письме к нему, написанном 12(24) января 1875 г.: «Вы, в последний раз во Мценске ⟨. . .⟩ при Петруш⟨е⟩ Борисове дозволили себе отвернуться от моей неоконченной речи и обратиться в сторону, что изумило мальчика, воспитанного в законах приличия. Мальчик не изумился бы, если бы знал, что это у Вас в обычае, что Вы когда-то просидели целый вечер спиной к его матери, а затем к Ковалевской...» И далее о Н. Н. Тургеневе, который, будучи управляющим в имении Спасское, чуть не разорил писателя, пользуясь его имуществом, как своим собственным: «Вы могли бы прогнать старика дядю, не обижая его» (*Т сб (Бродский)*, с. 42).

Стр. 145. *Я сегодня встретил Скоропихина ∽ нашего всероссийского критика ∽ ни дать ни взять бутылка дрянных кислых щей....*— См. выше, с. 510.

Превредный для молодых людей индивидуй! — И это мнение Паклина о Скоропихине, под которым подразумевается В. В. Стасов, вполне разделяется самим Тургеневым. К числу молодых людей, испытавших вредное влияние Стасова, нередко по-нигилистически воспринимавшего западноевропейское классическое наследие в области живописи и музыки, Тургенев относил прежде всего художников И. Е. Репина и В. М. Максимова и, по-видимому, композитора Н. В. Щербачева. См. письма Тургенева: к В. В. Стасову от 3(15) апреля и от 14(26) июля 1875 г., к П. В. Жуковскому от 10(22) мая 1875 г.

... не считаете же вы Эйлера, Лапласа, Гаусса за отживших пошляков? — *Эйлер* (Euler) Леонард (1707—1783), *Лаплас* (Laplace) Пьер Симон (1749—1827), *Гаусс* (Gauss) Карл Фридрих (1777—1855) — крупнейшие ученые, сделавшие важные открытия в области математики, физики и астрономии.

Стр. 146. *«Колокол» уже не существовал...*— Очевидно, речь идет о прекращении издания газеты «Колокол» на русском языке (около 20 июля (1 августа) 1867 г.), так как после почти полугодового перерыва Герцен продолжил издание «Колокола» на французском языке с русскими прибавлениями (1-й номер вышел 1 января, последний — 1 декабря н. ст. 1868 г., см.: *Герцен*, т. 19, с. 488). Нелегальная доставка герценовских революционных изданий в Россию была сопряжена с большим риском.

Стр. 147. *По случаю приезда Садовского...*— Садовский Пров Михайлович (1818—1872) — артист московского Малого театра; почти ежегодно гастролировал в Петербурге.

Александринский театр — ныне Ленинградский гос. академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Стр. 148. *... не мог одобрить в ней явное желание унизить цивилизацию в карикатурном лице Вихорева.*— Намек на славянофильскую тенденцию пьесы Островского (см. письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 14, 15(26, 27) марта 1853 г. и примечания к нему).

Стр. 151. *...серебряный с чернью портфельчик...*— В данном случае — бумажник (от франц. portefeuille).

Стр. 152. *...камергер...*— Придворное звание. В России введено при Екатерине II. С 1809 г. звание стало почетным. С 1836 г. к званию камергера представлялись в России только дворяне, состоявшие на государственной службе и имевшие чин не ниже действительного статского советника. Камергеру полагалась регалия — золотой ключ на голубой ленте.

Стр. 153. *Wer den Dichter will versteh'n...* — Цитата из «Западно-Восточного дивана» Гёте (см. эпиграф авторского прозаического комментария к этому циклу стихотворений).

...поляки уходили «до лясу»...— Речь идет о польском восстании 1863 г. (а не 1862, как ошибочно пишет Тургенев), которое велось со стороны поляков в значительной степени методами партизанской войны в лесах Польши и Литвы.

Индийцы бросаются под колесницу Джаггернаута ᔕ Давить-то он нас давит, но блаженства не доставляет.— Джаггернаут — скульптурное изображение бога Вишну. Во время празднеств в честь Джаггернаута устраивалось шествие с его изображением на колеснице. Верующие в припадке фанатической преданности божеству бросались под колесницу и гибли. Образ «колесницы Джаггернаута» встречается также, почти в тех же словах, в одном из писем Тургенева к А. Ф. Отто-Онегину — прототипу Нежданова. «И в самом деле,— писал ему Тургенев 9(21) октября 1872 г.,— что за охота подражать индийским факирам, которые бросаются под колеса Джаггернаутовой колесницы? Те, по крайней мере, полагают, что, будучи раздавлены, попадают прямо в божественную „нирвану“; но мы, не разделяющие подобного образа мнения, будем просто раздавлены — и баста!»

Стр. 154. *Увидишь этих львиц, этих женщин с бархатным телом на стальных пружинах, как сказано в «Письмах об Испании»* — Паклин неточно цитирует слова Боткина: «Это гибкое, как шелк, тело лежит на стальных мускулах...» Та́м же, говоря о движениях испанок во время танцев, Боткин характеризует их как «прыжки раздраженного тигра» (Письма об Испании. СПб., 1857, с. 355).

...«амбрэ», о котором мечтала городничиха в «Ревизоре»! — См. действие V, явл. 1.

Стр. 159. *...«дантистом».*— Слово «дантист» в смысле «зубодробитель» впервые употреблено Гоголем в «Мертвых душах» (см. т. I, гл. 10); часто встречается в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. См. также изображение «...дантиста „прежней школы“» в главе XXVIII романа Тургенева «Дым».

...кретонных обоев и драпри...— Кретон (фр. cretonne) — плотная жесткая хлопчатобумажная ткань из окрашенной пряжи: драпри (фр. draperie)— занавеска, драпировка на двери.

Стр. 160. *...облик Сикстинской Мадонны...*— Сикстинская Мадонна — самое совершенное произведение Рафаэля, отличающееся особенно нежной красотой линий и тонов (1515—1519). Хранится в картинной галерее Дрездена.

Стр. 161. *«Revue des Deux Mondes»...*— Журнал, издающийся в Париже с 1831 г. Один из наиболее известных и распространенных французских литературно-политических журналов.

Стр. 163. *...Михаил, знаете... сербский князь... Обренович.*— Обреновичи — сербская княжеская, а затем королевская династия. Михаил III Обренович был князем Сербии с 1860 по 1868 г.

Это земство! — Подразумеваются органы местного самоуправления, созданные в ряде губерний европейской России по земской реформе 1864 г.

... моему другу — Ladislas... — См. выше, с. 487—488, а также с. 569.

Стр. 164. *Но не его прошедшее...* — Глухой намек на один из компрометирующих эпизодов в жизни Ladislas'a — Б. М. Маркевича.

Стр. 165. *... села на маленькое патэ...* — Патэ — кушетка.

Стр. 168. *... его немножко обошли на Святой.* — Сипягин не получил ожидаемой им награды к празднику Пасхи, когда обычно награждались чиновники.

Стр. 173. *... о выкупных сделках...* — После крестьянской реформы 1861 года крестьяне и помещики должны были договариваться (с помощью мировых посредников) об условиях и сроках «выкупа» земли, отходившей к крестьянам. Сделки затягивались надолго и к концу 1860-х годов были не везде закончены.

... о только что входившем в силу лицее г-на Каткова... — Официальное название этого учебного заведения, открытого в 1868 г.,— «Лицей в память цесаревича Николая». Несмотря на то, что М. Н. Катков не занимал в нем никакого официального поста, лицей был полнейшим осуществлением его программы высшего и среднего гуманитарного образования. Преподавание в лицее велось на классической основе; очень много времени отводилось на изучение греческого и латинского языков.

... о войне 66-го года... — Имеется в виду австро-прусская война 1866 года.

... о Наполеоне III, которого Калломейцев величал молодцом. — Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) — французский император с 1852 по 1870 г. На всем протяжении правления Наполеона III отношение Тургенева к нему было неизменно отрицательным. С особой силой оно проявлялось в ходе франко-прусской войны. Так, в письме к П. В. Анненкову от 27 июля (8 августа) 1870 г. Тургенев писал: «...в одном бесповоротном падении наполеоновской империи вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе: оно было немыслимо, пока *это* безобразие не получило достойной кары».

Рёдерер — распространенный сорт шампанского.

Стр. 175. *... одну настоящую регалию...* — *Регалия* («царская») — высший сорт сигар.

Шатобриан (Chateaubriand) Франсуа Рене (1768—1848) — французский писатель, занимавший в эпоху Реставрации пост министра иностранных дел.

Стр. 176. *... несколько «песен без слов» Мендельсона.* — «Песни без слов» (1832—1845) — сорок восемь небольших лирических сочинений для фортепьяно немецкого композитора Мендельсона (Mendelssohn-Bartholdy) Якоба Людвига Феликса (1809—1847).

Стр. 178. *Весь спрятан в галстух, фрак до пят... Усы, дискант — и мутный взгляд.* — Цитата из поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша» (1838), строфа XLIV.

Стр. 179. *... предпочитает Кукольника Пушкину...* — Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — поэт, прозаик и драматург, автор ходульно-патриотических трагедий. Подробнее о нем см.: *Т, Сочинения*, т. 1, с. 272—297, 572—573.

... с поднизями на лбах... — *Поднизи* — украшения из нитей бисера.

... красными ластовицами... — *Ластовицы* — цветные вставки под мышками мужской рубахи.

Стр. 180. ... *тропарь* (греч. troparion) — церковная песнь в честь какого-нибудь праздника или святого.

Благочинный — священник, наблюдавший за несколькими приходами.

Стр. 181. ... *Сипягин достиг наконец истинного красноречия...* — Речь Сипягина и ряд других его черт: наружность и манеры напоминают изображение министра в сатире А. К. Толстого «Сон Попова», которая очень нравилась Тургеневу. В ноябре 1874 г. А. К. Толстой писал жене о Тургеневе: «...он мне говорил с большой хвалой о моем *Кануте* и о *Попове*, которого Фет ⟨. . .⟩ ему *прочел наизусть* с большой maestria — так он говорит» (*ВЕ*, 1897, № 7, с. 120). А в гл. XXIV речь Сипягина выдержана «в характерно щедринских тонах» (см.: Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 232).

Пиль (Peel) *Роберт* (1788—1850) — английский государственный деятель, лидер консерваторов.

Стр. 183. *Читал ли ты в «Вестнике Европы» статью о последних самозванцах в Оренбургской губернии?* ∽ *вещь интересная и может навести на мысли...* — Подразумевается статья Н. А. Середы «Позднейшие волнения в Оренбургском крае». Тургенев допускает ошибку в хронологии событий, описанных в этой статье; в действительности они происходили не в 1834 г., как говорится в романе, а в 1843—1845 гг. В первой половине статьи (*ВЕ*, 1868, № 4) шла речь о восстании государственных крестьян, вызванном ложными «грамотами» и слухами о переводе их в крепостное состояние (1843). Во второй части, напечатанной в августовской книжке «Вестника Европы» за тот же год под названием «Самозванец 1845-го года», рассказывалось о появлении в Челябинском уезде Оренбургской губернии бродяги в солдатской одежде, выдававшего себя за цесаревича Константина Павловича и обещавшего крестьянам свою защиту от притеснений местных дворян и чиновников. «Солидарность» самозванца «с желаниями народа,— отмечалось в статье Н. А. Середы,— чрезвычайно пришлась по душе легкомысленным мирянам ⟨. . .⟩ толпы легковерного народа встречали его восторженно» (*ВЕ*, 1868, № 8, с. 634). Упоминание о статье Н. А. Середы давало повод намекнуть в романе на некоторые характерные особенности тактики народников, стремившихся использовать в интересах своего революционного дела веру темной крестьянской массы в народолюбие царя. Вспоминая о движении семидесятников, народник С. Ф. Ковалик писал: «Некоторая часть молодежи увлеклась идеей самозванства и думала, что если бы явился новый Пугачев в качестве самозванного царя, то социальный строй России можно было бы изменить несколькими указами. Другие мечтали о том, что было бы недурно использовать с целью революционной пропаганды слухи, которыми, за отсутствием достоверных сведений, питаются неграмотные люди» (Былое, 1906, декабрь, с. 80). Тактика народников-бунтарей аналогичным образом характеризуется и в воспоминаниях В. Фигнер: «Агитация, всевозможные тенденциозные слухи, разбойничество и самозванщина — вот средства, пригодные для революционера ⟨. . .⟩ Современное положение

крестьянства таково, что недостает только искры» (*Фигнер*, т. 1, с. 100).

Стр. 186. *Строфокамил* (греч.) — страус. Более правильное написание этого слова — строфокамиль (см.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1912. Т. III, с. 561).

... привел стих Хемницера: «И пифик слабоум, списатель зверских лиц!» — Этот стих принадлежит не И. И. Хемницеру (1745—1784), а Д. И. Фонвизину (1744—1792),— цитата из басни «Лисица-кознодей». Пифик (греч.) — обезьяна.

Стр. 187. *Смит* (Smith) Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ, один из основоположников классической буржуазной политической экономии.

Стр. 189. *... прочтите это. От Василия Николаевича...*— Под именем Василия Николаевича Тургенев разумеет С. Г. Нечаева, что подтверждается записью во второй редакции конспекта «Нови»: «Удивление Нежданова, когда вечером М⟨аркелов⟩ приходит к нему — и знакомится с ним и передает ему письмо от X (т. е. Нечаева)» (с. 415).

Стр. 193. *... китайчатой рубахой...*— Рубахой из китайки — гладкой хлопчатобумажной ткани, первоначально привозившейся из Китая.

Стр. 199. *... на свой салтык...*— На свой лад (от тюрк. salt— повадка, обычай).

Стр. 200. *«Была яма глубока... а теперь и дна не видать...»*— Этими же словами антагонизм между помещиками и крестьянами охарактеризован в повести «Степной король Лир» (см. наст. изд., т. 8).

Мухояровый...— То же, что муаровый — сшитый из муара. Муар (арабск. muhajjar)— плотная рубчатая шелковая ткань, отливающая на свету.

Стр. 202. *Милый друг, когда я буду...*— Это стихотворение полностью перепечатано в хрестоматии П. Ф. Якубовича «Русская муза». Собрание лучших оригинальных и переводных стихотворений русских поэтов XIX века. СПб., 1904.

Стр. 203. *... обшитые рюшами рукава...*— Рюш (фр. ruche)— полоска сборчатой легкой ткани, идущей на обшивку более тяжелой («обшитые рюшами рукава»...)

Стр. 213. *... «Темна вода во облацех».*— Выражение возникло из библейского текста (Псалтырь, 17, 12) (см.: Ашукин Н. С. и Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1960, с. 599). Вопросно-ответная схоластическая система обучения «закону божию» была издавна введена в семинариях, но особенно прочно вошла в школьный обиход после издания известного «Катехизиса» митрополита Филарета московского.

Стр. 214. *Ринальдо Ринальдини* — «благородный» разбойник, герой одноименного романа Христиана Августа Вульпиуса (1762—1827).

Стр. 215. *... Михаила ∽ убили в Белграде!* — Михаил Обренович (см. выше, с. 546) был убит сторонниками Карагеоргиевичей 10 июня 1868 г. в Топчидерском парке близ Белграда.

Карагеоргиевичи — княжеская династия в Сербии, основанная национальным героем Сербии, борцом против турецкого ига Кара-Георгием (Георгий Петрович Черный, 1752—1817). Борьба за власть

между Карагеоргиевичами и Обреновичами с переменным успехом продолжалась в течение многих десятилетий (до 1903 года).

Стр. 216. *... упомянул он о великих московских публицистах...* — Иронический намек на редакторов «Московских ведомостей» и «Русского вестника» М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева.

Клеврет — приспешник, приверженец в каком-нибудь дурном деле.

... князь Коврижкин! — См. выше, с. 510.

Стр. 218. *Тре́моло* (итал. tremolo) — очень быстрое повторение, чередование одного или нескольких звуков, производящее впечатление дрожания.

... вергилиевское: Quos ego! *(Я вас)...* — Угроза бога морей Нептуна ветрам (см. поэму Вергилия «Энеида», I, ст. 135).

Стр. 223. *Первый по Москве алтынник. Буржуй — одно слово*! — Слово буржуазия и его производные в их современном терминологическом значении окончательно утвердились в русском литературном языке в последней четверти XIX века, вместе с развитием и победой капиталистических отношений. См. об этом: Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века. М.; Л., 1965, с. 89—90. Автор названной работы ссылается на П. Д. Боборыкина, который употребил слово «буржуй» в своем романе «Василий Теркин». Роман «Новь» свидетельствует о том, что Тургенев знал и весьма кстати употреблял это слово задолго до Боборыкина («Василий Теркин» впервые опубликован в журнале «Вестник Европы», 1892, № 1—6). См. также об этом заметку Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 3, с. 172—173.

Стр. 224. *Фактотум* — доверенное лицо, выполняющее всяческие поручения (от лат. fac totum — делай все).

Стр. 226. *Ищите и обрящете.*—Цитата из Евангелия (Матф., гл. VII, ст. 7).

Стр. 227. *... упомянул об антагонизме Гейне и Бёрне...*— В 1840 г. Генрих Гейне (1797—1856) выпустил книгу «Генрих Гейне о Людвиге Бёрне», в которой подверг критике политические и эстетические концепции немецкого публициста Бёрне (Börne) Карла Людвига (1786—1837) и беспощадно высмеял псевдореволюционное фразерство его последователей. В этой полемике на стороне Гейне был Карл Маркс, писавший ему в начале апреля 1846 г. по поводу его книги о Бёрне: «Вряд ли в какой-либо период истории литературы какая-нибудь книга встречала более тупоумный прием, чем тот, какой оказали Вашей книге христианско-германские ослы» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М., 1962. Т. 27, с. 393). Об антагонизме Гейне и Бёрне Нежданов упоминает, очевидно, под свежим впечатлением от статьи Д. И. Писарева «Генрих Гейне» (1867), значительная часть которой была посвящена именно этому вопросу.

... о реализме в искусстве...— Возможно, это еще один намек на полемику между реалистами и идеалистами в искусстве, вспыхнувшую после опубликования в третьем номере еженедельного журнала «Пчела» за 1875 г. статьи В. В. Стасова «Илья Ефимович Репин», в которой были преданы гласности некоторые письма Репина, содержавшие весьма резкие суждения о Рафаэле. Стасов отвечал оппонентам Репина уже после выхода в свет «Нови» — в статье «Прискорбные эстетики» (Новое время, 1877, № 3113, 8 января). Возмущение суждениями Репина и Стасова о Рафаэле Тургенев вы-

разил не только в романе, но и в ряде своих писем (см. выше, с. 510 и 545).

Доводы Репина и Стасова, отрицавших Рафаэля во имя реализма, вызвали раздражение и у Достоевского, причем, (и по-видимому, не случайно) непосредственно после появления в печати тургеневского романа. Об этом свидетельствует его помета в третьей главе «Дневника писателя» за март 1877 г. (см. подглавку «Похороны „Общечеловека"»): «...пуще всего хотелось бы ввернуть хоть два слова об идеализме и реализме в искусстве, о Репине и о господине Рафаэле». Иронический по отношению к Стасову и Репину контекст этой заметки вне сомнения. Дело в том, что в статьях Стасова «Илья Ефимович Репин» и «Прискорбные эстетики» непрестанно назывался «господином» только Репин. Еще раньше, в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (см. гл. 1, § II. Запоздавшее нравоучение) Достоевский саркастически упоминал о «гордых невеждах», демонстрирующих свое невежество в заявлениях вроде следующего: «Я ничего не понимаю в Рафаэле». Все это вносит некоторые существенные поправки в обычные представления о безоговорочно отрицательном отношении Достоевского к автору «Нови».

Прозелит (греч. prosēlitos — пришелец) — человек, принявший новую веру. Новый и горячий приверженец чего-нибудь.

С т р. 228. *Мнемоника* (греч. mnēmonikē) совокупность правил и приемов, имеющих целью облегчить запоминание возможно большего числа сведений, фактов.

...дополнил теорию страстей Фуриэ...— В основе этой теории социалиста-утописта Шарля Фурье (Fourier) (1772—1837) лежало убеждение, что общество должно быть построено с учетом природы человека, его страстей, гармоническое удовлетворение которых принесет счастье всему человечеству. Фурье полагал, что такое удовлетворение всех человеческих «страстей» возможно в обществе, разделенном на классы.

...*«не пройдет над миром безо всякого следа».*— Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Дума» (1838). У Лермонтова: «Над миром мы пройдем без шума и следа...»

Люби не меня — но идею! — Название стихотворения студента-медика В. Г. Дехтерева — см. с. 486 и 573.

С т р. 229. ... *москательным товаром...*— Москатель (от перс. mušk — мускус) — разные химические вещества (краски, клей, масло и др.) как предмет торговли.

...из староверов-федосеевцев.— Федосеевцы — одна из разновидностей старообрядчества, возникшая в начале XVIII века на северо-западе России. Основателем первой общины федосеевцев был новгородский дьячок Феодосий Васильев. Федосеевцы не признавали молитвы за царя, налога за принадлежность к расколу, введенного Петром I, и т. п. Обычно во главе общин федосеевцев, центром которых с 1771 г. стала московская община под названием «Преображенское кладбище», стояли крупные купцы-предприниматели.

С т р. 230. ... *«Поцелуй» Моллера...*— Моллер Федор Антонович (1812—1874) — русский художник, автор картин на исторические и жанровые сюжеты, портретист, ученик К. П. Брюллова. За картину «Поцелуй» получил звание академика.

С т р. 231. *Макончик* — макон, французское (бургонское) красное вино.

Стр. 233. ... *бланжевого цвету...* — Телесного цвета (от франц. blanche — белый).

Стр. 235. ... *сделай какой-нибудь фармазонский знак...* — Фармазонами назывались в просторечии конца XVIII — начала XIX в. члены масонских обществ (франкмасоны), узнававшие друг друга по условным знакам.

Стр. 236. ... *ни дать ни взять Иоанн Предтеча, наевшийся акрид... одних акрид, без меда!* — По евангельскому преданию, Иоанн Предтеча, или Креститель, суровый обличитель пороков своего времени, жил в пустыне, питаясь только акридами (вид саранчи) и медом.

Стр. 237. ... *всякие новости* ∽ *белых арапов...* — Упоминания о «белых арапах» и «Белой Арапии» встречаются также в «Сценах и типах на сельской ярмарке» А. Левитова (см.: Левитов А. Собр. соч. М., 1884. Т. 1, с. 16) и в пьесах А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда» (д. II, явл. 3) и «Тяжелые дни» (д. I, явл. 1). См. статью В. И. Чернышева «Темные слова в русском языке». — Сб. «Академия наук СССР, XLV, академику Н. Я. Марру». М.; Л., 1935, с. 396. В заметке Н. А. Крылова «Откуда пошли белые арапы» содержится следующее свидетельство: «Полвека назад среди отставных матросов черноморского флота много еще было в живых, которые помнили *поход под белого арапа.* Так матросы и пехотный десант с полевыми артиллеристами называли помощь императора Николая Павловича, которую в 1833 г. он оказал турецкому султану против взбунтовавшегося египетского хедива. Белоарапия и белые арапы еще и до сих пор популярны среди жителей наших южных губерний» (*ИВ*, 1906, № 5, с. 694—695).

Стр. 238. *...голубцы на точеных столбиках...* — Голубец или голбец — деревянная приделка к печи, с лазом на полати, со сходом в подполье или в подпечек.

...выткан в Утрехте или Лионе еще во времена императрицы Елизаветы! — Утрехт (Нидерланды) и Лион (Франция) славились своими бархатами и шелковыми материями. Времена Елизаветы — 1741—1761 годы.

...пропитанный запахом ворвани... — Ворвань — жир, вытопленный из морских животных (кита, тюленя).

Стр. 239. *...читали из «Приятного препровождения времени», «Зеркала света» или «Аонид»...* — Издания конца XVIII века. «Приятное и полезное препровождение времени», орган карамзинистов; выходил с 1794 по 1798 г. в качестве приложения к газете «Московские ведомости» (редакторы В. С. Подшивалов и П. А. Сохацкий). «Зеркало света» — еженедельный петербургский журнал; выходил с 1786 по 1787 г. «Аониды» — альманах Н. М. Карамзина; в течение 1796—1799 гг. вышло три книги этого альманаха.

Квестор (лат. quaestor) — В древнем Риме — финансовый уполномоченный, казначей.

Стр. 241. *...в кребс, в ламуш или даже в бостон сампрáндер!* — Об этих старинных карточных играх см. заметку Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 3, с. 176—177.

Стр. 242. *...черными силуэтками...* — Силуэтка — то же, что силуэт. В словарях русского языка эта форма не приведена. Тургенев мог заимствовать ее из мемуаров П. А. Вяземского «Из старой записной книжки», где оно употреблено впервые (см.: *Рус Арх*, 1874, № 1, с. 185—186: «Подъехав к себе и выходя из кареты, увидел он, чрез окно, *силуэтку Балашева, которая рисовалась на стене*

кабинета его: подлинные слова, сказанные Магницким, который, вероятно, передавал их из письма к нему Сперанского»).

...анекдотом о городничем, проникнувшем в набитую битком церковь, и о пироге, который оказался тем же городничим...— См. «Мертвые души» Н. В. Гоголя, т. II, гл. III (Чичиков у П. П. Петуха).

С т р. 243. *...курпей себе зашиб.— Курпей* — ягнячья овчина, смушка, мерлушка (от татарск. курпячь — овца). Фомушка, очевидно, подразумевал ушиб головы, на которой была «баранья шапка».

С т р. 244. *Ножан-Цент-Лорран.*— Ножан-Сен-Лоран (Nogent-Saint-Laurens, 1814—1871) — французский адвокат и политический деятель в эпоху Наполеона III.

Наполеон — Наполеон III, император Франции с 1852 по 1870 г.

...сохранялся рукописный «Кандид»...— Русский перевод повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

...фосс-паркэ! ∽ старое парламентское выражение...— Сло́ва «фосс-паркэ», употребляемого Тургеневым также в пьесе «Холостяк», в словарях французского языка нет. См.: А л е к с е е в М. П. «Фосс-паркэ» в текстах Тургенева.— *Т сб*, вып. 3, с. 185—187.

С т р. 245. *На то ль, чтобы печали...*— Источник не установлен.

С т р. 254. *Прогимназия.*—Учебное заведение, учрежденное в 1864 году в местностях, не имеющих гимназий. Сначала прогимназии состояли только из четырех низших гимназических классов (в обычной гимназии было шестилетнее обучение).

С т р. 263. *...мужики двоят поднятый пар.*— Перепахивают вторично (в середине лета, до уборки) пары, «поднятые» (т. е. вспаханные) с осени, приготовляя их для посева озимых.

С т р. 266. *Навуходоносор* (VI век до н. э.)— вавилонский царь. Здесь в смысле: нечто очень далекое от нас.

С т р. 273. *...non bis in idem!* — Выражение римского права, в значении: нельзя дважды судить за одно и то же.

С т р. 284. *...произнес длинную, обстоятельную речь.*—Речь Сипягина напоминает речи героев Салтыкова-Щедрина (см., например, «Помпадуры и помпадурши» и «Господа ташкентцы»), а также речь министра в «Сне Попова» А. К. Толстого.

С т р. 287. *...к Егорью* — к 23 апреля ст. ст.

...на Казанской — 8 июля ст. ст.

«Знай кулик свой шесток! или: «Красна изба углами!»— Пословицы в передаче Сипягина грубо искажены. Нужно: «Всяк сверчок знай свой шесток!» и «Не красна изба углами, а красна пирогами». Тургенев делает это, чтобы резче подчеркнуть хвастливо показной и барский, крайне поверхностный характер знакомства Сипягина с «сутью народной жизни».

...благодаря князю Коврижкину...— Здесь подразумевается князь П. А. Вяземский, который впервые под фамилией Коврижкин задет Тургеневым в повести «Вешние воды» (см. наст. изд., т. 8, с. 526).

«Патакэсы» (pataquès) — искажения слов в устной речи (из анекдота: je ne sais pas-t-à qu'est-ce вместо pas à qui est-ce).

С т р. 288. *Tu l'as voulu, Georges Dandin!* — Цитата из комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (д. I, явл. IX). Здесь в смысле: ты сама подготовила то, что случилось.

С т р. 294. *Стифенсон* — (Stephenson) Джордж (1781—1848)— английский изобретатель, положивший начало развитию парового железнодорожного транспорта.

С т р. 298. *Retournons à nos moutons*, точнее: Revenons à vos moutons.— Фраза из комедии Брюэса (Bruèys) и Палапра́ (Palaprat) «L'avocat Patelin» («Адвокат Патлэн», 1706), почерпнутой из анонимного фарса XV века. См.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. II, с. 240, 542.

...раздушенный иланг-илангом батистовый платок....— Иланг-иланг — ilang-ilang, или ylang-ylang,— духи, добываемые из растения того же названия, растущего на Молуккских островах (Индонезия).

С т р. 299. *... говорят, даже Рашели в «Баязете» Расина не удавалось это «Sortez!»...*— Речь идет об исполнении французской трагической актрисой Элизой Рашель (Rachel, 1820—1858) роли султанши Роксаны в трагедии Расина «Баязет», написанной в 1672 г. Надменное «прочь», «уходи», «сокройся» встречается в «Баязете» очень часто (см., например, д. V, явл. 2 и 4). Тургенев не раз видел Рашель в трагедиях классического и современного репертуара (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, по именному указателю). Он относился критически к ее игре, видя в ней лишь превосходно разработанную технику, не одушевленную подлинным чувством.

С т р. 302. *... сено на дне было волжко...*— То есть сыро, влажно.

С т р. 304. *... из коричневого драдедама...*— Драдедам (drap de dames) — тонкое (дамское) сукно.

С т р. 313. *... кволенькие...*— Слабенькие.

...в куролеску сажать! — Куролеска — в данном случае место заключения, тюрьма (по аналогии с просторечными словами кутузка, сибирка и т. п.). Первоначальное значение этого слова раскрыто в тургеневском очерке «О соловьях» (1854), написанном «со слов одного старого и опытного охотника из дворовых людей»: «Как поймаешь соловья, тотчас свяжи ему кончики крылышек, чтобы не бился, и сажай его скорее в куролеску — такой ящик делается низенький, сверху и снизу холстом обтянут». Слово «куролеска», не зафиксированное в словарях XIX века, было хорошо известно и М. Е. Салтыкову-Щедрину (см.: Д р я х л у ш и н А. М. Субстантивная синонимически сближенная лексика в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина.— Уч. зап. Саратовского гос. пед. ин-та, т. 43, 1965, с. 228—229).

С т р. 314. *Соч. Д-ва, т. IV, с. 615.*— Четвертый том собрания сочинений Н. А. Добролюбова, на который сделана ссылка Тургенева, вышел в свет в 1861 г. под редакцией Н. Г. Чернышевского.

С т р. 316. *Выростковые сапоги* — сапоги, сшитые из телячьей кожи.

С т р. 317. *«Сказка о четырех братьях»* (точное название — «Четыре странника, или Правда и кривда», 1868) — народническая пропагандистская брошюра, в которой резко критиковался социально-экономический и политический уклад в России. Вместо этой брошюры Тургенев упоминает в черновом автографе «Нови» другую народническую брошюру «Хитрая механика» (полное название: «Хитрая механика. Правдивый рассказ, откуда и куда идут мужицкие денежки»). Позднее он должен был от этого отказаться в связи с замечанием А. Ф. Кони, отметившего анахронизм: брошюра вышла в свет в середине семидесятых годов, между тем как дей-

ствие в романе приурочено к 1868 г. (см.: *Стасюлевич*, т. 3, с. 105). В «Хитрой механике» разоблачался сам царь в качестве первого и самого жадного в России помещика, указывалось на причины огромных государственных долгов, критиковалась грабительская система налогов и т. д. По свидетельству народника С. Ф. Ковалика (1846—1926), эти брошюры пользовались «наибольшим успехом в народе» (Былое, 1906, декабрь, с. 60). Автором «Сказки о четырех братьях» был революционер-народник Л. А. Тихомиров (1852—1923), впоследствии отрекшийся от своих революционных убеждений и перешедший в лагерь реакции, а автором «Хитрой механики» — известный статистик и экономист В. Е. Варзар (1851—1940).

Окопировался — искаженное экипировался, от франц. équipement — обмундирование, снаряжение.

Стр. 322. *Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно...*— Заключительные строки из стихотворения Лермонтова, посвященного А. О. Смирновой («Без вас хочу сказать вам много...», 1840).

«...все, решительно все люди, с которыми я разговаривал,— недовольны; и никому не хочется даже знать, как пособить этому недовольству! — Это наблюдение тургеневского героя подтверждается современниками. Почти теми же словами переданы впечатления о настроениях крестьянства и в воспоминаниях народницы-пропагандистки Е. К. Брешковской (1844—1934). Народ,— отмечала она,— «буквально *везде*, где мне приходилось говорить с ним, жаловался на увеличивающуюся бедность и дороговизну, на непосильные поборы, на самое нахальное притеснение со стороны начальства. Начальство и господа виновны в бедственном положении народа, в этом каждый мужик уверен непоколебимо, но как избавиться от этих бичей, даже возможно ли избавиться,— вопросы не только не решенные, но почти нигде не поднятые» (см.: Кутищев Ф. Некоторые комментарии к роману И. С. Тургенева «Новь».— Русская литература, 1964, № 1, с. 163).

Стр. 323. *Шалопут* — то же, что шалопай, то есть бездельник, повеса. См. заметку Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 5, с. 333—334.

Целовальник — Продавец вина в питейных домах, кабаках.

Вальяжно — от просторечного глагола вальяжиться, т. е. чваниться, важничать, величаться.

Вроде гоголевского «моветона»— помнишь, в «Ревизоре».— Имеется в виду строка из письма Хлестакова: «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон» (д. V, явл. 8).

Стр. 324. ... *предложила ему читать вслух из Шпильгагена.*— Речь идет о романе немецкого писателя Ф. Шпильгагена (1829—1911) «Один в поле не воин» («In Reih und Glied»), который привлекал русского демократического читателя изображением крестьянского восстания. В статье Г. В. Прохорова «Из цензурной истории перевода на русский язык романа Шпильгагена „Один в поле не воин“ и предисловия к нему» отмечается: «Русский перевод этого романа сделал известным имя Шпильгагена и в России; роман имел у нас большой успех; сначала он печатался в журнале „Дело“ (1866—1867 гг.), тогда же появилось и отдельное издание романа; вскоре вышло второе издание, в 1871 г.— третье, в 1873 г.— четвертое...» (Уч. зап. Лен. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1941, т. XLI с. 354). В журнале «Дело» роман Шпильгагена печатался с большими пропусками под названием «Семейство лесничего» (см. там же, с. 355).

С т р. 327. *Да ведь книжек и без того уже довольно. И таких, что говорят: «Перекрестись да возьми топор», и таких, что говорят: «Возьми топор просто».*— Речь идет о народнической подпольной литературе, призывавшей крестьян к восстанию против царя и помещиков. Выражения «Перекрестись да возьми топор», «Возьми топор просто» восходят к напечатанному в «Колоколе» анонимному «Письму из провинции», заканчивавшемуся обращением к Герцену: «К топору зовите Русь...» (Колокол, 1860, лист 64, 1 марта, с. 535).

Повести из народного быта с начинкой сочинять? — В черновом автографе этой фразе соответствует вариант: «Повести из народного быта сочинять вроде братьев Успенских и иных?» В окончательном тексте романа Тургенев устранил выпад против «Успенских и иных», так как в семидесятые годы его критическое отношение к творчеству этих писателей значительно смягчилось (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. VII, с. 455).

С т р. 338. ... *он начал окликать, останавливать проходивших мужиков ∽ не обращая внимания на его возгласы...*— Об известной типичности таких наивных форм пропаганды свидетельствуют воспоминания П. А. Кропоткина, который писал, например, о С. М. Степняке-Кравчинском (1851—1895): «Он был лет на десять моложе меня и, быть может, не вполне еще отдавал себе отчет, какую упорную борьбу вызовет предстоящая революция. Впоследствии он с большим юмором рассказывал эпизод из своего раннего хождения в народ. „Раз,— рассказывал он,— идем мы с товарищем по дороге. Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по Писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой; но и мы побежали вслед, и всё время я продолжал ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь; но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье“» (К р о п о т к и н П. Записки революционера. Лондон — СПб., ⟨1906⟩ с. 268; ср.: К у т и щ е в Ф. Некоторые комментарии к роману И. С. Тургенева «Новь».— Русская литература, 1964, № 1, с. 163).

С т р. 341. *Какому Молоху собиралась она принести себя в жертву?* — Молох — семитическое божество, поклоняясь которому, верующие приносили человеческие жертвы. Самой угодной жертвой считались дети знатных фамилий. Появление образа именно Молоха в переживаниях и размышлениях Марианны обусловлено, по-видимому, и тем, что она — тоже отпрыск знатной фамилии, дочь генерала.

С т р. 343. ... *жертвует в гимназию портрет митрополита Филарета...*— Митрополит московский Филарет (Василий Михайлович Дроздов, 1783—1867) — ярый реакционер, автор «Катехизиса православной веры», изучавшегося в школах.

С т р. 346. ... *римлянка времен Катона. Утического Катона!*— Катон Марк Порций Младший (Marcus Porcius Cato Minor), или Утический (95—46 до н. э.),— республиканец, враг Юлия Цезаря, отличавшийся мужеством и твердостью характера. Покончил с собой в Утике после победы Цезаря над своими противниками при Тапсе; отсюда его прозвание Утический, в отличие от его предка Катона Старшего (Цензора).

С т р. 352. *Паклин — Конопатин.*— Аналогичный прием искажения фамилии см. в «Дневнике лишнего человека» (Чулкатурин — Штукатурин).

С т р. 353. *J'en mettrais ma main au feu.*— Поговорка, связанная со средневековым обычаем давать клятву на огне в доказательство истинности своих слов.

С т р. 354. ... *в камлотовой шинели...*— Камлот (фр. camelot)— грубая бумажная ткань полотняного переплетения, из крученой двухцветной пряжи.

С т р. 355. ... *«в чепце, в ночном платочке»...*—Неточная цитата из поэмы Пушкина «Граф Нулин» (1825). У Пушкина: «В ночном чепце, в одном платочке».

Тьер (Thiers) Адольф (1797—1877) — французский историк и государственный деятель, глава правительства в эпоху июльской монархии и после свержения Наполеона III, президент Франции в 1871—1873 гг.

С т р. 356. *Русского мужика даже в бунт можно вовлечь не иначе, как пользуясь его преданностью высшей власти, царскому роду.*— Эта мысль была не чуждой самим народникам, стремившимся в отдельных случаях положить ее в основу своей деятельности. Так, в 1877 г., после неудачных попыток вызвать восстание, народник Я. В. Стефанович (1853—1915) распространял среди крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии якобы самим царем написанную «Высочайшую тайную грамоту», в которой крестьяне призывались к расправе над помещиками. Прибегая к такой тактике, Стефанович организовал «тайную дружину» из крестьян; однако заговор был раскрыт и жестоко подавлен.

Должно выдумать какую-нибудь легенду — вспомните Лжедимитрия ∽ царские знаки на груди...— Об идеях самозванства, имевших распространение в народнической среде, см. в примечании к с. 183. «Царские знаки», напоминавшие двуглавого орла, показывал на своей груди казакам Е. И. Пугачев. Последний самозванец Оренбургского края, о котором шла речь в статье Н. А. Середы, упоминаемой в гл. VIII «Нови», в подтверждение своего «царского» происхождения показывал мужикам «грудь, заросшую волосами в виде правильного креста ⟨. . .⟩

— Такая грудь только у царских детей бывает, ребята!

— Знамо дело! — согласились крестьяне» (*ВЕ*, 1868, № 8, с. 635).

С т р. 359. *...быть «пастырями народов»...*— «Пастырь народов» — наименование Агамемнона (Атрида), неоднократно употребляемое Гомером (ср. «Илиаду» в переводе Н. И. Гнедича, песнь 1, ст. 7).

С т р. 364. *Рамификации* — ответвления (от франц. ramification).

С т р. 367. *Конфуций* или Кун-фу-цзы (551—479 до н. э.) — китайский философ.

Тит Ливий (Titus Livius — 59 до н. э.— 17 н. э.) — Древнеримский историк.

С т р. 368. *Pas trop de zèle...*— Поговорка, приписываемая знаменитому французскому дипломату Талейрану Перигору Шарлю Морису (1754—1838) (см. письмо Тургенева к И. П. Борисову от 12(24) февраля 1869 г. и примеч. к нему).

С т р. 369. *До зобаченья!* — До свидания (польск.).

...говорят и, пожалуй, напишут: некто г-н Паклин всё расска-

зал, выдал их...— своих друзей выдал врагам! — Намек на зарубежные народнические издания, в которых со второй половины семидесятых годов стали появляться заметки и сообщения о предателях. Так, например, в январско-февральской книжке журнала «Набат» за 1876 г. была напечатана заметка «Смерть предателям!», заканчивавшаяся призывом к мести (см.: Кутищев Ф. Некоторые комментарии к роману И. С. Тургенева «Новь».— Русская литература, 1964, № 1, с. 162).

...«*плакася горько*»...— Цитата из Евангелия (Матф., гл. XXVI ст. 75).

Стр. 378. *...описание смерти Ленского.*— «Евгений Онегин», гл. VI, строфы XXXI и XXXII.

Стр. 383. *...снабдили паспортом, выданным на имя некоей графини Рокка ди Санто-Фиуме ⁓ ни слова не понимала по-итальянски и имела лицо самое русское.*— Отвечая на критические замечания по поводу этого эпизода «Нови» , Тургенев 8(20) февраля 1877 г. писал А. В. Головнину: «Что касается италианского паспорта Машуриной — Вы совершенно правы: это была с моей стороны шалость, которую не следовало допускать в серьезном произведении».

Стр. 385. *Потому ведь мы, русские, какой народ? ⁓ рви зуб!!* — Ср. «Дым», гл. V, слова Потугина (наст. изд., т. 7, с. 271).

...«*запускать брандер*»...— Брандер — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами. В эпоху парусного флота применялось для поджога неприятельских кораблей. В данном случае выражение намекает, по-видимому, на склонность Паклина к увлечениям, приводящим к искажению истины.

Стр. 386. *Услышите народного певца Агремантского...*— Намек на певца и дирижера Д. А. Агренева-Славянского (1834—1908).

И тот же Скоропихин, знаете, наш исконный Аристарх, его хвалит ⁓ и они за Скоропихиным повторяют: «Э! э!» — Об отношении Тургенева к В. В. Стасову, являвшемуся, до известной степени, прототипом Скоропихина, и к «молодым людям» вроде Репина см. выше, с. 510, 545, 550, 551. Аристарх (170—98 до н. э.) — александрийский грамматик, истолкователь и критик греческих поэтов. Считался великим учителем критики.

Стр. 387. *...это даже не те «герои труда», о которых какой-то чудак — американец или англичанин — написал книгу для назидания нас, убогих...*— Речь идет об английском писателе Семюэле Смайлсе (р. 1816) и его сочинениях на морально-философские темы, первые русские переводы которых начали появляться с конца 1860-х годов. Книга Смайлса, которую имеет в виду Паклин, в русском переводе имела название: «Герои труда. История четырех английских работников». СПб., 1870. Критик народнического направления П. Н. Ткачев (1844—1885), отметивший сходство Соломина с Суровцовым из романа Е. Л. Маркова «Черноземные поля» (1876—1877) и с Волгиным из романа Летнева (А. А. Лачиновой) «Бешеная лощина» (1877), высказывал мысль, что все эти литературные герои, противоречащие «всем нашим установившимся представлениям о характере „русского человека“, в равной степени напоминают героев Смайлса». «Откуда,— писал П. Н. Ткачев в статье „Уравновешенные души“,— взялись у них это спокойствие, эта самоуверенность, эта практическая расчетливость, наконец, эта энергия и деловитость? Судя по внешности, они гораздо более смахивают на чистокровных английских джентльменов, на предприимчивых аме-

риканцев, одним словом, на „героев“ Смайлса, чем на благодушно-ленивых обитателей родимых „Шишей“, „Бешеных лощин“ и т. п.» (Дело, 1877, № 3, с. 115).

Стр. 388. *...знавал же я одну барыню, Хавронью Прыщову ∽ имя Генриха V-го...* — Иронический намек на писательницу графиню Е. В. Салиас де Турнемир (псевдоним — Евгения Тур, 1815—1892). 13(25) августа 1872 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «Но не курьезнейшее ли дело, что графиня Сальяс, урожденная *Кобылина*, сделалась ярой *легитимисткой*, поклонницей Генриха V-го? Псевдокатоличкой и полькой она уже стала давно. Экое тесто — это так называемая русская натура. Кобылина — и Monseigneur le comte de Chambord!!!» После отречения Карла X (1830) его внук, граф Шамбор, стал претендентом на французский престол. Легитимисты, мечтавшие о восстановлении монархии, именовали его Генрихом V (см. там же). По свидетельству Б. Н. Чичерина, А. Н. Плещеева и Е. М. Феоктистова, некоторые черты Салиас де Турнемир нашли отражение также в «Дыме» — в карикатурном образе Матрены Суханчиковой (см. наст. изд., т. 7, с. 513). См. об этом статью Н. Ф. Будановой: *Т сб*, вып. 3, с. 153—159.

...Германия собирается уничтожить Францию... — Речь идет о приближении франко-прусской войны 1870—1871 годов, закончившейся разгромом Франции.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНАМ

(с. 390)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 86; описание см.: *Mazon*, p. 91; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 260.

Т, *Соч*, *1880*, т. 3, с. V—XV.

Впервые опубликовано: *Т*, *Соч*, *1880*, т. 3, с. V—XV, под названием «Предисловие», с пометой после текста: Париж, 1879. Август.

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с исправлением нескольких мелких опечаток и заглавия по черновому автографу.

«Предисловие к романам» является завершающим в ряду многочисленных — как предназначавшихся для печати, так и эпистолярных — объяснений Тургенева-романиста с русским читателем и русской критикой. Необходимость в таком предисловии была обусловлена тем, что в издании 1880 года все романы впервые печатались единой группой и «сподряд», как отмечает сам Тургенев. Второй причиной, побудившей Тургенева еще раз по всеуслышание заговорить о своих романах, были соображения полемического свойства. В предисловии к романам Тургенев вновь выдвигает тезис, который был уже знаком читателю по «Литературным и житейским воспоминаниям», а именно «Критика наша, особенно в последнее время ⟨после Белинского⟩, не может предъявить притязания на непогрешимость...» (с. 395). Защищая историческую достоверность и художественную значимость своих изображений быстро изменявшейся физиономии «русских людей культурного слоя», Тургенев утверждает, что каждый писатель, не лишенный таланта, «старается прежде всего верно и живо воспроизводить впечатления, вынесенные им из собственной и чужой жизни». «Коли он правдив,— добавляет Тургенев, имея в виду талантливого писателя,— значит, он прав» (с. 395, 396). Это суждение опять-таки напоминало читателю о том, что в полемической форме уже говорилось в «Литературных и житейских воспоминаниях».

По существу полемичным было и нежелание Тургенева продолжать все еще не законченный страстный спор об «Отцах и детях». Вместе с тем полемическая тональность в «Предисловии к романам» ощущается гораздо слабее, чем в более ранних выступлениях такого же рода («Предисловие к отдельному изданию романа „Дым“», статья «По поводу „Отцов и детей“» и др.). Тургенев стремится теперь взглянуть на свои романы с историко-литературной точки зрения, и эта задача представляется ему важнее полемики с литературными противниками.

В момент работы над «Предисловием к романам» Тургенев сознавал, что как романист он уже завершил свое творчество. В этот период для него характерна твердая уверенность в том, что его деятельность в этом жанре все-таки получила должную оценку в раз-

личных слоях русского общества. Такой перемене в настроениях писателя отчасти способствовал наметившийся в конце концов благоприятный поворот в оценке критикой романа «Новь». Главной же ее причиной была та атмосфера всеобщего признания и поклонения (особенно со стороны учащейся молодежи), которую Тургенев ощущал постоянно во время своего приезда на родину в начале 1879 г. Уверенность Тургенева в своем значении как писателя-романиста находит выражение даже в употребляемой им жанровой терминологии. Если до 1879 г. ему были свойственны постоянные колебания в определении жанра своих крупных произведений, которые он часто называл повестями, то теперь эти колебания исчезают.

Последнее «Предисловие» Тургенева изобилует фактами, важными для понимания истории создания его романов. В особенности это относится к роману «Накануне», история возникновения замысла которого обогатилась рассказом Тургенева о «тетрадке Каратеева», легшей в основание его сюжета. Впоследствии этот рассказ был дополнен воспоминаниями П. В. Анненкова, указавшего название рукописной повести Каратеева («Московское семейство». См.: *Анненков*, с. 427—428). Из письма Тургенева к Н. А. Некрасову от 29 октября (10 ноября) 1854 г. известно также, что осенью этого года у писателя было намерение напечатать повесть Каратеева в «Современнике».

Анализ работы Тургенева над черновым автографом «Предисловия к романам» позволяет пополнить эти сведения о творческой предыстории «Накануне» некоторыми новыми данными. В черновом автографе после слов: «я теперь рассказал» (с. 393) на поля вынесено следующее примечание: «Сама тетрадка Кар⟨атее⟩ва была в руках пок⟨ойного" Дуд⟨ышкин⟩а и, если не пропала, должна находиться в его бумагах» [1]. Это примечание представляет несомненный интерес, свидетельствуя о том, что после неудачной попытки напечатать «Московское семейство» в «Современнике» Тургенев предпринял вторую и познакомил с рукописью Каратеева С. С. Дудышкина, фактического редактора журнала «Отечественные записки» — очевидно, с целью напечатать произведение своего «молодого друга» в этом журнале.

Неоднократные попытки продвинуть повесть Каратеева в печать говорят о ее литературной ценности в глазах Тургенева, и, следовательно, в какой-то степени противоречат его заявлению о том, что Каратеев «не был рожден литератором». Такое заключение подтверждается некоторыми элементами характеристики повести Каратеева, сохранившимися в черновом автографе, но в окончательный текст не включенными. Так, например, характеризуя повествование Каратеева о любви русской девушки к болгарину, Тургенев отметил в черновом автографе: «Всё это было рассказано очень горячо и правдиво...» По-видимому, в прямую связь с вопросом о литературных достоинствах сюжетной первоосновы «Накануне» следует поставить и большой временнóй разрыв между знакомством Тургенева с материалами Каратеева (в черновом автографе отмечается, что автор «Московского семейства» устно «дополнил свой рассказ некоторыми подробностями») — и началом работы над романом. Сам Тургенев объясняет этот разрыв занятостью сюжетами «Рудина»

---

[1] Полный свод вариантов чернового автографа «Предисловия к романам» опубликован в издании: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XII, с. 463—468.

и «Дворянского гнезда». Однако на фоне некоторых других фактов это объяснение выглядит уже недостаточным. Как видно из письма к Некрасову от 29 октября (10 ноября) 1854 г. и помет на полях чернового автографа, на первых порах повесть Каратеева представлялась Тургеневу вполне пригодной для печати и он собирался ограничиться в этом деле ролью посредника. Лишь в 1858 г. он составляет список действующих лиц будущего романа (см.: *Мазон*, с. 67), но и эта работа носит еще слишком предварительный, а может быть, и необязательный характер. Начало же подлинного творческого увлечения Тургенева сюжетом «Накануне» находится в прямой зависимости от известия о смерти Каратеева. В «Предисловии к романам» Тургенев ошибочно относит его смерть приблизительно к 1855 г. На самом деле Каратеев умер в 1859 г. Тургенев писал об этом в письме к Е. Е. Ламберт от 27 марта (8 апреля) 1859 г. Но в том же письме к Ламберт буквально рядом с известием о смерти Каратеева находится и сообщение о начале активной разработки плана романа. Таким образом, Тургенев по-настоящему обратился к роману только тогда, когда исчезла последняя возможность появления в печати повести Каратеева. Все эти факты говорят о том, что в действительности тургеневская оценка повести Каратеева, по крайней мере в пятидесятые годы, была выше той, какая нам известна из его «Предисловия к романам». По-видимому, в первоначальной оценке «Московского семейства» также скрывалась одна из важных причин несколько замедленной реализации замысла «Накануне».

Архив редакции «Отечественных записок», в котором должны были находиться бумаги С. С. Дудышкина, не сохранился. Тем не менее примечание Тургенева на полях чернового автографа указывает конкретное направление для поисков повести Каратеева и подает надежду на то, что она, быть может, не пропала бесследно.

Черновой автограф «Предисловия к романам» датирован: «27/15 авг⟨уста⟩ 1879. Буживаль». Дата окончания в печатном тексте также не выходит за пределы августа и, очевидно, дана по новому стилю, так как проставлена в Париже. Из этого можно сделать заключение, что вся работа Тургенева над текстом «Предисловия к романам» была выполнена в два-три дня.

Стр. 390. *...критики, упрекавшие меня в изменении однажды принятого направления, в отступничестве...* — В отступничестве Тургенева упрекали многие критики, но он напоминает об этом, находясь, по-видимому, под свежим впечатлением от одной из последних статей М. А. Антоновича «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» (см. третье примечание к с. 394).

...the body and pressure of time». — Неточная цитата из «Гамлета» Шекспира (акт III, явл. 2). У Шекспира: «to show ⟨. . .⟩ the very age and body of the time his form and pressure» (показывать... самому возрасту и телу века его внешность и отпечаток. См.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. XI, с. 436).

Стр. 391. *...изумило письмо Сеньковского...* — Это письмо О. И. Сенковского неизвестно.

...статья Добролюбова — «Когда же придет настоящий день?»; журнальное название — «Новая повесть г. Тургенева» (*Совр*, 1860, № 3).

...Н. Ф. Павлов сильно раскритиковал меня ∽ Дарагану дали даже обед ∽ статью о «Накануне»... — О статьях Н. Ф. Павлова и М. И. Дарагана см. наст. изд., т. 6, с. 456—457, 459—460.

...одна острота особенно часто повторялась...— Тургенев перефразирует остроту, принадлежащую князю П. А. Вяземскому: «это „Накануне“ не мешало бы отложить до „завтра“» (*Рус Ст*, 1891, № 11, с. 396). Эта острота упоминалась также в статье Н. Ф. Павлова о «Накануне» и в «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненкова (см. наст. изд., т. 6. с. 453).

Каратеев был романтик ∽ впечатлительный и прямой.— Эти черты характера и поведения Каратеева. а также его «вольнодумство и насмешливый язык» напоминают облик художника Павла Шубина в романе «Накануне».

С т р. 392. *...в тогдашнюю, для меня не слишком веселую, пору.*— Намек на положение ссыльного, в котором Тургенев находился с 18(30) мая 1852 г. по 6(18) декабря 1853 г. за опубликование в газете «Московские ведомости» статьи о Гоголе, а в сущности «вследствие появления отдельного издания „Записок охотника“» (⟨Автобиография⟩, наст. изд., т. 11).

С т р. 394. *...критики дружно упрекали меня в деланности и безжизненности этого лица...*— Об этом писали М. И. Дараган и Д. И. Писарев (см. наст. изд., т. 6, с. 456—457, 467).

Ларчик просто открывался...— Цитата из басни И. А. Крылова «Ларчик».

...«башибузук, добивающий не им раненных».— Неточная цитата из статьи М. А. Антоновича «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы». Отвечая на выпады Тургенева против Добролюбова (в «Воспоминаниях о Белинском»), Антонович писал в этой статье: «Сам г. Тургенев, этот прежде гуманнейший писатель, держась положительности Белинского и не соблазняясь отрицательностью Добролюбова, превратился наконец в беллетристического черкеса, бьющего лежачих, не им поваленных, и добивающего раненных, получивших раны не от него» (Слово, 1878, № 2, отд. II, с. 83). Последние слова Антоновича Тургенев считал сказанными «по поводу Базарова», однако с не меньшим основанием их можно считать относящимися и к роману «Новь».

...Антонович ∽ утверждал, что г. Аскоченский предвосхитил содержание моего романа.— См. статью М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» (*Совр*, 1862, № 3, отд. II, с. 65—114).

...Ф. И. Тютчев ∽ счел нужным написать стихотворение...— Стихотворение «Дым». Кроме того. роману «Дым» посвящена эпиграмма Тютчева «И дым отечества нам сладок и приятен!».

...оскорбил и правую и левую сторону нашей читающей публики.— См. примечания к роману «Дым» (т. 7, с. 531—544).

За исключением двух-трех отзывов — писаных, не печатных...— По всей вероятности, Тургенев имеет в виду прежде всего положительные отзывы о «Нови», высказанные в письмах к нему П. В. Анненкова от 28 октября (9 ноября) и от 16(28) ноября 1876 г. и К. Д. Кавелина (письмо последнего не сохранилось). О «Нови» была написана также хвалебная статья С. К. Брюлловой, не попавшая в печать. Вообще же отношение к «Нови» со стороны русской критики было резко отрицательным только в первые месяцы после появления романа в печати.

А потом, после известного процесса ∽ судьи мои принялись толковать другое: будто я сам чуть ли не участвовал...— Тургенев имеет в виду главным образом критика В. В. Маркова (см. с. 529). См. также статью: Б а т ю т о А. И. Роман «Новь» и «процесс пятидесяти».— *Т сб*, вып. 2, с. 195—209.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВЬ

Подготовительные материалы

(с. 399)

Стр. 399. *...есть романтики реализма (Онегин — не пушкинский, а приятель Ральстона).— Онегин (Отто)* Александр Федорович (1845—1925) — знакомый Тургенева, коллекционер-пушкинист, по происхождению незаконнорожденный (Отто — фамилия его крестной матери, данная ему при рождении; Онегин — фамилия его любимого пушкинского героя, принятая им еще в конце 1860-х годов и официально закрепленная за ним в 1890 г.). Бо́льшую часть жизни провел за границей, создав Пушкинский музей, который был им завещан Пушкинскому Дому. Возможно, что с Тургеневым его познакомил Вильям *Рольстон* (Ralston, 1828—1889), английский фольклорист, историк литературы и переводчик произведений Тургенева и других русских писателей на английский язык. Наблюдения Тургенева над личностью А. Ф. Онегина получили свое выражение в тезисе о «романтиках реализма», положенном писателем в основу замысла «Нови». На первых этапах работы над романом Онегин послужил Тургеневу основным прототипом образа Нежданова. О портретном сходстве Нежданова и Онегина, а также о близости их нравственно-психологического облика и некоторых фактов биографии см. в упоминавшейся выше (с. 514) статье И. С. Чистовой «О прототипе главного героя романа И. С. Тургенева „Новь“ (Из творческой истории романа)»; см. также письма Тургенева к Онегину 1870-х годов и «Временник общества друзей русской книги», вып. 1. Париж, 1925, с. 71—73 (биографические сведения об Онегине).

Оттого я и в Базарова внес ∽ заметил один Писарев.— Общая характеристика образа Базарова дана в статьях Писарева 1864—1865 гг.: «Базаров», «Реалисты», «Посмотрим!», «Что делать?», «Мыслящий пролетариат». О «романтизме» Базарова Писарев писал, в частности, в статье «Базаров». Процитировав обращенные к Аркадию слова Базарова о природе: «И природа пустяки в том значении, в каком ты ее теперь понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»,— критик заметил: «В этих словах у Базарова отрицание превращается во что-то искусственное и даже перестает быть последовательным 〈. . .〉 Преследуя романтизм, Базаров с невероятной подозрительностью ищет его там, где его никогда и не бывало. Вооружаясь против идеализма и разбивая его воздушные замки, он порою сам делается идеалистом, т. е. начинает предписывать человеку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мерке пригонять свои ощущения» (*Писарев*, т. 2, с. 26—27).

...тип русской красивой позерки (вроде Зубовой).— Зубова Мария Николаевна (р. 1842) — дочь русского посла в Сардинии и Неаполе Н. А. Кокошкина, жена камергера А. А. Зубова. Детство и юность провела в Италии; в Петербург впервые приехала в 1860 г.

К этому времени относится ее знакомство с Тургеневым (см. письмо к Е. Е. Ламберт от 16 (28) февраля 1860 г., в котором М. Н. Зубова названа «молодой милой женщиной»). О благоприятном впечатлении, произведенном Зубовой на Тургенева, свидетельствуют его отзывы о ней в письмах начала 1860-х годов. Позднее отношение писателя к Зубовой изменилось. В письме Тургенева к П. Виардо от 19 февраля (3 марта) 1871 г. содержатся следующие касающиеся Зубовой строки, живо напоминающие характеристику Сипягиной в подготовительных материалах к «Нови»: «Вчера я обедал у г. П⟨оловцова⟩ ⟨. . .⟩ Там я встретил ⟨. . .⟩ красивую позерку г-жу З⟨убову⟩, которая уже не так хороша, как была когда-то, но рисуется попрежнему». Подробнее о М. Н. Зубовой см. в статье И. С. Зильберштейна «Женевская находка».— Огонек, 1964, № 33, с. 25—26 (там же опубликовано одно сохранившееся письмо Тургенева к Зубовой от 6(18) марта 1862 г.).

Потом тип девушки ∽ (вроде г-жи Энгельгардт).— Речь идет о реальном прототипе образа Марианны в «Нови» Анне Николаевне Энгельгардт, урожд. Макаровой (1838—1903) — жене профессора-народника А. Н. Энгельгардта (1832—1893), переводчице, сотрудничавшей в «Вестнике Европы», участнице женского движения 1860-х годов. 1 декабря 1870 г. А. Н. Энгельгардт была арестована в связи с посещением ею студенческих собраний в Земледельческом институте, где преподавал ее муж, но вскоре выпущена на свободу. Тургенев познакомился с Энгельгардт, очевидно, в 1870 г. В письме к П. В. Анненкову от 19(31) декабря 1870 г. он назвал ее «очень милой и умной» женщиной, а в другом письме заметил, что она «премилая, хоть и стрижет волосы и носит очки» (см. письмо к Э. Дильку от 2(14) января 1871). Подробнее см. в статье: Левидова И. М. Тургенев и Анна Энгельгардт.— И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., «Наука» (в печати).

Потом фигура вроде Ванички Новосильцева и других пигалиц (В. Шеншин, А. Шереметев).— По первоначальному замыслу — прототипы Калломейцева в «Нови». *Новосильцев* Иван Петрович (1827—1890) — помещик, знакомый Тургенева. Д. В. Григорович написал о нем: «льстил, егозил, прислуживался и приятно играл в карты — вот и вся его эпитафия» (Из записных книжек Д. В. Григоровича.— Литературное приложение «Нивы», 1901, № 12, с. 631). *Шеншин* Владимир Александрович (1814—1873) и *Шереметев* Александр Васильевич (1830—1890) — орловские помещики, знакомые Тургенева; первый — мценский уездный предводитель дворянства, второй — орловский губернский предводитель дворянства и почетный мировой судья в Мценском уезде.

Стр. 400. *Для мужа позерки взять фигуру вроде Борисова ∽ графа Д. Толстого.*— По замыслу 1870 г. Тургенев намеревался учесть в образе Сипягина некоторые внешние черты своего соседа и приятеля, орловского помещика Ивана Петровича Борисова (1832—1871); о нем см.: Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. I—II; см. также письма Тургенева к Борисову 1850—1860-х гг. Внесенная позднее в заметку о замысле романа «Новь» запись: «да нет, не Борисова, а деятеля государственного вроде графа Д. Толстого» — свидетельствует об изменении первоначального замысла: Тургенев делает своего героя крупным бюрократом. Один из прототипов Сипягина — граф Дмитрий Андреевич *Толстой* (1823—1889), во время пребывания которого на посту министра народного просвещения (1866—1880) были проведены реакционные изменения в

программах начальной и средней школ (1871 и 1874 гг.), вызвавшие резкое недовольство в среде демократической и либеральной интеллигенции. Об отклике в «Нови» на эту реформу см. в связи с образом Калломейцева на с. 512.

(*Молодые Писемские как дельные ребята — отношение их к № 2* ⟨Соломину⟩).— Речь идет о сыновьях А. Ф. Писемского — Павле Алексеевиче (1850—1910), юристе, доценте Московского университета, и Николае Алексеевиче (1852—1874), математике. Их имена часто упоминаются в переписке Тургенева с Писемским, относящейся к концу 1860—1870-м годам. Тургенев с интересом и участием следил за научными успехами сыновей Писемского. «Что ваши умницы идут вперед молодцами — это меня не удивляет: они физиологически устроены на славу — и остается им только пускать в ход те силы, которыми они одарены»,— писал Тургенев А. Ф. Писемскому 9 (21) ноября 1869 г. В письме к Писемскому от 17 (29) марта 1873 г. он, снова назвав его сыновей «умницами и молодцами», причислил их к «свежим и крепким силам». Очевидно, в период работы над «Новью» Тургенева особенно привлекал тип душевно здорового, дельного и целеустремленного молодого человека, которого можно было бы противопоставить «самоистребительному» типу Нежданова. По-видимому, некоторые черты привлекшего Тургенева типа были воплощены им в образе Соломина.

Стр. 401. *Викент⟨ий⟩ Синец⟨кий⟩ (Вердеревский)*.— Для биографии отца Марианны Тургенев, очевидно, использовал подлинные факты из жизни поэта 1820—1830-х годов Василия Евграфовича Вердеревского, который в 1850-х годах по делу о растрате в Нижнем Новгороде казенной соли был подвергнут лишению прав состояния и сослан в Сибирь (см.: *Рус Вестн*, 1871, № 10, с. 613; ср. окончательный текст романа, с. 166).

Стр. 401—402. *...рот как у Языкова (М. А.) и зубы мелкие, белые*.— Языков Михаил Александрович (1811—1885) — член кружка Белинского, приятель Тургенева. А. А. Фет в своих воспоминаниях рисует портрет М. А. Языкова: «...когда на своих хромающих и от природы кривых ножках он с улыбкою входил в комнату, каждый, протягивая ему руку, был уверен, что услышит какую-либо нелепость» (*Фет*, ч. I, с. 133; ср. с портретом Паклина в «Формулярном списке», с. 401 и в окончательном тексте романа, с. 137).

Стр. 402. *Гораздо шире ∽ дельнее Пигасова*.— Пигасов — персонаж романа Тургенева «Рудин». В «Плане» к роману охарактеризован Тургеневым как «желч⟨ный⟩» (см. *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. VI, с. 464).

Взять несколько от наружности Скачкова.— А. Скачков — приятель Тургенева по Берлинскому университету. Некоторое представление о наружности Скачкова дает шутливое письмо Тургенева к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3,8 (15, 20) сентября 1840 г., в котором Тургенев сообщает друзьям, что одну из своих уток — «маленькую, вертлявую, охотницу помахивать хвостиком» он назвал Скачковым.

Стр. 403. *Поклонник Добролюбова. (Взять несколько от Писарева.)* — Нежданов, как представитель радикальной студенческой молодежи 1860-х годов, должен был испытать несомненное воздействие революционно-демократических идей Н. А. Добролюбова (1836—1861) и Д. И. Писарева (1840—1868).

Возможно, что в образе Нежданова отразились некоторые черты Писарева, в частности, сочетание в нем «нигилизма» с благовоспи-

танностью и аристократическими манерами. В воспоминаниях Н. А. Островской приведен следующий рассказ о первой встрече Тургенева с критиком на квартире у В. П. Боткина в 1867 г.: «Когда Писарев пришел навестить меня, он меня удивил своею внешностью. Он произвел на меня впечатление юноши из чисто дворянской семьи: нежного, холеного, руки прекрасные, белые, пальчики тонкие, длинные, манеры деликатные» (*Т сб (Пиксанов)*, с. 94—95). О поведении Писарева и Боткина во время возникшего между ними спора Тургенев, по свидетельству Островской, заметил: «Таким образом оказалось, что поклонник всего прекрасного, изящного и утонченного — оказался совершенно грубым, задирой, а предполагаемый „*нигилист*“, „*циник*“, и т. д.— истым джентльменом» (там же, с. 95).

«От Писарева» у Нежданова также — его постоянные нападки на «эстетику», отрицание которой было характерно для критика и его последователей. Одно из проявлений трагической раздвоенности Нежданова заключалось в том, что, отрицая «эстетику» как бесполезную и вредную для «дела» вещь, Нежданов, поэт в душе, постоянно находил эту «эстетику» в себе и стыдился ее, как позорной слабости. О взаимоотношениях Тургенева и Писарева см. в «Воспоминаниях о Белинском» Тургенева (наст. изд., т. 11), в его письмах, в статьях: Ефимова Е. М. Творчество И. С. Тургенева в оценке Д. И. Писарева.— Орловский альманах, кн. 4. Орел, 1952, с. 137—151; Четунова Н. Добролюбов и Писарев— критики Тургенева.— В кн.: Четунова Н. В спорах о прекрасном. М., 1960, с. 62—101.

Стр. 404. *...почерк крупный, неуклюж⟨ий⟩* — à la Orloff.— Орлов Николай Алексеевич, князь (1827—1885) — русский посол в Париже, знакомый Тургенева. О нем см.: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, с. 47—59, 73.

Совершенно удобная и готовая почва для Нечаевых и К°.—Нечаев Сергей Геннадьевич (1847—1882) — русский революционер-заговорщик, организатор «Народной расправы», членам которой предписывалось слепое повиновение руководству. Для осуществления политических целей Нечаев считал возможными любые средства. «Нечаевщина» как тактика заговорщичества, терроризма и авантюризма была осуждена К. Марксом и Ф. Энгельсом. Политический процесс нечаевцев — «Дело о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России»,— происходил в Петербурге с 1 июля по 27 августа 1871 г. (см.: Правительственный вестник, 1871, № 155—206). Об отражении в романе «Новь» некоторых сторон нечаевского движения см.: Николаева Л. А. Проблема «злободневности» в русском политическом романе 70-х годов (Тургенев и Достоевский).— В кн.: Проблемы реализма русской литературы XIX века. М.; Л., 1961, с. 378—409; об эволюции образа Маркелова, претерпевшего большие изменения по сравнению с первоначальным замыслом, см. с. 495, 501.

Наружность вроде Зубовой.— См. примеч. к с. 399.

...в небольшой петербургской квартерке, холодной, как у Мещерской...— Возможно, речь идет о княжне Софии Ивановне Мещерской (умерла в 1880 г.), с которой Тургенева связывали дружеские отношения. С. И. Мещерская принимала в 1852 г. участие в хлопотах об освобождении Тургенева из ссылки. О ней см.: Измайлов Н. В. Тургенев и С. И. Мещерская.— *Т сб*, вып. 2, с. 226—248.

Стр. 405. *Наружность вроде Луизы — только более женственная.*— Речь идет о Луизе Виардо (Viardot), в замужестве Эритт де ля Тур (1841—1918), старшей дочери Полины и Луи Виардо. Очевидно, при создании образа Марианны в «Нови» Тургенева привлекли не только внешность Луизы, но и некоторые черты ее тяжелого, неуживчивого, но в то же время гордого и независимого характера. Покинув мужа и отказавшись от всякой материальной поддержки с его стороны, Л. Эритт хотела сделать артистическую карьеру певицы, которая, однако, ей не удалась. В глазах Тургенева она была «нигилисткой». «Эта несчастная и сумасбродная женщина много причинила горя всему своему семейству — и кончит тем, что себя погубит»,— писал о ней Тургенев А. А. Фету 23 января (4 февраля) 1870 г. Изложив в кратких чертах ее биографию, Тургенев добавил: «Вот *правдивая* история этой несчастной женщины, которая хоть и не русского происхождения — однако нигилистка vom reinsten Wasser ⟨чистейшей воды⟩».

Средняя пропорциональная между Абазой и Жемчужниковым (и Валуевым).— *Абаза* Александр Аггеевич (1821—1895) — государственный деятель либерального лагеря, единомышленник Н. А. Милютина (см. ниже); с 1871 г.— государственный контролер, с 1874 г.— председатель департамента экономии государственного совета. Упоминаемый далее *Жемчужников* — очевидно, Николай Михайлович Жемчужников (1824—1909) — чиновник Министерства иностранных дел, сын сенатора М. Н. Жемчужникова (см. ниже), знакомый Тургенева. В 1860 г. через посредство Н. М. Жемчужникова Тургенев пересылал Герцену материалы для публикации в «Колоколе». *Валуев* Петр Александрович (1815—1890)— государственный деятель, с 1861 по 1868 г.— министр внутренних дел; с 1872 по 1879 г.— министр государственных имуществ. О нем как об основном прототипе образа Сипягина см. наст. том, с. 513.

Стр. 406. *...потом, однако, перешел на сторону Милютина.*— Милютин Николай Алексеевич (1818—1872) — товарищ министра внутренних дел, фактический руководитель всех подготовительных мероприятий по крестьянской реформе 1861 года. Друг Тургенева. Ему посвящены речи писателя на банкетах 19 февраля 1863 и 19 февраля 1868 годов, в которых дана несколько преувеличенная оценка исторических заслуг Милютина в деле освобождения крестьян. Касаясь борьбы либералов и крепостников в Главном комитете по крестьянскому делу, Тургенев заметил в речи от 19 февраля 1863 г., что Милютину «удалось среди затруднений, недоразумений, клевет и борений всякого рода вынести на плечах своих великое дело...» (наст. изд., т. 12).

Взять элемент Хрущова, кн. Оболенского — (Д.).— *Хрущов* Дмитрий Петрович (1816—1864) — товарищ министра государственных имуществ. *Оболенский* Дмитрий Александрович, князь (1822—1881) — статс-секретарь, директор департамента Морского министерства и Министерства финансов. Оба — видные деятели крестьянской реформы 1861 года, единомышленники Н. А. Милютина.

Отец его был ∽ вроде Жемчужникова — старика.—Михаил Николаевич Жемчужников (1788—1865), о котором идет речь, занимал ряд высоких административных должностей: в 1832 г. был губернатором в Костроме, в 1835—1840 гг.— петербургским гражданским губернатором; в 1841—1865 гг.— сенатор. Сочувственно относился к реформам 1860-х годов. Отец Александра, Алексея, Вла-

димира, Льва и Николая Жемчужниковых. О нем см.: Записки В. М. Жемчужникова.— *ВЕ*, 1899, № 2, с. 634—664; Ж е м ч у ж н и к о в Л. М. Мои воспоминания из прошлого. М., 1926. Вып. 1.

...(до «к а л м ы ц к и х» денег, однако, не доходило).— См. наст. том, с. 514.

...лицо длинное, как у ересиарха Селиванова...— Речь идет о Кондратии Селиванове (умер в 1832 г.), основателе скопческой ереси в России, проповедовавшем свое учение в Орловской и Тульской губерниях. Портреты К. Селиванова были широко распространены среди его последователей и чтились ими как иконы [1]. Интерес Тургенева к расколу и сектантству в России, особенно характерный для конца 1860—70-х годов [2], нашел свое отражение и в «Нови». В главе XXX романа Нежданов, потерпевший крах в своих безуспешных попытках сблизиться с народом, вспоминает о слышанном им когда-то «раскольничьем пророке», имевшем громадную власть над окружающими. Тема «раскольничьего пророка» в «Нови», умеющего увлечь за собой народ, звучит как антитеза теме трагической оторванности народников от народа.

...взять физиономию Забелла ⟨?⟩...— Забелло Пармен Петрович (1830—1917) — скульптор. Известен бюст Тургенева его работы (1870-е годы).

...хорошего старика, вроде Устюжского...— Устюжский Василий — псаломщик русской посольской церкви в Париже, отец первой жены Я. П. Полонского, Елены Васильевны. В письме к Я. П. Полонскому от 24 января (5 февраля) 1872 г. Тургенев назвал Устюжского «очень добрым и тихим человеком».

С т р. 407. *Взять тип Берты Виардо.*— Берта Виардо (Viardot) — незамужняя сестра Луи Виардо, жившая в его доме почти на положении приживалки.

Рабски и по мере возможности оскорбительно ∽ Мишка Лонгинов.— Речь идет о прототипах образа Калломейцева. Об И. П. Новосильцеве см. примеч. к с. 399. *Маркевич* Болеслав Михайлович (1822—1884) — беллетрист и публицист, сотрудник «Русского вестника», единомышленник М. Н. Каткова. О нем как о прототипе образов Калломейцева и Ladislas'а см. с. 487—488; о взаимоотношениях Тургенева с Маркевичем см. также наст. том, с. 511. Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф и историк литературы; в 1850-х годах был близок кругу «Современника», в 1860-х занял резко реакционную позицию. В 1867—1871 гг.— орловский губернатор, в 1871—1874 гг.— начальник Главного управления по делам печати. В 1871 г. Тургенев следующим образом откликнулся на назначение Лонгинова на пост начальника Главного управления по делам печати; «Лонгинов ⟨. . .⟩ сквернейший по всей Руси губернатор, публично лаявший на царя

---

[1] См.: Л и п р а н д и И. П. Краткое обозрение русских расколов, ересей и сект. М., 1870, с. 21—24; Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей, собранные П. И. Мельниковым.— Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1872, кн. 3, отд. V, Смесь, с. 40—42, 46—50, 57—179.

[2] Об этом см.: Б р о д с к и й Н. И. С. Тургенев и русские сектанты. М., 1922; Л е в и н Ю. Д. Неосуществленный исторический роман Тургенева.— В кн.: *Орл сб, 1960*, с. 96—131; *Т, Сочинения*, т. 10, с. 420—421, 478—479.

за эмансипацию, сделан начальником нашей несчастной прессы!! Ничего хорошего ожидать нельзя ⟨. . .⟩ Он будет злобствовать — как Катков — со всей ехидностью ренегата» (письмо к Я. П. Полонскому от 18(30) декабря 1871 г.). О резко отрицательном отношении Тургенева к деятельности Лонгинова см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, тт. IX—X (по указателям имен).

Стр. 408. *Семинар, тупец — вроде Кетчера...* — Тургенев воплотил в образе Остродумова некоторые внешние черты Николая Христофоровича Кетчера (1809—1886), врача, переводчика, члена кружка Белинского (о нем см. в «Былом и думах» Герцена: *Герцен*, т. 8, с. 359—360, т. 9, с. 223—254, т. 10, с. 321). Герцен пишет, что Кетчер был «сознательный дикарь», «грубый по принципу, неряха по теории», и отмечает его «чрезвычайную раздражительность, громкий голос, непривычку себя сдерживать». Кетчер также послужил Тургеневу прототипом для образов «сорокалетнего бурша» в «Рудине» и Тита Биндасова в «Дыме» (см. наст. изд., т. 5, с. 496 и т. 7, с. 512).

Фигура вроде покойного Голихмана ⟨?⟩.— О ком идет речь, не установлено.

Нечаев делает из нее своего агента.— О Нечаеве см. с. 568.

Паклин сравнивает поездки ∽ под колеса Джаггернаута.— Ср. с письмом Тургенева к А. Ф. Онегину от 9 (21) октября 1872 г.; см. также наст. том, с. 503 и статью И. Чистовой «О прототипе главного героя романа И. С. Тургенева „Новь“ (Из творческой истории романа)».— Русская литература, 1964, № 4, с. 176.

Стр. 410. *(Упоминовение об адвокате Урусове.)* — Урусов Александр Иванович, князь (1843—1900), известный либеральный адвокат и театральный критик, знакомый Тургенева. В конце 1860-х и в начале 1870-х годов находился под негласным надзором полиции. Участвовал в качестве защитника в нечаевском процессе. В 1872 г. был обвинен в сношениях с нечаевцами, отстранен от адвокатской деятельности и был вынужден уехать на некоторое время за границу. Подробно о нем см. в кн.: Князь Александр Иванович Урусов. Статьи его. Письма его. Воспоминания о нем. М., 1907. Т. I—III.

Стр. 412. *...купец Голушкин арестован ∽ (вспомнить слова Кожанчикова в моем деле).*— Кожанчиков Дмитрий Ефимович (1802—1877) — купец-старообрядец, петербургский издатель и книгопродавец. Наряду с Тургеневым и другими лицами был привлечен к допросу по «Делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». Приговором Сената от 10 декабря 1864 г. был освобожден от суда за недостатком улик. В противоположность Голушкину в «Нови», стойко держался на допросе, отвергая предъявленное ему обвинение в сношениях с В. И. Кельсиевым. «Желая действовать на него как верующего человека, Кожанчикова долго увещевал поп, но несмотря на это ⟨. . .⟩ он лишь подтвердил предыдущее показание» (Лемке М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908, с. 140). О каких его словах вспоминает Тургенев, неизвестно.

Паклин о третьей руке Митроф⟨ана⟩ и т. д., о Константине из столба...— Паклин выражает здесь мысль, что русский народ можно поднять на бунт, лишь используя его веру в религиозное «чудо» и в доброго батюшку-царя. *Митрофан* (в миру Михаил, 1623—1703) — первый воронежский епископ, прославившийся благочес-

тивым образом жизни (о нем см.: Историческое сведение о жизни Митрофана, первого Воронежского епископа. 2-е изд. СПб., 1832; Уроки из жизни святителя и чудотворца Митрофана, епископа Воронежского и Задонского... Сочинение протоиерея Луки Ефремова. 2-е изд. СПб., 1873). Слова Паклина о «третьей руке Митрофана», вероятно, основаны на вере народа в чудесные знамения, творимые мощами святого Митрофана. Возможно, что упоминание об епископе Митрофане в «Нови» связано с неосуществленным историческим романом Тургенева о вожде раскольничьего мятежа XVII в. Никите Пустосвяте, над которым писатель работал в 1868 г. (о нем см. упоминавшуюся выше статью Ю. Д. Левина). Можно предположить, что неутомимый обличитель раскольников епископ Митрофан, пожертвовавший Петру I большие денежные сбережения на постройку флота и находившийся в самый день мятежа в Кремле, куда ворвались раскольники во главе с Никитой Пустосвятом, должен был стать одним из главных героев этого романа. *Константин из столба* — очевидно, намек на одну из народных легенд о чудесном появлении великого князя Константина Павловича (1779—1831), с именем которого в XIX веке народ связывал, после 14 декабря 1825 г., мечты об уничтожении крепостного права: «...убеждение в том, что Константин-князь жив и придет на спасение угнетенных, так глубоко засело в умы народа, что он лелеял его до самой крестьянской реформы, именно до 19 февраля 1861 г.» (*Отеч Зап*, 1869, № 10, с. 402). В русской печати 1860—70-х годов были нередки статьи о Лжеконстантинах. Так, например, в августовской книжке «Вестника Европы» за 1868 г. была опубликована статья Н. А. Середы «Самозванец 1845 года» (о знакомстве Тургенева с этой статьей см. с. 557). О другом Лжеконстантине, действовавшем в Саратовской губернии в 1826—1827 гг., сообщал Д. Мордовцев в статье «Один из лжеконстантинов» (*Отеч Зап*, 1869, № 10, с. 399—434). Наконец, П. И. Мельников рассказал о раскольничьем Лжеконстантине — Алексее Громове (Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей, собранные П. И. Мельниковым.— Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1872 Кн. 3, с. 314—324). В тексте романа «Новь» Паклин упоминает, вместо Митрофана и Константина, Лжедмитрия: это имя было более знакомо широким читательским кругам.

С т р. 413. *(Маркелов — там, где Чернышевский и др.).*— Подразумевается ссылка в Сибирь.

С т р. 414. *...Он упоминает о Каткове, о Лонгинове...*— См. с. 512—513 и 570—571.

С т р. 415. *...напоминает о фразе Веневитинова...*— Веневитинов Алексей Владимирович (1806—1872) — сенатор, брат поэта Д. В. Веневитинова. О какой его фразе идет речь, не установлено.

С т р. 416. («*Клеврет ренегата!*» ᔕ *фраза Фета.*— См. с. 487.

Привычка у Синецкой вздыхать, как я видел у жены Рагозина.— Очевидно, речь идет о жене Евгения Ивановича Рагозина (1843—1906), редактора газеты «Неделя», публициста и экономиста, близкого к демократическим кругам. Знакомство Тургенева с Рагозиным относится к началу 1870-х годов. В письме к А. В. Топорову от 7(19) октября 1874 г. Тургенев охарактеризовал Рагозину как «очень хорошее и симпатическое существо».

С т р. 417. *...как Полина про Берту...*— Очевидно, Полина Виардо про Берту Виардо (о Б. Виардо см. примеч. к с. 407).

NB. Дехтерёв!! ∽ *(Кисляков).*— О Дехтереве Владимире Гавриловиче (1853—1903), враче-психиатре и публицисте, как о прототипе Кислякова см. с. 486.

Голушкин старовер ∽ *вроде Солдатенкова.*— Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901), издатель и меценат, происходил из купеческой старообрядческой среды. Субсидировал «Общее вече» в Лондоне. Наряду с Д. Е. Кожанчиковым привлекался в 1862—1864 годах по «Делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» («Процесс 32-х») — см.: Л е м к е М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». 2-е изд. СПб., 1908, с. 33—34, 71—72 и др. Очевидно, некоторые черты характера и факты биографии К. Т. Солдатенкова были использованы Тургеневым при создании образа Голушкина. В письме к Герцену от 13(25) января 1862 г. в ответ на его просьбу достать денег у Солдатенкова для М. А. Бакунина Тургенев заметил: «...это чванливое животное ⟨. . .⟩ не даст гроша, если нельзя протрубить о нем во всеуслышание»; ср.: «Жажда популярности была его главною страстью: греми, мол, Голушкин, по всему свету!» (с. 229). О политической неустойчивости Солдатенкова свидетельствует факт издания им в 1862 г. сборника статей Б. Н. Чичерина «Несколько современных вопросов», открывавшегося направленным против Герцена письмом Чичерина (см. об этом: *Герцен*, т. 27, кн. 1. с. 270).

С т р. 419. *Слово попа Алексея* ∽ *Т р е б н и к.*— Отец Алексей— священник прихода имения Тургенева Спасского. Его имя упоминается в письме Тургенева к Н. А. Щепкину от 10—31 августа ст. ст. 1878 г. Священники с тем же именем, фигурирующие в «Живых мощах» (наст. изд., т. 3) и в «Рассказе о. Алексея» (наст. том), вероятно, в значительной мере восходят к своему реальному прототипу (подробнее об этом см.: наст. том, с. 568). Впечатления, навеянные оригинальной личностью «попа Алексея», очевидно, должны были по первоначальному замыслу писателя воплотиться в образе священника Зосимы, двоюродного дяди Соломина, но этот замысел не осуществился, и Зосима лишь упоминается в романе. Возможно, что эти впечатления нашли отражение в образе другого священника в «Нови» — отца Киприана (см. главу VIII).

Хозяин фабрики (или завода) вроде П. М. Третьякова...— В образе прогрессивного купца Фалеева Тургенев предполагал учесть черты Павла Михайловича Третьякова (1832—1898), известного мецената, основателя Третьяковской галереи, происходившего из купеческой среды. Тургенев был с ним хорошо знаком и бывал у у него в Кунцеве. О нем см.: Б о т к и н а А. П. Павел Михайлович Третьяков. 2-е изд. М., 1960.

С т р. 420. *...(вспомнить рассказ* ∽ *о покушении 4-го апр⟨еля⟩)*— Речь идет о покушении Д. В. Каракозова (1840—1866) на Александра II, совершенном 4 апреля 1866 г. Рассказ об этом Новосильцева (устный) неизвестен.

Он вспоминает трехкратный крик петуха в Евангелии...— Паклин, невольно предавший своих друзей, вспоминает об отречении от Иисуса Христа апостола Петра. Согласно Евангелию, это отречение, предсказанное Петру самим Христом, сбылось. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И, вышед вон, плакал горько» (Евангелие от Матфея, гл. XXVI, ст. 75); по другому варианту: «прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня» — Евангелие от Марка, гл. XIV, ст. 30); ср. с описанием со-

стояния Паклина после совершенного им предательства: «И, как сказано в писании, он „плакася горько“ — и побрел себе в оазис, к Фомушке и Фимушке, к Снандулии...» (с. 369).

С т р. 421. *...всп⟨омнить⟩ свадьбу Успенского, который в Каре...*— Речь идет о нечаевце Петре Гавриловиче Успенском (1847—1881), отбывавшем каторгу на Каре (тюрьма в Восточной Сибири). См.: Деятели революционного движения. Биобиблиографический словарь. М., 1928. Т. I, ч. 2, с. 417.

Герои труда (статья).— См. с. 558—559.

Якушкина! — См. с. 518—519.

С т р. 422. *Кукольник — пластичен.* — Ср. с одной из записей, связанных с работой Тургенева над «Бригадиром»: «Кук⟨ольник⟩ для доктора — пластический писатель» (наст. изд., т. 8, с. 388). В окончательном тексте «Нови» уездный доктор, любивший щеголять учеными терминами, уверял, что «предпочитает Кукольника Пушкину, потому что в Кукольнике много „протоплазмы“» (с. 179).

Диди в дожде золот⟨ых⟩ листьев.— Подобная запись, касающаяся Клоди Виардо, имеется также в черновой рукописи «Довольно» (см. наст. изд., т. 7, с. 387). К творческой истории «Нови», по-видимому, прямого отношения не имеет.

Ученый Кант.— Ср. с окончательным текстом «Нови»: «В науке... ха-ха-ха! *Ученый Кант* есть и у нас: только на воротниках инженеров!» (с. 386).

Ложь ⟨?⟩ и сочинительство М. А. Милютиной.— Милютина Мария Аггеевна, урожд. Абаза (1834—1903) — жена Н. А. Милютина. Тургенев относился к ней дружески (см. его письма к Милютиной за 1867—77 годы). Резкое замечание о М. А. Милютиной, очевидно, связано с ее писательскими опытами (художественные произведения, статьи, переводы и т. д., никогда не публиковавшиеся; хранятся в архиве Н. А. Милютина — *ЦГИАЛ*, ф. 669, оп. 1). Возможно, что приведенная запись первоначально имела отношение к образу Сипягиной.

веселенькие (переклитки).— Запись относится к Фомушке и Фимушке (см. гл. XVIII и XIX). В письме к М. А. Маркович от 31 августа (12 сентября) 1860 г. Тургенев дал следующее объяснение слову «переклитки»: «Переклитками называются те зеленые попугайчики с оранжевыми носами, которые так уныло-дружелюбно жмутся друг к дружке, сидя на одной жердочке».

Надеть степенный картуз (Албединский).— Очевидно, здесь упомянут Петр Павлович Альбединский (1826—1883), генерал-адъютант, послуживший Тургеневу прототипом для образа генерала Ратмирова в «Дыме» (см. наст. изд., т. 7, с. 512). «Степенный картуз», подобный тому, какой носил Альбединский, по-видимому, предназначался Тургеневым для Сипягина или Калломейцева.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. П. АЛЕКСЕЕВ (главный редактор),
В. Н. БАСКАКОВ (зам. главного редактора),
А. С. БУШМИН, Н. В. ИЗМАЙЛОВ, Н. С. НИКИТИНА

Тексты подготовили и примечания составили:
А. И. Батюто, И. А. Битюгова, Н. Ф. Буданова,
Т. П. Голованова, Н. Н. Мостовская,
Г. Ф. Перминов, М. А. Турьян

Редакторы девятого тома
А. С. Бушмин, А. Н. Дубовиков,
Н. В. Измайлов

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*
Корректоры *О. В. Лаврова, Л. Р. Мануильская*

Сдано в набор 27.05.81.
Подписано к печати 16.12.81.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,34. Усл. кр. отт. 30,44.
Уч.-изд. л. 35,4.
Тираж 400 000 экз.
Тип. заказ № 2899
Цена 3 р. 90 к.

Издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28